

1/1428326
1039)

410

giz +

ЗМ

К. Марксъ и Фр. Энгельсъ.

Л-64

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛѢДСТВО.

Изд. Фр. Мерингомъ.

ПЕРЕВОДЪ СЪ НѢМЕЦКАГО

Е. А. Гурвичъ и М. Г. Лунца.

Т. I.

П17497



Издание Т-ва „МІРЪ“
МОСКВА.

OK

Национална библиотека
Белград

Отдѣлы I, II и III переведены Е. А. Гурвичъ,
IV—М. Г. Лунцомъ.

3021



Типо-литографія Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К^о, Писиновская ул., с.
Москва — 1907.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ТОМЪ I.

Предисловіе. Фр. Меринга	Стр. 1
------------------------------------	-----------

I.

Различіе между натурфилософіей Демокрита и Эпикура. К. Маркса	5
Введеніе. Фр. Меринга.	
1. Въ родительскомъ домѣ	7
2. Университетскіе годы	13
3. Фантастическій поэтъ	27
4. Друзья юности	30
5. Философія самосознанія	41
6. Демокритъ и Эпикуръ	49
7. Полученіе степени въ Гейѣ	54
Предисловіе.	
Содержаніе.	

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.

Различіе между натурфилософіей Демокрита и Эпикура вообще.

Глава I. Предметъ изслѣдованія	69
Глава II. Мнѣнія объ отношеніи физики Демокрита и Эпикура	71
Глава III. Трудности отождествленія натурфилософін Демокрита и Эпикура	72

ВТОРАЯ ЧАСТЬ.

О различіи между физикой Демокрита и Эпикура въ частностяхъ.

Глава I. Отклоненіе атома отъ прямой линіи	80
Глава II. Качества атомовъ	86
Глава III. Начала и стихіи	90
Глава IV. Время	94
Глава V. Метеоры	97
Отрывки	103
Примѣчанія. Фр. Меринга	109

IV

II.

Стр.

Изъ „Анекдотовъ о новѣйшей нѣмецкой философіи и публицистикѣ“.

Введеніе. Фр. Меринга.	
1. Прусскіе провинціальныя ландтаги	122
2. Прусская цензура	127
Замѣтки о новѣйшемъ прусскомъ цензурномъ уставѣ. Прирейнскаго жителя	131
Примѣчанія. Фр. Меринга	153

III.

Изъ Рейнской газеты.

Введеніе. Фр. Меринга.	
1. Положеніе въ прирейнской области	157
2. Философія и экономія	164
3. Разрывъ со „Свободными“	174
4. Крестьяне-винодѣлы на Мозель	179
5. Катастрофа	184
Протоколы шестого рейнскаго ландтага. Рейнскаго обывателя.	
Статья первая. Дебаты о свободѣ печати и объ опубликованіи протоколовъ собранія земскихъ чиновъ	189
Передовая статья № 79 Кельнской газеты	232
Философскій манифестъ исторической школы права	239
О коммунизмѣ	245
Протоколы шестого рейнскаго ландтага. Рейнскаго обывателя.	
Статья третья. Дебаты по поводу закона противъ кражи дровъ	249
Примѣчанія. Фр. Меринга	285

IV.

Изъ „Deutsch-Französische Jahrbücher“.

Введеніе. Фр. Меринга.	
1. Гуманизмъ Фейербаха	298
2. Общество и государство	304
3. Еврейскій вопросъ	313
4. Фридрихъ Энгельсъ и его первые работы	317
Переписка 1843 года	321
Къ критикѣ гегелевской философіи права. Карла Маркса	341
Къ еврейскому вопросу. Карла Маркса	354
Очерки критики политической экономіи. Фридриха Энгельса	382
Положеніе Англіи. Фр. Энгельса	405

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Полное научное собраніе статей, оставшихся послѣ Карла Маркса и Фридриха Энгельса, было бы весьма желательно. Но въ ближайшемъ будущемъ это является дѣломъ невозможнымъ. Чтобы возстановить ихъ надлежащимъ образомъ, необходимъ рядъ предварительныхъ работъ, которыя не могутъ быть выполнены въ короткій срокъ не только однимъ человѣкомъ, но даже и многими.

Настоящее собраніе статей, опубликованныхъ Марксомъ и Энгельсомъ въ сороковыхъ годахъ, является ничѣмъ инымъ, какъ одной изъ этихъ предварительныхъ работъ. Говорю «опубликованныхъ», такъ какъ въ это изданіе, за однимъ исключеніемъ, не вошли статьи, написанныя въ первое десятилѣтіе ихъ общественной дѣятельности, но не опубликованныя добровольно или неволью. Это единственное исключеніе составляетъ докторская диссертація Маркса, проливающая слишкомъ яркій свѣтъ на его первые шаги, до сихъ поръ почти неизвѣстные, чтобы можно было не обратить на нее вниманія. То, что мнѣ извѣстно изъ литературнаго наслѣдства этихъ двухъ дѣятелей изъ дореволюціоннаго періода и находилось въ моемъ распоряженіи, составляетъ лишь дополненіе и, насколько я могу судить, даже незначительное дополненіе къ тому, что они опубликовали. Оно несомнѣнно должно войти въ общее собраніе ихъ сочиненій, или же въ особое изданіе, но не въ изданіе, задающееся цѣлью собрать статьи, которыми Марксъ и Энгельсъ фактически оказывали вліяніе на историческое развитіе сороковыхъ годовъ.

Но и эти статьи не всѣ могли сюда войти. Само собою разумѣется по внѣшнимъ и внутреннимъ причинамъ, что тѣ изъ ихъ тогдашнихъ статей, которыя имѣются въ продажѣ и отчасти пользуются широкимъ распространеніемъ, не будутъ напечатаны вторично: сюда относится полемическая статья Маркса противъ Прудона и брошюра о наемномъ трудѣ и капиталѣ, а также о классовой борьбѣ во Франціи, книга Энгельса о положеніи рабочихъ въ Англіи и историческій очеркъ крестьянскихъ войнъ въ Германіи и, наконецъ, Манифестъ Коммунистической партіи, составленный ими обоими. Но и изъ оставшагося такимъ образомъ матеріала пришлось сдѣлать выборъ. Знаюсь, что эта часть моей работы была мнѣ наиболее тягостна. Довольно неприятно быть цензоромъ произведеній, оставшихся послѣ такихъ людей. Но это была жестокая необходимость; въ противномъ случаѣ изданіе это разрослось бы до такихъ размѣровъ, что оно не

соотвѣствовало бы той дѣл, ради которой оно предпринято, дѣл пролить болѣе яркій свѣтъ на дѣятельность Маркса и Энгельса.

Они вели въ сороковыхъ годахъ непрерывную публицистическую войну, а публицисту неизбѣжно приходится повторяться. Ради своихъ великихъ дѣл имъ приходилось спорить съ очень маленькими людьми объ очень маленькихъ вопросахъ. Современному читателю не я конкретно представить ни этихъ маленькихъ людей, ни этихъ маленькихъ вопросовъ, ибо это было бы непроизводительной тратой времени и мѣста. Они участвовали въ качествѣ редакторовъ и сотрудниковъ въ двухъ большихъ ежедневныхъ газетахъ, такъ что иногда трудно рѣшить, что написано ими, и что нѣтъ, а подчасъ еще гораздо труднѣе рѣшить, что они сами думали, или же лишь перерабатывали для печати, исправляли, дополняли. Однимъ словомъ, здѣсь нужно было рѣшаться не придерживаться буквы учителей, но по духу ихъ рѣшать, что они въ то время опубликовали положительнаго и важнаго.

Я могу въ этомъ отношеніи сослаться даже на Энгельса, который одобрилъ этотъ методъ, когда я, руководствуясь этой точкой зрѣнія, собралъ для него статьи его друга, появившіяся въ Рейнской Газетѣ; эти статьи онъ собирался издать въ послѣдній годъ своей жизни. Конечно, при такомъ способѣ кое-что пропадаетъ, какое-нибудь мѣткое словечко или оригинальное выраженіе. Люди, какъ Марксъ и Энгельсъ, не напишутъ ничего такого, что не возбуждало бы какого-нибудь интереса; именно поэтому выборъ подчасъ бывалъ такъ труденъ, и не разъ приходилось опять перерывать поблекшіе листы ради отдѣльныхъ скрытыхъ въ нихъ перловъ. Точной границы однако нельзя было провести. Въ виду этого я въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ старался обосновать свое рѣшеніе, чтобы предоставить критикѣ необходимый контроль. Но въ общемъ было неизбѣжно, чтобы предлагаемое изданіе оставило еще для будущихъ біографовъ Маркса и Энгельса или для будущаго общаго собранія ихъ сочиненій извѣстную работу по собиранію добавочнаго матеріала.

Что касается моей дѣятельности какъ издателя, то я отказался отъ мысли привести въ дѣйствіе знаменитый «филологическій аппаратъ». Менѣе всего онъ былъ бы у мѣста по отношенію къ Марксу и Энгельсу. Какимъ бы выдающимся стилистомъ каждый изъ нихъ ни былъ, какъ бы тщательно они ни обдумывали своихъ выраженій, все же они не интересовались ни грамматическими, ни орфографическими тонкостями. Я старался возстановить точный текстъ, исправляя опечатки тамъ, гдѣ это касалось буквъ. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда могло возникнуть сомнѣніе, я въ прямыхъ скобкахъ вставлялъ то выраженіе, которое, по моему мнѣнію, было вѣрнѣе. Точно такъ же я отказался отъ перевода на нѣмецкій языкъ иностранныхъ словъ или иностранныхъ цитатъ. Марксъ и Энгельсъ этого не любили, и я, сознаюсь, раздѣляю въ этомъ отношеніи ихъ вкусъ. Большая доступность и вліяніе на широкія массы заранѣе исключаются въ виду

характера настоящаго изданія. Вообще я старался ограничить объяснительныя примѣчанія лишь крайне необходимымъ. Эти статьи являются исключительными произведеніями исключительной эпохи, и ихъ нельзя такъ прямо передать языкомъ нашего времени, даже если слабѣть каждую фразу цѣлой массой объяснительныхъ примѣчаній. Это, напротивъ, совершенно лишило бы ихъ духовнаго колорита.

Но въ своей исторической средѣ онѣ опять оживаютъ; и поэтому я видѣлъ свою главную задачу въ восстановленіи этой среды, что я и сдѣлалъ въ введеніяхъ къ отдѣльнымъ статьямъ. Я надѣюсь, что каждый читатель, или, по крайней мѣрѣ, каждый безпристрастный читатель согласится со мной. Во всякомъ случаѣ я долженъ сказать, что я избралъ самую трудную часть, такъ какъ я старался избрать самую полезную часть. Если мнѣ хоть отчасти удалось возстановить характеръ той эпохи, въ которой эти статьи жили, то онѣ ужъ сами за себя будутъ лучше всего говорить. И тогда даже передовые рабочіе будутъ ихъ изучать съ большимъ наслажденіемъ, если даже для нихъ останутся непонятными, какъ въ первомъ томѣ «Капитала», то или другое иностранное слово, та или иная иностранная цитата.

Со стороны безпристрастныхъ читателей, которые со мной согласны, я скорѣе могу ожидать противоположныхъ упрековъ, а именно, что я сдѣлалъ слишкомъ много хорошаго. На это я могу только возразить, что нынѣ живущее поколѣніе только тогда можетъ живо себя представить отошедшую въ вѣчность эпоху, когда она изображена со всѣми деталями. Кромѣ того, я полагалъ, что я обязанъ исполнить тотъ долгъ справедливости, который, какъ мнѣ извѣстно, признанъ былъ бы Марксомъ и Энгельсомъ.

Буржуазная исторія, въ особенности ея историко-литературный отдѣлъ, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе старается замалчивать именно то, что въ недалекомъ будущемъ будетъ особенно интересно изъ исторіи сороковыхъ годовъ. Если Юліанъ Шмидтъ, уничтоженный Лассалемъ, тѣмъ не менѣе старался по своему раздѣлаться съ такими людьми, какъ Гегель, Штраусъ, Руге, Бауеръ, Фейербахъ, то для современныхъ представителей буржуазной исторіи имена эти совершенно не существуютъ. Объемистая исторія литературы девятнадцатаго столѣтія, изданная къ началу двадцатаго столѣтія берлинскимъ университетомъ, говоритъ о нѣкой бульварной газетѣ, издававшейся крестурой Бисмарка, какъ о составившемъ эпоху явленіи, по она ни единымъ словомъ не обмолвилась о томъ, что когда-то выходили *Hallsche* и *Deutsche Jahrbücher*. Насколько мнѣ позволили рамки моей задачи, я старался выступить противъ этой системы умалчиванія, относительно которой еще въ лучшемъ случаѣ надо установить, является ли она результатомъ тенденціозности или невѣжества; и я разсчитываю на нѣкоторое снисхожденіе читателя, если я иной разъ переступилъ эти границы, чтобы возстановить память челоуѣка или статьи, которые, къ сожалѣнію, забыты, къ сожалѣнію, по крайней мѣрѣ, для всѣхъ тѣхъ, кто видитъ въ современномъ рабочемъ движеніи величайшее культурное движеніе всемірной исторіи.

Самое опубликованіе статей Маркса и Энгельса, появившихся въ до-мартовскіе дни, является, конечно, больше, чѣмъ актомъ историческаго піетизма. Открыть историческія основы марксизма значитъ разоблачить безпочвенность его «пораженія» («Uebergang»). Фуриі частнаго интереса, пробуждающіяся при всякомъ обсужденіи вопроса о собственности, дѣлають возможнымъ въ области экономической науки такое явленіе, которое невозможно во всякой другой научной области. Ученый натуралистъ, который вернулся бы отъ теоріи развитія Дарвина къ теоріи катаклизмовъ Кювье, былъ бы встрѣченъ всеобщей насмѣшкой. Но кто отъ Маркса возвращается къ Адаму Смиту или Канту, предъявляетъ такія же притязанія на лавры буржуазной прессы, какъ маршалъ, отправляющійся на войну съ боксерами, несмотря на тотъ фактъ, что вся эта шумиха, которая въ настоящее время кажется новой мудростью, уже въ сороковыхъ годахъ была разоблачена Марксомъ и Энгельсомъ. Сколько бы ни было нарисовано фантастическихъ каррикатуръ «ортодоксальныхъ марксистовъ» для вящаго торжества патриотовъ и филистеровъ въ безкровной, къ счастью, борьбѣ, единственный «ортодоксальный марксистъ», когда-либо существовавшій, остается все же на первомъ планѣ: историческій ходъ вещей; въ наступающемъ кризисѣ о него опять разблещется заржавѣвшій мечъ «ревізіонизма», который такъ же привлечетъ къ себѣ, какъ и его имя...

Распределеніе матеріала явилось само собой. Первый томъ содержитъ статьи Маркса и Энгельса, въ которыхъ они развиваются до социализма, обоснованіе котораго является ихъ бессмертной заслугой. Второй томъ содержитъ все, что они сдѣлали для обоснованія и развитія ихъ вновь выработанной точки зрѣнія, ихъ борьбу съ другими теченіями того времени вплоть до Коммунистическаго манифеста, классическаго провозвѣстника современнаго научнаго коммунизма. Наконецъ, въ третьемъ томѣ содержатся статьи изъ Новой Рейнской газеты и Revue, т. е. испытаніе на практикѣ правильности ихъ теоретическихъ предпосылокъ. Этимъ заканчивается первый періодъ общественной дѣятельности Маркса и Энгельса. Кромѣ того выходятъ письма Лассаля къ Марксу и Энгельсу, которыя, хотя и не находятся въ непосредственной связи съ этимъ изданіемъ, но по своему содержанію составляютъ продолженіе его для пятидесятихъ годовъ, представляя собою наиболее достовѣрный матеріалъ какъ для исторіи современнаго научнаго коммунизма, такъ и для біографіи его классическихъ передовыхъ борцовъ за это десятилітіе.

Мнѣ остается еще высказать искреннюю благодарность Лаурѣ Лафаргъ за ту готовность, съ которой она предоставила мнѣ статьи ея отца, а Бебелю и Бернштейну за статьи Энгельса для этого изданія. Лаура Лафаргъ кромѣ того предоставила мнѣ въ пользованіе изъ наслѣдства ея отца рядъ писемъ и документовъ, которые были неоцѣнны для меня въ моей работѣ. Ея столь лестному для меня довѣрію я буду обязанъ, если я хоть отчасти справлюсь со своей задачей.

I

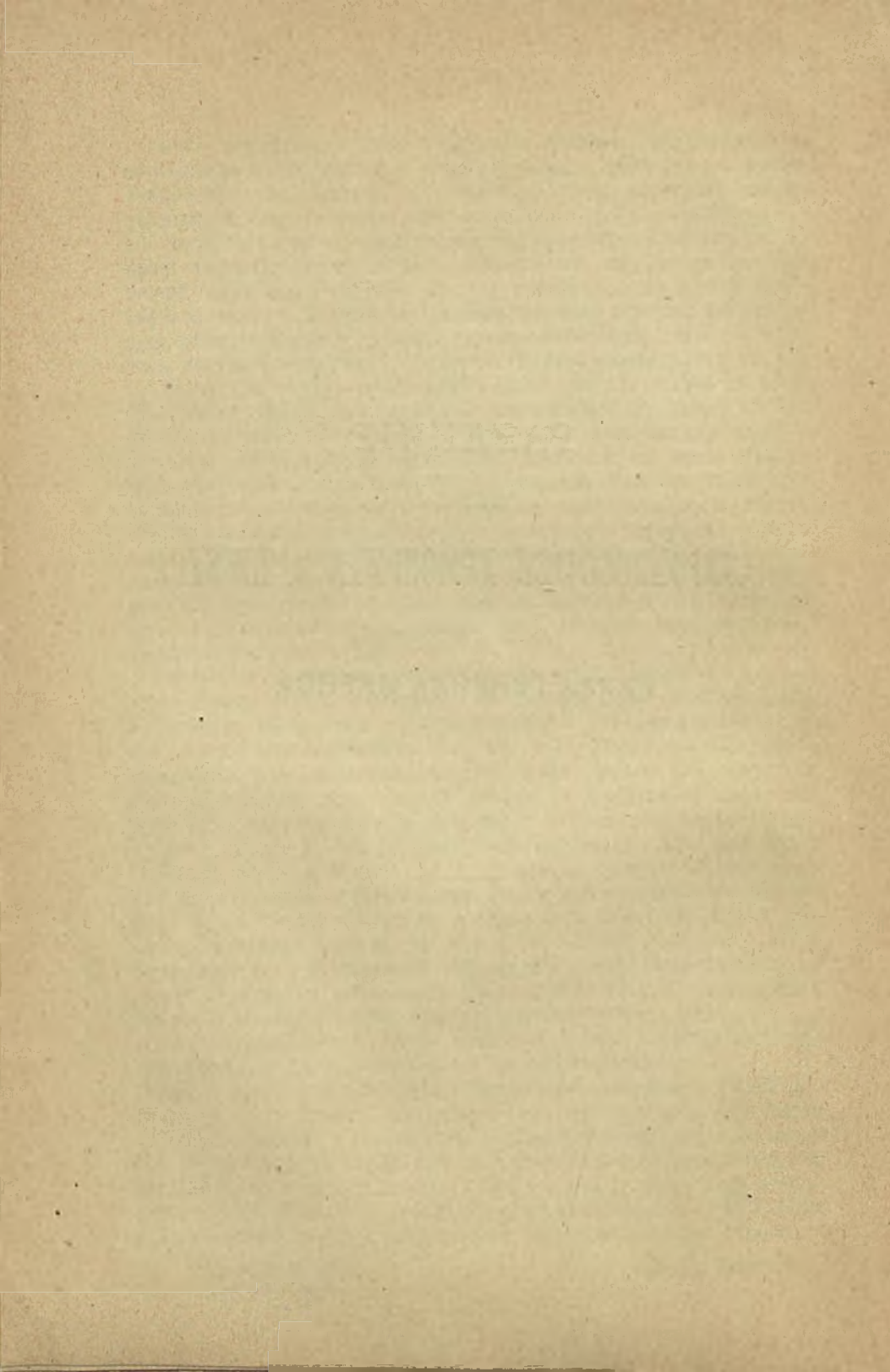
РАЗЛИЧІЕ

МЕЖДУ

НАТУРФИЛОСОФІЕЙ ДЕМОКРИТА И ЭПИКУРА

ДОКТОРА ФИЛОСОФІИ

КАРЛА ГЕНРИХА МАРКСА



ВВЕДЕНИЕ.

Диссертация Карла Маркса на академическую степень доктора не была напечатана. Но сохранилась просмотрѣнная имъ самимъ рукопись, предназначенная для печати. Нѣсколько листовъ ея, къ сожалѣнію, затерялись въ теченіе шестидесяти лѣтъ; самая важная часть ея, однако, сохранилась, такъ что можно до извѣстной степени восполнить пробѣлы. Работа эта не лишена извѣстнаго значенія, какъ научное изслѣдованіе; но гораздо большее значеніе имѣетъ она, какъ самое раннее произведеніе, оставшееся у насъ изъ умственной дѣятельности Карла Маркса. Но, чтобы вѣрно оцѣнить это значеніе, нужно оживить поблѣднѣвшія строки запыленныхъ страницъ тѣмъ, что можно извлечь изъ печатныхъ или рукописныхъ источниковъ о юношескихъ годахъ автора.

1. Въ родительскомъ домѣ.

Въ Словарѣ общественныхъ наукъ Энгельсъ начинаетъ свою статью о Марксѣ слѣдующими словами: «Генрихъ Карлъ Марксъ родился въ Трирѣ 5 мая 1818 г. Онъ былъ сыномъ адвоката, а впоследствии—юстиціи совѣтника Генриха Маркса, который, какъ явствуетъ изъ свидѣтельства о крещеніи сына, перешелъ въ 1824 году вмѣстѣ со своимъ семействомъ изъ іудейства въ протестантизмъ». Для объясненія этого перехода, буржуазный компиляторъ рассказываетъ, что адвокатъ Генрихъ Марксъ при взятіи Трира пруссаками, т. е. въ 1815 г., былъ поставленъ предъ альтернативой: либо креститься, либо отказаться отъ своей профессіи, — сказка, разбивающаяся указаннымъ Энгельсомъ днемъ крещенія.

Но и свидѣнія Либкнехта объ этомъ крещеніи оказываются невѣрными. По его версіи, вскорѣ послѣ рожденія Карла Маркса, изданъ былъ эдиктъ, по которому всѣмъ евреямъ поставлена была альтернатива: либо креститься, либо отказаться отъ всякаго оффиціального положенія или дѣятельности. Отецъ долженъ былъ подчиниться неизбѣжному и перешелъ вмѣстѣ со своимъ семействомъ въ христіанство. Двадцать лѣтъ спустя ставшій взрослымъ мальчикъ далъ первый отвѣтъ на этотъ актъ насилія въ своей статьѣ о еврейскомъ вопросѣ. Затѣмъ вся его жизнь была от-

вътомъ и реваншемъ. Но такого эдикта, о которомъ говоритъ Либкнехтъ, никогда не было издано. Какъ бы ни были велики прегрѣшенія прусскаго государства, оно, однако, не сдѣлало семейства Маркса мученикомъ еврейской религiи. И статья о еврейскомъ вопросѣ совершенно иного характера, чѣмъ можно было бы предположить изъ этихъ указанiй Либкнехта.

Въ Рейнской провинции дѣйствовалъ кодексъ Наполеона, дававшiй евреямъ полное равноправiе со всѣми остальными гражданами провинции. Правда, это равноправiе уже при французскомъ господствѣ ограничено было эдиктомъ 17 марта 1808 года, но лишь по отношенiю къ евреямъ-ростовщикамъ. Эдиктъ этотъ ни единымъ словомъ не касался еврейской религiи, а запрещалъ лишь евреямъ давать деньги подъ залогъ прислугѣ или наемнымъ рабочимъ, принимать орудiя, инструменты, одежду отъ рабочихъ, пощенниковъ, прислуги и т. д. Онъ былъ изданъ временно на десять лѣтъ, но его постигла обычная судьба всѣхъ законовъ о ростовщичествѣ. Когда въ 1818 году рейнскiя власти, въ томъ числѣ губернаторъ Трира, должны были сообщить, что еврейское ростовщичество не уменьшилось, то прусское правительство, по обычной близорукости всякой реакци, возобновило эдиктъ. Во всѣхъ остальныхъ отношенiяхъ рейнскiе евреи не страдали отъ эдиктовъ; фактически они страдали лишь постольку, поскольку ихъ исключали изъ прямыхъ государственныхъ должностей. Нѣсколькимъ мелкимъ чиновникамъ, бывшимъ еще раньше на французской службѣ, Гарденбергъ втихомолку назначилъ пенсiю. Ни эта практика, ни тотъ эдиктъ совершенно не коснулись адвоката Генриха Маркса, который, перешедши въ 1824 году изъ еврейства въ христіанство, не уступалъ внѣшнему давленiю и не стремился къ какимъ-либо внѣшнимъ выгодамъ, а просто послѣдовалъ своему свободному рѣшенiю.

Гейне, который приблизительно въ то же самое время сдѣлалъ такой же шагъ, называетъ свидѣтельство о крещенiи билетомъ на доступъ къ европейской культурѣ. Этимъ мѣтко была указана причина, побуждавшая многихъ образованныхъ евреевъ переходить въ христіанство, съ тѣхъ поръ, какъ Моисей Мендельсонъ старался ввести свою «Націю» въ общедѣйствующую культуру. Этимъ они не думали замѣнить вѣру въ Иегову вѣрой въ Христа, но хотѣли и внѣшнимъ образомъ оторваться отъ еврейства, отъ котораго они въ душѣ отказались. Въ то время этотъ актъ эмансипаци не могъ совершиться иначе, какъ переходомъ въ христіанство. Въ письмѣ къ своему сыну Карлу, Генрихъ Марксъ признается въ своей «чистой вѣрѣ въ Бога», какъ ее признавали Ньютонъ, Локкъ, Лейбницъ. Въ формѣ протестантизма, являвшагося въ то время также и терпимымъ рационализмомъ, христіанство терпѣло Лейбница, между тѣмъ какъ иудейство не могло терпѣть Спинозу. Вѣдь самъ добрейшiй Моисей Мендельсонъ чуть не умеръ отъ страха, когда онъ уже больше не могъ скрывать отъ себя, что его уважаемый другъ Лессингъ послѣдователь Спинозы.

Возможно, что у Генриха Маркса было какое-нибудь внѣшнее побужденiе, когда онъ въ 1824 году перешелъ со своимъ семействомъ въ хри-

стванство; въ томъ году произошло нѣсколько сотенъ подобныхъ крещеній. Сельскохозяйственный кризисъ двадцатыхъ годовъ сильно поднялъ еврейскую торговлю имѣніями. На всѣхъ восьми прусскихъ провинціальныхъ ландтагахъ, вскорѣ послѣ этого собравшихся въ первый разъ, разгорѣлась фанатическая ненависть къ евреямъ, которую нельзя было объяснить одной умственной ограниченностью этихъ реакціонныхъ собраній. Даже рейнский провинціальный ландтагъ хотѣлъ въ 1826 году лишить евреевъ коммунальныхъ и государственныхъ гражданскихъ правъ. Но, по существу, Генрихъ Маркъ, по своему свободному образованію былъ далеко отъ іудейства, и эта полная свобода отъ еврейскихъ предрасудковъ перешла къ Карлу Марксу по наслѣдству изъ его родительскаго дома.

Но онъ, однако, не дышалъ еще тамъ революціонной атмосферой. Генрихъ Маркъ выбился изъ жестокой нужды. Онъ пишетъ о своей «тернистой юности», которая озарялась для него только любовью его матери. Какъ видно, онъ рано лишился отца и пробылъ собственными силами. Въ тяжелые годы, послѣ такъ называемыхъ освободительныхъ войнъ, онъ добился скромнаго, но не беззаботнаго благосостоянія, а такъ какъ эти тяжелые годы были вмѣстѣ съ тѣмъ и временемъ затпшья, то ничто сильно не манило къ общественной борьбѣ, для которой его нѣжная натура вообще едва ли была создана.

Написанный имъ набросокъ, правда, лишь отрывочныя мысли, набросанныя, судя по содержанію, въ началѣ нѣмецкихъ епископскихъ смутъ, защищаетъ право абсолютнаго монарха ради безопасности государства нарушать законъ; и когда Карлъ Маркъ въ свои университетскіе годы задумалъ выступить съ драмой, отецъ рекомендовалъ ему лучше оду въ высокомъ стилѣ, сюжетомъ которой долженъ былъ быть тяжелый моментъ въ прусской исторіи, гдѣ судьба рѣшительно наклоняетъ вѣсы въ одну сторону. «Моментъ этотъ долженъ быть почетнымъ для Пруссіи, должна также быть возможность удѣлить роль генію монархин и ужъ, конечно, духу очень благородной королевы Луизы». Такимъ моментомъ является битва при Бель-Азіансѣ. «Въ самомъ дѣлѣ вовсе не трудно вдохновиться этимъ моментомъ, такъ какъ неудача его повергла бы человечество и въ особенности духъ въ вѣчныя цѣли рабства. Только современные двуличіе либералы могутъ боготворить какого-нибудь Наполеона. Въ дѣйствительности же при его господствѣ никто не смѣлъ вслухъ подумать то, что во всей Германіи и въ особенности въ Пруссіи писали каждый день безпрелитственно. И кто изучалъ и понималъ свою исторію, тотъ съ чистой совѣстью долженъ радоваться его паденію и побѣдѣ Пруссіи». Какимъ Генрихъ Маркъ рисуется въ своихъ письмахъ къ сыну, онъ очень мало походитъ на рейнскаго адвоката еврейскаго происхожденія и французскаго юридическаго образованія. Онъ гораздо болѣе похожъ на тонко и свободно образованныхъ адвокатовъ съ нѣмецкимъ юридическимъ образованіемъ, классическимъ типомъ которыхъ являлся старый Циглеръ; и какъ послѣдній перешелъ въ судъ, точно такъ же и Генрихъ Маркъ въ послѣдніе годы своей жизни носился съ подобнымъ же намѣреніемъ.

Все его счастье составляла его семья, его «милая, добрая Гансье»,

какъ онъ ласкательно называлъ свою жену, и ихъ дѣти. Жена его была голландской еврейкой, рожденной Генриеттой Пресбургъ. Внучка ея Элеопора Марксъ пишетъ о ней: «Въ началѣ XVI столѣтія, Пресбургъ, заимствовавшіе свое имя отъ города Пресбурга, переселились въ Голландію, гдѣ сыновья въ теченіе столѣтій были раввинами. Мать говорила по-голландски; до самой своей смерти она говорила по-нѣмецки съ ошибками и съ трудомъ». Эта характеристика подтверждается тѣми немногими письмами, которые сохранились отъ матери, причемъ неуклюжія выраженія нисколько не затемняютъ милого существа женщины, о которой и ея мужъ, и ея сынъ единогласно говорили, что вся ея жизнь была одной сплошной жертвой любви и вѣрности. Этотъ чрезвычайно счастливый бракъ былъ щедро благословенъ дѣтьми, изъ которыхъ многія рано умерли, другія же, повидимому, были не особенно способны. Объ одному братѣ, пзучавшемъ въ Брюсселѣ торговлю, отецъ пишетъ: «И многого жду отъ его прилежанія, но тѣмъ менѣе отъ его способностей. Жаль, что этотъ добрый мальчикъ не имѣетъ лучшихъ способностей». И съ юмористическимъ тяжкимъ вздохомъ онъ прибавляетъ: «Дѣвочки молодцы и прилежны. У меня волосы дыбомъ становятся, когда я думаю, что теперь этотъ товаръ имѣетъ цѣну лишь позолоченный, я же такъ плохо знаю это искусство». Старшей изъ дѣтей была дѣвочка, ее звали Софіей; затѣмъ явился Карлъ, который уже съ самаго ранняго дѣтства былъ надеждой и гордостью родителей.

Его «блестящія природныя дарованія» возбуждали въ отцѣ предчувствіе, что они когда-нибудь послужатъ ко благу человѣчества, а мать называла его «счастливецемъ», такъ бодро и весело вступалъ мальчикъ въ жизнь, и такъ все ему удавалось. Уже въ семнадцать лѣтъ онъ окончилъ трирскую гимназію. Его аттестатъ объ окончаніи гимназіи помѣченъ 25 сентября 1835 года. Тамъ говорится о его хорошемъ поведеніи и хорошихъ способностяхъ, указано на его прилежаніе въ древнихъ языкахъ: въ нѣмецкомъ и въ исторіи успѣхи его весьма удовлетворительны, въ математикѣ удовлетворительны, во французскомъ—посредственны, его знаніе нѣмецкаго языка довольно хорошо и т. д.

Въ свѣдѣтельствѣ его въ свѣдѣніяхъ объ успѣхахъ въ латинскомъ и греческомъ языкахъ имѣется личная замѣтка. Тамъ сказано, что Карлъ Марксъ часто умѣлъ переводить и объяснять самыя трудныя мѣста изъ древнихъ классиковъ, «особенно тѣ, гдѣ трудность заключалась не столько въ особенностяхъ языка, сколько въ самомъ вопросѣ и во взаимной связи мыслей»; что его латинскія сочиненія со стороны содержанія обнаруживаютъ богатство мыслей и глубокое пониманіе предмета, но въ нихъ часто много лишняго.

Съ этимъ свѣдѣтельствомъ Карлъ Марксъ поступилъ въ боннскій университетъ на юридическій факультетъ, гдѣ, повидимому, въ теченіе цѣлаго года предавался всѣмъ увлеченіямъ студенческой жизни. Отецъ напоминаетъ ему впоследствии въ одномъ очень сердитомъ письмѣ, о которомъ рѣчь будетъ еще впереди, о «бурной» жизни въ Боннѣ, объ убитоженной «долговой книгѣ». Все же это не было особенно серьезно, какъ это видно

даже изъ отцовскихъ писемъ за время студенчества въ Боннѣ. Тамъ, на примѣръ, сказано: «твой счетъ, дорогой Карлъ, à la Карлъ, безъ связи, безъ штога»; даже отъ ученаго требуется аккуратность, а тѣмъ болѣе отъ юриста-практика. Или же отецъ, въ порывѣ признанія, что въ очаровательные дни первой любви ему самому никогда не удавался ни одинъ стихъ, предостерегаетъ отъ страсти молодого поэта къ типографскимъ черниламъ. Сила такихъ полубоговъ, какъ поэты, должна проявиться въ первомъ же стихѣ, чтобы всякій могъ узнать посланника небесъ. «Мнѣ было бы больно, если бы ты выступилъ обыкновеннымъ поэтикомъ». Или же онъ спрашиваетъ: «Развѣ дуэлированіе такъ тѣсно переплетено съ философіей?» Но тутъ же онъ совѣтуетъ «не предаваться чрезмерно наукамъ», рекомендуетъ гулять и ѣздить верхомъ и въ концѣ-концовъ онъ даже «въ общемъ ничего не имѣетъ противъ счетовъ à la Карлъ», такъ что бурные порывы первыхъ семестровъ перебрадили въ извѣстныхъ границахъ.

Перваго іюля 1836 года отецъ не только даетъ позволеніе, но и высказываетъ свое желаніе, чтобы въ слѣдующемъ семестрѣ сынъ его Карлъ поступилъ въ берлинскій университетъ и продолжалъ тамъ изученіе юридическихъ и камеральныхъ наукъ, начатое въ Боннѣ. Но передъ отъѣздомъ въ Берлинъ, Карлъ обручился съ Дженни фонъ Вестфаленъ.

Семейство Вестфаленъ жило въ Трирѣ лишь со времени присоединенія его къ Пруссіи. Оно принадлежало къ жалованному дворянству, но у него было историческое имя, которое приобрѣлъ Филиппъ Вестфаленъ, будучи правой рукой герцога Фердинанда Брауншвейгскаго во время великой Семилѣтней войны. Этотъ скромный человекъ, пренебрегавшій всякими военными титулами, командовалъ въ побѣдоносныхъ походахъ, которые оградили западную Германію отъ завоевательныхъ стремленій бурбонскаго деспотизма. Въ видѣ единственной добычи, онъ привезъ съ войны свою невѣсту, Дженни Висгартъ Питтаровъ, дочь городского священника изъ Эдинбурга, появившуюся въ лагерь герцога Фердинанда, чтобы навѣстить свою сестру, вышедшую замужъ за генерала англійскихъ вспомогательныхъ войскъ.

Въ письмѣ къ Либнехту, напечатанномъ въ его статьѣ о Марксѣ, Элеонора Марксъ пишетъ, что она никогда не могла точно установить шотландскаго родства своей семьи. Такимъ образомъ приходится сдѣлать здѣсь нѣсколько разъясненій, безъ которыхъ въ противномъ случаѣ легко можно было бы обойтись. Висгарты принадлежали къ старѣйшимъ баронскимъ фамиліямъ въ Шотландіи. Джорджъ Висгартъ, одноименный предокъ отца Дженни по прямой восходящей линіи, былъ въ 1547 году сожженъ на кострѣ во время борьбы съ кардиналомъ Бьюномъ за введеніе реформационной въ Шотландіи. Матерью Дженни была Кемпбелъ овъ Орчардъ; она также происходила изъ шотландской дворянской фамиліи и имѣла въ числѣ своихъ предковъ еще болѣе извѣстнаго мученика, того Карла Арчибалда Ардгилла, которому во время освободительной борьбы противъ Якова II, какъ мятежнику, отрубилъ голову на базарѣ въ Эдинбургѣ. Впрочемъ, всякій знаетъ изъ Маколея и Вальтеръ Скота, что героизмъ дворянства

горной Шотландіи имѣлъ и чрезвычайно серьезныя темныя стороны. И сама Элеонора Марксъ, свободная отъ гордости предками, въ вышеупомянутомъ письмѣ называетъ фамилію Кемпбелей прямо отвратительной.

Но чтобы имѣть возможность увезти дѣвушку такихъ дворянскихъ фамилій, Филиппъ Вестфаленъ долженъ былъ по господствовавшимъ тогда сословнымъ предразсудкамъ «принять» дворянство, какъ бы энергично онъ ни отказывался отъ всякихъ военныхъ титуловъ. По окончаніи Семилѣтней войны онъ жилъ въ качествѣ мелкаго землевладѣльца въ счастливѣйшемъ супружествѣ съ женой, которая во всѣхъ отношеніяхъ была достойна его. Младшимъ сыномъ ихъ и единственнымъ по характеру и по уму упоминавшимся родителей былъ Людвигъ ф.-Вестфаленъ, которому Марксъ посвятилъ свою докторскую диссертацию, какъ старшему другу своей юности и отцу своей невесты. Онъ былъ ландратомъ въ Зальцведенѣ. Здѣсь у него 12 февраля 1814 года родилась его дочь Джени. Два года спустя онъ былъ переведенъ совѣтникомъ въ Триръ, и здѣсь между его семьей и семьей Маркса завязались дружескія отношенія. Дѣти выросли вмѣстѣ, и Карлъ Марксъ уже въ раннемъ дѣтствѣ былъ любимцемъ стараго Вестфалена, о которомъ онъ всю свою жизнь говорилъ съ величайшей привязанностью и благодарностью. Безъ сомнѣнія онъ здѣсь получилъ многія впечатлѣнія, которыя не могъ дать ему его родительскій домъ. Вестфаленъ могъ декламировать съ начала до конца цѣлыя пьесы Гомера, онъ зналъ наизусть по-англійски и по-нѣмецки большую часть драмъ Шекспира. И этимъ поэтамъ и Карлъ Марксъ всегда оставался вѣрнымъ.

Но, конечно, восемнадцатилѣтній юноша, вмѣшившій за собой лишь два весело прожитыхъ семестра, не могъ явиться къ почти семидесятилѣтнему старцу сватать его дочь. Поэтому онъ обручился съ Джени безъ вѣдома ея родителей, между тѣмъ какъ его родители уступили его настойчивымъ просьбамъ съ «добродушіемъ настоящихъ родителей романа», какъ однажды жаловался отецъ, который всегда привыкъ идти прямой дорогой, и потому съ трудомъ мирился съ тайной, которая такъ легко могла бросить ложный свѣтъ на него и его жену. Но они нашли усноженіе въ вѣрномъ инстинктѣ родительской любви, который ихъ и не обманулъ, въ непоколебимой увѣренности, что въ этомъ сердечномъ союзѣ заключается будущее счастье обрученныхъ.

Невеста проявила съ самаго начала рѣдкія качества ума и сердца, которыми она отличалась всю жизнь. Богато одаренная, «самая красивая дѣвушка въ Трирѣ», дочь и сестра высокопоставленныхъ чиновниковъ—ея сводный братъ, который былъ на пятнадцать лѣтъ старше ея, впоследствии феодально-реакціонный министръ, въ то время тоже служилъ въ Трирѣ и, въ качествѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника и начальника отдѣленія, превзошелъ даже своего отца въ области бюрократическихъ усилковъ, — и вдругъ невеста студента, моложе ея на четыре года. Это обстоятельство въ атмосферѣ маленькаго бюрократическаго города представляло довольно много терпѣевъ даже для храбраго и сильнаго сердца. Но не объ этомъ заботилась невеста, а о тяжелой обязанности, которую она,

старшая и болѣе опытная, налагала на молодую, только что расцвѣтающую, полную надеждъ жизньъ.

Съ поѣздкой въ Берлинъ для Карла Маркса началась серьезная борьба его жизни.

2. Университетскіе годы.

Съ тѣхъ поръ какъ Гегель занималъ въ берлинскомъ университетѣ кафедру философіи, а Шлейермахеръ теологіи, этотъ университетъ сталъ Меккой пѣмцевой божественной и свѣтской мудрости. Со всѣхъ концовъ отечества въ его аудиторіи устремлялись жаждущіе знанія юноши, даже изъ южной Германіи, какъ Давидъ Штраусъ и Людвигъ Фейербахъ, которымъ трудно было перевоспитать природу и жизнь сѣверной Германіи. Ярче всего свѣтъ этотъ сіялъ въ тридцатыхъ годахъ; во второй половинѣ тридцатыхъ годовъ это была уже лишь блестящая игра цвѣтовъ заката. Въ серединѣ десятилѣтія началось экономическое развитіе, которое вырвало почву изъ подъ ногъ у господства философіи и теологіи. Старое великолѣпіе поколебалось въ своихъ основаніяхъ, а новое мѣсто славы только еще начинало подготавливаться. Молодая школа выдающихся натуралистовъ сгруппировалась вокругъ Александра ф.-Гумбольдта, который, какъ нѣкогда Эразмъ «человѣкъ въ себѣ», былъ больше близъ университета, чѣмъ въ немъ самомъ.

Берлинскіе гегельянцы, какъ молитву, повторяли консервативныя слова учителя и состряпали его систему въ видѣ прусской государственной философіи. Это была группа посредственностей, и самый посредственный изъ нихъ, естественно, сидѣлъ на кафедрѣ Гегеля; то былъ прѣжній ректоръ Габлеръ изъ Байрейта, котораго Гумбольдтъ осмѣивалъ, называя «роковой вилкой» *). Всѣ они чувствовали себя еще въ неприступной крѣпости, несмотря на то, что съ появленіемъ въ свѣтъ «Жизни Иисуса» Штрауса вѣчная твердыня системы дала трещины. Еще глубже подкопала эта замѣчательная книга теологическій факультетъ и обнаружила тамъ одну безпомощность. Маргейнке и его молодой протеже Бруно Бауеръ, издавнѣ вмѣстѣ гегелевскую философію религіи, со спекулятивнымъ высокоуміемъ отвергли историческую критику евангелія Штрауса. Неандеръ написалъ въ противовѣсъ набожную «Жизнь Иисуса», робкую и жалкую статью, къ которой Штраусъ съ злой ироніей сдѣлалъ слѣдующій эпиграфъ: Я вѣрую, Господи, помоги моему невѣрію. Генгстенбергъ же, — карриатура главнаго пастора Гёце, какъ этотъ послѣдній представлялъ карриатуру Мартина Лютера, — съ яростью напалъ на смѣлаго поватора. Теологія Шлейермахера, сотканная изъ романтическихъ ткачей, разсыялась съ его послѣднимъ дыханіемъ. Все же этому «всякому богослову» выпала болѣе счастливая доля, чѣмъ его рационалистическому противнику, старому Паулусу въ Гейдельбергѣ, который своими сѣдыми волосами началъ внушать отвращеніе талантливой молодежи. У Людвигъ Фейербаха былъ

*) Непередаваемая игра словъ Gabler—Gabel.

неистощимый запасъ рѣзкихъ гиперболъ, которыми онъ клеймилъ искусственные приемы въ толкованіи библіи, приемы, которые съ устроуміемъ коровницы до тѣхъ поръ истязали бѣдныхъ, невинныхъ, беззащитныхъ слова, пока они не признавали за собой такого значенія, какого они никогда не имѣли.

Иначе и до извѣстной степени лучше обстояло дѣло въ области юридическихъ наукъ, гдѣ именно въ берлинскомъ университетѣ о важныхъ проблемахъ спорили сильные умы. Противъ Савиньи, главы исторической школы права, выступалъ Эдуардъ Гансъ, философски образованный юристъ. Онъ принадлежалъ къ берлинскимъ гегелианцамъ и издавалъ вмѣстѣ съ ними *Jahrbücher der wissenschaftlichen Kritik*, но, въ отличие отъ всѣхъ ихъ, онъ серьезно старался разработать философскимъ методомъ реальную область науки. Онъ выступилъ уже противъ самого Гегеля, когда тотъ въ послѣдніе годы своей жизни неуважительно высказался о французской июльской революціи и объ англійскомъ биллѣ о реформѣ. Гансъ велъ непримиримую войну противъ исторической школы права, которая защищала всякое историческое право только потому, что оно возникло исторически. Онъ бичевалъ въ этой школѣ «узость, тупость и безжизненность, вредное вліяніе, которое она оказывала на законодательство и развитіе права, убогую важность, которой она, какъ мантией, прикрывала свои уродливые члены». Онъ самъ старался въ своихъ лекціяхъ поднять право изъ «узкаго круга», въ который оно было втиснуто, и снять съ него «цѣпи рабства», ввелъ его въ «большой родственный кругъ историческихъ и философскихъ дисциплинъ». Гансъ былъ возбуждающимъ энтузіазмъ учителемъ и серьезнымъ изслѣдователемъ, предъ которымъ открывалась еще блестящая карьера, когда онъ скоропостижно умеръ въ 1839 году въ самомъ цвѣтущемъ возрастѣ.

Лекціи Савиньи и Ганса были первыми, на которыя Карлъ Маркъ записался, когда онъ 22 октября 1836 года былъ зачисленъ въ берлинскій университетъ. Впослѣдствіи, возвращаясь къ своимъ университетскимъ годамъ, онъ писалъ: «Для профессіи я изучалъ юриспруденцію, но я ею занимался лишь какъ подчиненной дисциплиной, наряду съ философіей и исторіей». Это утвержденіе съ вѣшной стороны находится въ рѣзкомъ противорѣчьи со спискомъ тѣхъ двѣнадцати предметовъ, которые Маркъ въ теченіе девяти семестровъ слушалъ въ берлинскомъ университетѣ. Большая часть изъ нихъ относится къ юриспруденціи, но философій былъ только одинъ курсъ и по исторіи ни одного. Слушалъ Маркъ у Савиньи пандекты, у Ганса—уголовное право и прусское государственное право, у Гефтера—церковное право, уголовное судопроизводство и общее нѣмецкое гражданское судопроизводство, у Рудорфа—наслѣдственное право; къ этому надо прибавить еще практическія занятія по философіи, теологіи и филологіи; логику у Таблера, Исаію у Бруно Вауера, Еврипида у Гепперта. Затѣмъ Маркъ слушалъ еще общую географію у Риттера, знаменитаго творца сравнительной географіи, и, наконецъ, антропологию у романтическаго натурфилософа Стеффенса, который въ то время однажды на экзаменѣ выразилъ порицаніе молодому геологу за то, что онъ больше

занимался предметамъ, чѣмъ абсолютами. Выраженіе это мѣтко указываетъ, насколько естественныя науки еще должны были бороться за свое равноправное положеніе въ прусскихъ университетахъ. Во время своего студенчества въ Боннѣ Карлъ Марксъ отклонилъ желаніе отца, чтобы онъ слушалъ лекціи по химіи и физикѣ, на томъ основаніи, что предметы эти тамъ были плохо поставлены, и отложилъ это на Берлинъ. Но здѣсь они немногимъ лучше были поставлены, и Стеффенсъ, котораго Марксъ слушалъ въ первомъ семестрѣ одновременно съ Савиньи и Гансомъ, конечно, не могъ внушать серьезнаго интереса къ изученію естественныхъ наукъ.

Правда, списокъ лекцій, которыя Марксъ слушалъ во время своего пребывания въ Берлинѣ, съ вѣншей стороны не согласуется съ тѣмъ, что онъ изучалъ юриспруденцію, какъ дисциплину подчиненную, наряду съ философіей и исторіей, но списокъ этотъ даетъ въ то же время неправильное и даже невѣрное представленіе о томъ, чѣмъ онъ занимался въ берлинскомъ университетѣ. Со времени изобрѣтенія книгопечатанія академическія лекціи вообще являются анахронизмомъ. Но для среднихъ умовъ онѣ, однако, могутъ быть вполне полезны и цѣлесообразны, давая медленно и въ небольшихъ дозахъ научный матеріалъ. Для живыхъ же умовъ невыносимо въ теченіе семестровъ или долгихъ лѣтъ по каплямъ воспринимать то, что можно основательнѣе изучить въ нѣсколько дней безпрерывнаго и тѣмъ болѣе вдумчиваго чтенія. Самые продуктивныя умы обыкновенно начинаютъ съ самаго труднаго, какъ Лейбницъ говорилъ о себѣ, что противорѣчить университетскому преподаванію, начинающемуся, наоборотъ, съ самаго легкаго.

Карлъ Марксъ уже въ университетѣ работалъ, какъ продуктивный умъ. Вполнѣ согласно съ дѣйствительностью, его выпускное свидѣтельство изъ берлинскаго университета говоритъ, что онъ «посѣщалъ» лекціи Бруно Бауера, «очень прилежно» посѣщалъ оба курса Ганса; но оно краснорѣчиво умалчиваетъ о рвеніи, съ которымъ онъ исполнялъ заданныя работы. Если не считать Бруно Бауера, который былъ больше его другомъ, чѣмъ учителемъ, то Гансъ былъ единственнымъ изъ его университетскихъ преподавателей, который возбуждалъ и поощрялъ его къ умственной работѣ. И это чувствуется въ его первыхъ работахъ, въ особенности въ томъ необыкновенно рѣзкомъ тонѣ, въ которомъ онъ выступаетъ противъ исторической школы.

Между тѣмъ Карлъ Марксъ отказался отъ практической юридической карьеры и рѣшилъ посвятить себя научной дѣятельности, къ которой онъ думалъ быстро проложить себѣ путь литературными работами. Каковы бы ни были вообще возраженія противъ нея, но въ тѣ времена цензуры она давала хоть сколько-нибудь вѣрную гарантію литературной и вообще общественной дѣятельности. Отецъ не препятствовалъ этимъ планамъ. Ему было совершенно безразлично, какую спеціальность Карлъ изберетъ, въ «конечномъ счетѣ» онъ даже склоненъ былъ ему совѣтовать скорѣе избрать философію, чѣмъ юриспруденцію. Онъ теперь даже относится благосклонно къ поэтическимъ наклонностямъ сына и совѣтуетъ ему составить себѣ имя упомянутой выше прусской одой въ высокомъ стилѣ. Онъ даже го-

ворить о планѣ драматическаго журнала, причемъ однако его беретъ раздумье, что добрейшій ученый Лессингъ жгъ далеко не на розахъ и умеръ бѣднымъ библиотечаремъ. Прежде всего отца угнетаетъ забота объ «ангельской душѣ», которая совершенно покорила его сердце. «Чародѣйка» и его очаровала, и въ каждомъ письмѣ онъ побуждаетъ сына быстрой и усидчивой работой разсѣять тѣни опасной и невѣрной будущности, которой Джени ф.-Вестфаленъ пожертвовала своими блестящими видами. Онъ даже подаетъ сыну совѣты, какія письма тотъ долженъ писать своей невѣстѣ. Въ письмахъ должно быть выражено нѣжное беззавѣтное чувство, но они должны быть написаны простымъ и яснымъ языкомъ; ихъ ни въ коемъ случаѣ не должна диктовать фантазія поэта.

Но при всей своей трогательной заботливости онъ все болѣе и болѣе чувствуетъ, что Карлъ не нуждается уже въ его отцовскихъ совѣтахъ. Несмотря на искренность любви между ними обоими, имъ не чужды были трагическій разладъ, такъ часто возникающій въ періоды подъема между отцами и дѣтьми, трагическій потому, что каждая сторона по-своему права; старое поколѣніе не въ состояніи болѣе понять новой жизни; и раны въ этой борьбѣ тѣмъ сильнѣе болятъ, чѣмъ болѣе отцы уважаютъ дѣтей и дѣти отцовъ.

У насъ не сохранилось писемъ сына, кромѣ одного, къ счастью, вѣроятно, самаго важнаго; но въ письмахъ отца видно, какъ постепенно разрастаются зародыши разлада. Сначала его раздражаютъ нѣкоторыя мелочи, тѣмъ болѣе раздражаютъ, что его также начинаетъ мучить злой кашель, а вскорѣ и ревматизмъ; его раздражаетъ также неразборчивый почеркъ, неаккуратное писаніе писемъ, то, что Карлъ не посѣщаетъ публичныхъ и вліятельныхъ людей, которые могли бы быть ему полезны. Когда человѣку приходится заботиться не объ одномъ только себѣ, благородіе требуетъ, чтобы онъ запасся нѣкоторой опорой, разумѣется, въ благородной и достойной формѣ. Несмотря на свои сѣдые волосы и нѣсколько надломленный духъ, отецъ хочетъ еще быть строптивымъ и презирать все низкое. Но онъ думаетъ, что гордой молодежи въ цвѣтѣ жизни подчасъ кажется униженіемъ то, что является лишь обязанностью по отношенію къ себѣ и къ тѣмъ, о благѣ которыхъ приходится заботиться.

Но въ декабрѣ 1836 года отецъ, однако, уже пишетъ: «Твои взгляды на право не лишены истины, но, приведенные въ систему, они способны вызвать бурю; а ты не знаешь, какъ сильны научныя бури. Если предосудительное по существу не можетъ быть вполнѣ устранено, то, по крайней мѣрѣ, форма должна быть мягче и пріятнѣе». Въ мартѣ 1837 года онъ опять пишетъ: «Удивительно, что я, по натурѣ такой лѣнтяй писать, совершенно неистощимъ, когда я долженъ писать тебѣ. Я не могу и не хочу скрывать своей слабости къ тебѣ. Сердце мое переполнено подчасъ мыслями о тебѣ и о твоей будущности, и тѣмъ не менѣе я по временамъ не могу отдѣлаться отъ грустныхъ, вызывающихъ страхъ мыслей, когда какъ молнія врѣзывается мнѣ въ голову вопросъ: Соответствуетъ ли твое сердце твоему уму, твоимъ способностямъ? Есть ли въ немъ мѣсто для земныхъ, болѣе нѣжныхъ чувствъ, которые доставляютъ стои-

ко утѣшенія чувствительному человѣку въ сей юдоли скорби! Такъ какъ этииъ сердцемъ владѣть и одухотворять его демонъ, свойственный не всѣмъ людямъ, то какого характера этотъ демонъ, божественнаго ли фаустовскаго?» Этого прекраснаго человѣка, который такъ всецѣло былъ поглощенъ своимъ семейнымъ счастьемъ, мучить вопросъ: воспримчивъ ли его Карлъ къ этому счастью, и сомнѣнія его «стали еще болѣе мучительными» съ тѣхъ поръ, какъ онъ полюбилъ «извѣстную особу», какъ свою родную дочь.

Въ Женнѣ онъ видитъ замѣчательное явленіе. «Она, которая такъ всецѣло отдается тебѣ своей дѣтски чистой душой, по временамъ выказываетъ непронизвольно и противъ своей собственной воли какой-то страхъ, страхъ полный предчувствій, который не ускользаетъ отъ меня и котораго я не умѣю объяснить. Когда я обращаю ея вниманіе на это, она старается уничтожить всякій слѣдъ его въ моемъ сердцѣ». Отецъ не можетъ себѣ этого объяснить, но, благодаря его опытности, его не такъ легко ввести въ заблужденіе. «Меня интересуютъ не только твое быстрое возвышеніе, сладкая надежда, что имя твое со временемъ будетъ окружено великой славой, но и твое земное благополучіе; у меня глубоко вкоренились старыя иллюзіи. Въ сущности, однако, эти чувства по большей части, свойственны слабому человѣку и не лишены патенъ, здѣсь и гордость, и тщеславіе, и эгоизмъ». Осуществленіе этихъ иллюзіи, какъ увѣряетъ отецъ, не сдѣлаетъ его, однако, счастливымъ, если демоническій гений отдалитъ сына отъ болѣе пѣжныхъ чувствъ.

Письмо затѣмъ переходитъ «къ положительному» и одобряетъ намѣреніе Карла открыться родителямъ невѣсты. Они, повидимому, также сейчасъ дали свое согласіе, но тутъ начинаются новыя страданія. Карлъ требуетъ писемъ отъ невѣсты, хотя передъ отъѣздомъ въ Берлинъ онъ удовлетворился обѣщаніемъ писемъ въ будущемъ и отказался отъ всякихъ витѣнныхъ проявленій любви въ настоящемъ. Но Женнѣ въ своей пѣжной заботливости не желаетъ развѣскаать возлюбленнаго своими письмами, хотя даже и отецъ убѣждаетъ ее писать. «Въ ней тоже есть нѣчто гениальное», вздыхаетъ старикъ, у котораго голова начинаетъ кружиться между этими высокими натурами. Онъ, однако, старается успокоить сына: «Ты можешь быть увѣренъ, какъ увѣренъ въ этомъ я (а ты знаешь, я не догковѣренъ), что и князь не въ состояніи отнять ее у тебя. Она и тѣломъ и душой привязана къ тебѣ, и ты никогда не долженъ этого забывать; въ ея возрастѣ она приноситъ тебѣ такую жертву, на которую обыкновенныя дѣвушки, навѣрное, неспособны. Если почему-либо она рѣшилась, что не желаетъ или не можетъ тебѣ писать, то не настаивай ради Бога». Но молодое, горячее сердце не могло такъ легко успокоиться. Карлъ Маркъ впоследствии рассказывалъ своимъ дѣтямъ, что въ любви къ ихъ матери онъ въ то время былъ настоящимъ неистовымъ Роландомъ. Изъ Берлина стали приходить новыя письма, и, что всего болѣе огорчало отца, «безсвязныя» письма.

На одно изъ такихъ писемъ онъ отвѣчаетъ 17 ноября 1837 года. «Это уныніе мнѣ отвратительно, и отъ тебя я менѣе всего этого

ожидалъ. Какія ты можешь имѣть на это основанія? Развѣ тебѣ не улыбалось все съ самой колыбели? Развѣ природа не одарила тебя щедро? Развѣ твои родители не окружили тебя безграничною любовью? Развѣ когда-нибудь тебѣ случалось, чтобы твои разумныя желанія не были исполнены? И развѣ ты не покорилъ непостижимымъ образомъ сердце дѣвушки, въ чемъ тебѣ многіе завидуютъ? И вотъ первая неприятность, первое неисполненное желаніе уже вызываютъ уныніе. Развѣ это сила? Развѣ это мужественный характеръ? Однако «счастливицу» опять улыбается счастье: «добрая мать» «забила тревогу» и «слишкомъ добрые родители твоей Джении едва могли дожидаться минуты, когда бѣдное раненое сердце успокоится, и средство это ужъ, безъ сомнѣнія, въ твоихъ рукахъ». Письмо кончается разрѣшеніемъ Карлу пріѣхать домой на пасхальныя каникулы.

Но съ нимъ размынулось письмо Карла отъ 10 ноября, которое Элеонора Марксъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ напечатала въ журналѣ «Die Neue Zeit» XVI, 1, 6 ff. «Средство» подѣйствовало: «Кланяйся моей милой, чудесной Джении. Я уже двѣнадцать разъ прочиталъ ея письмо, и каждый разъ я въ немъ отрываю новыя прелести. Это во всѣхъ отношеніяхъ, даже въ стилистическомъ, самое лучшее, какое, по моему представленію, можетъ написать женщина». Но выстъ съ тѣмъ въ этомъ длинномъ письмѣ, Карлъ «бросаетъ взглядъ на прожитый годъ, на его событія». Пережитое должно вновь занять въ ощущеніяхъ то мѣсто, которое оно потеряло въ дѣйствіи, «а гдѣ можно найти болѣе святое мѣсто, чѣмъ на груди родителей, самыхъ мягкихъ судей, принимающихъ самое искреннее участіе, солнца любви, огонь которыхъ согрѣваетъ самые сокровенные центры нашихъ стремленій!» Переполненный нѣжности къ любимымъ родителямъ, сынъ открываетъ имъ тайники своей души, какъ онъ жилъ и работалъ и боролся съ вдохновлявшимъ его демономъ.

Когда онъ покинулъ родительскій домъ, для него открылся новый міръ любви «и въ началѣ страстной и безнадежной любви». Поездка, которая въ другое время привела бы его въ восторгъ, не произвела на него впечатлѣнія, напротивъ, даже ужасно разстроила его. «Пріѣхавъ въ Берлинъ, я прервалъ всѣ прежнія связи, изрѣдка и крайне неохотно дѣлалъ нѣкоторые визиты и старался погрузиться въ науку и искусство». При тогдашнемъ его настроеніи первые его опыты «неизбѣжно» должны были быть лирическими произведеніями, «по крайней мѣрѣ, это былъ самый пріятный, самый близкій видъ поэзіи», но по его мировоззрѣнію и всему предыдущему развитію, она была чисто идеалистической. «Столь же далекій, какъ моя любовь, потусторонній міръ сталъ моимъ небомъ, моимъ искусствомъ. Все дѣйствительное расплывается, а все расплывающееся не имѣетъ границъ, нападки на дѣйствительность, широкое и неопредѣленное чувство, ничего естественнаго, все сотканное изъ луны, прямая противоположность между тѣмъ, что есть, и тѣмъ, что должно быть, риторическія размышленія вмѣсто поэтическихъ мыслей, но быть-можетъ также пзвѣстная теплота чувства и стремленіе къ возвышенному характеризуютъ всѣ стпхотворенія первыхъ трехъ томовъ, которые я послалъ Джении». Въ скобкахъ можно сказать, что сестра Софія, бывшая съ самаго начала повѣрен-

ной ихъ любви, писала въ декабрь 1836 года брату, что Дженин, при полученіи этихъ стихотвореній, проливала «слезы блаженства и страданія».

Но поэзіей онъ могъ заниматься лишь «между прочимъ»; «я долженъ былъ изучать юриспруденцію и чувствовалъ, прежде всего, влеченіе къ философіи». Онъ соединилъ одно съ другимъ такимъ образомъ, что отчасти прошелъ Гейнеція, Тибо и источники, «безъ всякой критики, по-ученически»; такъ, напр., онъ перевелъ на нѣмецкій языкъ двѣ первыя книги пандектовъ, отчасти же старался пропштать область права философіей права. «Въ видѣ введенія, я предположилъ нѣсколько метафизическихъ положеній и довелъ эту несчастную работу до публичнаго права; это была работа почти въ триста листовъ». Здѣсь, пожалуй, слѣдовало бы допустить опіску; когда читаешь дальше, что сдѣлалъ этотъ не достигшій еще двадцати лѣтъ юноша въ теченіе одного семестра, то голова идетъ кругомъ уже при ста или даже при тридцати листахъ.

Поразительно, какъ при этой работѣ «противоположность между дѣйствительнымъ и должнымъ, свойственная идеализму», пробуждаетъ молодого діалектика. «Сначала появилась милостиво такъ окрещенная мною метафизика права, т.-е. основанія, размышленія, опредѣленія понятій, оторванныя отъ всякаго дѣйствительнаго права и всякой дѣйствительной формы права, такъ же, какъ у Фихте, но у меня это было новѣе и безсодержательнѣе. При этомъ ненаучная форма математическаго догматизма, когда субъектъ ходитъ вокругъ да около объекта, резонируетъ, вмѣсто того, чтобы предоставить ему самому развернуть свое богатое живое содержаніе, была съ самаго начала препятствіемъ къ постиженію истиннаго. Треугольникъ заставляетъ математика дѣлать построенія и доказывать; онъ остается простымъ представленіемъ въ пространствѣ; онъ не во что другое не развивается, нужно его поставить рядомъ съ чѣмъ-либо другимъ, тогда онъ принимаетъ другія положенія, и это другое, поставленное къ трехугольнику въ различныя положенія, даетъ математику различныя отношенія и истины. Наоборотъ, въ конкретномъ выраженіи живого міра идей, каковыми являются право, государство, природа, вся философія, объектъ самъ долженъ разсматриваться въ своемъ развитіи; здѣсь нельзя вносить произвольныхъ дѣленій, самъ разумъ предмета долженъ развиваться въ себѣ свои собственные противорѣчія и найти въ себѣ свое еднство». Развѣ здѣсь уже не чувствуется будущій творецъ Коммунистическаго манифеста?

Въ видѣ второй части «несчастной работы» послѣдовала философія права, разсмотрѣніе развитія идей въ положительномъ римскомъ правѣ, «какъ будто положительное право въ своемъ идейномъ развитіи (я думаю не въ его чисто временныхъ опредѣленіяхъ) вообще могло быть чѣмъ-нибудь отличнымъ отъ формы развитія понятія права, которое должно было войти въ первую часть». Невозможно было провести раздѣленіе второй части на формальное и матеріальное ученіе о правѣ. «Ошибка моя состояла въ томъ, что я думалъ, что одно можетъ и должно развиваться отдѣльно отъ другого, и такимъ образомъ получалъ не дѣйствительную форму, но комодъ съ ящиками, въ которые я потомъ насыпалъ песокъ». Въ новой

1/1/28326

попыткѣ форму и содержаніе слѣдовало бы связать понятіемъ. «Такимъ образомъ я пришелъ къ такому дѣленію, которое субъектъ въ лучшемъ случаѣ можетъ предлодить въ области легкой и поверхностной классификаціи, но при этомъ исчезъ духъ права и его истина. Все право распалось на договорное и недоговорное». Болѣе подробная схема должна была дать отцу болѣе ясное представленіе объ этой идѣѣ.

«Но зачѣмъ я стану еще наполнять страницы вещамъ, которыя я самъ забросилъ? Трихотомическія подраздѣленія проникаютъ все, это написано съ утомительными деталями; я самымъ варварскимъ способомъ злоупотреблялъ римскими понятіями, чтобы втиснуть ихъ въ мою систему. Съ другой стороны, я такимъ образомъ полюбилъ предметъ и могъ его охватить весь, по крайней мѣрѣ, съ известной стороны. Заканчивая отдѣлъ о матеріальномъ гражданскомъ правѣ я увидалъ ложность всей системы, которая въ основной схемѣ граничитъ съ кантовской, въ исполненіи же совершенно отъ нея отклоняется. И мнѣ снова стало ясно, что безъ философіи нельзя здѣсь обойтись. Такимъ образомъ я съ чистой совѣстью опять бросился въ ея объятія и написалъ новую метафизическую систему, а заканчивая ее, я опять принужденъ былъ признать ея неправильность и ложность всѣхъ прежнихъ моихъ стремленій».

Начавъ такимъ образомъ бороться съ самымъ труднымъ, этотъ неутомимый умъ занимается еще и кое-чѣмъ другимъ. «При этомъ я приобрѣлъ привычку дѣлать выписки изъ всѣхъ тѣхъ книгъ, которыя я читалъ, напр., изъ «Лаокоона» Лессинга, «Эрвина» Зольгера, «Исторіи искусства» Винкельмана, «Нѣмецкой исторіи» Лудена; при этомъ я записывалъ ту же и свои собственныя мысли. Въ то же время я перевелъ Германію Тацита, *libri tristium* Овидія и началъ изучать по учебникамъ англійскій и итальянскій языки, но пока не сдѣлалъ въ нихъ большихъ успѣховъ. Я прочелъ уголовное право Клейна и его *Annalen*, и всю новѣйшую литературу. Въ концѣ семестра я опять сталъ исвать танцевъ музъ и музыки сатировъ, и уже въ той послѣдней тетради, которую я вамъ прислалъ, проявляется идеализмъ въ вымученномъ юморѣ (Скорпіонъ и Феликсъ), въ неудачной фантастической драмѣ (*Oulanen*) пока онъ, наконецъ, не переходитъ окончательно въ чистую форму искусства, но большей части безъ вдохновляющаго объекта, безъ высокаго полета идей. И, однако, эти послѣднія стихотворенія были единственными, въ которыхъ мнѣ вдругъ, точно по волшебству, промелькнулъ міръ истинной поэзіи, какъ далекій волшебный замокъ, увъ — впечатлѣніе въ началѣ было ошеломляющее, и все мои творенія разблалъ въ прахъ».

Вполнѣ понятно, что «при такихъ разнообразныхъ занятіяхъ въ теченіе перваго семестра, проведено много бессонныхъ ночей, происходила внутренняя борьба, испытано много внутреннихъ и вѣншихъ возбужденій», и въ концѣ-концовъ не особенно много приобрѣтено: природа, искусство, свѣтъ были въ пренебреженіи; друзья оттолкнуты. Организмъ также пострадалъ отъ переутомленія. Марксъ жилъ тогда на Старой Лейпцигской улицѣ, 1, въ томъ самомъ домѣ, въ которомъ жилъ Лессингъ въ свои послѣдніе пріѣзды въ Берлинъ. Докторъ совѣтовалъ ему по-

ѣзду въ деревню, и «такимъ образомъ я попалъ въ первый разъ, проѣхавъ весь городъ, къ воротамъ у Стралова». Страловъ, № 4, значитъ на адресѣ писомъ отца. Здѣсь утомленный организмъ быстро оправился, и тогда опять началась умственная дѣятельность.

«Завѣса спала съ моихъ глазъ, моя святая святыхъ была разбита, надо было наполнить ее новыми богами. Отъ идеализма, который я, въ скобкахъ сказать, сравнивалъ и сблизжалъ съ кантовскимъ и фихтевскимъ, я перешелъ къ тому, что въ самой дѣйствительности сталъ искать идею. Если боги раньше жили надъ землей, то теперь они стали центромъ ея. Я читалъ отрывки изъ гегелевской философіи, но мнѣ не нравились ея причудливые дикіе мотивы. Я еще разъ хотѣлъ окунуться въ море, но съ опредѣленнымъ намѣреніемъ найти духовную природу такой же необходимой, конкретной и законченной, какъ и физическую, съ цѣлью не заниматься больше фехтовальнымъ искусствомъ, а раздѣбуть всю полноту истины. Я написалъ діалогъ приблизительно на двадцати четырехъ листахъ: Клеантъ или объ исходномъ пунктѣ и необходимомъ развитіи философіи. Въ немъ объединились до нѣкоторой степени искусство и знаніе, совершенно отдѣлившіяся было другъ отъ друга, и, подобно неутомимому путнику, я самъ принялся за дѣло, за философски-діалектическое развитіе божества, какъ оно проявляется въ видѣ понятія въ себѣ, религіи, природы, исторіи. Мое послѣднее положеніе было началомъ гегелевской системы, и эта работа, для которой я до извѣстной степени познакомился съ естественными науками, Шеллингомъ, исторіей, надъ которой я безъ конца ломалъ себѣ голову, и которая такъ написана (такъ какъ она собственно должна была быть новой логикой), что теперь я самъ съ трудомъ могу въ ней разобраться, это мое возлюбленное чадо, выношенное при лунномъ свѣтѣ, понесло меня, какъ ливная сирена, въ объятія врага. Отъ досады я нѣсколько дней совершенно не могъ думать, бѣгалъ какъ сумасшедшій по саду на берегу грязной Шпрее, «которая моетъ души и разжигаетъ чай», ѣздилъ даже на охоту съ моимъ хозяиномъ, помчался въ Берлинъ и готовъ былъ обнять всякаго встрѣчнаго».

Послѣ этого новаго крушенія въ метафизическихъ областяхъ Карлъ Маркъ бросается въ позитивную науку. «Вскорѣ послѣ этого я сталъ заниматься только позитивными науками; сталъ изучать собственность по Савиньи, уголовное право Фейербаха и Грольмана, de verborum significatione Крамера, систему пандектовъ Веннигъ-Ингенгейма и doctrina Pandectarum Мюленбруха, надъ которыми я все еще работаю, наконецъ, отдѣльныя главы по Гаутербаху, гражданскій процессъ и прежде всего церковное право, изъ котораго первую часть, concordia discordantium canonum Грациана, а также приложеніе, Lancelotti Institutiones, я прочиталъ почти цѣлкомъ въ соприкосновеніи, сдѣлавъ выписки. Затѣмъ я перевелъ частями Реторику Аристотеля, читалъ de augmentis scientiarum знаменитаго Бэкона Веруламскаго, много занимался Реймаромъ, книгу котораго о художественныхъ истинностяхъ животныхъ я съ наслажденіемъ продумалъ, занялся также иѣмецкимъ правомъ, но въ этой области я проштудировалъ лишь капитулы франкскихъ королей и письма къ нимъ папъ».

Карлъ сообщаетъ затѣмъ, что онъ опять заболѣлъ «отъ огорченія по поводу болѣзни Джени и напрасно потраченного умственнаго труда, отъ терзающей меня досады, что я долженъ сдѣлать несправедливый мнѣ взглядъ своимъ идоломъ... Выздоровѣвъ, я сжегъ всѣ стихи и наброски повѣстей и т. д., воображая, что я могу окончательно отдѣлаться отъ этого; впрочемъ до сихъ поръ я не далъ никакихъ доказательствъ противнаго». Но во время своей болѣзни онъ изучилъ Гегеля отъ начала до конца, а также большую часть его учениковъ. Благодаря частымъ встрѣчамъ съ друзьями въ Штралау, онъ попалъ въ докторскій клубъ, въ которомъ участвовало нѣсколько приватъ-доцентовъ, а также Рутенбергъ, одинъ изъ его ближайшихъ берлинскихъ друзей. «Здѣсь въ спорахъ обнаруживались нѣкоторыя противорѣчія во взглядахъ, и я все тѣснѣе привязывался къ современному философскому мировоззрѣнью, отъ котораго я хотѣлъ уйти; но все, нѣкогда богатое звуками, смолкло, меня обуяло констативъ бѣшенство проини, какъ это легко могло случиться послѣ столькихъ отрицаній. Къ этому присоединилось молчаніе Джени, и не зналъ покоя до тѣхъ поръ, пока я не искупилъ стремленія ко всему новому и къ точкѣ зрѣнія современной науки нѣсколькими плохими произведеніями, въ родѣ «Посвященія».

Затѣмъ письмо переходитъ къ «современности», сообщаетъ о «совершенно ничтожной запискѣ», въ которой Шамиссо отказался дать свои поэтическія произведенія для альманаха музы, давно уже напечатаннаго, возглагаетъ литературный планъ, очевидно, журнала, посвященнаго драматургій, о чемъ можно судить по замѣткѣ, что всѣ знаменитости гегелевской школы въ области эстетики обѣщали свое сотрудничество, благодаря содѣйствію Рутенберга и доцента Бауера, играющаго среди нихъ видную роль. Въ этомъ же письмѣ разбираются также шансы камеральной карьеры, возможность скоро добиться на этомъ пути профессуры. Отцу пришла эта мысль, и сынъ не отклоняетъ ея. «По дорожкѣ мой, милый отецъ, не лучше ли было бы обо всемъ этомъ поговорить лично съ тобой... Я бы уже былъ дома, если бы рѣшительно не сомнѣвался въ твоемъ разрѣшеніи, согласіи. Повѣрь мнѣ, мой дорогой, милый отецъ, во мнѣ говоритъ не эгонистическое чувство (хотя я былъ бы счастливъ опять увидѣть Джени), но меня гнететъ нѣкоторая мысль, и я не смѣю ее высказать». Въблизи своей милой тяжело борющейся геній хочетъ выказать то глубокое, сердечное участіе, которое онъ по большей части лишь не умѣетъ выразить, «въ надеждѣ, что даже и ты, дорогой, вѣчно любимый отецъ, принявъ во вниманіе растерзанное состояніе моей души, простишь, если нерѣдко казалося будто сердце мое заблуждается, тогда какъ на самомъ дѣлѣ его заглушалъ мятельный духъ, что ты скоро опять выздоровѣешь, такъ что я самъ буду имѣть возможность прижать тебя къ своей груди и высказаться». Затѣмъ слѣдуетъ еще приписка: «Прости, дорогой отецъ, мой неразборчивый почеркъ и плохой слогъ; теперь почти четыре часа, свѣча совершенно догорѣла, глаза у меня слипаются. Мной овладѣло сильное безпокойство. Я только тогда въ состояніи буду смирить потревоженныя мною привидѣнія, когда буду возлѣ вась».

Это было самую счастливою случайностью, какую только можно пред-

ставить, что письмо это дошло до насъ, такъ какъ безъ него юность Карла Маркса была бы покрыта завѣсой, завѣсой, которая не только закрывала бы ее отъ насъ, но и затемняла. Если бы мы не обладали этимъ неоцѣнимымъ документомъ, то мы не могли бы опровергнуть нѣкоторыхъ обвиненій въ письмахъ отца. Опубликовывая послѣ долгихъ колебаній исповѣдь, которая съ такой очевидной ясностью предназначалась исключительно для любимаго отца, Элеанора Марксъ справедливо замѣчаетъ: она показываетъ намъ молодого Маркса въ его развитіи, она показываетъ намъ въ мальчикѣ будущаго мужчину. Всѣ безчисленныя обвиненія въ «безсердечности» взрослого человѣка мальчикъ уже опровергъ спланнымъ выраженіемъ, что голосъ сердца кажется замолкшимъ лишь потому, что его заглушаетъ мятежный духъ. Да, мятежный духъ! Уже въ юности, борющемся за истину до полного истощенія своихъ умственныхъ и физическихъ силъ, мы видимъ ненасытную жажду знанія, неутомимую способность трудиться, безцѣльную самокритику, которымъ такъ отличался Марксъ. Сыну знакомы были нѣжныя чувства, онъ испытываетъ ихъ такъ же глубоко, какъ отецъ, но онъ не можетъ сопротивляться мятежному духу, который влечетъ его впередъ на уединенныя вершины, гдѣ «истинные сыны божіи» живутъ для блага человѣчества. Какъ правильно чувствовалъ оба сердца, такъ тѣсно связанная съ этой молодой жизнью, въ своей мучительной гордости глухое предчувствіе желѣзной судьбы! Но въ то время какъ возлюбленной представляю подняться на высоту гениальнаго творчества, отцу не пришлось дожить до того, чего онъ никогда не могъ бы понять.

Большая исповѣдь 10 ноября вызвала у него сильнѣйшее чувство досады. То, что намъ въ настоящее время представляется волнующимся утреннимъ туманомъ, который только начинаетъ освѣщаться солнцемъ, онъ видѣлъ и долженъ былъ видѣть совершенно другими глазами. Въ своемъ отвѣтѣ отъ 1 декабря онъ со стѣпленнымъ сердцемъ говоритъ: «Когда знаешь свою слабость, то нужно противъ нея принять мѣры. Если бы я хотѣлъ писать по обыкновенію связно, то въ концѣ концовъ моя любовь къ тебѣ завела бы меня въ сантиментальный тонъ... Я поэтому хочу излить свои жалобы въ формѣ афоризмовъ, такъ какъ то, что я говорю, дѣйствительно жалобы». Видно, какъ онъ до послѣдней возможности медлитъ со всякимъ сердитымъ словомъ; онъ спрашиваетъ, во-1-хъ, какова задача молодого человѣка, котораго природа безспорно надѣлила необыкновеннымъ талантомъ, въ особенности, а) если онъ почитаетъ своего отца и идеализируетъ свою мать, б) если онъ связалъ съ своей судьбой судьбу одной изъ благороднѣйшихъ дѣвушекъ, и в) если онъ этимъ заставилъ очень почтенное семейство согласиться на союзъ, который, повидимому, и по обыкновеннымъ понятіямъ представляется для этого дорогого существа полнымъ опасностей и мрачныхъ видовъ на будущее. Затѣмъ слѣдуютъ вопросы 2, 3, 4 и общіе отвѣты съ нумерованными рубриками и подрубриками. Только на пятой страницѣ письма разражается гроза.

Какъ это обыкновенно бываетъ съ мягкими натурами, когда онъ рѣшаются быть суровыми, отецъ впадаетъ въ бранчивыя преувеличенія.

«Такова была въ краткихъ словахъ задача. Какъ она была рѣшена? Боже милосердный!!! Беспорядочность, слѣпое блужденіе по всѣмъ отраслямъ званія, выспѣиваніе мыслей при тускломъ ламповомъ свѣтѣ; одичаніе въ учебномъ плафрокѣ съ непричесанной певскарою вмѣсто одичанія за кружкой пива; отталкивающая нелюдимость и игнорированіе всякихъ приличій и всякаго вниманія по отношенію къ отцу—ограниченіе искусства обхожденія съ людьми грязной комнатой, гдѣ любовныя письма Джени и написанныя слезами увѣщанія отца употребляются, быть можетъ, благодаря классическому беспорядку, какъ бумажки для зажиганія огня, что, впрочемъ, лучше, чѣмъ если бы они по непростительной беспорядочности попали въ третьи руки. И здѣсь, въ этой мастерской безсмысленной и безцѣльной учености должны созрѣть плоды, которые должны доставить наслажденіе тебѣ и твоей возлюбленной, здѣсь должна быть собрана жатва, которая должна служить къ тому, чтобы выполнить святыя обязанности». Но, написавъ эти жесткія слова, отецъ уже сожалеетъ о нихъ. Его гнететъ чувство, что онъ причинитъ сыну боль. «Меня уже опять одолеваетъ моя слабость, но чтобы преодолѣть ее—совершенно буквально—я принимаю прописанныя мнѣ реальныя пилюли и проглатываю все, потому что я хоть разъ хочу быть жестокимъ и вопіиѣ высказать свои обвиненія». Онъ напоминаетъ ему «дикое неистовство» въ Боннѣ, уничтоженную «книжку долговъ», «страданія любви», при которыхъ родители взяли на себя «пожалуй даже неподобающую роль».

Изъ Берлина сынъ писалъ слишкомъ рѣдко, слишкомъ неаккуратно; «мы никогда не наслаждались разумной корреспонденціей». Къ одному письму онъ присоединилъ выписку изъ дневника подъ заглавіемъ «Посѣщеніе», относительно которой отецъ откровенно говоритъ, что охотно отослалъ бы ее обратно. «Это безумное жалкое произведеніе, показывающее только, какъ ты растрачиваешь свои дарованія, проспиваешь напролетъ ночи, чтобы произвести на свѣтъ чудовища; что ты идешь по стопамъ молодыхъ гордецовъ, которые взвнчиваютъ свои рѣчи до тѣхъ поръ, пока сами перестаютъ ихъ слышать, которые наборъ фразъ считаютъ рожденіемъ гения, потому что у нихъ либо совсѣмъ нѣтъ мыслей, либо есть превратныя». Онъ жестоко порицаетъ также дурное хозяйничанье Карла. «Сыночекъ тратитъ въ теченіе одного года почти 700 талеровъ, какъ если бы мы были крезаны, вопреки всякому уговору, вопреки всѣмъ обычаямъ, въ то время какъ самыя богатые не тратятъ и 500. И почему? Я отдаю ему справедливость, что онъ не купля и не мотъ. Но какъ можетъ заниматься мелочами человекъ, который каждую недѣлю или двѣ изобрѣтаетъ новую систему и разрушаетъ старыя, стовпяія много труда, работы? Какъ можетъ онъ подчиниться мелочному порядку? Всякій можетъ пользоваться его карманомъ и всякій надуваетъ его. Только не мѣшайте ему, и онъ сейчасъ же плпшетъ новый чекъ».

Тутъ же приводится въ примѣръ нѣсколько молодыхъ людей; имена ихъ указаны инициалами. Это, конечно, «простые малые», которые въ своей простотѣ посѣщаютъ лекціи, ищутъ друзей и покровителей. «Зато эти бѣдные молодые люди спятъ совершенно спокойно по ночамъ, за исклю-

ченіем тѣхъ случаевъ, когда они отдають удовольствію половнну или всю ночь; мой же дѣлный и талантливый Карлъ одиноко просиживаетъ нѣлыя ночи напролетъ, истощаетъ свой умъ и тѣло серьезными занятіями, отказывается отъ всякихъ удовольствій, правда, чтобы заниматься абстрактными науками; но завтра онъ разрушаетъ то, что построилъ сегодня, и въ концѣ концовъ онъ разрушаетъ свое собственное, не усвоивъ себѣ чужого. Въ результатѣ организмъ слабѣетъ, а умъ затуманенъ, между тѣмъ маленькіе людишки безпрепятственно подвигаются впередъ и иногда лучше, по крайней мѣрѣ, легче достигаютъ цѣли, чѣмъ тѣ, которые презирають юпопескія удовольствія и разрушаютъ свое здоровье, чтобы схватить тѣнь учености; они навѣрное лучше достигли бы этого въ одинъ часъ общенія съ компетентными людьми, причѣмъ получили бы еще въ придачу удовольствіе дружескаго общенія съ людьми!!!»

На этомъ отецъ заканчиваетъ. Онъ чувствуетъ по учащенному пульсу, что слова смягчались, а между тѣмъ онъ желаетъ быть немилосерднымъ. Онъ только упоминаетъ еще о жалобахъ братьевъ и сестеръ, которыми братъ слишкомъ мало интересуется, въ особенности о жалобахъ «доброй Софіи, которая столько выстрадала изъ-за тебя и Джени и такъ беззавѣтно предана тебѣ». Посѣщеніе Карла онъ невозможно отклоняетъ. «Пріѣхать сюда теперь было бы безуміемъ! Я хотя знаю, что ты не придаешь большого значенія лекціямъ,—вѣроятно, однако, ты за нихъ платишь,—но я по крайней мѣрѣ хочу сохранить декорумъ. Я, конечно, не рабъ общественнаго мнѣнія, но я вмѣстѣ съ тѣмъ не люблю, когда на мой счетъ судачатъ. Пріѣзжай на пасхальныя каникулы—даже на десять дней раньше, я не такой педантъ,—и, несмотря на это мое посланіе, ты можешь быть увѣренъ, что я встрѣчу тебя съ распростертыми объятіями, и что отцовское сердце бьется въ унисонъ съ твоимъ и собственно огорчается лишь отъ чрезмѣрнаго раздраженія». И въ самомъ дѣлѣ призракъ смерти вѣютъ уже надъ этимъ письмомъ.

Слѣдующее письмо отъ 10 фев. 1838 г. отецъ писалъ, вставъ на нѣсколько часовъ съ постели послѣ пятидѣльной болѣзни. Изъ приписки матери видно, что Карлъ отказался отъ пріѣзда на Пасху, чтобы удовлетворить желанію огорченнаго отца и наверстать потерянное время. Я очень недовольна этимъ,—говоритъ мать,—я отдаю предпочтеніе чувству передъ разсудкомъ, но отецъ пишетъ: «Твое послѣднее рѣшеніе въ высшей степени похвально и обдуманно умно, и если ты исполнишь обѣщанное, оно, по всей вѣроятности, принесетъ самыя хорошіе плоды. И будь увѣренъ, что не ты одинъ приносишь большую жертву, мы всѣ въ такомъ же положеніи. Но разумъ долженъ побѣдить». Гнѣвъ его еще не совсѣмъ прошелъ, но къ нему уже опять примѣшивается легкій юморъ. «Когда я писалъ тебѣ немного суровое письмо, то, конечно, отчасти это было результатомъ моего тогдашняго настроенія, однако, это настроеніе не создало его, оно могло лишь нѣсколько шаржировать. Я теперь менѣе всего способенъ пускаться въ разсужденія по поводу каждой отдѣльной жалобы, и къ тому же я не могу соперничать съ тобой въ искусствѣ абстрактно разсуждать, для этого я прежде всего долженъ былъ бы пзучить терми-

пологію, чтобы проникнуть въ святѣлице; а для этого я слишкомъ старъ. Очень хорошо, если твоя совѣсть скромно соглашается и примиряется съ твоей философіей! Только въ одномъ пунктѣ все трансцендентное не помогаетъ, и въ этомъ пунктѣ ты благоразумно рѣшилъ хранить благородное молчаніе, это въ вопросѣ о презрѣнномъ металлѣ, цѣны котораго для отца семейства ты все еще, повидимому, не знаешь... Ты неправъ, когда говоришь или предполагаешь, что я тебя не знаю или не признаю! И то и другое невѣрно. Я отдаю полную справедливость твоему сердцу, твоей нравственности. Но это не ослабляетъ меня, и я складываю оружіе только вслѣдствіе усталости. Но вѣрь всегда и никогда не сомнѣвайся въ томъ, что ты занимаешь самое большое мѣсто въ тайникахъ моей души и что ты самый сильный рычагъ моей жизни». Это было послѣднее письмо отца къ Карлу. Мать прибавляла, что отецъ очень плохъ, что она примирилась со своимъ положеніемъ и приготовилась ко всему; милая Джени относится какъ любящее дитя къ его родителямъ, она во всемъ принимаетъ самое близкое участіе, она веселитъ домъ своей дѣтской душой, которая во всемъ еще находитъ радостную сторону.

26 февраля мать пишетъ уже одна: намель прекратился, по полное отсутствіе аппетита мѣшаетъ выздоровленію добраго отца, котораго продолжительная болѣзнь сдѣлала очень раздражительнымъ. Карлъ долженъ писать ему очень ищущія письма, такъ какъ тогда онъ много разъ перечитываетъ эти письма. «Я освобождаю тебя отъ всякихъ писемъ непосредственно ко мнѣ, чтобы тебѣ не терять лишняго времени, вѣдь я же знаю твое любвеобильное сердце и знаю, что ты меня не забудешь. Когда дорогая Джени приходитъ къ намъ, она обыкновенно остается весь день у насъ и старается занимать отца. Это очень сердечное дитя, и я надѣюсь, она когда-нибудь сдѣлаетъ тебя счастливымъ». Подъ этимъ написанная отцомъ замазанная строка, которую трудно разобрать: «Дорогой Карлъ, я привѣтствую тебя нѣсколькими словами, много писать я еще не могу». Затѣмъ письма прекращаются. Вѣроятно Карлъ все же пріѣхалъ на Пасху и стоялъ у смертнаго одра отца. Какъ видно изъ актовъ трирскихъ сословныхъ списковъ, Генрихъ Маркъ умеръ 10 мая 1838 года 56 лѣтъ отъ роду.

Такимъ образомъ всепримиряющая рука смерти сгладила трагическій конфликтъ между отцомъ и сыномъ раньше, чѣмъ пошлыя житейскія нужды отравили его своимъ ядомъ; такой конфликтъ рѣдко разрѣшается столь далекимъ отъ всякой грязи образомъ, какъ въ данномъ случаѣ. Какимъ гнетущимъ и тяжелымъ является такое же столкновеніе въ жизни Лессинга, и даже въ жизни Людвигъ Фейербаха, который также изъ Берлина и также въ концѣ четвертаго семестра написалъ отцу, что отказывается отъ профессиональныхъ наукъ, чтобы погрузиться въ обширный міръ философій!

Старикъ уходить въ міръ тѣней, а молодежь идетъ за своей звѣздой, отягченная трагической виной, сопровождающей побѣдителя во всякомъ трагическомъ конфликтѣ. Но благородныя натуры искупаютъ этотъ долгъ свой, и Карлъ Маркъ честно заплатилъ его высокимъ уваженіемъ, съ которымъ онъ относился къ памяти своего отца до тѣхъ поръ, пока смерть не смежала его собственныхъ очей.

3. Фантастическій поэтъ.

Не безъ нѣкотораго колебанія вставляю я здѣсь нѣсколько словъ о тѣхъ трехъ тетрадахъ стиховъ, которыя еще сохранились отъ поэтическихъ опытовъ молодого Маркса. Это тѣ самыя тетради, которыя онъ осенью 1836 года послалъ своей невѣстѣ. Одна тетрадь озаглавлена: Книга пѣсенъ Карла Маркса, Берлинъ 1836. Двѣ остальные: Книга любви, К. Г. Марксъ, часть первая, Берлинъ 1836, въ концѣ осени; часть вторая, Берлинъ, ноябрь 1836. Всѣ три посвящены «моей дорогой, вѣчно любимой Дженнѣ фонъ Вестфаленъ».

Посылая мнѣ эти три тетради, Лаура Лафаргъ писала мнѣ: «Я должна вамъ сказать, что отецъ мой относился къ этимъ стихамъ безъ всякаго уваженія. Каждый разъ, когда мои родители заговаривали объ этомъ, они отъ всей души смѣялись надъ этими юношескими глупостями». Было бы въ самомъ дѣлѣ несправедливо утверждать, что юношескія стихотворенія Карла Маркса имѣютъ какое-нибудь эстетическое значеніе. Точно такъ же несправедливо было бы критиковать черезъ шестьдесятъ слѣдующихъ лѣтъ то, что писалъ восемнадцатилѣтній юноша въ первый періодъ бури и натиска, никому къ тому же не надобная ими, не обманывая даже самого себя болѣе нѣсколькихъ мѣсяцевъ относительно негодности этихъ твореній.

Однако, то, что не имѣетъ эстетическаго значенія, можетъ имѣть біографическое и психологическое значеніе. Какъ всякій великій писатель, Карлъ Марксъ обладалъ способностью художественнаго изображенія, которая часто великодушно проявлялась въ его зрѣлыхъ трудахъ. Онъ занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ ряду классическихъ прозаиковъ 19 столѣтія. По образамъ и уподобленіямъ онъ приближается къ Лессингу и даже къ Гёте. Онъ могъ бы сказать вмѣстѣ съ послѣднимъ: уподобленій вы не должны мнѣ запрещать, я иначе не умѣю объясняться. Слогъ у него не граціозный, ласкающій, пріятный, но его фразы льются, какъ струя жидкаго золота, и тѣмъ, которые порицали ихъ, какъ пустыя и въ то же время тяжелыя, Марксъ могъ бы отвѣтить вмѣстѣ съ Платеномъ: Въ ихъ нѣтъ, можетъ быть, бречанья, но за то онѣ тяжелы, какъ зрѣющій плодъ. Какъ же проявилось это художественное дарованіе въ мальчикѣ, какъ проявился будущій мастеръ прозы въ своихъ юношескихъ стихотвореніяхъ?

Можно коротко сказать: они нескладны въ полномъ смыслѣ этого слова. Даже техника стиха совершенно необработана. Если бы не было установлено время ихъ появленія, то трудно было бы допустить, что они были написаны черезъ годъ послѣ смерти Платена и черезъ девять лѣтъ послѣ Книги пѣсенъ Гейне. Но и въ содержаніи ихъ ничто на это не указываетъ. Это романтическіе звуки арфы: пѣснь эльфовъ, пѣснь гномовъ, пѣснь сиренъ, пѣсни къ звѣздамъ, пѣснь звонари на башнѣ, послѣдняя пѣснь пѣвца, блѣдная дѣвушка, или мальчикъ и дѣвочка, цикль балладъ объ Альбоицѣ и Розамундѣ. Нѣтъ даже недостатка въ храбрыхъ рыцарѣхъ, совершающихъ на чужбинѣ много геройскихъ подвиговъ и возвращающемся какъ разъ въ тотъ моментъ, когда вѣроломная невѣста идетъ съ другимъ,

къ алтарю. Романтическіе звуки арфы, по безъ специфическаго очарованія романтики, безъ того мягкаго и таинственнаго луннаго свѣта, который навсегда долженъ былъ остаться чуждымъ уму, стремившемуся къ солнечному свѣту. Романсъ изъ могилы затрагиваетъ современную проблему: духъ Земли жалуется на Наполеона, что онъ разрушилъ міръ, между тѣмъ какъ онъ былъ рожденъ осчастливить міръ; но духъ свѣта милуетъ его и переноситъ его къ звѣздамъ. Даже здѣсь Маркъ далекъ отъ того воспѣванія Наполеона, которыми занимались Платенъ и Гейне на зло патриотической ограниченности съ ся девизомъ съ Богомъ за короля и отечество! Въ своихъ юношескихъ стихотвореніяхъ Маркъ часто является такимъ, какимъ онъ обычно не былъ: фантастичекъ и въ то же время тривіалекъ, и отецъ его ни въ коемъ случаѣ не ошибался, не смотря на отсутствіе поэтическаго дарованія у него самого, когда не хотѣлъ ничего знать о «фантастическомъ поэтѣ», «обыкновенномъ поэтикѣ».

Равнымъ образомъ легко понять, что юношескія стихотворенія Маркса гораздо ниже тѣхъ, которыя написалъ въ свои часы досуга менѣе крупные умы, какъ Давидъ Штраусъ или Альбертъ Ланге. Ему недоставало творческаго гения поэта, который создаетъ цѣлый міръ изъ ничего; онъ обладалъ только такимъ художественнымъ дарованіемъ, которое необходимо для полноты силы великаго завоевателя на научномъ поприщѣ. Чѣмъ съ большей силой и страстью онъ искалъ ту область, въ которой онъ долженъ былъ завоевать себѣ безсмертную славу, тѣмъ безпомощнѣе и безцѣльнѣе было его эстетическое дарованіе. Стараясь объять то, что было еще неясно и безформенно въ умѣ поэта-юноши, оно расплывалось въ неясныхъ и безформенныхъ образахъ, какъ онъ самъ говоритъ объ этомъ въ стихотвореніи, обращенномъ къ невѣстѣ.

Doch wie sollen Worte richtig zwängen
Selber Nebelrauch und Schall,
Was unendlich ist, wie Geistesdrängen,
Wie du selber und das All ¹⁾.

«Все дѣйствительное расплывается, а все расплывающееся не имѣетъ границъ; есть широкое и безформенное чувство, но нѣтъ ничего естественнаго; все соткано изъ луны, риторическія разсужденія вмѣсто поэтическихъ построеній». Такъ осудилъ Карлъ Маркъ уже годъ спустя свои юношескія стихотворенія. Онъ допускалъ въ нихъ только «извѣстную теплоту ощущенія и стремленіе въ возвышенному», и этими преимуществами отягчаются именно пѣсни любви къ Дженин. Но и онѣ въ своемъ размахѣ и въ своей теплотѣ переходятъ въ фантастическія гиперболы, напоминающія еще болѣе старый, но не болѣе красивый образецъ, чѣмъ данный романтиками,—это пѣсни къ Лаурѣ Шиллера. Изрѣдка прорываются простые и задушевные звуки, какъ въ слѣдующихъ строфахъ:

Da ward ich tief gebunden,
Da ward mein Auge klar,
Da hatte ich gefunden,

¹⁾ Какъ же могутъ слова вмѣстять въ себѣ и туманъ и звуки, то, что безкопечно, какъ стремленіе духа, какъ ты самъ и какъ весь міръ.

Was dunkles Streben war,
Was nicht mein Geist erflogen,
Getrieben vom Geschick,
Das kam ins Herz gezogen
Von selbst mit deinem Blick ¹⁾.

Конечно, покой, который онъ находить у возлюбленной, не превращается для молодого борца въ косное нежеланіе бороться. Въ немъ все рвется, бродить и бужуется, и онъ сознается:

Nimmer kann ich ruhig treiben,
Was die Seele stark erfasst,
Nimmer still behaglich bleiben,
Und ich stürme ohne Rast
Alles möcht ich mir erringen,
Jede schönste Göttergunst,
Und im Wissen wagemd dringen
Und erfassen Sang und Kunst ²⁾.

Такъ какъ онъ не можетъ создавать міровъ, то онъ хотѣлъ бы разрушать тѣ міры, которые недоступны его призванію и спокойно идти по своему пути, въ то время какъ люди и ихъ дѣла разрушаются. Однако онъ не пражьнялъ бы вѣчно мѣняющуюся человѣческую судьбу на вѣчно ровную участь звѣздъ:

Darum lasst uns Alles wagen,
Nimmer rasten, nimmer ruhn,
Nur nicht dumpf so gar nichts sagen
Und so gar nichts woll'n und thun.
Nur niet brütend hingegangen
Aengstlich in dem niedern Joch,
Denn das Sehnen und Verlangen
Und die That, sie blieb uns doch ³⁾.

Въ своей повѣди отцу Карлъ Маркъ сознается, что въ концѣ третьяго семестра міръ истинной поэзіи все еще мезькаетъ ему, какъ отдаленный волшебный замокъ. Жестокая критика отца его «дурныхъ пропзведеній» четвертаго семестра окончательна, вѣроятно, отбила у него охоту. Изъ болѣе поздняго времени, пожалуй, лишь намекъ Бруно Бауера въ письмѣ отъ 28 марта 1841 года указываетъ, что Маркъ еще не разстался на вѣки съ поэзіей.

1) Тутъ я обрѣлъ тѣсную связь, тутъ прозрѣли глаза мои, тутъ я нашелъ то, что было лишь смутнымъ стремленіемъ. Чего не достигъ мой умъ, гонимый судьбою, то само пришло въ сердце, привлеченное однимъ твоимъ взглядомъ.

2) Никогда не могу я спокойно дѣлать то, что сильно захватило душу, никогда не могу я болѣе оставаться спокойнымъ и довольнымъ, и я бурно стремлюсь впередъ, не зная покоя. Я всего хотѣлъ бы достигъ, всѣхъ вышнихъ проявленій милости боговъ, и смѣло проникнуть въ область знанія и овладѣть и пѣсню и искусствомъ.

3) Поэтому мы должны держать на все, никогда не останавливаться, никогда не отдыхать, только не молчать такъ туго и ничего не желать и не дѣлать, только не оставаться со своими мыслями робко въ увнзительномъ ярмѣ, такъ какъ у насъ осталось еще и стремленіе, и желаніе, и дѣло.

Вообще же онъ съ тѣхъ поръ посвящаетъ себя гегелевской философіи, отъ которой онъ такъ долго отбодрявался, становится ревностнымъ членомъ докторскаго клуба, въ который онъ попалъ во время своего пребыванія въ Штралау.

4. Друзья юности.

Берлинскій университетъ имѣлъ то преимущество, что онъ не зналъ традиціонной, но давно уже отжившей свой вѣкъ студенческой жизни. Въ іюль 1824 года Людвигъ Фейербахъ писалъ своему отцу послѣ своего переезда изъ Гейделберга въ Берлинъ: «О попойкахъ, о дуэляхъ, объ общихъ поѣздкахъ и т. д. здѣсь и думать нечего. Ни въ какомъ другомъ университетѣ не царитъ такое всеобщее прилежаніе, такое стремленіе къ чему-то высшему, чѣмъ обыкновенныя студенческія исторіи, такое стремленіе къ знанію, такая тишина и спокойствіе, какъ здѣсь. Другіе университеты представляютъ настоящіе кабаки въ сравненіи съ здѣшнимъ домоу труда». Точно также и докторскій клубъ, который въ послѣдніе семь семестровъ былъ важнѣе для Карла Маркса, чѣмъ самый университетъ, не имѣлъ ничего общаго съ студенческой жизнью и правами.

Онъ состоялъ преимущественно изъ доцентовъ, учителей, писателей въ первомъ расцвѣтѣ зрѣлаго возраста. Рутенбергъ, о которомъ Марксъ говоритъ своему отцу, какъ о своемъ самымъ близкомъ берлинскомъ другѣ, родился въ 1808 году и въ то время былъ учителемъ кадетскаго корпуса. Въ томъ же году родился Карлъ Фридрихъ Кёппель, бывшій въ описываемую эпоху штатнымъ учителемъ въ городскомъ королевскомъ реальномъ училищѣ. Бруно Бауэръ былъ однимъ годомъ моложе и состоялъ приватъ-доцентомъ теологіи. Эдуардъ Мейенъ, родившійся въ 1812 году, редактировалъ литературный журналъ. Ровесникомъ Карла Маркса былъ Теодоръ Альтгаузь, изучавшій теологію. Можно не упоминать здѣсь еще нѣсколькихъ другихъ именъ, въ настоящее время совершенно забытыхъ.

Но и Рутенбергъ, Мейенъ и Альтгаузь не имѣли особеннаго значенія для Маркса. 30 марта 1840 года Бруно Бауэръ писалъ въ отвѣтъ на письмо Маркса: «Итакъ, Рутенбергъ не только не измѣнился, но онъ становится еще скучнѣе. Бѣдный дурачекъ!» До Рейнской газеты Рутенбергъ шелъ еще съ Марксомъ; но послѣ этого онъ соединился съ мирной буржуазной оппозиціей и основалъ въ мартѣ 1848 года вмѣстѣ съ Цабелемъ Nationalzeitung (Национальную газету). Жизненные стремленія Эдуарда Мейена понизились еще раньше. Изъ упорнаго и задорнаго юноши, гремѣвшаго противъ Генриха Лео, какъ пѣвца «пропитаннаго духомъ Галлера», онъ въ теченіе одного поколѣнія опустился до чернильнаго раба на газетной плантаціи данцигскаго государственнаго человека Риккерта, на службѣ у котораго онъ долженъ былъ даже мпириться съ пошлыми криками No Poregu, чтобы не напугать ультрамонтанскихъ подписчиковъ и издателей; вообще же Мейенъ пріобрѣлъ извѣстность ядовитыми нападками въ 1859 году на Маркса, а въ 1863 на Лассаля. Теодоръ Альтгаузь сталъ извѣстенъ болѣе широкимъ кругамъ, если не своимъ племемъ, то своимъ «Мемуарами идеалности»; онъ былъ тѣмъ другомъ юности, о ко-

торомъ Мальвида фонъ Мейзенбургъ рассказываетъ, что онъ освободилъ ее отъ религиозныхъ предразсудковъ, затѣмъ покпнулъ и, впоследствии, какъ жертва революціи, впалъ въ раннюю дряхлость, причѣмъ болѣе вѣрная подруга старалась облегчить ему ее по мѣрѣ силъ.

Но гораздо сильнѣе, чѣмъ къ этимъ людямъ, Карлъ Маркъ привязался къ Бруно Бауеру и Карлу Фридриху Кёппену. Обоимъ имъ онъ очень многимъ обязанъ, хотя они никогда не старались играть роли учителей своего младшаго на десять лѣтъ товарища. Будучи, каждый въ своемъ родѣ, выдающимися людьми, они скоро признали превосходство Маркса и относились къ нему какъ добрые товарищи. Они были гегеліанцами, Бруно Бауеръ даже однимъ изъ самыхъ ортодоксальныхъ; онъ упорно выступалъ еще противъ Штрауса, но затѣмъ и они были захвачены критическимъ теченіемъ, которое вызвала инавбеская Жизнь Иисуса; и именно къ тому времени, когда Маркъ вступилъ въ докторскій клубъ, оно вызвало къ жизни воишественныя *Hallische Jahrbücher*. Болѣе быстрый ходъ экономического развитія нарушилъ могильную тишину царства духовъ, и молодое поколѣніе гегеліанцевъ начало вспоминать, что діалектика составляетъ истинный секретъ ихъ школы.

Бруно Бауеръ былъ родомъ изъ саксенъ-альтенбургскаго городка Айзенберга, но жилъ уже съ дѣтства въ Берлинѣ, куда отецъ его, незначительный живописецъ по фарфору, переселился, чтобы дать по возможности хорошее образованіе своимъ сыновьямъ. Бруно былъ и самымъ старшимъ, и самымъ способнымъ изъ этихъ сыновей. Его братья Эдгаръ и Эгбертъ стали до нѣкоторой степени извѣстны только какъ его спутники. Въ официальныхъ кругахъ его считали многообещающимъ талантомъ, и онъ пользовался покровительствомъ министра исповѣданій Альтенштейна, какъ восходящая опора прусскаго гегеліанства. И казалось даже, что Бруно Бауеръ оправдаетъ эти ожиданія. Онъ былъ такъ же ученъ, какъ остроумецъ, очень много писалъ и обладалъ импонирующей увѣренностью привычнаго господствовать ума. Но своими нападами на Штрауса онъ нанесъ самому себѣ жестокой ударъ. Въ своихъ полемическихъ статьяхъ Штраусъ говорилъ, что въ своихъ смѣлыхъ выводахъ Бауеръ чувствовалъ себя такъ, какъ Фаустъ на кушій у вѣдьмы, точно бы онъ слышалъ говоръ хора изъ ста тысячъ дураковъ. При всей кажущейся высотѣ и глубинѣ это умозрѣніе такъ бесодержательно и пусто, такъ мало реально, что оно каждую минуту переходитъ въ самыя плоскія представленія и совпадаетъ съ религиозно-фанатическимъ ортодоксальнымъ направленіемъ ума Генгстенберга. Оно находится на одной ступени съ нимъ и представляетъ не что иное, какъ окостенѣлую схоластику.

При всей своей объективной справедливости полемика Штрауса слишкомъ близко коснулась, однако, личности Бруно Бауера. Слишкомъ живой, чтобы плясать по дудкѣ Генгстенберга, онъ совсѣмъ не являлся желаннымъ философскимъ союзникомъ для ортодоксовъ, такъ какъ за всякой философией они чуяли ловушку. Уже лѣтомъ 1839 г. дѣло дошло до ссоры между Бауеромъ и Генгстенбергомъ. Ортодоксальный глава подиалъ старозавѣтнаго бога гнѣва и мести до бога христіанства. Противъ этого Бруно Бауеръ показалъ въ «Матеріалахъ для критики религіознаго сознанія», что въ моисеевомъ законѣ

субъектъ еще не поднялся до сознанія своей истинной внутренней безконечности, но что тамъ, какъ и въ древнегреческомъ міровоззрѣніи, онъ отвѣтственъ за вину семьи, какъ и въ настоящее время денежные долги отца подають на семью. Принципъ субъективности, безконечной свободы личности былъ еще совершенно незнакомъ евреямъ, и онъ только въ христіанствѣ впервые появляется на историческую сцену. Хотя это возраженіе Бауера было въ границахъ философско-теологическаго спора, тѣмъ не менѣе ортодоксы съ нѣхъ тонкимъ чутьемъ ко всему еретическому сейчасъ же насторожились, а такъ какъ слабый отъ старости Альтенштейнъ хорошо зналъ упорную мстительность пубоной семейки, то онъ осенью 1839 года послалъ своего протеже въ основанный имъ въ Боннѣ университетъ. Въ теченіе года, по предположенію Альтенштейна, Бауеръ долженъ былъ здѣсь «утвердиться» въ качествѣ профессора.

Но высланному не особенно поправилось въ рейнскомъ университетѣ, какъ это видно изъ его писемъ къ Марксу. 11 декабря 1839 года онъ пишетъ: «Я здѣсь чаще бываю въ казино и въ профессорскомъ клубѣ въ трирской гостиницѣ, но выше нашего клуба, гдѣ всегда былъ и умственный интересъ, нѣтъ ничего на свѣтѣ; прошедшія времена (*tempi passati*) не возвращаются. Здѣсь только болтають и острять. Соедшисъ въ 9 час., въ 11 уже расходятся. Все это чистое флистерство». Еще болѣе грустно звучитъ непомѣненное датую письмо: «Увы, гдѣ остались розы? Только когда ты прѣдѣшь къ твоему Б. Бауеру, онъ опять расцвѣтутъ для меня. Развлеченій, веселія здѣсь достаточно, я даже довольно много смѣюсь, но такъ, какъ въ Берлинѣ, когда я ходилъ хотя бы съ тобой по улицамъ, уже больше никогда». Но Бруно Бауеръ жаждалъ видѣть не только друга, но и товарища по борьбѣ.

Академическая зависть къ протеже министра, къ возможному занятію имъ каведры, сдѣлала жизнь его крайне неприятой. Самымъ сильнымъ его желаніемъ было имѣть возлѣ себя Маркса въ качествѣ доцента философіи и соиздателя критическаго журнала. Уже въ первомъ своемъ письмѣ онъ указываетъ на ниваллдовъ философскаго факультета въ Боннѣ и прибавляетъ: «Тебѣ поэтому въ этомъ отношеніи будетъ легко. Постарайся только о томъ, чтобы ты лѣтомъ могъ читать. Постарайся только (хотя тебѣ всякое напоминанше объ этомъ неприято, но что же дѣлать) покончить съ дурацкимъ экзаменомъ и отдаться безпріятственно твоимъ занятіямъ логикой... Напиши мнѣ къ канцуламъ, какъ вы всѣ поживаете, и напиши при этомъ нѣсколько прозаическихъ словъ о твоихъ экзаменахъ». Затѣмъ 1 марта 1840 года: «Время не терпитъ... Не медли же... Кончай скорѣй со своей нерѣшительностью и съ медягельнымъ отношеніемъ къ такому вздору, какъ экзаменъ. Какъ бы хорошо было, если бы ты уже былъ здѣсь, и мы могли бы поговорить подробнѣе, чѣмъ въ письмахъ». И такъ письмо за письмомъ.

Между тѣмъ Бруно Бауеръ продолжалъ свою борьбу противъ ортодоксіи. Она стала процвѣтать въ послѣдніе годы, благодаря растущему вліянію романтическаго кронпринца, и передъ ней распылось блестящее будущее, когда весной 1840 года Альтенштейнъ и старый король умерли вскорѣ

одинъ за другимъ. Въ одной анонимной брошюрѣ о господствующей евангелической церкви Пруссіи и о наукѣ Бруно Бауеръ взываетъ къ идеѣ, которая заняла, по его мнѣнію, самое высшее мѣсто въ нашей государственной жизни, къ фамильному духу княжескаго дома Гогенцоллерновъ, посвятившаго въ теченіе четырехъ столѣтій свои лучшія силы регулированію отношенія церкви къ государству. Наука будетъ неутомимо защищать свободу мысли отъ отлученія отъ церкви и идею государства отъ притязаній церкви. Государство иногда можетъ ошибаться, начать относиться недовѣрчиво къ наукѣ и прибѣгать къ насильственнымъ мѣрамъ, но оно слѣпкомъ проникнуто разумомъ и жизненностью, чтобы долго заблуждаться. Тѣмъ церкви, наоборотъ, непримирима, какъ это можно видѣть и въ наши дни, она вѣчно ропщетъ, или, по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока не падеть послѣдняя жертва за освобожденіе истины. Царствовавшей въ то время представитель фамильной традиціи Гогенцоллерновъ Фридрихъ Вильгельмъ IV назначилъ министромъ народнаго просвѣщенія Эйхгорна, ортодоксальнаго реакціонера, который тотчасъ же принялся твердой рукой подавлять свободу философіи, послѣднюю свободу, которая въ дни стараго короля допускалась, по крайней мѣрѣ, на университетской кафедрѣ.

Сначала Ладенбергъ, бывшій временно министромъ народнаго просвѣщенія со смерти Альтенштейна въ маѣ до назначенія Эйхгорна въ октябрь 1740 г., старался изъ уваженія къ памяти Альтенштейна объ «утвержденіи» Бауера въ Боннѣ, но теологическій факультетъ отказалъ подозрительному доценту въ профессорствѣ, подъ предлогомъ, что Бауеръ нарушилъ его единство; необходимое для этого отказа мужество факультетъ нашель, когда Эйхгорнъ сталъ министромъ народнаго просвѣщенія. Бауеръ хотѣлъ какъ разъ возвратиться въ Боннъ послѣ осеннихъ каникулъ, которые онъ провелъ въ Берлинѣ, когда оттуда пришло отрицательное рѣшеніе факультета. Между его друзьями обсуждался вопросъ, не существуетъ ли уже непримиримое противорѣчіе между религіознымъ и научнымъ направленіемъ, и можетъ ли сторонникъ научнаго направленія съ чистой совѣстью принадлежать къ теологическому факультету? Но Бауеръ самъ настаивалъ на томъ, что именно въ самодержавномъ государствѣ слава и достоинство правительства состоятъ въ томъ, что всѣ направленія официально представлены. Въ конституціонныхъ государствахъ, гдѣ каждый принципъ можетъ разсчитывать стать когда-либо господствующимъ, его можно скорѣе поставить въ оппозицію. Онъ категорически отклонилъ официальное предложеніе заняться литературой въ качествѣ частнаго ученаго съ поддержкой отъ государства и вернулся въ Боннъ на своей передовой постѣ въ тѣмъ болѣе воинственномъ настроеніи, чѣмъ болѣе онъ видѣлъ, что правительство колеблется передъ ортодоксіей, государство передъ церковью. «Если ты пріѣдешь въ Боннъ, то этотъ городшко, пожалуй, скоро станетъ предметомъ всеобщаго вниманія, и мы въ состояніи будемъ вызвать здѣсь кризисъ въ его важнѣйшихъ моментахъ», писалъ онъ Марксу 31 марта 1841 года. Онъ уже думалъ выступить противъ направленія правительства. «Эти собаки не могутъ ни въ чемъ придратъся къ намъ; они болятся насъ, но они инертны». Онъ все еще не подозрѣвалъ, какъ безопасна

была въ концѣ-концовъ нѣмецкая философія предъ прусской капральской палкой.

Фридрихъ Кёппенъ, какъ и Бруно Бауеръ, занималъ уже извѣстное положеніе въ литературѣ, когда Марксъ съ нимъ познакомился. Въ 1837 г. онъ издалъ «Литературное введеніе къ сѣверной мѣологіи». Произведеніе это вскорѣ завоевало себѣ почетное мѣсто на ряду съ изслѣдованіями Якова Гримма и Уланда, которыя въ то время дали новый толчокъ изученію сѣверной мѣологіи. Затѣмъ Кёппенъ сталъ дѣятельнымъ сотрудникомъ «Hallische Jahrbücher», настоящимъ тріаріемъ знаменитаго журнала.

Онъ больше былъ историкомъ, нежели философомъ. Въ письмѣ къ Марксу отъ 3 іюня 1841 г., который незадолго до этого оставилъ Берлинъ, Кёппенъ сообщаетъ о статьѣ о Шлоссерѣ: «Въ этой статьѣ я сдѣлалъ попытку философствовать. Ты будешь смѣяться до упаду». Это письмо, или вѣрнѣе, этотъ отрывокъ письма, такъ какъ конца нѣтъ, представляетъ единственный документъ, сохранившійся отъ тогдашняго знакомства Маркса и Кёппена, но его достаточно, чтобы показать, какъ близки оба они были другъ къ другу. Родомъ изъ Альтмарка, Кёппенъ обладалъ способностью добродушной пропіи надъ самимъ собой, свойственной его землякамъ. Больше недѣли онъ находился въ меланхоліи послѣ отъѣзда молодого друга, но вмѣстѣ съ его «мрачной личностью» уѣхало и «проникающее его чувство своего ничтожества». «У меня теперь опять мои собственные, такъ сказать, мной самимъ продуманныя мысли, между тѣмъ, какъ прежнія были недалекаго происхожденія, изъ Шютценштрассе», гдѣ жилъ Марксъ во время своего послѣдняго пребыванія въ Берлинѣ. Кёппенъ по-полицейски просмотрѣлъ одну статью Бруно Бауера и при этомъ нашелъ, что и сей достопочтенный господинъ также умственно позаимствовался на Шютценштрассе. «Видишь ли: ты — магазинъ идей, рабочей домъ, или, выражаясь по-берлински, здоровенная голова (ein Ochsenkopf von Ideen)». Въ этой шуткѣ проглядываетъ то же искреннее уваженіе, которое и Бруно Бауеръ питалъ къ гениальнымъ способностямъ Маркса. Все же старшіе друзья оказывали вліяніе на него, и то, чему Карлъ Марксъ научился у Кёппена, чрезвычайно удачно дополнялось тѣмъ, чему онъ научился у Бруно Бауера, именно потому, что Кёппенъ прежде всего былъ историкомъ и лишь настолько знакомъ былъ съ философіей, насколько это необходимо хорошему историкъ.

Въ «Hallische Jahrbücher» онъ далъ галерею блестящихъ характеристикъ современныхъ историковъ: Раумера, Ранке, Шлоссера, Лео, сохранившихъ и до настоящаго времени свой живой интересъ. Здѣсь Кёппенъ сталъ выше и морализирующей пошлости Шлоссера и дипломатическаго прагматизма Ранке. Онъ показалъ, что та звѣзда исторической объективности, которая интересовала Ранке, долженствующая изображать исторію въ видѣ возвышенія господствующихъ классовъ, на самомъ дѣлѣ была лишь падающей звѣздой. Чрезвычайно мѣтко Кёппенъ охарактеризовалъ мелочный, отрывистый, самодовольно прыгающій, всегда занятый собой, лишенный всякой исторической выдержки и достоинства стиль Ранке; но онъ не меньше блевалъ бессмысленный методъ писанія исторіи, пользуясь дипло-

матическими отчетами, какъ главнымъ илп единственнымъ источникомъ. Кёппель не могъ предвидѣть, что Ранке сохранитъ еще извѣстную выдержку и достоинство и предоставитъ своимъ духовнымъ потомкамъ писать исторію большихъ народныхъ движеній на основаніи протоколовъ тайной полиціи. Онъ самъ приобрѣлъ себѣ славу тѣмъ, что первый далъ истинно историческую оцѣнку террора французской революціи въ критической статьѣ о Лео. Кёппель обладалъ богатыми знаніями въ исторіи. Онъ увѣренной рукой подбиралъ факты изъ цѣлой груды и умѣлъ пластически изображать ихъ. При этомъ слогъ у него былъ свѣжій, сильный, полный острыхъ эпиграммъ, иногда необузданный, но рѣдко зато тяжелый. Въ такомъ стилѣ впоследствии Марксъ писалъ свои историческіе очерки, какъ 18-е брюмера. Вплотнѣ естественно, что, будучи близко знакомъ съ Кёппелемъ, Марксъ не имѣлъ надобности вносить плату за лекціи официальныхъ историковъ берлинскаго университета, не говоря уже о томъ, что у него не было времени слушать ихъ.

Не въ самыхъ «Hallische Jahrbücher», но въ ихъ изданіи появилась самая задорная полемическая статья Кёппела, «Юбилейная статья» о Фридрихѣ Великомъ и его противникахъ; она должна была 31 мая 1840 г. ознаменовать день, въ который за сто лѣтъ раньше Фридрихъ Великій вступилъ на престолъ. Воспріимчивками ея были Бруно Бауеръ и Карлъ Марксъ. Въ упомянутомъ уже письмѣ отъ 11 декабря 1839 года Бауеръ писалъ Марксу: «Ахъ, добрый, великозѣпный Кёппель! Относится ли онъ серьезно къ своей брошюрѣ? Какъ бы она теперь была необходима! Когда я, послѣ своего опыта въ Берлинѣ, смотрю на здѣшній университетъ, въ особенности на богословскій факультетъ, а затѣмъ на плачевныя докторскія диссертации въ Берлинѣ, то мнѣ начинаетъ казаться, что Пруссія обречена пойти впередъ только черезъ битву въ родѣ Іенской. Такая битва должна вскорѣ опять начаться несмотря на колону мира, въ Берлинѣ, она не должна проходить на кладбищѣ, есть и другое поле сраженія». Но статья Кёппела похожа скорѣе на что угодно, только не на битву при Іенѣ. Она скорѣе представляетъ чрезмѣрное возвеличеніе короля, система котораго была въ Іенѣ разрушена въ самой благодѣтельной бурѣ, какая когда-либо разразилась въ исторіи. Кёппель заканчиваетъ словами: «Существуетъ старинное народное повѣріе, что черезъ сто лѣтъ люди вновь рождаются. Время исполнилось. Да возсіяетъ надъ нами его воскресній духъ и уничтожитъ огненнымъ мечомъ всѣхъ противниковъ, заграждающихъ намъ доступъ въ обѣтованную землю! Мы же клянемся жить и умереть въ его духѣ!» Къ этимъ «мы» принадлежалъ и Карлъ Марксъ. На первой страницѣ статьи напечатано: «Посвящается моему другу Карлу Генриху Марксу изъ Трира».

Чтобы правильно понять ее, надо принять во вниманіе то обстоятельство, что во времена ея появленія память стараго Фрица была камнемъ преткновенія для всего, что въ прусскомъ государствѣ стремилось назадъ; для бритыхъ и долговолосыхъ поповъ, для романтическихъ болтуновъ съ ихъ колдовствомъ и стряпнею въ области политическихъ, юридическихъ наукъ и всеобшей исторіи, для историко-политическихъ реставраторовъ типа

Галлера, Савиньи, Лео, для истинно-нѣмецкихъ дураковъ съ длинными волосами и грязными рубашками, для болтающихъ попугаевъ гегелевской школы, считавшихъ себя гениальными умами, когда они кричали во все горло о просвѣщеніи восемнадцатаго столѣтія, наконецъ, и для большой массы филлистовъ, которые въ своей тупой неподвижности готовы были позволить потушить даже слабо мерцающій свѣтъ честнаго Николая. Противъ нихъ всѣхъ боролся всякій, кто подымалъ свой мечъ за стараго Фрица. «Въ самомъ дѣлѣ,—пишетъ Кёппенъ,—нельзя осуждать насъ, триста спартанцевъ, если мы вездѣ ищемъ помощи противъ столь многихъ и сильныхъ враговъ и вызываемъ даже мертвыхъ изъ могилъ противъ злыхъ духовъ». О «трехстахъ спартанцахъ» онъ при этомъ говоритъ совершенно буквально: «Hallsche Jahrbücher» послѣ двухлѣтняго существованія имѣлъ, какъ писалъ въ ноябрѣ 1839 года ихъ издатель Руге Фейербаху, какъ разъ 313 подписчиковъ.

Этимъ, однако, мы не хотимъ сказать, что Кёппенъ пользовался и злоупотреблялъ королевемъ Фридрихомъ только въ качествѣ тарана противъ всякаго рода реакціонеровъ. Для этого онъ былъ слишкомъ честенъ, а статья его слишкомъ страстная. Онъ вѣрилъ въ героя просвѣтительной эпохи, котораго онъ видѣлъ въ Фридрихѣ, несмотря на то, или можетъ быть именно потому, что онъ прекрасно зналъ огромную литературу и тогда уже существовавшую о слабостяхъ Фридриха. Она представлялась ему и не ему одному, да и въ самомъ дѣлѣ была отвратительнымъ «кошачьимъ концертомъ»: то были ветхо- и новозавѣтные трубы, моральные варганы, жалкія волюнки, историческія шарманки и всякая балаганная музыка, въ которую попали и гимны свободы, которые нѣмцы мычали истинно по-тевтонски, охрипшимъ отъ пива басомъ: противъ этой литературы старый Фрицъ еще и въ настоящее время имѣетъ историческое оправданіе. Къ тому же совершенно отсутствовалъ всякій противовѣсъ. Правда, гогенцоллернскій историкъ Прейсъ написалъ въ тридцатыхъ годахъ въ пяти толстыхъ томахъ біографію Фридриха, но если эта біографія и не лишена достоинствъ, какъ хроника и собраніе матеріаловъ, то она была не точна и не полна, суха и тупа, ни въ коемъ случаѣ не представляла исторической работы. Изъ статей короля черезъ пятьдесятъ лѣтъ послѣ его смерти имѣлось только то плохое изданіе, выпущенное извѣстнымъ Вильеромъ, которое англійскій историкъ Гиббонъ считалъ позоромъ для нѣмецкой націи. А берлинская академія въ день рожденія своего основателя устраивала лекціи «о мускулахъ эрекціи въ мужскихъ половыхъ органахъ нѣкоторыхъ страусовыхъ птицъ» и на другія столь же интересныя темы.

Писателю Фридриху Кёппенъ, прежде всего, сплетаетъ лавровый вѣнокъ. Уже въ самомъ началѣ сочиненія онъ ставитъ вопросъ, безпокойвшій всякаго браваго пруссака, кто былъ болѣе великъ, Фридрихъ или Наполеонъ. Для Кёппена это вообще не вопросъ, онъ знаетъ наследника французской революціи, какъ и самую революцію. «Отдадимъ кесарю кесарево!» Задача, которую ему предстояло рѣшить, была безконечна; онъ рѣшилъ ее съ исповѣнской силой, онъ величайшій военный, законодательный и адми-

инстративный гений всѣхъ времени, котораго нельзя ни съ кѣмъ сравнить. Но онъ рѣшилъ ее, какъ рабъ, а не какъ свободный; онъ сдѣлалъ то, что долженъ былъ, не потому, что онъ этого хотѣлъ, а потому, что онъ долженъ былъ. Чего онъ хотѣлъ, того онъ не долженъ былъ дѣлать, а чего не хотѣлъ, то долженъ былъ. ...Звѣзда, въ которую онъ вѣривъ, не сіяла въ его груди, но повелительно парила надъ его головой, какъ враждебная комета на небѣ судебъ. Онъ представляетъ самый грандіозный примѣръ паглотности и сопротивленія индивидуума идеѣ, съ которой онъ боролся, какъ титанъ, и которую считалъ уже задушенной, въ то время, какъ она его задавила. И именно поэтому никогда не было болѣе безвольнаго орудія въ рукахъ міроваго духа, нежели онъ... Отсюда, съ одной стороны, темное, роковое, фаталистически-рѣшительное въ его натурѣ, отсюда также, съ другой стороны, его жестокая ненависть ко всему идельному. Онъ ничего такъ не боялся, какъ духа, парящаго надъ водою, хотя онъ дѣлалъ видъ, что презираетъ его, какъ мечтательность, фанатизмъ, якобинство. До самой своей смерти онъ ненавидѣлъ «Сыновъ Безсмертныхъ», такъ какъ онъ предчувствовалъ, что паденіе его придетъ съ этой стороны, и что они положатъ конецъ его грубому военному и мужицкому деспотизму. У Наполеона съ революціей дѣло обстояло такъ, какъ у мышки съ кошкой. Онъ думалъ играть съ ней, она же играла съ нимъ. Онъ думалъ воспользоваться ею, какъ средствомъ, она же воспользовалась имъ, какъ средствомъ. Онъ думалъ, что побѣдилъ ее, она же побѣдила его. Онъ былъ ничѣмъ инымъ, какъ самой воплощенной революціей и вмѣстѣ съ тѣмъ ея воплощеннымъ врагомъ. Онъ подавлялъ ее во Франціи и вмѣстѣ съ тѣмъ распространялъ въ Европѣ». Такъ Наполеонъ палъ въ конфликтъ между субъективной волей и объективной необходимостью. Но это именно и есть тотъ пунктъ, по мнѣнію Кёппена, въ которомъ Фридрихъ значительно превосходитъ его и вообще стоитъ выше всего народа, который называется «великимъ». Онъ самый свободный слуга міроваго духа, который когда-либо жилъ и царствовалъ, въ этомъ онъ единственный.

Въ этой параллели, несомнѣнно, есть кое-что вѣрное. Можно сказать, что величіе прусскаго короля состояло въ полной ясности его относительно того, что онъ могъ сдѣлать и чего не могъ. Но при этомъ онъ сталъ слугою не міроваго духа, а прусской государственной мудрости, и его политическая практика находилась въ непримиримомъ противорѣчій съ его философскою теоріей. Поэтому слѣдующее мѣсто, гдѣ Кёппенъ пишетъ о Фридрихѣ, является ахиллесовой пятой его статьи: «Онъ былъ великимъ королемъ только потому, что онъ великій философъ. У него не было, такимъ образомъ, какъ у Канта, двухъ умовъ: теоретическаго, выступавшаго довольно откровенно и смѣло со своими сомнѣніями, отрицаніями и нерѣшимостью, и практическаго, офіціально приставаемаго опекуна, исправляющаго то, въ чемъ первый согрѣшилъ, и затупеивающаго его студенческія продѣлки. Только школьническая незрѣлость можетъ утверждать, что его философско-теоретическій разумъ является очень трансцендентнымъ по отношенію къ королевско-практическому, и что старый Фрицъ

очень рѣдко вспоминалъ отшельника Санъ-Суси. Никогда, напротивъ, король не отставалъ въ немъ отъ философа. Излишне въ настоящее время, когда мы располагаемъ совершенно другими источниками для исторіи Фридриха, подробно оспаривать это мнѣніе. Но эти положенія замѣчательны еще неуважительнымъ сужденіемъ о Кантѣ. Какъ ни несомнѣнно, что столь осмѣянная неокантіанцами «романтика понятій», Фихте и Гегеля развила дальше революціонную сторону кантовской философіи, а Шопенгауеръ ея реакціонную, такъ же, несомнѣнно, что Кантъ гегеліанцами считался болѣе «презойденнымъ», чѣмъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ. Это слишкомъ сильно, когда Кёппенъ не только сравниваетъ, но даже ставитъ кантовское буржуазное просвѣщеніе, какъ бы оно ни было двулико, ниже фридриховскаго просвѣщенія, которое было ничѣмъ инымъ, какъ просвѣщеннымъ абсолютизмомъ.

Кёппенъ, конечно, самъ оставляетъ этотъ слабый пунктъ своихъ положеній. Разсматривая отдѣльныя правительственныя мѣропріятія Фридриха, онъ находитъ, что повровительство дворянству и преслѣдованія евреевъ составляли слабую сторону короля; онъ рѣзко порицаетъ фридриховскій меркантилизмъ и многое другое. Въ концѣ концовъ онъ все же сосредоточивается на статьяхъ Фридриха. «Время его давно прошло, его послѣдніе товарищи уже почли навѣки, его творенія разрушены битвой при Іенѣ, и даже гигантская колонна, если бы ее воздвигли въ честь его въ будущемъ; учрежденія его отмѣнены или передѣланы, его постройки также распадаются, и еще задолго до второго пришествія путникъ напрасно будетъ спрашивать, гдѣ находился Нотсдамъ и Сансусеп, гдѣ гарнизонная церковь, гдѣ хранится прахъ великаго короля, по слова Фридриха останутся навѣки; ибо слово болѣе вѣчно, чѣмъ дѣло, оно было въ началѣ міра, и будетъ въ концѣ его». Отъ сочиненій Фридриха Кёппенъ естественнымъ путемъ переходитъ къ краснорѣчивому и восторженному апофеозу просвѣщенія, а затѣмъ возвращается къ Канту, чтобы напасть на гегеліанство съ фланга.

«Въ самомъ дѣлѣ, пора бы, наконецъ, оставить плоскія декламации противъ философіи XVIII столѣтія и признать также и лѣмецкихъ просвѣтителей, несмотря на ихъ скуку. И въ самомъ дѣлѣ, мы очень многимъ обязаны имъ, столькоимъ и пожауй даже больше, чѣмъ Лютеру и реформаторамъ». вмѣстѣ со своимъ героемъ Кёппенъ отрицаетъ «грубый матеріализмъ» какого-нибудь Гольбаха и Гельвеція, но вообще онъ оспариваетъ взглядъ, что просвѣтители пошли слишкомъ далеко. Наоборотъ, недостатокъ просвѣщенія заключается въ томъ, что оно не было достаточно просвѣщеннымъ. «Но развѣ недостатокъ цвѣтка, что онъ еще не сталъ плодомъ?.. Пусть подумаютъ объ этомъ философы новаго стиля, которые такъ охотно ополчаются противъ абстрактнаго разума XVIII столѣтія и не замѣчаютъ, что свирѣпствуютъ противъ своей собственной плоти и крови, а именно, противъ старыхъ браминьихъ логики, которые, сидя неподвижно съ повернутыми ногами, и наслаждаясь покоемъ, монотонно перечитываютъ святыя три Веды и лишь по временамъ бросаютъ похотливый взглядъ на танцующихъ баядерокъ. Эти уединенно кающіеся грѣшники понятія,

хорошенько закрывъ всё девять отверстій тѣла для того, чтобы въ нихъ не вселилась коварная Майя, все снова повторяютъ монотонное Омь! и не видятъ, что царство Браммы уже прошло, и что Вишну ѣдетъ по водамъ на фиговомъ листѣ для новаго сотворенія міра». Отвѣтъ на этотъ сплывшій ударъ не заставилъ себя долго ждать. Въ *Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik* благородный Варнгагенъ брюжжалъ, что статья Кёппена «отвратительна» и «противна», что Префессъ настоящій биографъ стараго Фрица. На это Руге, восторженно привѣтствовавшій въ *Hallische Jahrbücher* «юбилейную статью», отпѣлъ «старому подагрику изъ общества Генца и компаніи», который обо всемъ умѣетъ писать въ какихъ угодно направленіяхъ.

Однако дальше «трехсотъ спартанцевъ» статья едва ли имѣла вліаніе. Кёппенъ написалъ ее въ предчувствіи роковыхъ дней, въ предвидѣніи противоположностей, которыя не проявились съ такой остротой и рѣзкостью, такъ сложно и запутанно ни въ нѣмецкой реформаціи, ни во французской революціи. Но ему пришлось познакомиться и съ самыми опасными противниками. «Хуже всѣхъ болотные гады, тѣ ничтожества безъ религіи, безъ отечества, безъ убѣжденій, безъ совѣсти, безъ сердца, безъ тепла и холода, безъ радости и боли, безъ любви и ненависти, безъ Бога и дьявола, тѣ несчастные, которые блуждаютъ у входа въ адъ и слишкомъ дурны для него, индифферентисты. Великая рука слабѣетъ, всякое оружіе притупляется объ этихъ толстокожихъ, которые сплошь и рядомъ вредятъ доброму дѣлу уже однимъ фактомъ своего существованія. Можно убиты быка посредствомъ электрической машины, но гораздо труднѣе электризовать людей изъ подобной шайки. А ихъ цѣлые легіоны. Ихъ, конечно, всегда было много, такъ какъ лѣньность такъ же безсмертна, какъ глупость, но, никогда ихъ не было столько, сколько теперь, и такъ много, какъ въ Германіи. Прже у подобныхъ субъектовъ было одно уязвимое мѣсто: ихъ догматика, ихъ суевѣріе, ихъ предрасудки; но теперь и этого нѣтъ, и они обезпечены отъ всякихъ ударовъ и укуловъ, какъ покрытый роговой кожей Зигфридъ». Отъ этой роговой кожи отскочила «юбилейная статья», объ нее же, повидимому, разбилась, наконецъ, и рука Кёппена.

Его блестящимъ временемъ были дни, когда онъ работалъ вмѣстѣ съ Марксомъ. Все еще сражаясь со сверкающимъ оружіемъ въ первыхъ рядахъ, онъ отнынь начинаеть однако постепенно все болѣе и болѣе исчезать во мракѣ. Мы слишкомъ мало знаемъ о его личныхъ дѣлахъ, чтобы можно было съ увѣренностью сказать, что его утомило. Весьма вѣроятно, что принципиальное разногласіе, вскорѣ возникшее между Марксомъ и Бауеромъ, парализовало его стремленіе къ борьбѣ. Весь складъ толкалъ его скорѣе къ Марксу, выставившему исторически-практической элементъ противъ философствующей теоріи Бауера; но Кёппенъ не пошелъ за Марксомъ въ открытое море тогдашней полѣтики, а остался съ Бауеромъ въ берлинскомъ кругу, гдѣ невозможно было искоренить политическаго тупоумія. Съ родной его связывала любовь къ своей профессіи, такъ какъ онъ былъ прирожденнымъ педагогомъ; ученики его были страстно привязаны къ нему. О ихъ благодарности и почитаніи еще въ настоящее

время свидѣтельствуешь кѣппеновское учрежденіе при гимназій имени Фридриха, гдѣ Кѣппенъ былъ учителемъ въ послѣдніе десять лѣтъ своей жизни.

Одинъ изъ этихъ учениковъ, въ настоящее время заслуженный ветеранъ нашей изящной литературы, талантъ котораго Кѣппенъ пробудилъ и взлѣблялъ еще въ зародышѣ, былъ такъ любезенъ, что далъ мнѣ нѣкоторыя свѣдѣнія о своемъ старомъ учителѣ. Карлъ Френцель сталъ ученикомъ Кѣппена по нѣмецкому языку и исторіи въ реальномъ училищѣ въ Доротеенштадтѣ; по ходатайству Кѣппена предъ его опекуномъ, онъ вскорѣ перешелъ въ вердеровскую гимназію, для чего Кѣппенъ обучалъ его начаткамъ греческаго языка. И вотъ что пишетъ мнѣ Карлъ Френцель: «Какъ учитель, Кѣппенъ обладавъ необыкновенной способностью возбуждать и увлекать за собой всѣхъ учениковъ, даже самыхъ тупыхъ. Конечно, классы не были такъ переполнены, какъ теперь. Позднѣе, послѣ великаго краха 1849 года, когда ворвалась его дружба съ Вауерами, онъ сталъ менѣе разговорчивъ, сталъ уединяться, въ немъ стала обнаруживаться склонность къ отшельничеству. Нѣкоторое время, отъ 1854 до 1857 года, мы вмѣстѣ были учителями въ гимназій Фридриха. Его ученики еще бредили имъ, но превратности его жизни привели его къ буддизму. Къ Буддѣ онъ пришелъ столько же чрезъ Шопенгауера, сколько и благодаря политической реакціи. Онъ не ожидалъ ея пользы. Къ настоящей шопенгауеровской общинѣ въ Берлипѣ, къ которой принадлежали Фраусинтедтъ, Отто Линднеръ, онъ не принадлежалъ. Онъ жилъ всецѣло по видійскимъ представленіямъ и обычаямъ. Къ сожалѣнію, онъ не зналъ индійскаго языка, даже самыхъ простыхъ формъ его и долженъ былъ исключительно прибавляться англійскими и французскими переводами. Несмотря на это, мнѣ еще и въ настоящее время его Будда представляется замѣчательнымъ произведеніемъ. Какъ классическую книгу, ее, конечно, нельзя сравнивать съ произведеніемъ Германа Ольденберга. Я вѣчно буду благодаренъ Кѣппену; онъ пробудилъ во мнѣ писательскую жилку». Такковы свѣдѣнія, сообщенныя Карломъ Френцелемъ, которому мы весьма за нихъ благодарны.

О Шопенгауерѣ Кѣппенъ бесѣдовалъ уже съ Марксомъ, но въ то время, конечно, въ рѣзкомъ отрицательномъ духѣ. Въ своемъ письмѣ отъ 3 іюня 1841 года онъ пишетъ: «Мы никогда, если ты согласишься, говорили о сумасшедшемъ докторѣ Шопенгауерѣ. Я не разъ привожу любимую его фразу, а именно, что у всѣхъ народовъ развѣшено многоженство, за исключеніемъ одной извѣстной еврейской секты, христіанъ. Этотъ турокъ теперь издалъ два сочиненія на премію, одно удостоенное награды, другое нѣтъ (Объ основныхъ принципахъ морали, Франкфуртъ на Майнѣ), въ которыхъ онъ ужасно раздѣбываетъ Гегеля. Онъ объявляетъ summus philosophus, какъ онъ называетъ Гегеля, прямо сумасшедшимъ. Я пишу тебѣ объ этомъ, дабы ты, вспоминая Тренделенбурга, помянулъ и Шопенгауера». Маркъ никогда не упоминалъ о философѣ нѣмецкихъ филлистовъ, но Кѣппенъ только условно обратился къ Шопенгауеру, какъ справедливо указываетъ Карлъ Френцель. Самымъ убѣдительнымъ свидѣтелемъ этого является самъ Шопенгауеръ, когда онъ пишетъ одному изъ своихъ ано-

столовъ: «Буддизмъ Кёппена, представляя очень хорошее полное руководство, указываетъ на большое прилежаніе и начитанность. Онъ знаетъ все, даже архимандрита Палладія, котораго я самъ знаю только изъ рукописи вашей жены. Его глупые сарказмы представляютъ остатки венерическаго яда тегеліанства, котораго никогда нельзя вполне уничтожить: цѣль ихъ доказать читателю, что онъ излагаетъ буддизмъ безъ пристрастія и безъ любви, а тѣмъ не менѣе онъ является у него такимъ великолѣпнымъ». Порицаніе въ этихъ замѣчаніяхъ еще болѣе жестоко для Кёппена, нежели похвала: именно то, что восхищало въ буддизмѣ филистера Шопенгауера, невыразимая скука, политически порабощающее дѣйствіе, отсутствіе всякихъ великихъ человѣческихъ интересовъ, Кёппенъ критикуетъ со старой живой силой, на основаніи солидныхъ и всестороннихъ знаній.

Съ Марксомъ Кёппенъ едва ли надолго сохранилъ связь, однако они встрѣтились по-дружески, когда Марксъ гостилъ у Лассаля въ 1861 году. Въ июль 1863 года Кёппенъ умеръ, и воспоминаніе объ ихъ общей жизни воскресло, вѣроятно, у Маркса, когда онъ въ 1865 г. написалъ прощальное слово Прудону, единственную статью, какую онъ когда-либо далъ для берлинской газеты. Тамъ онъ говоритъ: «Мелкій буржуа, составленъ подобно исторіи Раумера, изъ «съ одной стороны» и «съ другой стороны». Этотъ намекъ на Раумера звучитъ какъ бы привѣтомъ умершему другу юности, потому что Кёппенъ такимъ образомъ характеризовалъ въ *Hallische Jahrbücher* историка Гогенштауфеновъ, вѣчно колеблющихся между «съ одной стороны» и «съ другой стороны».

5. Философія самосознанія.

Вмѣстѣ съ Бауеромъ и Кёппеномъ Марксъ втянулся въ практическую борьбу того времени; онъ работалъ также вмѣстѣ съ ними въ ихъ теоретической кузницѣ оружія, въ философіи самосознанія.

Эта философія сама по себѣ была самой простой вещью въ мірѣ. Каждый классъ пробуждается къ самосознанію, когда онъ начинаетъ ясно сознавать свои самостоятельные интересы въ противоположность другимъ классамъ. Но процессъ этотъ совершается, смотря по историческимъ условіямъ, медленно или быстро, и самые разнообразныя примѣры тому мы находимъ въ настоящее время въ процессѣ развитія пролетарскаго классового самосознанія въ различныхъ странахъ или даже въ различныхъ частяхъ одной и той же страны. Но процессъ развитія буржуазнаго самосознанія шелъ въ Германіи очень медленно. Въ то время, когда это самосознаніе въ Англии и Франціи вело уже сильную борьбу, оно въ Германіи существовало лишь въ туманной области философіи.

У Канта оно было проникнуто тѣмъ скрытымъ филистерствомъ, которое Шопенгауеръ затѣмъ развилъ дальше; революціонное же самосознаніе Фихте не имѣло еще твердой почвы подъ ногами. Гегель соединилъ его вмѣстѣ съ субстанціей Спинозы въ высшее единство абсолютной идеи, оскотенѣвшей въ домартовскомъ государствѣ прусской націи. Но когда

это государство начало трещать по швамъ, тогда абсолютная идея опять распалась на свои составныя части, причемъ вплоть соответствовало медлительности нѣмецъ то обстоятельство, что субстанція первая сдѣлалась текучею. Подъ ея крылышки Штраусъ спряталъ свою критику евангелія, въ которой онъ хотя и не считаетъ уже евангелія твореніемъ святаго духа, но и не признаетъ его также произведеніемъ человѣческаго духа; онъ считаетъ его безсознательно созданнымъ произведеніемъ первыхъ христіанскихъ общинъ.

Но чѣмъ больше развивался классъ буржуазіи, тѣмъ громче проявлялось ея самосознаніе. Оно нашло своихъ самыхъ сильныхъ выразителей въ лицѣ Бауера, Кёппена и Маркса. О нихъ Руге говоритъ въ письмѣ къ Цруцу, что присоединеніе къ буржуазному просвѣщенію наиболѣе характерная черта ихъ, что они, эта философская Гора, написали на покрытомъ тучами нѣмецкомъ горизонтѣ Мена, Текель, Фаресь. Но вмѣстѣ съ тѣмъ эта философская Гора все еще была лишь философскою. Вовлеченная въ практическую борьбу, она должна свести счеты съ своей философіей и искать такого пункта, съ котораго можно было дальше развивать идеи великаго учителя и такимъ образомъ превзойти его. Она нашла этотъ пунктъ въ исторіи философій Гегеля, въ той главѣ, гдѣ излагается греческая философія самосознанія.

Греческая философія претерпѣла три великихъ переворота. Она возникла въ іоническихъ и дорійскихъ торговыхъ колоніяхъ, которыя, благодаря живому общенію съ чужими народами, подвергались самымъ различнымъ вліяніямъ, причемъ онѣ уже съ самаго начала были болѣе свободны отъ религіозныхъ предрасудковъ, чѣмъ метрополія. На этой первой ступени греческая философія искала естественнаго объясненія вселенной. Она была, главнымъ образомъ, натурфилософией и находила свои предѣлы въ знаніи природы, которое въ свою очередь находится въ зависимости отъ экономическаго процесса производства. Античная форма производства съ ея рабовладѣльческимъ хозяйствомъ могла привести только къ несовершенному подчиненію природы. Такимъ образомъ греческая натурфилософія въ послѣднемъ счетѣ всегда наталкивалась на непреодолимую грань, и какъ разъ самые гениальныя ея представители, Парменидъ, Гераклитъ, Эмпедоклъ, Демокритъ отчаялись добиться истины путемъ чувственнаго познанія. Гераклитъ называлъ чувства жесвидѣтелями и кузнецами лжи, Демокритъ же говорилъ, что истина сокрыта на днѣ источника. Гераклитъ въ туманныхъ образахъ стремился къ познанію діалектическаго закона, который властвуетъ надъ всѣмъ и все создаетъ, между тѣмъ какъ Демокритъ объяснялъ происхожденіе міра изъ вихря невидимыхъ атомовъ; но они не пошли дальше гениальныхъ догадокъ и гипотезъ.

Съ этимъ греческая философія перешла на вторую ступень своего развитія: она отъ неба перешла къ землѣ, отъ объекта къ субъекту, отъ природы къ человѣку. Софисты въ Афинахъ объявили человѣка мѣриломъ всѣхъ вещей; они полагали, что всякое чувственное познаніе относительно и противоположныя утвержденія одинаково вѣрны, смотря по тому, какъ они представляются тому или другому человѣку или даже одному и

тому же при различныхъ обстоятельствахъ. Это связывало софистовъ съ конечнымъ выводомъ натурфилософiи, но здѣсь, какъ и вообще въ философскомъ развитiи, дѣло меньше всего шло о чисто идеологическомъ выводѣ. Со времени персидскихъ войнъ греческая жизнь, въ особенности въ Афинахъ, умственнымъ и политическомъ центрѣ Греціи, пошла усиленнымъ темпомъ, и въ водоворотъ ея была втянута и философія. Софисты были носителями образованiя, въ которомъ нуждалась побѣдоносная демократiя. Со времени изслѣдованiй Грота всякій знаетъ или по крайней мѣрѣ долженъ былъ бы знать, какъ не заслуженъ враждебный предразсудокъ, связанный еще и въ настоящее время съ именемъ софистовъ. Во всякомъ случаѣ съ ростомъ могущества Афинъ въ нихъ проявились самыя рѣзкія классовыя противорѣчiя, которыя затѣмъ оказали пагубное вліяніе и на софистику. Но такова ужъ роковая судьба всякой философіи, пока существуетъ классовое господство; и Платона также постигла эта участь. Онъ прежде всего виноватъ въ томъ, что софисты получили вошедшую въ пословицу славу безсовѣстныхъ крючкотворцевъ.

Афинская демократiя, покопываясь на фундаментѣ рабства и поработившая всю остальную Грецію, чтобы эксплуатировать ее, пала благодаря внутреннимъ противорѣчiямъ ея экономическаго строя; такъ какъ демократiя развратилась, то развратилась и софистика, а наоборотъ. Но съ вѣдшей стороны казалось, что все перевернуто вверхъ ногами, и такимъ образомъ аристократическая реакція также прежде всего стала на голову, чтобы поколебать афинскую демократiю. Сократъ началъ философскій походъ противъ софистовъ, въ которыхъ онъ самъ принадлежалъ и въ дурныхъ примѣрахъ которыхъ онъ былъ достаточно несмысленъ, судя по тому, что о немъ извѣстно. Но онъ вмѣстѣ съ тѣмъ обладалъ пламенной натурой апостола, и лично онъ безусловно серьезно относился къ нравственной реформѣ, которую онъ проповѣдовалъ на рынкахъ и улицахъ. Онъ искалъ убѣжденія отъ безграничной относительности софистовъ, которая угрожала спутать все понятiя о добрѣ и злѣ, въ неподвижномъ полюсѣ среди текущей смѣлы явленій, и шепселъ его въ добродѣтели, основанной на знанiи. Его руководящимъ принципомъ была реформа моральной жизни при помощи истиннаго знанiя. Не только невозможно дѣлать добро, когда его не знаешь, но невозможно не дѣлать его, когда знаешь его. Такъ какъ добро есть не что иное, какъ то, что служить на пользу дѣлающему его, то никто не бываетъ дурнымъ по доброй волѣ. Чтобы сдѣлать людей добродѣтельными, необходимо только разъяснить имъ, что есть добро. Событвенно этому Сократъ неутомимо искалъ понятiя добра, никогда не находя его, такъ что онъ всегда оканчивалъ признаніемъ своего незнанiя. Онъ прежде всего дѣйствовалъ рѣдкимъ обаяніемъ своей личности; мудрымъ самообладаніемъ онъ сумѣлъ обуздать сильную чувственность и страстный темпераментъ. Ограниченный въ своихъ требованіяхъ и потребностяхъ, бодрый въ борьбѣ и стойкій въ страданiяхъ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ былъ общителенъ, веселъ, жизнерадостенъ и во всякой веселой шуткѣ могъ постоять за себя.

Такимъ образомъ изъ его жизни и его ученiя вытекали различныя те-

ченія. Антистенъ и Аристиппъ старались изъ его личности сдѣлать нравственный идеаль. Первый основалъ циническую школу, второй—киренскую. Циники сперва назывались такъ по мѣсту ихъ собранія въ Аопнахъ, но они оправдали свое имя, происходящее отъ собаки, своимъ образомъ жизни, выводя свой идеаль добродѣтели изъ отсутствія потребностей и строгости по отношенію къ самимъ себѣ, что въ гармоническомъ характерѣ Сократа составляло только одну сторону. Въ радости жизни они видѣли такъ мало добра, что Антистенъ даже говорилъ, что онъ предпочитаетъ лучше сойти съ ума, чѣмъ имѣть удовольствія. Наоборотъ, киренцы исходили изъ свѣтлой стороны характера Сократа. Они назвали себя по родному городу Аристиппа, торговой колоніи Кирены на жаркомъ сѣверномъ берегу Африки, гдѣ греческая образованность соединилась съ восточной роскошью. Хотя и Аристиппъ твердо придерживался самообладанія Сократа, но при этой предпосылкѣ для него всепоглощающее наслажденіе жизнью было единственнымъ и всемъ. Такъ какъ у обѣихъ школъ отсутствовало какое бы то ни было научное обоснованіе ихъ этики, то онѣ переходили въ крайности, причемъ терялось именно то, что онѣ хотѣли продолжать послѣ Сократа,—личное достоинство характера. Циники превратились въ настоящихъ нищихъ философовъ, киренцы же въ практическихъ людей наслажденія, старавшихся приобрести всякое средство къ наслажденію, все равно какими путями.

Другое теченіе, исходящее отъ Сократа, старалось развить его ученіе и обосновать добродѣтель на знаніи. Здѣсь мы должны назвать имена Платона и Аристотеля. Но и Платонъ такъ же мало сдѣлалъ, какъ и Сократъ самъ, для установленія объективнаго понятія добра. Альбертъ Ланге справедливо замѣчаетъ, что мы такъ же мало узнаемъ изъ всѣхъ діалоговъ Платона, въ чемъ состоитъ это понятіе, какъ изъ сочиненій алхимиковъ о томъ, что такое въ сущности философскій камень. Но въ поискахъ этого понятія Платонъ пришелъ къ своей философіи понятій, къ своему ученію объ идеяхъ, по которому истинное первоначальное бытіе имѣютъ только идеи, формы вещей, только мыслимое въ понятіяхъ. Платонъ противопоставлялъ общія понятія расплывающемуся міру явленій, какъ нѣчто постоянное. Онъ отдѣлялъ общее отъ частнаго и приписывалъ ему отдѣльное существованіе. Прекрасное существуетъ не только въ красивыхъ вещахъ, добро не только въ добрыхъ людяхъ, но красота, добро совершенно абстрактно существуютъ сами по себѣ. Аристотель ограничилъ это ученіе объ идеяхъ, которое было скорѣе поэзіей, чѣмъ наукой, отрицая отдѣльное существованіе идей, но онъ твердо держался философіи понятій и сущность вещей, дѣйствительно и первоначально существующее вмѣстѣ съ Платономъ видѣлъ въ формахъ, составляющихъ содержаніе понятій. Его отличіе отъ Платона заключалось лишь въ томъ, что онъ считалъ формы не сущностями, отдѣленными отъ вещей, существующими для самихъ себѣ, а внутреннимъ существомъ отдѣльныхъ вещей. Этими онъ опять открылъ себѣ возможность воспринять въ свою философію содержаніе всѣхъ существовавшихъ въ то время наукъ, и онъ выполнялъ это блестящимъ образомъ, но онъ не уничтожилъ дуализма между общимъ и част-

нымъ, между разумомъ и чувственностью, между богомъ и вселенной. По извѣстному выраженію Гегеля Аристотель подчинилъ богатство и разнообразіе реальнаго міра понятію.

Какъ бы высоко мы ни ставили умственное значеніе этихъ двухъ философовъ, все же нельзя отрицать реакціоннаго характера ихъ философій. Они отказались отъ ограниченной, но вѣрной области научнаго познанія, приобритеннаго греческой натурфилософіей, чтобы отдаться сверхчувственнымъ стремленіямъ, господство которыхъ должно было въ корнѣ погубить всякое научное изслѣдованіе. Но въ этой философской реакціи отразилась только политическая реакція. Извѣстно, въ чемъ согрѣшили ученики Сократа по отношенію къ своему родному городу: Ксенофонтъ, Алкивиадъ, Критій стали безхарактерными креатурами Спарты, стоявшей во главѣ аристократической реакціи противъ демократическихъ Аѳинъ. Точно такъ же и Платонъ создалъ свое идеальное государство по образцу Спарты и думалъ осуществить его при содѣйствіи иностранныхъ тирановъ, безъ всякаго участія въ общественной жизни своего роднаго города. Аристотель состоялъ уже даже на службѣ у македонскаго короля Филиппа, который вообще уничтожилъ греческую свободу и независимость. Позднѣе философія Платона и Аристотеля стала духовной основой средневѣковой церкви, а такъ какъ эта церковь являлась силой эксплуатаціи и угнетенія, то съ наступленіемъ новаго времени всякая сила эксплуатаціи и угнетенія видѣла въ Платонѣ и Аристотелѣ своихъ философскихъ святыхъ.

Съ національнымъ распаденіемъ Греціи начался третій періодъ греческой философій. Въ то время какъ завоеванія Александра въ восточныхъ и южныхъ странахъ открыли новые міры, греческая метрополія благодаря своему соціальному разложенію сдѣлалась добычей чужестранцевъ и ареной ихъ борьбы: такимъ образомъ философія спустилась съ заоблачныхъ высотъ метафизическихъ разсужденій, чтобы раздѣлаться, сообразно съ вновь создавшимся условіями жизни, на научное изслѣдованіе и практическую житейскую мудрость. Александрійская школа, названная такъ по метрополіи, основанной македонскимъ царемъ въ Египтѣ, дала значительный толчокъ въ области точныхъ и историческихъ наукъ, но философія ея была очень слабо поставлена. Наоборотъ, въ философскихъ школахъ, возникшихъ въ самой Греціи, недоставало научнаго основанія. Они образовали догматическія системы, убѣжища для человѣка, ищущаго утѣшенія въ уединеніи, освободившагося вслѣдствіе ужасной катастрофы отъ всего, что его до сихъ поръ связывало и направляло. Сдѣлать его также независимымъ отъ всего внѣшняго и сосредоточить только на внутренней его жизни, искать счастья въ покойѣ ума и духа, оказывающаго непреодолимое сопротивленіе, даже когда надъ нимъ обрушиваются развалины цѣлаго міра, — это сдѣлалось теперь общей цѣлью тѣхъ трехъ философскихъ школъ, которыя наложили свою печать на третій періодъ греческой философій.

Сначала временно появился скептицизмъ, отказавшійся отъ всякаго знанія и старавшійся достигнуть атараксіи, непоколебимаго спокойствія духа, тѣмъ, что индивидуумъ уходилъ въ свое мыслящее самосознаніе. Это не-

сопѣливо былъ, самый простой методъ отдѣлаться отъ тревогъ міра, но и самый пустой и невѣрный. Если это былъ первый и самый необходимый шагъ для отрицанія міра, то міръ лишь тогда могъ быть побѣжденъ, если принципъ самосознанія самъ сумѣетъ его проинкнутъ.

Соотвѣтственно съ этимъ за скептицизмомъ послѣдовалъ логически и хронологически эпикуреизмъ, задавшійся цѣлью доказать, что принципъ изолированнаго индивидуума есть міровой принципъ. Такъ какъ самосознаніе отрицало всякое метафизическое умозрѣніе въ томъ видѣ, какъ оно велось у Платона и Аристотеля, то Эпикуръ заимствовалъ изъ сокровищницы мыслей болѣе древней греческой философіи то, что ему годилось для его цѣли. Онъ не могъ найти лучшаго символа для своего принципа, чѣмъ ученіе Демокрита объ атомахъ, отъ движенія которыхъ произошелъ міръ. Атомъ сталъ для Эпикура принципомъ отдѣльнаго индивидуума, что, конечно, разрушало материалистическую основу мировоззрѣнія Демокрита. Какъ въ своей физикѣ Эпикуръ явился послѣдователемъ Демокрита, такъ въ этикѣ своей онъ явился послѣдователемъ Аристиппа, который былъ не менѣе близокъ ему: счастье индивидуума состоитъ въ наслажденіи, но Эпикуръ видѣлъ наслажденіе не въ шумномъ наслажденіи жизнью, а въ свѣтломъ душевномъ мирѣ, который можетъ отъ всего отказаться, только не отъ добродѣтели.

Но индивидуальность самосознанія является въ то же время и его общицею; тѣмъ самымъ, что единичное сознаніе существуетъ, оно становится общимъ, или, поясняя абстрактную мысль конкретнымъ примѣромъ: признавъ самосознаніе, Фихте одновременно призналъ равенство всего того, что имѣетъ человѣческой образъ. Этотъ третій моментъ самосознанія выразилъ стоицизмъ. Какъ Эпикуръ опирался на Демокрита и киренскую школу, такъ стоики съ такой же логикой опирались на Гераклита и школу циниковъ. Ученіе Гераклита о жертвѣ всеобщему приняло форму самого рѣзкаго самосознанія. Его идея логоса, его міръ, образующій законъ, проникающій всѣ вещи въ ихъ движеніи, превратился у стоиковъ въ «огненный разумъ міра», причемъ они такъ же безцеремонно распоряжались умозрѣніями Гераклита, какъ Эпикуръ материализмомъ Демокрита. Но, требуя добровольнаго подчиненія отдѣльнаго всеобщему разуму, стоики пришли къ тому самообладанію и строгости по отношенію къ самимъ себѣ, которыхъ требовала школа циниковъ. При этомъ они были такъ же далеки отъ крайностей этой школы, какъ эпикурейцы отъ крайностей киренской школы. Идеалъ свой они видѣли не въ нечистоплотномъ лицемъ, но въ полномъ равновѣсіи духа, которое можетъ быть обезпечено только добродѣтелью. Они говорили: добродѣтельная жизнь есть счастье, эпикурейцы же находили, что для того, чтобы стать счастливымъ, человѣкъ долженъ быть добродѣтельнымъ.

Такъ, пытаясь овладѣть міромъ, самосознаніе, отрицавшее его въ скептицизмѣ, развивалось, съ одной стороны, къ полюсу эпикуреизма и, съ другой стороны, къ противоположному полюсу стоицизма. Или какъ Целлеръ выражаетъ эту мысль въ обратномъ порядкѣ: «Въ то время, какъ въ стоицизмѣ и эпикуреизмѣ индивидуальная и общая сторона субъектив-

паго духа, атомистическая изолированность индивидуума и его пантеистическое слияние съ цѣлымъ съ равнымъ правомъ непримримо противостоятъ другъ другу, эта противоположность превращается въ скептицизмъ въ нейтральность». Общими у всѣхъ трехъ школъ были происхождение и цѣль; точно также представляется ничтожнымъ различіе въ томъ, что стояки желали быть добродѣтельными, чтобы быть счастливыми, между тѣмъ какъ эпикурейцы упражнялись въ добродѣтели ради счастья. Но различіе принциповъ, изъ которыхъ исходила обѣ школы, на практикѣ вело къ самымъ острымъ конфликтамъ между ними. Стояки были въ области философіи детерминистами, а въ политикѣ стойкими республиканцами, въ области же религии они впадали въ разного рода безмысленные предрассудки. Эпикурейцы же, наоборотъ, были въ области философіи индетерминистами, а въ области политики они были чрезвычайно терпимы, со всякой же религіей они вели непримримую войну. Если немного подумать, то легко видѣть, что эпикурейцы, какъ и стояки, сдѣлали этотъ выводъ вполне логически изъ своихъ предпосылокъ.

Гегель въ своей исторіи философіи разсматриваетъ эти три философскія школы какъ догматизмъ и скептицизмъ, — эпикуреизмъ, какъ абстрактно-индивидуальное, а стоицизмъ, какъ абстрактно-общее самосознаніе, оба какъ односторонній догматизмъ; и благодаря именно этой односторонности противъ нихъ тотчасъ же выступилъ скептицизмъ. При этомъ онъ быстро съ нами раздѣлялся, въ томъ ворчаливаго недовольства, такъ что это звучало почти какъ личная досада. Это довольно плоское сравненіе, когда Гегеля называютъ современнымъ Аристотелемъ, а Аристотеля древнимъ Гегелемъ. Нѣмецкая философія понятій уже тѣмъ глубоко отличалась отъ греческой, что она была отраженіемъ политической революціи. Но во всякой философіи понятій есть черта реакціонной неподвижности, которая сильно развилась въ системѣ Гегеля, и несомнѣнное сходство между Гегелемъ и Аристотелемъ, состояло, конечно, въ этомъ, что и Гегель старался охватить всѣ знанія своего времени со спекулятивныхъ точекъ зрѣнія. Онъ, можетъ быть, испытывалъ предчувствіе своей собственной судьбы, когда, рассказывая о новыхъ философскихъ школахъ, появившихся сейчасъ же послѣ Аристотеля, ему приходилось устанавливать быстрое распаденіе системы Аристотеля.

Тѣмъ болѣе заинтересовано было молодое поколѣніе этой школы, хотѣвшее выйти изъ замкнутой системы, сломать особенно тонкій въ этомъ мѣстѣ переплетъ нѣтки. Можетъ показаться противорѣчіемъ, что идеологическій авангардъ буржуазнаго класса, который вообще хотѣлъ еще создать нѣмецкому народу національное существованіе, закалилъ свое самосознаніе на античномъ самосознаніи, возникшемъ изъ разложившагося національнаго существованія. И это противорѣчіе было не только кажущимся. Бруно Бауеръ потерпѣлъ крушеніе потому, что онъ не умѣлъ угадать момента, когда философское отдѣленіе буржуазной классовой борьбы изъ рычага превратилась въ тормазъ. Но философія стоицизма, эпикуреизма и скептицизма когда-то все же имѣла важное историческое значеніе. Она открыла человѣческому уму новыя перспективы, разбила національныя границы эллинизма и социальныя границы раб-

ства, подъ вліяніемъ которыхъ всецѣло еще находились Платонъ и Аристотель. Она рѣшительно оплодотворила первобытное христіанство, религію страждущихъ и угнетенныхъ, которая обратилась къ Платону и Аристотелю лишь въ качествѣ эксплуатирующей и угнетающей господствующей церкви. Даже Гегель не могъ не указать на то значеніе, какое имѣла внутренняя свобода субъекта въ злосчастную эпоху римской имперіи, когда грубой рукой уничтожалось въ духовной индивидуальности все прекрасное и благородное. И уже буржуазное просвѣщеніе XVIII столѣтія мобилизовало греческія философскія системы самосознанія, сомнѣніе скептиковъ, ненависть къ религіи эпикурейцевъ, республиканскіе взгляды стоиковъ.

Эту связь Кёппель указалъ въ своей статьѣ о королѣ Фридрихѣ, который, по его мнѣнію, былъ классическимъ представителемъ просвѣщенія. «Эпикуреизмъ, стоицизмъ и скепсисъ составляютъ нервно-мускульную систему и внутренности античнаго организма; непосредственное и естественное единство ихъ обуславливало красоту и нравственность древности; умеръ организмъ, и она распалась. Всѣ три Фридрихъ воспринялъ и провелъ съ удивительною силой. Они стали главными моментами его міровоззрѣнія, его характера, его жизни». Эпикуреизмъ короля легко было доказать его любовью къ музыкѣ и къ изящнымъ искусствамъ, его жизнью въ Салуси въ кругу людей, которые, какъ указалъ Кёппель, почти всѣ безъ исключенія были эпикурейцами. Всѣ просвѣтителі XVIII столѣтія чувствовали свое родство съ эпикуреизмомъ, точно такъ же, какъ эпикурейцы въ свою очередь были просвѣтителями древности. Такъ же легко было доказать скепсисъ короля, который зналъ отъ древнихъ, что путь къ истинѣ идетъ черезъ сомнѣніе. Гораздо труднѣе было доказать стоицизмъ Фридриха. «Иъ этому у Фридриха отъ природы было мало склонностей,—говоритъ Кёппель,—между тѣмъ стоицизмъ вездѣ есть свободная, самостоятельная борьба противъ естественнаго. Стоицизмъ и эпикуреизмъ соприкасаются другъ съ другомъ, какъ противоположности. Они связаны, какъ мужъ и жена, какъ общее и индивидуальное. Поэтому они произошли изъ одного источника, вмѣстѣ выросли и погибли, поэтому они у Фридриха объединены». Тѣмъ не менѣе король понималъ, что такъ называемый законченный стоицизмъ есть только абстрація, требованіе безъ истины и дѣйствительности. Человѣческое въ немъ возмущалось, и съ невиданной дотогѣ строгостью человѣкъ отдѣлился отъ короля. Стоицизмъ своего героя Кёппель видѣлъ въ томъ, какъ Фридрихъ въ качествѣ перваго слуги государства исполнялъ свои обязанности во время войны и мира.

Совершенно иначе и гораздо плодотворнѣе ставилъ вопросъ объ отношеніи греческой философіи самосознанія къ современной борьбѣ Бруно Бауеръ. Онъ изучалъ стоицизмъ, эпикуреизмъ и скептицизмъ для выясненія происхожденія христіанства и пришелъ такимъ образомъ къ критикѣ евангелія, далеко превосходившей своей основательностью и смѣлостью Штрауса, и она нанесла гораздо большій ударъ ортодоксѣи. Если Штраусъ еще признавалъ многое въ евангеліяхъ за историческій матеріалъ изъ жизни Иисуса

и въ важнѣйшихъ пунктахъ допускалъ существованіе историческаго ядра, а мнѣшескія составныя части ихъ выводилъ изъ безсознательнаго творчества христіанской общины, то Бауеръ доказалъ, что въ евангеліяхъ не было ни одного атома историческаго, что, наоборотъ, все въ нихъ являлось свободнымъ литературнымъ творчествомъ евангелистовъ. Бауеръ опровергъ мистическія и позитивныя предпосылки критики Штрауса положеніемъ, что евангелисты стояли въ одномъ ряду съ Гомеромъ и Гезіодомъ, которые, какъ выразился Геродотъ, создали грекамъ ихъ боговъ. Если иногда критика Бауера и не попадала въ цѣль, то все же она указала единственный путь научнаго изслѣдованія происхожденія христіанства. Бауеръ былъ введенъ въ заблужденіе принципомъ безконечнаго самосознанія, когда онъ захотѣлъ примѣнить эту голую формулу къ современной борьбѣ; но изученіе стоицизма, эпикуреизма и скептицизма, занимавшее его до самой его смерти, приобрѣло ему его неувидаемую славу, давъ ему возможность доказать, что христіанская религія не была навязана греко-римскому міру какъ мировая религія, но была собственнымъ продуктомъ этого міра.

Наконецъ Марксъ рѣшилъ изслѣдовать исторію этихъ трехъ философскихъ системъ въ ихъ связи со всемъ греческимъ умозрѣніемъ. Его докторская диссертация, выясняющая различіе между натурфилософіей Демокрита и Эпикура, составляетъ часть этой работы.

6. Демокритъ и Эпикуръ.

Отъ произведеній Демокрита и Эпикура сохранились только отрывки, несмотря на то, что Эпикуръ послѣ стоика Хрисиппа былъ самымъ плодовитымъ писателемъ древности и написалъ не менѣе трехсотъ свитковъ. Съ обоими философами потомство сыграло очень дурную шутку подъ влияніемъ идеалистическаго мировоззрѣнія, которое, при всемъ кажущемся идеализмѣ, всегда имѣетъ злой языкъ, когда надо осудить материалистическое мировоззрѣніе, какъ ересь.

Ученіе Демокрита представляло строго опредѣленный матеріализмъ, главныя положенія котораго можно выразить слѣдующимъ образомъ. Изъ ничего ничего не происходитъ; нельзя уничтожить ничего, что существуетъ. Всякое измѣненіе есть только соединеніе и раздѣленіе частей. Нѣтъ ничего случайнаго, все имѣетъ причину и происходитъ по необходимости. Существуютъ только атомы и пустое пространство, все остальное—это мнѣніе. Атомы безчисленны и безконечно разнообразны по формѣ. Въ своемъ вѣчномъ движеніи паденія въ безконечномъ пространствѣ большіе атомы, падающіе быстрѣе, сталкиваются съ меньшими; возникающія, такимъ образомъ, боковыя и вихревыя движенія составляютъ начало образованія міровъ. Безчисленные міры образуются и опять исчезаютъ рядомъ другъ съ другомъ и другъ за другомъ. Разнообразіе вещей происходитъ изъ различія атомовъ по числу, величинѣ, формѣ и порядку; качественного различія атомовъ нѣтъ. Атомы не имѣютъ внутреннихъ состояній; они дѣйствуютъ другъ на друга лишь посредствомъ давленія и толчка. Душа состоитъ изъ тонкихъ, гладкихъ и круглыхъ атомовъ, подоб-

ныхъ атомамъ огня. Это самыя подвижныя атомы, и отъ ихъ движенія, проникающаго все тѣло, происходятъ явленія жизни. Главныя положенія Демокрита содержатъ въ зародышѣ почти все великія основныя положенія современнаго матеріализма, въ смыслѣ и научнаго изслѣдованія природы, и философскаго міровоззрѣнія.

Эпикуръ перенялъ натурфилософію Демокрита, но съ нѣкоторыми измѣненіями. Демокритъ также отрицалъ у атома чувственное проявленіе, но его интересовало только матеріальное существованіе атома. Эпикуръ, наоборотъ, выдвигалъ также понятіе атома, рядомъ съ его матеріей его форму, рядомъ съ его существованіемъ и его сущность. Въ атомѣ онъ видѣлъ также символъ изолированнаго индивидуума, абстрактно-индивидуальнаго самосознанія, отрицаніе всякаго отношенія къ другому бытію. Чтобы провести эту мысль, онъ долженъ былъ сдѣлать тѣ измѣненія, которыя доставляли ему столько далеко желанныхъ комплиментовъ, начиная отъ Цицерона и Плутарха до Лейбница и Канта. Эти комплименты были бы вполне справедливы, если бы Эпикуръ хотѣлъ оставаться, какъ Демокритъ, только натурфилософомъ. Но судьба Эпикура была такова, что уже въ древности утратилось пониманіе того, что собственно занимало его въ его физикѣ.

Нигдѣ историческій идеализмъ не считаетъ себя въ такой неприступной крѣпости, какъ въ исторіи философій, и все же именно здѣсь положеніе его еще менѣе прочно, если это возможно, чѣмъ гдѣ бы то ни было. По его представленію, философскія системы возникаютъ въ умѣ и распространяются въ умахъ, причемъ каждая философская система продолжаетъ дѣйствовать въ духѣ ея основателя, убѣждая своей истинностью, либо пробуждая противорѣчіе своей неправильностью. На дѣлѣ же каждая философская система возникаетъ изъ потребностей народа или эпохи, имѣющихъ въ экономическомъ процессѣ производства этого народа или этой эпохи свои самыя глубокія корни. Но разъ она уже проникла въ міръ, то идеи ея дѣйствуютъ не вслѣдствіе ихъ собственной силы тяготѣнія, а какъ орудія историческаго развитія, которое, въ свою очередь, опредѣляется экономическимъ процессомъ производства.

Эпикурейская школа была среди всѣхъ философскихъ школъ древности самой законченной. Ученіе ея въ теченіе столѣтій не измѣнялось; она такъ же часто привлекала себѣ сторонниковъ изъ другихъ школъ, какъ рѣдко эпикуреецъ переходилъ къ другой системѣ. Вместе съ тѣмъ она уже въ древности дѣйствовала, какъ умственная сила совершенно иначе, чѣмъ это соответствовало намѣреніямъ и взглядамъ ея основателя. Его строгая нравственность не помѣшала его ученію послужить для господствующихъ классовъ римской имперіи философскою маской, оправдывавшей самое низменное чувственное наслажденіе; точно также его ненависть ко всякой религіи не помѣшала эпикуреизму стать существеннымъ ферментомъ христіанской религіи среди бѣдняковъ и несчастныхъ. Эпикуръ впервые требовалъ, чтобы люди избрали себѣ благороднаго человѣка, какъ прообразъ бога, «чтобы мы жили такъ, какъ если бы онъ смотрѣлъ на насъ, и дѣйствовали такъ, какъ если бы онъ видѣлъ насъ». Наре-

ченіе, что давать пріятнѣе, чѣмъ брать, идетъ отъ Эпикура такъ же какъ и менѣе ясное изреченіе: Будьте покорны тому правительству, которое пмѣетъ надъ вами власть. Такимъ образомъ эта философія была захвачена соціальной борьбой классовъ, передѣлана, превращена въ свою противоположность. Политическій флюгеръ, Цицеронъ, который тѣмъ больше хвастался стоической строгостью, чѣмъ меньше онъ ею обладалъ, популяризировалъ эпикуреизмъ въ худшемъ смыслѣ поверхностной болтовни, а услужливый придворный поэтъ Гораций въ шутку называлъ себя «свиньей изъ стада Эпикура»; но Лукрецій, наиболее оригинальный и глубокомысленный поэтъ римской литературы, облегчилъ свой скорбящій среди грозныхъ тучъ гражданской войны духъ дидактическимъ стихотвореніемъ о природѣ вещей, въ которомъ онъ собралъ «всѣ золотыя слова изъ свитковъ Эпикура, затмѣвающего всѣхъ другихъ мудрецовъ, какъ солнце затмѣваетъ звѣзды».

Лукрецій изобразилъ эпикурейскую философію именно такъ, какъ понималъ ее основатель. Тѣмъ не менѣе его стихотвореніе стало причиной того, что въ понятіяхъ новѣйшаго времени Эпикуръ занялъ мѣсто Демокрита и приобрѣлъ, такимъ образомъ, незаслуженную славу, между тѣмъ какъ его уклоненія отъ Демокрита, разсматривались съ такимъ пренебреженіемъ, какое въ древности проявляли только Цицеронъ и Плутархъ. Вспомнимъ хотя бы Канта, который въ своей естественной исторіи неба называетъ отклоненіе атома отъ прямой линіи, существенное различіе между физикой Демокрита и Эпикура, «наглымъ безстыдствомъ», въ своей же Критикѣ чистаго разума онъ видитъ въ Эпикурѣ самаго выдающагося философа чувственности въ противовѣсъ Платону, какъ самому выдающемуся философу разума. Все это объясняется тѣмъ, что новѣйшее время получило первое основательное знаніе древняго матеріализма изъ дидактическаго стихотворенія Лукреція, въ которомъ онъ превозносилъ Эпикура, какъ бога; Демокритъ же былъ ему гораздо болѣе чуждъ. Воспользовавшись въ 17 в. эпикурейской философіей какъ самымъ могучимъ оружіемъ противъ платоно-аристотельскихъ пережитковъ среднихъ вѣковъ, Гассенди проложилъ путь для современнаго матеріализма. Маркъ въ предисловіи къ своей диссертациі слишкомъ рѣзко говоритъ о Гассенди, который, хотя и былъ французскимъ священникомъ, однако во всякомъ случаѣ, не въ интересахъ церкви, но, чтобы оградить себя отъ clerикальнаго преслѣдованія, напнулъ на цвѣтущее тѣло Лансы христіанскую монашескую одежду. Гассенди въ данномъ случаѣ поступилъ не хуже, чѣмъ сто лѣтъ спустя Кантъ, который развилъ свою составившую эпоху теорію неба изъ атомизма Демокрита и Эпикура, ихъ же самихъ назвалъ «вздорными» людьми, потому что они приняли механическое происхожденіе міра, а не вывели, наоборотъ, существованіе бога изъ того, что изъ хаоса образовался міръ.

Если всѣ три философскія школы античнаго самосознанія приобрѣли преобладающее вліяніе на буржуазное просвѣщеніе 17 и 18 столѣтій, то на первомъ планѣ среди нихъ стоитъ эпикуреизмъ, причѣмъ его неаппетитъ къ религіи, во всякомъ случаѣ, не играла при этомъ рѣшающей роли.

Философін, развившаяся изъ принципа изолированного индивидуума, должна была во всёхъ своихъ выводахъ оказаться удобной для расцвѣтавшаго капиталистическаго способа производства, по въ то же самое время ученіе объ элементарныхъ тѣльцахъ и происхожденіи всёхъ явленій изъ ихъ движенія, значительно измѣненное такими философами, какъ Декартъ, Ньютонъ и Бойль, стало основаніемъ современнаго естествознанія. Эта наука должна была тогда вызвать сознаніе, что послѣдовательный матеріализмъ Демокрита былъ собственно разрушенъ Эпикуромъ, но весь перевѣсъ эпикурейской философін былъ такъ великъ, что даже Альбертъ Ланге еще называетъ ее въ своей исторіи матеріализма «самой законченной матеріалистической системой древности», хотя онъ и признавалъ, что Эпикуръ поставилъ физику въ служебное отношеніе къ этикѣ, и что это подчиненное положеніе физики оказало вредное вліяніе на объясненіе природы у Эпикура. Еще съ большей ясностью и рѣзкостью Целлеръ опровергъ въ своей исторіи греческой философін тотъ взглядъ, что Эпикуръ является вторымъ изданіемъ Демокрита. Именно вслѣдствіе слабости своего естественно-научнаго интереса, говоритъ Целлеръ, Эпикуръ тѣсно соприкасался съ Демокритомъ, но для него вся эта физическая теорія была лишь средствомъ и имѣла исключительно относительное значеніе, такъ что онъ ни на минуту не задумался нарушить всю ея послѣдовательность признаніемъ отклоненія атомовъ и свободы воли. Точное наблюденіе показываетъ, что даже здѣсь, гдѣ оба философа были согласны въ своихъ отдѣльныхъ утвержденіяхъ, все же значеніе этихъ утверждений и весь духъ этихъ системъ самымъ очевиднымъ образомъ расходились. Демокритъ занимался естественными науками ради ихъ самихъ, Эпикуръ же лишь установилъ *взглядъ* на природу, чтобы обосновать философскую систему.

Уже задолго до того, какъ Целлеръ обосновалъ это различіе между физикой Демокрита и Эпикура въ самыхъ общихъ чертахъ, Марксъ провелъ его до мельчайшихъ подробностей. Его статья объ этомъ, бывшая первой попыткой въ этомъ родѣ, и до сихъ поръ остается единственной; это еще и по настоящее время придаетъ его диссертацин научное значеніе. Тонкое изслѣдованіе, вращающееся въ области кажущихся мелочей, продолжается въ художественныхъ сравненіяхъ, пока, наконецъ, сами звѣзды не произносятъ окончательнаго приговора одностороннему принципу изолированного индивидуума. Изъ гегелевской терминологіи отовсюду прорывается пластическая сила творчества, языкъ у него такой сильный, какого давно уже нѣтъ у послѣдователей гегелевской школы. Возможно, что Марксъ съ своей стороны вкладываетъ въ эпикурейскую философію, которую Гегель называетъ безыдейной въ принципѣ, болѣе глубокую идею, чѣмъ она имѣла на самомъ дѣлѣ. Несомнѣнно, что Эпикуръ, который, какъ автотидидатъ, всегда придавалъ большое значеніе обыкновенному языку жизни, обосновалъ свою физику не въ гегелевскихъ оборотахъ какъ развилъ ее Марксъ. Но именно въ этомъ и сказывается мощь молодого льва, какъ онъ сказался и въ Гераклитѣ Лассала.

Марксъ самъ доказываетъ въ своей диссертацин, что школа философа, который приспособляется къ окружающей дѣятельности, должна не

усомниться въ учителя, но объяснить приспособленіе недостаточностью его принципа, въ которой оно должно корепиться; она должна, такимъ образомъ, превратить въ прогрессъ знанія то, что кажется прогрессомъ со-вѣсти. Исходя изъ совокупности такихъ же идей, можно сказать, что всегда будетъ существовать различіе, будутъ ли возстановлять изъ развалинъ философскую систему мыслящіе умы или ученые специалисты; точно такъ же всегда будетъ существовать разница, построятъ ли вновь древній храмъ, отъ котораго осталось лишь нѣсколько развалинъ, ремесленникъ или художникъ. Это не должно умалять работы специалистовъ, она, конечно, должна рѣшать первую и самую необходимую задачу, но она не является послѣднимъ шагомъ. Если, напримеръ, Шлейермахеръ, Гегель и Лассаль разсматриваютъ гераклитовское стораніе міра, какъ символъ діалектическаго мірового процесса, между тѣмъ какъ профессиональные историки греческой философіи, какъ Риттеръ, Врандесъ, Бернай, Целлеръ толкуютъ отрывки Гераклита такъ, будто темный философъ думалъ, что міръ отъ времени до времени дѣйствительно сгораетъ, то, можетъ быть, эти ученые изслѣдователи и правы, но вмѣстѣ съ тѣмъ и тѣ мыслители не неправы. Шлейермахеръ, Гегель и Лассаль придали определенное значеніе неудовлетворительному толкованію гераклитовскаго принципа, исходя изъ самой сущности возрѣвній эвесада, и лучше освѣтили глубину гераклитовской философіи, чѣмъ буквальные ея толкователи. Въ такомъ смыслѣ одинъ берлинскій профессоръ, какъ говоритъ Врандесъ въ своей статьѣ о Лассалѣ, очень остроумно и мѣтко замѣтилъ, что обычнаго типа филологъ не понималъ бы Гераклита и даже не долженъ былъ его понимать, Лассаль же его, конечно, понималъ. Точно такъ же и воспроизведеніе эпикурейской натурфилософіи Марксомъ сохранить свое значеніе, котораго нельзя оспаривать даже съ точки зрѣнія профессиональной критики, если бы даже она и нашла въ немъ слабыя стороны.

Дѣйствительно слабыя стороны статьи заключаются въ томъ, что Марксъ въ ней, какъ это уже видно изъ посвященія, стоитъ еще на исключительно идеалистической почвѣ. Философія для него еще до такой степени наука, что онъ съ похвалою говоритъ объ Эпикурѣ за то, что онъ создалъ науку атомистики, между тѣмъ какъ Эпикуръ создалъ только ея философію. Поскольку атомистика стала наукой, поскольку современное естественно-научное изслѣдованіе объясняетъ ею законы звука, свѣта, теплоты, химическихъ и физическихъ измѣненій вещей, постольку пионеромъ ея является Демокритъ, а не Эпикуръ. Здѣсь, впрочемъ, рѣчь идетъ о характерной опискѣ, потому что въ другихъ мѣстахъ Марксъ надлежащимъ образомъ указываетъ на безграничную безопасность Эпикура въ объясненіи физическихъ явленій, причемъ исчезаетъ всякая настоящая и дѣйствительная наука, поскольку индивидуальность не господствуетъ въ самой природѣ вещей. Но и въ общемъ въ его параллели между Демокритомъ и Эпикуромъ видно, какъ, при всей начинающейся оппозиціи противъ Гегеля, Марксъ еще былъ глубоко проникнутъ философіей понятій и какъ онъ былъ еще далеко отъ естественныхъ наукъ.

Все, что онъ говоритъ о «скептическомъ, неувѣренномъ и внутренне

противорѣчивомъ отношеніи Демокрита къ достовѣрности человѣческаго познанія, само по себѣ довольно неувѣренно. Когда Марксъ философствуетъ нѣсколько пространно, но не исчерпывающимъ образомъ надъ этой антиноміей Демокрита, то достаточно было бы заглянуть въ критику Канта, чтобы объяснить сомнѣніе Демокрита и самыхъ видныхъ іонійскихъ натурфилософовъ въ вѣрности чувственного познанія, какъ проблему, которая съ чисто философской точки зрѣнія стояла гораздо выше наивнаго предположенія Эпикура, что единственнымъ критеріемъ истины является чувственное воспріятіе, что солнце имѣетъ два фута величины, потому что оно такимъ кажется нашему глазу. Въ этомъ отношеніи въ то время или вскорѣ послѣ этого, Лассаль и даже Шопенгауеръ умѣли выразиться яснѣе и короче, причемъ Лассаль открылъ въ сомнѣніи Гераклита въ безошибочности чувственного познанія, а Шопенгауеръ въ такомъ же сомнѣніи Демокрита точку зрѣнія, аналогичную современному критицизму.

Точно такъ же спорна мысль, проникающая всю работу и выраженная въ послѣднихъ ея словахъ, что атомистика Демокрита есть гипотеза, которая, будучи результатомъ опыта, а не ея энергическимъ принципомъ, остается неосуществленной и не руководитъ болѣе реальнымъ изслѣдованіемъ природы. Уже было только что указано, какое значеніе имѣла эта гипотеза для современнаго естествознанія. Если Марксъ не могъ въ 1841 году предвидѣть полное развитіе этой науки, то спеціально въ литературѣ нѣмецкой философіи кантовская естественная исторія неба показала, какъ осуществился атомизмъ Демокрита въ безконечномъ мірозданіи, и какъ онъ ведетъ реальное изслѣдованіе природы къ важнѣйшимъ открытіямъ. Конечно, эта слабая сторона работы выстѣ съ тѣмъ была сильною стороною ея автора, который, при «различной энергіи и практикѣ» обонхъ философовъ, скорѣе высказывался за Эпикура, чѣмъ за Демокрита.

Именно этотъ мятежный духъ побуждалъ Марксу написать задуманную книгу о циклѣ эпикурейской, стоической и скептической философіи. Чѣмъ болѣе развивалась возможность практической борьбы, тѣмъ неудержимѣе бросался онъ въ нее, чтобы въ побѣдномъ движеніи впередъ просвѣтить пробуждающееся самосознаніе того класса, побѣда котораго только и можетъ реализовать философію самосознанія и создать состояніе человѣческаго общества, въ которомъ свободное развитіе каждаго будетъ условіемъ свободнаго развитія всѣхъ. Въ этой рѣшительной мысли Коммунистическаго манифеста завершилась та умственная работа, которую Марксъ началъ въ своей докторской диссертации.

7. Полученіе степени въ Іенѣ.

Возвращаемся еще разъ къ статьѣ, которую Энгельсъ написалъ о Марксѣ въ Handwörterbuch der Staatswissenschaften (Словарь общественныхъ наукъ). «По окончаніи образованія въ трирской гимназіи, — сказано тамъ, — Марксъ съ 1835 года учился въ Боннѣ, затѣмъ въ Берлинѣ, гдѣ изучалъ сначала право, затѣмъ философію и представилъ въ 1841 году дис-

сертацию на степень доктора философии о философии Эпикура. В том же году он переехал в Бонн, чтобы основаться там в качестве доцента, но препятствия, которые правительство ставило там его другу, доценту философии Бруно Бауеру, и которые окончились удалением Бауера из университета, вскоре ясно показали Марксу, что для него нет места в прусском университете». По существу вернее, сообщение это ошибочно в том отношении, будто Маркс получал ученую степень в Берлине. Между тем фактически он получил степень доктора в Лейпциге. Хотя эта ошибка и случайная, но эта перемена места имеет особое значение, как высший признак тяжелой душевной борьбы, которую Карл Маркс в последние семестры вел с самим собой. Мы не можем проследить эти тяжелые обстоятельства в деталях, так как кроме нескольких писем Бруно Бауера не имеем никаких непосредственных данных об этом, но это видно из общего положения вещей.

Когда Бауер осенью 1839 года отправился в Бонн, Маркс уже прослушал восемь семестров, и поэтому было вполне естественно, что старший друг настаивал на «жестком экзамене», для которого в Берлине требовалось только звание Аристотеля, Спинозы, Лейбница и ничего больше. Само собою разумеется, что Бауер не предполагал в Марксе близки экзаменов в обыкновенном смысле этого слова, потому что в таком случае он не желал бы так настойчиво иметь его своим соратником. Это было в натуре Маркса, что он легко хватался за самые трудные проблемы; но его неумолимая самокритика затрудняла ему быстрое окончание их. Бауер, наоборот, работал очень быстро, сплось и рядом очень успешно, что впоследствии сильно повредило его литературной деятельности, и именно тогда он выпускал один том за другим. Поэтому он смелся над Марксом, что тот так долго тянет с таким «фарсом», такой «недлостью», как экзамен.

Возможно, что Маркс тем дальше, тем все больше сомневался в своей способности и склонности к «профессорству». Летом 1840 года он хотел издать книгу о гермесизме, том течения католицизма, которое смешивало церковный догмат с некоторым количеством кантовской философии и которое имело свой главный центр в Бонне, где Гермес был доцентом. Бауер должен был поэтому сделать запрос у одного издатели в Бонне, для которого Маркс прислал письмо; однако Бауер 25 июля отвечал выговором и заявил, что он не может отдать этого письма: «в таком тон ты, пожалуй, можешь писать своей прачке, но не издателю, которого ты еще только должен расположить в свою пользу». Личные сношения Бауера с издателем оказались безуспешными; другой издатель, которого по этому поводу должен был зондировать ориенталист Гильдемейстер, единственный друг Бауера в Бонне, ничего не имел против; но у самого Бауера явилось положительное раздумье относительно того, является ли данный момент подходящим для философской критики гермесизма. «Неизвестно еще, как отнесется к нему теперешний король; все возможно. Поэтому лучше было бы подождать. Критиковать философскую школу, которую государство преследует»

и которая не пустила еще вѣрныхъ корней въ умы, несвоевременно. При старомъ королѣ дѣла обстояли нѣсколько иначе; тогда каждую минуту казалось, что гермесіанизмъ близокъ къ рѣшительной побѣдѣ! Это, очевидно, повліяло и на Маркса; съ тѣхъ поръ объ этомъ дѣлѣ кажется больше не было рѣчи.

Осенью 1840 года оба друга провели нѣсколько мѣсяцевъ вмѣстѣ въ Берлинѣ въ то время, когда Эйхгорнъ сдѣлался министромъ народнаго просвѣщенія, и богословскій факультетъ въ Боннѣ отказывался принять Бауера въ профессора. О томъ, что дѣлать, Бауеръ совѣтовался также и съ Марксомъ, и съ Марксомъ прежде всего. Они рѣшили издавать въ Боннѣ журналъ, который по радикальнымъ тенденціямъ долженъ былъ оставить далеко позади *Hallische Jahrbücher*, но виды на академическую катедру въ рейнскомъ университетѣ для Маркса сильно пали. Какъ другъ Бауера, онъ могъ рассчитывать на дурной пріемъ со стороны профессорской клики, совѣтъ же Бауера ходатайствовать у Эйхгорна и у его директора министерства Ладенберга, чтобы при покровительствѣ министерства оказать давленіе на боннскихъ флистеровъ, Марксъ конечно не могъ принять. У Бауера никогда въ жизни не было честолюбивыхъ стремленій; даже когда его политически-публицистическія скитанія привели его къ партіи *Kreuzzeitung* (Крестовой газеты) и Струсберга, онъ довольствовался своей благородной бѣдностью, но способъ, какъ онъ возвысился благодаря расположенію Альтеништейна, притупилъ его толкое чутье въ такихъ вещахъ, и его не смущала тень просителя, когда иначе говорить съ министромъ, чѣмъ съ прачкой.

Однако даже и съ его точки зрѣнія не на что было надѣяться въ Берлинѣ, если философія самосознанія не подчинится единоспасающему кресту. Вызовъ Шеллинга и Шталя въ берлинскій университетъ съ ясно выраженою цѣлью окончательно разбить безвредную группу глухихъ и ослепнѣлыхъ гегеліанцевъ, дисциплинарное наказаніе студентовъ изъ Галле, которые въ почтительномъ адресѣ просили новаго короля, какъ ихъ ректора, о вызовѣ Штрауса въ Галле, и многое другое достаточно показывали, чего можно ожидать отъ министерства Эйхгорна. Приступать при такихъ предзнаменованіяхъ къ экзамену *pro facultate docendi* съ работою объ Эпикурѣ значило биться головою объ стѣну. Марксъ въ то время думалъ еще о практической карьерѣ. Нѣтъ надобности говорить здѣсь, какъ заботы о невѣстѣ и матери должны были обострять для него эти душевные конфликты. При такомъ удрученномъ состояніи духа, ему пришла мысль, которая указывала ему выходъ безъ всякихъ сдѣлокъ со своей совѣстью: приобрести степень доктора въ маленькомъ университетѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ опубликовать свою диссертацию, какъ доказательство его прилежанія и его способностей, а затѣмъ попытаться счастья въ Боннѣ въ качествѣ соредактора радикальнаго журнала или въ университетѣ, по статутамъ котораго онъ, какъ докторъ, получившій степень въ «иностранномъ университетѣ», долженъ былъ выполнить только нѣсколько формальностей, чтобы быть допущеннымъ въ качествѣ приватъ-доцента.

Объ этихъ формальностяхъ и тѣхъ каверзахъ, для которыхъ ихъ могли

употребить, Бауеръ подробно писалъ Марксу 28 марта 1841 года. Въ заключеніе онъ говоритъ: «Итакъ, постарайся во всякомъ случаѣ, чтобы Ладенбергъ расчистилъ тебѣ путь, чтобы онъ написалъ о тебѣ сюда и заранѣе предупредилъ возникновеніе всякаго рода питригъ. Постарайся также расположить въ свою пользу Эйхгорна. Если здѣсь будутъ знать, что одинъ изъ нихъ высказался за тебя, тогда все уладится. Ну, а я дальше не могу ждать. Этимъ лѣтомъ журналъ долженъ состояться, долженъ быть выработанъ его планъ, порядокъ, все должно быть устроено, чтобы онъ вышелъ къ Михайлову дню. Больше невозможно выдержать. Берлинское пустословіе и безцвѣтность *Hallischer Jahrbücher*—миѣ очень жаль Руге со всѣми его добрыми намѣреніями; но почему же онъ лучше не выгонитъ изъ своей газеты всю эту челядь—все болѣе обнаруживается... Такъ какъ мы можемъ допустить только немногихъ сотрудниковъ, и работа при этомъ, слѣдовательно, должна быть очень усиленной, то было бы очень хорошо, если бы ты провелъ здѣсь это лѣто и тотчасъ же принялся бы за работу. Лѣтомъ мы должны уже приготовить матеріалъ». Съ этимъ письмомъ разошлось письмо Маркса, такъ какъ уже черезъ три дня, 31 марта, Бауеръ опять пишетъ:

«Если бы все шло по моему желанію,—начинаетъ онъ,—то я давно написалъ бы уже твоей невѣстѣ. Но я считаю это и теперь еще неумѣстнымъ ради тебя. Вырвись же хоть на этотъ разъ настоящимъ образомъ, и тогда ты побѣдишь. Если бы я только могъ быть въ Трирѣ, чтобы изложить дѣло твоимъ близкимъ! Я думаю, что и провинціальныя привычки тоже въ значительной степени содѣйствуютъ осложненію. Но едва ли миѣ удастся этимъ лѣтомъ попасть въ Трирѣ, такъ какъ я хочу, наконецъ, избавиться отъ работы объ евангеліяхъ, чтобы имѣть возможность приняться за другія работы... Твоя невѣста способна все переносить съ тобой, и кто знаетъ, что еще можетъ случиться. Рѣшеніе, поскольку оно выразится въ вѣннемъ разрывѣ, я думаю, все приближается, и кто можетъ сказать, какъ отнесутся къ этому правительства. Негодяи, однако, во всякомъ случаѣ будутъ разбиты, если даже правительства вѣчно будутъ ихъ защищать. Постарайся же выступить, ты этимъ успокоишь также и свою невѣсту, насколько это возможно. Ты будешь смѣяться, когда узнаешь, или услышишь, какъ я мысленно составилъ планъ журнала. Только Руге огорчаетъ меня; я совершенно искренне отношусь къ нему, и во всякомъ случаѣ я такъ поведу дѣло, чтобы онъ не могъ жаловаться и не могъ сомнѣваться въ моей искренности. Онъ ничего еще не подозреваетъ о грозѣ, которая собирается надъ его головой. Я покажу ее ему очень осторожно, раньше, чѣмъ она разразится. Я думаю, что дѣло это кончится къ общему удовольствію всѣхъ благомыслящихъ людей, такъ же и Руге, хотя оно и вызоветъ сильный кризисъ. Тренделенбургъ будетъ, конечно, одной изъ первыхъ жертвъ, которыя ты принесешь оскорбленной философіи». Затѣмъ слѣдуетъ цитированное уже мѣсто, гдѣ Бауеръ высказываетъ надежду, что когда Марксъ пріѣдетъ въ Боннъ, то этотъ городишко станетъ предметомъ всеобщаго вниманія. Въ припискѣ онъ еще говоритъ: «Было бы безуміемъ съ твоей стороны посвятить себя практи-

ческой карьерѣ. Теорія въ настоящее время является самой сильной практикой, и мы еще не можемъ предсказать, въ какой степени она воплотится въ практику».

Наконецъ 12 апрѣля Бауеръ пишетъ: «Ты теперь ни въ коемъ случаѣ не долженъ помѣщать въ своей диссертациі того стиха изъ Эсхила, и вообще ничего такого, что выходитъ за предѣлы философскаго развитія. Зачѣмъ въ этотъ моментъ, когда ты еще не знаешь, какъ ты устроишься, бросать этимъ олухамъ вызовъ, который дастъ имъ поводъ поднять отчаянный шумъ, чтобы на долгое время сдѣлать недоступной для тебя всякую кафедру? Въ этой диссертациі ты долженъ остаться исключительно при философской формѣ, и въ ней ты вѣдь можешь сказать все, что находится въ подобныхъ эниграфахъ. Но не теперь! Впослѣдствіи, когда ты уже будешь имѣть кафедру и выступишь съ философскимъ развитіемъ, ты можешь говорить все, что тебѣ угодно, и въ какой угодно формѣ. Вѣдь много труда стоитъ провести философскую форму, зачѣмъ же безъ нужды увеличивать трудъ и давать глупости поводъ, котораго она ищетъ, но не такъ то легко находить въ формѣ. Но если ты уже велѣлъ печатать эниграфъ, то пусть уже остается. Посмотри, какъ ты задѣваешь этихъ людей. Какъ уже сказано: потомъ все, только не въ данный моментъ! Къ моему сочпенію, которое я очень скоро набросалъ, я тоже взялъ эниграфъ для темы, который великолѣпенъ. Но вѣдь я уже сажу здѣсь, и они не такъ легко могутъ меня прогнать. Ты долженъ подумать, что ты увеличиваешь трудности и для твоей невѣсты, если популярной выходкой затруднишь себѣ доступъ къ кафедрѣ. У тебя еще и потомъ будетъ довольно много трудностей. Смотри на мою осторожность, какъ тебѣ угодно, но ты согласишься со мной, при твоёмъ основномъ возрѣніи, что излишняя пропія только на почвѣ крупнаго развитія перестаетъ быть излишней. Она умѣстна только послѣ систематическаго развитія. Подумай, какой черберъ охраняетъ каждый философскій факультетъ, и троица изъ Фихте, Брандиса и Кальцера представляетъ совсѣмъ не плохого чербера изъ олуховъ. Потомъ разбей ихъ на голову, чтобы они завяли, но не дразни ихъ теперь, чтобы они не подвяли дая. Осмотришь кругомъ, какія собаки вездѣ лаютъ, какія овцы блеютъ, и посмѣйся надъ всей этой исторіей, которой я здѣсь и заканчиваю».

Затѣмъ Бауеръ спрашиваетъ: «Можешь ты оставить Берлинъ еще въ этомъ мѣсяцѣ? Сдѣлай для этого все, что можешь. Ты такимъ образомъ уѣзжаешь, успокаиваешь свою невѣсту, стовариваешься со своими родными и можешь еще читать въ Боннѣ! Уничтожь препятствія или борись съ ними съ другого пункта! Эдгаръ вѣдь все сдѣлаетъ! Отдай ему рукопись твоего безсмертнаго произведенія, пусть онъ напечатаетъ и позаботится о корректурѣ и пошлетъ все въ Йену съ тѣмъ, чтобы тебѣ оттуда дипломъ переслали въ Боннѣ или въ Трирѣ, или же Эдгаръ можетъ получить его въ Берлинѣ и затѣмъ прислать тебѣ, куда ты пожелаешь. Тебѣ незначѣмъ дожидаться всего этого въ Берлинѣ». На этотъ разъ Марксъ сдѣлалъ все скорѣе, чѣмъ думалъ его другъ; 15 апрѣля 1841 года онъ получилъ степень въ Йенѣ заочно.

Но больше онъ ничего не выполнилъ изъ своего плана, потому что событія быстро сдѣнялись одно за другимъ. Бауеръ вызвалъ кризисъ раньше, чѣмъ онъ разсчитывалъ, своей критикой синоптическихъ евангелій, появившейся лѣтомъ 1841 года. Эйхгорнъ не имѣлъ даже, или еще не приобрѣлъ печальнаго мужества палача. Онъ заставилъ всѣ богословскіе факультеты ополчиться на неудобнаго доцента, такъ что это вызвало сенсацию далеко за нѣмецкими предѣлами. Только въ Галле и въ Кёнигсбергѣ лютеранскіе богословы осмѣлились вступить за свой собственный принципъ протестантской свободы преподаванія. Въ другихъ городахъ они уступили съ большимъ или меньшимъ достоинствомъ, но берлинскій факультетъ подъ вліяніемъ Генгстенберга сдался въ крайнѣ некресивыхъ формахъ. Марейнке, старый защитникъ Бауера, опубликовалъ хотя свое особое мнѣніе въ его пользу, но и онъ было полно жалкихъ увѣртокъ. Академическая свобода преподаванія разсыпалась впрахъ. Даже изъ предполагаемаго журнала тоже ничего не вышло. Преслѣдованіе изъ Берлина достигло Галле такъ же, какъ и Воншъ. Руге получилъ королевскій приказъ, по которому онъ долженъ былъ представить свой журналъ, печатающійся и выходящій у Виганда въ Лейпцигѣ, на просмотръ прусской цензуры; въ противномъ же случаѣ онъ будетъ запрещенъ въ прусскихъ областяхъ. Тогда онъ переселился въ Дрезденъ и сталъ издавать свой журналъ съ 1-го іюля 1841 года подъ названіемъ *Deutsche Jahrbücher*. Вслѣдствіе сильныхъ притѣсеній онъ самъ принужденъ былъ вести болѣе острую борьбу, чѣмъ та, которую Бауеръ намѣренъ былъ вести въ новомъ журналѣ. Съ этого времени онъ принадлежалъ къ числу наиболѣе усердныхъ сотрудниковъ Руге. Но въ Кёльнѣ рейнская буржуазія основала большую газету, которая должна была начать выходить въ 1842 г. и воспользоваться болѣе снисходительной цензурой, специальный уставъ которой полный романтическихъ притворчій король составлялъ и велѣлъ издать въ концѣ 1841 года.

Во всѣхъ этихъ новыхъ событіяхъ Марксъ принималъ ближайшее участіе, и потому, вѣроятно, его докторская диссертация осталась ненапечатанной. Рукопись, посланную имъ въ Іену, къ сожалѣнію, нельзя было найти въ университетскихъ актахъ, однако въ копіи, предназначенной для печати можно видѣть эпиграфъ изъ Эсхила, который Бауеръ охотно бы устранилъ. Совѣтъ его подашь былъ съ добрыми намѣреніями, онъ хорошо его взвѣсилъ, но если бы даже онъ и принялъ во время, Марксъ едва ли послѣдовалъ бы ему. Онъ не проявлялъ никакой излишней проны, но отдавался жизни, полной возбуждающей работы и утомительной борьбы, когда онъ въ заголовкѣ своей первой статьи привелъ слова, сказанныя Прометеемъ слугѣ боговъ:

„Но знай, Гермесь, что казнь мою и цѣпи
Не промѣнялъ бы я на твой позоръ“.

Пер. Д. С. Мережковскаго.

Своему дорогому старшему другу

Майному Советнику

Господину Людвигу фонъ Вестфаленъ

въ Триръ

посвящаетъ

эти строки въ знакъ сыновней любви

Авторъ.

Вы простите мнѣ, мой дорогой старшій другъ, если я ставлю ваше столь дорогое мнѣ имя на ничтожной брошюрѣ. У меня нѣтъ достаточно терпѣнія ждать другого случая, чтобы дать вамъ маленькое доказательство моей любви.

Я желалъ бы, чтобы всѣ, кто сомнѣвается въ идеѣ, имѣли такое счастье, какъ я, преклоняться предъ вѣчно юнымъ старцемъ, встрѣчающимъ великій прогрессъ времени съ энтузіазмомъ и осторожностью истины и съ тѣмъ убѣжденнымъ и свѣтлымъ идеализмомъ, который одинъ только знаетъ то магическое слово, по которому являются всѣ духи міра, который никогда не отступалъ въ страхъ предъ тѣнью ретроградныхъ призраковъ, предъ темнымъ горизонтомъ, но съ божественной энергіей и мужественно увѣреннымъ взглядомъ смотрѣлъ чрезъ всѣ превращенія въ тѣ эмпири, которыя горятъ въ сердцахъ міра. Вы, мой старшій другъ, всегда были живымъ *argumentum ad oculos*, что идеализмъ не воображеніе, а истина.

Мнѣ не за чѣмъ просить для Васъ физическаго благополучія. Духъ— великій волшебный врачъ, которому вы довѣрились.

ПРЕДИСЛОВІЕ

Форма этой работы была бы, съ одной стороны, болѣе строго научной, съ другой стороны, въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ не была бы такъ педантична, если бы она не предназначалась первоначально для докторской диссертации. Внѣшнія причины заставляютъ меня, однако, отдать ее въ печать въ этой формѣ. Кроме того, я думаю, что мнѣ удалось въ ней рѣшить нерѣшенную до сихъ поръ проблему изъ исторіи греческой философіи.

Специалистамъ извѣстно, что по предмету этой работы не существуетъ никакихъ годныхъ въ какомъ-либо отношеніи предварительныхъ работъ. И до настоящаго времени обыкновенно повторяютъ болтовню Плутарха и Цицерона. Гассенди, освободившій Эпикура отъ интердикта, наложеннаго на него отцами церкви и всѣми

средними вѣками, этой эпохой воплощеннаго въ жизнь безсмыслія, даетъ въ своихъ очеркахъ одинъ только интересный моментъ. Онъ старается какъ-нибудь примирить свою католическую совѣсть со своимъ языческимъ знаніемъ, Эпикура съ церковью. Но это, конечно, былъ напрасный трудъ. Это равносильно попыткѣ набросить на веселое цвѣтущее тѣло греческой Лансы христіанское монашеское платье. Гассенди скорѣе самъ поучается философію по Эпикуру, такъ что онъ не можетъ объяснить намъ философію Эпикура.

На эту статью надо смотрѣть лишь какъ на предвѣстника болѣе обширнаго сочиненія, въ которомъ я думаю разобрать основательно циклъ эпикурейской, стоической и скептической философіи въ ихъ связи со всѣмъ греческимъ умозрѣніемъ. Недостатки этой статьи какъ со стороны формы, такъ и въ другихъ отношеніяхъ тамъ будутъ исправлены.

Хотя Гегель въ пѣломъ правильно опредѣлилъ общую идею названныхъ системъ, но при удивительно большомъ и смѣломъ планѣ его исторіи философіи, съ которой вообще только и начинается исторія философіи, отчасти было невозможно вдаваться въ частности; отчасти же этому колоссальному мыслителю мѣшало признать за этими системами высокое значеніе ихъ для исторіи греческой философіи и для греческаго ума вообще его взглядъ на то, что онъ называлъ спекулятивнымъ *par excellence*. Эти системы составляютъ ключъ къ пониманію истинной исторіи греческой философіи. Болѣе глубокое указаніе на ихъ связь съ греческой жизнью можно найти въ сочиненіи моего друга Кёппена: «Фридрихъ Великій и его противники».

Если въ видѣ приложения прибавлена критика полемики Плутарха противъ теологіи Эпикура, то это произошло потому, что полемика эта не является единичной, но выражаетъ собою цѣлое направленіе, при чемъ она чрезвычайно мѣтко выражаетъ отношеніе поглощеннаго теологіей разума къ философіи.

Въ критикѣ между прочимъ совершенно не затрогивается вопросъ, какъ неправильна вообще точка зрѣнія Плутарха, когда онъ подвергаетъ философію суду религіи. Въмѣсто всякихъ разсужденій по этому поводу достаточно привести одно мѣсто изъ Давида Юма. „Довольно оскорбительно для философіи, что ее, верховное значеніе которой должно было бы вездѣ быть признано, принуждаютъ защищаться изъ-за ея выводовъ и оправдываться предъ всѣми сталкивающимися съ ней науками и искусствами. При этомъ вспоминается король, котораго обвиняютъ въ государственной измѣнѣ противъ своихъ собственныхъ подданныхъ“.

До тѣхъ поръ, пока въ ея покоряющемъ весь міръ, абсолютно свободномъ сердцѣ будетъ еще хоть одна капля крови, философія всегда скажетъ своимъ противникамъ вмѣстѣ съ Эпикуромъ: Не тотъ безбожникъ, кто презираетъ боговъ толпы, но тотъ, кто присоединяется къ мнѣнію толпы о богахъ.

Философія этого не скрываетъ. Признаніе Прометей:

Откровенно говоря, ко всѣмъ богамъ я ненависть питаю—
есть ея собственное признаніе, ея собственное изреченіе противъ
всѣхъ небесныхъ и земныхъ боговъ, которые не признають человѣ-
ческаго самосознанія высшимъ божествомъ. Рядомъ съ нимъ не дол-
жно быть никого.

Но жалкимъ трусамъ, торжествующимъ по поводу мнимаго ухуд-
шенія положенія философіи въ государствѣ, она повторяетъ то, что
Прометей сказалъ слугѣ боговъ, Гермесу:

Но знай, Гермесь, что казнь мою и цѣпи
Не промѣнялъ бы я на твой позоръ:
Чѣмъ вѣстникомъ проворнымъ у царей
Служить, какъ ты.

(Пер. Д. С. Мережковскаго).

Прометей—самый благородный святой и мученикъ въ философскомъ
календарѣ.

К. Г. Марксъ.

Берлинъ, мартъ 1841.

СОДЕРЖАНІЕ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Различіе между натурфилософіей Демокрита и Эпикура вообще.

Стр.

- I. Предметъ сочиненія
- II. Мнѣнія объ отношеніи физики Демокрита и Эпикура
- III. Трудности отождествленія натурфилософій Демокрита и Эпикура .
- IV. Общее принципиальное различіе между натурфилософіей Демокрита и Эпикура
- V. Общій выводъ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Различіе между натурфилософіей Демокрита и Эпикура въ частностяхъ.

- | | |
|------------------|---|
| ГЛАВА ПЕРВАЯ. | Отклоненіе атома отъ прямой линіи |
| ГЛАВА ВТОРАЯ. | Качества атома |
| ГЛАВА ТРЕТЬЯ. | Атомъ аруа и атома стоуеца |
| ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. | Время |
| ГЛАВА ПЯТАЯ. | Метеоры |

ПРИЛОЖЕНІЕ.

Критика полемики Плутарха противъ теологіи Эпикура. Предварительныя замѣчанія.

I. Отношеніе человека къ Богу.

1. Страхъ и потустороннее существо
2. Культъ и индивидуумъ
3. Провидѣніе и низвергнутый богъ

II. Индивидуальное безсмертіе.

1. О религіозномъ феодализмѣ. Адъ черни
2. Тоска многихъ
3. Высокомѣріе избранныхъ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Различіе между натурфилософіей Демокрита и Эпикура вообще.

I. Предметъ сочиненія.

Развитіе греческой философіи, повидимому, закончилось такъ, какъ не должна кончатся хорошая трагедія, именно: безцвѣтной развязкой. Съ Аристотелемъ, этимъ Александромъ Македонскимъ греческой философіи, прекращается, повидимому, объективная исторія философіи въ Греціи, и даже мужественно сильныиъ стоикамъ не удается то, что удалось спартаицамъ въ ихъ храмахъ: приковать Аенну къ Гераклу, чтобы она не могла уйти.

Эпикурейцевъ, стоиковъ, скептиковъ разсматриваютъ какъ почти безполезное прибавленіе, ничѣмъ не связанное съ могучими предшественниками. Эпикурейская философія представляетъ якобы синкретическій агрегатъ изъ физики Демокрита и киренской дморали, стоицизмъ—соединеніе гераклитовской натурфилософіи, нравственнаго міровоззрѣнія циниковъ и отчасти аристотелевской логики, наконецъ, скептицизмъ—необходимое зло, выступающее противъ этого догматизма. Эти системы философіи, такимъ образомъ, безсознательно связываютъ съ александрийской, превращая ихъ въ односторонній и тенденціозный эклектизмъ. Наконецъ, александрийская философія разсматривается какъ полнѣйшая фантазія и путаница, въ которой въ лучшемъ случаѣ можно видѣть стремленіе къ универсальности.

Все человѣческое должно пройти неизмѣнный циклъ рожденія, періода расцвѣта и увяданія, это,—очень избитая истина. Такимъ образомъ нѣтъ ничего удивительнаго, что греческая философія, достигнувъ при Аристотелѣ высшей степени процвѣтанія, затѣмъ увяла. Но смерть героевъ можно сравнить съ закатомъ солнца, а не съ лягушкой, которая пыжится, надувается и—лопается. Помимо того рожденіе, расцвѣтъ и увяданіе составляютъ совершенно общія неопредѣленныя понятія, подъ которыя можно все подвести; но они ничего

не объясняютъ. Самая смерть преформирована въ жизни, и ея форму слѣдовало бы поэтому представлять себѣ въ ея специфической особенности, какъ и форму жизни.

Наконецъ, если бросить взглядъ на исторію, то представляютъ ли эпикуреизмъ, стоицизмъ и скептицизмъ частныя явленія? Не представляютъ ли они основныхъ типовъ развитія римскаго духа? Форму, въ которой Греція переходитъ въ Римъ? Не являются ли они по своему существу настолько типичными, сильными, вѣчными, что современное человѣчество должно было признать за ними полное духовное право гражданства?

Я указываю на это лишь для того, чтобы напомнить историческую важность этихъ системъ. Но здѣсь рѣчь идетъ не объ ихъ общемъ значеніи для образованія вообще, а о ихъ связи съ болѣе древней греческой философійю.

Не должно ли было бы это отношеніе побудить, по крайней мѣрѣ, къ изслѣдованію того, не представляетъ ли конецъ греческой философійи двухъ различныхъ цикловъ эклектическихъ системъ, изъ которыхъ одинъ составляютъ эпикурейская, стоическая и скептическая философійа, а второй извѣстенъ подъ именемъ александрийской школы? Развѣ, далѣе, не замѣчательно, что послѣ философійи Платона и Аристотеля, законченной до совершенства, появляются новыя системы, опирающіяся не на эти богатыя произведенія ума, но возвращающіяся гораздо далѣе назадъ, обращаясь къ самымъ простымъ школамъ, — въ области физики къ натурфилософійи, въ области этики къ сократовской школѣ? На чемъ, далѣе, основанъ тотъ фактъ, что системы, слѣдующія за Аристотелемъ, находятъ свой фундаментъ въ прошедшемъ какъ бы готовымъ? Почему связываютъ Демокрита съ киренаиками, а Гераклита съ циниками? Случайное ли это явленіе, что у эпикурейцевъ, стоиковъ и скептиковъ вполне представлены всѣ моменты самосознанія, только каждый моментъ имѣетъ отдѣльное существованіе? Гдѣ причина того, что эти системы, вмѣстѣ взятыя, составляютъ полную картину самосознанія? Наконецъ, развѣ это случайность, что эти системы признаютъ за реальный фактъ истинной науки духъ греческой философійи, какой она зародилась въ мнѳологическихъ образахъ семи мудрецовъ, тотъ духъ, который какъ бы въ фокусѣ воплотился въ Сократѣ — этомъ деміургѣ философійи, духъ мудреца — *σοφου*?

Мнѣ кажется, что если прежнія системы имѣютъ больше интереса и значенія по отношенію къ содержанію греческой философійи, то послѣ-аристотелевскія и, преимущественно циклъ эпикурейской, стоической и скептической школъ, имѣютъ ихъ больше по отношенію къ ея субъективной формѣ, къ ея характеру. Но субъективная форма, духовный носитель философскихъ системъ, до сихъ поръ была почти совершенно забыта изъ-за метафизическихъ опредѣленій ихъ.

Изложеніе эпикурейской, стоической и скептической философійи въ ихъ цѣломъ и во всей полнотѣ ихъ отношенія къ предшествовавшимъ

и позднѣйшимъ греческимъ философскимъ системамъ я дамъ въ болѣе подробной работѣ.

Здѣсь достаточно развить это отношеніе на одномъ примѣрѣ и съ одной только стороны, именно со стороны связи съ прежней философіей.

Для примѣра я беру отношеніе натурфилософій Эпикура и Демокрита. Я не думаю, чтобы оно было наиболѣе удобно для нашей дѣли. Ибо, съ одной стороны, это старый глубоко укоренившійся предрасудокъ отождествлять физику Демокрита и Эпикура и видѣть въ измѣненіяхъ Эпикура только произвольныя фантазіи; съ другой стороны, я припущу, что касается частныхъ, вдаваться въ кажущіеся мелочи. И именно потому, что этотъ предрасудокъ такъ же старъ, какъ исторія философій, потому что разница такъ скрыта, что ее можно открыть какъ бы только съ помощью микроскопа, будетъ тѣмъ болѣе важно указать по возможности существенную, доходящую до мельчайшихъ подробностей разницу между физикою Демокрита и Эпикура, не смотря на ихъ связь. То, что можно показать на мелочахъ, еще легче показать тамъ, гдѣ отношенія эти выражены въ болѣе крупномъ масштабѣ, между тѣмъ какъ, совершенно общія замѣчанія остаются, наоборотъ, сомнѣніе въ томъ, подтвердится ли общій выводъ въ частности.

II. Мнѣнія объ отношеніи физики Демокрита и Эпикура.

Изъ бѣлаго разсмотрѣнія мнѣній древнихъ объ отношеніи физики Демокрита и Эпикура видно будетъ и отношеніе моего мнѣнія вообще къ прежнимъ.

Стоикъ Посидоній, Николай и Сотионъ упрекаютъ Эпикура въ томъ, что онъ выдалъ за свое собственное ученіе Демокрита объ атомахъ и Аристиппа о наслажденіи. Академикъ Котта спрашиваетъ Цицерона: «Что же собственно есть въ физикѣ Эпикура, что не принадлежало бы Демокриту? Онъ хотя кое-что и измѣняетъ, по большую часть онъ повторяетъ за Демокритомъ». Самъ же Цицеронъ говоритъ: «Въ физикѣ, въ которой Эпикуръ больше всего хвастаетъ, онъ полнѣйшій невѣжда. Большая часть принадлежитъ Демокриту; тамъ, гдѣ онъ отъ него уклоняется, гдѣ онъ хочетъ исправить, тамъ онъ только портитъ и дѣлаетъ хуже». Но хотя со всѣхъ сторонъ Эпикура упрекали въ непочтительности къ Демокриту, Леонтей, наоборотъ, утверждаетъ, по Плутарху, что Эпикуръ почиталъ Демокрита, потому что тотъ до него обратился къ истинному ученію, потому что онъ раньше открылъ принципы природы. Въ сочиненіи *De placitis philosophorum* Эпикуръ именуется философствующимъ по Демокриту. Плутархъ въ своемъ «Колотѣ» идетъ дальше. Сравнивая Эпикура по порядку съ Демокритомъ, Эмпедокломъ, Парменидомъ, Платономъ, Сократомъ, Стильпономъ, киренаиками и академиками, онъ старается прийти къ выводу, что «Эпикуръ усвоилъ себѣ изъ всей греческой философій

невѣрное и не понять истиннаго»; точно также сочиненію De eo, quod secundum Epicurum non beate vivi possit полно враждебныхъ инсинуаций подобнаго рода.

Это неблагопріятное мнѣніе древнихъ писателей остается и у отцовъ церкви. Я въ примѣчаніи привожу только одно мѣсто изъ Климента Александрійскаго, отца церкви, который по отношенію къ Эпикуру предпочтительно заслуживаетъ упоминанія, такъ какъ предостереженіе ап. Павла противъ философіи вообще онъ превратилъ въ предостереженіе противъ эпикурейской философіи, какъ такой, которая даже не фангазировала о Провидѣніи и тому подобномъ. Но какъ вообще склонны были обвинять Эпикура въ плагиатахъ, самымъ нагляднымъ образомъ показываетъ Секстъ Эмпирікъ, который хочетъ превратить въ главный источникъ эпикурейской философіи пѣсколько совершенно неподходящихъ мѣстъ изъ Гомера и Эпихарма.

Всѣмъ извѣстно, что новѣйшіе писатели въ цѣломъ точно также считаютъ Эпикура въ области натурфилософіи лишь плагиаторомъ изъ Демокрита. Ихъ мнѣніе вообще можетъ быть здѣсь передано изреченіемъ Лейбница: «Мы знаемъ объ этомъ великомъ чловѣкѣ (Демокритѣ) почти лишь то, что заимствовалъ у него Эпикуръ, который неспособенъ былъ всегда заимствовать самое лучшее». Если такимъ образомъ, по Цицерону, Эпикуръ ухудшилъ ученіе Демокрита, причемъ Цицеронъ признаетъ во крайпей мѣрѣ за нимъ желанію улучшить его и способность видѣть его недостатки, если Плутархъ приписываетъ ему непослѣдовательность и предопредѣленную склонность къ худшему, заподозриваетъ, слѣдовательно, и его волю, то Лейбницъ отпазываетъ ему даже въ способности хорошо дѣлать извлеченія изъ Демокрита.

Всѣ однако сходятся въ томъ, что Эпикуръ заимствовалъ свою физику у Демокрита.

III. Трудности отождествленія натурфилософіи Демокрита и Эпикура.

За тождественность физики Демокрита и Эпикура говорятъ много кромѣ историческихъ свидѣтельствъ. Принципы—атомы и пустота—безспорно одни и тѣ же. Только въ отдѣльныхъ опредѣленіяхъ господствуетъ произвольное, а слѣдовательно несущественное различіе.

Но вотъ тутъ является странная, неразрѣшимая загадка. Два философа даютъ одну и ту же науку, учатъ однимъ и тѣмъ же способомъ, но—какъ это непослѣдовательно!—они во всемъ діаметрально противоположны другъ другу, въ вопросѣ объ истинѣ, точности, приложеніи этой науки, во всемъ, что касается отношенія между идеями и дѣйствительностью вообще. Я говорю, что они діаметрально противоположны другъ другу, и постараюсь теперь это доказать.

А) Трудно узнать мнѣніе Демокрита объ истинѣ и достовѣрности чловѣческаго знанія. У него есть прогиворѣчающія другъ другу мѣста,

или вѣрнѣе, не мѣста противорѣчать другъ другу, по взгляды Демокрита. Утвержденіе Тределенбурга въ комментарий къ психологін Аристотеля, что лишь позднѣйшіе писатели, но не Аристотель, знали объ этомъ противорѣчїи, фактически не вѣрно. Въ Психологін Аристотеля сказано: «Демокритъ считаетъ душу и разумъ однимъ и тѣмъ же, ибо явленіе есть истинное», въ Метафизикѣ же наоборотъ: «Демокритъ утверждаетъ, что или ничто не истинно, или же истина скрыта отъ насъ». Развѣ не противорѣчат другъ другу эти мѣста изъ Аристотеля? Если явленіе истинно, какъ можетъ быть истина сокрыта? Скрытое начинается лишь тамъ, гдѣ явленіе и истина отдѣляются другъ отъ друга. Но Диогенъ Лаэртскій говоритъ, что Демокрита причисляли къ скептикамъ. Приводится его изреченіе: «Въ дѣйствительности мы ничего не знаемъ, потому что истина лежитъ на двѣхъ источникахъ». Подобныя же замѣчанія можно найти у Секста Эмпирика.

Этотъ скептическій, неувѣренный и внутренне противорѣчащій себѣ взглядъ Демокрита только развитъ дальше въ томъ, какъ опредѣляется отношеніе между атомами и вышнимъ чувственнымъ міромъ.

Съ одной стороны чувственное проявленіе не присуще самимъ атомамъ. Оно не объективное явленіе, а субъективная иллюзія. «Истинная основа вещей—это атомы и пустое; все остальное—мнѣніе, иллюзія». «Только во мнѣніи существуетъ холодное, теплое, въ дѣйствительности же—только атомы и пустое». Поэтому въ дѣйствительности не единое составляется изъ многихъ атомовъ а «вслѣдствіе соединенія атомовъ кажется, что существуютъ отдѣльныя цѣльныя тѣла». Разумомъ можно поэтому созерцать только принципы вещей, которые вслѣдствіе малыхъ размѣровъ недоступны чувственному глазу, и поэтому называются также идеями. Но, съ другой стороны, чувственное явленіе есть единственно истинный объектъ и *αἰσθητικὸν* есть *φρονητικὸν*, но это истинное измѣнчиво, непостоянно, оно есть феноменъ. Но принимать явленіе за истину значитъ противорѣчить самому себѣ. Такимъ образомъ то одна, то другая сторона превращается въ субъективную и объективную. И вотъ противорѣчіе, повидимому, устраняется распредѣленіемъ его между двумя мірами. Демокритъ поэтому дѣлаетъ чувственную дѣйствительность субъективнымъ призракомъ; но антиномія, изгнанная изъ міра объектовъ, существуетъ въ его собственномъ самосознаніи, въ которомъ понятіе атома и чувственное созерцаніе враждебно сталкиваются другъ съ другомъ.

Демокритъ, такимъ образомъ, не избѣгаетъ антиноміи. Здѣсь еще не мѣсто объяснять ее. Довольно того, что нельзя отрицать ея существованія.

Послушаемъ, наоборотъ, Эпикура! Мудрецъ,—говоритъ онъ,—думаетъ догматически, а не скептически. И именно въ томъ его преимущество предъ остальными, что онъ убѣжденъ въ своемъ знаніи. «Всѣ чувства возвѣстители истиннаго». «Ничто не можетъ опровергнуть чувственного воспріятія: ни однородное однородное вслѣдствіе одина-

ковой силы, ни неоднородное неоднородное, такъ какъ онъ судить не объ одномъ и томъ же, ни понятіе, такъ какъ понятіе зависить отъ чувственныхъ воспріятій», сказано въ Канонѣ. Но, въ то время какъ Демокритъ дѣлаетъ чувственный міръ субъективнымъ призракомъ, Эпикуръ дѣлаетъ его объективнымъ явленіемъ. И въ этомъ онъ отличается сознательно, такъ какъ онъ утверждаетъ, что раздѣляетъ тѣ же принципы, но не считаетъ чувственныя качества лишь мнѣніемъ.

Но если единственнымъ критеріемъ Эпикура было чувственное воспріятіе, если ему соответствовало объективное явленіе, то можно лишь считать логической послѣдовательностью то, падъ чѣмъ Цицеронъ пожимаетъ плечами. «Солнце кажется Демокриту большимъ, потому что онъ человѣкъ науки и хорошо знаетъ геометрію, для Эпикура же оно величиною въ два фута, потому что онъ судить, что оно такъ велико, какъ кажется».

В) Это различіе теоретическихъ взглядовъ Демокрита и Эпикура на точность науки и истинность ея объектовъ сказывается въ различіи научной энергіи и практической дѣятельности этихъ людей.

Демокритъ, у котораго принципъ не выступаетъ въ явленіи, а остается внѣ реального бытія, имѣетъ зато предъ собою міръ чувственного воспріятія,—міръ реальный и полный содержанія. Правда, этотъ міръ—лишь субъективная иллюзія, но именно этимъ онъ оторвалъ отъ принципа вещей и предоставленъ своей самостоятельной реальности; являясь въ то же время единственнымъ реальнымъ объектомъ, міръ этотъ имѣетъ и цѣну и значеніе. Демокритъ вынужденъ поэтому перейти къ опытному наблюденію. Неудовлетворенный философійю, онъ бросается въ объятія положительнаго знанія. Мы уже слышали, что Цицеронъ называетъ его *vir eruditus*. Онъ былъ свѣдущъ въ физикѣ, этикѣ, математикѣ, во всѣхъ наукахъ и искусствахъ, входящихъ въ кругъ греческаго воспитанія. Уже перечень его сочиненій у Диогена Лаэртскаго свидѣтельствуетъ объ учености Демокрита. Но такъ какъ для учености характерно стремленіе идти вширь искать и собирать данныя во внѣшнемъ мірѣ, то мы видимъ, что Демокритъ объѣзжаетъ съ полсвѣта, чтобы набратъ опыта, знаній и наблюденій. «Я изъ всѣхъ своихъ современниковъ», хвастаетъ Демокритъ: «обѣхалъ большую часть земли, изслѣдуя самое отдаленное; и я видѣлъ большинство странъ и большинство небесныхъ ясовъ, и я слушалъ рѣчи большинства ученыхъ людей, и въ соединеніи липій съ доказательствомъ никто меня не превзошелъ, даже такъ называемые у египтянъ, архипедонанты».

Димитрій въ *ἑρωτικῶς* и Антисѣенъ въ *διαδοχαῖς* рассказываютъ, что онъ былъ въ Египтѣ у жрецовъ, чтобы изучить геометрію, и у халдеевъ въ Персіи и что онъ дошелъ до Краснаго моря. Искоторые утверждаютъ, что онъ столкнулся съ гимнасофистами въ Пидіи и что онъ побывалъ въ Эеіоніи. Съ одной стороны жажда знанія не даетъ ему покоя; съ другой стороны, неудовлетворенность

истиннымъ, т. е. философскимъ, знаніемъ гонить его вдаль. Знаніе, которое онъ считаетъ истиннымъ, безсодержательно; знаніе, которое дастъ ему содержаніе, не содержитъ въ себѣ истины. Возможно, что анекдотъ древнихъ о Демокритѣ представляетъ вымыселъ, но въ такомъ случаѣ это очень правдоподобный вымыселъ, такъ какъ онъ рисуется противорѣчіе его натуры. Рассказываютъ, будто Демокритъ самъ ослѣпилъ себя для того, чтобы зрительныя впечатлѣнія не ослабляли остроту ума. Это тотъ же самый человѣкъ, который, по словамъ Цицерона, объѣхалъ полсвѣта. Но онъ не нашелъ того, чего искалъ.

Прямую противоположность мы видимъ въ Эпикурѣ. Его вполне удовлетворяетъ философія. «Ты долженъ служить философін, — говоритъ онъ, — чтобы получить истинную свободу. Тотъ, кто отдался ей и подчинился, не долженъ ядаться; онъ тотчасъ же становится свободнымъ. Потому что самое служеніе философін есть свобода». «Ни юноша, — изучаетъ онъ дальше, — не долженъ откладывать занятія философіей, ни старикъ не долженъ оставлять этого занятія». Но для душевнаго исцѣленія никто не можетъ быть ни слишкомъ зрѣлымъ, ни слишкомъ перезрѣлымъ. Но тотъ, кто говоритъ, что еще не пришла пора для философін, либо, что она уже прошла, уподобляется тому, кто утверждаетъ, что еще не настала часъ блаженства, или что онъ уже прошелъ». Въ то время какъ Демокритъ, неудовлетворенный философіей, бросается въ объятія эмпирическаго знанія, Эпикуръ презираетъ положительныя науки, такъ какъ онѣ ничѣмъ не содѣйствовали истинному совершенству. Его называютъ врагомъ пауки, презирающимъ грамматику. Его упрекаютъ даже въ невѣжествѣ, «но, — говоритъ одинъ эпикуреецъ у Цицерона, — не Эпикуръ былъ необразованъ, по невѣжественны тѣ, которые думаютъ, что старикъ долженъ еще изучать то, что стыдно не знать мальчику».

Но въ то время какъ Демокритъ стремится учиться у египетскихъ жрецовъ, персидскихъ халдеевъ и индійскихъ гимнософистовъ, Эпикуръ похвалается тѣмъ, что у него не было учителя, что онъ самоучка. Нѣкоторые, — говоритъ онъ по словамъ Сенеки, — стремятся къ истинѣ безъ всякой посторонней помощи. Среди нихъ онъ самъ проложилъ себѣ путь. И ихъ, самоучекъ, онъ больше всего хвалитъ. Другіе — это умы второго разряда. Въ то время какъ безпокойный духъ гонитъ Демокрита во всѣ части свѣта, Эпикуръ едва два или три раза покидаетъ свой садъ въ Афинахъ и ѣдетъ въ Юнію не для изслѣдованій, а навѣстить друзей. Въ то время, наконецъ, когда Демокритъ, отчаявшись въ знаніяхъ, ослѣпляетъ самого себя, Эпикуръ, чувствуя приближеніе смерти, входитъ въ теплую ванну, требуетъ чистаго вина и рекомендуетъ своимъ друзьямъ остаться вѣрными философін.

С) Нельзя приписать только что указанные различія случайной индивидуальности обоихъ философовъ; они олицетворяютъ два противоположныхъ направленія. То, что выше мы разсматривали какъ

различіе теоретическаго сознанія, здѣсь проявляется въ видѣ различія практической дѣятельности.

Разсмотримъ, наконецъ, форму мысли, которая представляетъ взаимоотношеніе бытія и мышленія, ихъ связь. Въ общемъ отношеніи, въ которое ставитъ философъ мѣръ и идею, онъ лишь объективируетъ для самого себя отношеніе своего индивидуальнаго сознанія къ реальному міру.

Демокритъ видитъ форму мышленія дѣйствительности въ «необходимости». Аристотель говоритъ о немъ, что онъ все сводилъ къ необходимости. Диогенъ Лаэртскій говоритъ, что вихри атомовъ, изъ которыхъ все происходитъ, и есть необходимость Демокрита. Обстоятельнѣе говоритъ объ этомъ авторъ «De placitis philosophorum»: Необходимость, по Демокриту, является судьбой и правомъ, провидѣніемъ и создательницей міра. Субстанціей же этой необходимости являются движеніе, столкновеніе и отраженіе частицъ матеріи. Подобное же мѣсто находится въ физическихъ эклогахъ Стобея и въ шестой книгѣ Praeparatio evangelica Эвсебія. Въ этическихъ эклогахъ Стобея сохранилось слѣдующее изреченіе Демокрита, которое почти буквально повторено и въ четырнадцатой книгѣ Эвсебія, а именно: Люди придумали себѣ призракъ случая, проявленіе ихъ собственной безпомощности, такъ какъ сильное мышленіе не допускаетъ случайности. Точно также Симплицій относитъ то мѣсто, гдѣ Аристотель говоритъ о древнемъ ученіи, уничтожающемъ случай, къ Демокриту.

Эпикуръ же, наоборотъ, говоритъ: «Необходимость, которую нѣкоторые ввели какъ властительницу, не существуетъ, но одно случайно, другое зависитъ отъ нашего произвола. Необходимость нельзя переубѣдить, случай, наоборотъ, непостояненъ. Лучше слѣдовать мнѣю о богахъ, нежели быть слугою εἰμαρηνῶν физиковъ. Ибо мнѣ этотъ оставляетъ надежду на помилованіе за почитаніе боговъ, εἰμαρηνῶν же есть неумолимая необходимость. Признать же надо случай, а не бога, какъ думаетъ толпа. Несчастье жить въ необходимости, но нѣтъ необходимости жить въ необходимости. Пути къ свободѣ вездѣ открыты, ихъ много, они коротки и легки. Возблагодаримъ же поэтому бога, что никого нельзя удержать въ жизни. Можно преодолѣть самое необходимость».

Нѣчто подобное высказываетъ эпикуреецъ Веллей у Цицерона по поводу стоической философіи: «Стоитъ ли придерживаться философіи, по которой все происходитъ по волѣ судьбы, какъ у старыхъ и невѣжественныхъ бабъ?.. Эпикуръ насъ спасъ, онъ далъ намъ свободу».

Чтобы избѣгнуть всякой необходимости, Эпикуръ отрицаетъ даже раздѣлительныя сужденія.

Говорятъ, что и Демокритъ признавалъ случай, но изъ двухъ мѣстъ, которыя мы находимъ объ этомъ у Симплиція, одно дѣлаетъ сомнительнымъ другое, такъ какъ оно ясно показываетъ, что не Демокритъ употребляетъ категоріи случая, но Симплицій приписываетъ ихъ ему, какъ выводъ. Онъ говоритъ именно, что Демокритъ не ука-

зываетъ причины сотворенія міра вообще; онъ повидимому считаетъ причиной случай. Но здѣсь дѣло не въ опредѣленіи содержанія, а въ формѣ, которую Демокритъ сознательно причѣнилъ. Такъ же обстоятъ дѣло съ указаніемъ Эвсебія: Демокритъ сдѣлалъ случай властелиномъ общаго и божественнаго и утверждалъ, что все въ этомъ мірѣ происходитъ случайно, и въ то же время онъ изгонялъ его изъ человеческой жизни и данной въ опытѣ природы, а проповѣдниковъ его бессмысленно поносилъ.

Отчасти мы видимъ здѣсь простое крючкотворство христіанскаго епископа Діонисія въ выводахъ, отчасти же тамъ, гдѣ начинается общее и божественное, представленіе Демокрита о необходимости перестаетъ отличаться отъ случая.

Одно, такимъ образомъ, исторически вѣрно: Демокритъ признаетъ необходимость, Эпикуръ—случайность, и каждый съ полемическимъ жаромъ отрицаетъ противоположный взглядъ.

Главное слѣдствіе этого различія выражается въ способѣ объясненія отдѣльных физическихъ явленій.

Необходимость является въ конечной природѣ какъ относительная необходимость, какъ детерминизмъ. Относительная необходимость можетъ быть выведена только изъ реальной возможности, т.-е. существуетъ кругъ условій, причинъ, оснований и т. д., которыми обуславливается эта необходимость. Реальная возможность служить объясненіемъ относительной необходимости. И мы находимъ примѣненіе ея у Демокрита. Мы приводимъ нѣсколько доказательствъ изъ Симплиція.

Если человѣкъ умираетъ отъ жажды, пить и силы его возвращаются, то Демокритъ будетъ считать причиной не случай, а жажду. Ибо если онъ и допускалъ, повидямому, случай при сотвореніи міра, то онъ все же утверждаетъ, что въ частности случай не является причиной чего-либо, но лишь указываетъ на другія причины. Такъ, напримѣръ, раскопки служатъ причиной находенія клада или ростъ—оливковаго дерева.

Энтузіазмъ и серьезность, съ которыми Демокритъ вводитъ этотъ способъ объясненія въ изслѣдованіе природы, значеніе, которое онъ придаетъ тенденціи обоснованія, наивно высказывается въ признаніи: «Я предпочитаю открыть новую этиологію, чѣмъ достигнуть персидскаго царскаго достоинства».

Эпикуръ опять-таки прямо противоположенъ Демокриту.

Случай есть дѣйствительность, которая имѣетъ лишь значеніе возможности, абстрактная же возможность есть прямой антиподъ реальной. Последняя ограничена строгими границами, какъ рассудокъ; первая же безгранична, какъ фантазія. Реальная возможность старается обосновать необходимость и дѣйствительность своего объекта; абстрактная интересуется не объектомъ, который надо объяснить, но субъектомъ, который самъ объясняетъ. Лишь бы только предметъ былъ возможенъ, мыслимъ. То, что абстрактно возможно, что можно мыслить, то не стоитъ мыслящему субъекту поперекъ дороги, не

составляетъ для него предѣла, камня преткновенія. Безразлично, существуетъ ли на самомъ дѣлѣ эта возможность, потому что интересъ не простирается здѣсь на предметъ, какъ таковой.

Эпикуръ поэтому допускаетъ безграничную безпечность при объясненіи отдѣльныхъ физическихъ явленій.

Яснѣе это видно будетъ изъ письма къ Пнеоглу, которое намъ предстоитъ еще рассмотретьъ. Здѣсь достаточно обратить вниманіе на его отношеніе къ мнѣніямъ прежнихъ физиковъ. Тамъ, гдѣ авторъ *De placitis philosophorum* и Стобей приводятъ различные взгляды философовъ о субстанціи звѣздъ, о величинѣ и формѣ солнца и т. п., они обыкновенно говорятъ объ Эпикурѣ: Онъ не отрицаетъ ни одного изъ этихъ мнѣній, всѣ они, по его мнѣнію, могутъ быть вѣрны, онъ же признаетъ лишь то, что возможно. Эпикуръ даже полемизируетъ противъ логически обосновывающаго и поэтому односторонняго способа объясненія изъ реальной возможности.

Такъ Сенека говоритъ въ своихъ *Quaestiones naturales*: Эпикуръ утверждаетъ, что всѣ эти причины могли бы существовать, пытается при этомъ дать еще многія другія объясненія и порицаетъ тѣхъ, которые утверждаютъ, что одно какое-нибудь изъ нихъ на самомъ дѣлѣ осуществляется; слишкомъ смѣло аподиктически судить о томъ, что можно выводить лишь изъ предположеній.

Какъ видимъ, нѣтъ интереса изслѣдовать реальные причины объектовъ. Дѣло идетъ лишь объ успокоеніи объясняющаго субъекта. Такъ какъ все возможное допускается, какъ возможное, что соответствуетъ характеру абстрактной возможности, то, очевидно, случайность бытія переносится лишь въ случайность мышленія. Единственное правило, которое предписываетъ Эпикуръ, что «объясненіе не должно противорѣчить чувственному воспріятію», само собою понятно, ибо абстрактно возможное именно въ томъ и состоитъ, чтобы быть свободнымъ отъ противорѣчій, которыхъ надо такимъ образомъ остерегаться. Наконецъ, Эпикуръ сознается, что его способъ объясненія имѣетъ цѣлью атараксію самосознанія, а не познаніе природы самой по себѣ.

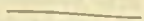
Намъ нѣтъ надобности распространяться о томъ, насколько противоположенъ онъ Демокриту и въ данномъ случаѣ.

Мы, такимъ образомъ, видимъ, какъ оба философа на каждомъ шагѣ противоположны другъ другу. Одинъ скептикъ, другой догматикъ; одинъ считаетъ чувственный міръ субъективнымъ призракомъ, другой объективнымъ явленіемъ. Тотъ, который считаетъ чувственный міръ субъективнымъ призракомъ, опирается на эмпирическое естествознаніе и положительныя знанія и воплощаетъ въ себѣ безпокойство экспериментирующаго, всюду поучающагося, рыскающаго по свѣту наблюденія. Другой, который считаетъ видимый міръ реальнымъ, презираетъ опытъ; въ немъ воплощены покой самоудовлетворяющагося мышленія, самостоятельность, которая *ex principio interno* черпаетъ свое знаніе. Но противорѣчіе поднимается еще выше. Скептикъ и

эмпирикъ, который считаетъ чувственную природу субъективнымъ призракомъ, разсматриваетъ ее съ точки зрѣнія необходимости и старается объяснить и понять реальное бытіе вещей. Философъ же и догматикъ, наоборотъ, считающій явленіе реальнымъ, вездѣ видитъ только случай, и его способъ объясненія скорѣе сводится къ тому, чтобы уничтожить всякую объективную реальность природы. Въ этихъ противоположностяхъ какъ бы кроется извѣстная несообразность.

Лишь съ трудомъ можно допустить, что эти философы, противорѣча себѣ во всемъ, будутъ придерживаться одного и того же ученія. И все же они какъ бы прикованы другъ къ другу.

Выясненіе общаго отношенія ихъ другъ къ другу и составить предметъ слѣдующаго отдѣла.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

О различіи между физикой Демокрита и Эпикура въ частностяхъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Отклоненіе атома отъ прямой линіи.

Эпикуръ признаетъ тройное движеніе атомовъ въ пустотѣ. Одно изъ этихъ движеній есть движеніе паденія по прямой линіи; другое происходитъ вслѣдствіе того, что атомъ отклоняется отъ прямой линіи; третье же возникаетъ отъ столкновенія многочисленныхъ атомовъ. Первое и послѣднее движеніе встрѣчаются и у Демокрита, и у Эпикура; отклоненіе атома отъ прямой линіи отлччаетъ Эпикура отъ Демокрита.

По поводу этого движенія отклоненія чрезвычайно много остряли. Цицеронъ въ особенности неистощимъ, когда онъ затрагиваетъ эту тему. Такъ между прочимъ онъ говоритъ: «Эпикуръ утверждаетъ, что атомы въ силу своей тяжести стремятся внизъ по прямой линіи; это, по его мнѣнію, естественное движеніе тѣлъ. Но оказалось, что если бы всѣ атомы двигались сверху внизъ, то никогда ни одинъ атомъ не столкнулся бы съ другимъ. Поэтому Эпикуръ прибѣгъ къ спасительной лжи: онъ заявилъ что атомъ чуть-чуть уклоняется, что, однако, совершенно невозможно. Отсюда возникли сочетанія, соединенія, сѣпленія атомовъ между собой, а изъ этого міръ и всѣ части его и все, что въ немъ есть. Не говоря уже о томъ, что дѣло это по дѣтски задумано, онъ даже не достигаетъ того, чего хочетъ». Другую вариацию этой мысли мы находимъ у Цицерона въ первой книгѣ его сочиненія «О природѣ боговъ». «Такъ какъ Эпикуръ увидалъ, что если атомы вслѣдствіе своей тяжести движутся внизъ, то мы совершенно безсильны, потому что ихъ движеніе опредѣлено и необходимо,—то онъ придумалъ такое средство избѣгнуть необходимости, которое упустилъ изъ виду Демокритъ. Онъ говоритъ, что хотя вѣсъ и тяжесть атома и гонять его сверху внизъ, все же онъ чуть-чуть уклоняется. Утверждать это постыднѣе, чѣмъ не умѣть доказать того, что онъ хочетъ».

Точно такъ же судить Иверъ Бойль: «До него (Эпикура) въ атомахъ допускали только движеніе паденія и столкновенія. Эпикуръ допустилъ, что даже въ пустотѣ атомы немного отклоняются отъ прямой линіи, и отсюда, говорилъ онъ, явилась свобода... Надо замѣтить, что это не была единственная причина, побудившая его придумать движеніе отклоненія; оно служило ему также для объясненія встрѣчи атомовъ, потому что онъ видѣлъ, конечно, что онъ никогда не въ состояніи будетъ объяснить возможность встрѣчи атомовъ, если они съ одинаковой скоростью движутся по прямымъ линіямъ, всѣ сверху внизъ, и что при этомъ условіи невозможно было бы сотвореніе міра. Они должны были поэтому отклониться отъ прямой линіи».

Я пока оставляю первеннымъ вопросъ объ убѣдительности этихъ разсужденій. Однако всякій легко можетъ замѣтить, что повѣршиій критикъ Эпикура, Шаубахъ, неправильно понялъ Цицерона, когда онъ говоритъ: «Атомы, вѣдѣствіе тяжести т.-е. по физическимъ причинамъ всѣ движутся параллельно внизъ, но отъ взаимнаго столкновенія приобретаютъ новое движеніе, именно по Цицерону (De Nat. Deor. I, 25) вѣдѣствіе случайныхъ причинъ, дѣйствующихъ съ начала міра, движеніе по наклонной линіи». Во-первыхъ, Цицеронъ въ цитированномъ мѣстѣ считаетъ не отталкиваніе причиной наклоннаго направленія, а, наоборотъ, наклонное направленіе причиной отталкиванія. Во-вторыхъ, онъ не говоритъ о случайныхъ причинахъ, но упрекаетъ въ томъ, что не приведено никакихъ причинъ; вѣдь само по себѣ было бы противорѣчіемъ въ одно и то же время сглатать за основаніе наклоннаго направленія и отталкиваніе и случайныя причины. Самое большее, о чемъ въ такомъ случаѣ могла бы идти рѣчь, это о случайныхъ причинахъ отталкиванія, но не наклоннаго направленія.

Впрочемъ, въ разсужденіяхъ Цицерона и Бойля есть одна особенность, которая настолько бросается въ глаза, что ее нельзя обойти молчаніемъ. Они приписываютъ Эпикуру такіе побудительные мотивы, изъ которыхъ одинъ уничтожаетъ другой: Эпикуръ допускаетъ якобы отклоненіе атомовъ то для объясненія отталкиванія, то для объясненія свободы. Но если атомы *не* встрѣчаются безъ отклоненія, въ такомъ случаѣ отклоненіе излишне для обоснованія свободы, такъ какъ противоположность свободы начинается, какъ мы видимъ изъ Лукреція, только съ обусловленной и вынужденной встрѣчей атомовъ. Если же атомы встрѣчаются *безъ* отклоненія, то оно ненужно для объясненія отталкиванія. Я говорю, что это противорѣчіе возникаетъ въ томъ случаѣ, если причины отклоненія атома отъ прямой линіи понимаются такъ поверхностно и безсвязно, какъ это имѣетъ мѣсто у Цицерона и Бойля. У Лукреція, который вообще изъ всѣхъ древнихъ одинъ только постигъ эпикурейскую физику, мы найдемъ болѣе глубокое изложеніе ея.

Обратимся теперь къ разсмотрѣнію самаго отклоненія.

Какъ точка уничтожается въ линіи, такъ же точно каждое падающее

тѣло исчезаетъ въ той прямой линіи, которую оно описываетъ. Здѣсь специфическое его свойство не имѣетъ значенія. Яблоко при своемъ паденіи описываетъ такую же отвѣсную линію, какъ и кусокъ желѣза. Всякое тѣло, поскольку мы его разсматриваемъ въ движеніи паденія, есть, такимъ образомъ, не что иное, какъ движущаяся точка, и притомъ точка не самостоятельная, теряющая свою индивидуальность въ извѣстномъ бытіи—описываемой ею прямой линіи. Поэтому Аристотель справедливо замѣчаетъ пифагорейцамъ: «Вы говорите, что движеніе линіи образуетъ плоскость, движеніе точки линію; въ такомъ случаѣ и движенія монады будутъ линіи». Выводъ изъ этого какъ для монады, такъ и для атомовъ, въ виду ихъ поспѣшнаго движенія, былъ бы, что ни атомы, ни монады не существуютъ, а уничтожаются въ прямой линіи; ибо поскольку мы представляемъ себѣ атомъ лишь падающимъ по прямой линіи, о его плотности не можетъ быть рѣчи. Прежде всего, если представлять себѣ пустоту какъ пустое пространство, то атомъ является прямымъ отрицаніемъ абстрактнаго пространства, слѣдовательно, пространственной точкой. Плотность, питенсивность, которая утверждаетъ себя въ себѣ вопреки виѣбیتیю пространства, можетъ явиться только вслѣдствіе принципа, совершенно отрицающаго пространство во всей его сферѣ, каковымъ въ дѣйствительной природѣ является время. Кромѣ того, если даже не согласиться съ этимъ, то атомъ, насколько движеніе его составляетъ прямую линію, опредѣляется пространствомъ, имѣетъ бытіе чисто относительное и существованіе чисто матеріальное. Но мы уже видѣли, что однимъ моментомъ въ понятіи атома является чистая форма, отрицаніе всякой относительности, всякаго отношенія къ другому бытію. Мы выѣтъ съ тѣмъ замѣтили, что Эпикуръ объективировалъ оба момента, которые холя и противорѣчатъ одинъ другому, но заключены въ понятіи атома.

Какъ же можетъ Эпикуръ реализовать чистое опредѣленіе формы атома, понятіе чистой единственности, отрицающее всякое бытіе, опредѣленное другимъ?

Такъ какъ онъ движется въ сферѣ непосредственнаго бытія, то всѣ опредѣленія являются непосредственными. Такимъ образомъ, противоположныя опредѣленія противопоставляются другъ другу какъ непосредственные реальности.

Но относительное существованіе, противостоящее атому, бытію, которое онъ долженъ отрицать, есть прямая линіи. Непосредственное отрицаніе этого движенія есть другое движеніе, именно, если его представить въ пространственныхъ формахъ, отклоненіе отъ прямой линіи.

Атомы—совершенно самостоятельныя тѣла, или лучше сказать, тѣла, мыслимыя въ абсолютной самостоятельности, какъ небесныя тѣла. Они поэтому и движутся, какъ послѣднія, не по прямымъ, а по кривымъ линіямъ. Движеніе паденія есть движеніе несамостоятельности.

Если такимъ образомъ Эпикуръ въ движеніи атома по прямой линіи представилъ его матеріальность, то въ отклоненіи отъ прямой

линии онъ реализовалъ опредѣленіе формы, и эти противоположныя опредѣленія изображаются какъ прямо противоположныя движенія.

Лукрецій поэтому справедливо утверждаетъ, что отклоненіе преступает *fati foedera* и, примѣняя это тотчасъ же къ сознанию, объ атомѣ можно, такимъ образомъ, сказать, что отклоненіе есть именно нѣчто въ его груди, что можетъ бороться и сопротивляться.

Но если Цицеронъ упрекаетъ Эпикура въ томъ, что «онъ даже не достигаетъ того, ради чего онъ это выдумалъ, ибо если бы всѣ атомы отклонялись, то никогда ни одни изъ нихъ не соединялись бы; если же отклонялись бы лишь нѣкоторые, а другихъ ихъ движеніе увлекало бы по прямой линіи, то пужно было бы указать атомамъ опредѣленные мѣста, пришлось бы указать, какіе должны двигаться по прямой линіи и какіе по наклонной», — возраженіе это находитъ свое оправданіе въ томъ, что оба момента, лежащіе въ понятіи атома, представлены какъ непосредственно различныя движенія, слѣдовательно, должны были бы принадлежать различнымъ индивидуумамъ, непослѣдовательность, которая, однако, послѣдовательна, такъ какъ сфера атома есть непосредственность.

Эпикуръ очень хорошо чувствуетъ заключающееся здѣсь противорѣчіе. Онъ старается, поэтому, представить отклоненіе по возможности нечувственно. Оно происходитъ «не въ опредѣленномъ мѣстѣ, и не въ опредѣленный срокъ», оно происходитъ въ возможно меньшемъ пространствѣ.

Даже Цицеронъ и, по Плутарху, многіе древніе порицаютъ Эпикура за то, что отклоненіе атома происходитъ безъ причины, а ничего болѣе позорнаго, говоритъ Цицеронъ, не можетъ случиться съ физикомъ. Но, во-первыхъ, физическая причина, какой требуетъ Цицеронъ, отнесла бы отклоненіе атома въ разрядъ детерминистическихъ явленій, отъ чего именно оно должно оградить. Затѣмъ атомъ отнюдь еще не завершёнъ, пока въ него не вложено опредѣленіе отклоненія. Спрашивать о причинѣ этого опредѣленія все равно, что спрашивать о причинѣ, превращающей атомъ въ принципъ — вопросъ, очевидно, лишенный смысла для того, для кого атомъ есть причина всего, слѣдовательно, самъ не имѣетъ причины.

Когда, наконецъ, Бойль, опираясь на авторитетъ Августина, по мнѣнію котораго Демокритъ приписалъ атомамъ спиритуалистическій принципъ, — авторитетъ, который, впрочемъ, будучи противопоставленъ Аристотелю и другимъ древнимъ, совершенно ничтоженъ — упрекаетъ Эпикура, что онъ вмѣсто этого спиритуалистическаго принципа придумалъ отклоненіе, то можно ему возразить, что съ душой атома было бы приобретено только слово, между тѣмъ какъ въ отклоненіи представлена дѣйствительная душа атома, понятіе абстрактной единственности.

Прежде чѣмъ разсматривать результатъ отклоненія атома отъ прямой линіи, нужно указать еще на одинъ въ высшей степени важный моментъ, на который до сихъ поръ не обращали никакого вниманія.

Отклоненіе атома отъ прямой линіи не есть особое, случайно встрѣчающееся въ эпикурейской физикѣ опредѣленіе. Напротивъ, законъ, который оно выражаетъ, проходитъ черезъ всю эпикурейскую философію, по такимъ, конечно, образомъ, само собою разумеется, что опредѣленность его проявленія зависитъ отъ сферы, въ которой оно примѣняется.

Именно абстрактная единственность можетъ проявить свое понятіе, свое опредѣленіе со стороны формы, чистое бытіе для самой себя, независимость отъ непосредственнаго бытія, преодоленіе всякой относительности только въ томъ, что она абстрагируетъ отъ противостоящаго бытія, ибо, чтобы дѣйствительно превозмочь его, она должна была бы его идеализировать, что возможно только для всеобщности.

Какъ, слѣдовательно, атомъ освобождается отъ своего относительнаго существованія, прямой линіи, абстрагируя отъ нея, уклоняясь отъ нея, такъ вся эпикурейская философія уклоняется отъ ограничивающаго бытія всюду, гдѣ понятіе абстрактной единственности, самостоятельность и отрицаніе всякаго отношенія къ другимъ, должно быть представлено въ его существованіи.

Такимъ образомъ цѣлью поведенія является абстрагированіе, уклоненіе отъ боли и смятенія, атараксія. Такъ добро есть уклоненіе отъ зла, такъ наслажденіе есть уклоненіе отъ страданія. Наконецъ, тамъ, гдѣ абстрактная единственность въ своей высшей свободѣ и самостоятельности появляется въ своей цѣльности, тамъ вломивъ послѣдовательно бытіе, отъ котораго она уклоняется, есть всякое бытіе; и поэтому боги избѣгаютъ міра, не заботятся о немъ и живутъ внѣ его.

Очень много острили по поводу этихъ боговъ Эпикура, которые, будучи похожи на людей, живутъ въ межміровомъ пространствѣ вселенной, не имѣютъ тѣла, а quasi-тѣло, не имѣютъ крови, а quasi-кровь, и пребывая въ блаженномъ покоѣ, не слышатъ никакой мольбы, не заботятся ни о насъ, ни о мірѣ, и которыхъ почитаютъ ради ихъ красоты, ихъ величія и ихъ совершенной природы, а не ради какой-нибудь корысти.

И все же эти боги не фикція Эпикура. Они существовали. Это пластическіе боги греческаго искусства. Цицеронъ, какъ римлянинъ, въ правѣ высмѣивать ихъ, но Плутархъ—грекъ, забылъ совершенно греческое міровоззрѣніе, когда говоритъ, что это ученіе о богахъ уничтожаетъ страхъ и суевѣріе, что оно не приписываетъ богамъ радости и благоволенія, но ставитъ насъ къ нимъ въ такое отношеніе, въ какомъ мы находимся къ рыбамъ Гирканскаго моря, отъ которыхъ мы не ждемъ ни вреда, ни пользы. Теоретическій покой есть главный моментъ характера греческихъ боговъ, какъ и говоритъ Аристотель: «То, что лучше всего, не луждается въ дѣйствіи, такъ какъ оно само есть цѣль».

Разсмотримъ теперь выводъ, непосредственно вытекающій изъ отклоненія атома. Суть его та, что атомъ отрицаетъ всякое движеніе и всякое отношеніе, въ которомъ онъ, какъ особое бытіе, опредѣ-

ляется другимъ. Это представлено такимъ образомъ, что атомъ абстрагируетъ отъ противостоящаго ему бытія и уклоняется отъ него. Но смыслъ всего этого: отрицаніе атомомъ всякихъ отношеній къ другому должно быть осуществлено, утверждено положительно. Это возможно лишь тогда, если бытіе, къ которому онъ относится, есть нечто иное какъ онъ самъ, слѣдовательно, тоже атомъ, а такъ какъ онъ самъ опредѣленъ непосредственно, то и многіе атомы. Такимъ образомъ, отталкиваніе многихъ атомовъ является необходимымъ осуществленіемъ *lex atomi*, какъ Лукрецій называетъ отклоненіе. Но такъ какъ здѣсь всякое опредѣленіе полагается какъ особое бытіе, то отталкиваніе прибавляется, какъ третье движеніе къ прежнимъ. Лукрецій справедливо замѣчаетъ, что если бы атомы не отклонялись обыкновенно, то не было бы ни столкновеній, ни встрѣчь атомовъ, и міръ никогда не былъ бы созданъ. Ибо атомы суть единственный объектъ для самихъ себя, они могутъ имѣть отношеніе только къ самимъ себѣ, слѣдовательно, выражаясь въ понятіяхъ пространства, встрѣчаться, только отрицая всякое относительное существованіе, въ которомъ они имѣли бы отношеніе къ другому; а это относительное существованіе есть, какъ мы видѣли, ихъ первоначальное движеніе, движеніе паденія по прямой линіи. Такимъ образомъ они встрѣчаются только вълѣдствіе отклоненія атомовъ. Матеріальное распаденіе само по себѣ не имѣетъ значенія.

И въ самомъ дѣлѣ: непосредственно суцая единственность только тогда реализована по своему понятію, когда она имѣетъ отношеніе къ другому, которое есть она сама, если даже другое противостоитъ въ формѣ непосредственнаго существованія. Такъ, человѣкъ перестаетъ быть продуктомъ природы лишь тогда, когда другое, къ которому онъ имѣетъ отношеніе, не есть отличное отъ него существованіе, но само есть отдѣльный человѣкъ, хотя бы еще не духъ. Но чтобы человѣкъ, какъ человѣкъ, сталъ своимъ единственнымъ дѣйствительнымъ объектомъ, для этого онъ долженъ сломить въ себѣ свое относительное бытіе, силу страстей и голой природы. Отталкиваніе есть первая форма самосознанія; оно соответствуетъ, поэтому, самосознанію, которое воспріимлетъ себя, какъ непосредственно сущее, абстрактноединичное.

Въ отталкиваніи, слѣдовательно, осуществлено понятіе атома, поскольку онъ есть абстрактная форма, но не менѣе того и противоположность этому, поскольку онъ есть абстрактная матерія; ибо то, къ чему онъ относится, хотя и есть атомы, но *другіе* атомы. Но если я отношусь къ самому себѣ, какъ къ непосредственно другому, то мое отношеніе будетъ матеріальное. Это самое крайнее вышбывіе, какое только можно мыслить. Въ отталкиваніи атомовъ, слѣдовательно, ихъ матеріальность, выраженная въ паденіи по прямой линіи, и опредѣленіе ихъ по формѣ, выраженное въ отклоненіи, синтетически соединены.

Демокритъ, въ противоположность Эпикуру, превращаетъ въ вы-

нужденное движение, въ дѣло слѣпой необходимости то, что для Эпикура есть осуществленіе понятія атома. Выше мы уже видѣли что, субстанціей необходимости онъ признаетъ вихрь (δίνη), происходящій отъ отталкиванія и сталкиванія атомовъ. Онъ беретъ, слѣдовательно, въ отталкиваніи только матеріальную сторону, дробленіе, измѣненіе, а не идеальную, по которой въ немъ отрицается всякое отношеніе къ другому, и движеніе полагается, какъ самоопредѣленіе. Это ясно видно изъ того, что онъ волиѣ чувственно представляетъ себѣ одно и то же тѣло раздѣленнымъ пустымъ пространствомъ на многія тѣла, какъ золото, разламываемое на куски. Онъ, такимъ образомъ, съ трудомъ постигаетъ единство, поемъ понятіе атома.

Аристотель справедливо полемизируетъ противъ него: «Поэтому Левкиппу и Демокриту, утверждающимъ, что первыя тѣла всегда двигались въ пустотѣ и безконечности, слѣдовало сказать, какого рода это движеніе и какое движеніе адекватно ихъ природѣ. Ибо если каждый изъ элементовъ вынуждается къ движенію другимъ, то необходимо, чтобы каждый имѣлъ и естественное движеніе, въ котораго находится вынужденное; и это первое движеніе не должно быть вынужденнымъ, а естественнымъ. Въ противномъ случаѣ неизбѣженъ прогрессъ до безконечности».

Эпикурейское отклоненіе атома измѣнило, слѣдовательно, всю внутреннюю конструкцію міра атомовъ, причемъ оно придало значеніе опредѣленію по формѣ и осуществило противорѣчіе, лежащее въ понятіи атома. Эпикуръ поэтому первый постигъ сущность отталкиванія, хотя и въ чувственной формѣ, между тѣмъ, какъ Демокритъ зналъ только его матеріальное существованіе.

Мы поэтому встречаемъ у Эпикура и примѣненіе болѣе конкретныхъ формъ отталкиванія. Въ области политики это—договоръ, въ соціальной жизни—дружба, которой воздается высочайшая похвала.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Качества атомовъ.

Имѣть свойства—противорѣчить понятію объ атомѣ; ибо, какъ говоритъ Эпикуръ, каждое качество измѣнчиво, атомы же не измѣняются. Тѣмъ не менѣе логически необходимо надѣлать ихъ таковыми. Ибо многочисленныя атомы отталкиванія, отдѣленные другъ отъ друга чувственнымъ пространствомъ, необходимо должны непосредственно отличаться другъ отъ друга и отъ своей чистой сущности, т. е. обладать качествами.

Я поэтому въ дальнѣйшемъ изложеніи совершенно не принимаю во вниманіе утвержденія Шнейдера и Юрпѣрга, что Эпикуръ не надѣлялъ атомовъ качествами, что §§ 44 и 54 въ письмѣ къ Геро-

доту у Діогена Лаэртскаго вставлены. Если бы это въ самомъ дѣлѣ было такъ, то какимъ образомъ можно было бы лишить силы свѣдѣтельности Лукреція, Плутарха и всѣхъ вообще писателей, писавшихъ объ Эпикурѣ? Къ тому же Діогенъ Лаэртскій упоминаетъ о качествахъ атома не въ двухъ, а въ десяти параграфахъ, а именно: въ §§ 42, 43, 44, 54, 55, 56, 57, 58, 59 и 61. Основаніе, выставленное этими критиками, что «они не умѣли соединить качества атома съ его понятіемъ», довольно таки плоско. Синноза говоритъ, что невѣжество не аргументъ. Если бы всякій вычеркивалъ у древнихъ тѣ мѣста, которыхъ онъ не понималъ, то какъ скоро получилась бы *tabula rasa*!

Благодаря качествамъ атомъ получаетъ существованіе, противорѣчащее его понятію, становится бытіемъ, явленнымъ во внѣ, отличнымъ отъ его сущности. Это именно противорѣчіе и составляетъ главный интересъ Эпикура. Поэтому полагая какое-нибудь свойство и выводя такимъ образомъ слѣдствіе изъ матеріальной природы атома, онъ противоположаетъ въ то же самое время опредѣленія, уничтожающія это свойство въ его собственной сферѣ и возстановляетъ понятіе атома. Онъ поэтому опредѣляетъ все качества такъ, что они сами себѣ противорѣчатъ. Демокритъ, наоборотъ, нигдѣ не разсматриваетъ свойствъ въ отношеніи къ самому атому и не объективизируетъ противорѣчія между понятіемъ и существованіемъ, лежащего въ нихъ. Напротивъ, весь его интересъ направленъ на то, чтобы представить качества въ отношеніи къ конкретной природѣ, которая должна быть изъ нихъ составлена. Они для него только гипотезы для объясненія возникающаго разнообразія. Понятіе объ атомѣ не имѣетъ поэтому къ нимъ никакого отношенія.

Чтобы доказать наше утвержденіе, прежде всего необходимо разобратъ въ источникахъ, которые какъ будто противорѣчатъ другъ другу.

Въ сочиненіи «*De placitis philosophorum*» сказано: «Эпикуръ утверждаетъ, что атомы имѣютъ три свойства: величину, форму, тяжесть. Демокритъ же признавалъ только два: величину и форму; Эпикуръ присоединилъ къ нимъ въ качествѣ третьяго—тяжесть». То же самое мѣсто повторяется дословно въ *Fraseratio evangelica* Эвзебія.

Оно подтверждается показаніемъ Симплиція и Филопона, согласно которому Демокритъ падѣлялъ атомы только различіемъ величины и формы. Прямо противоположнаго придерживается Аристотель, который въ своей книгѣ «*De generatione et corruptione*» приписываетъ атомамъ Демокрита различный вѣсъ. Въ другомъ мѣстѣ (въ первой книгѣ *De celo*) Аристотель оставляетъ открытымъ вопросъ о томъ, падѣлялъ ли Демокритъ атомы тяжестью или нѣтъ; ибо онъ говоритъ: «Такимъ образомъ ни одно тѣло не будетъ абсолютно легкимъ, если все будутъ имѣть тяжесть; если же все будутъ обладать легкостью, тогда ни одно не будетъ тяжелымъ». Риттеръ въ своей Исторіи древней философіи не признаетъ, опираясь на авторитетъ Аристотеля, пока-

заній Плутарха, Эвзевія и Стобей; онъ не принимаетъ во вниманіе свидѣтельства Симплиція и Филопона.

Посмотримъ, противорѣчатъ ли себѣ въ самомъ дѣлѣ эти мѣста такъ сильно. Въ приведенныхъ цитатахъ Аристотель говоритъ о качествахъ атома не ex professo. Въ седьмой книгѣ Метафизики, наоборотъ, сказано: «Демокритъ полагаетъ три различія атомовъ. Ибо лежащее въ основаніи тѣло по матеріи одно и то же; но оно отличается по *ρῆσις*, что означаетъ форму, по *τροπή*, что означаетъ положеніе, или по *τάξις*, что означаетъ порядокъ». Одно, по крайней мѣрѣ, можно тотчасъ же вывести изъ этого мѣста: тяжесть не упоминается, въ числѣ свойствъ атомовъ Демокрита. Мельчайшія, раздѣленные пустотой части матеріи должны имѣть особыя формы, и эти послѣднія берутся совершенно вышшимъ образомъ изъ созерцанія пространства. Еще легче это вытекаетъ изъ слѣдующаго мѣста Аристотеля: «Левкиппъ и его товарищи Демокритъ говорятъ, что элементы это—полнота и пустота... Они основаніе сухаго какъ матерія. Какъ тѣ, которые предполагаютъ одну основную субстанцію, а остальное производятъ изъ ея состояній, выставляя тонкое и плотное, какъ принципы качествъ, точно такъ же Левкиппъ и Демокритъ учатъ, что различія атомовъ суть причины всего остальнаго, ибо лежащее въ основаніи бытіе отличается только по *ρῆσις*, *τάξις* и *τροπή*... Напримеръ, А отличается отъ B по формѣ, AN отъ NA по порядку, Z отъ N по положенію».

Изъ этого мѣста съ очевидностью слѣдуетъ, что Демокритъ разсматриваетъ свойства атомовъ только въ отношеніи къ образованію различій міра явленій, а не въ отношеніи къ самому атому. Отсюда далѣе слѣдуетъ, что Демокритъ не считаетъ тяжести существеннымъ качествомъ атомовъ. Она для него сама собою понятна, потому что все тѣлесное тяжело. Точно такъ же, по его мнѣнію, даже величина не представляетъ основнаго качества. Это случайное опредѣленіе, которое дано атомамъ уже съ фигурой. Только различіе фигуръ интересуетъ Демокрита, ибо кромѣ этого въ формѣ, положеніи и мѣстѣ ничего не содержится. Величина, форма, тяжесть будучи сопоставлены, такъ, какъ это имѣетъ мѣсто у Эпикура, суть различія, которыя имѣетъ атомъ самъ по себѣ; форма, положеніе, порядокъ это различія, присущія ему по отношенію къ другому. Въ то время какъ мы находимъ, къ тому образцу, у Демокрита голыя гипотетическія опредѣленія для объясненія міра явленій, мы у Эпикура встрѣчаемся со слѣдствіемъ самого принципа. Мы разсмотримъ поэтому его опредѣленія свойствъ атома въ частности.

Во-первыхъ, атомы имѣютъ величину, но съ другой стороны, величина также отрицается. Они, впрочемъ, имѣютъ не какую угодно величину, нужно допустить только известное колебаніе величинъ ихъ. Имъ можно приписать только отрицаніе большого, малое, и притомъ не минимальное, такъ какъ это было бы чисто пространственнымъ опредѣленіемъ, а бесконечно малое, которое выражаетъ противорѣчіе. Розиній въ своихъ примѣчаніяхъ къ отрывкамъ Эпикура переводитъ

поэтому неправильно одно мѣсто и совершенно просматриваетъ другое, когда говоритъ: «Такимъ образомъ, Эпикуръ обосновывалъ ничтожные размѣры атомовъ ихъ невѣроятной малостью, говоря, по показанію Лаэртскаго X, 44, что они совсѣмъ не имѣютъ величины». Я не стану считаться съ тѣмъ, что, по Эвсебію, Эпикуръ первый приписалъ атомамъ безкопечно малую величину, Демокритъ же допускалъ существованіе и самыхъ большихъ атомовъ, по словамъ Сгобея, даже такихъ, какъ міры. Съ одной стороны, это противорѣчить показанію Аристотеля, съ другой стороны, Эвсебій или, вѣрнѣе, александрійскій епископъ Діонисій, котораго онъ цитируетъ, противорѣчитъ самому себѣ; такъ въ той же книгѣ сказано, что Демокритъ признавалъ за принципы природы недѣлимья, созерцаемая разумомъ тѣла. Одно ясно,—это, что Демокритъ не сознаетъ противорѣчія, оно его не занимаетъ, между тѣмъ какъ оно составляетъ главный интересъ Эпикура.

Второе свойство атомовъ Эпикура есть форма. Но и это опредѣленіе противорѣчитъ понятію атома, и надо положить его противоположность. Абстрактная единственность есть абстрактно себѣ равное и потому лишненное формы. Различія формы атомовъ поэту, правда, не опредѣлимы, но они не абсолютно безконечны. Наоборотъ, количество формъ, которыми различаются атомы, опредѣленно и конечно. Изъ этого само собою слѣдуетъ, что нѣтъ столько различныхъ фигуръ, сколько атомовъ, между тѣмъ какъ Демокритъ допускаетъ безконечное множество фигуръ. Если бы каждый атомъ имѣлъ особую форму, то должны были бы существовать атомы безконечной величины, такъ какъ они обладали бы безконечнымъ различіемъ, различіемъ отъ всѣхъ остальныхъ, на подобіе монадъ Лейбница. Утвержденіе Лейбница, что нѣтъ двухъ равныхъ вещей, падо поэту перевернуть, и такимъ образомъ получается положеніе, что существуетъ безкопечно много атомовъ одной и той же формы, чѣмъ, очевидно, опять отрицается опредѣленіе формы, такъ какъ форма, не отличающаяся отъ другихъ, не есть форма.

Наконецъ, въ высшей степени важно, что Эпикуръ признаетъ, какъ третье качество тяжесть, такъ какъ въ центрѣ тяжести матерія обладаетъ идеальной единственностью, образующей главное опредѣленіе атома. Разъ атомы перенесены въ міръ представленій, то они должны также имѣть вѣсъ.

Но и тяжесть прямо противорѣчитъ понятію атома; такъ какъ она есть единственность матеріи, въ видѣ идеальнаго пункта, лежащаго внѣ ея. Между тѣмъ атомъ самъ есть эта единственность, подобно центру тяжести, онъ самъ мыслится какъ единичное существованіе. Тяжесть существуетъ поэту для Эпикура только какъ различный вѣсъ, и атомы сами представляютъ субстанціальныя центры тяжести, на подобіе небесныхъ тѣлъ. Если примѣнить это къ конкретному, то само собою слѣдуетъ то, что старый Брукеръ находить сголь удивительнымъ, и въ чемъ увѣряетъ насъ Лукрецій, а имен-

но: что земля не имѣетъ центра, къ которому все стремится, и что нѣтъ антиподовъ. Такъ какъ, далѣе, тяжесть присуща только атому, отличному отъ другихъ, явленному во внѣ и надѣленному качествами, то понятно, что тамъ, гдѣ атомы мыслятся не какъ многіе другъ отъ друга отличные, а только въ отношеніи къ пустотѣ, тамъ отпадаетъ опредѣленіе вѣса. Атомы, какъ бы они ни были различны по массѣ и формѣ, движутся поэтому съ одинаковой быстротой въ пустомъ пространствѣ. Эпикуръ поэтому принимаетъ тяжесть только въ отталкиваніи и соединеніяхъ, вытекающихъ изъ отталкиванія, что дало поводъ утверждать, что только конгломераты атомовъ, а не они сами надѣлены тяжестью.

Гассенди хвалитъ Эпикура за то, что онъ, руководясь однимъ только разумомъ, предвосхитилъ опытъ, согласно которому всѣ тѣла, не смотря на различіе вѣса и тяжести, одинаково быстро движутся при паденіи сверху внизъ.

Разсмотрѣніе свойствъ атомовъ даетъ намъ, слѣдовательно, тотъ же результатъ, какъ разсмотрѣніе отклоненія, а именно: Эпикуръ объективировалъ противорѣчіе въ понятіи атома между сущностью и существованіемъ, и, такимъ образомъ, далъ науку атомистики, между тѣмъ какъ у Демокрита не имѣетъ мѣста реализація самого принципа, но удержана только матеріальная сторона и выставлены обслуживающія эмпирию гипотезы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Начала (ατομοί αρχαί) и Стихій (ατομα στοιχεια).

Въ своей вышеупомянутой статьѣ объ астрономическихъ понятіяхъ Эпикура Шаубахъ говоритъ: «Эпикуръ вмѣстѣ съ Аристотелемъ дѣлалъ различіе между *началами* (ατομοί αρχαί, Диогенъ Лаэртскій X, 41) и *стихіями* (ατομα στοιχεια, Диогенъ Лаэртскій, X, 86). Первые это—атомы, познаваемые умомъ, они не занимаютъ никакого пространства. Вторые называются атомами, не какъ самыя маленькія тѣла, но потому, что они недѣлимы въ пространствѣ. По этимъ представленіямъ можно было бы думать, что Эпикуръ не падѣлилъ атомовъ никакими свойствами протяженности. Но въ письмѣ къ Геродоту (Диогенъ Лаэртскій, X, 44, 45), онъ падѣляетъ атомы не только тяжестью, но и величиной и формой... Я причисляю поэтому эти атомы ко второму виду, считаю ихъ происшедшими изъ первыхъ, но они, въ свою очередь, рассматриваются, какъ элементарныя частицы тѣлъ».

Остановимся внимательнѣе на томъ мѣстѣ, которое Шаубахъ цитируетъ изъ Диогена Лаэртскаго. Тамъ сказано: Οἷον ἐστὶ τὰ κατὰ σφαιρὰ καὶ ἀσφῆς φῶδες ἐστί. ἢ ἐστὶ ατομα στοιχεια καὶ κατὰ τὰ τοιαῦτα. Эпикуръ

поучаетъ здѣсь Питокла, которому онъ пишетъ, что ученіе о метеородахъ отличается отъ всѣхъ другихъ физическихъ доктринъ, отъ такихъ, напримѣръ, что все есть тѣло и пустое, что есть педѣлимые элементы. Ясно, что здѣсь нѣтъ абсолютно никакого основанія допустить, будто рѣчь идетъ объ атомахъ второго вида. Пожалуй, можетъ показаться, что дисьюнція между *το παν σωμα και αναφη φυσικ* и *οτι τα ατομα στοιχεια* полагаетъ различіе между *σωμα* и *ατομα στοιχεια* и что, въ такомъ случаѣ, *σωμα* означаетъ атомы перваго рода въ противоположность къ *ατομα στοιχεια*. Но объ этомъ и думать нечего. *Σωμα* означаетъ вещественное въ противоположность пустому, которое поэтомъ называется также *ασματος*. Въ *σωμα* включены поэтомъ какъ атомы, такъ и сложные тѣла. Такъ, напримѣръ, въ письмѣ къ Геродоту сказано: *το παν εστι το σωμα... ει μη τη, ο κενον και χωρον και αναφη φυσικ ονομαζομεν... των σωματων τα μεν εστι συγκρισεις, τα δε εξ ων αι συγκρισεις πεποιθηται. Ταυτα δε εστιν ατομα και αμεταβλητα...* *Ωστε τας αρχας ατομους αναγκαιον ειναι σωματων φυσικς*. Въ вышеупомянутомъ мѣстѣ Эпикуръ говоритъ, такимъ образомъ, сначала о вещественномъ вообще въ отличіе отъ пустого, а затѣмъ о специально вещественномъ, объ атомахъ.

Ссылка Шаубаха на Аристотеля доказываетъ столь же мало. Разница между *αρχη* и *στοιχειον*, на которой особенно настаиваютъ стоики, хотя и встрѣчается у Аристотеля, но онъ, тѣмъ не менѣе, даетъ и тожество обоимъ выраженій. Онъ даже опредѣленно говоритъ, что *στοιχειον* означаетъ преимущественно атомъ. Точно также Левкиппъ и Демокритъ называютъ *πληρες και κενον «στοιχειον»*.

У Лукреція, въ письмахъ Эпикура, у Диогена Лаэртскаго, въ Колотесѣ—Плутарха, у Секета Эмпирика свойства приписываются самимъ атомамъ, почему они и опредѣлялись какъ сами себя уничтожающія.

Но если считается антипоміей, что постигаемая только разумомъ тѣла надѣлены пространственными качествами, то гораздо большей антипоміей является то, что самыя пространственные качества могутъ быть восприняты только умомъ.

Наконецъ, Шаубахъ приводитъ для дальнѣйшаго обоснованія своего взгляда слѣдующее мѣсто изъ Стобея: *Επικουρος... τα πρωτα (sc. σωματα) δε απλα, τα δε εξ εκεινων συγκριματα παντα βαρος εχειν*. Къ этому мѣсту у Стобея можно было бы еще прибавить слѣдующія, въ которыхъ *ατομα στοιχεια* упоминаются, какъ особый видъ атомовъ: (Плутархъ) *De placitis philosophorum*, I, 246 и 249 и *Stob. Eccl-g. phys.* I. p. 5. Впрочемъ, въ этихъ мѣстахъ вовсе не утверждается, что первоначальные атомы не имѣютъ величины, формы и тяжести. Напротивъ, говорится только о тяжести, какъ особомъ признакѣ *ατομοι αρχαι* и *ατομα στοιχεια*. Но мы уже замѣтили въ предыдущей главѣ, что она примѣняется только при отталкиваніи и при возникающихъ изъ него конгломератахъ.

Отъ и-мышленія *ατομα στοιχεια* ничего не выигрываютъ. Такъ же трудно перейти отъ *ατομοι αρχαι* къ *ατομα στοιχεια*, какъ приписать

имъ непосредственно свойства: Тѣмъ не менѣе, я не отрицаю безусловно этого различія. Я отрицаю только два различныхъ постоянныхъ вида атомовъ. Это скорѣе различныя опредѣленія одного и того же вида.

Прежде чѣмъ объяснить это различіе, я еще обращаю вниманіе на одну маперу Эпикура. А именно: онъ охотно представляетъ различныя опредѣленія понятія, какъ различныя самостоятельныя существованія. Точно такъ же, какъ его принципъ есть атомъ, такъ и самая тенденція его знанія атомистична. Каждый моментъ развитія тотчасъ же превращается у него въ устойчивую, какъ бы отдѣленную отъ всякой связи пустымъ пространствомъ дѣйствительность. Всякое опредѣленіе принимаетъ форму изолированной единственности.

Манера эта станетъ ясна изъ слѣдующаго примѣра.

Безконечное, то *απειρον* или *infinitio*, какъ переводить Цицеронъ, иногда употребляется Эпикуромъ, какъ особое свойство. И именно въ тѣхъ же самыхъ мѣстахъ, въ которыхъ мы находимъ опредѣленіе *στοιχεῖα*, какъ постоянной, лежащей въ основаніи субстанціи, мы находимъ и *απειρον* въ видѣ самостоятельнаго момента.

Но безконечное, по собственнымъ опредѣленіямъ Эпикура, не представляетъ ни особой субстанціи, ни чего-либо видѣ атомовъ и пустого, но напротивъ является случайнымъ опредѣленіемъ ихъ. Мы находимъ, такимъ образомъ, три значенія *απειρον*.

Во-первыхъ, *απειρον* выражаетъ для Эпикура качество, общее атомамъ и пустому. Именно, оно выражаетъ безконечность міра, который безконеченъ вслѣдствіе безконечнаго множества атомовъ, вслѣдствіе безконечной величины пустого.

Во-вторыхъ, *απειρον*, есть множественность атомовъ, такъ что не атомъ, а безконечно многіе атомы противопоставляются пустому.

Наконецъ, если мы должны судить объ Эпикурѣ по Демокриту, то *απειρον* означаетъ и прямо противоположное, неограниченную пустоту, противопоставляемую опредѣленному въ себѣ и самимъ собою ограниченному атому.

Во всѣхъ этихъ значеніяхъ—а они единственныя, даже единственно возможные для атомистики—безконечное является однимъ только опредѣленіемъ атомовъ и пустого. Тѣмъ не менѣе, оно получаетъ особое самостоятельное существованіе, ставится даже какъ специфическая природа рядомъ съ сиринцинами, опредѣленность которыхъ оно выражаетъ.

Поэтому установилъ ли Эпикуръ опредѣленіе, въ которомъ атомъ становится *στοιχεῖον*, какъ самостоятельный, первоначальный видъ атома, чего впрочемъ не было, если судить по историческому преимуществу одного источника предъ другимъ; или же только Метродоръ, ученикъ Эпикура, превратилъ въ различное существованіе только различное опредѣленіе, что намъ кажется болѣе вѣроятнымъ,—превращеніе отдѣльныхъ моментовъ въ самостоятельное существованіе мы должны приписать субъективной манерѣ атомистическаго сознанія. Бла-

годаря тому, что различнымъ опредѣленіямъ придавались формы отдѣльныхъ существованій, различіе ихъ не было попятно.

Атомъ для Демокрита имѣетъ только значеніе *στοιχεῖον* матеріальнаго субстрата. Различіе между атомомъ, какъ *αρχή* и *στοιχεῖον*, какъ принципомъ и основаніемъ, принадлежитъ Эпикуру. Важность его ясна изъ слѣдующаго.

Противорѣчіе между существованіемъ и существомъ, между матеріей и формой, лежащее въ понятіи атома, переносится въ отдѣльный атомъ, какъ только его надѣляютъ качествами. Благодаря качеству атомъ дѣлается чуждымъ своему понятію, по въ то же самое время дѣлается совершеннымъ въ своей конструкціи. Изъ отталкиванія и связанныхъ съ нимъ конгломератовъ квалифицированныхъ атомовъ возникаетъ міръ явленій.

Въ этомъ переходѣ изъ міра сущности въ міръ явленій противорѣчіе въ понятіи атома, очевидно, достигаетъ наиболѣе яркаго осуществленія. Ибо атомъ, по своему понятію, есть абсолютная, существенная форма природы. Эта абсолютная форма низведена теперь къ абсолютной матеріи, къ безформенному субстрату міра явленій.

Атомы хотя и составляютъ субстанцію природы, изъ которой все возникаетъ, на которую все разлагается, но постоянное уничтоженіе міра явленій не приводитъ ни къ какому результату. Образуются новыя явленія, но самый атомъ всегда остается въ основаніи. Поскольку, такимъ образомъ, атомъ мыслится по чистому понятію, его существованіе есть пустое пространство, уничтоженная природа; поскольку онъ переходитъ въ дѣйствительность, онъ низводится къ матеріальной основѣ, которая, являясь носителемъ міра различныхъ отношеній, никогда не существуетъ иначе, какъ въ безразличныхъ для нея вышнихъ формахъ. Это необходимый выводъ, такъ какъ атомъ, мыслимый, какъ абстрактно единичное и законченное, не можетъ проявиться, какъ идеализирующая и все проникающая сила этого многообразія.

Абстрактная единственность есть свобода отъ бытія, а не свобода въ бытіи. Она не можетъ свѣтить въ свѣтъ бытія. Это элементъ, въ которомъ она терлетъ свой характеръ и становится матеріальной. Поэтому атомъ не преступаетъ въ область явленія; тамъ же, гдѣ онъ переступаетъ въ нее, онъ опускается до матеріальнаго основанія. Атомъ, какъ таковой, существуетъ только въ пустотѣ. Такимъ образомъ, смерть природы стала ея безсмертною субстанціей, и Лукрецій справедливо говоритъ:

«Такъ безсмертная смерть похищаетъ смертную жизнь».

Философское отличіе Эпикура отъ Демокрита заключается именно въ томъ, что первый понимаетъ и воплощаетъ противорѣчіе въ этой его высшей формѣ, различаетъ, такимъ образомъ, атомъ, становящійся основаніемъ явленія, *στοιχεῖον*, отъ атома въ томъ видѣ, какъ онъ существуетъ въ пустомъ, какъ *αρχή*; Демокритъ же воплощаетъ только одинъ моментъ. Это то же самое различіе, которое въ

міръ сущности, въ царствѣ атомовъ и пустого отдѣляетъ Эпикура отъ Демокрита. Но такъ какъ только квалифицированный атомъ является совершеннымъ, такъ какъ міръ явленій можетъ произойти только изъ совершеннаго и ставшаго чуждымъ своему понятію атома, то Эпикуръ выражаетъ это такъ, что только квалифицированный атомъ становится *στοιχεῖον*, или только атомовъ *στοιχεῖον* надѣленъ качествами.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Время.

Такъ какъ въ атомѣ матерія, какъ чистое отношеніе къ самой себѣ, лишена всякихъ измѣненій и относительности, то отсюда непосредственно слѣдуетъ, что изъ понятія атома, міра сущности, слѣдуетъ исключить время. Ибо матерія вѣчна и самостоятельна лишь въ той мѣрѣ, поскольку мы абстрагируемъ въ ней отъ момента времени. Въ атомѣ согласны и Демокритъ и Эпикуръ. Но они расходятся въ способѣ опредѣленія времени, удаленнаго изъ міра атомовъ, въ томъ, куда его надо отнести.

У Демокрита время не имѣетъ никакого значенія, никакой необходимости для системы. Онъ объясняетъ его, чтобы его уничтожить. Онъ опредѣляетъ его, какъ вѣчное, чтобы, какъ говорятъ Аристотель и Симплицій, удалить изъ атомовъ возникновеніе и уничтоженіе, то есть временное. Оно само, время, является доказательствомъ того, что не все должно имѣть происхожденіе, моментъ начала.

Но здѣсь лежитъ болѣе глубокая идея. Воображающій разсудокъ, который не можетъ постичь самостоятельности субстанцій, ставитъ вопросъ о ея временномъ становленіи. При этомъ онъ не замѣчаетъ, что дѣлая субстанцію временной, онъ въ то же самое время превращаетъ время въ субстанціальное, и этимъ уничтожаетъ его понятіе, такъ какъ ставшее абсолютнымъ время перестаетъ быть временнымъ.

Но, съ другой стороны, рѣшеніе это неудовлетворительно. Время, исключенное изъ міра сущности, переносится въ самосознаніе философствующаго субъекта, но не затрагиваетъ самаго міра.

Иначе думаетъ Эпикуръ.

Исключенное изъ міра сущности, время становится для него абсолютной формой явленія. Оно опредѣляется, какъ случайный моментъ случайнаго (*Akzidens der Akzidens*). Случайность (*Akzidens*) есть измѣненіе субстанціи вообще. Случайный моментъ случайности (*Akzidens des Akzidens*), есть измѣненіе, возвращающееся въ самого себя, перемежна, какъ перемежна. Такая чистая форма міра явленій и есть время.

Соединеніе есть только пассивная форма конкретной природы, время— ея активная форма. Если я разсматриваю соединеніе съ точки зрѣ-

нія его бытія, то атомъ существуетъ за нимъ, въ пустомъ, въ воображеніи; если же я разсматриваю атомъ со стороны его понятія, то соединеніе либо вовсе не существуетъ, либо оно существуетъ только въ субъективномъ представленіи; ибо оно есть отношеніе, въ которомъ самостоятельные, замкнутые въ себѣ, какъ бы безразличныя другъ къ другу атомы тѣмъ самымъ не находятся ни въ какомъ отношеніи другъ къ другу. Наоборотъ, время, переменна конечнаго, полагаемая какъ переменна, постольку же есть дѣйствительная форма, отдѣляющая явленіе отъ сущности, полагающая явленіе, какъ явленіе, поскольку оно приводитъ его обратно къ сущности. Соединеніе выражаетъ только матеріальность какъ атомовъ, такъ и происходящей изъ нихъ природы. Время, наоборотъ, въ мірѣ явленій есть то, что понятіе атома въ мірѣ сущности. Именно абстракція, уничтоженіе и сведеніе всякаго опредѣленнаго бытія въ для себя бытіе.

Изъ этихъ соображеній вытекають слѣдующіе выводы. Во-первыхъ, Эпикуръ дѣлаетъ противорѣчіе между матеріей и формой характеромъ являющейся природы, которая становится, такимъ образомъ, отраженіемъ дѣйствительной природы атома. Это происходитъ путемъ противопоставленія пространству времени, пассивной формѣ явленія активной. Во-вторыхъ, только Эпикуръ понимаетъ явленіе, какъ явленіе, то-есть, какъ отпаденіе сущности, которое само проявляетъ себя въ своей дѣйствительности, какъ отпаденіе. Наоборотъ у Демокрита, для котораго соединеніе есть единственная форма являющейся природы, явленіе само по себѣ не обнаруживаетъ, что оно есть явленіе, ивѣто отличное отъ сущности. Такимъ образомъ, если разсматривать явленіе со стороны его существованія, то сущность совершенно сливается съ нимъ, со стороны же его понятія совершенно отдѣляется отъ нея, такъ что низводится до субъективнаго представленія. Соединеніе относится безразлично и матеріально къ своему основанію въ сущности. Время, наоборотъ, есть огонь сущности, вѣчно пожирающій явленіе и налагающій на него печать зависимости и несущественности. Наконецъ, такъ какъ по Эпикуру время есть переменна, какъ переменна, отраженіе явленія на самое себя, то являющаяся природа справедливо можетъ быть признана объективной, а чувственное воспріятіе справедливо можетъ быть слѣдно реальнымъ критеріемъ конкретной природы, хотя атомъ, ея основаніе, доступенъ лишь созерцанію разума.

И именно потому, что время есть абстрактная форма чувственного воспріятія, по атомистическому характеру эпикурейскаго сознанія является необходимость установить его, какъ особо существующую природу въ природѣ. Изъѣчливость чувственного міра, какъ изъѣчливость, его переменна, какъ переменна, эта рефлексія явленія на самое себя, образующая понятіе времени, имѣетъ свое отдѣльное существованіе въ сознательной чувственности. Чувственность человека представляетъ, такимъ образомъ, воплощенное время, существующую рефлексію чувственного міра на самого себя.

Все это непосредственно вытекает из опредѣленія понятія времени у Эпикура, и это же вполне опредѣленно можно доказать на частностяхъ. Въ письмѣ Эпикура къ Геродоту время опредѣляется такъ, что оно возникаетъ, когда воспріятыя чувствами случайныя свойства (Akzidenzen) тѣмъ мыслятся, какъ случайныя свойства. Рефлектирующее на себя чувственное воспріятіе является здѣсь, такимъ образомъ, источникомъ времени и самимъ временемъ. Поэтому нельзя опредѣлять времени по аналогіи, нельзя и другого ничего о немъ сказать, но нужно держаться самой энергіей; ибо разъ рефлектирующее на себя чувственное воспріятіе и есть само время, то перейти его невозможно.

Наоборотъ, у Лукреція, Секста Эмпірика и Стобея Akzidens des Akzidens, рефлектирующее на самое себя измѣненіе опредѣляется, какъ время. Рефлексія акциденцій на воспріятіе чувствъ и ихъ рефлексія на самихъ себя полагаются поэтому, какъ одно и то же.

Благодаря этой связи между временемъ и чувственностью εἶδωλα, которыя находятся также у Демокрита, приобрѣтаютъ болѣе послѣдовательное положеніе.

Εἶδωλα представляютъ формы природныхъ тѣлъ, которыя отпадаютъ отъ нихъ, какъ вѣшняя оболочка, и переносятся ихъ въ явленія. Эти формы вещей постоянно изъ нихъ истекаютъ и проникаютъ въ чувства и тѣмъ самымъ обуславливаютъ явленіе объекта. Въ слухѣ поэтому природа слышитъ самое себя, въ обоняніи она обоняетъ самое себя, въ зрѣніи она видитъ самое себя. Человѣческія чувства, такимъ образомъ, представляютъ ту среду, въ которой, какъ въ фокусѣ, отражаются естественныя процессы и появляются въ свѣтѣ явленій.

У Демокрита это—непослѣдовательность, такъ какъ явленіе только субъективно, у Эпикура—необходимое слѣдствіе, такъ какъ чувственность есть рефлексія міра явленій на самого себя, его воплощенное время.

Наконецъ, связь чувственности и времени проявляется такъ, что временное бытіе вещей и ихъ явленіе для чувствъ полагаются въ нихъ самихъ какъ одно и то же. Ибо именно отъ того, что тѣла являются чувствамъ, они исчезаютъ. Такъ какъ εἶδωλα постоянно отдѣляются отъ тѣлъ и устремляются къ чувствамъ, имѣютъ свою чувственность не въ самихъ себѣ, внѣ себя, какъ вторую природу, а не возвращаются, слѣдовательно, изъ отторгнутости, то они распадаются и исчезаютъ.

Какъ, такимъ образомъ, атомъ не представляетъ ничего иного, кромѣ естественной формы абстрактнаго единичнаго самосознанія, такъ вѣшная природа есть только овеществленное эмпирическое единичное самосознаніе, и именно чувственное. Чувства поэтому составляютъ единственный критерій въ конкретной природѣ, какъ абстрактный разумъ въ мірѣ атомовъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Метеоры.

Астрономическіе взгляды Демокрита, можетъ быть, и остроумны для его времени. Философскаго интереса они не представляютъ. Они не выходятъ изъ круга эмпирической мысли и не находятся въ опредѣленной внутренней связи съ учениемъ объ атомахъ.

Наоборотъ, теорія Эпикура о небесныхъ тѣлахъ и связанныхъ съ ними процессахъ или о метеорахъ (этимъ выраженіемъ онъ охватываетъ все это), противоположна не только мифію Демокрита, но и мифію греческой философіи. Почитаніе небесныхъ тѣлъ это культъ, признаваемый всѣми греческими философами. Система небесныхъ тѣлъ есть первое пантеонъ и природою опредѣленное бытіе дѣйствительнаго разума. Такое же положеніе занимаетъ греческое самосознаніе въ области духа. Это духовная солнечная система. Греческіе философы поклонялись поэтому въ небесныхъ тѣлахъ своему собственному духу.

Анаксагоръ, который первый физически объяснилъ небо и, такимъ образомъ, приблизилъ его къ землѣ въ другомъ смыслѣ, чѣмъ Сократъ, на вопросъ, для чего онъ родился, отвѣтилъ: *εις θεοφιλίαν ἤλιον καὶ σελήνην καὶ οὐρανόν*. Ксенофанъ же посмотрѣлъ на небо и сказалъ: Единое есть Богъ. Извѣстно религіозное отношеніе къ небеснымъ тѣламъ пифагорейцевъ, Платона, Аристотеля.

Да, Эпикуръ выступилъ противъ образа мыслей всего греческаго народа.

Иногда кажется, говоритъ Аристотель, что понятія достаточно объясняютъ явленіе, а явленія понятія. Такъ, всѣ люди имѣютъ представленіе о богахъ и отводятъ божественному горнія мѣста; такъ поступаютъ варвары и эллины, вообще всѣ кто вѣритъ въ существованіе боговъ, очевидно, связывая безсмертное съ безсмертнымъ; и иначе невозможно. Если, такимъ образомъ, божественное существуетъ, — какъ оно и есть на самомъ дѣлѣ, то и наше утвержденіе о субстанціи небесныхъ тѣлъ вѣрно. Но это соответствуетъ и чувственному воспріятію, если говорить о чезовѣческомъ убѣжденіи. Ибо во все прошедшее время, по сохранившимся воспоминаніямъ, ничего, повидному, не измѣнилось ни на всемъ небѣ, ни на какой-либо изъ его частей. Даже имя, повидному, передано намъ древними, причемъ они признавали то же самое, что и мы говоримъ. Ибо не однажды и дважды, а безконечное число разъ доходили до насъ тѣ же взгляды. И такъ какъ первое тѣло есть нечто отличное отъ земли и огня, воздуха и воды, то они называли горнее мѣсто «эвромъ» отъ *εὐρον* αἴθρ, прибавивъ къ нему въ качествѣ второго имени — вѣчное время. Но небо и горнее мѣсто древніе удѣляли богамъ, такъ какъ оно одно только безсмертно. Современное же уче-

не удостоверяетъ, что оно неразрушимо, не имѣетъ начала, непричастно ко всякимъ смертнымъ злоключеніямъ. Такимъ образомъ, наши понятія въ то же самое время соотвѣтствуютъ пророчеству о Богѣ. Но что есть только *одно* небо, это очевидно. До насъ дошла отъ предковъ и древнихъ и сохранилась въ формѣ позднѣйшихъ мифовъ вѣра, что небесныя тѣла—боги и что божество проникаетъ всю природу. Остальное было прибавлено въ видѣ мифовъ для вѣры массъ, какъ полезное для законовъ и для жизни. Ибо они дѣлаютъ боговъ похожими на людей и на нѣкоторые другія живыя существа и придумываютъ многое другое, связанное съ этимъ и родственное ему. Если кто-нибудь отброситъ все остальное и оставитъ только первое, вѣру, что первоначальныя субстанціи—боги, то онъ долженъ считать это божественнымъ откровеніемъ и долженъ вѣрить, что послѣ того, какъ оно случилось, всяческія искусства и философіи были открыты и опять утеряны, а эти мифы, какъ святыни, сохранились до настоящаго времени.

У Эпикура, наоборотъ, читаемъ: Ко всему этому нужно прибавить, что самое большое разстройство человѣческой души происходитъ отъ того, что люди считаютъ небесныя тѣла святыми и неразрушимыми и приписываютъ имъ противныя себѣ желанія и дѣйствія и черпаютъ страхи изъ мифовъ. Что касается метеоровъ, то надо думать, что движеніе, положеніе, затменіе, восходъ, заходъ и тому подобное происходитъ въ нихъ на томъ основаніи, что Одинъ правитъ и опредѣляетъ или опредѣлитъ разъ навсегда, Одинъ, который паряду съ неразрушимостью обладаетъ полною блаженствомъ; такъ какъ дѣйствія не соглашаются со святостью, а происходятъ, по большей части, въ силу слабости, боязни и потребности. Не слѣдуетъ также думать, что нѣкоторыя огнеподобныя тѣла, обладающія блаженствомъ, произвольно подвергаютъ себя этимъ движеніямъ. Если мы не согласимся съ этимъ, то само это противорѣчіе готовитъ намъ самое большое смятеніе душъ.

Если поэтому Аристотель упрекалъ древнихъ, что они думали, будто небо нуждается для своей опоры въ Атлантѣ, который «на плечахъ держитъ тяжелую вошу, поддерживаетъ столбы неба и земли» (Эсхиль, Прометей), то Эпикуръ, наоборотъ, порицаетъ тѣхъ, которые думаютъ, что человѣкъ нуждается въ небѣ; и сажаетъ Атланта, на котораго опирается небо, отвѣ находить въ человѣческой глупости и въ суевѣріи. Глупость и суевѣріе такъ же титаны.

Все письмо Эпикура къ Питоклу говоритъ о теоріи небесныхъ тѣлъ, за исключеніемъ послѣдняго отдѣла. Письмо заканчивается этическими сентенціями. И воляѣ умѣтню присоединены къ ученію о метеорахъ правила морали. Это ученіе для Эпикура является дѣломъ совѣсти. Наше изслѣдованіе поэтому будетъ, главнымъ образомъ, опираться на это письмо къ Питоклу. Мы дополнимъ его выдержками изъ письма къ Геродоту, на которое самъ Эпикуръ ссылается въ своемъ посланіи къ Питоклу.

Во-первыхъ, не надо думать, что изученіе метеоровъ, взятое въ цѣломъ или въ частностяхъ, можетъ привести къ иной цѣли, чѣмъ изученіе всего естествознанія, къ чему-либо шному, кромѣ атараксіи и твердой увѣренности. Не въ идеологій и пустыхъ гипотезахъ нуждается наша жизнь, а въ томъ, чтобы жить безъ безпокоительства. Какъ задачей физиологій вообще является изслѣдованіе причинъ самаго существеннаго, такъ и здѣсь блаженство покоится въ познаніи метеоровъ. Сама по себѣ теорія о закатѣ и восходѣ, о положеніи и затмѣнн не содержитъ въ себѣ никакаго особеннаго основанія для блаженства; равнѣ только въ томъ, что страхъ овлаживаетъ тѣми, которые это видятъ, не зная ни природы того, что происходитъ, ни главныхъ причинъ его. До сихъ поръ отвергается только преимущество, которое имѣетъ якобы теорія метеоровъ передъ другими науками, и теорія эта низводится къ тому же уровню.

Но теорія метеоровъ отличается еще специфически, какъ отъ метода этики, такъ и отъ остальныхъ физическихъ проблемъ, напримѣръ, проблемы о невидимыхъ элементахъ и тому подобномъ, гдѣ возможно одно только объясненіе явленій. Въ теоріи метеоровъ это не имѣетъ мѣста: у нихъ нѣтъ простой причинъ происхожденія, и они имѣютъ болѣе чѣмъ одну соответствующую явленіямъ категорію сущности, ибо въ физиологій слѣдуетъ руководиться не пустыми законами и аксіомами. Постоянно повторяется, что не *ἀπλως* (просто, абсолютно) слѣдуетъ объяснять метеоры, а *πολλὰκις* (многообразно); это примѣнимо къ восходу и заходу солнца, прибылн и ущербу луны, видимости лица на лунѣ, измѣненію длины дней и ночей и остальнымъ небеснымъ явленіямъ.

Какъ же все это объяснить?

Всякое объясненіе хорошо. Слѣдуетъ только исключить мнѣя. По они лишь тогда будутъ отброшены, когда, слѣдя за явленіями, отъ нихъ будутъ закрючать къ незримому. Нужно крѣпко держаться явленій, чувственаго воспріятія. Поэтому слѣдуетъ примѣнять аналогію. Такъ можно будетъ объясненіемъ изгнать страхъ и освободиться отъ него, приводя причины метеоровъ и всего остального, что происходитъ регулярно и особенно поражаетъ нѣкоторыхъ людей.

Масса объясненій, разнообразіе возможностей должны не только успокоить сознаніе и удалить причины страха, но вмѣстѣ съ тѣмъ отрицать единство, равный себѣ и абсолютный законъ даже въ небесныхъ тѣлахъ. Они могутъ дѣйствовать то такъ, то иначе. Эта нерегулируемая никакими законами возможность составляетъ отличительное свойство ихъ дѣйствительности. Все въ нихъ непостоянно и переменчиво. Многочисленность объясненій вмѣстѣ съ тѣмъ уничтожаетъ единство объекта.

Въ то время, слѣдовательно, какъ Аристотель въ согласіи съ другими греческими философами считаетъ небесныя тѣла вѣчными и безсмертными, такъ какъ они всегда дѣйствуютъ однородно; въ то время какъ онъ имъ самимъ приписываетъ особенный, высшій, не подчиненный силѣ тяжести элементъ, Эпикуръ въ противоположность ему

утверждаетъ, что дѣло обстоитъ, какъ разъ наоборотъ. Тѣмъ именно теорія метеоровъ специфически отличается отъ всякой другой физической доктрины, что въ нихъ все происходитъ неправильно и сложно, что въ нихъ все слѣдуетъ объяснить многообразнымъ, неопредѣленнымъ множествомъ причинъ. И онъ сердито и съ жаромъ отбрасываетъ противоположное мнѣніе: тѣ, которые придерживаются одного способа объясненія и отвергаютъ всѣ остальные, тѣ, которые признають въ метеорахъ единое, а потому вѣчное и божественное, впадаютъ въ пустое резонерство и рабскіе фокусы астрологовъ; они переступаютъ границу физиологій и бросаются въ объятія мнѳологій; они стараются совершить невозможное, трудятся надъ безмысленнымъ, они даже не знаютъ, гдѣ самая атараксія подвергается опасности. Болтовня ихъ заслуживаетъ презрѣнія. Нужно держаться подальше отъ предразсудка, будто изслѣдованіе тѣхъ предметовъ будетъ недостаточно основательно и тонко, если оно ставитъ себѣ цѣлью только нашу атараксію и блаженство. Абсолютная норма, наоборотъ, состоитъ въ томъ, что ничто, что нарушаетъ атараксію, что вызываетъ опасность, не можетъ принадлежать неразрушимой и вѣчной природѣ. Сознаніе должно понять, что это абсолютный законъ.

И Эпикуръ закапчиваетъ такъ: Именно изъ того, что единство небесныхъ тѣлъ нарушитъ атараксію самосознанія, необходимо и очевидно вытекаетъ, что они не вѣчны.

Какъ же понять это своеобразное мнѣніе Эпикура?

Всѣ авторы, писавшіе объ эпикурейской философіи, изображали это ученіе, какъ несовѣстимое со всей остальной физикой, съ ученіемъ объ атомахъ. Борьбу противъ стоиковъ, суевѣрія, астрологій оно принимаетъ за достаточныя основанія.

И мы видѣли, что Эпикуръ самъ отличаетъ методъ, применимый въ теоріи метеоровъ, отъ метода остальной физики. Въ какомъ же опредѣленіи его принципа кроется необходимость этого различія? Какъ приходитъ ему эта мысль?

Онъ борется не только противъ астрологій, но также противъ самой астрономіи, противъ вѣчнаго закона и разума въ небесной системѣ. Наконецъ, противоположность стоикамъ ничего не объясняетъ. Ихъ суевѣріе и все ихъ міровоззрѣніе были уже опровергнуты, когда небесныя тѣла были изображены, какъ случайное соединеніе атомовъ, а ихъ процессы, какъ случайныя движенія послѣднихъ. Этимъ была уничтожена ихъ вѣчная природа—выводъ изъ предыдущаго, вполне удовлетворившій Демокрита. Да и самое существованіе ихъ этимъ было уничтожено. Послѣдователь атомистики не нуждался, такимъ образомъ, въ новомъ методѣ.

Но въ этомъ не вся еще трудность. Тутъ возникаетъ болѣе загадочная аптіномія.

Атомъ есть матерія въ формѣ самостоятельности, единственности, и въ то же время символизированная тяжесть. Но высшей дѣятельностью тяжести являются небесныя тѣла. Въ нихъ рѣшены всѣ

антиноміи между формой и матеріей, между понятіемъ и существованіемъ, составляющія развитіе атома, въ нихъ осуществлены всѣ средѣленія, которыя требовались. Небесныя тѣла вѣчны и неизмѣнны; ихъ центръ тяжести внутри ихъ, а не внѣ ихъ; ихъ единственнымъ дѣйствіемъ является движеніе; раздѣленные пустымъ пространствомъ, они отклоняются отъ прямой линіи, образуютъ систему отталкиваній и притяженій, сохраняя вмѣстѣ съ тѣмъ свою самостоятельность, и изъ самихъ себя порождаютъ, наконецъ, время, какъ форму своего явленія. Небесныя тѣла суть, слѣдовательно, ставшіе реальными атомы. Въ нихъ матерія получила единственность въ самой себѣ. Здѣсь, поэтому, Эпикуръ долженъ былъ бы увидѣть высшее бытіе своего принципа, вершину и заключительный моментъ своей системы. Онъ утверждалъ вѣдь, что выдвигаетъ атомы для того, чтобы въ основаніи природы находился безсмертный фундаментъ. Онъ говорилъ, что для него важно субстанціальное единство матеріи. Но стоило ему найти реальность своей природы, — онъ признаетъ вѣдь только механическую — самостоятельную, неразрушимую матерію, въ небесныхъ тѣлахъ. Вѣчность и неизмѣнность которыхъ доказывали вѣра массы, сужденія философіи, свидѣтельства чувствъ, какъ его единственной дѣлю становится извести ее до земного непостоянства; какъ онъ съ жаромъ набрасывается на почтителей самостоятельной, обладающей въ себѣ высшей единственностью природы. Въ этомъ его величайшее противорѣчіе.

Эпикуръ чувствуетъ поэтому, что его прежнія категоріи здѣсь рушатся, что методъ его теоріи измѣняется. И самое глубокое достоинство его системы, самая убѣдительная послѣдовательность, что онъ это чувствуетъ и сознательно высказываетъ.

Мы уже видѣли, какъ вся эпикуррейская натурфилософія проникнута противорѣчіемъ между бытіемъ и существованіемъ, формой и матеріей. Но въ небесныхъ тѣлахъ это противорѣчіе уничтожено, эти противорѣчивые элементы примирены. Въ небесной системѣ матерія приняла въ себя форму, получила единственность и такимъ образомъ достигла самостоятельности. Но на этомъ пунктѣ она перестаетъ быть подтвержденіемъ абстрактнаго самосознанія. Въ мірѣ атомовъ, какъ и въ мірѣ явленій, форма боролась съ матеріей. Одно опредѣленіе уничтожало другое, и именно въ этомъ противорѣчій и было осуществлено абстрактно-единичное самосознаніе. Абстрактная форма, которая боролась съ абстрактной матеріей подъ видомъ матеріи, и было оно само. Но теперь, когда матерія примирилась съ формой и стала самостоятельной, единичное самосознаніе выступаетъ изъ своей замаскированной формы, объявляетъ себя истиннымъ принципомъ и возстаетъ противъ ставшей самостоятельной природы.

Это съ другой стороны можетъ быть выражено такъ: Воспринявъ въ себя форму, единственность, какъ это имѣетъ мѣсто въ небесныхъ тѣлахъ, матерія перестаетъ быть абстрактной единственностью. Она стала конкретной единственностью, всеобщностью. Въ метеорахъ противъ абстрактно-единичнаго самосознанія подымается такимъ образомъ

принявшее вещественныя формы опроверженіе его—всеобщее, ставшее существованіемъ и природой. Самосознаніе узнаеть въ нихъ своего смертельнаго врага. Имъ оно приписываетъ всякій страхъ и смятеніе людей, какъ это дѣлаетъ Эпикуръ. Ибо страхъ и уничтоженіе абстрактно-единичнаго и есть все общее. Здѣсь, такимъ образомъ, болѣе не скрывается уже истинный принципъ Эпикура, абстрактно-единичное самосознаніе. Оно выступаетъ на свѣтъ и, освобожденное отъ своей матеріальной оболочки, старается уничтожить дѣйствительность ставшей самостоятельной природы посредствомъ объясненія съ помощью абстрактной возможности, — то, что возможно, можетъ происходить и иначе; возможна такъ же противоположность возможнаго. Отсюда полемика противъ тѣхъ, которые ἀπλως, т.-е. опредѣленнымъ образомъ объясняютъ небесныя тѣла, ибо единое есть необходимое и въ себѣ самостоятельное.

Итакъ, пока природа, какъ атомъ и явленіе, выражаетъ единичное самосознаніе и его противорѣчіе, субъективность послѣдняго выступаетъ только въ формѣ самой матеріи; тамъ же, наоборотъ, гдѣ матерія становится самостоятельной, оно (самосознаніе) обращается на самое себя, выступаетъ противъ нея въ своемъ собственномъ образѣ, какъ самостоятельная форма.

Можно было заранѣе сказать, что тамъ, гдѣ осуществится принципъ Эпикура, онъ перестаетъ быть для него дѣйствительностью. Ибо если бы единичное самосознаніе въ самомъ дѣлѣ было подчинено опредѣленности природы или природа—его опредѣленности, то его опредѣленность, то-есть его существованіе, прекратилась бы, такъ какъ только всеобщее можетъ въ процессѣ свободнаго отграниченія себя отъ другого утвердить свое бытіе.

Въ теоріи метеоровъ проявляется, такимъ образомъ, душа эпикурейской натурфилософій. Ничто не вѣчно, если оно уличаеетъ атаксію единичнаго самосознанія. Небесныя тѣла нарушаютъ его атаксію, его равенство съ самимъ собой, такъ какъ они представляютъ существующее всеобщее, такъ какъ въ нихъ природа стала самостоятельной.

Такимъ образомъ, не гастрологія Архистрата, какъ думаетъ Хризиппъ, является принципомъ эпикурейской философіи, а абсолютность и свобода самосознанія, хотя это самосознаніе и понимается только въ формѣ единичнаго.

Если абстрактно-единичное самосознаніе полагается какъ абсолютный принципъ, то всякая истинная и дѣйствительная наука постоитъ, конечно, уничтожается, поскольку въ природѣ вещей господствуетъ не единичность. Но рушится и все то, что является трансцендентнымъ по отношенію къ человѣческому сознанию, что принадлежитъ, следовательно, фантазирующему уму. Но если, наоборотъ, самосознаніе, знающее себя только въ формѣ абстрактной всеобщности, поднято до абсолютнаго принципа, то этимъ широко раскрываются двери суевѣрной и несвободной мистикѣ. Историческое

доказательство этого мы находимъ въ стоической философіи. Абстрактно всеобщее самосознаніе имѣетъ въ себѣ тенденцію само утверждаться въ вещахъ, а въ нихъ оно утверждается, только отрицая ихъ.

Эпикуръ поэтому есть величайшій греческій просвѣтитель, и ему подобаетъ похвала Лукреція:

„Жизнь человека постыдно у всѣхъ на глазахъ пресмыкалась
Здѣсь на землѣ, удрученная бременемъ вѣроученія,
Что изъ владѣній небесныхъ главу простирало и сверху
Взоръ угрожающій свой непрестанно бросало на смертныхъ.
Первый изъ смертныхъ, кто взоры поднять къ нему прямо рѣшился,
Родомъ изъ Греціи былъ; онъ ему воспротивился первый.
И ни святиня безсмертныхъ, ни молнія, ни грома раскаты
Съ неба его удержать не могли...
Такъ что религии всѣ суевѣрія у насъ подъ ногами
Вновь очутились, а мы той побѣдой вознесены къ небу.“

(Пер. П. Рачинскаго).

Различіе между натурфилософіей Демокрита и Эпикура, которое мы установили въ концѣ общей части, развилось и подтвердилось во всѣхъ сферахъ природы. У Эпикура совершенно послѣдовательно проведена и закончена атомистика со всѣми ея противорѣчіями, какъ естествознаніе самосознанія; а послѣднее въ формѣ абстрактной единственности есть абсолютный принципъ, который представляетъ собой упраздненіе атомистики и сознательную противоположность всеобщему. Для Демокрита, наоборотъ, атомъ есть только общее объективное выраженіе эмпирическаго изслѣдованія природы вообще. Атомъ для него остается поэтому чистой и абстрактной категоріей, гипотезой, представляющей результатъ опыта, а не ея энергическій принципъ, и эта гипотеза остается поэтому безъ осуществленія, а реальное изслѣдованіе природы не опредѣляется ею.

Отрывки.

1. Плутархъ въ своей біографіи Марія представляетъ собою страшное историческое доказательство того, какъ эта моральная манера уничтожаетъ всякое теоретическое и практическое безкорыстіе. Описавъ ужасное уничиженіе кимвровъ, онъ рассказываетъ, что было такое множество труповъ, что массалы могли удобрить ими свои виноградники. Послѣ этого наступили дожди, и это былъ самый обильный виноградомъ и фруктами годъ. Какія же мысли высказываетъ благородный историкъ по поводу трагической гибели этого народа? Плутархъ находитъ вполнѣ моральнымъ со стороны Бога, что Онъ дасть погибнуть и сгнить цѣлому большому, благородному народу, чтобы доставить обильный сборъ плодовъ марсельскимъ филистерамъ. Такимъ образомъ, даже превращеніе народа въ навозную кучу даетъ желательный случай насладиться мечтаніями на моральныя темы.

2. Точно такъ же ученики Гегеля проявляютъ только свое невѣжество, когда они то или иное опредѣленіе его системы объясняютъ приспособленіемъ и тому подобнымъ, объясняютъ, однимъ словомъ, морально. Они забываютъ, что еще совѣмъ недавно они съ восторгомъ повторяли въ его односторонности, какъ это можно имъ доказать ихъ же собственными статьями.

Если они дѣйствительно были такъ поражены полученной въ готовомъ видѣ наукой, что они отдались ей съ наивнымъ некритическимъ довѣріемъ, то какъ безсовѣстно упрекать учителя въ сознательной подтасовкѣ взглядовъ; онъ получалъ науку не въ готовомъ видѣ извѣстѣ, а въ процессѣ становленія и въ самой крайней периферіи ея билась его собственная духовная кровь. Скорѣе они этимъ даютъ поводъ заподозрить самихъ себя въ томъ, что они прежде не относились серьезно къ дѣлу и что теперь они борются противъ своего прежняго состоянія, приписывая его Гегелю, забывая при этомъ, что онъ былъ связанъ со своей системой непосредственно, субстанціально, они же косвенно.

Вполнѣ мыслимо, что философъ совершаетъ ту или иную кажущуюся ненослѣдовательность въ силу приспособленія; онъ можетъ даже сознавать это. Но чего онъ не сознаетъ, такъ это того, что возможность этого кажущагося приспособленія коренится въ недостаточности принципа или въ недостаточномъ пониманіи или въ своемъ принципа. И если философъ дѣйствительно приспособлялся, то его ученики должны объяснить изъ его внутренняго сознанія то, что для него имѣло форму экзотерическаго сознанія. То, что является прогрессомъ совѣсти, представляетъ такимъ образомъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, прогрессъ знанія. Заподозривается не личная совѣсть философа, но создается существенная форма его сознанія, ему придается опредѣленная форма и значеніе и тѣмъ самымъ выходятъ за его предѣлы.

Я, впрочемъ разсматриваю это нефилософское направленіе значительной части гегелевской школы, какъ явленіе, которое всегда будетъ сопровождать переходъ отъ дисциплины къ свободѣ.

Это психологическій законъ, что ставшій въ себѣ свободнымъ теоретическій духъ превращается въ практическую энергію и, выходя какъ волна изъ царства тѣней Аментеса, обращается противъ земной, безъ него сущей дѣйствительности. Но въ философскомъ отношеніи важно болѣе подробно разъяснить эти стороны, такъ какъ изъ опредѣленнаго способа этихъ переѣмѣнъ возможно обратное заключеніе объ имманентной опредѣленности и всемірно историческомъ характерѣ философіи. Мы видимъ здѣсь какъ бы ея *curriculum vitae*, доведенное до субъективной формы. Но сама практика философіи теоретична. Критика, вотъ кто мѣрляетъ отдѣльное существованіе сущностью, живую дѣйствительность идей. Но и это непосредственное осуществленіе философіи по своей внутренней сущности полно противорѣчій, и эта ея сущность выражается въ явленіи и налагаетъ на него свою печать.

Въ то время какъ философія какъ воля выступаетъ противъ являющагося міра, система низводится до абстрактной дѣльности, т.-е. она становится одной стороной міра, и противъ нея выступаетъ другая. Отношеніе ея къ міру есть рефлексивное отношеніе. Одушевленное стремленіемъ осуществиться, оно вступаетъ въ конфликтъ съ остальнымъ. Внутреннее самодовольствіе и дѣльность нарушены. То, что было внутреннимъ огнемъ, превращается въ пожирающее пламя, вырывающееся наружу. Такимъ образомъ получается результатъ, что проникновеніе міра философіей въ то же время становится обмірщеніемъ философіи, что ея осуществленіе есть вмѣстѣ съ тѣмъ ея потеря, что то, противъ чего она борется внѣ себя, есть ея собственный внутренній недостатокъ, что именно въ борьбѣ она впадаетъ въ тѣ ошибки, противъ которыхъ она и борется, и что она, лишь сама впадая въ эти ошибки, уничтожаетъ ихъ. То, что выступаетъ противъ нея и противъ чего она борется, есть всегда то же самое, что она есть, но съ противоположными факторами.

Такова одна сторона, если мы будемъ разсматривать вопросъ чисто объективно, какъ непосредственное осуществленіе философіи. Но онъ имѣетъ и субъективную сторону, что является лишь другой формой его, это отношеніе осуществляющейся философской системы къ ея духовнымъ носителямъ, къ индивидуальнымъ самосознаніямъ, въ которыхъ проявляется ея поступательное движеніе. Изъ этого отношенія, противостоящаго самому міру въ осуществленіи философіи, слѣдуетъ, что этимъ индивидуальнымъ самосознаніямъ всегда присуще обоюдоострое требованіе, которое съ одной стороны выступаетъ противъ міра, а съ другой—противъ самой философіи. Но то, что проявляется какъ превратное въ самомъ себѣ отношеніе къ вещи, проявляется въ нихъ какъ двойное, противорѣчащее самому себѣ требованіе и дѣйствіе. Ихъ освобожденіе міра изъ внѣфилософскаго состоянія есть въ то же время ихъ собственное освобожденіе отъ философіи, которая, какъ опредѣленная система, держала ихъ въ оковахъ. Такъ какъ они сами (индивидуальная самосознанія) находятся только въ процессѣ и въ непосредственной энергіи развитія, слѣдовательно, въ теоретическомъ отношеніи не пошли еще дальше той системы, то они испытываютъ лишь противорѣчіе съ пластической устойчивостью системы и не знаютъ, что, обращаясь противъ нея, они осуществляютъ только ея отдѣльные моменты.

Наконецъ, эта двойственность философскаго самосознанія выступаетъ какъ два до крайности противоположныхъ направленія; одно изъ этихъ направленій мы въ общемъ можемъ назвать либеральной партіей; оно удерживаетъ понятіе и принципъ философіи; другое же направленіе сохраняетъ, какъ главное опредѣленіе, ея ирраціональный моментъ, моментъ реальности. Это второе направленіе есть позитивная философія. Дѣйствіемъ первой является критика, слѣдовательно, обращеніе философіи во внѣ, дѣйствіемъ второй—попытка философствовать, слѣдовательно, обращеніе философіи въ себя, при чемъ она

находить, что недостаток имманентенъ философіи, тогда какъ первая понимаетъ его, какъ недостатокъ міра, который надо сдѣлать философскимъ. Каждая изъ этихъ партій дѣлаетъ именно то, что другая хочетъ дѣлать и чего она сама не хочетъ дѣлать. Но первая сознаетъ свое внутреннее противорѣчіе между принципомъ вообще и своей цѣлью. Во второй—проявляется превратность, такъ сказать, бессмысленность, какъ таковая. По содержанію только либеральная партія, какъ партія понятія, можетъ привести къ реальнымъ результатамъ, между тѣмъ какъ позитивная философія въ состояніи только привести къ требованіямъ и тенденціямъ, форма которыхъ противорѣчатъ ея значенію.

То слѣдовательно, что является сначала превратнымъ отношеніемъ и враждебнымъ раздѣломъ философіи съ міромъ, потомъ, ставится раздѣломъ индивидуальнаго философскаго самосознанія въ самомъ себѣ и, наконецъ, является, какъ вышнее раздѣленіе и раздвоеніе философіи на два противоположныхъ направленія.

Понятно, что, кромѣ того, выплываетъ еще масса подчиненныхъ, лишешныхъ всякой индивидуальности лицъ. Одни изъ нихъ прячутся за какого-нибудь философскаго титана древности; но вскорѣ узнаютъ осла подъ львиной шкурой, пародіей звучитъ хныкающей голосъ повиспеченнаго манекена рядомъ съ могучимъ оглашавшимъ цѣлыя столѣтія голосомъ хотя бы Аристотеля, непрошеннымъ органомъ котораго опъ себя сдѣлалъ; это напоминаетъ пѣмого, который захотѣлъ бы замѣнить недостатокъ рѣчи огромнымъ рупоромъ. Другіе, вооруженные двойными очками лилипуты, стоя на минимумѣ posterius великана, съ удивленіемъ возвѣщаютъ міру, какой поразительно новый горизонтъ открывается съ ихъ punctum visus, и дѣлаютъ смѣшныя усилія доказать, что не въ пылающемъ сердцѣ, но въ той солидной и крѣпкой средѣ, гдѣ они стоятъ, найдена точка опоры Архимеда, *τὸ ἐπὶ*, на которой держится міръ. Такимъ образомъ появляются философы волосъ, ногтей, экскрементовъ и т. п., которые должны занимать еще худшіе посты въ мистическомъ міровомъ чловѣкѣ Сведенборга. По существу своему эти мягкотѣлмя достаются на долю обоимъ упомянутымъ направленіямъ. Что касается самихъ этихъ направленій, то я въ другомъ мѣстѣ постараюсь основательно объяснить ихъ отношеніе частью другъ къ другу, частью къ гегелевской философіи, а также отдѣльные историческіе моменты, въ которыхъ развитіе это проявляется.

3. «Но слабый умъ есть однако не тотъ, который не познаетъ объективнаго Бога, а тотъ, который *хочетъ* его познать». (Шеллингъ, Философскія письма о догматизмѣ и критицизмѣ въ Философскихъ статьяхъ, томъ первый, Landshut, 1809, стр. 127, письмо II.) Господину Шеллингу можно вообще посоветовать всюмнить свои первыя статьи. Такъ, наприм., въ статьѣ о Я, какъ принципѣ философіи, сказано: «Допускаютъ, напримѣръ, что Богъ, опредѣляемый какъ объектъ, есть реальная основа нашей сущности, но въ такомъ случаѣ Опъ, на-

сколько Опъ есть объектъ, Самъ попадаетъ въ сферу нашего знанія, и не можетъ, слѣдовательно, быть для насъ послѣднимъ пунктомъ, на которомъ держится вся эта сфера». Стр. 5, 1. с. Мы, наконецъ, напоминаемъ г. Шеллингу заключительныя слова его вышеупомянутого письма: «Пора возвѣстить лучшему человѣчеству свободу духа и не терпѣть болѣе, чтобы оно оплакивало потерю своихъ оковъ». Стр. 129, 1. с. Если уже въ 1795 г. была пора, то какъ же въ 1841?

Упомянувъ здѣсь при случаѣ о совершенно ославленной темѣ, о доказательствахъ существованія Бога, надо замѣтить, что Гегель перевернулъ всѣ эти теологическія доказательства, т.-е. отвергъ ихъ, чтобы оправдать ихъ. Что же это за кліенты, которыхъ адвокатъ не можетъ иначе избавить отъ осужденія, какъ самъ убивая ихъ? Гегель, напр., такимъ образомъ толкуетъ заключеніе отъ міра къ бытію Бога: «Такъ какъ случайнаго нѣтъ, то есть Богъ или абсолютное». Теологическое же доказательство, наоборотъ, гласитъ: «Такъ какъ случайное имѣетъ истинное бытіе, то Богъ существуетъ». Богъ есть гарантія для случайнаго міра. Само собой понятно, что этимъ сказано и обратное.

Доказательства существованія Бога либо представляютъ пустыя тавтологіи, напр., онтологическое доказательство говоритъ только: «то, что я дѣйствительно представляю себѣ, для меня есть дѣйствительное представленіе», то дѣйствуетъ на меня, и въ этомъ смыслѣ всѣ боги, какъ языческіе, такъ и христіанскіе, обладали дѣйствительнымъ существованіемъ. Развѣ не царствовалъ старшій Молохъ? Развѣ Аполлонъ Дельфійскій не былъ дѣйствительной силой въ жизни грековъ? Здѣсь даже критика Канта ничего подѣлать не можетъ. Если кто-нибудь представляетъ себѣ, что обладаетъ сотней талеровъ, если это представленіе не есть для него произвольное субъективное представленіе, если онъ вѣритъ въ него, то для него эти сто воображаемыхъ талеровъ имѣютъ такое же значеніе, какъ сто действительныхъ. Опъ, напр., будетъ дѣлать долги на основаніи своей фантазіи, онъ будетъ дѣйствовать такъ, какъ все человѣчество дѣйствовало, дѣлая долги на счетъ своихъ боговъ. Болѣе того, примѣръ Канта могъ бы подкрѣпить онтологическое доказательство. Дѣйствительные талеры имѣютъ такое же существованіе, какъ воображаемые боги. Развѣ дѣйствительный талеръ существуетъ гдѣ-либо, кромѣ представленія, правда, общаго или скорѣе общественнаго представленія людей? Привези бумажныя деньги въ страну, гдѣ не знаютъ этого употребленія бумажки, и всякій будетъ смѣяться надъ твоимъ субъективнымъ представленіемъ. Приходи со своими богами въ страну, гдѣ существуютъ другіе боги, и тебѣ будутъ доказывать, что ты страдаешь фантазіями и абстракціями. И справедливо. Если бы кто-нибудь привезъ древнимъ грекамъ иноземнаго бога, то нашелъ бы доказательства несуществованія этого бога. Ибо для грековъ опъ не существовалъ. Чѣмъ извѣстная страна является для иноземныхъ боговъ, тѣмъ страна разума является для Бога вообще, областью, гдѣ его существованіе прекращается.

Или же доказательства существованія Бога представляют не что иное, какъ доказательства бытія существеннаго человѣческаго самосознанія, логическія объясненія послѣдняго. Напр., онтологическое доказательство. Какое бытіе непосредственно, когда мы его мыслимъ? Самосознаніе.

Въ такомъ смыслѣ всѣ доказательства бытія Бога являются доказательствами его небытія, опроверженіями всѣхъ представленій о Богѣ. Дѣйствительныя доказательства, наоборотъ, должны были бы гласить: «Такъ какъ природа плохо устроена, то Богъ существуетъ». «Такъ какъ существуетъ неразумный міръ, то Богъ существуетъ». «Такъ какъ мысли не существуетъ, то Богъ существуетъ». Но что же это говоритъ, кромѣ того, что для кого міръ неразуменъ, кто поэтому самъ неразуменъ, для того Богъ существуетъ? Или неразумность есть бытіе Бога.

«Если вы предполагаете идею объективнаго Бога, то какъ вы можете говорить о законахъ, которые разумъ воспроизводитъ изъ самаго себя, такъ какъ автономія можетъ принадлежать лишь абсолютно свободному существу?» Шеллингъ, I. с., стр. 198.

«Преступно скрывать отъ человѣчества принципы, которые вообще могутъ быть сообщены всѣмъ». Тотъ же, I. с. Стр. 199.

Примѣчанія.

Рукопись диссертации состоитъ изъ десяти тетрадей, изъ которыхъ шесть заключаютъ текстъ и четыре примѣчанія. Изъ текста недостаетъ двухъ послѣднихъ отдѣловъ первой части, какъ и всего приложения, примѣчанія же, наоборотъ, сохранились цѣлкомъ. Какъ видно изъ случайныхъ поправокъ его рукой, Марксъ тщательно проверилъ точность копій.

Текстъ приложения заключается, повидимому, въ одной или двухъ тетрадяхъ, которыя утеряны; первая же часть обрывается въ серединѣ тетради, а затѣмъ идетъ много чистыхъ страницъ, можетъ быть Марксъ предполагалъ здѣсь переработать эту часть, что затѣмъ осталось невыполненнымъ. Что онъ впоследствии еще думалъ объ изданіи этой работы, показываетъ бѣглый набросокъ новаго предисловія въ концѣ второй части. То, что можно разобрать изъ перечеркнутыхъ много разъ и написанныхъ одна на другой строкъ, гласитъ приблизительно: «Исследование, которое я здѣсь предаю гласности, есть старая работа и должна была найти мѣсто только въ общемъ изложеніи эпикурейской, стоической и скептической философіи. Но исполнить эту работу мнѣ ищяютъ политическія и философскія занятія совершенно другого рода. Теперь только настало время, когда поймутъ системы эпикурейцевъ, стоиковъ и скептиковъ. Это философы самосознанія. Эти строки по крайней мѣрѣ разъясняютъ, какъ мало задача эта разрѣшена до сихъ поръ». Новое предисловіе не помѣчено никакимъ числомъ, но вѣроятно оно написано въ сороковыхъ годахъ. Послѣ Коммунистическаго манифеста Марксъ едва ли думалъ еще объ опубликованіи этой работы, по крайней мѣрѣ, не могъ думать объ опубликованіи безъ перемѣнъ.

Слѣды докторской диссертации, о которыхъ Марксъ говоритъ въ предисловіи, замѣтны именно въ примѣчаніяхъ, которыя, по обычаю такихъ диссертаций, обосновываютъ по возможности каждое положеніе текста цитатами изъ первоисточниковъ. По зрѣломъ размысленіи и рѣшилъ самый трудъ передать точно и полно, какъ это само собой понятно, но выбросить примѣчанія. Удовольствие видѣть документальное подтвержденіе того, что студентъ Марксъ правильно цитировалъ авторовъ, казалось мнѣ, было бы куплено слишкомъ дорогой цѣной, нѣсколькими печатными листами преимущественно греческихъ цятать, которыя въ лучшемъ случаѣ могли бы сказать что-нибудь специалисту-филологу, да и ему не сказали бы ничего новаго.

Но вопли́ть провести свое намѣреніе мнѣ не удалось. Съ одной стороны Маркъ самъ сдѣлалъ нѣсколько отступленій въ статьѣ отъ своего принципа всегда цитировать по-нѣмецки въ цитатахъ Эхила и Лукренія изъ-за метрической формы, въ цитатахъ изъ Бойля и Лейбница, вѣроятно, изъ-за легкаго пониманія ихъ; съ другой стороны, среди его примѣчаній встрѣчаются такія, которыя имѣютъ существенное значеніе. Такъ какъ въ цитатахъ, внесенныхъ Марксомъ безъ перевода въ свой трудъ, филологическія тонкости не имѣютъ никакого значенія, то я, нисколько не задумываясь, передалъ ихъ по-нѣмецки, эхилловскія же съ маленькимъ анахронизмомъ по переводу Доннера. Но существенно важныя примѣчанія, которыя случайно всё относится къ затерянныя частямъ работы, я приложилъ къ тексту въ видѣ отрывковъ. Надѣюсь, что такимъ путемъ я одновременно удовлетворилъ справедливыя требованія какъ со стороны автора, такъ и со стороны читателя.

Я не считаю нужнымъ подробно здѣсь распространяться объ авторахъ, которыми пользовался Маркъ. Каждый учебникъ по исторіи философіи даетъ достаточныя свѣдѣнія объ этомъ. Кромѣ того имена Аристотеля, Цицерона, Плутарха, Бойля, Лейбница и т. д. всѣмъ очень хорошо извѣстны. Диогенъ Лаэртскій написалъ въ первой половинѣ III столѣтія нашей эры сочиненіе въ десяти книгахъ о жизни и ученіи извѣстныхъ философовъ, въ которомъ онъ особенно подробно разсматриваетъ эпикуреизмъ. Сама по себѣ небрежная компиляція, написанная безъ всякой критики, приобрѣла большое значеніе вслѣдствіе потери столь многихъ оригинальныхъ произведеній. Эклоги и Florilegium Стобея такъ же составляютъ сборникъ, относящійся къ 450 и 550 г. нашей эры. Старше книга De placitis philosophorumъ объ ученіяхъ философовъ, которую неправильно приписываютъ Плутарху. Секстъ Эмпирикъ, греческій врачъ, принадлежалъ къ школѣ стоиковъ; въ двухъ сохранившихся своихъ произведеніяхъ, совпадающихъ по времени съ произведеніемъ Диогена Лаэртскаго, онъ отчасти борется противъ догматической философіи, отчасти же приводитъ другихъ философовъ въ качествѣ свидѣтелей въ пользу скептицизма. Такимъ образомъ онъ сохранилъ многіе цѣльные отрывки, и Гегель называетъ его самымъ обильнымъ источникомъ для исторіи древней философіи. Смплицій, жившій въ среднѣмъ VI столѣтіи, былъ самымъ ученымъ и самымъ остроумнымъ изъ греческихъ комментаторовъ Аристотеля. Изъ отцовъ церкви Маркъ упоминаетъ Климента Александрійскаго, который, будучи языческимъ философомъ, около 200 года, уже въ зрѣломъ возрастѣ, перешелъ въ христіанство, о которомъ онъ писалъ въ философски-свободномъ духѣ, и Эвзебія, жившаго на столѣтіе позже, такъ называемаго «отца исторіи церкви». Къ отцамъ самой христіанской религіи принадлежалъ римскій стоикъ Сенека, извѣстный воспитатель Нерона. Изъ новѣйшихъ авторовъ, которыхъ Маркъ упоминаетъ, Брукеръ издалъ отъ 1742 до 1744 г. якобы критическую, на самомъ дѣлѣ компилятивную исторію философіи. Сочиненіе Риттера объ исторіи греческой философіи, несправедливо рѣзкое мнѣніе котораго о Демокритѣ, пожалуй, нѣсколько отразилось на Маркѣ, начало выходить въ 1829 году. Въ то время, когда Маркъ писалъ свою диссертацию, Шай-

бах написалъ статью объ астрономическихъ взглядахъ Эпикура въ издававшемся Зеебодѣ, Джономъ и Клономъ „Архивѣ философіи и педагогіи“.

Все, что можно было сказать для объясненія первой части диссертациі, я, думаю, достаточно подробно указалъ въ моемъ введеніи. Здѣсь я ограничиваюсь нѣсколькими замѣчаніями къ отдѣльнымъ главамъ второй части.

Отклоненіе атома отъ прямой линіи. Въ этомъ особенно спорномъ пунктѣ эпикурейской философіи дѣло идетъ о слѣдующемъ. Демокритъ объяснялъ происхожденіе и разрушеніе безчисленныхъ міровъ вихремъ атомовъ, вихрь же этотъ происходить отъ того, что при вѣчномъ движеніи паденія атомовъ въ безконечномъ пространствѣ большіе атомы сталкиваются съ меньшими, потому что они падаютъ быстрѣе. Противъ этого Аристотель высказалъ мнѣніе, что если бы могла существовать пустота, а онъ считалъ это невозможнымъ, то всѣ тѣла падали бы въ ней съ одинаковой быстротой, такъ какъ разница въ быстротѣ паденія происходитъ отъ различной плотности среды, какъ воздухъ или вода. Итакъ, говорилъ Эпикуръ, такъ какъ въ пустомъ пространствѣ совершенно нѣтъ сопротивленія, то всѣ тѣла должны были бы падать съ одинаковой быстротой; но такъ какъ атомы нѣсколько отклоняются отъ прямой линіи, то они тѣмъ не менѣе сталкиваются. Такъ возникло мнѣніе, что Эпикуръ изобрѣлъ отклоненіе атомовъ отъ прямой линіи, чтобы, такъ сказать, однимъ ударомъ поймать двухъ зайцевъ, чтобы лучше, нежели Демокритъ, обосновать столкновеніе атомовъ и сдѣлать въ то же время атомы независимыми отъ механической необходимости. Противъ этого-то мнѣнія, сторонниками котораго между прочимъ являются Цицеронъ и Вовилъ, выступаетъ Маркъ: такъ поверхностно и безсвязно Эпикуръ не представлялъ себѣ этого дѣла. Если бы атомы не встрѣчались безъ отклоненія, то тогда детерминизмъ Демокрита, основанный на столкновеніи атомовъ, самъ собою устранился бы, причѣмъ Эпикуру не было бы необходимости еще устранять его изобрѣтеніемъ отклоненія. Наоборотъ, если бы атомы встрѣчались безъ отклоненія, то Эпикуру незачѣмъ было бы искать причину ихъ столкновенія. Скорѣе отклоненіе атома вытекаетъ изъ принципа Эпикура осуществить понятіе атома, сдѣлать объективными обѣ стороны этого понятія, съ одной стороны атома какъ матеріальнаго существованія, а съ другой стороны какъ формальнаго существа, какъ изолированнаго индивидуума, какъ абстрактно-единичнаго самосознанія. Противорѣчіе, въ которое дѣйствительно впадаетъ Эпикуръ, есть противорѣчіе между фирмой и матеріей, между сущностью и существованіемъ атома, которое проходитъ черезъ всю его натуръ философію, а такъ какъ онъ очень хорошо чувствуетъ это противорѣчіе, то онъ старается изобразить отклоненіе возможно менѣе чувственно.

Это мнѣніе Маркса основывается главнымъ образомъ на Лукреціи, изъ поэмы котораго можно поэтому привести самыя убѣдительныя мѣста:

„Надобно знать тебѣ также и то въ настоящемъ предметѣ,
Что, когда тѣльца первичныя внизъ въ пустоту упадутъ,
Вслѣдствіе собственной тяжести, то въ неизвѣстное время
И въ неизвѣстныхъ мѣстахъ уклоняются чуть-чуть съ дороги,

Столь незамѣтно, что можно едва это звать отклоненіемъ.
Еслибъ первичныя тѣльца, какъ капли дождя, прямо книзу
Безъ отклоненія падали вмѣстѣ въ пустое пространство,
То не встрѣчались они бѣ никогда и толчки не возникли бѣ,
И ничего ужъ природа тогда создавать не могла бы.

.....
Вслѣдствіе этого вещи, которыя разнятся вѣсомъ,
Падать должны одинаково всѣ въ пустотѣ неподвижной.
Такъ что не можетъ въ паденіи на легкое тѣло паткнуться
Болѣе тяжкое, и произвестъ здѣсь толчка не способно,
Чтобъ измѣнить то движеніе, которымъ все зиждетъ природа.
Я повторяю: въ паденіи тѣльца должны отклониться
Нѣсколько, какъ можно меньше, чтобы мы за косое движеніе
Это принять не могли, вопреки справедливому взгляду.
Ибо вездѣ замѣчемъ взглядно мы сразу, что тѣло,
Падая вслѣдствіе собственной тяжести сверху, не можетъ
Двигаться въ бокъ въ направленіи косомъ,—въ томъ легко убѣдиться.
Но что съ дороги прямой при паденіи тѣла совершенно
Не уклоняются,—чей это взглядъ въ состояніи замѣтить?
Далѣе, если бѣ движенія всѣ были связаны вмѣстѣ,
Въ опредѣленномъ порядкѣ одинъ изъ другихъ возникая,
И уклоняясь съ пути не вводили первичныя тѣльца
Новыхъ началъ, кои могутъ нарушить судьбы повелѣнья,
Въ силу котораго слѣдствіе вѣчно идетъ за причиною,
То отчего у созданій живыхъ происходитъ свобода?
Гдѣ же источникъ, спрошу, отъ судьбы не зависящей воли
Вслѣдствіе коей идемъ мы туда, куда тянетъ охота?
Не сообразно со временемъ мы измѣняемъ движеніе,
Не по условіямъ мѣста, а по указанью разсудка.
Ибо сомнѣнія нѣтъ, что толчокъ здѣсь даетъ наша воля,
И изъ нея лишь во всѣ наши члены исходитъ движеніе“.

(Пер. И. Рачинскаго.)

Лукрецій поясняетъ это положеніе примѣромъ скакуновъ, которые съ трудомъ могутъ дожидаться того момента, когда опустятъ загородку и они смогутъ кинуться на арену. Конечно, силы, превышающія силы человѣка, могутъ противъ его воли сдвинуть его, но въ концѣ концовъ все же побѣждаетъ воля:

Дѣло другое, когда мы подвержены вѣншимъ вліяніямъ
Силой стороннею и принужденіемъ властнымъ влекомы.
Иско, что въ случаѣ томъ существо всего нашего тѣла
Движется недобровольно, насильно, отъ насъ не завися,
До той поры пока поля вновь членами не овладѣетъ,
Значитъ и въ случаѣ томъ, когда вѣншія сила насъ гонитъ,
И побуждаетъ порою насъ къ недобровольнымъ поступкамъ,
Прочь отвлекая отъ дѣли, живегъ въ нашемъ сердцѣ однако
Нѣчто такое, что можетъ бороться, противиться силѣ;
Нѣчто такое, чѣму повелѣнью должны подчиняться.
Вся совокупность частицъ въ нашемъ тѣлѣ, въ суставахъ и членахъ,
Чтобъ, подкрѣпившись, онѣ возвратились опять къ равновѣсью.
А потому мы должны признавать, что въ движеніи зачатковѣ
Кромѣ толчковъ или тяжести есть и иная причина,
Именно та, отъ которой была врождена намъ свобода,
(Такъ какъ вѣдь изъ ничего ничего не могло бы возникнуть).

Тяжесть препятствуетъ, чтобъ отъ толчковъ все возникло,
Будто отъ вѣшнихъ причинъ, небольшой жъ пути уклоненья
Тѣлесъ въ различныхъ мѣстахъ и въ неопредѣленное время
Служать къ тому, чтобы не могъ быть разсудокъ нашъ связанъ
Необходимостью опредѣленной при каждомъ поступкѣ
И не былъ вынужденъ все выносить и покорно терпѣть все.

(Пер. *И. Рачинскаго*).

Такъ говорить Лукрецій. Слабость его аргументаціи особенно рѣзко выступаетъ именно благодаря его старанію скрыть эту слабость: тѣла должны падать въ пустомъ пространствѣ въ вертикальномъ направленіи, и съ другой стороны, они не должны падать изъ вертикальномъ направленіи. Но въ этой физической неослѣдовательности въ дѣйствительности кроется философская послѣдовательность, и Маркъ мѣтко указываетъ, что черезъ всю эпикурейскую философію проходитъ тотъ законъ уклоненія, который выражается въ отклоненіи атома. Именно то, что онъ говоритъ о богахъ Эпикура, находящихъ въ такомъ, очевидно, рѣзкомъ противорѣчіи съ безбожіемъ этого философа, такъ же вѣрно, какъ и красиво выражено; эти боги имѣютъ эстетическое происхожденіе, но не религіозное.

Это, такъ сказать, нечувственное отклоненіе ведетъ къ отталкиванію, къ столкновенію и отскакиванію атомовъ, и въ этомъ осуществляется понятіе атома: отталкиваніе есть первая форма абстрактно-единичнаго самосознанія и выстѣпъ съ тѣмъ вызываетъ то вихревое движеніе, изъ котораго происходятъ міры. Заключение этой главы, гласящее, что Эпикуръ пріятель и богѣ конкретныя формы отталкиванія, — въ политикѣ договоръ, въ социальной жизни дружбу, Маркъ прибавилъ собственно-ручно, очевидно, съ намѣреніемъ еще лучше его обосновать, на что указываетъ намѣченное, по невыполненію примѣчаніе. Деллеръ говоритъ объ этомъ пунктѣ: «Какъ высшую форму человѣческаго общежитія Эпикуръ разсматриваетъ дружбу, и это также характерно для системы, выходящей изъ атомистическаго разсмотрѣнія индивидуума; такая система послѣдовательно будетъ придавать больше значенія свободно избранному, образовавшемуся по индивидуальному влеченію союзу съ другими, нежели такому союзу, въ которомъ человѣкъ оказывается предъ всѣми членомъ естественнаго или исторически образовавшагося цѣлаго». Точно такъ же и Маркъ полагъ «богѣ конкретныя формы отталкиванія»; очевидно, что то, что въ этомъ отношеніи сказано о дружбѣ, въ равной мѣрѣ относится и къ договору.

Качества атома. По Демокриту, атомы не имѣютъ начала, не имѣютъ конца и однородны по своей субстанціи. Но чтобы объяснить разнообразіе вещей, происшедшихъ изъ атомовъ, Демокритъ придалъ имъ свойства формы и величины. Въ этомъ Гегель, видѣлъ уже «непослѣдовательность» однако онъ прибавляетъ, что для Демокрита дѣло идетъ о вѣшнихъ связяхъ и безразличныхъ опредѣленіяхъ, то-есть о несущественныхъ отношеніяхъ, которыя касаются природы самой вещи и ея имманентной опредѣленности, ихъ единство образуетъ нѣчто другое. Гегель ссылается уже на то мѣсто изъ Аристотеля, на основаніи котораго Маркъ доказываетъ, что для Демокрита въ свойствахъ, которыя онъ придавалъ

атомамъ, важны были только гипотетическія опредѣленія для объясненія міра явленій. Эпикуръ же, которому важно понятие атома, долженъ былъ глубже понять это противорѣчіе. Чтобы быть въ состояніи создать разнообразный міръ явленій, атомы должны отличаться свойствами, но атомъ, какъ абстрактная единственность, подобенъ самому себѣ и не можетъ имѣть никакихъ свойствъ. Эпикуръ выпутывается такимъ образомъ, что онъ надѣляетъ атомъ въ качествѣ свойствъ формой и величиной, полагающимися ему какъ «вещи въ себѣ», но вмѣстѣ съ тѣмъ въ принципѣ опять таки отрицаетъ форму и величину, признавая у атомовъ только нѣкоторыя измѣненія величины и формы.

Гораздо болѣе сложной представляется тяжесть атомовъ. Древніе не знали закона тяготѣнія, и вотъ что говоритъ Целлеръ по этому поводу: «Не подлежитъ сомнѣнію, что не Эпикуръ первый, но уже Демокритъ и Левкиппъ надѣляли атомы тяжестью и считали ихъ вѣсъ пропорціональнымъ ихъ величинѣ, какъ этого требовали всѣ предпосылки ихъ теорій. Но подъ тяжестью въ древности никто не понималъ ничего иного, кромѣ тѣхъ свойствъ тѣлъ, въ силу которыхъ они движутся внизъ, если имъ въ этомъ не мѣшаетъ какое-нибудь внѣшнее препятствіе». И въ самомъ дѣлѣ, когда Марксъ говорить, что тяжесть атомовъ была для Демокрита сама собою понятна, такъ какъ все вещественное тяжело, то Демокритъ все же понималъ уже тяжесть какъ различный вѣсъ, такъ какъ по его теоріи большіе атомы падаютъ быстрѣе меньшихъ. Правильный и по внѣшности вполне согласный съ современной физикой взглядъ Эпикура, по которому атомы, хотя и не равны по вѣсу, въ пустомъ пространствѣ падаютъ съ одинаковой скоростью, Альбертъ Ланге и другіе выводятъ изъ Аристотеля, о которомъ Марксъ въ данномъ случаѣ не упоминаетъ. Наоборотъ, изъ хода идей эпикурейской натурфилософіи онъ выводитъ, что опредѣленіе вѣса должно отпасть тамъ, гдѣ мы представляемъ себѣ атомы только въ отношеніи къ пустому пространству, и что тяжесть какъ различный вѣсъ у нихъ появляется при отталкиваніи и соединеніяхъ, возникающихъ изъ отталкиванія.

Здѣсь предъ нами такой же случай, какъ въ гераклитовскомъ сгораніи міра. Возможно, что Эпикуръ заимствовалъ свой взглядъ объ одинаково быстромъ паденіи неодинаково тяжелыхъ тѣлъ у Аристотеля, но въ такомъ случаѣ Марксъ сумѣлъ вывести болѣе ясныя заключенія изъ эпикурейскаго основнаго принципа, чѣмъ Эпикуръ самъ.

Атомъ *αρχή* (начала) и атомъ *στοιχεῖα* (стихіи). И въ этой главѣ Марксъ, вѣроятно, лучше продумалъ эпикурейскую натурфилософію, чѣмъ ее основатель. Онъ самъ допускаетъ, что Эпикуръ или его любимый ученикъ Митродоръ могъ дѣлать различіе между атомами какъ *αρχή* (начала) и *στοιχεῖα* (стихіи), но онъ приписываетъ это различіе субъективному способу атомистическаго сознанія, которое свойственно было Эпикуру. Здѣсь имѣть надобности подробнѣе вдаваться въ полемику противъ Шаубаха. Ясно, что эпикурейская натурфилософія совершенно вѣсла бы въ воздухъ, если бы она предположила два различныхъ вида атомовъ. Эпикуръ борется съ противорѣчіемъ своей философіи, когда онъ дѣлаетъ различіе

между атомомъ, какъ *ατομή*, какъ формальнымъ принципомъ самосознания, и атомомъ, какъ *στούχου*, какъ матеріальнымъ субстратомъ міра явленій, но противорѣчіе происходитъ именно изъ того, что для него одинъ и тотъ же атомъ долженъ представлять и то и другое; допусти онъ существованіе двухъ отдѣльныхъ видовъ атомовъ, тогда онъ хотя и устранилъ бы противорѣчіе, но вмѣстѣ съ нимъ и всю свою философію.

Время. У Эпикура въ его пониманіи природы чувственное созерцаніе есть единственный критерій истины. Солнце для него имѣетъ два фута величины, такъ какъ такимъ оно кажется человѣческому глазу. Задача этой главы заключается въ томъ, чтобы найти философскій смыслъ въ этой съ физической точки зрѣнія бессмыслицѣ. Марксъ находитъ его въ ученіи Эпикура о времени, какъ абсолютной формѣ явленій. Время для Эпикура есть вѣчная смѣна міра явленій, какъ это Лукрецій высказываетъ въ стихахъ:

Время же не существуетъ само по себѣ, но въ предметахъ
Мы его чувствуемъ всѣ, когда въ прошломъ случилось что-либо,
Нынѣ ли что происходитъ или въ будущемъ слѣдовать будетъ.
И никого еще не было, кто могъ бы разсматривать время
Вплоть его связи съ движеніемъ тѣлъ и ихъ сладкимъ покоемъ.

(Пер. П. Рачинскаго.)

Время есть движеніе вещей, которое можетъ быть постигнуто человѣческими чувствами. О немъ можно только сказать, что его слѣдуетъ опредѣлять эмпирически, очевидностью. Чувственность человѣка есть воплощенное время.

И оная точка зрѣнія Эпикура вытекаетъ изъ противорѣчія между формой и матеріей. Если основаніе конкретной природы, атомъ, можетъ быть постигнуто только разумомъ, то сама конкретная природа можетъ быть постигнута только человѣческими чувствами, въ которыхъ зажигаются процессы природы и устремляются къ свѣту явленій. Время раздѣляетъ и связываетъ въ одно и то же время міръ сущности съ міромъ явленій; исключенное изъ одного, оно становится въ другомъ абсолютной формой, оно, какъ говоритъ Марксъ въ великолѣпномъ сравненіи, огонь бытія, вѣчно пожирающій явленіе и палагающій на него печать зависимости и несущественности. Если такимъ образомъ чувственности воспріятія, какъ воплощенное время, составляютъ единственный критерій міра явленій, то они вмѣстѣ съ тѣмъ пожираютъ этотъ міръ, палагаютъ на него печать зависимости и недействительности, однимъ словомъ, не уничтожаютъ противорѣчія между явленіемъ и сущностью, но доводятъ его до того безгранично-произвольнаго объясненія физическихъ явленій, благодаря которому эпикурейская философія подвергалась столькимъ насмѣшкамъ.

Метеоры. Всѣ противорѣчія эпикурейской натурфилософій разрѣшаются въ небесныхъ тѣлахъ, но объ ихъ общее и вѣчное существованіе разбивается принципъ абстрактно-единичнаго самосознания. И вотъ послѣдній отбрасываетъ всякую замаскированность, а Эпикуръ какъ величайшій греческій просвѣтителъ, борется противъ религіи, которая своимъ грознымъ взглядомъ съ высоты небесъ пугаетъ смертныхъ. И этимъ

именно просвѣтителемъ и заинтересовался такъ глубоко молодой Марксъ. Впрочемъ то, что онъ говоритъ о небесномъ культѣ греческихъ философовъ, вскорѣ послѣ этого высказалъ также и Людвигъ Фейербахъ въ своей «Сущности христіанства»; Фейербахъ также ссылаясь на изреченіе Анаксагора, что человѣкъ рожденъ для созерцанія солнца, луны и неба.

Изъ тѣхъ трехъ примѣчаній, которыя я присоединилъ къ тексту въ видѣ «отрывковъ», два первыхъ относятся къ четвертому отдѣлу первой части. Теперь невозможно установить ихъ болѣе близкую связь, впрочемъ они сами по себѣ довольно понятны. Первое бичуетъ «моральное наслажденіе фантазированіемъ» въ исторіографіи на яркомъ примѣрѣ, второе же наглядно рисуетъ процессъ разложенія гегелевской философіи, впрочемъ, только съ формальной его стороны. Марксъ не видитъ еще матеріальныхъ движущихъ пружинъ этого процесса, но относитъ его къ психологическому закону, по которому освободившійся въ самомъ себѣ теоретическій умъ превращается въ практическую энергію. То, что онъ говоритъ о «массѣ подчиненныхъ, лишенныхъ индивидуальности образованій», мѣтитъ въ философіи системы, расплывшіяся въ то время вокругъ гегелевской философіи, въ подчиненныя школы Гербарта или Краузе, въ философовъ въ родѣ младшаго Фихте въ Бонаѣ, съ которыми приходилось имѣть дѣло другу Бауеру, Браниса въ Бреславлѣ, Фшнера въ Тюбингенѣ; они по методу были гегельянцами, но въ сущности вертѣлись около гегелевской философіи, чтобы пользоваться славой самостоятельныхъ оригинальныхъ философовъ; или же мѣтило въ совершенно лишенныхъ индивидуальности почитателей Аристотеля, какъ Тренделенбургъ въ Берлинѣ, съ которыми Марксъ хотѣлъ основательно разсчитаться, судя по письмамъ Бауера и Кёппена. По адресу Тренделенбурга направлены преимущественно сдѣланные сравненія, которыми Марксъ характеризуетъ «философовъ волосъ, ногтей, пальцевъ и экскрементовъ». Въ этомъ онъ проявилъ замѣчательную принципиальность, такъ какъ Тренделенбургъ приобрѣлъ роковое вліяніе на прусскіе университеты; этотъ аристотеликъ проповѣдовалъ еще двадцать лѣтъ спустя, въ своемъ «Естественномъ правѣ на началахъ этики», крестовый походъ противъ революціи съ такимъ фанатизмомъ, которому могъ бы позавидовать ограниченный ость-эльбскій юнкеръ.

Третье примѣчаніе относится къ приложенію къ диссертациі, отъ котораго, къ сожалѣнію, ничего не сохранилось. Оно написано самимъ Марксомъ. Его рѣзкое выступленіе противъ обращеннаго Шеллнга и то, что онъ говоритъ о доказательствахъ существованія Бога, ясно показываютъ, какъ Марксъ былъ далекъ отъ какихъ-либо уступокъ въ своихъ философскихъ взглядахъ господствующимъ теченіямъ. Онъ неправъ, напротивъ, когда думаетъ, что Кантъ могъ скорѣе подкрѣпить онтологическое доказательство существованія Бога, нежели опровергнуть его. Что онъ справедливо выставляетъ противъ Канта, это тотъ принципъ историческаго развитія, который можетъ понять господство Молоха и Аполлона Дельфійскаго, хотя бы никогда и не существовало ни Молоха, ни Аполлона Дельфійскаго, это тотъ могучій шагъ впередъ, сдѣланный Гегелемъ по сравненію съ Кантомъ, который дѣлаетъ столь безнадежнымъ всякое возвращеніе къ

Канту. Но насколько болѣе основательно Марксъ опровергаетъ онтологическое доказательство существованія Бога, настолько онъ все же не дооцѣниваетъ способа доказательства Канта.

Онтологическое доказательство выводитъ изъ понятія высшаго существа его бытіе, полагая, что если бы такового не было, было бы мыслимо еще болѣе высшее существо. Противъ этого Кантъ возражалъ, что бытіе не есть реальное сказуемое, не есть понятіе о чемъ-то, прибавляемое къ понятію предмета, это просто наличность предмета со всѣми его сказуемыми. Сто дѣйствительныхъ талеровъ нисколько не содержатъ въ представленіи больше, чѣмъ сто возможныхъ талеровъ. Мое состояніе при ста дѣйствительныхъ талерахъ больше, чѣмъ при ста возможныхъ, но это существованіе внѣ понятія нисколько не увеличиваетъ содержанія мыслимыхъ ста талеровъ. Точно такъ же можно мыслить высшее существо безъ необходимости его существованія. Соответственно съ этимъ Кантъ заключилъ, что желаніе выковать изъ совершенно произвольно набросанной идеи существованіе соответствующаго ей предмета было бы чѣмъ-то неестественнымъ, повтореніемъ школьной остроты. На знаменитомъ онтологическомъ доказательствѣ слѣдуетъ поставить крестъ.

Это доказательство Канта, несомнѣнно, совершенно недостаточно для объясненія господства боговъ въ исторіи, но для «страны разума», о которой говоритъ Марксъ, его вполне достаточно. Очевидно, что его доказательность нисколько не уменьшилась бы, если бы Кантъ вмѣсто ста талеровъ взялъ для примѣра сто яблокъ или сто зубочистокъ. Но Марксъ, останавливаясь на специфической функціи денегъ, о которой Кантъ не думалъ и о которой ему незачѣмъ было думать, дѣлаетъ непозволительный скачекъ въ сторону и спрашиваетъ: «Существуетъ ли дѣйствительный талеръ еще гдѣ-нибудь, кромѣ представленій, хотя бы и въ общемъ или вѣрнѣе общественномъ представленіи людей. Привези бумажныя деньги въ страну, гдѣ не знаютъ этого употребленія бумаги, и тебѣ докажутъ, что ты страдаешь галлюцинаціями и абстракціями». При этомъ Марксъ самъ впадаетъ въ ту же ошибку, которую онъ потомъ исправилъ у Лассалья. Лассаль утверждаетъ въ своей книгѣ о Гераклитѣ, что деньги, какъ нереальная абстрактная идея цѣнности, совсѣмъ и не должны имѣть никакой реальности въ себѣ, то-есть не должны состоять изъ имѣющаго цѣнность вещества, но съ такимъ же успѣхомъ могутъ быть и бумажными деньгами, и что тогда именно онѣ наиболѣе соответствуютъ своему понятію. Къ этому Марксъ сдѣлалъ примѣчаніе, что Лассаль неправильно понимаетъ деньги только какъ простой знакъ цѣнности; но то же самое можно противопоставить и его полемикѣ противъ Канта, поскольку она желаетъ не только углубить доводы Канта противъ онтологическаго доказательства, но и представить ихъ самимъ уязвимыми. Своимъ собственнымъ опроверженіемъ онтологическаго доказательства Марксъ опять превосходитъ положеніе Фейербаха, который въ «Сущности Христіанства» пишетъ: «Различныя доказательства [бытія Бога] представляютъ не что иное, какъ различныя, въ высшей степени интересныя формы самоутвержденія чловѣческаго бытія».

Въ заключеніе можно еще упомянуть, что среди немногихъ примѣчаній къ приложенію къ диссертациі, которыя вообще содержатъ только цитаты изъ Плутарха, находится также и цитата изъ «Системы природы» Гольбаха. Такъ мы читаемъ, что идея боговъ всегда была связана съ идеей страха. Если основывать мораль на далеко не моральномъ характерѣ капризнаго бога, то человѣкъ никогда не могъ бы знать, чего ему придерживаться въ своихъ обязанностяхъ по отношенію къ богу или къ самому себѣ или къ своимъ ближнимъ. «Не было, слѣдовательно, ничего болѣе опаснаго, чѣмъ убѣдить его, что есть существо стоящее выше природы, предъ которымъ разумъ долженъ молчать и которому нужно всѣмъ жертвовать, чтобы быть счастливымъ». Очевидно Марксъ ссылался на это мѣсто, соглашаясь съ нимъ, но изъ этого, конечно, нельзя выводить никакихъ заключеній о тогдашнемъ отношеніи его къ французскому материализму вообще.

II

ИЗЪ АНЕКДОТОВЪ

О НОВЪЙШЕЙ

НѢМЕЦКОЙ ФИЛОСОФІИ И ПУБЛИЦИСТИКѢ.

ВВЕДЕНИЕ.

Въ мартѣ 1841 года Карлъ Маркъ закончилъ свою докторскую диссертацию, которую онъ думалъ принять участіе въ философскомъ освобожденіи нѣмецкаго духа. Въ мартѣ 1843 года закрылась для него всякая возможность работать на нѣмецкой почвѣ въ пользу народнаго освобожденія.

Въ 1841 г. онъ переселился въ Боннъ, чтобы здѣсь убѣдиться на судьбѣ своего друга Бруно Бауера, что въ германскихъ государствахъ уничтожена всякая свобода философскаго мышленія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ для него открылась возможность, или по крайней мѣрѣ ему такъ казалось, плодотворной борьбы на такомъ поприщѣ, куда умственное развитіе и безъ того влекло молодыхъ гегелианцевъ.

Съ восшествіемъ на престолъ Фридриха Вильгельма IV и съ кризисомъ въ восточномъ вопросѣ, который грозилъ вызвать чуть не европейскую войну, накопившая въ продолженіе тридцатыхъ годовъ сила молодой буржуазіи получила могучій толчокъ къ выступленію на общественную арену. Эта молодая буржуазія требовала отъ поваго короля политическихъ правъ, прежде всего свободы дѣйствій для пропаганды своихъ интересовъ въ парламентахъ и въ прессѣ. Въ глубинѣ души королю были ненавистны эти требованія, такъ какъ онъ носился съ романтическими мечтами— ему грезилась феодально-средневѣковая организація государства; но все же у него съ буржуазной оппозиціей была одна точка соприкосновенія: полное отвращеніе къ несносной и неспособной бюрократіи, господствовавшей при его отцѣ. При всемъ своемъ романтизмѣ король былъ слишкомъ уменъ, чтобы не видѣть, что въ такой безнадежной формѣ управленіе дальше идти не можетъ. Господствовавшая въ политическихъ вопросахъ неясность все еще была достаточно велика, чтобы на нѣкоторое время замаскировать тотъ фактъ, что король и буржуазія представляютъ себѣ совершенно различныя вещи подъ «развитіемъ сословныхъ учреждений» и «закононой свободой печати», которыхъ требовали обѣ стороны. Нѣкоторое время шла борьба, наконецъ, король одержалъ побѣду Пивра. Буржуазія не сумѣла подчинить его волю своимъ требованіямъ, но его романтическія грезы навсегда разблудились о трезвую дѣйствительность. Такимъ образомъ осталось несносное безнадежное бюрократическое хозяйничанье, которое въ концѣ-концовъ

сумѣло вдолбить въ голову даже нѣмецкому филистеру необходимость насильственной революціи.

Въ этомъ прогрессивномъ стремленіи буржуазнаго класса Карлъ Марксъ принималъ дѣятельное участіе. Проясняя умы и пробуждая ихъ отъ сна, онъ защищалъ свободу печати и народное представительство съ неслыханнымъ до тѣхъ поръ въ политической литературѣ Германіи краснорѣчіемъ, сочетая въ своихъ статьяхъ глубину и ясность мысли съ блескомъ формы. Мы поймемъ значеніе этихъ работъ, если приемотримся, въ какомъ положеніи находились тогда парламентъ и печать въ Пруссіи.

I. Пруссіе провинціальныя ландтаги.

Послѣ побѣды, одержанной европейской реакціей надъ наслѣдникомъ французской революціи, съ народами, одержавшими эту побѣду, сыграли, какъ извѣстно, дурную шутку; но хуже всего пришлось нѣмецкому народу отъ его трехъ дюжницъ князей. Германскій Союзный актъ, хотя и обѣщаль въ своемъ параграфѣ 13 введеніе земскихъ чиновъ, а въ параграфѣ 18—единообразныя постановленія о свободѣ печати, но обѣщанія эти не вмѣли даже цѣны той бумаги, на которой они были напечатаны; уже въ 1819 году карсбадскія постановленія ввели цензуру вмѣсто обѣщанной свободы печати.

Параграфъ 13 Союзнаго акта не былъ, правда, такъ безперомонно отмѣненъ, какъ параграфъ 18; но случилось это лишь благодаря тому, что вопросъ о представительныхъ сословныхъ учрежденіяхъ былъ сопряженъ съ особыми затрудненіями.

Трейтчке справедливо замѣчаетъ въ своей «Исторіи Германіи», что кабинеты южно-германскихъ государствъ примирились съ представительной системою во время неурядицы на Вѣнскомъ конгрессѣ «пзъ самыхъ низменныхъ побужденій, пзъ сувереннаго чванства и партикуляристскаго страха предъ вмѣшательствомъ союзныхъ войскъ». И въ самомъ дѣлѣ, князья этихъ государствъ постарались быстрымъ дарованіемъ конституцій укрѣпить свои колеблющіяся троны, остроумно рѣшивъ про себя использовать свои либеральныя камеры противъ реакціоннаго сейма, а реакціонный сеймъ—противъ своихъ либеральныхъ камеръ. Таковъ и былъ южно-германскій конституціонализмъ. Весьма хорошо извѣстно, какъ велъ себя его геромъ въ революціонномъ движеніи 1848 года.

Но Трейтчке долженъ былъ бы прибавить, что и прусскій король вовсе не пзъ благородныхъ мотивовъ далъ 22 мая 1815 г. свое обѣщаніе конституціи, которое къ тому же своимъ неяснымъ выраженіямъ очень невыгодно отличалось отъ южно-германскихъ конституцій. Отчасти онъ не желалъ дать наполеоновскимъ королямъ слишкомъ превзойти себя; отчасти нужно было снова нѣсколько оживить энтузіазмъ съ «Богомъ за короля и отечество», который сильно поостылъ за время печальныхъ переговоровъ на Вѣнскомъ конгрессѣ, тѣмъ болѣе, что нельзя было предвидѣть, что борьба противъ вернушагося съ Эльбы Наполеона такъ скоро кончится; отчасти же и главнымъ образомъ надо было рѣшительно поднять

финансовый и моральный кредит прусскаго государства, которому предстояло поглотить теперь цѣлую массу крайне недовольныхъ этимъ мелкимъ княжествъ. Лишь благодаря этой жестокой необходимости, прусское правительство, только за четверть года передъ тѣмъ задушившее свободу печати, дало прочную опору требованію парламентарнаго представительства. Въ приказѣ отъ 17 января 1820 года объ отношеніи въ будущемъ ко всѣмъ государственнымъ долгамъ Фридрихъ Вильгельмъ III объявлялъ счетъ государственнаго долга закрытымъ навсегда и обязался передъ государственнымъ кредиторамъ, что новые займы будутъ заключаться «только при участіи и гарантіи будущаго собранія государственныхъ чиновъ». Огромный для бѣдной страны долгъ въ 217 милліоновъ талеровъ и низкій курсъ прусскихъ государственныхъ бумагъ, котировавшихся на нѣмецкихъ биржахъ въ 66, смирили королевскую спесь.

Такимъ образомъ обѣщаніе короля о дарованіи конституціи не могло быть прямо уничтожено какъ простая бумажка для зажиганія огня, и теперь приходилось разумъ превратить въ нецѣпность, благодѣяніе—въ бичъ. А въ рѣшеніи такой задачи прусское государство съ давнихъ поръ отличалось неподражаемымъ искусствомъ. И дѣйствительно, южно-германскія палаты въ сравненіи съ восемью прусскими провинціальными ландтагами, учрежденными въ 1823 и 1824 г., были истинными образцами современнаго парламентаризма. Созывать ихъ или не созывать вполнѣ зависѣло отъ усмотрѣнія правительства, и въ случаѣ ихъ созыва отъ него же зависѣло опредѣленіе продолжительности ихъ засѣданій. Засѣданія ландтаговъ происходили при закрытыхъ дверяхъ подъ руководствомъ назначеннаго отъ правительства маршала, который имѣлъ право прекратить всякіе несприятные дебаты. Ландтаги имѣли только совѣщательный голосъ въ обсужденіи предложеній, которыя правительство находило нужнымъ вносить въ нихъ. Кромѣ того они имѣли право петицій и жалобъ, право же принимать рѣшенія они имѣли только въ «коммунальныхъ» дѣлахъ ихъ провинцій, въ мелкихъ дѣлахъ провинціального управленія, въ учрежденіи пріютовъ для бѣдныхъ, смирительныхъ и исправительныхъ домовъ, учрежденій для душевнобольныхъ, для глухо-нѣмыхъ и т. п.

По своему составу они вполнѣ стояли на высотѣ своихъ правъ. Земле-владѣніе составляло непремѣнное условіе допущенія въ члены, причемъ дворяне должны были доставлять половину, горожане—третью часть, а крестьяне—одну шестую часть членовъ. Во всей своей прелести этотъ принципъ могъ быть проведенъ, конечно, только въ отсталыхъ провинціяхъ, въ Бранденбургѣ и Помераніи. Вообще же даже и дореволюціонная Пруссія должна была сдѣлать нѣкоторыя уступки современному духу времени, въ особенности въ западныхъ провинціяхъ. Но все же дворянство обладало болѣе нежели одной третью голосовъ, такъ что противъ его воли нельзя было ничего провести, ибо рѣшенія должны были приниматься большинствомъ двухъ третей голосовъ. Особенно тщательно эти ландтаги ограждены были отъ всякаго вторженія буржуазной интеллигенціи. Городская земельная собственность должна была въ теченіе десяти лѣтъ находиться въ однихъ и тѣхъ же рукахъ, чтобы давать право быть избран-

нымъ, а когда выборъ падалъ на городского чиновника, то правительство могло его нассировать. Изъ 584 голосовъ восьми ландтаговъ 278 прихотлись на родовыхъ и жалованныхъ дворянъ, 182—на горожанъ и 124—на крестьянъ.

Вильгельмъ фонъ-Гумбольтъ предсказалъ политическую негодность этихъ учреждений еще тогда, когда они только что были созданы, а послѣ того какъ они при старомъ королѣ собирались пять разъ въ теченіе семнадцати лѣтъ, Иоганнъ Якоби писалъ о нихъ: «Едва ли можно найти институтъ, который пользовался бы меньшей популярностью, который народный здравый смыслъ считалъ бы болѣе бесполезнымъ бременемъ, чѣмъ провинціальныя ландтаги. Намъ охотно избавить отъ труда приводить доказательства изъ рѣшеній ландтаговъ, что между всѣми рѣшенными тамъ вопросами нѣтъ ни одного, который имѣлъ бы общій интересъ, что тамъ не было прекращено ни одно болѣе или менѣе значительное злоупотребленіе, что тамъ не встрѣталъ отпора ни одинъ фактъ чиновничьяго произвола и что вся дѣятельность многочисленныхъ сессій ограничивалась учрежденіемъ смирительныхъ и несправительныхъ домовъ, заведеній для глухонѣмыхъ, умалишенныхъ, страхованія отъ огня, изданіемъ законовъ о новыхъ улицахъ, дорогахъ, налогами на собакъ и т. п., т.-е. предметамъ, которые были по большей части предложены самимъ правительствомъ и такъ же хорошо могли бы быть выполнены провинціальными властями при участіи нѣсколькихъ спеціалистовъ». Нигдѣ и никогда представительная система XIX столѣтія не имѣла болѣе жалкаго вида, чѣмъ въ этихъ ландтагахъ, и тѣмъ не менѣе домартовскій деспотизмъ испытывалъ предъ ними жестокой страхъ. Послѣ того какъ въ 1837 году возникли въ Кёльнѣ и Познани епископскіе беспорядки, провинціальныя ландтаги больше не созывались.

Такимъ образомъ со вступленіемъ на престолъ Фридриха Вильгельма IV и съ властнымъ требованіемъ вновь пробудившейся жизни буржуазныхъ классовъ вопросъ этотъ вновь долженъ былъ выплыть. Когда въ Кёнигсбергѣ были созваны для присяги сословія Восточной Пруссіи и спрошены по старинной формулѣ, желаютъ ли они подтвержденію а своихъ привилегій, они отказались отъ «мало подвижнаго благодаря устарѣлымъ формамъ представительства отдѣльныхъ и привилегированныхъ сословій» и просили о «представительствѣ всей Пруссіи», объ исполненіи королевскаго обѣщанія 22 мая 1815 года. Такъ какъ просьба эта была выражена въ очень почтительной формѣ, то она не встрѣтила у короля неблагоприятнаго приѣма. Обѣщаніе его отца давало только совѣтательное народное представительство, избранное изъ провинціальныя чиновъ, составъ котораго всецѣло зависѣлъ отъ короля, равно какъ и писанную грамоту о конституціи, форму и содержаніе которой король также могъ установить собственной властью. Фридрихъ Вильгельмъ IV уже тогда носился съ мыслью, которую онъ впоследствии привелъ въ исполненіе,—соединить восемь провинціальныя ландтаговъ въ одинъ Соединенный Ландтагъ,—въ феодально-сословное учрежденіе, какъ оно рисовалось его романтической фантазіи.

Но страх домартовскаго деспотизма передъ всякой формой народнаго движенія вскорѣ опять охватилъ его. Пробуждающееся самосознаніе буржуазныхъ классовъ толковало указъ короля отъ 22 мая 1815 г. такимъ образомъ, что видѣло въ немъ залогъ «гражданской свободы», о которой дѣйствительно была рѣчь въ его мотивировкѣ,—объщаніе народнаго представительства, распространяющагося равномѣрно на всѣ классы. Вполнѣ понятно, поэтому, было опасеніе, что общій ландтагъ, даже если онъ сначала соберется въ феодально-сословной формѣ, вскорѣ приобрететъ роковую для короны силу. Финансовая нужда не была еще такой гнетущей, чтобы побудить короля на этотъ обоюдоострый экспериментъ, и онъ поспѣшилъ по возвращеніи въ Берлинъ, гдѣ онъ опять очутился подъ влияніемъ крайнихъ консерваторовъ, разъяснить въ дополненіе къ благо-склонному приему, опасанному имъ просьбѣ прусскаго ландтага при вѣрно-подданнической присягѣ, что онъ вовсе не думаетъ исполнить общанія своего отца.

Вскорѣ однако финансовая нужда стала давать себя чувствовать. Скрышническое хозяйничанье Фридриха Вильгельма III, которое само по себѣ было противно любящему роскошь наследнику его, не могло продолжаться и по другимъ причинамъ. Увеличившіяся потребности сообщенія и въ особенности постройка желѣзныхъ дорогъ, которой нельзя было болѣе откладывать, требовали новыхъ займовъ; и къ тому же романтическія потребности короля побуждали его нѣсколько оживить слишкомъ мертвые провинціальныя ландтаги. Такимъ образомъ онъ созвалъ ихъ всѣ весной 1841 г., расширивъ при этомъ до извѣстной степени ихъ права. Король обязался созывать ихъ каждыя два года. Онъ разрѣшалъ имъ опубликовывать свои протоколы, не называя однако именъ ораторовъ, и, наконецъ, устанавливалъ, чтобы они избирали комитеты для совѣщанія съ правительствомъ на то время, когда ландтаги не собираются: этими комитетами предполагалось надуть государственныхъ кредиторовъ и сдѣлать возможнымъ заключеніе новыхъ займовъ.

Прежде чѣмъ собрался ландтагъ, появился Четыре Вопросы и отвѣтъ на нихъ восточно-прусскаго жителя. Авторомъ ихъ призналъ себя впоследствии самому королю кѣнигсбергскій врачъ Іоаннъ Якоби. Въ противовѣсъ отвратительной каррикатурѣ, которую Трейтчке сдѣлалъ изъ знаменитой брошюры, нельзя достаточно рѣзко подчеркнуть, что она была безусловно умѣрена, спокойна, объективна, болѣе того, что она недостаточно защитила себя отъ феодальныхъ противниковъ, опираясь безъ всякихъ оговорокъ на указъ 22 мая 1815 года. Во всякомъ случаѣ Якоби рѣзко указалъ существовавшій конфликтъ. Если король безпрепятственно внушалъ провинціальнымъ ландтагамъ, что они представляютъ «нѣмецкія сословія въ старинномъ смыслѣ этого слова, то-есть, что они прежде всего и главнымъ образомъ охранители своихъ правъ, правъ сословій, и что они не должны понимать своего призванія въ томъ, что они народные представители», то Якоби не отрицалъ, что въ исторіи Германіи было довольно много такихъ ландтаговъ съ очень широкими свободами, задача которыхъ состояла въ защитѣ особыхъ правъ и привилегій замкнутыхъ сословій, но онъ полагалъ, что

было очень мало примѣровъ, чтобы эти сословія выступали на защиту обще-народнаго интереса, святой неприкосновенности отечества и славнаго единства его. Если уже иначе нельзя идти впередъ, какъ оглядывался назадъ, то не слѣдуетъ забывать, что въ Германіи принципъ всенароднаго представительства гораздо старше и ближе къ духу народа, чѣмъ принципъ феодально-сословнаго представительства. «Если насъ отсылаютъ къ прошедшему, то мы предпочитаемъ опереться на свободный вѣмецкій дубъ, чѣмъ откапывать историческіе корни средневѣковаго феодализма». Призывая провинціальныя ландтаги, послѣ отрицательнаго рѣшенія короля, требовать какъ доказаннаго права того, чего они до сихъ поръ просили какъ милости, онъ задѣлъ самую больную сторону домартовскаго деспотизма; и столь же ничтожно, какъ и характерно, то, что Фридрихъ Вильгельмъ IV отвѣтилъ процессомъ о государственной измѣнѣ и объ оскорбленіи величества на лояльное довѣріе, съ которымъ Якоби поставилъ свою статью подъ защиту короля.

Но провинціальныя ландтаги безусловно отказались послѣдовать призыву Якоби. Правда, засѣданія ихъ весной 1841 года были болѣе оживленны, интересъ къ нимъ населенія былъ живѣе, чѣмъ до сихъ поръ, они смѣлѣе выступали съ нѣкоторыми просьбами и желаніями, но стать выше себя эти ограниченныя представительства интересовъ не могли. Не говоря уже о померанскомъ и браденбургскомъ ландтагахъ, которые отказались даже опубликовать свои протоколы, прусскій ландтагъ отклонилъ обращенную къ нему петицію, покрытую многочисленными подписями, составленную въ духѣ Якоби, на томъ основаніи, что король вѣдь намѣренъ выработать сословную конституцію. Точно такъ же силезскій ландтагъ единогласно отклонилъ петицію о конституціи бреславльскаго городского управленія, предоставивъ мудрости короля рѣшить, должны ли, когда и какъ именно образомъ быть созваны нинерскіе чины, и эту мудрость вскорѣ послѣ этого признали и получившіе отказъ петиціонеры. Кѣппель по этому поводу писалъ Маркеу: «Его Величество Фридрихъ Вильгельмъ IV издалъ кабинетскій указъ къ бреславльскимъ гражданамъ, въ которомъ высказывается высочайшее желаніе, чтобы не было устроено никакого торжества въ случаѣ пріѣзда лѣтомъ Его Величества въ Бреславль, такъ какъ вышеназванные граждане поручили своимъ депутатамъ въ ландтагѣ поднять вопросъ о 22 мая 1815 г. Бреславльскіе граждане дадутъ, вѣроятно очень рабскій приниженный отвѣтъ». И такъ и случилось. Бруно Вауеръ писалъ Маркеу по поводу протоколовъ вестфальскаго ландтага:

«Протоколы постыдно глупы, и опубликованіе ихъ въ газетахъ почти навѣрное разсчитано на то, чтобы уничтожить послѣдній интересъ къ нимъ. Чортъ ихъ возьми съ ихъ довѣріемъ! Слѣдовало бы нагами вогнать ихъ обратно въ глотку ихъ жалкую болтовню». Въ вопросѣ о свободѣ печати всѣ ландтаги оказались столь же негодными, какъ и въ вопросѣ о конституціи. Самое большее, на что они осмѣлились, это на просьбу о болѣе мягкой цензурѣ, какъ то сдѣлали прусскій и рейнскій ландтаги.

Назки за ихъ «чисто дѣтское довѣріе», какъ Трейтчке называетъ ихъ недостойную покорность, не заставили себя долго ждать. Въ постановле-

ніяхъ ландтаговъ король вездѣ отвергъ ту чечевичную похлебку, которую они выпросили себѣ за свою измѣну праву первородства страны. Только просьбу о болѣе мягкой цензурѣ Фридрихъ Вильгельмъ милостиво уважилъ въ то самое время, когда онъ велѣлъ изгнать Руге изъ Галле въ Дрезденъ. «Ландтаги принесли намъ этотъ плодъ. Отсюда выводъ, что такъ думаетъ страна, философы же — «идеологи», которымъ надо надѣть намордники». Такъ раздраженный Руге объяснилъ разумное соглашеніе между «дѣтски довѣрчивыми» ландтагами и жаждущимъ свободы печати деспотомъ.

2. Прусская цензура.

Прусская цензура была такъ же стара, какъ прусское государство. Последбѣдняя острота стараго Фрица о нестѣсняющихся ничѣмъ газетахъ была только шуткой. Этотъ прусскій король, какъ и его предшественники, издалъ рядъ цензурныхъ эдиктовъ. Они были обновлены указомъ о цензурѣ Вельнера отъ 19 декабря 1788 г.; а этотъ въ свою очередь былъ обновленъ указомъ о цензурѣ отъ 18 октября 1819 года.

Этотъ указъ былъ результатомъ карлсбадскихъ постановленій и былъ обнародованъ одновременно съ ними въ прусскомъ собраніи законовъ; но мплой манерѣ этого короля божіей милостію онъ былъ датированъ днемъ шестой годовщины битвы при Лейпцигѣ. Уже въ Карлсбадѣ «государство ума» проявило больше свѣрѣности въ цензурномъ отношеніи, чѣмъ самъ Меттернихъ. Последній требовалъ только, чтобы журналы и всѣ періодическія изданія, содержація меньше пятнадцати листовъ, подвергались цензурѣ въ теченіе пяти ближайшихъ лѣтъ; прусскій же министръ Берншторфъ настаивалъ по точному приказу короля, чтобы въ Союзѣ отъ цензуры были освобождены лишь книги, содержація больше двадцати печатныхъ листовъ. Но и этимъ Фридрихъ Вильгельмъ «Справедливый» также былъ еще недоволенъ. Опубликовавъ постановленіе союза, состоявшее изъ десяти параграфовъ, онъ прибавилъ еще къ нему указъ о цензурѣ, состоящій изъ семнадцати параграфовъ, составленный по Вельперовскому образцу; этотъ указъ подчинилъ цензурѣ также произведенія, содержація больше двадцати печатныхъ листовъ, отбѣнялъ свободу отъ цензуры, которой до тѣхъ поръ пользовались университеты и академія наукъ, дѣлалъ выходъ газетъ и другихъ періодическихъ изданій, обсуждавшихъ вопросы религіи, политики, государственнаго управленія и современной исторіи, зависящимъ отъ усмотрѣнія завѣдующихъ цензурой министерствъ (иностранныхъ дѣлъ, внутреннихъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія и духовныхъ дѣлъ) и давалъ этимъ министерствамъ право закрывать такія газеты и періодическія изданія, если онѣ злоупотребляли дарованной имъ концессіей. Какъ и самыя карлсбадскія постановленія, указъ долженъ былъ имѣть силу лишь на ближайшія пять лѣтъ, но какъ тѣ, такъ и этотъ, отъ поры до времени возобновлялись до тѣхъ поръ, пока борцы на баррикадахъ въ Берлинѣ не покопчили со всѣмъ этимъ безобразіемъ.

Это лежитъ уже въ природѣ подлости, какою является цензура, что

она должна захлпнуть отъ своего же собственнаго яда. Въ наши дни мы на законѣ о социалистахъ видѣли, какъ онъ, послѣ судорожныхъ попытокъ уврѣдиться, постоянно снова ослабѣвалъ. Но признавать этотъ старый опытъ, совсѣмъ не значить находить смягчающія обстоятельства для подобныхъ насильственныхъ актовъ. И именно ихъ судорожно проявляющійся произволъ составляетъ ихъ самую ненавидѣнную сторону. Цензурныя постановленія стараго Фрица ослабѣли уже во время его управленія; затѣмъ постепенно пересталъ дѣйствовать вѣльнеровскій указъ о цензурѣ, и то же самое произошло и съ цензурнымъ уставомъ 18 октября 1819 г., именно со времени июльской революціи, внесшей свѣжую струю въ развитіе Европы. И вотъ, когда Фридрихъ Вильгельмъ IV вступилъ на престолъ, стали ждать что умный сынъ лучше будетъ уживаться со свободой печати, нежели ограниченный отецъ, и новый король былъ не прочь отъ этого, если бы только свобода печати могла осуществиться въ рамкахъ романтической фантазіи.

Но это имѣло свои непреодолимыя трудности, и вмѣсто свободы печати получилось сначала нѣчто совершенно иное. Въ июль 1841 года Фридрихъ Вильгельмъ IV вошелъ въ соглашеніе съ Меттернихомъ относительно продленія карлсбадскихъ постановленій, затѣмъ онъ изгналъ *Hallische Jahrbücher* изъ предѣловъ Пруссіи и убилъ въ лицѣ Бруно Бауера университетскую свободу преподаванія. Король не могъ даже рѣшиться вернуть утвержденнымъ въ должности университетскимъ профессорамъ традиционную свободу отъ цензуры, такъ какъ придворные озлобляли его ортодоксальную совѣсть инсинуаціями, что именно среди ученыхъ находится такъ много нехристіанскихъ радикаловъ. Новый министръ юстиціи Савиньи въ потѣ лица своего трудился надъ квадратурой круга, надъ свободой печати съ цензурой, не двигаясь съ мѣста, какъ это легко себѣ представить. Но такъ какъ что-нибудь нужно было сдѣлать, чтобы удовлетворить напряженнымъ ожиданіямъ населенія и романтическимъ фантазіямъ его величества, то 14 января 1842 г. появилась въ «*Allgemeine Preussische Staatszeitung*» инструкція къ уставу о цензурѣ, помѣченная 24 декабря 1841 г., въ которой король рѣшительно не одобрялъ всякаго несправедливаго стѣсненія литературной дѣятельности, признавалъ значеніе и потребность приличной и правдивой публицистики и предписывалъ цензорамъ исполнять надлежащимъ образомъ цензурный уставъ 18 октября 1819 г.

Эта инструкція еще разъ вызвала общую радость въ сильно уже разочарованномъ населеніи. Хотя нельзя было не видѣть, что она не содержитъ ничего, кромѣ пустыхъ словъ, и что возможное реальное содержаніе ея могло бы еще больше стѣснить печать, но утѣшались тѣмъ, что слова инструкціи все же допускали и благоприятное толкованіе. Людвигъ Буль, другъ Бруно Бауера, говорилъ въ статьѣ, написанной по поводу новаго цензурнаго устава: «Положительныя стороны новаго цензурнаго указа для насъ безразличны; наша единственная и послѣдняя гарантія заключается въ выраженномъ въ указѣ образѣ мыслей короля. Все зависѣтъ отъ того, какъ толковать правила, а это въ свою очередь зависѣтъ отъ высочай-

ней воля». Въ этомъ заключалась даже извѣстная печальная логика. Если король хотѣлъ дать печати большую свободу, то можно было ждать, что безхарактерные и трусливые цензора будутъ съ этимъ сообразовываться все равно, что бы ни было сказано въ цензурной инструкціи. Кто жилъ въ Пруссіи, не былъ избалованъ и видѣлъ уже, какъ Буль, «солнце высоко на небѣ» въ такое время, когда въ цивилизованныхъ странахъ видѣли бы въ лучшемъ случаѣ бѣдныя и двусмысленныя сумерки.

Только самый младшій изъ нѣмецкихъ литераторовъ по достоинству оцѣнилъ новую инструкцію. На ней Карлъ Маркъ заслужилъ свои публицистическія шпоры. Онъ хотѣлъ помѣстить свою статью въ *Deutsche Jahrbücher*, съ издателемъ котораго его познакомилъ Кёппель, но свѣтъ статья эта увидѣла лишь тогда, когда фактической ходъ вещей совершенно подтвердилъ его діагнозъ инструкціи. Въ то же самое время, когда прусскій деспотъ разыгрывалъ роль покровителя «приличной и правдивой публицистики», онъ старался давленіемъ на правительство въ Дрезденѣ прекратить существованіе *Deutsche Jahrbücher*, которые ускользали отъ его цензоровъ. 25 февраля 1842 г. Руге писалъ Марксу: «Дорогой другъ, одновременно съ полученіемъ вашей критики цензуры прусская цензура выступила активно противъ *Jahrbücher*. Вотъ уже недѣля, какъ цензоръ вычеркиваетъ наше «дурное направленіе». Вы можете себѣ представить, что изъ этого выходитъ. Ваша статья стала невозможной. Все, что напоминаетъ Бауера, Фейербаха и меня, не принимается. У меня такимъ образомъ имѣется коллекція прекрасныхъ пикантныхъ вещей, которыя могли бы нанести сильный ударъ цензурѣ. Разрѣшите ли вы присоединить и вашу статью къ другимъ, запрещеннымъ, для напечатанія въ Швейцаріи подъ заглавіемъ *Anecdote philosophica* Фейербаха, Бауера, Руге и другихъ,—если вы не позволите назвать вашего имени».

Письмо застало Маркса въ Трирѣ у смертнаго одра его тестя, умершаго 2 марта 1842 г. Такимъ образомъ статья задержалась. Руге постоянно напоминалъ объ окончаніи ея и вмѣстѣ съ тѣмъ высказывалъ желаніе имѣть еще другія статьи Маркса. «Безъ вашихъ статей у меня нѣтъ достаточно матеріала, а также нѣтъ интереса тѣхъ совершенно новыхъ боевыхъ силъ, съ которыми вы вступаете въ борьбу. Вы меня не должны такъ оставлять и по возможности скорѣе должны прислать статью, чтобы я могъ покончить съ этимъ дѣломъ». Еще 21 октября онъ оставлялъ для него свободное мѣсто въ *Анекдотахъ*, которые послѣ этого прекратились: литературная контора въ Цюрихѣ и Винтертурѣ, основанная Фрѣбелемъ, переняла ихъ изданіе. Руге спрашивалъ, имѣетъ ли еще Маркъ свободное время для другихъ работъ, кромѣ Рейнской газеты. «Меня это очень интересуетъ, хотя до сихъ поръ вы больше осчастливили меня надеждами, чѣмъ исполненіемъ ихъ, но я очень хорошо вижу, какъ много вы можете сдѣлать, если Вы за что нибудь принимаете». И этотъ сорокалѣтній человекъ признавалъ въ товарищѣ, который былъ моложе его на шестнадцать лѣтъ, мощно развивающуюся силу.

Больше одной статьи не появилось. Въ началѣ марта 1843 г. появи-

лись оба тома Анекдотовъ изъ новѣйшей нѣмецкой философіи и публицистики. Статья Маркса помѣщена второй въ первомъ томѣ. 19 марта 1843 г. Руге заплатилъ ему за нее 36 талеровъ 5 зильбергрошей гошорара. Въ Анекдотахъ старая гвардія Hallische и Deutsche Jahrbücher еще разъ выступила вѣстѣ: Фейербахъ, Кёппель, Бруно Бауеръ, самъ Руге, отчасти съ работами, которыя приобрѣли историческое значеніе, какъ, напр. Предварительныя положенія для реформы философіи Фейербаха. Марксъ не уступалъ никому изъ нихъ въ своей рѣзкой критикѣ цензуры, и когда онъ увидѣлъ въ печати своего литературнаго первенца, онъ могъ сказать себѣ, что онъ уже превзошелъ его болѣе зрѣлыми и болѣе глубокими работами.

«Анекдоты» были запрещены сейчасъ же послѣ своего появленія. Deutsche Jahrbücher уже больше не существовали, а Rheinische Zeitung истекала кровью отъ смертельнаго удара. Такъ скоро осуществились горькія слова римскаго историка, которыми Марксъ закончилъ свою статью о цензурѣ: «Рѣдки такія счастливыя эпохи, когда можно думать, что хочешь, и высказывать, что думаешь».

Замѣтки о новѣйшемъ прусскомъ цензурномъ уставѣ. Прирейнскаго жителя.

Мы не принадлежимъ къ недовольнымъ, которые еще до появленія новой прусской цензурной инструкціи говорили: *Timeo Danaos et dona ferentes*. Наоборотъ, такъ какъ въ новой инструкціи одобряется критика издаваемыхъ уже законовъ, хотя бы она и не соответствовала взглядамъ правительства, то мы сейчасъ и начнемъ съ нея самой. Цензура—это официальная критика. Ея правила это правила критики, и они всего менѣе могутъ быть изъяты изъ критики, съ которой они входятъ въ одну область.

Всякій, конечно, можетъ только одобрить высказанную въ введеніи къ инструкціи общую тенденцію: «Чтобы теперь же освободить печать отъ неумѣстныхъ, несоответствующихъ высочайшимъ видамъ ограниченій, Его Величество король указомъ королевскому министерству отъ 10 с. м. высочайше соизволилъ выразить рѣшительное одобреніе всякому несправедливому стѣсненію литературной дѣятельности; признавая значеніе и потребность честной и приличной публицистики, намъ благоугодно было вновь призвать цензоровъ къ точному соблюденію статьи 2 указа о цензурѣ 18 октября 1819 г.».

Конечно, если цензура есть необходимость, то честная, либеральная цензура еще болѣе необходима.

Но что тотчасъ же должно было возбудить нѣкоторое недоумѣніе, такъ это дата приведеннаго закона. Онъ помѣченъ 18 октября 1819 г. Какъ? Развѣ это законъ, который обстоятельства времени принудили нарушить? Повидимому нѣтъ, ибо цензоровъ лишь «вновь» приглашаютъ соблюдать его. Итакъ, до 1842 г. законъ существовалъ, но онъ не исполнялся, ибо «чтобы теперь же» освободить печать отъ неумѣстныхъ, не соответствующихъ высочайшимъ видамъ ограниченій, о немъ опять напоминаютъ.

Печать вопреки закону до сихъ поръ была подвержена неумѣстнымъ ограниченіямъ,—таковъ непосредственный выводъ изъ этого введенія.

Говорить ли это противъ закона или противъ цензуровъ?

Мы не смѣемъ утверждать послѣдняго. Въ продолженіе двадцати двухъ лѣтъ имѣлъ мѣсто незаконныя дѣйствія со стороны вѣдомства, которое должно защищать высшіе интересы гражданъ, ихъ духовныя интересы, со стороны вѣдомства, которое имѣеть большія полномочія, чѣмъ римскіе цензоры, ибо регулируетъ не только поведеніе отдѣльныхъ гражданъ, но даже проявленіе общественнаго духа. Развѣ возможно такое непрерывное беззаконіе, такое безсовѣстное поведеніе высшихъ правительственныхъ чиновниковъ въ благоустроенномъ, гордомъ своей администраціей прусскомъ государствѣ? Или государство въ постоянномъ ослабленіи избирало наименѣ дѣльныхъ лицъ на самые трудные посты? Или, наконецъ, подаанный прусскаго государства не имѣеть никакой возможности протестовать противъ незаконныхъ дѣйствій? Развѣ всѣ прусскіе писатели такъ ужь необразованы и глупы, что не знаютъ законовъ, касающихся ихъ существованія, или же они слишкомъ трусливы, чтобы требовать ихъ примѣненія?

Если мы свалимъ вину на цензуровъ, тогда это компрометируетъ не только ихъ собственную честь, но и честь прусскаго государства, прусскихъ писателей.

Къ тому же беззаконныя дѣйствія цензуровъ въ продолженіе болѣе чѣмъ двадцати лѣтъ представляли бы *argumentum ad hominem*, что печать нуждается въ иныхъ гарантіяхъ, чѣмъ такія общія указанія такимъ неотвѣтственнымъ господамъ. Это служило бы доказательствомъ того, что въ самой сущности цензуры кроется какой-то коренной недочетъ, которому не поможетъ никакой законъ.

Но если цензора были хороши, а не годился законъ, зачѣмъ же въ такомъ случаѣ призывать его на помощь противъ зла, которое онъ самъ породилъ?

Или объективные недостатки самаго института ставятся въ вину отдѣльнымъ личностямъ для того, чтобы, не улучшая дѣла по существу, создать видимость улучшенія? Такова обычная манера мнимаго либерализма, онъ дѣлаетъ вынужденныя уступки, жертвуетъ людьми, орудіями, и сохраняетъ предметъ, учрежденіе. Этимъ отвлекается вниманіе поверхностной публики. Озлобленіе изъ-за сути дѣла превращается въ озлобленіе противъ личностей. Смѣной личностей надѣются измѣнить само дѣло. Съ цензуры взоры переносятся на отдѣльныхъ цензуровъ, и мелкіе писаки предписаннаго свыше прогресса съ одной стороны позволяютъ себѣ смѣлыя выходки противъ попавшихъ въ немилость, а съ другой рассынаются въ увѣреніяхъ своей преданности правительству.

Еще одна трудность стоитъ у насъ на пути.

Нѣкоторые газетные корреспонденты принимаютъ цензурную инструкцію за новый цензурный законъ. Они ошибаются, но ошибка ихъ простительна. Указъ о цензурѣ 18 октября 1819 г. долженъ былъ имѣть силу только временно до 1824 г., и онъ оставался бы и до

настоящаго для временнымъ закономъ, если бы мы не узнали изъ опубликованной инструкции, что онъ никогда не примѣнялся.

Указъ 1819 г. также былъ временной мѣрой, съ той разницею однако, что тогда былъ указанъ пятилѣтній срокъ ожидаюио законовъ о свободѣ печати, между тѣмъ какъ по новой инструкціи это ожиданіе можетъ длиться любой періодъ времени, и далѣе, что въ то время предметомъ ожиданія были законы о свободѣ печати, въ настоящее же время законы о цензурѣ.

Другіе газетные корреспонденты рассматриваютъ цензурную инструкцію какъ возобновленіе стараго указа о цензурѣ. Ошибка ихъ будетъ опровергнута самой инструкціей.

Мы рассматриваемъ цензурный уставъ какъ предвосхищеніе духа предполагаемаго закона о цензурѣ. Въ этомъ мы строго придерживаемся духа указа о цензурѣ 1819 г., согласно которому законы и циркуляры имѣютъ для печати одинаковое значеніе (см. приведенный указъ, ст. XVI, № 2).

Но вернемся къ инструкціи.

«По этому закону, а именно по статьѣ 2, цензура не должна препятствовать серьезному и скромному разслѣдованію истины, не должна подвергать писателей ненужнымъ стѣпеніямъ, не должна мѣшать свободному обращенію книгъ на книжномъ рынкѣ».

Разслѣдованіе истины, которому цензура не должна препятствовать, характеризуется далѣе какъ серьезное и скромное. Оба опредѣленія ставятъ передъ разслѣдованіемъ не содержаніе его, а пѣчто такое, что лежитъ вѣн его содержанія. Они съ самаго пачала отвлекаютъ разслѣдованіе отъ истины и предписываютъ ему вниманіе къ какому-то неизвѣстному третьему. Но развѣ разслѣдованіе, постоянно направляющее свое вниманіе на это третье неизвѣстное, которому самимъ закономъ предоставлено право ко всему придирается, не потеряетъ изъ виду истину? Развѣ не первая обязанность изслѣдователя истины прямо стремиться къ ней, не уклоняясь ни вправо, ни влѣво? Развѣ не забуду я сказать самую сущность, если я въ то же время обязанъ не забывать о томъ, что ее надо сказать въ извѣстной предписанной формѣ?

Истина такъ же мало скромна, какъ свѣтъ; да и по отношенію къ кому она должна быть скромна? По отношенію къ самой себѣ? *Verum index sui et falsi*. Значитъ по отношенію къ заблужденію?

Если скромность характеризуетъ разслѣдованіе, то это скорѣе признакъ болезни истины, чѣмъ боязни заблужденія. Скромность это средство тормозить каждый мой шагъ впередъ. Она есть предписанная свыше разслѣдованію страхъ передъ результатомъ, она—преохранительное средство противъ истины.

Далѣе: истина всеобща, она не принадлежитъ мнѣ одному, она принадлежитъ всѣмъ, она владѣтъ мною, а не я ею. Мое достоинствѣ—это форма, она моя духовная индивидуальность. *Le style c'est l'homme*. И что же! Законъ разрѣшаетъ мнѣ писать, но я долженъ писать не

въ своемъ собственномъ стилѣ, въ какомъ-то другомъ. Я долженъ показать свой духъ, но долженъ сперва придать ему предписанія формы! Какой честный человекъ не покраснѣетъ отъ этого требованія и не спрячетъ лучше свою голову подъ тогу? По крайней мѣрѣ подъ тогой можно предполагать голову Юпитера. Предписанія формы значать только: *bonne mine à mauvais jeu*.

Вы восторгаетесь восхитительнымъ разнообразіемъ, неисчерпаемымъ богатствомъ природы. Вѣдь не требуете же вы, чтобы роза имѣла запахъ фіалки, почему же вы требуете, чтобы самое богатое, чтобы духъ существовалъ только въ *одномъ* видѣ? Я юмористъ, по законъ велитъ писать серьезно. Я иривъ, по законъ предписываетъ, чтобы слогъ мой былъ скромный. Строе изъ страго—вотъ единственный дозволенный цвѣтъ свободы. Каждая капля росы, озаряемая солнцемъ, отлиываетъ богатой игрой цвѣтовъ, но духовное солнце, въ сколькихъ бы индивидуальностяхъ оно ни отражалось, въ какихъ бы предметахъ лучи его ни преломлялись, должно порождать только одинъ, только оффиціальныи цвѣтъ! Существенная форма духа это радостность, свѣтъ, вы же хотите сдѣлать его единственно-законнымъ проявленіемъ тѣни; онъ долженъ одѣваться только въ черное, а вѣдь цвѣтовъ не бываетъ черныхъ. Сущность духа это исключительно истина сама по себѣ; а что же вы дѣлаете его сущностью? Скромность. Только бѣднякъ скромнѣе—говорить Гете—и въ такого нищаго вы хотите превратить духъ? Или же эта скромность должна быть той скромностью гениа, о которой говорить Шиллеръ? Въ такомъ случаѣ превратите сначала всѣхъ вашихъ гражданъ и, прежде всего, вашихъ цензоровъ въ гениевъ. Но вѣдь скромность гениевъ состоитъ вовсе не въ томъ, въ чемъ состоитъ языкъ образованныхъ людей, не въ отсутствіи акцента и діалекта, а, наоборотъ, въ акцентѣ, собственномъ предмету, и въ діалектѣ, соответствующемъ сущности его. Она требуетъ забыть скромность и нескромность и сосредоточиться на самомъ предметѣ. Скромность духа вообще это разумъ, та универсальная терпимость, которая относится къ каждой вещи въ природѣ такъ, какъ того требуетъ основной характеръ ея.

Если далѣе серьезность не должна соответствовать тому опредѣленію Тристрама Шэнди, по которому она есть лицемѣріе тѣла, скрывающее недостатки души, по должна озпачать объективную серьезность, тогда уничтожается все предписание. Ибо къ сѣмшному я отношусь серьезно, когда я отношусь къ нему легко, а быть скромнымъ по отношенію къ нескромности это самая серьезная нескромность духа.

Серьезно и скромно! Какія неустойчивыя, относительныя полянія! Гдѣ кончается серьезность, гдѣ начинается шутка? Гдѣ кончается скромность, гдѣ начинается нескромность? Мы зависимъ отъ темперамента цензора. Было бы такъ же несправедливо предписывать темпераментъ цензору, какъ слогъ писателю. Если вы хотите быть послѣдовательны въ вашей эстетической критикѣ, то запретите также

слишкомъ серьезно и слишкомъ скромно изслѣдовать истину, ибо слишкомъ большая серьезность является самой смѣшной, а самая большая скромность—самой горькой ироніей.

Наконецъ, исходной точкой взято при этомъ совершенно превратное и абстрактное понятие истины. Все, на что направлена писательская дѣятельность, подводится подъ одно общее понятие «истины». Но если мы оставимъ даже въ сторонѣ все субъективное, а именно, что одинъ и тотъ же предметъ различно преломляется въ различныхъ лицахъ и превращаетъ свои различныя стороны въ столько же различныхъ духовныхъ характеровъ, то развѣ характеръ самаго предмета не долженъ оказывать никакого, даже самаго ничтожнаго вліянія на изслѣдованіе? Не только результатъ изслѣдованія, но и ведущій къ нему путь долженъ быть истиннымъ. Изслѣдованіе истины само должно быть истинно, истинное изслѣдованіе—это развернутая истина, разведенныя члены которой соединяются въ результатъ. И развѣ способъ изслѣдованія не долженъ измѣняться вмѣстѣ съ предметомъ? Должно оно развѣ быть серьезно, когда предметъ смѣется; быть скромно, когда предметъ нескроменъ. Вы, слѣдовательно, нарушаете право объекта такъ же, какъ вы нарушаете право субъекта. Вы понимаете истину абстрактно и превращаете духъ въ судебного слѣдователя, который записываетъ ее въ сухой протоколъ.

Или, можетъ быть, эти метафизическія мудрствованія излишни? Можетъ быть, истину слѣдуетъ понимать такъ, что истинно то, что приказываетъ правительство, а изслѣдованіе допускается только какъ лишній, назойливый, но неустранимый цѣликомъ изъ-за этикета третій элементъ? Повидимому такъ и есть. Ибо изслѣдованіе уже заранѣе понимается какъ противоположъ ость истины и является поэтому въ подозрительной компаніи серьезности и скромности, которыя во всякомъ случаѣ приличествуютъ мірянину предъ духовнымъ лицомъ. Мудрость правительства—единственный государственный разумъ. При извѣстныхъ условіяхъ времени приходится, правда, дѣлать нѣкоторыя уступки другому разуму и его болтовнѣ, но тогда онъ долженъ выступать, сознавая эти уступки и свое, въ сущности, безправіе, скромнымъ и согбеннымъ, серьезнымъ и скучнымъ. Если Вольтеръ говоритъ *tous les genres sont bons, excepté le genre ennuyeux*, то здѣсь скучный жанръ превращается въ исключительный, какъ достаточно показываетъ уже ссылка на протоколы засѣданій реппскихъ земскихъ сословій. Почему не вернуться лучше къ доброму, старому канцелярскому слогу? Вы должны писать свободно, но каждое слово должно быть поклономъ предъ либеральнѣйшей цензурой, которая пропускаетъ ваши столь же серьезные, какъ и скромныя мнѣнія. Не утрачивайте же чувства благоговѣнія!

Центръ тяжести закона не въ истинѣ, а въ скромности и серьезности. Итакъ, все вызываетъ раздумье, серьезность, скромность и, прежде всего, истина, за неопредѣленной широтой которой скрывается очень опредѣленная, очень сомнительнаго свойства истина.

«Цензура,— сказано далѣе въ инструкціи,— ни въ какомъ случаѣ не должна быть примѣняема въ смыслѣ мелочной придирчивости, что выходить за предѣлы этого закона».

Подъ „этимъ закономъ“ прежде всего подразумѣвается статья 2 указа 1819 г., но далѣе инструкція ссылается на «духъ» указа о цензурѣ вообще. Очень легко соединить оба опредѣленія. Статья вторая это концентрированный духъ указа о цензурѣ, а остальные статьи его представляютъ дальнѣйшее расчлененіе и болѣе детальное опредѣленіе этого духа. Мы полагаемъ, что не можемъ лучше характеризовать указанный духъ, какъ приведемъ слѣдующія его проявленія:

Статья VII. Дарованная до сихъ поръ академіи наукъ и университетамъ свобода отъ цензуры отнынѣ отмѣняется на пять лѣтъ.

§ 10. Настоящее временное постановленіе остается въ силѣ съ нынѣшняго дня въ теченіе пяти лѣтъ. До истеченія этого срока Союзный сеймъ основательно изучитъ вопросъ, каковымъ образомъ можно привести въ исполненіе единообразныя постановленія о свободѣ печати, упомянутыя въ статьѣ 18 Союзныхъ актовъ; соотвѣтственно съ этимъ послѣдуетъ окончательное рѣшеніе о нормальныхъ границахъ свободы печати въ Германіи.

Нельзя назвать благоприятнымъ для печати законъ, отмѣняющій свободу печати тамъ, гдѣ она еще существовала, и дѣлающій ее благодаря цензурѣ излишней тамъ, гдѣ она должна была быть введена. Далѣе § 10 прямо признаетъ, что вмѣсто упомянутой въ ст. 18 Союзныхъ актовъ свободы печати, которая когда-нибудь, быть можетъ, будетъ осуществлена, временно вводится законъ о цензурѣ. Это *quid pro quo* указываетъ по крайней мѣрѣ на то, что характеръ времени принуждаетъ къ ограниченію печати, что указъ обязанъ своимъ происхожденіемъ недоувѣрію къ печати. Эта мѣра оправдывается какъ временная, имѣющая силу всего на пять лѣтъ, но къ сожалѣнію она была въ силѣ 22 года.

Уже слѣдующая строка инструкціи показываетъ намъ, какъ она сама себя противорѣчитъ, съ одной стороны желая, чтобы цензура не примѣнялась въ болѣе широкихъ размѣрахъ, чѣмъ того требуетъ духъ устава, съ другой стороны предписывая ей именно это нарушеніе границъ закона: «Цензоръ можетъ разрѣшить откровенное обсужденіе внутреннихъ дѣлъ». Цензоръ *можетъ*, но онъ не обязанъ, въ этомъ нѣтъ необходимости; уже этотъ осторожный либерализмъ очень опредѣленно выходитъ не только за предѣлы духа, но и за предѣлы опредѣленныхъ требованій указа о цензурѣ. Старый указъ о цензурѣ и даже приведенная въ инструкціи статья 2 не разрѣшаетъ откровеннаго обсужденія не только прусскихъ, но даже китайскихъ дѣлъ. «Сюда», т. е. къ нарушенію безопасности прусскаго государства и германскихъ союзныхъ государствъ, «относятся всѣ попытки изобразить въ благоприятномъ свѣтѣ всѣ партіи въ какой бы то ни было странѣ, стремящіяся къ испроверженію существу-

ющаго строя». Развѣ при такихъ условіяхъ разрѣшается откровенное обсужденіе китайскихъ или турецкихъ дѣлъ? А ужъ если такія отдаленныя отношенія угрожаютъ неустойчивой безопасности германскаго союза, то какъ же не будетъ ей угрожать каждое неодобрительное слово о внутреннихъ дѣлахъ?

Если инструкция парусиаетъ такимъ образомъ духъ ст. 2 указа о цензурѣ въ либеральномъ смыслѣ, то, съ другой стороны, она далеко не въ либеральномъ смыслѣ идетъ дальше указа о цензурѣ и прибавляетъ къ старымъ ограниченіямъ печати новыя. Содержаніе либеральнаго нарушенія духа устава будетъ видно впоследствии, но формально оно подозрительно уже въ томъ отношеніи, что является выводомъ изъ статьи 2, изъ которой въ уставѣ благоразумно цитируется только первая половина, и въ то же самое время цензоръ отсылается ко всей статьѣ.

Въ вышеприведенной 2 статьѣ указа о цензурѣ сказано: «Цѣль ея (цензуры) не допускать того, что противно общимъ основамъ религіи, независимо отъ мѣстныхъ и ученій отдѣльныхъ религіозныхъ партій и тернимыхъ въ государствѣ сектъ».

Въ 1819 г. господствовалъ еще раціонализмъ, который подъ религіей вообще понималъ такъ называемую религію разума. Эта раціоналистическая точка зрѣнія есть также точка зрѣнія указа о цензурѣ, который во всякомъ случаѣ настолько непоследователенъ, что, имѣя цѣлью защиту религіи, становится на пререлигіозную точку зрѣнія. Именно отдѣленіе общихъ основаній религіи отъ ея положительнаго содержанія и отъ ея опредѣленности противорѣчатъ уже общимъ основаціямъ религіи, такъ какъ каждая религія предполагаетъ, что она отличается отъ остальныхъ отдѣльныхъ мнимыхъ религіи своей особенной сущностью и что именно она въ этой своей опредѣленности и является истинной религіей. Новая цензурная инструкция пропускаетъ въ цитируемой ею статьѣ 2-ой ограничительное положеніе, согласно которому отдѣльныя религіозныя партіи и секты не пользуются неприкосновенностью, но она на этомъ не останавливается, она даетъ еще слѣдующій комментарий: «Не должно быть тернимо все, что направлено противъ христіанской религіи вообще или противъ опредѣленнаго ученія въ неприличной, враждебной формѣ». Старый указъ о цензурѣ ни единымъ словомъ не упоминаетъ о христіанской религіи; наоборотъ, онъ отличаетъ религію отъ всѣхъ отдѣльныхъ религіозныхъ партій и сектъ. Новая цензурная инструкция не только превращаетъ религію вообще въ христіанскую религію, но прибавляетъ еще слова «опредѣленное втроченіе». Драгоценное порожденіе нашей ставшей христіанской науки! Кто станетъ еще отрицать, что она выковала новыя оковы для печати? Нельзя касаться религіи ни вообще, ни въ частности. Или вы думаете, можетъ быть, что слова — «непристойный», «враждебный», превратили новыя цѣпи въ цѣпи изъ розъ? Какъ это ловко сказано: непристойно, враждебно! Словомъ «непристойный» зываютъ

къ благопристойности гражданина. Это яко терпическое слово для свѣта, а цензору сообщается на ухо прилагательное «враждебный», — такъ истолковывается въ законѣ непристойность. Мы въ этомъ уставѣ найдемъ еще много примѣровъ этого тонкаго такта, который по отношенію къ публикѣ пользуется субъективнымъ словомъ, вызывающимъ краску на ея лицѣ, къ цензору же обращается съ объективнымъ, заставляющимъ блѣднѣть писателя. Такимъ способомъ можно перекладывать на музыку *lettres de cachet*.

И въ какое удивительное противорѣчіе запутывается цензурная инструкция. Только половинчатое нападеніе непристойно, такое, которое направлено на отдѣльныя стороны явленія, не будучи достаточно глубоко и серьезно, чтобы коснуться сущности предмета, только нападки на частное, какъ таковое, непристойно. Если поэтому нападки на христіанскую религію вообще запрещены, то разрѣшены только непристойныя нападки на нее. Наоборотъ, нападки на общія основанія религіи, на ея сущность, на частное, поскольку оно есть проявленіе сущности, являются враждебными нападками. Нападать на религію можно только въ формѣ непристойной или враждебной, — третьей ить. Эта непослѣдовательность, въ которую запутывается инструкция, есть во всякомъ случаѣ только иллюзія, такъ какъ она покоится на иллюзіи, будто вообще разрѣшены какія-либо нападки на религію. Но достаточно одного безпристрастнаго взгляда, чтобы усмотрѣть въ этой иллюзіи именно иллюзію. На религію нельзя нападать ни во враждебной, ни въ непристойной формѣ, ни вообще, ни въ частности, т.-е. вообще нельзя нападать.

Однако, если инструкция, въ явномъ противорѣчій съ указомъ о цензурѣ 1819 г., налагаетъ новыя оковы на философскую прессу, то она, по крайней мѣрѣ, должна была бы быть настолько послѣдовательной, чтобы освободить религіозную прессу отъ старыхъ оковъ, наложенныхъ на нее прежнимъ рационалистическимъ указомъ. Въд онъ ставитъ цѣлю цензуры также — «борьбу противъ фанатическаго перенесенія въ политику религіозныхъ догматовъ вѣры и возникающаго отсюда смущенія умовъ». Новая инструкция, правда, благоразумно умалчиваетъ объ этомъ пунктѣ въ своемъ комментарий, тѣмъ не менѣе она, цитируя статью 2, принимаетъ и его.

Что значить фанатическое перенесеніе въ политику религіозныхъ догматовъ вѣры? Это значить исходить въ опредѣленіи государства изъ специфическаго содержанія религіозныхъ догматовъ вѣры, это значить превратить особенную сущность религіи въ мѣрило государства. Старый указъ о цензурѣ имѣлъ право выступать противъ этой путаницы понятій, потому что онъ оставляетъ критикѣ отдѣльную религію, опредѣленное содержаніе ея. Но старый указъ опирался на неоправданный, поверхностный, презираемый вами самими рационализмъ. Вы же, основывающіе государство даже въ частности на вѣрѣ и христіанствѣ, вы, желающіе христіанскаго государства, какъ вы можете еще совѣтовать цензурѣ предупреждать эту путаницу понятій?

Смѣшеніе полптического и христіанско-религіознаго принципа стало официальной вѣрой. Мы это смѣшеніе разъясимъ въ пемпогихъ словахъ. Если имѣтъ въ виду только христіанскія и притомъ признапныя религіи, то вы имѣете въ своемъ государствѣ католиковъ и протестантовъ. И тѣ и другіе предъявляютъ одинаковыя претензіи къ государству, такъ какъ имѣютъ и одинаковыя обязанности по отношению къ нему. Оставляя въ сторонѣ свои религіозныя различія, они одинагово требуютъ, чтобы государство было осуществленемъ политическаго и правового разума. Но вы хотите христіанскаго государства. Если ваше государство будетъ лютеранско-христіанскимъ, тогда оно для католика превратится въ церковь, къ которой онъ не принадлежитъ, отъ которой онъ долженъ отвернуться, какъ отъ еретической, внутренняя сущность которой противорѣчитъ ему. Въ обратномъ случаѣ мы будемъ имѣтъ то же самое. Если же вы сдѣлаете особеннымъ духомъ вашего государства общій духъ христіанства, тогда вопросъ о томъ, что такое общій духъ христіанства, вы вѣдь рѣшите на основаніи вашего протестантскаго взгляда. Вы опредѣляете, что такое христіанское государство, хотя послѣднее время показало вамъ, что отдѣльные правительственные чиновники не умѣютъ провести границы между религіей и міромъ, между государствомъ и церковью. Дипломаты, а не цензора должны были обезуджать это смѣшеніе попятій, по не рѣшаютъ его. Наконецъ, вы становитесь на еретическую точку зрѣнія, когда вы отбрасываете известный догматъ какъ несущественный. Если же вы называете ваше государство вообще христіанскимъ, то вы тѣмъ самымъ дипломатически признаете, что оно не христіанское. Такимъ образомъ, либо запретите вообще втягивать религію въ политику,—но этого вы не хотите, такъ какъ вы хотите основывать государство не на свободномъ разумѣ, а на вѣрѣ, религія для васъ служить всеобщей санкціей положительнаго,—либо разрѣшите и фанатическое перенесеніе религіи въ политику. Дайте ей по своему заниматься политикой. Но этого вы опять-таки не желаете. Религія должна поддерживать свѣтскую власть съ тѣмъ однако, чтобы свѣтская власть не подчинялась религіи. Разъ вы втягиваете религію въ политику, то требованіе, чтобы свѣтская власть опредѣляла, какъ религія должна выступать въ политикѣ, будетъ уже несомнѣвною [несносною] и даже противною религіи дерзостью. Кто хочетъ связать себя съ религіей изъ религіозности, долженъ предложить ей во всехъ вопросахъ рѣшающій голосъ. Или вы, можетъ быть, понимаете подъ религіей культъ вашей собственной неограниченной власти и правительственной мудрости?

Правовѣріе новой цензурной инструкции вступаетъ еще и въ другой формѣ въ конфликтъ съ рационализмомъ стараго указа о цензурѣ. Послѣдній считаетъ также целью цензуры подавленіе того, «что оскорбляетъ нравственность и добрыя нравы». Инструкция цитируетъ это мѣсто изъ статьи 2. Но если въ отношеніи къ религіи комментарий ея содержитъ добавленія, то и въ отношеніи къ нравственности

опъ не свободенъ отъ пропусковъ. Оскорбленіе нравственности и добрыхъ нравовъ превращается въ нарушеніе «приличія, обычаевъ и виѣшней благопристойности». Мы видимъ, что мораль, какъ мораль, какъ принципъ такого міра, который подчиняется собственнымъ законамъ, исчезаетъ, и на мѣсто сущности выступаютъ виѣшнія проявленія, полицейская благопристойность, условное приличіе. Почетъ тому, кому опъ подобаеъ; здѣсь мы видимъ настоящую послѣдовательность. Специфически христіанскій законодатель не можетъ признать мораль за независимую, въ самой себѣ имѣющую источникъ святости сферу, такъ какъ ея внутреннюю всеобщую сущность опъ присваиваетъ религіи. Независимая мораль оскорбляетъ всеобщія основы религіи, а особыя понятія религіи противны морали. Мораль признаетъ только свою собственную всеобщую и разумную религію, религія же—только свою особенную позитивную мораль. Цензура, такимъ образомъ, должна будетъ по этой инструкціи отвергнуть интеллектуальныхъ героевъ морали, въ родѣ Канта, Фихте, Спинозу, какъ иррелигіозныхъ, какъ оскорбляющихъ приличіе, нравы и виѣшнюю благопристойность. Всѣ эти моралисты исходятъ изъ принципиальнаго противорѣчія между моралью и религіей, ибо мораль зиждется на автономіи, религія же—на гетерономіи человѣческаго духа. Отъ этихъ нежелательныхъ новшествъ цензуры—съ одной стороны, ослабленія ея моральной совѣсти, съ другой стороны, строгаго обостренія ея религіозной совѣсти—перейдемъ къ болѣе отраднымъ новшествамъ, къ уступкамъ.

Отсюда «слѣдуетъ, что сочиненія, въ которыхъ разсматривается государственное управление въ цѣломъ или въ отдѣльныхъ его развѣтвленіяхъ, обсуждаются изданные или имѣющіе еще быть изданными законы по ихъ внутреннему достоинству, раскрываются ошибки и недостатки, указываются или предлагаются улучшенія, не должны быть запрещены по той только причинѣ, что они написаны не въ правительственномъ духѣ, если только они прилично написаны и тенденція ихъ благонамѣренна». Скромность и серьезность изслѣдованія: это требованіе обще у новой инструкціи съ указомъ о цензурѣ, по ея такъ же мало удовлетворяетъ приличное изложеніе, какъ истинность содержанія. Главнымъ критеріемъ для нея становится тенденція—это ея основная мысль, между тѣмъ какъ въ указѣ нельзя найти даже слова «тенденція». Въ чемъ она заключается, новая инструкція также не говоритъ. Но насколько для нея важна тенденція, показываетъ еще слѣдующее мѣсто изъ нея: «При этомъ непременно предполагается, что тенденція высказанныхъ противъ мѣропріятій правительства соображеній не враждебна и не злонамѣренна, а доброжелательна; и отъ цензора требуется добрая воля и благоразуміе, дабы онъ умѣлъ отличить одно отъ другого. Сообразно съ этимъ цензора должны обращать особенное вниманіе на форму и на тонъ предназначенныхъ для печати статей и не разрѣшать ихъ печатанія, если страстность, рѣзкость и претенціозность обнаруживаютъ

ихъ вредную тенденцію». Писатель такимъ образомъ становится жертвой самаго ужаснаго террора, подвергается юрисдикціи подозрѣнія. Законы противъ тенденцій, законы, не дающіе объективныхъ нормъ,— это террористическіе законы въ родѣ тѣхъ, какіе избрѣла крайняя государственная необходимость при Робеспьерѣ и испорченность государства при римскихъ императорахъ. Законы, которые дѣлаютъ главнымъ критеріемъ не дѣйствія, а образъ мыслей дѣйствующаго лица, представляютъ не что иное, какъ положительную санкцію беззаконія. Лучше насильно стричь бороды, какъ это дѣлалъ русскій царь, при помощи строевыхъ казаковъ, чѣмъ исходить въ примѣненіи этого наказанія изъ тѣхъ убѣжденій, въ силу которыхъ я ношу бороду.

Лишь постольку, поскольку я проявляю себя, я вступаю въ область дѣйствительности, я вступаю въ сферу дѣйствій законодателя. Помимо своихъ поступковъ, я совершенно не существую для закона, совершенно не являюсь его объектомъ. Мои поступки—это единственное, въ чемъ законъ имѣетъ ко мнѣ отношеніе; ибо они единственное, для чего я требую права на существованіе въ мірѣ дѣйствительности и почему я подчиняюсь закону. Но преслѣдующій тенденцію законъ караетъ не только то, что я дѣлаю, но и то, что я думаю, вѣ дѣянія. Онъ является, слѣдовательно, оскорбленіемъ для чести гражданина, притѣснительнымъ закономъ противъ моего существованія.

Я могу вертѣться и изворачиваться, какъ мнѣ угодно, это не измѣняетъ сущности дѣла. Мое существованіе подозрительно, моя внутренняя сущность, моя индивидуальность разсматривается какъ дурная, и за это мнѣ обо мнѣ я несу наказаніе. Законъ караетъ меня не за зло, которое я дѣлаю, но за то зло, котораго я не дѣлаю. Въ сущности я буду подлежать наказанію за то, что мое дѣйствіе не противозаконно, ибо только этимъ я и принуждаю мягкаго, благожелательнаго судію подвергнуть меня высканію за мой дурной образъ мыслей, который настолько благоразуменъ, что ничѣмъ не проявляетъ себя.

Законъ, карающій за образъ мыслей, не есть законъ государства для гражданъ, это законъ одной партіи противъ другой. Преслѣдующій за тенденцію законъ уничтожаетъ равенство гражданъ передъ закономъ. Это законъ не единенія, а разединенія, а всѣ законы разединенія реакціонны. Это не законъ, а привилегія. Одинъ можетъ дѣлать то, чего другой не имѣетъ права дѣлать не потому, что у него недостаетъ для этого объективнаго качества, какъ у ребенка, напр., для заключенія договоровъ, нѣтъ, потому что его мнѣніе, его образъ мыслей подозрителенъ. Моральное государство предполагаетъ въ своихъ членахъ государственный образъ мыслей, если даже они вступаютъ въ оппозицію противъ органа государства, противъ правительства. Но въ такомъ обществѣ, въ которомъ одинъ органъ мнитъ себя единственнымъ, исключительнымъ обладателемъ государственнаго разума и государственной морали, въ такомъ правительствѣ, которое принципиально противопоставляетъ себя народу и по-

этому считать свой антигосударственный образъ мыслей всеобщимъ, нормальнымъ образомъ мыслей,—не считая совѣтъ правящей клкики измышляеть карающіе тенденціозныя законы, законы мести за образъ мыслей, котораго придерживаются одни только члены правительства. Законы, преслѣдующіе за образъ мыслей, имѣютъ своей основой безпринципность, безиравстввенный, матеріальный взглядъ на государство. Они нескромный крикъ нечистой совѣсти. И какъ выполняется подобный законъ? Съ помощью средства, которое еще болѣе возмутительно, чѣмъ самый законъ—при посредствѣ шпіоновъ или же посредствомъ предварительнаго соглашенія считать подозрительными цѣлыя литературныя направленія, причемъ опять-таки остается выслѣживать, къ какому направленію принадлежитъ отдѣльный человекъ. Какъ въ законѣ противъ тенденціозности законодательная форма противорѣчитъ содержанію, какъ правительство, издающее его, усердствуетъ противъ того, что оно представляетъ само, т.-е. антигосударственного образа мыслей, такъ оно въ частности является по отношенію къ своимъ законамъ какъ бы міромъ, вывороченнымъ наизнанку, ибо оно мѣрять двойкой мѣрой.

Что для одной стороны право, то для другой правонарушеніе. Законы его составляютъ уже противоположность того, что они (законы) возводятъ въ законъ.

Новая цензурная инструкция также запутывается въ этой діалектикѣ. Она впадаетъ въ противорѣчіе, ставя цензорамъ въ обязанность исполнить все то, что въ печати она осуждаетъ какъ противогосударственное.

Такъ инструкция запрещаетъ писателямъ заподозрѣвать образъ мыслей отдѣльных лицъ или цѣлыхъ классовъ, и тутъ же разрѣшаетъ цензорамъ раздѣлить всѣхъ гражданъ на подозрительныхъ и неподозрительныхъ, на благонамѣренныхъ и неблагонамѣренныхъ. Критика, отнятая у печати, становится повседневною обязанностью правительственнаго критика. Но на такомъ выворачиваніи всего наизнанку дѣло, конечно, не можетъ остановиться. Въ самой прессѣ противогосударственное по своему содержанію являлось чѣмъ-то частнымъ, [со] стороны же своей формы оно являлось общимъ, то-есть, было предоставлено общему сужденію.

Но теперь все поставлено вверхъ ногами. Частное является теперь со стороны своего содержанія законнымъ, противогосударственное же, какъ мнѣніе государства, какъ право государства со стороны формы является чѣмъ-то частнымъ, недопустимымъ въ свѣтъ гласности, и изгнано изъ арены гласности въ кабинетъ правительственнаго критика. Такъ инструкция хочетъ охранять религію—святость и неприкосновенность субъективнаго образа мыслей. Судьею сердца, вмѣсто Бога, она дѣлаетъ—цензора. Такъ, она запрещаетъ оскорбительныя выраженія и порочашія честь сужденія объ отдѣльных лицахъ, но подвергаетъ вась каждый день оскорбительному и

порочающему вашу честь сужденію цензора. Такъ, она хочетъ уничтожить силетни злонамѣренныхъ и дурноосвѣдомленныхъ лицъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ принуждаетъ цензора полагаться на подобныя сплетни, па шпионство злонамѣренныхъ и дурноосвѣдомленныхъ лицъ, переноситъ сужденіе изъ сферы объективнаго содержанія въ сферу субъективнаго мнѣнія, или произвола. Такъ, не слѣдуетъ заподозрѣвать намѣреній государства; между тѣмъ въ основѣ инструкціи лежитъ заподозрѣваніе всѣхъ противъ государства. Такъ, подъ хорошей виѣшностью не должно скрываться дурныхъ намѣреній, но инструкція сама поконится на обманчивой виѣшности. Такъ, она желаетъ повмѣстятъ національное чувство, и въ то же время сама опирается на унижающіи національность взглядъ. Отъ насъ требуютъ закономѣрнаго поведенія и уваженія къ законамъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ мы должны уважать учрежденія, дѣлающія насъ незаконными и ставящія произволъ на мѣсто права. Мы должны признавать принципъ личности, признавать въ такой мѣрѣ, что бы несмотря на полный недостатокъ институтъ цензуры, довѣрять цензору, вы же настолько нарушаете принципъ личности, что судите ее не по поступкамъ, но по мнѣнію о цѣли ея поступковъ. Вы требуете скромности, а между тѣмъ вы исходите изъ чудовищной нескромности, назначая отдѣльныхъ чиновниковъ чтецами въ сердцахъ, признавая ихъ всевѣдущими, философами, богословами, политиками, Аводономъ Дельфійскимъ. Съ одной стороны вы вѣнчаете намъ въ обязанность уваженію къ нескромности, а съ другой стороны запрещаете намъ нескромность. Приписывать совершенство рода отдѣльнымъ индивидуумамъ — это дѣйствительно нескромно. Цензоръ отдѣльный индивидуумъ, печать же разрастается до цѣлаго рода. Намъ вы предписываете довѣріе, а недовѣрію вручаете силу закона. Вы такого высокаго мнѣнія о своихъ государственныхъ учрежденіяхъ, что думаете будто они дѣлаютъ слабого смертнаго чиновника святымъ, и невозможное превращаютъ для него въ возможное. Но вы такъ не довѣряете вашему государственному организму, что боитесь отдѣльнаго мнѣнія частнаго лица, ибо на печать вы смотрите какъ на частное лицо. Должностныя лица по вашему мнѣнію совершенно безличны, они будутъ дѣйствовать безъ злобы, страсти, ограниченности и человѣческой слабости. Но безлично, идеи, вы заподозрѣваете въ томъ, что онѣ полны личныхъ пристрастій и субъективной низости. Инструкція требуетъ неограниченнаго довѣрія къ чиновному сословію и исходить изъ неограниченнаго недовѣрія къ положенію не-чиновника. Но почему мы не должны платить равнымъ за равное? Почему мы не должны считать подозрительнымъ именно это сословіе? Тоже и относительно характера. Человѣкъ непредубѣжденный долженъ уже заранѣе относиться съ большимъ уваженіемъ къ характеру критика, говорящаго открыто, чѣмъ къ характеру тайнаго. То, что вообще дурно, то всегда остается дурнымъ, кто бы ни былъ посетелемъ этого дурнаго, будетъ ли то частный критикъ, или назначенный правительствомъ, только въ послѣднемъ случаѣ дурное

получает санкцію свыше и разсматривается как нечто необходимое для осуществленія добра эпизу.

Цензура тенденци и тенденція цензуры — таковъ подарокъ новой либеральной инструкціи. Пикто не осудитъ насъ за то, что мы отнесемъ съ нѣкоторымъ недовѣріемъ къ ея дальнѣйшимъ пунктамъ.

«Оскорбительныя мнѣнія и позорящія честь сужденія объ отдѣльныхъ лицахъ неудобны въ печати». Неудобны въ печати! Куда было бы лучше, если бы вмѣсто этой мягкости дано было объективное опредѣленіе оскорбительному и позорящему честь сужденію.

«То же самое относится къ заподозрѣванію образа мыслей отдѣльныхъ лицъ или (многозначительное «или») цѣлыхъ классовъ, къ употребленію партійныхъ кличекъ и тому подобныхъ личностей». Недопустимы, слѣдовательно, также распредѣленіе по категоріямъ, нападки на цѣлые классы, употребленіе партійныхъ кличекъ — человекъ долженъ дать имя всему, какъ Адамъ, чтобы оно для него существовало, и названія партій необходимыя категоріи для политической прессы, «weil jede Krankheit zuvörderst, wie Doktor Sassafras meint, um glücklich sie kuriren zu können, benamset werden muss»¹⁾.

Все это относится къ личностямъ. Какъ же поступать? Личностей нельзя касаться, класса, обшago, моральной личности точно такъ же. Государство не желаетъ терпѣть никакихъ оскорбленій, — и въ этомъ оно право — никакихъ личностей. Но съ помощью маленькаго «или» общее тоже отнесено къ личностямъ. Посредствомъ «или» вводится общее, а посредствомъ маленькаго «и» мы въ концѣ-концовъ узнаемъ, что рѣчь была только о личностяхъ. Но какъ результатъ всего этого у прессы отнята всякаго контроля чиновниковъ и такихъ учрежденій, которыя существуютъ въ видѣ класса индивидуумовъ.

«Если цензура будетъ дѣйствовать по этимъ указаніямъ въ духѣ указа о цензурѣ 18 октября 1819 г., то этимъ данъ будетъ достаточный просторъ для благопристойной и прямодушной публицистики, и можно надѣяться, что благодаря этому пробудится большій интересъ къ отечественнымъ дѣламъ, и повысится національное чувство». Что благопристойной гласности, благопристойной по понятіямъ цензуры, данъ будетъ, согласно этимъ указаніямъ, болѣе чѣмъ достаточный просторъ, съ этимъ мы согласны; слово «просторъ» (Spielraum) также очень удачно выбрано, такъ какъ оно рассчитано на забавляющуюся, довольствующуюся воздушными прыжками прессу. Но будетъ ли предоставленъ таковой прямодушной публицистикѣ и какъ отзовется на ней это прямодушіе, объ этомъ мы предоставляемъ судить проницательному читателю. Что касается ожиданій инструкціи, то, можно повышать конечно, національное чувство и въ томъ смыслѣ, въ какомъ присапаный шнуръ повышаетъ чувство турец-

¹⁾ Ибо каждая болѣзнь для удачнаго лѣченія должна быть, во мнѣніи доктора Сассафраса, прежде всего названа.

кой національности. Но пробудить ли столь же скромная, какъ и серьезная пресса интересъ къ отечественнымъ дѣламъ, этотъ вопросъ мы предоставляемъ рѣшать ей самой. Тонкую прессу не поправишь хининомъ. Но, можетъ быть, мы слишкомъ серьезно поняли приведенный періодъ. Можетъ быть, мы лучше угадаемъ его смыслъ, если будемъ смотрѣть на него просто какъ на крючокъ въ цѣпи изъ розъ. Можетъ быть, въ этомъ либеральномъ крючкѣ содержится перлъ очень двусмысленной цѣпности. Посмотримъ. Все зависитъ отъ связи. Повышеніе національнаго чувства и пробужденіе интереса къ отечественнымъ дѣламъ, надежда на которыя высказывается въ приведенномъ мѣстѣ, подъ сурдинкой превращаются въ приказаніе, въ которомъ кроется новое стѣсненіе для нашихъ бѣдныхъ, чахлахъ ежедневныхъ газетъ.

«Слѣдя этимъ путемъ, можно надѣяться, что и политическая литература и ежедневная пресса лучше поймутъ свое назначеніе, что съ приобретеніемъ болѣе богатаго матеріала онѣ усвоятъ себѣ также и болѣе достойный тонъ и впредь будутъ считать недостойнымъ себя спекулировать на любопытство своихъ читателей сообщеніемъ безсодержательныхъ, заимствованныхъ изъ иностранныхъ газетъ ежедневныхъ повостей злопамѣренныхъ или плохо освѣдомленныхъ корреспондентовъ, либо сплетнями и личными нападеніями,—направленіе, противъ котораго цензура несомнѣнно призвана принять мѣры».

На этомъ пути надѣются, что политическая литература и повседневная пресса лучше поймутъ свое назначеніе и т. д. Но вѣдь лучшаго пониманія нельзя предписать; это еще только ожидаемый плодъ, и надежда остается надеждой. Инструкція однако слишкомъ практична, чтобы довольствоваться надеждами и благочестивыми пожеланіями. Въ то время какъ прессѣ въ видѣ новаго утѣшенія преподносится надежда на ея будущее улучшеніе, доброжелательная инструкція пока отнимаетъ у нея то право, которымъ она пользуется уже въ настоящее время. Въ надеждѣ на свое улучшеніе она теряетъ то, что она еще имѣетъ. Съ нею происходитъ то же, что и съ бѣднымъ Сапчо Хансо, у котораго его придворный врачъ отнимаетъ всякую пищу, чтобы разстройство желудка не помѣшало ему какъ слѣдуетъ исполнить возложенныя на него герцогомъ обязанности.

Вмѣстѣ съ тѣмъ мы не должны пропустить случая поощрять прусскаго писателя къ усвоенію такого рода благопристойнаго слога. Въ предыдущей фразѣ сказано: «Слѣдя этому пути можно надѣяться, что...» Отъ этого что зависитъ цѣлый рядъ опредѣленій, т.-е. что политическая литература и ежедневная пресса лучше поймутъ свое назначеніе, что онѣ усвоятъ болѣе достойный тонъ и т. д. и т. д., что онѣ не будутъ считать достойными себя сообщенія безсодержательныхъ, заимствованныхъ изъ иностранныхъ газетъ корреспонденцій и т. д. Всѣ эти опредѣленія вдохновляются еще надеждою; но заключеніе, которое связано съ предыдущимъ знакомъ тире: «направленіе, противъ котораго цензура несомнѣнно призвана принять мѣ-

ры», избавляеть цензора отъ скучной задачи выжидать предполагаемаго улучшенія повседневной прессы и скорѣе даетъ ему право вычеркивать неприятное безъ всякихъ дальнѣйшихъ разсужденій. Мѣсто внутренняго дѣченія заступаетъ ампутація.

«Но чтобы приблизиться къ этой цѣли, необходимо при разрѣшеніи новыхъ журналовъ и утвержденіи новыхъ редакторовъ поступать съ большою осторожностью, чтобы ежедневная пресса была довѣрена лишь совершенно неопороченнымъ лицамъ, научныя способности положеніе и характеръ которыхъ служатъ гарантіей серьезности ихъ стремленій и лояльности ихъ образа мыслей». Прежде чѣмъ вдаваться въ детали, сдѣлаемъ одно общее замѣчаніе. Утвержденіе новыхъ редакторовъ, слѣдовательно, вообще будущихъ редакторовъ, всецѣло предоставлено «большой осторожности», понятію, государственныхъ учрежденій, цензуры; между тѣмъ старый указъ о цензурѣ, по крайней мѣрѣ, при извѣстныхъ гарантіяхъ предоставлялъ выборъ редакторовъ усмотрѣнію издателя:

Ст. IX. Главное цензурное управленіе въ правѣ объяснить издателю газеты, что предполагаемый редакторъ не принадлежитъ къ числу лицъ, внушающихъ необходимое довѣріе, и въ такомъ случаѣ издатель обязанъ либо взять другого редактора, либо, если онъ желаетъ сохранить вышеназваннаго, внести за него залогъ, опредѣляемый нашими вышеупомянутыми министерствами по предложенію названнаго главнаго цензурнаго управленія.

Въ новой цензурной инструкціи проявляется совершенно другая глубина, можно сказать романтика духа. Въ то время какъ старый указъ о цензурѣ требуетъ залоговъ внѣшнихъ, прозаическихъ и потому допускающихъ опредѣленіе въ законѣ, залоговъ, при гарантіи которыхъ даже негодный редакторъ долженъ быть допущенъ, новая инструкція лишаетъ издателя газеты всякой собственной воли и предписываетъ предусмотрительной мудрости правительства, большой осторожности и умственной проицательности властей руководиться внутренними, субъективными, не опредѣлимыми внѣшнимъ образомъ качествами. Но если неопредѣленность, пѣжная задушевность и субъективная широта романтизма переходятъ въ чисто внѣшнее проявленіе, лишь въ томъ смыслѣ, что внѣшняя случайность является уже не въ прозаической, заключенной въ извѣстныя границы, опредѣленности, а въ удивительномъ ореолѣ, въ воображаемой глубинѣ и въ великолѣпнн, — то и инструкція едва ли избѣгнетъ этой романтической судьбы.

Редакторы ежедневной прессы, а въ эту категорію можетъ быть отнесена вся журналистика, должны быть совершенно неопороченными людьми. Въ качествѣ гарантіи этой совершенной неопороченности инструкція указываетъ сначала на «научную способность». Не возникаетъ даже ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, можетъ ли цензоръ обладать научной способностью судить о всякаго рода научныхъ способностяхъ. Если въ Пруссіи живетъ такая группа извѣстныхъ пра-

вительству универсальных гениевъ, — каждый городъ имѣеть, по крайней мѣрѣ, одного цензора, — то почему же эти энциклопедическіе умы не выступаютъ въ качествѣ писателей. Если бы эти чиновники, преобладающіе своей численностью, еще болѣе сильныя своей наукой и своимъ гениемъ, вдругъ поднялись и подавили своимъ вѣсомъ тѣхъ жалкихъ писателей, которые дѣйствуютъ только въ одномъ направленіи, да и въ этомъ направленіи безъ официально одобренныхъ способностей, то этимъ гораздо скорѣе можно было бы положить конецъ неурядицамъ въ прессѣ, чѣмъ при посредствѣ цензуры. Почему молчать эти почтенные люди, которые, какъ римскіе гуси, своимъ крикомъ могли бы спасти капитолій? Это слишкомъ скромные люди. Научная публика ихъ не знаетъ, зато ихъ знаетъ правительство.

А если уже это такіе мужи, какихъ ни одно государство не умѣло найти, ибо никогда никакое государство не знало цѣлыхъ классовъ, состоящихъ только изъ универсальныхъ гениевъ и энциклопедическихкихъ умовъ, то насколько же еще гениальнѣе должны быть выбравшіе этихъ людей! Какой тайной наукой должны они обладать, чтобы быть въ состояніи выдать неизвѣстнымъ въ научной республикѣ чиновникамъ удостовѣреніе въ ихъ универсально-научныхъ способностяхъ! Чѣмъ выше мы поднимаемся по этой бюрократической лѣстницѣ умственныхъ способностей, тѣмъ болѣе удивительныя умы встрѣчаются намъ. Стоитъ ли государству, обладающему такими столпами совершенной прессы, цѣлесообразно ли для него дѣлать этихъ людей охранителями полной недостатковъ прессы, пизводить совершенное до роли средства прогнѣвъ несовершеннаго?

Чѣмъ больше вы назначите такихъ цензоровъ, тѣмъ больше шансовъ на исправленіе отнимаете вы у царства прессы. Вы отнимаете у вашего войска здоровыхъ и дѣлаете ихъ врачами больныхъ.

Топните только о землю погю, какъ Помпей, и изъ cadaго правительственнаго зданія выйдетъ во всеоружіи Паллада Аонна. Мелкая ежедневная пресса разсыплется въ прахъ передъ официальной прессой. Достаточно существованія свѣта, чтобы исчезла тьма. Пусть вашъ свѣтъ свѣтитъ, не держите его подъ спудомъ. Въмѣсто плохой цензуры, пригодность которой для васъ самихъ проблематична, дайте намъ — вѣдь вамъ стоитъ только приказать — совершенную прессу, прообразъ которой китайское государство даетъ уже въ теченіе многихъ вѣковъ.

Но развѣ попытка сдѣлать научныя способности единственными, необходимымъ условіемъ для писателей ежедневной прессы не доказываетъ предпочтенія уму? Развѣ здѣсь какая-либо поблажка привилегіямъ? Развѣ это условное требованіе? Развѣ это не условіе по существу, а условіе, сообразующееся съ личностью?

Къ сожалѣнію, цензурный уставъ прерываетъ нашъ панегирикъ. Рядомъ съ гарантіей научныхъ способностей стоитъ требованіе положенія и характера. Положеніе и характеръ!

Характеръ, такъ непосредственно слѣдующій за положеніемъ, какъ будто даже вытекаетъ изъ него. Положенію прежде всего бросается въ глаза. Оно такъ вписуется между научными способностями и характеромъ, что почти является искушеніемъ усомниться все ли здѣсь чисто. Общее требованіе научныхъ способностей, какъ это либерально! Частное требованіе положенія, какъ это по либерально! Научныя способности и положеніе вмѣстѣ, какъ это мпимо-либерально! Такъ какъ научныя способности и характеръ очень неопредѣленны, положеніе же, наоборотъ, очень опредѣленно, то почему намъ не заключить, что неопредѣленное по необходимому логическому закону опирается на опредѣленное, получаетъ въ немъ и отъ него поддержку и содержаніе? Было ли бы это большой ошибкой со стороны цензора, если бы онъ толковалъ инструкцію въ томъ смыслѣ, что вѣншей формой проявленія научныхъ способностей и характера является положеніе, тѣмъ болѣе, что его собственныи чинъ служитъ ему порукой, что эта точка зрѣнія есть точка зрѣнія государства? Безъ этого толкованія остается по меньшей мѣрѣ совершенно нестижимымъ, почему научныя способности и характеръ не представляютъ достаточныхъ гарантій для писателя, почему необходимой третьей гарантійей является положеніе. Но если бы цензоръ очутился въ затруднительномъ положеніи, если бы эти гарантіи рѣдко или никогда не находились вмѣстѣ, какой ему слѣвало бы сдѣлать выборъ, разъ необходимо сдѣлать выборъ въ виду того, что кто-нибудь долженъ же редактировать газеты и журналы? Научныя способности и характеръ безъ положенія вслѣдствіе своей неопредѣленности могутъ быть проблематичны для цензора, какъ и вообще существованіе такихъ качествъ отдѣльно отъ положенія должно возбуждать справедливое удивленіе его. Долженъ ли, наоборотъ, цензоръ сомнѣваться въ характерѣ и знаніяхъ тамъ, гдѣ имѣется положеніе? Въ этомъ случаѣ онъ меньше довѣрялъ бы сужденію государства, чѣмъ самому себѣ, а въ противномъ случаѣ болше довѣрялъ бы писателю, чѣмъ государству. Можетъ ли цензоръ быть такимъ безтактнымъ, такимъ злонамѣреннымъ? Этого нельзя ожидать, и никто навѣрное и не ожидаетъ этого. Такъ какъ положеніе въ сомнительныхъ случаяхъ бываетъ рѣшающимъ, то оно и вообще служитъ абсолютно рѣшающимъ критеріемъ.

Какъ прежде, слѣдовательно, инструкція вступила въ конфликтъ съ указомъ о цензурѣ, благодаря своей ортодоксальности, такъ теперь она вступила въ конфликтъ, благодаря своему романтизму, который всегда является вмѣстѣ съ тѣмъ и тенденціозной поэзіей. Дешевый залогъ, представляющій прозаическую, настоящую гарантію, превращается въ идеальную, а эта идеальная превращается въ совершенно реальное и индивидуальное положеніе, приобретающее магическое воображаемое значеніе. Такое же превращеніе испытываетъ значеніе гарантіи. Не издатель выбираетъ редактора, за котораго онъ ручается правительству, но правительство выбираетъ *ему* редактора, за котораго

оно само себя ручается. Старый указъ ждетъ работъ редактора, за которыя отвѣчаетъ денежный залогъ издателя. Инструкции считается не съ работою, но съ личностью редактора. Она требуетъ опредѣленной личной индивидуальности, которую должны ей доставить деньги издателя. Новая инструкция отличается такой же поверхностностью, какъ старый указъ. Но въ то время какъ послѣднй высказываетъ и устанавливаетъ, соответственно своей природѣ, нѣчто прозаически опредѣленное, первая придаетъ чистой случайности воображаемое значенiе и съ павосомъ всеобщности высказываетъ нѣчто чисто индивидуальное.

Но если романтическая инструкция по отношенiю къ редактору придаетъ полной опредѣленности тонъ самой благодушной неопредѣленности, то по отношенiю къ цензору она придаетъ самой неопредѣленности тонъ законной опредѣленности. «При назначенiи цензоровъ нужно поступать съ такой же осторожностью, чтобы поручать должность цензоровъ только лицамъ съ испытаннымъ образомъ мыслей и способностями, которыя вполне соответствовали бы почетному довѣрiю, которое эта должность предполагаетъ; лицамъ, которыя, будучи въ одно и то же время и здравомыслящими и проникательными, умѣли бы отличить форму отъ сущности дѣла и съ увѣреннымъ тактомъ умѣли бы отбросить сомнѣнiя въ тѣхъ случаяхъ, когда смыслъ и тенденцiя сочиненiя не оправдываютъ этого сомнѣнiя». Вмѣсто характера и положенiя писателя здѣсь выступаютъ испытанныя воззрѣнiя, такъ какъ положенiе уже само собой дано. Характеристика здѣсь то, что въ то время какъ отъ писателя требуются научныя способности, отъ цензора требуются способности вообще безъ дальнѣйшаго опредѣленiя ихъ. Старый указъ, составленный за исключенiемъ вопросовъ политики въ рационалистическомъ духѣ, требуетъ въ ст. 3 «научно-образованныхъ» и даже «просвѣщенныхъ» цензоровъ. Оба опредѣленiя отпадаютъ въ инструкцiи, и вмѣсто способностей писателя, подъ которыми разумѣютъ опредѣленные, развитыя и претворившiяся въ действительность способности, у цензора выступаютъ приложенныя способности, способность вообще. И такъ, приложенныя способности должны цензуровать реальныя способности, хотя явно, что по существу дѣла онѣ стоятъ другъ къ другу въ обратномъ отношенiи. Замѣтимъ, наконецъ, мимоходомъ, что способность цензора не опредѣляется точнѣе со стороны своего содержанiя, влѣдствiе чего характеръ ея во всякомъ случаѣ становится двусмысленнымъ.

Должность цензора далѣе должна быть поручена лицамъ, «которыя вполне соответствуютъ почетному довѣрiю, котораго она требуетъ». Не зачѣмъ подробнѣе разбирать это плеонастическое мнимое опредѣленiе, выбирать для должности людей, которымъ довѣряютъ, что они вполне соответствуютъ (будутъ соответствовать?) тому почетному довѣрiю, во всякомъ случаѣ очень полному довѣрiю, которое имъ оказываютъ.

Наконецъ, цензора должны быть лицами, «въ одно и то же время благонамѣренными и проникательными, которыя умѣютъ отличить

форму отъ сущности дѣла и съ увѣреннымъ тактомъ умѣютъ отбросить сомнѣніе, когда смыслъ и тенденція сочиненія не оправдываютъ этого сомнѣнія».

Напротивъ нѣсколько выше инструкція предписываетъ:

«Въ виду этого (т.-е. изслѣдованія тенденціи) цензора должны также обращать особенное вниманіе на форму и тонъ предназначаемыхъ для печатанія сочиненій и не разрѣшать ихъ печатанія, если въ слѣдствіе «страстности, рѣзкости и притязательности ихъ тенденція является вредной». Такимъ образомъ цензоръ то долженъ судить о тенденціи по формѣ, то о формѣ по тенденціи. Если прежде совершенно исчезло содержаніе, какъ критерій для цензуры, то теперь исчезаетъ и форма. Если только тенденція хороша, тогда погрѣшности формы не имѣютъ значенія. Пусть сочиненіе и не особенно серьезно и скромно написано, пусть оно будетъ въ рѣзкомъ, страстномъ и притязательномъ тонѣ, кто же испугается одной шероховатой вѣшной стороны? Нужно умѣть отличать форму отъ сущности. Пришлось отбросить всякую попытку опредѣленія, инструкція вынуждена была копчить полнымъ противорѣчіемъ съ самой собой; ибо все, изъ чего нужно заключить о тенденціи, наоборотъ само получаетъ квалификацію впервые изъ тенденціи и наоборотъ само должно быть выведено изъ тенденціи. Рѣзкость патріота—святое усердіе, его страстность—раздражительная выскочка любви, его притязательность,—доходящая до готовности жертвовать собою преданность отечеству, слишкомъ великая, чтобы онъ могъ быть умѣреннымъ.

Всѣ объективныя нормы отпадаютъ, все сводится на личное отношеніе, и гарантіей долженъ быть тактъ цензора. Что же цензоръ можетъ нарушить? Тактъ. А безтактность не преступленіе. Что въ опасности у писателя? Существованіе. Какое государство когда-либо ставило существованіе цѣлыхъ классовъ въ зависимость отъ такта отдѣльныхъ чиновниковъ?

Еще разъ повторяю, всѣ объективныя нормы отпадаютъ; со стороны писателя тенденція есть послѣднее содержаніе, которое требуется и предписано, безформенное мнѣніе въ качествѣ объекта; тенденція, какъ субъектъ, какъ мнѣніе о мнѣніи, это тактъ и единственное опредѣленіе цензора.

Но если произволъ цензора,—а право на простое мнѣніе есть право на произволъ,—есть слѣдствіе, которое было скрыто подъ маской объективныхъ опредѣленій, то инструкція, наоборотъ, съ полнымъ сознаніемъ говорить о произволѣ главнаго управленія по дѣламъ печати; ему безъ дальнѣйшихъ околичностей даруется довѣріе и это дарованное управляющему дѣлами печати довѣріе есть послѣдняя гарантія прессы. Сущность цензуры вообще такимъ образомъ основана на высокоумѣнномъ представленіи полицейскаго государства о его чиновникахъ. Умъ и добрая воля общества оказываются неспособными даже къ самому простому; зато, съ другой стороны, для чиновниковъ даже невозможное должно быть возможно.

Этотъ основной недостатокъ проходитъ черезъ всё наши учрежденія. Такъ, напр., въ уголовномъ процессѣ судья, обвинитель и защитникъ соединены въ одномъ лицѣ. Это соединеніе противорѣчитъ всёмъ законамъ психологій. Но чиновникъ стоитъ выше законовъ психологій, какъ общество ниже ихъ. Однако неудовлетворительный государственный принципъ можно извинить; но онъ становится непростительнымъ, когда онъ недостаточно честенъ, чтобы быть послѣдовательнымъ. Отвѣтственность чиновниковъ должна была бы быть несомнѣнно выше ответственности общества, такъ какъ чиновники стоятъ выше общества; и именно здѣсь, гдѣ одна только послѣдовательность можетъ оправдать принципъ, сдѣлать его справедливымъ въ своей сферѣ, именно здѣсь отъ него отказываются, именно здѣсь примѣняется прямо противоположное.

Цензоръ также является обвинителемъ, защитникомъ и судьей въ одномъ и томъ же лицѣ. Цензору поручено управленіе умами; онъ безответственъ.

Цензура могла бы имѣть только провизорно лояльный характеръ, если бы она была подчинена общимъ судамъ, что во всякомъ случаѣ невозможно до тѣхъ поръ, пока нѣтъ объективныхъ законовъ цензуры. Но самое худшее средство—это привлекать цензуру къ суду опять-таки цензуры, напр., главнаго управленія по дѣламъ печати или высшей цензурной коллегіи.

Все, что мы говорили объ отношеніи прессы къ цензурѣ, примѣнимо также къ отношенію цензуры къ высшей цензурѣ и къ отношенію писателя къ главному цензору, хотя здѣсь и является промежуточный членъ. Это то же самое отношеніе, только на болѣе высокой ступени, поразительное заблужденіе,—оставляя въ сторонѣ самое дѣло, желать придать ему другую сущность черезъ другихъ лицъ. Если бы деспотическое государство захотѣло быть лояльнымъ, то оно должно было бы прекратить свое существованіе. Каждая точка предполагала давленіе и противодавленіе. Высшая цензура также должна была бы быть подвергнута цензурѣ. Чтобы избѣжать этого убійственного круга, рѣшаются быть пелойяльными, незаконіе начинается па третьей или девяносто девятой ступени. Именно потому, что это сознаніе неясно для бюрократическаго государства, оно старается по крайней мѣрѣ такъ высоко поставить сферу беззаконія, чтобы его не было видно, и думаетъ тогда, что оно исчезло.

Дѣйствительнымъ, радикальнымъ излѣченіемъ цензуры было бы ея уничтоженіе, ибо институтъ этотъ плохъ, а учрежденія сильнѣе людей. Наше мнѣніе можетъ быть вѣрно или нѣтъ, но во всякомъ случаѣ прусскіе писатели черезъ посредство новой инструкціи приобрѣтаютъ больше либо дѣйствительной свободы, либо идеальной, т.-е. больше сознанія.

Rara temporum felicitas, ubi quae velis sentire et quae sentias dicere licet.

Примѣчанія.

Такъ какъ Маркъ приводитъ всѣ существенные пункты цензурнаго устава, чтобы комментровать ихъ, то здѣсь незачѣмъ передавать текста его. Скорѣе слѣдуетъ здѣсь для болѣе легкаго пониманія статьи Маркса привести дословно статью 2 указа о цензурѣ 18 октября 1819 г. Маркъ не дѣлаетъ различія между закономъ о прессѣ германскаго союза и прусскимъ указомъ о цензурѣ, общародованнымъ въ тотъ же самый день въ прусскомъ собраніи законовъ. Когда онъ ставитъ рядомъ статью VII и § 10, то статья заимствована изъ прусскаго указа, а параграфъ—изъ германскихъ законовъ. Но существу онъ занимается прусскимъ указомъ, во второй статьѣ котораго по его мнѣнію сконцентрированы «духъ» прусской цензуры.

Статья же эта гласитъ: «Цензура не будетъ мѣшать серьезному и скромному разслѣдованію истины, не будетъ также несправедливо притѣснять писателей, не будетъ мѣшать свободному теченію книжной торговли. Цѣль ея—не допускать того, что противно общимъ основамъ религіи, *отъ различія мнѣній и ученій отдѣльныхъ религіозныхъ партій и терпимыхъ въ государствѣ сектъ*, подавлять то, что оскорбляетъ мораль и добрые нравы, бороться противъ фанатическаго перенесенія религіозныхъ истинъ въ политику и возникающаго отсюда сдвигенія понятій; наконецъ, предупреждать то, что оскорбляетъ достоинство и безопасность какъ прусскаго государства, такъ и другихъ германскихъ союзныхъ государствъ. Сюда относятся всѣ теоріи, стремящіяся къ неспроверженію монархическихъ и существующихъ въ этихъ государствахъ конституцій; всякая клевета на правительство, находящаяся въ дружеской связи съ прусскимъ государствомъ, и на составляющія ихъ лица, наконецъ, все, что стремится къ возбужденію въ прусскомъ государствѣ или въ германскихъ союзныхъ государствахъ неудовольствій и къ подстрекательству противъ существующихъ распоряженій; всякія попытки основывать въ странѣ или внѣ ея предѣловъ партій или противозаконные союзы, или изображать въ благопріятномъ свѣтѣ существующія въ какой-либо другой странѣ партіи, стремящіяся къ неспроверженію существующаго строя».

Отсылая цензоровъ къ этой статьѣ, цензурный уставъ 24 декабря 1841 г. повторилъ ея содержаніе такимъ образомъ, что пропустилъ напечатанное курсивомъ придаточное предложеніе въ первомъ періодѣ, а

также весь второй періодъ отъ словъ: сюда относятся п т. д. Первый пропускъ былъ въ новомъ уставѣ замѣненъ предложеніемъ, что не можетъ быть терпимо все, что въ неприличной и враждебной формѣ направлено противъ христіанской религіи вообще или одного изъ ея опредѣленныхъ ученій. Въ этомъ Марксъ справедливо видѣлъ ловушку для философской литературы, ловушку, которой не зналъ старый указъ о цензурѣ. Такъ же справедливо онъ видѣлъ въ «благоразумномъ» умалчиваніи второго пункта вѣроломное лицемеріе. Уставъ вовсе не желалъ объявлять цѣлаго ряда безсмысленныхъ ограниченій печати «неумѣстнымъ», но онъ не могъ включить ихъ въ свой текстъ, не скомпрометировавъ до основанія своей «либеральной» тенденціи. Поэтому онъ утаилъ его отъ почтеннѣйшей публики, но совершенно недвусмысленно указалъ на него цензорамъ.

Если въ настоящее время сопоставить указъ о цензурѣ 1819 г. и цензурную инструкцію 1841 г., то съ перваго же взгляда видна разница: тамъ—проявленіе незаконнаго наспія, ограниченное и грубое, но въ своемъ родѣ честное и трезвое, здѣсь—мишма либеральное, пропитанное романтическими кознями. Но то, что легко теперь, было однако трудно въ 1842 г., какъ показалъ восторгъ, которымъ была встрѣчена цензурная инструкція. Нѣкоторые довольно недобѣрчиво смотрѣли на даръ Данайцевъ, особенно тѣ, которые уже пострадали отъ цензуры, но никто не умѣлъ такъ правдиво какъ Марксъ зарегистрировать исторически этотъ историческій документъ, никто не былъ такъ свободенъ отъ всякаго самообмана мишмаго либерализма; характеристика его, набросанная нѣсколькими штрихами, вѣрна еще и по настоящее время.

Ссылка на дѣятельность ревнскихъ земскихъ сословій, какъ на похвальное доказательство того, насколько полно достигаютъ гласности «такія рѣшенія, которыя подвергаютъ критикѣ мѣропріятія правительства» сдѣлана цензурной инструкціей въ предложеніи, не цитированномъ у Маркса. Марксъ имѣлъ основательныя причины смѣяться именно надъ этимъ, какъ это будетъ видно ниже. Не менѣе интересовалъ его палецъ на то, что ле цензора должны опредѣлять границу между церковью и государствомъ, но что объ этомъ должны судить дипломаты. Онъ имѣлъ въ виду кельнскія епископскія смуты, объ улаженіи которыхъ въ то время шли оживленные переговоры между Берлиномъ и Римомъ.

ИЗЪ РЕЙНСКОЙ ГАЗЕТЫ.

ВВЕДЕНИЕ.

Статьи Маркса, напечатанныя въ «Рейнской Газетѣ», были не только богаче по содержанію, но и гораздо характернѣе для его умственного развитія, чѣмъ статья, помѣщенная въ «Анекдотахъ». Своеобразный характеръ этой газеты объясняется тогдашнимъ положеніемъ дѣлъ въ прирейнскихъ провинціяхъ. Поэтому мы считаемъ необходимымъ предпослать по крайней мѣрѣ общій очеркъ этого положенія.

1. Положеніе въ прирейнской области.

Уже въ 17 столѣтіи бранденбургскіе Гогенцоллерны получили по наследству владѣнія на Рейнѣ, однако она никогда и думать не могли такъ деспотически держать ихъ въ своихъ рукахъ, какъ, напр., бранденбургскую Марку или нижнюю Померанію. Они, напримѣръ, не осмѣливались навязывать свою варварскую систему вербованія арміи этой промышленной странѣ. Даже старый Фрицъ съ вѣселою миной долженъ былъ сознаться, что рейнскому населенію въ военной службѣ недостаетъ выдержки и вѣрности. Въ то время прирейнскія области такъ же слабо были связаны съ прусской короной, какъ испанскіе Нидерланды съ австрійской.

Но это отношеніе сильно измѣнилось, когда Пруссія при торгашескомъ дѣлежѣ земель на Вѣнскомъ Конгрессѣ получила значительныя и цѣнныя владѣнія на Рейнѣ. Она получила этотъ даръ далеко не по доброй волѣ Священнаго Союза; у Меттерниха была задняя мысль—какъ можно скорѣе «скомпрометировать» опаснаго соперника передъ Франціей, которая, благодаря либеральному экономическому законодательству французской революціи, пользовалась большими симпатіями на Рейнѣ. Меттернихъ надѣялся, что прусскому выскочкѣ трудно будетъ справиться съ этой своеобразной французско-нѣмецкой жизнью. Въ своей реакціонной близорукости онъ не понималъ, что значить обладаніе областью съ самой развитой и разнообразной промышленностью во всей Германіи.

Прусскому правительству, конечно, было бы легко выйти съ честью изъ создавагося для него положенія. Но въ реакціонной близорукости оно

соперничало съ Меттернихомъ и, пожалуй, даже превосходило его въ этомъ отношеніи. Въмѣсто того, чтобы поднять свои восточныя провинціи до культурнаго уровня рейнскихъ провинцій, оно, напротивъ, старалось извести культурный уровень рейнскихъ провинцій до масштаба прусскаго юнкерства. Съ точки зрѣнія политики это было безуміемъ, съ точки зрѣнія исторіи—невозможностью. Берлинская мудрость добилась этимъ лишь того, что возбудила во вновь прибрѣтенной провинціи противъ себя гнѣвъ и ненависть. «Въ Кобленцѣ нѣтъ ни одного человѣка, который на колѣняхъ не возблагодарилъ бы Бога, еслибы провинція опять перешла во власть Франціи», сказано было даже въ правительственномъ сообщеніи государственному канцлеру Гарденбергу, который въ продолженіе многихъ лѣтъ считался еще съ возможностью отпаденія рейнскихъ провинцій къ Франціи.

Со свойственной ему основательностью и быстротой капиталистической способъ производства сравнилъ рейнскую почву и такъ радикально уничтожилъ сословное дѣленіе, что не осталось даже развалинъ, на которыхъ возможна была бы, какъ въ восточныхъ провинціяхъ, попытка феодальной реставраціи. Если еще недавно рейнское дворянство и тѣсно связанная съ нимъ церковь владѣли двумя третями земли, то при переходѣ къ Пруссіи крупное землевладѣніе настолько было уже уничтожено, что имѣніе въ 50 моргеновъ (моргенъ = 561 кв. саж.) причислялось къ крупному землевладѣнію. Въ трирекомъ округѣ насчитывалось всего 102 крупныхъ землевладѣльца, владѣвшихъ болѣе чѣмъ 300 моргеновъ, въ аахенскомъ—только 80, а въ дюссельдорфскомъ—только одинъ. Зато тѣ немногіе родовитые дворяне, которые пережили крушеніе прежней дворянской власти, съ политическимъ безстыдствомъ выступили со своими требованиями; Мирбахи, Шнее, Нессельроде и другіе требовали во имя иѣмецкой чести и иѣмецкаго права восстановленія фидеикомисса, правъ охоты, десятины; но всѣ чиновники, даже присланные изъ восточныхъ провинцій, настойчиво предостерегали берлинское правительство отъ подобнаго рода реакціонныхъ экспериментовъ: рейнскіе жители въ этомъ отношеніи не любили шутить. Только въ 1836 г., много лѣтъ спустя послѣ смерти Гарденберга, слабый король далъ себя убѣдить даровать главамъ стараго рейнскаго дворянства право распоряжаться своимъ наслѣдіемъ на автономныхъ началахъ. Но и тогда не осмѣлились опубликовать этотъ именной указъ въ собраніи законовъ—такъ опасались сопротивленія рейнскаго населенія всякой попыткѣ ограниченія свободнаго раздѣла земель. И въ самомъ дѣлѣ: хотя этотъ именной указъ сократилъ только наслѣдственные права младшихъ сыновей дворянства, тѣмъ не менѣе, какъ только онъ сталъ извѣстенъ, «родовые дворяне автономисты» на многіе годы стали предметомъ непотопныхъ насмѣшекъ.

Не лучше повезло правительству, когда оно въ 1841 г. предложило рейнскому провинціальному ландтагу положить извѣстный предѣлъ безконечному дробленію земельной собственности для «сохраненія мощнаго крестьянства». При этомъ оно опиралось на безспорный самъ по себѣ фактъ, что капиталистическій способъ производства такъ же безжалостно разоряетъ крестьянство, какъ и дворянство. По даннымъ кадастра площадь въ

10.243.790 моргеновъ была раздроблена на 11.215.527 участковъ, такъ что среднимъ числомъ каждый участокъ занималъ 160 квадратныхъ сажень: въ округѣ Кобленцъ раздробленіе дошло до такихъ предѣловъ, что средняя величина участка равнялась 60 квадратнымъ саженьямъ, а въ бассейнѣ рѣки Мозели въ трирскомъ округѣ на участокъ приходилось 20 квадратныхъ сажень. Въ долинѣ Ара пограничныя борозды отнимали 5 процентовъ поверхности земли, такъ что владѣльцы парцеллъ глази кирпичи для обозначенія границъ, что, разумѣется, вызывало безконечныя ссоры. Кадастръ, правда, давалъ преувеличенную картину дробленія, такъ какъ сплошь и рядомъ при составленіи описи участка, составлявшіе собственность одного владѣльца, заносились подъ отдѣльными номерами, вслѣдствіе различныхъ культуръ; но если дробленіе такъ быстро прогрессировало, что въ округѣ Кобленцъ по имѣвшимся свѣдѣніямъ ежегодно дѣлилось до 6000 парцеллъ и даже встрѣчались луга и виноградники, платившіе *одина* пфенингъ поземельнаго налога, то правительство не безъ основанія могло говорить о полномъ распыленіи землевладѣнія. Однако рейнскій провинціальный ландтагъ категорически отклонилъ 49 голосами противъ 8 предложенное правительствомъ ограниченіе права дробленія.

Рейнскій провинціальный ландтагъ съ виду вовсе не представлялъ такого анахронизма, какъ бранденбургскій или померанскій ландтага, такъ какъ каждое изъ трехъ сословій располагало въ немъ одинаково 25 мѣстами. Но присоединеніемъ особаго княжескаго сословія изъ 5 членовъ дворянство было ограждено отъ большинства двухъ третей, которое могло образоваться противъ него изъ крестьянъ и мѣщанъ. «Сословіе», которое не вышло подъ собой никакой почвы въ этой промышленной провинціи, получило возможность парализовать все провинціальное представительство. Благодаря песчозноенію крестьянъ, уничтоженію границъ между городомъ и деревней, для буржуазіи открылась возможность контрабандой пробраться въ ландтагъ въ качествѣ «крестьянъ», но та же самая возможность открывалась и для дворянства. Въ спискѣ крестьянскихъ членовъ ландтага за 1841 г. мы находимъ бургомистровъ, а также католическихъ священниковъ и ландратовъ. Большая часть изъ нихъ значится землевладѣльцами. Правительство противилось всѣмъ средствамъ, которыя давала ему уродливая избирательная система, болѣе значительному вторженію буржуазныхъ элементовъ. Оно проявило непреодолимое недовѣріе даже къ той части рейнской буржуазіи, которая охотно вступила бы съ нимъ въ компромиссы.

Такое направленіе среди прирейнской буржуазіи давно уже существовало, но оно съ особенной силой проявилось со времени основанія таможеннаго союза. Въ теченіе долгихъ лѣтъ мира, наступившаго послѣ 1815 г., торговля и промышленность на Рейнѣ расцвѣли пышнымъ цвѣтомъ, и за ростомъ своихъ дѣйствительныхъ барышей буржуазія охотно забыла свои французскія симпатіи. Июльская революція, возбудившая живое движеніе въ южно-германскихъ и даже въ отдѣльныхъ сѣверо-германскихъ государствахъ, повлекшая даже за собой въ Брауншвейгѣ насильственное изгнаніе одного изъ многочисленныхъ мелкихъ деспотовъ, вызвала въ рейнскомъ

пролетаріатъ отдѣльныя судорожныя выпышки; но рейнская буржуазія оставалась совершенно спокойной, отозвавшись на революцію лишь тѣмъ, что въ декабрь 1830 г. предложила прусской коронѣ очень соблазнительный компромиссъ. Давидъ Ганзemannъ представилъ королю докладную записку, въ которой онъ еще за десять лѣтъ до позволенія «Четырехъ Вопросовъ» Якоби, излагавшихъ политическую программу буржуазной идеологіи, съ милой наивностью раскрывалъ всѣ сокровеннѣйшія политическія тайны буржуазныхъ дѣльцовъ. Авторъ этой записки, человекъ лѣтъ сорока, пробылъ себѣ дорогою собственными усиліями. Будучи ученикомъ въ торговомъ дѣлѣ, онъ въ то же время служилъ мелкимъ чиновникомъ во французской администраціи; впоследствии открылъ съ незначительнымъ капиталомъ шерстяную торговлю въ Аахенѣ, которая очень быстро развилась, а въ дальнѣйшемъ онъ еще основалъ аахенское общество страхованія отъ огня.

Ганзemannъ предостерегалъ короля какъ отъ соціальной, такъ и отъ политической опасности. Онъ указывалъ на то, что въ низшихъ классахъ господствуетъ духъ возмущенія, происходящій отчасти отъ стремленія къ лучшимъ условіямъ жизни, не соответствующимъ высотѣ заработка, отчасти — также и отъ того, что, благодаря успѣху промышленности, все увеличивается раздѣленіе труда, которое въ свою очередь содѣйствуетъ дальнѣйшему развитію промышленности. «Преувеличенная филантропія прямо таки пагубна, такъ какъ положеніе бѣдныхъ, благодаря ей, становится относительно лучше положенія трудящихся классовъ». Надо стремиться къ поддержанію и повышенію ихъ чувства чести, чтобы облегчить имъ возможность посредствомъ прилежанія и бережливости пробить себѣ дорогу. Но и политическая опасность не забыта. Правительственная система неограниченнаго деспотизма мѣшаетъ развитію всякой промышленности и приводитъ государство на край гибели. Самая лучшая система—это опираться на большинство, но подъ большинствомъ слѣдуетъ понимать не большое число людей, а дѣйствительную силу націи, найти которую и составляетъ задачу правительства. Для облегченія этихъ поисковъ Ганзemannъ требовалъ уничтоженія цензуры, вотчинныхъ судовъ, цеховъ, но въ особенности провинціальныхъ ландтаговъ, которые онъ осуждалъ какъ «постройку безъ фундамента и крыши». Вместо этого онъ предлагалъ двѣ палаты, изъ которыхъ первая состояла бы изъ владѣльцевъ майоратныхъ имѣній и лицъ, облеченныхъ довѣріемъ короля, вторая же — изъ буржуа, платившихъ самые высокіе налоги.

Король при всей своей ограниченности не могъ, конечно, не видѣть, что эта докладная записка проникнута духомъ доброжелательства. Ганзemannъ получилъ въ отвѣтъ довольно милостивый именной рескриптъ; но все же съ тѣхъ поръ его считали безпокойнымъ человекомъ и много разъ не утверждали членомъ коммерческаго суда, торговой палаты, провинціального ландтага. Сочиненіе, взданное имъ въ 1833 г., свидѣтельствовало о томъ, что между классовымъ эгоизмомъ рейнской буржуазіи, съ одной стороны, и остъ-эльбскаго инквизитства съ другой — лежала огромная пропасть. Въ этомъ прозвѣденіи Ганзemannъ сравнивалъ великолѣпнѣе французской іюльской монархіи съ политической и соціальной отсталостью прусскаго

государства и требовать между прочимъ, чтобы изъ непроезжихъ военныхъ расходовъ вычеркнуто было не менѣе 9 милліоновъ. Это, конечно, вызвало въ Берлинѣ величайшее негодованіе. Все же Ганзейманъ оставался прусскимъ патріотомъ, и въ особенности съ тѣхъ поръ, какъ основаніе таможеннаго союза помогло ему оправдаться отъ нѣкоторыхъ политическихъ разочарованій. Такого же направленія придерживался и Лудольфъ Кампгаузенъ, который также началъ съ маленькаго и добился того, что сталъ первымъ человѣкомъ среди кельнской буржуазіи; особенно большія заслуги онъ имѣлъ въ учрежденіи кельнскаго пароходства. Будучи на двѣнадцать лѣтъ моложе Ганзеймана, онъ въ болѣе спокойное время приобрѣлъ болѣе основательное образованіе и былъ даже до известной степени политическимъ доктринеромъ. Главная откровенность, съ которой Ганзейманъ защищалъ капиталистическіе интересы, у Кампгаузена была слегка покрыта палетомъ доктрины. Онъ казался болѣе колеблющимся и нерѣшительнымъ, но на самомъ дѣлѣ былъ болѣе упрямымъ и настойчивымъ, чѣмъ другой вождь рейнской буржуазіи. Слѣдуетъ, впрочемъ, добавить, что оба эти человѣка очутились во главѣ прирейнской буржуазіи еще и потому, что какъ тотъ, такъ и другой приняли видное участіе въ постройкѣ прирейнской желѣзнодорожной сѣти.

Неразумная политика правительства прежде всего была во вредъ ему самому. Оно могло, конечно, считать торжествомъ тотъ фактъ, что рейнскій ландтагъ въ 1833 г. «съ негодованіемъ» отвергъ предложеніе о созывѣ имперскихъ чиновъ, а маршалъ ландтага умѣлъ втихомолку устранить нѣкоторыя другія предложенія о свободѣ печатя, публичности засѣданій ландтага, образованіи національной гвардіи. Но непрерывныя нападки на прогрессивныя учрежденія провинціи и въ особенности на кодексъ Наполеона не нашли никакого отклика въ ландтагѣ. Когда впоследствии возникъ конфликтъ изъ-за вопроса о смѣняемыхъ бракахъ, побудившій правительство къ противозаконному аресту кельнскаго архіепископа, то рейнскій ландтагъ при всей своей отсталости рѣшительно выступилъ противъ правительства. Правительство боялось, что ландтагъ тотчасъ же послѣ его созыва станетъ очагомъ клерикальной агитаціи, и лишь бы не созывать его, оно предпочло закрыть всѣ остальные провинціальные ландтаги.

Съ тѣмъ большимъ напряженіемъ прирейнская провинція слѣдила весной 1841 г. за дѣятельностью открывшагося ландтага. Онъ засѣдалъ съ конца мая въ теченіе девяти недѣль въ Дюссельдорфѣ. Правительственнымъ комиссаромъ былъ оберъ-президентъ Ф. Бодельшвингъ, который вскорѣ послѣ этого сдѣлался министромъ финансовъ, а 18 марта 1848 г. былъ министромъ внутреннихъ дѣлъ. Предсѣдателемъ ландтага былъ князь Сольмс-Лихъ, старо-сословный патріотъ, исполнявшій ту же самую функцію въ Соединенномъ ландтагѣ въ 1847 году. Кромѣ нихъ—изъ приобрѣвшихъ впоследствии известность политическихъ дѣятелей къ ландтагу принадлежалъ только эльберфельдскій купецъ фонъ-деръ-Гейдтъ. Ни Кампгаузенъ, ни Ганзейманъ не засѣдали въ немъ.

Но насколько велики были надежды, возлагавшіяся на ландтагъ, настолько же быстро пришлось въ нихъ разочароваться. Очень скоро уже оказалось, что

съ терповника не собирають смоквы. Этотъ ландтагъ сдѣлалъ такъ же мало, какъ его предшественники. Хотя въ вопросѣ о раздробленіи поземельной собственности онъ твердо придерживался старыхъ рейнскихъ традицій, но зато вопроса о конституціи онъ вообще не касался, въ вопросѣ о печати онъ не осмѣливался требовать безусловной отмены цензуры и даже въ церковно-политическомъ вопросѣ онъ только сумѣлъ устроить такъ, чтобы и волки были сыты, и овцы цѣлы. Большинствомъ двухъ третей голосовъ онъ отклонилъ требованіе либо предать суду арестованнаго архіепископа, либо возстановить его опять въ его санѣ, требованіе, въ которомъ сходились какъ либералы, такъ и ультрамонтаны. Смѣлымъ и въ то же время отвратительно богобоязненнымъ ландтагъ проявилъ себя только тамъ, гдѣ дѣло шло о хрищанскихъ интересахъ землевладѣнія. Къ тому же составленные для печати протоколы ландтага, подвергшіеся цензурѣ маршала, были такъ плохи, что ихъ совершенно невозможно было читать. Кромѣ того, кельнская газета (Kölnische Zeitung) еще больше изуродовала протоколы при отпечатаніи. Какъ потомъ оказалось, редакторъ ея, Гермесъ, былъ подкупленъ правительствомъ. Трудно представить себѣ нѣчто болѣе сухое, чѣмъ эти отчеты съ массой неинтересныхъ мелочей и съ полнымъ отсутствіемъ интереснаго матеріала.

При такомъ положеніи вещей возникла «Рейнская Газета». По соглашенію съ Кампгаузеномъ и Ганземапомъ она была основана болѣе молодыми силами рейнской буржуазіи, которая была затронута гегелевской философій. Эти молодые силы съ своей стороны привлекли молодыхъ гегельянцевъ въ Боннѣ и въ Берлинѣ. Подробности этихъ личныхъ отношеній остались неизвѣстными. Въ общемъ такой союзъ объясняется положеніемъ вещей, какъ мы мало на первый взглядъ общаго между гегелевской философій и ганземановской коммерческой практикой. Объединяющимъ звеномъ служило то буржуазное самосознаніе, которое было такъ же сильно у молодыхъ гегельянцевъ, какъ и у рейнской буржуазіи. Ганземаиъ и Гегель въ равной мѣрѣ указывали на необходимость переустройства именно прусскаго государства. Чрезвычайно вѣрный инстинктъ направилъ взоры бѣдной умственными силами буржуазіи на молодыхъ гегельянцевъ, которые являлись борцами совершенно иного типа, чѣмъ въ общемъ весьма плоскіе литераторы молодой Германіи. Изъ Берлина былъ вызванъ Рутенбергъ для редактированія прусскаго отдѣла. Кёппенъ также сотрудничалъ, а Максъ Штирнеръ впервые выступилъ публично на столбцахъ «Рейнской Газеты». Въ Боннѣ привлекли Вруно Бауера и Маркса. Въ самомъ же Кельнѣ къ редакціи принадлежали Георгъ Юнгъ, Дагобертъ Оппенгеймъ, Мефяссенъ, Бюргерсъ, Мозесъ Гессъ. Въ финансовомъ отношеніи газета была такъ обезпечена, что ей не приходилось считаться съ денежнымъ вопросомъ. Необходимое по цензурному указу 1819 г. разъясненіе правительства было добыто, какъ говоритъ Энгельсъ, окольными путями, и притомъ—какъ сказано въ позднѣйшемъ постановленіи о запрещеніи газеты—оно было дано лишь на время.

Но недовѣріе деспотизма всегда было насторожѣ, даже и по отношенію къ безусловно дружественной къ Пруссіи тенденціи новой газеты.

Она требовала гегемоніи Пруссіи въ Германіи, желательное начало ея она видѣла въ таможенномъ союзѣ. Она не требовала ничего иного, какъ только того, чтобы прусское правительство, руководствуясь только государственнымъ соображеніемъ, признало историческую необходимость и вступило на путь буржуазнаго прогресса. Свобода печати и народное представительство въ политикѣ, контроль и экономія въ финансовомъ хозяйствѣ, постройка желѣзнодорожной сѣти, общій флагъ и общіе консулы для таможеннаго союза въ области экономики—таковы были требованія «Рейнской Газеты». Она отнюдь не питала особенныхъ симпатій къ Франціи, которыя приписывала ей ребяческая подозрительность ость-эльбской полицейской системы. Она высказалась объ этомъ уже въ первомъ своемъ номерѣ, появившемся 1 января 1842 г., въ фельетонѣ, въ которомъ вообще прекрасно отражалось ея дѣйствительное направленіе.

Сотрудникъ «съ Рейна» посылалъ «привѣтъ и предостереженіе» новому борцу: «Еще одно я хочу сказать, оставайся нѣмецкой, истинно-нѣмецкой. Но пойми меня правильно: есть дешевый и, пожалуй, доходный нѣмецкій патріотизмъ. Онъ ограничивается охраненіемъ границъ имперіи; онъ относится съ подозрительностью и даже клянеть дерзкаго француза, у котораго, молъ, длинныя руки. Онъ гордится сотнями тысячъ штыковъ, которыми располагаютъ государи; ему милостиво улыбаются, и поэтому онъ постепенно начинаетъ зазнаваться и въ своей легитимности считаетъ себя единственно-истиннымъ и привилегированнымъ патріотизмомъ. Этотъ нѣмецкій патріотизмъ имѣетъ извѣстное историческое значеніе, по сравненію съ прежними временами, когда совершенно индифферентно относились къ передачѣ иностраннымъ завоевателямъ земли и людей, когда города нѣмецкихъ областей завоевывались съ оружіемъ и безъ него». Но если мы защищаемъ границы нашей страны изъ примитивнаго инстинкта самосохраненія, подобно звѣрю, защищающему свою берлогу, то развѣ надо это считать заслугой съ нашей стороны? Этотъ нѣмецкій патріотизмъ самъ собою понятенъ, о немъ не стоитъ говорить, а ужъ тѣмъ менѣе—хватать имъ.

«Заставить въ своей собственной странѣ признавать свое право и свободу и сохранять ихъ—это гораздо болѣе высокій нѣмецкій патріотизмъ, но гораздо болѣе трудный и опасный. Нѣмецкій духъ—не мертвое вещество, которое надо защищать лишь извнѣ рядомъ штыковъ. Самая большая опасность грозитъ ему изнутри отъ застоя и всякихъ препятствій, которые стѣсняють жизнь этого глубочайшаго народнаго ума, этого настойчиваго стремленія къ истинѣ и справедливости, этой безкорыстной борьбы за высочайшее благо, человѣческую свободу, и стараются направить ее по ложному пути. Борются противъ этого застоя и препятствій, которыя угнетаютъ и грозятъ задушить нашу собственную нѣмецкую жизнь, ея святой энтузіазмъ, ея гигантскія силы, которые могутъ отодвинуть на цѣлыя столѣтія золотую будущность Германіи, противъ этого старо-германскаго эгоизма, противъ традицій, мѣщанства, трусости, низкопоклонства, желанія властвовать, грѣховъ, которые прекрасно прикрываются всякими личностями, учрежденіями, отношеніями, противъ этихъ враговъ

нашей свободы, нашего права, нашей чести, которые срослись съ нами, которые представляют нашу собственную знаменку, насъ самихъ; смѣло и безпощадно сорвать маску съ нихъ, охотно пролить кровь въ борьбѣ со всѣми этими—несомнѣнно является гораздо высшимъ проявленіемъ нѣмецкаго духа, высшимъ патриотизмомъ нежели тотъ, который ограничивается распѣваніемъ патриотическихъ пѣсень, который видитъ во французѣ только пустого, безпояннаго, стремящагося къ захватамъ сосѣда и не признаетъ въ немъ свободной, проникнутой патриотизмомъ націи, который во всякомъ критикѣ пустыхъ формъ, защищаемыхъ эгоистическими интересами и ограниченностью, видитъ только друга французовъ и готовъ, подобно ястребу, на него напрыгнуться. Предоставимъ этотъ пустой нѣмецкій патриотизмъ пустозвонамъ. Итакъ, лети, молодой орелъ, и помни наши предостереженія».

Соединеніе практики и теоріи, экономіи и философіи дало «Рейнской Газетѣ» съ самаго начала значительный перевѣсъ надъ всѣми остальными нѣмецкими газетами. Но какъ ли полезно и успѣшно было это соединеніе для ближайшей цѣли, оно же или заставляло идти дальше, какъ только ближайшая цѣль была достигнута, или обазывалось недостижимымъ, потому что неразумный абсолютизмъ былъ глухъ къ языку буржуазнаго разума. Прошло немного больше года, и берлинское правительство въ своемъ неизлѣчимомъ заблужденіи убило вѣрнаго друга, котораго оно обрѣло въ лицѣ «Рейнской Газеты». Но не прошло и года, какъ у самаго младшаго ея сотрудника возникло глубокое сомнѣніе, какъ можетъ философія справиться съ экономіей, а экономія съ философіей.

2. Философія и экономія.

До октября 1842 г. Карлъ Марксъ сотрудничалъ въ Рейнской Газетѣ изъ Бонна, а начиная съ половины октября до половины марта слѣдующаго года онъ былъ ея редакторомъ, поселившись ради этого въ Кельнѣ.

Марксъ самъ говорилъ про себя впоследствии, что онъ только въ исключительныхъ случаяхъ сотрудничалъ въ газетахъ. Но, на нашъ взглядъ, онъ на первыхъ же порахъ проявилъ первоклассный публицистическій талантъ и при освѣщеніи злободневныхъ вопросовъ. Въ способности и искусствѣ улавливать историческій пульсъ быстро смѣняющихся событій, которыя вообще только и облагораживаютъ газетное дѣло, онъ былъ незамѣнимъ. Не подлежитъ сомнѣнію, что бурный темпераментъ, безъ котораго немислямы ни одинъ великій борецъ, иногда затемнялъ его сужденіе о настоящемъ и перспективы о будущемъ. Указывать на отсутствіе у него этой непогрѣшимости есть удѣлъ бездарныхъ профессоровъ, которые никогда не знали того горячаго стремленія къ истинѣ и увѣреннаго въ побѣдѣ энтузіазма разума, о которыхъ Марксъ говоритъ въ своей статьѣ о свободѣ печати. Но никто ни до, ни послѣ Маркса не умѣлъ такъ хорошо находить красную нить историческаго развитія. Передъ рѣшительной силой вопросовъ, которые онъ умѣлъ ставить, раскрывались тайны времени.

Уже первый дебютъ его въ качествѣ сотрудника большой ежедневной газеты показалъ въ немъ мастера. Онъ подвергъ всесторонней критикѣ пренія рейнскаго ландтага, и подъ его яркимъ перомъ отжившія общественныя формы какъ бы оживали. Трудно было найти болѣе энергичное средство пробудить націю изъ ея сна, чѣмъ показавъ ей, насколько отстало отъ ея умственнаго развитія даже ея самое развитое политическое учрежденіе. Марксъ былъ вполнѣ гегеліанцемъ, видѣвшимъ въ государствѣ воплощеніе правдивности и разума. Но именно поэтому онъ не восхвалялъ существующаго государства, подобно тѣмъ, которые преклонялись передъ буквой Гегеля, а указывалъ, какъ мало общаго между этимъ государствомъ и философскимъ идеаломъ государства. Онъ чрезвычайно серьезно отнесся къ историческому принципу Гегеля, къ принципу непрерывнаго развитія и выѣстъ съ тѣмъ обрушился со всей силой своей критики противъ исторической школы права, которая, неправильно понявъ Канта, защищала все созданное исторіей, даже, а можетъ быть, именно неразумное. Въ Рейнской Газетѣ Марксъ отдаетъ справедливость кантовской философіи, какъ нѣмецкой теоріи французской революціи; онъ возвращается къ Канту какъ противъ исторической школы права, такъ и противъ выродившихся гегеліанцевъ. Но онъ хорошо знаетъ, въ чемъ Гегель превзошелъ Канта. Если Кантъ раздѣлялъ еще гражданъ на полноправныхъ и неполноправныхъ членовъ государства, какъ французскіе революціонеры различали активныхъ и пассивныхъ гражданъ, то Гегель видѣлъ въ государствѣ тотъ великій организмъ, въ которомъ должна осуществляться правовая, моральная и политическая свобода и въ которомъ каждый гражданинъ, подчиняясь законамъ государства, подчиняется естественнымъ законамъ своего собственнаго разума, человѣческому разуму. Если Кантъ не видѣлъ историческаго міра, подобно французскимъ революціонерамъ, которые знали только негодное прошлое и совершенное настоящее, то въ діалектикѣ Гегеля развертывалось все богатство историческаго міра, въ которое Марксъ окупнулся, какъ молодой пловецъ въ море.

По поводу мнимой опасности этой діалектики Марксъ очень вѣрно замѣчаетъ въ Рейнской Газетѣ, что если отдѣльныя лица не перевариваютъ ее, то это такъ же мало говорить противъ нея, какъ говорить противъ механики то обстоятельство, что по временамъ паровой котелъ взрываетъ на воздухъ нѣсколько пассажировъ. Прогрессъ Гегеля по сравненію съ Кантомъ, именно въ практической борьбѣ за освобожденіе классовъ и народовъ, мы ясно можемъ видѣть, сравнивъ то, что писали противъ домартовскаго деспотизма кантіанецъ Якоби и гегеліанецъ Марксъ. Какими несчастными и жалкими кажутся Четыре Вопросы, которые Якоби постоянно варьируетъ, рядомъ со статьями, написанными Марксомъ по поводу преній рейнскаго ландтага; при этомъ онъ не исчерпалъ всей полноты политическихъ и социальныхъ перспективъ, которыя открывала ему гегелевская діалектика! Трейчке съ грубымъ преувеличеніемъ говорить, что Якоби, какъ пазойливый ростовщикъ, постоянно предъявляетъ королю его расписку, общаніе конституціи 22 мая 1815 г. Но хотя грязныя нападкы на чистый характеръ и похвальный поступокъ и достойны осу-

жденія, тѣмъ не менѣ совершенно вѣрно, что полемика Яноби всецѣло сосредоточивалась на этомъ обѣщаніи, о которомъ Марксъ не считалъ даже нужнымъ упомянуть. Безъ сомнѣнія, Фридрихъ Вильгельмъ IV долженъ былъ бы исполнить обѣщаніе своего отца, если бы все совершалось согласно категорическому императиву Канта; но такъ какъ не все совершалось по этому императиву, то дѣло приняло такой, а не иной оборотъ. Марксъ вообще мало интересовался формальной стороной вопроса о конституціи, такъ какъ онъ глубже заглядывалъ въ сущность вещей. По мѣрѣ того, какъ дебаты рейнского ландтага развертывали передъ всѣмъ народомъ діалектическую и—можно сказать—почти драматическую картину положенія, нѣмецкій филистеръ вырывался изъ состоянія общественной спячки.

И теперь еще можно возстановить планъ, по которому Марксъ намѣревался разбирать эти дебаты. Пренія о свободѣ печати и опубликованіе протоколовъ засѣданій ландтага должны были послужить матеріаломъ для первой картины. Затѣмъ должна была слѣдовать «исторія съ архіепископомъ», какъ сказано въ одномъ письмѣ Юнга къ Марксу и какъ видно изъ одного указанія въ началѣ третьей статьи. Далѣе Марксъ думалъ показать въ нѣсколькихъ жанровыхъ картинкахъ на примѣрѣ дебатовъ о законѣ объ охотничьей полиціи и о лѣсныхъ порубкахъ законодательными способности ландтага, и, наконецъ, въ заключеніе разобрать «дѣйствительно земной вопросъ во всю его величину», вопросъ о парцелляціи. Матеріаломъ для критики послужилъ для Маркса, вѣроятно, экземпляръ официальныхъ протоколовъ, полученный имъ отъ одного изъ членовъ ландтага. Кельнская Газета, по крайней мѣрѣ, привела подробнѣе только дебаты о свободѣ печати, о церковно-политическомъ строѣ и о раздробленіи земельной собственности, причемъ въ ея отчетѣ о дебатахъ о прессѣ недостаетъ нѣкоторыхъ мѣстъ, которые Марксъ цитируетъ; что же касается дебатовъ о кражѣ лѣса, то она отдѣляется нѣсколькими формальными строками. Фактически появились только первая и третья статья; вторая статья о церковной смутѣ была написана, но сдѣлалась жертвой цензуры, хотя лаконическая редакціонная замѣтка, объявляющая объ отсутствіи статьи, не говоритъ ясно объ этой причинѣ. Руге предлагалъ помѣстить ее въ Анекдотахъ, но по неизвѣстнымъ причинамъ этого не произошло. Последнихъ статей Марксъ навѣрное не обработалъ, такъ какъ вскорѣ послѣ напечатанія третьей статьи его захватили внутренніе и внѣшніе конфликты. Первая статья появилась въ маѣ и тотчасъ же имѣла громадный успѣхъ. «Ваши замѣчанія о свободѣ печати необыкновенно красивы...» писалъ Юнгъ Марксу. «Мейнелъ недавно писалъ, что Рейнская Газета уже задавила Deutsche Jahrbücher въ Берлинѣ, что она возбуждаетъ восторгъ. Затѣмъ онъ спрашиваетъ: неужели Марксъ не выступитъ вскорѣ опять и не покажетъ себя во всю? Вы во всякомъ случаѣ ему преподнесли твердый орѣхъ». Больше значенія имѣла похвала Руге въ Deutsche Jahrbücher. Онъ въ то время считался первымъ нѣмецкимъ публицистомъ и былъ настолько еще свободенъ отъ чувства зависти, что объявлялъ о блестящей звѣздѣ, которая должна была его затмить: «Ничего болѣе глубокаго и основательнаго

не было сказано, да и нельзя сказать о свободѣ печати. Мы можем себя поздравить, что въ нашей публицистикѣ выступает такое образованіе, такая гениальность, такое умѣніе побѣждать смѣщеніе понятій, и мы ни одной минуты не сомнѣваемся, что это образованіе завоюетъ для свободы печати ея реальное осуществленіе, такъ какъ люди понимаютъ незамѣтно и попадаютъ во власть истины раньше, чѣмъ они отдають себя въ этомъ отчетъ». Съ немалымъ восторгомъ говоритъ Руге въ своихъ письмахъ къ Марксу о его «превосходныхъ» статьяхъ, что это безусловно самыя лучшія статьи, которыя когда-либо написаны о свободѣ слова.

Эта похвала имѣетъ еще силу и въ настоящее время. Среди классическихъ документовъ въ защиту свободы печати статья Маркса всегда будетъ занимать первое мѣсто, а въ нѣмецкой литературѣ нѣтъ ей равной. Даже въ наше время есть еще полное основаніе проникнуться духомъ этой статьи, такъ какъ у насъ и теперь происходитъ еще борьба за свободу печати, и мы даже не избавились еще окончательно отъ остатковъ цензуры. Конечно, у насъ давно есть законъ о печати, и по отношенію къ его содержанию довольно странно звучитъ мнѣніе Маркса, называющаго законъ о печати дѣйствительнымъ закономъ, ибо онъ представляетъ положительное осуществленіе свободы; когда онъ въ дѣлѣмъ говоритъ, что сводъ законовъ есть библія свободы народа, то здѣсь уже сквозитъ гегелевская идея о государствѣ. Не слѣдуетъ притомъ упускать изъ виду, что главный вопросъ, который занималъ ландтагъ—рядомъ съ ежедневнымъ опубликованіемъ полнаго отчета о засѣданіяхъ ландтага и свободнымъ обсужденіемъ его преній, какъ и вообще внутреннихъ дѣлъ страны—сводился къ требованію карательнаго закона, взаимъ существовавшей предварительной цензуры. И ландтагъ проявилъ полное непониманіе вопроса, когда просилъ короля только регулировать дѣла печати посредствомъ цензурнаго закона, по возможности предотвращающаго всякій произволъ отдѣльныхъ цензуровъ. Поэтому требовалось по возможности рѣзко подчеркнуть разницу между закономъ о печати и закономъ о цензурѣ; при всемъ томъ основная идея статьи и по нынѣшній день еще безусловно вѣрна: строгая свобода печати лучше мягкой цензуры, хотя нынѣшній законъ о печати и очень мало походитъ на библію свободы. Самое мягкое примѣненіе закона о социалистахъ для нѣмецкой рабочей печати было гораздо болѣе невыносимо, чѣмъ суровое законодательство, которому она подчинилась до этого закона и опять подчиняется послѣ него.

Если въ этомъ пунктѣ аргументація статьи устарѣла болѣе по формѣ, чѣмъ по существу, то зато сила ея убѣдительно сохранилась цѣлкомъ во всѣхъ остальныхъ пунктахъ. Вѣдь и въ настоящее время противники свободы печати приводятъ тѣ же самыя тривиальныя глупости, которыя приводили въ 1841 г. въ рейнскомъ ландтагѣ князья, дворяне и горожане. Какъ великолѣпно отводить оныя картавое высокомѣріе, съ которыми ихъ свѣтлости, какіе-нибудь Сольмы или Види или Гацфельды, выступали на историческую сцену. Какъ остроумно разбиваетъ оныя елеиную болтовню феодально-романтическихъ рыцарей. То, что оныя запосытъ въ ихъ альбомъ насчетъ ихъ парламентскаго самодовольства, въ

настоящее время еще болѣе справедливо, чѣмъ тогда, и не только для феодально-романтическихъ рыцарей. Но самую сильную проникательность статья проявляетъ въ рѣзкой критикѣ обоюдоострой дружбы, которую проявляло городское сословіе къ прессѣ. Писатель, безъ сомнѣнія, долженъ зарабатывать, чтобы существовать и писать, но онъ ни въ какомъ случаѣ не долженъ существовать и писать, чтобы зарабатывать. Первое условіе свободы печати это, чтобы она не была ремесломъ, — таковы были эпитафии къ главѣ, которую буржуазная пресса въ теченіе шестидесяти лѣтъ наполняла скучнымъ содержаніемъ. Буржуазія не могла осуществить той свободы печати, которую Марксъ характеризуетъ замѣчательными словами, какъ открытый глазъ народнаго духа, какъ идеальный міръ, который, выростая изъ реальной дѣйствительности, въ свою очередь обогащаетъ и одухотворяетъ эту дѣйствительность. Но Марксъ еще не зналъ, что осуществить этотъ идеалъ суждено не гегелевскому государству, но пролетарской классовой борьбѣ, для которой свобода печати потому уже должна быть чисто идеальнымъ благомъ, что она только въ такомъ видѣ можетъ быть самымъ сильнымъ ея оружіемъ.

Взгляды, высказанные Марксомъ во второй его статьѣ о рейнскомъ ландтагѣ, трудно возстановить по тѣмъ случайнымъ намекамъ о парламентѣ святыхъ и пр., которые встрѣчаются въ первой и третьей статьяхъ. Болѣе сильную точку опоры представляетъ въ этомъ отношеніи, пожалуй, рѣзкая отвѣдь на нападки Кельнской Газеты противъ философской тенденціи Рейнской Газеты. Марксъ тамъ защищаетъ право философіи обсуждать въ газетахъ религіозныя дѣла, какъ и право газеты философски разсматривать политику въ такъ называемомъ христіанскомъ государствѣ. Онъ изображаетъ это государство какъ педоноеокъ. Именно христіанство отдѣлило церковь отъ государства. Христіанское государство можетъ быть только всемірной папской монархіей, какъ справедливо доказываетъ Геррессъ, или же оно будетъ религіозно замаскированнымъ деспотизмомъ. Ясно, что можно было отсюда вывести по отношенію къ тогдашней церковной смутѣ: во-первыхъ, протестъ противъ ультрамонтанскихъ претензій на господство, встрѣчавшихъ всегда рѣзкій отпоръ въ Рейнской Газетѣ, и, во-вторыхъ, протестъ противъ насильственного вмѣшательства правительства въ церковныя дѣла и наконецъ осужденіе ландтага, не занявшаго въ этомъ вопросѣ опредѣленной позиціи. Въ августѣ Марксъ ополчился противъ исторической школы права, какъ въ іюлѣ противъ такъ называемаго христіанскаго государства, въ статьѣ, точно такъ же появившейся по случайному поводу, по поводу празднованія пятидесятилѣтняго докторскаго юбилея Гуго. Въ обѣихъ своихъ статьяхъ Марксъ рѣзко и отчетливо отграничилъ себя справа.

Иначе дѣло обстояло съ отграниченіемъ себя слѣва. Въ третьей статьѣ о засѣданіяхъ ландтага Марксъ, какъ онъ впоследствии выразился, попалъ въ затруднительное положеніе, писать о матеріальныхъ интересахъ, которые не были предусмотрѣны въ идеологической системѣ Гегеля. Тѣмъ не менѣе съ закономъ о кражѣ лѣса онъ справился съ философской точки зрѣнія. Нефѣроятная смѣлость, съ которой ландтагъ попираетъ ногами всякое тре-

бованіе челоуѣчности и морали, права и государственности, лишь бы удовлетворить хищническіе интересы дѣсовладѣльцевъ, представляла богатѣйшій матеріалъ для публициста. Съ точки зрѣнія философіи права и государства слѣдовало бичевать эту хищническую систему и извлечь серьезный и поучительный урокъ для государства, еслибы оно вздумало поставить интересы частной собственности выше своихъ собственныхъ интересовъ. Глубокое и правдивое возмущеніе, бьющее изъ каждой строки, вытекало изъ глубокой и искренней симпатіи, которую Марксъ питалъ къ «бѣдной, лишенной политическихъ и социальныхъ правъ, массѣ». Голое сердце толкало величайшаго передового борца пролетариата на путь его великой борьбы.

Въ третьей статьѣ Марксъ близко подходитъ къ границѣ социализма, но она еще не переходитъ этой границы. Несколько фразъ, звучащихъ социалистически, не должны насъ вводить въ заблужденіе. Когда Марксъ спрашиваетъ, не является ли при извѣстныхъ предпосылкахъ всякая собственность кражей, то предпосылки эти имѣютъ юридической, а не экономической характеръ. Именно для установленія понятія объ уголовномъ характерѣ кражи Марксъ говоритъ: если вы доводите это понятіе до абсурда для того лишь, чтобы удовлетворить ваши жалкіе собственническіе интересы на счетъ бѣдной массы, то вы превращаете всякую собственность въ кражу; это положеніе чрезвычайно далеко отъ социалистическаго духа того крылатаго слова, которое было пущено въ оборотъ на два года раньше Ирудономъ. Точно такъ же о прибавочной стоимости Марксъ говоритъ только въ томъ смыслѣ, который придавался этому выраженію съ незапамятныхъ временъ въ обыкновенныхъ дѣловыхъ сношеніяхъ. Подъ этимъ подразумѣвали всякое увеличеніе цѣнности, ничего не стоившее владѣльцу товаровъ. Дѣлать изъ этого слова выводъ, что уже въ Рейнской Газетѣ Марксъ предвосхитилъ свою будущую теорію прибавочной стоимости, значило бы пошатъ пальцемъ въ небо, какъ это случилось съ тѣмъ профессоромъ, который въ восьмидесятихъ годахъ хотѣлъ обвинить Маркса въ плагиатѣ, потому что слово прибавочная стоимость встрѣчалось уже въ экономической литературѣ раньше, чѣмъ Марксъ развила свою теорію прибавочной стоимости, хотя и въ совершенно другомъ смыслѣ.

Какъ въ философіи права, такъ и въ философіи государства Марксъ придерживался еще Гегеля. Необузданное стремленіе рейнскаго ландтага къ эксплуатаціи онъ выводилъ изъ его феодальнаго характера, а не изъ характера капиталистическаго общества. Онъ еще не знаетъ, что въ гегелевскомъ государствѣ, которое по существу было конституционнымъ государствомъ, точно такъ же «собственный дѣса побѣдитъ челоуѣка», «безнравственная, неразумная благодушная абстракція опредѣленной матеріи» одержитъ побѣду надъ разумомъ и моралью государства. Въ 1878 г. вслѣдъ за изданіемъ закона о социалистахъ вышелъ прусскій законъ о полевой и лѣсной полиціи, который такъ же безцеремонно расправлялся съ обычнымъ правомъ бѣдности, какъ рейнскій ландтагъ 1841 г. Можно, конечно, сказать, что прусское представительство дешажнаго мѣшка не лучше до-мартовскихъ ландтаговъ, хотя бессмысленность трехклассной

избирательной системы при всем томъ не такъ нелѣпа, какъ системы, по которымъ избирались провинціальныя ландтаги. Но тогда можно провести и другую параллель. Какъ видно изъ вступленія и заключенія третьей статьи, въ четвертой статьѣ Марксъ хотѣлъ разсматривать законъ объ охотничьей полиціи, представленный рейнскому ландтагу. Онъ остритъ пядь культомъ животныхъ, который землія сословія проявили по отношенію къ зайцамъ. Отчетъ объ этомъ засѣданіи такъ кратко переданъ въ Кельнской Газетѣ, что нельзя понять духа дебатовъ. Во всякомъ случаѣ ландтагъ рѣшилъ незначительнымъ большинствомъ, что за убытки, причиненные зайцами, слѣдуетъ платить вознагражденіе. Но когда нѣсколько лѣтъ тому назадъ это обязательство вознагражденія за убытки должно было войти въ гражданское право Германской Имперіи, то ость-эльбскіе юнкера грозили уничтожить все гражданское уложеніе, если по отношенію къ зайцамъ не будетъ проявленъ культъ животныхъ, и рейхстагъ, выбранный на основѣ всеобщаго избирательнаго права, подчинился этой безстыдной угрозѣ.

Чтобы понять, какъ развивался современный научный коммунизмъ въ головѣ его перваго піонера, нужно точно различать всѣ эти вещи, и тѣмъ болѣе точно, что на этотъ счетъ существуетъ уже цѣлая университетская легенда. По академическому пониманію историческое развитіе только тогда существуетъ, когда оно зарегистрировано нѣмецкимъ профессоромъ; такъ, Рошеръ тридцать лѣтъ тому назадъ вѣщалъ, что «знаменитая книга» Лоренца Штейна о французскомъ социализмѣ и коммунизмѣ, появившаяся осенью 1842 г., казалась большей части нѣмецкой публики «сказкой изъ прекраснаго далека»; этотъ оракулъ затѣмъ превратился въ новѣйшую университетскую премудрость, согласно которой книга Штейна будто сдѣлала Маркса социалистомъ. Такъ какъ невозможно больше стало замалчивать Маркса, то по крайней мѣрѣ утѣшали себя тѣмъ, что онъ всѣмъ обязанъ ученію нѣмецкаго профессора.

Но въ этомъ легендарномъ измысленіи нѣтъ ни на волосъ правды. Французскій социализмъ и коммунизмъ стали предметомъ общаго разговора для «нѣмецкой публики» еще задолго до появленія книги Штейна. Можно даже сказать, что тогдашнія ежедневныя газеты больше занимались имъ, чѣмъ нѣмецкими дѣлами, за которыя цензора больше преслѣдовали ихъ. Сент-Симонизмъ создалъ уже въ тридцатыхъ годахъ маленькую литературу. Въ 1840 г. Хуроа далъ нѣмецкое изложеніе фурьеризма. Это былъ нѣкій господинъ фонъ Рохау, который въ тридцатыхъ годахъ принималъ участіе въ штурмѣ франкфуртской таунтвахты, въ пятидесятыхъ годахъ писалъ о «реальной политикѣ», въ шестидесятыхъ редактировалъ еженедѣльный журналъ Національнаго Союза, а въ семидесятыхъ сталъ почитателемъ Бисмарка. На конгрессѣ ученыхъ, происходившемъ осенью 1842 г. въ Страсбургѣ, гдѣ были многочисленныя представители изъ Франціи и Германіи, теорія французскаго социализма обсуждалась даже совершенно официально. Такимъ образомъ книга Штейна безусловно не была внезапно появившимся метеоромъ, освѣтившимъ неизвѣстную до сихъ поръ мѣстность. Штейнъ самъ говоритъ, что онъ основывается на Рейбо. Онъ глав-

нымъ образомъ далъ новый очеркъ давно извѣстнаго сенсимонизма и фурьеризма; затѣмъ у него безпорядочно вперемежку проходятъ Ламение, Леру, Прудонъ, Луи Бланъ, какъ «второстепенные писатели», что уже само по себѣ служить достаточнымъ доказательствомъ того, что ему недоставало болѣе глубокаго пониманія предмета. Мы этимъ вовсе не думаемъ отказывать книгѣ въ ея скромныхъ достоинствахъ. Штейнъ въ Парижѣ встрѣчался съ Консидеравомъ, Кабе, Луи Бланомъ и кой-чему научился отъ нихъ. Онъ имѣлъ уже приблизительное, хотя и смутное представленіе о томъ, что французскій социализмъ и коммунизмъ представляютъ не литературную забаву, но являются умственнымъ отраженіемъ общественаго переворота. Это однако не помѣшало ему поддѣвать жалобной академической пѣсенкѣ объ «отрицательныхъ» и «разрушительныхъ тенденціяхъ».

Возможно, что Марксъ сейчасъ же прочиталъ эту книгу, но несомнѣнно, что онъ слышалъ о французскомъ социализмѣ и коммунизмѣ еще задолго до ея появленія. Но чему могъ научиться этотъ основательный и глубокій умъ изъ поверхностной компіляціи о движеніи, для котораго въ Германіи недоставало еще фактической почвы? Тяжелымъ и узорнымъ трудомъ Марксъ усвоилъ себѣ гегелевскую философію; онъ такъ мастерски овладѣлъ ею, какъ никто другой изъ его современниковъ. Посредствомъ ея діалектики онъ старается справиться съ практическими современными вопросами, и пока ему это удавалось, у него не было потребности заниматься другими вопросами. Въ третьей статьѣ о рейнскомъ ландтагѣ, въ которой онъ на нѣсколькихъ страницахъ болѣе рѣзко поставилъ вопросъ о собственности, чѣмъ Штейнъ во всей своей толстой книгѣ, онъ избѣгалъ всякаго намека на социалистическія теоріи; это только свидѣтельствуетъ о строгой послѣдовательности его метода мышленія. Но все болѣе приближался моментъ, когда социализмъ сталъ передъ нимъ не въ видѣ балетристической забавы, а во всей огромной серьезности «земного вопроса во весь его ростъ».

Четвертую статью о феодальныхъ аппетитахъ на исключительное право охоты Марксъ могъ бы еще писать въ духѣ гегелевской философіи права и государства, но не пятую, которая должна была разсматривать вопросъ о раздробленіи земельной собственности. О свободѣ дробленія земли Марксъ думалъ такъ же, какъ и вообще вся буржуазная Рейнская провинція. Въ статьѣ о положеніи виподльовъ на Мозель, которая написана не Марксомъ, но по всей вѣроятности переработана имъ, говорится, что ограниченіе свободы раздробленія прибавило бы крестьянину къ его физической бѣдности и юридическую. Однако дробленіе неизбежно создавало безпомощный пролетаріатъ. Оно подвергалось нападкамъ не только со стороны «дворянскихъ автономистовъ», но также и со стороны французскихъ социалистовъ. Они ставили его въ одинъ рядъ съ атомистической изолированностью ремесла. Невозможно было основательно разобрать этотъ вопросъ, не разобравшись въ социализмѣ. Марксъ не былъ бы Марксомъ, если бы онъ подошелъ къ этому явленію съ «поверхностными взглядами момента», если бы онъ довольствовался той жалкой литературной стряпней (Stämpereien), которая преобладала въ нѣмецкой прессѣ; въ этомъ отношеніи даже

Рейнская Газета не составляла исключения. Когда Марксъ въ октябрѣ 1842 г. перенялъ ея редактированіе, у него составилось рѣшеніе познакомиться съ французскимъ социализмомъ изъ первоисточниковъ «посредствомъ упорнаго и глубокаго изученія».

Но тутъ онъ тотчасъ же столкнулся съ вопросомъ въ формѣ практической полемики. Рейнская Газета только что напечатала нѣсколько «плохихъ статей» по социальному вопросу: она перепечатала изъ «Молодого поколѣнія» Вейтлинга статью «Берлинскіе семейные дома», какъ статью по «важному современному вопросу», а въ отчетѣ о страбургомскомъ научномъ конгрессѣ вставила нѣсколько ничего не говорящихъ строкъ; тамъ говорилось, что стремленіе немущаго сословія къ богатствамъ среднихъ классовъ составляетъ проблему, которую можно сравнить съ борьбой среднихъ классовъ противъ французскаго дворянства въ 1789 г.; но на сей разъ вопросъ этотъ встрѣтитъ мирное разрѣшеніе. На основаніи этого Allgemeine Zeitung (Всеобщая Газета) въ Аугсбургѣ обвинила ее въ коммунистическихъ возрѣвнняхъ. Между обѣими газетами давно уже существовала сильная вражда. Allgemeine Zeitung такъ же мало была подкуплена Меттернихомъ, какъ Рейнская Газета Гизо, но она была тѣсно связана съ вѣнскимъ придворными сферами, которыя дѣятельно сотрудничали на ея столбцахъ. Она боролась за австрійскую гегемонію, какъ Рейнская Газета за прусскую. Къ тому же Allgemeine Zeitung видѣла въ противницѣ серьезную угрозу своей давнишней монополіи крупной газеты.

Между обѣими газетами происходили постоянныя тренія, однако Рейнская Газета рыцарски отказалась использовать памфлетъ, который подъ псевдонимомъ Мефистофеля лѣтомъ 1842 г. распространялъ всякаго рода сплетни насчетъ «Всеобщей Газеты». Поэтому это было далеко не по-рыцарски, что Allgemeine Zeitung бросила ненавистной соперницѣ опасное обвиненіе въ коммунизмѣ.

Но если это обвиненіе не было рыцарскимъ, зато оно было очень ловкимъ. Симпатія Рейнской Газеты къ социалистическимъ рѣчамъ на страбургомскомъ конгрессѣ ученыхъ Allgemeine Zeitung иллюстрировала рѣчью Геннекена, въ которой было сказано, что главное зло—въ изолированности рабочихъ и въ раздробленности землевладѣнія; очень жаль-де, что совершенно отказались отъ прежней системы, при которой землевладѣльцы представляли собою, по крайней мѣрѣ, иѣчто сильное и единое. По поводу этого Allgemeine Zeitung ехидно замѣчаетъ: «Въ этомъ отношеніи г-нъ Геннекенъ находится въ поразительной гармоніи съ автономистами на Рейлѣ». Еще болѣе тяжелую артиллерию она выдвинула затѣмъ противъ статьи, замѣтванной изъ «Молодого Поколѣнія» Вейтлинга — о Берлинскихъ семейныхъ домахъ.

Во Франціи и въ Англіи, говоритъ газета, гдѣ коммунизмъ бродитъ въ сотняхъ тысячъ головъ,—это признакъ болѣзни, а не лѣкарство, какъ думаетъ Тьеръ,—ни одна больная газета не позволяетъ себѣ подносить подобный вздоръ въ фельетонахъ. Угроза социализма чувствуется тамъ страшно близка, и поэтому тамъ съ нимъ считаются какъ съ надвигающимся бѣдствіемъ. Даже строго республиканскія газеты, въ родѣ National, относятся

къ нему враждебно, за что коммунисты, впрочемъ, и ненавидятъ ее сильнѣе, даже чѣмъ *Journal des Debats*. Въ Германіи, гдѣ это зло—дѣло далекаго будущаго, съ нимъ можно еще кокетничать «въ невпниной простотѣ, такъ какъ мы знаемъ, что эти господа вовсе не думаютъ раздѣлить своего имущества съ рабочими, строящими Кельнскій соборъ, или съ портовыми грузчиками». Сень-Симонысты, по мнѣнію газеты, въ свое время были людьми другого пошиба, они были практиками, сумѣвшими сколотить состояніище, нѣкоторые даже довольно изрядное. Правда, потомъ они обанкротились, но оставшіеся по большей части живутъ на счетъ явныхъ или секретныхъ фондовъ государства. Во всякомъ случаѣ, они дали примѣръ, какъ такіа идеи могутъ стать дѣйствительностью и войти въ жизнь. «Мы знали одного члена, сына богатаго банкира, съ кой-какими заслугами въ области науки, который отдалъ все свое состояніе, и согласно волѣ отца Алфанта, числясь своимъ товарищамъ тарелки и сапоги». Это былъ пропичскій намекъ на богатыхъ вундешныхъ сыновей, сотрудничавшихъ въ Рейнской Газетѣ.

Въ заключеніе *Allgemeine Zeitung* выпустила самую острую свою стрѣлу: она указывала на отсталость Германіи въ смыслѣ экономическаго развитія, на бѣдность ея экономически независимыми элементами и на жалкое состояніе рынка, на упадокъ судоходства и цвѣтущихъ нѣкогда городовъ и т. д. Только когда всѣ эти бѣдствія будутъ устранены, настанетъ пора говорить о возможности господства капитала и промышленности. «Если мы едѣлаемъ это уже теперь и будемъ угрожать среднему классу, только что начавшему свободно дышать, только что робко раскрывшему глаза, судьбою французскаго дворянства 1789 г., то мы только выкажемъ себя дѣтьми, которыя не могутъ видѣть никакого заблужденія въ сосѣдней странѣ, не попытавшись перенести его въ нѣмецкую печать. Этими мы однако лишь затруднимъ и отсрочимъ завоеваніе всѣхъ тѣхъ политическихъ гарантій, которыя безусловно необходимы. Произойдетъ то, что уже произошло съ христіанствомъ, благодаря его высмѣиванію со стороны тѣхъ же круговъ». Такимъ образомъ досталось и молодымъ гегельянамъ изъ Рейнской Газеты.

Эти нападки едва ли исходили изъ редакціи *Allgemeine Zeitung*, еще менѣе онѣ могли быть продиктованы Вѣскимъ дворомъ, въ атмосферѣ котораго врядъ ли могло произрасти столько чисто современнаго коварства. Онѣ не были также результатомъ дѣйствительнаго страха, ибо въ такомъ случаѣ *Allgemeine Zeitung* должна была бы возбудить противъ себя самой процессъ за коммунистическій образъ мыслей: парижскія письма Генриха Гейне, которыя она печатала за нѣсколько мѣсяцевъ или даже недѣль, о всемірной социальной революціи, объ англійскомъ чартизмѣ и французскомъ коммунизмѣ, были съ точки зрѣнія сыска гораздо болѣе опасны, чѣмъ нѣсколько безвредныхъ замѣчаній Рейнской Газеты. Но отъ кого бы ни исходилъ ударъ, онъ былъ хорошо обдуманъ и хорошо направленъ. Онъ поставилъ новаго редактора Рейнской Газеты въ неудобное положеніе, такъ какъ онъ долженъ былъ защищать то, что въ его собственныхъ глазахъ было жалкой стряпней».

Маркс поступил самым лучшим и самым честным образом, если принять во внимание данные обстоятельства. Он молчаливо обошел то, чего нельзя было защищать, и открыто высказал, что Рейнская Газета не составляла себе еще определенного взгляда на коммунизм. Она намѣревается еще только подвергнуть коммунистическія идеи основательной критикѣ. Далѣе Маркс могъ уже сослаться на то, что говорилось въ Рейнской Газетѣ. Развѣ коммунизмъ въ самомъ дѣлѣ не былъ «важнымъ вопросомъ момента», для освѣщенія котораго описаніе Берлинскихъ семейныхъ домовъ имѣло гораздо больший интересъ, чѣмъ пелѣная идея, будто монархія должна усвоить себѣ социалистическо-коммунистическія идеи по-своему? Или, можетъ быть, надежда на «мирное рѣшеніе» неизбежнаго столкновения заслуживаетъ гнѣвнаго отношенія? Маркс переноситъ борьбу въ непріятельскій лагерь, приписывая противнику кровавадыя и коммунистическія вождедѣнія, что, по выраженію Лессинга, слѣдуетъ, конечно, понимать въ гимнастическомъ, а не догматическомъ смыслѣ. Главное обвиненіе, а именно, что социалистическая агитация является чрезвычайно обоюдоострымъ дѣломъ въ такой капиталистически неразвитой странѣ, какою была въ то время Германія, Маркс обходитъ молчаніемъ: ему самому впоследствии не разъ приходилось защищать эту же мысль, но лишь въ болѣе правильной постановкѣ.

Отповѣдь появилась въ Рейнской Газетѣ безъ заглавія, въ качествѣ первой статьи изъ Кельна; я охотно сознаюсь, что заглавіе: «О коммунизмѣ», которое я ей далъ, слишкомъ обще и безцвѣтно. Но трудно было найти объективно соответствующее заглавіе для статьи, весь центръ тяжести которой лежитъ въ области индивидуальной психологіи. Это не самая побѣдоносная полемика, которую велъ Марксъ, но она показываетъ намъ его въ яркомъ освѣщеніи на великомъ поворотномъ моментѣ его жизни. Онъ позднѣе указалъ, что споръ съ Allgemeine Zeitung сдѣлалъ для него непріятной его дѣятельность въ Рейнской Газетѣ, что онъ «съ жадностью» воспользовался случаемъ уйти съ арены общественной дѣятельности въ кабинетъ ученаго. Но раньше чѣмъ онъ могъ воспользоваться этимъ случаемъ, ему пришлось еще въ теченіе пяти мѣсяцевъ вести внутреннюю и вѣшнюю борьбу.

3. Разрывъ со «Свободными».

Внутренняя борьба началась разрывомъ съ берлинскими «Свободными» (Freien) съ «правидѣніемъ 1842 г.», какъ впоследствии Бруно Бауеръ проиически назвалъ «Свободныхъ»; это было сказано очень мѣтко, хотя и не въ томъ смыслѣ, какой придавалъ этимъ словамъ Бауеръ.

Въ воплѣ старыя дружескія отношенія между Бауеромъ и Марксомъ не прерывались. Такъ, по случаю смерти старика Вестфалена Бауеръ выказалъ другу сердечнѣйшее участіе. Затѣмъ Бауеръ 29 марта получилъ свой докторскій дипломъ, и въ первыхъ числахъ мая вернулся обратно изъ Бонна въ Берлинъ. Въ іюнѣ пространная корреспонденція въ Кенигсбергской Газетѣ сообщала о томъ, что въ Берлинѣ возникъ союзъ «Сво-

бодныхъ», который намѣревается идти по стопамъ извѣстныхъ голштинскихъ филаетовъ конца 18 столѣтія. Новый союзъ, какъ и филаеты, отрицаетъ библію, но не желаетъ замѣнить ее какимъ-либо другимъ определеннымъ исповѣданіемъ, а выставляетъ на своемъ знамени одну лишь автономію духа. «Свободные» предполагали однако выступать болѣе рѣзко, чѣмъ филаеты, какъ противъ государства, такъ и противъ церкви. Между прочимъ, они рѣшили официально объявить о своемъ выходѣ изъ церкви, чтобы пассивнымъ поведеніемъ не вызвать подозрѣнія въ лицемеріи.

Джонъ Генри Макай, который въ своемъ добросовѣстномъ трудѣ о Макай Штирнерѣ подробно говоритъ о берлинскихъ «Свободныхъ», считаетъ само собою понятнымъ, что весь этотъ вздоръ либо придуманъ какимъ-либо газетнымъ репортеромъ ради заработка, либо переданъ ему какимъ-нибудь шутникомъ изъ «Свободныхъ» и профаномъ принять за чистую монету. Но Макай проглядѣлъ, что та же самая корреспонденція помѣщена была во всѣхъ доступныхъ «Свободнымъ» газетахъ и, между прочимъ, также и въ Рейнской Газетѣ. Это былъ, конечно, пuffed, но пuffed, исходившій отъ самихъ «Свободныхъ». Марксъ такъ и попалъ дѣло съ самаго начала, какъ это видно изъ письма къ нему Руге отъ 7 августа, въ которомъ мы читаемъ: «Вы тогда затронули вопросъ о «Свободныхъ» и филаетахъ; ни тѣ, ни другіе не существуютъ. Это—манера «стрѣлять холостыми зарядами», какъ выразился одинъ мой старый другъ, который первый крестилъ филаетовъ въ 1830 г. Она ни къ чему не ведетъ и доказываетъ только, какъ плохо мы до сихъ поръ еще разбираемся даже въ практическихъ проблемахъ. Вы тогда совершенно правильно характеризовали это, какъ чисто газетную вылазку». На самомъ дѣлѣ никогда не существовало замкнутого союза «Свободныхъ», но «привидѣніе» его «Свободные» первые сами нарисовали на стѣнѣ.

Сюда вошли люди, уцѣлѣвшіе еще отъ стараго докторскаго клуба. Они вновь сгруппировались вокругъ Бруно Бауера, и при нѣскольکو болѣе живой духовной жизни, явившейся въ свою очередь результатомъ новаго цензурнаго устава, они до извѣстной степени составили весь берлинскій литературный міръ, поскольку этотъ послѣдній не былъ на службѣ у правительства; впрочемъ даже этихъ границъ не придерживались строго. Такъ, напр., цензоръ Сенъ-Поль, посланный въ Кельнъ, какъ особенно искусный палачъ, чтобы задуть Рейнскую Газету, вращался до и послѣ этого культурнаго подвига между берлинскими «Свободными». Среди ихъ именъ, старательно собранныхъ Макаемъ, мы находимъ почти всѣхъ домартовскихъ литераторовъ Берлина, при чемъ, конечно, попадаютъ и нѣкоторыя ошибки: такъ, напримеръ, Марксъ никогда не принадлежалъ къ «Свободнымъ», имя которыхъ всплываетъ только черезъ годъ послѣ его отъѣзда изъ Берлина. Макай однако находится на вѣрномъ пути, когда онъ къ ядру этой кометы причисляетъ Бауеровъ, Буля, Мейена, Мака Штирнера, Фаухера, Марона. О Кеппенѣ заслуживающей довѣрія свѣдѣтель сообщаетъ, что онъ скоро же ушелъ изъ этой компаніи.

Но трудно болѣе неправильно оцѣнить дѣятельность «Свободныхъ», чѣмъ

это дѣлаетъ Макай, когда онъ говоритъ, что едва ли когда-либо въ исторіи другого народа—за исключеніемъ развѣ эпохи французскихъ энциклопедистовъ—существовалъ такой значительный, своеобразный, интересный и радикальный кругъ людей, какой представляли «Свободные». Кружокъ этотъ, продолжаетъ Макай, можетъ быть, не былъ вполне достойнымъ фономъ для такого несравненнаго мыслителя, какъ Максъ Штирнеръ, но во всякомъ случаѣ не былъ недостойнъ его. Поэтому Макай изливаетъ весь свой гнѣвъ противъ Руге, Гервега и Гоффмана фонъ-Фазерслебенъ, которые, пріѣзжая въ Берлинъ, не находили рѣшительно никакого интереса въ дѣлахъ «Свободныхъ».

Если хотѣть быть справедливыми по отношенію къ «Свободнымъ», то надо вспомнить грубое, но вѣрное опредѣленіе Руге. По его мнѣнію, ихъ пустое, ненужное, глупое, гениальное, напускное, разсѣянное на рекламу, лишненное всякаго благороднаго пафоса безобразіе пыгло свои корни въ низости и убогости берлинской жизни. Въ самомъ дѣлѣ, въ Берлинѣ, можно сказать, совершенно не существовало той сильной опоры для буржуазнаго самосознанія, которую въ рейнскихъ провинціяхъ составляла богато развитая промышленность. Когда борьба стала переходить на практическую почву, Берлинъ очутился позади Кельна, Лейпцига и даже Кенигсберга. Берлину недоставало историческихъ традицій независимости. Братковременный періодъ его политической самостоятельности закончился четыре вѣка тому назадъ. Съ тѣхъ поръ его источникъ и порабитилъ суровый депотизмъ; это были военный и столичный городъ, мелкобуржуазное населеніе котораго мстило, правда, своимъ угнетателямъ злымъ языкомъ, но тутъ же замирало въ вѣрноподданническомъ смиреніи, когда приходилось сжимать кулаки не въ карманѣ. Истиннымъ типомъ этой оппозиціи былъ занимавшійся сплетнями салонъ Варнгагена. Независимые умы, къ числу коихъ несомнѣнно принадлежалъ Бруно Бауеръ, не могли сдѣлать ничего путнаго съ такимъ матеріаломъ. Вдохнуть свѣжій духъ двумъ филистерскимъ газетамъ, съ незапамятныхъ временъ выходившимъ въ Берлинѣ, именно Vossische и Spenersche Zeitung, было невозможно, новая же газета, которую Буль пытался издавать, очень скоро была запрещена правительствомъ. Философія, спустившаяся съ облаковъ, нешла въ Берлинѣ твердой почвой, на которой она могла бы двигаться, никакихъ важныхъ интересовъ, на которые она могла бы опереться. Она попала въ бездонное болото, надъ которымъ она только мерцала, какъ неясный блуждающій огонекъ.

Эти обстоятельства объясняютъ характеръ «Свободныхъ», хотъ и не оправдываютъ его. При всемъ томъ всегда останется психологической загадкой, какъ человекъ съ выдающимся умомъ Бруно Бауера могъ, выражаясь мягко, находить интересъ въ шутовскихъ продѣлкахъ, о которыхъ рассказываетъ восторгающійся историкъ «Свободныхъ». Днемъ они засѣдали въ красной комнатѣ у Штегеля на Жантармскомъ рынкѣ (Gensdarmen Markt), сообщали другъ другу всѣ сплетни дня для того, чтобы потомъ помѣстить ихъ въ иностранныхъ газетахъ. Вечеромъ они встрѣчались у Вальбурга на Почтовой улицѣ и у Ганселя на Фридрихштрассе, играли въ карты, курили, пили, ссорились, флигарничали съ посторон-

ними посѣтителами и своей критикой уничтожали весь существующій порядокъ, — сядя за столомъ въ кабарѣ. Когда хозяинъ отказывалъ имъ въ кредитъ, они съ вѣнственнымъ видомъ расхаживали по улицамъ и, снявъ шляпы, просили милостыню у встрѣчныхъ, въѣшность которыхъ позволяла надѣяться, что они не откажутъ въ талерѣ. Или же они отправлялись толпами, мужчины и женщины, послѣднн въ мужскихъ костюмахъ, въ публичные дома у Кенигсмауеръ и паясничали тамъ до тѣхъ поръ, пока ихъ не выгоняли. Самый выдающійся подвигъ ихъ въ этомъ жанрѣ было въначаше Штирнера осенью 1843 г. Въ квартиру Штирнера былъ приглашенъ ничего не подозревавшнй священникъ, гдѣ его принялъ столны «Свободныхъ» за карточной игрой, безъ скертуконъ. Только при его появленн онъ надѣл спон потертые пиджаки. Затѣмъ вошла невѣста безъ всякихъ подвѣчныхъ украшенн; свидѣтели во время религіозной церемонн смотрѣли въ окно. На просьбу дать библію священнику отвѣтили, что ея нѣтъ. Точно такъ же не было обручальныхъ колецъ. Бруно Бауеръ снялъ иѣдныя колечки со своей денежной сумочки и передалъ священнику съ замѣчаніемъ, что для этой цѣли они достаточно хороши. Берлинскіе мѣщане на половину съ удивленіемъ, на половину съ ужасомъ смотрѣли на это безсмысленное высмѣиваніе беззащитнаго попика, какъ смиренный филстеръ смотритъ обыкновенно на взбѣсившагося филстера.

Нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что эти взбѣсившіеся филстеры абсолютно не могли выговорить представителямъ буржуазной оппозиціи, прѣхавшимъ изъ-за границы. Дѣло приняло серьезный оборотъ, когда Гервегъ во время своей триумфальной поѣздки по Германіи появилась въ ноябрѣ 1842 г. въ Берлинѣ, куда Руге провожалъ его изъ Дрездена. Оба были возмущены поведеніемъ «Свободныхъ». Руге вызвалъ сильную сцену у Вальбурга, заявивъ, что свѣствомъ не освобождаютъ ни людей, ни народовъ. Гервегъ лично не столкнулся со «Свободными», какъ ошибочно говоритъ Макай, но, въ качествѣ друга Руге, онъ казался имъ подозрительнымъ; своей аудіенціей у короля онъ далъ имъ желанный поводъ осмѣять его въ стилѣ «ничѣмъ себя не дѣсий». Аудіенція, дѣйствительно, была ровной ошибкой, въ которой Гервегъ всю свою жизнь горько раскаивался, хотя съ человѣческой и политической точки зрѣнн она была болѣе простительна, чѣмъ освободительныя акты «Свободныхъ» у Кенигсмауеръ. Во всякомъ случаѣ Марксъ рѣшительно сталъ на сторону Руге и Гервега противъ Бруно Бауера и «Свободныхъ».

Нельзя точно установить, насколько онъ былъ осведомленъ объ ихъ поведенн. Но все, что онъ о немъ слышалъ, должно было его оттолкнуть. Несмотря на то, или скорѣе потому, что Марксъ не былъ филстеромъ, онъ никогда не видѣлъ въ цыганѣ передоваго борца человѣческой культуры. Благодаря своей работѣ въ Рейнской Газетѣ онъ вошелъ въ практическую жизнь, и уже это одно невольно оттолкнуло его отъ Бруно Бауера, который остался въ сферѣ чистой идеологн. Нѣтъ недостатка въ доказательствахъ, что интересъ Рейнской Газеты къ экономическимъ и политическимъ вопросамъ недружелюбно былъ встрѣченъ «Свободными». Своими философскими фразами онъ, конечно, съ большими удобствами

устраивали все неудобное. Въ конфликтѣ «Свободныхъ» съ Руге и Гервегомъ объ спорящія стороны обратились къ Марксу: «Свободные» черезъ Мейена съ «пастоящими угрозами», какъ писалъ Маркъ Руге, Гервегъ, безъ сомнѣнія, въ болѣе достойномъ тонѣ. Изъ Рейнской Газеты нельзя видѣть, какъ отнесся Маркъ къ аудіенціи Гервега у короля. Едва ли онъ былъ отъ этого въ восторгѣ, но онъ всегда очень хорошо относился къ истиннымъ поэтамъ и прощалъ имъ многое.

Опираясь на сообщенія Гервега, Маркъ писалъ 29 ноября въ Рейнской Газетѣ: «Берлинъ, 25 ноября. «Эльберфельдская Газета» и за ней «Дидаскалія» сообщаютъ, что Гервегъ посѣтилъ общество «Свободныхъ», но написалъ его ниже всякой критики. Гервегъ не посѣщалъ этого общества и такимъ образомъ не могъ найти его ни выше, ни ниже критики. Гервегъ и Руге нашли, что «Свободные» своей политической романтикой, своей погоней за гениальностью и извѣстностью компрометируютъ дѣло и партію свободы; послѣднее было ими открыто заявлено, и, вѣроятно, послужило поводомъ того сообщенія. Если Гервегъ, такимъ образомъ, не посѣтилъ общества «Свободныхъ», изъ которыхъ каждый въ отдѣльности — по большей части прекрасные люди, то это произошло не потому, что онъ борется за другое дѣло, а потому, что, какъ человѣкъ, желающій быть свободнымъ также и отъ французскихъ авторитетовъ, онъ ненавидитъ и находитъ смѣшными фривольность, специфически берлинскія манеры, пошрое подражаніе парижскимъ клубамъ. Скандаль и безобразія должны быть громко и рѣшительно осуждены въ такое время, которое нуждается въ серьезныхъ, мужественныхъ и выдержанныхъ характерахъ для достиженія своихъ высокихъ цѣлей». Ни форма, ни содержаніе этой замѣтки не даютъ основанія для упрековъ. Щадя личность, Маркъ пишетъ причину гадкой формы, которую приняла защита хорошаго дѣла, въ условіяхъ, въ характерѣ берлинской жизни.

Совершенно невѣрно Макай рассказываетъ, будто «Свободные» съ обыкновенной веселостью перешли отъ Руге и Гервега къ порядку дня. Скорѣе вѣрно замѣчаніе Руге, что корреспонденція «Рейнской Газеты» поразила ихъ какъ ударъ грома. Лучшее доказательство тому представляютъ смущенное и сконфуженное письмо Бруно Бауера къ Марксу отъ 13 декабря. Онъ считаетъ ниже своего достоинства заниматься пространными опроверженіями. Маркъ, пишетъ Бауеръ, не замѣтилъ противорѣчій въ «корреспонденціи Гервега»: Гервегъ характеризуетъ «здѣшнихъ», между тѣмъ онъ самъ говоритъ, что никогда не видѣлъ ихъ in concreto. Маркъ долженъ былъ бы лучше знать, существуетъ ли клика въ Берлинѣ, и принадлежать ли къ ней онъ, Бауеръ. Провота «здѣшнихъ» неоспорима. «Милый. Маркъ, правда Берлина такъ велика, берлинцы такъ мало звывали своими ложными поступками необдуманная дѣйствія другихъ, что я болше не желаю говорить объ этомъ дѣлѣ, такъ какъ мнѣ пришлось бы затронуть слишкомъ много неприятныхъ вещей, въ которыхъ здѣсь никто не виноватъ. Я лучше въ другой разъ напишу тебѣ о вещахъ, которыя намъ пріятнѣе и ближе. Прощай!» Болше онъ не писалъ Марксу.

Онъ скорѣе остался вѣреть «Свободнымъ», продолжавшимъ свои безобразія до самой революціи. На эти безобразія, на сильную распущенность буржуазной интеллигенціи падаетъ большая часть вины за то, что берлинское движеніе весной и лѣтомъ 1848 г., тотчасъ же послѣ геройской баррикадной борьбы берлинскаго пролетаріата, могло пойти такъ невѣроятно безпорядочно и попасть въ руки демагоговъ самаго низкаго сорта. Конечно, борьба 18 марта, какъ говорятъ Макай, не была битвой Штирнера, и, безъ сомнѣнія, берлинскіе рабочіе строили баррикады не ради геройствъ, проходившихъ въ кабакѣ Гинцеля. Но эта борьба обнаружила вину «Свободныхъ» и готовила имъ заслуженное наказаніе.

Послѣ такой даже революціи общественная жизнь Берлина не могла уже вновь превратиться въ до-мартовское болото, въ которомъ преиспѣвали «Свободные», и они очень печально кончили. Штирнеръ исчезъ безслѣдно еще при жизни, оба Бауера перешли въ лагерь «Крестовой Газеты», а Фаухеръ и Мароцъ стали самыми яркими защитниками господства капитала, или же, какъ Мейенъ, превратились въ его покорѣйшихъ слугъ.

4. Крестьяне-винодѣлы на Мозелѣ.

Вѣщія притѣсненія «Рейнской Газеты» нѣкогда собственно не прекращались. Въ позднѣйшемъ постановленіи о ея запрещеніи сказано, что она была бы уже приостановлена 1 апрѣля 1842 г., если бы не приняла по всей справедливости во вниманіе интересовъ акціонеровъ, которые вложили свои деньги въ предпріятіе, и если бы на ряду съ этимъ не ожидалось, что газета пойдетъ по болѣе правильному пути.

Цензура дѣлала тогда все возможное, чтобы направить газету на «болѣе правильный путь». Когда Марксъ прислалъ свою статью противъ «Кельнской Газеты», Оппенгеймъ въ слѣдующихъ словахъ сообщалъ 4 іюля о ея полученіи: «Статья великодушна, но я боюсь, что собака-цензоръ опять привяжется. Вы и понятія не имѣете, какой неумолимой и несправедливо строгой цензурѣ мы подвергаемся, несмотря на то, что негодяй самъ сознался мнѣ, что онъ не получилъ болѣе строгой инструкціи. Его сильно настроили противъ насъ сторонники Kölnische Zeitung и другіе подлацы». Затѣмъ Оппенгеймъ прибавляетъ: «До сегодняшняго дня у насъ уже есть 841 подписчикъ. Нашъ милый Кельнъ несправимъ». Однако число подписчиковъ быстро возрасло, и съ цензоромъ газета до извѣстной степени сумѣла поладить. Въ общемъ она все же проводила тѣ статьи, которыя она считала нужнымъ помѣстить, хотя при этомъ приходилось приносить и большія жертвы, какъ напр., отказаться отъ второй статьи Маркса о рейнскомъ ландтагѣ.

Король самъ все еще колебался между противорѣчивыми желаніями играть роль покровителя или могильщика прессы. Въ маѣ онъ отиѣнилъ цензуру на картины и еще 4 октября онъ освободилъ отъ цензуры книги, содержащія больше двадцати печатныхъ листовъ. Но вскорѣ послѣ этого онъ именнымъ указомъ отъ 14 октября повелѣлъ оберпрезидентамъ отдѣльныхъ провинцій выступить противъ тенденціи неблагонадежныхъ газетъ,

стремящихся путем распространения неправды и искажения фактов вводить въ заблужденіе общественное мнѣніе, и помѣщать опроверженія въ тѣхъ же газетахъ, которыя провинились въ извращеніи фактовъ. «Уповать только на противодѣйствіе газетъ болѣе благонадежнаго направленія — недостаточно. Именно тамъ, гдѣ ядъ сощращенія уже сконцентрированъ, его слѣдуетъ также обезвредить. Это не только обязанность власти по отношенію къ кругу читателей, которымъ преподносится ядъ; такое, принужденіе редакціи печатать свой собственный приговоръ является вмѣстѣ съ тѣмъ, однимъ изъ самыхъ дѣйствительныхъ средствъ уничтожить обнаруживающіяся тенденціи лжи и обмана. Рейнская Газета сдѣлала une bonne mine au mauvais jeu, объявивъ этотъ указъ новой «гарантіей прусской прессы», «значительной поддержкой со стороны правительства», «официальными разъясненіями» котораго не только гарантируютъ прессѣ «извѣстную историческую точность фактвческаго содержанія», но и свидѣтельствуютъ о «положительномъ участіи», имѣющемъ ввести «въ болѣе тѣсныя границы отрицательное участіе посредствомъ запрещенія, подавленія и цензуры». Фразы эти характерны особеннымъ смѣшеніемъ горькой проиы и дипломатической вѣжливости, посредствомъ которыхъ независимая пресса должна была изворачиваться при цензурѣ. Новый именной указъ сталъ извѣстенъ 15 ноября, но еще за три дня до этого Рейнская Газета получила самыя убѣдительныя доказательства, что «отрицательное участіе» къ ней правительства скорѣе расширяетъ свои границы.

12 ноября кельскій намѣстникъ фонъ Герлахъ призвалъ къ себѣ книгопродавца Ренарда, какъ отвѣтственного издателя газеты, и объявилъ ему распоряженіе вышей власти, чтобы къ концу мѣсяца былъ назначенъ другой удобный правительству редакторъ, въ противномъ же случаѣ газета будетъ запрещена къ 1 января. Правительство больше не потерпитъ той тенденціи, которую Рейнская Газета проводила съ самаго начала и, несмотря на прямыя и косвенныя увѣщанія, упорно продолжала проводить. Въ особенности же Герлахъ требовалъ удаленія Рутенберга и нѣкоторыхъ другихъ сотрудниковъ. Однако и на этотъ разъ добились компромисса. Рутенбергъ вернулся въ Берлинъ, но Ренардъ остался отвѣтственнымъ издателемъ при новомъ цензорѣ, ассесорѣ Витгаузѣ, который 1 декабря занялъ мѣсто полиціи совѣтника Доллеталла.

Но именной указъ 14 октября скорѣе далъ себя почувствовать. Рейнская Газета напечатала корреспонденцію съ Мозеля, въ которой описывалось бѣдственное положеніе мозельскихъ крестьянъ, при чемъ приводились приблизительно слѣдующіе пункты: естественный ростъ бѣдности винодѣловъ, заставляющій ихъ ограничиваться своимъ виноградникомъ, такъ какъ у нихъ кромѣ этого нѣтъ ни клочка земли для земледѣлія или табаководства, какъ у крестьянъ рейнского Пфальца; далѣе, пониженіе цѣнъ и уменьшеніе сбыта, благодаря таможенному союзу; постоянные неурожаи съ 1825 до 1834 г.; угнетающая высота и неравномѣрное распределеніе налога на вино и, какъ результатъ этого положенія, задолженность и насильственная продажа съ молотка за несостоятельность. Эта корреспонденція не вызвала никакихъ прямыхъ преслѣдованій, такъ какъ она не содержала никакихъ

особенных разоблачений: бѣдственное положеніе мозельскихъ крестьянъ было общепризнаннымъ зломъ, для устраненія котораго за два года до этого въ Берлинѣ была устроена лотерея съ розыгрышемъ женскихъ рубодѣлій. Деспотизмъ всегда готовъ на такую мелочную мпlostыню христіанско-германскаго великодушія; но онъ становится чрезвычайно чувствительнымъ, когда пытаются устранить дѣйствительный корень зла, а этотъ щекотливый вопросъ затронули двѣ новыя корреспонденціи Рейнской Газеты съ Мозеля.

Одна изъ нихъ, отъ 10 декабря, привѣтствовала отъ имени мозельцевъ новый цензурный уставъ. Теперь они чувствовали себя гораздо счастливѣе, такъ какъ они нашли убѣжище для свободнаго и открытаго обсужденія своего положенія. «Неужели бѣдный винодѣль, постигнутый всякими бѣдствіями, не долженъ имѣть права открыто назвать болѣзнь, которая иссушаетъ его мозгъ? Развѣ онъ не долженъ имѣть права требовать, чтобы были наконецъ удалены и раздавлены тѣ вампиры, которые уже столько времени высасываютъ изъ него кровь?.. Въ вашей газетѣ помѣщена была корреспонденція съ Мозеля, помѣченная двумя крестиками, вѣроятно, чтобы указать на то, что мы стоимъ подъ тяжестью двойнаго креста. Она произвела здѣсь большую сенсацію. Едва ли найдется хоть одинъ винодѣль, который безусловно не раздѣлялъ бы мнѣнія автора о причинахъ упадка винодѣлія. Въ высшихъ сферахъ долгое время сомнѣвались насчетъ отчаяннаго положенія винодѣловъ, ихъ просьбы о помощи считались дерзкимъ требованіемъ». Вину за это корреспонденція сваливаетъ либо на недобросовѣстные отчеты правительственныхъ учреждений, либо на гнетъ «прежнихъ цензурныхъ условий», не разрѣшавшихъ свободнаго обсуждения положенія на Мозелѣ.

Другая корреспонденція, опять-таки помѣченная двумя крестиками «съ Мозеля, 12 декабря», но, очевидно, принадлежащая тому же автору, жалуется въ интересахъ винодѣловъ на высокія цѣны дровъ и каменнаго угля. «Община, къ которой я принадлежу, состоитъ изъ нѣсколькихъ тысячъ жителей и владѣетъ прекраснѣйшими лѣсами, но я что-то не припомню, чтобы члены общины непосредственно пользовались своею собственностью и употребляли лѣсъ». Хотя въ этихъ лѣсахъ по временамъ и приходили порубки, дававшія довольно значительный доходъ, но корреспондентъ сомнѣвается, пользуется ли община надлежащимъ образомъ этимъ доходомъ. «Одно мы знаемъ навѣрно, что большая часть нашей общины вынуждена горькой необходимостью тайнымъ образомъ добывать необходимыя ей дрова, такъ какъ право по пзвѣстнымъ диламъ въ недѣлю снимать кору съ пней и выкапывать ихъ корни далеко недостаточно для покрытія даже четвертой части необходимаго потребленія». Корреспондентъ затѣмъ требуетъ, чтобы доходъ съ порубки лѣсовъ не шелъ больше, какъ до сихъ поръ, на погашеніе долга общины. Съ политико-экономической точки зрѣнія это, можетъ быть, и правильно, но высшіе интересы гуманности повѣлываютъ пожертвовать денежными интересами общины, когда надо примирить требованія нравственности съ матеріальными интересами сохраненія жизни. Вырубленный лѣсъ, поэтому, не слѣдуетъ продавать, а раздавать наиболѣе нуждающимся членамъ общины.

По поводу этих двух корреспонденцій оберъ-президентъ ф. Шаперъ, только что занявшій мѣсто Бодельшвинга, прислалъ 15 декабря два заявления изъ Кобленца. Въ первомъ онъ требовалъ сообщить ему имя той общины, гдѣ раздача дровъ не производилась, чтобы убѣдиться, не былъ ли «такое несогласное съ указаніями закона дѣйствіе обусловлено совершенно особенными обстоятельствами». Во второмъ онъ болѣе рѣзко приступаетъ къ дѣлу. Онъ сомнѣвается, чтобы мозельцамъ до сихъ поръ было запрещено публично говорить о своемъ бѣдственномъ состояніи, и требуетъ отъ корреспондента указаній, гдѣ, даже до появленія новой цензурной инструкціи, власти мѣшали говорить объ этомъ жителямъ Мозеля. «Я былъ бы ему очень благодаренъ, если бы онъ захотѣлъ воспользоваться этимъ случаемъ, чтобы совершенно открыто назвать язву, изсѣкающую мозгъ винодѣла, и настолько открыто указать вампировъ, высасывающихъ его кровь, чтобы можно было,—если не убить послѣднихъ, какъ хочетъ того авторъ,—то начать по крайней мѣрѣ противъ нихъ преслѣдованіе. Но особенно я былъ бы благодаренъ автору, если бы онъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, счелъ возможнымъ указать средства помочь бѣдственному положенію винодѣловъ». Затѣмъ оберъ-президентъ проситъ корреспондента, «назвавъ свое имя», специально указать тѣ случаи, когда какое-нибудь правительственное учрежденіе рейнской провинціи назвало просьбу винодѣловъ о помощи держкимъ требованіемъ. Онъ надѣется, между прочимъ, что, такъ какъ обвиненіе было высказано публично, просимыя свѣдѣнія также появятся въ Рейнской Газетѣ. «Но если послѣднія вообще не будутъ даны, или если авторъ не захочетъ раскрыть своего анонима, то я, къ крайнему своему сожалѣнію, принужденъ буду считать всю статью злонамѣренной клеветой, не имѣющею въ виду благо мозельцевъ, а ставящею себѣ цѣлью возбуждать недовольство и ослабить связь между властью и подчиненными». Мы видимъ изъ этихъ фразъ, какъ стара государственная мудрость, нашедшая столь удачное примѣненіе впоследствии въ періодъ дѣйствія закона о солидарности и еще совсѣмъ недавно по случаю «гунскихъ писемъ» во время китайской войны. Прусская бюрократія видитъ свою обязанность не въ устраненіи раскрытыхъ золъ, но лишь въ опороченіи и преслѣдованіи нескромныхъ людей, напоминающихъ ей объ ея обязанностяхъ.

Рейнская Газета прикинулась на первыхъ порахъ даже удовлетворенной официальными заявленіями г. Шапера. 18 декабря она напечатала поправки оберъ-президента, а 23 декабря — письмо «изъ Рейнской Пруссіи», гдѣ выражено «истинное удовлетвореніе» по поводу формы, въ которой оберъ-президентъ осуществляетъ Именной указъ отъ 14 октября. Она видитъ здѣсь не «горечь и раздраженіе» обычныхъ опроверженій, а «спокойное достоинство», которое тотчасъ же внушаетъ довѣріе, а также «чистую совѣсть и чувство справедливости, съ которыми власти требуютъ для публики большей опредѣленности обвиненій, чтобы защищаться или исправить зло». Она даже съ восторгомъ восклицаетъ: «Я спрашиваю васъ, мужей полицейскаго государства, которымъ этотъ видъ публичнаго оправданія кажется униженіемъ для властей, не служатъ ли подобный шагъ какъ къ уничтоженію недовѣрія, такъ и къ укрѣпленію довѣрія».

Какъ бы ни были понятны и простительны подобныя маневры по отноше-
нію къ цензурѣ, они едва ли содѣйствовали тому, чтобы сдѣлать ре-
дакціонную работу привлекательнѣе для Маркса. Онъ самъ въ этомъ не
принималъ участія, такъ какъ на рождественскіе праздники уѣхалъ въ
Крейцбахъ, гдѣ жила его теща послѣ смерти мужа. По ея адресу по-
лучилось тогда письмо изъ редакціи для Маркса отъ 21 декабря, которое
принесло новыя грустныя вѣсти: «Нашъ мозелецъ только что прислалъ
совершенно непригодное возраженіе оберъ-президенту, которое содержитъ
только одинъ фактъ, что община, о которой идетъ рѣчь, называется Берн-
кастель. При этомъ слѣдуетъ письмо къ Вамъ приблизительно слѣдующаго
содержанія: «Благоразуміе требуетъ уйти нацоловину разбитымъ съ поля
сраженія. Но у меня нѣтъ еще резервъ, а именно исторія съ пети-
ціей господина Вальденера. Какъ мало министерство полагается на свои
здѣшнія власти, видно изъ того, что докторъ Крафтъ изъ Трарбаха и
пасторъ Мартинъ получили приказаніе откровенно сообщить о положеніи
дѣлъ на Мозель». Вотъ что пишеть мозелецъ. Не напишете ли Вы госпо-
дину Вальденеру? Этотъ фактъ пригодился бы намъ. Впрочемъ, Вы сами
видите, что нашъ невѣрный (?) другъ покидаетъ насъ, и мы предста-
влены самимъ себѣ. Передайте мой сердечный привѣтъ Вашей невѣстѣ и
возвращайтесь скорѣе». Подпись на письмѣ совершенно неразборчива;
но почеркъ не Юнга и не Опенгейма.

Несмотря на все это, удалось отразить удары оберъ-президента. Мозель-
скій корреспондентъ началъ свой отвѣтъ 15 января. Промедленіе онъ объ-
ясняетъ такъ: «послѣ перваго сообщенія, присланнаго мною въ ре-
дакцію, послѣдняя пожелала получить болѣе подробныя свѣдѣнія, а полу-
чивъ вторую и третью корреспонденціи, она настаивала еще на добавле-
ніяхъ и на этомъ заключительномъ сообщеніи; наконецъ, она потребовала отъ
меня сообщить свои источники; отчасти же она откладывала напечатаніе
моего сообщенія до тѣхъ поръ, пока не получитъ изъ другихъ источни-
ковъ подтвержденія моихъ данныхъ». Къ этому редакція сдѣлала слѣдую-
щее примѣчаніе: «Подтверждая вышеприведенныя данныя, мы вмѣстѣ съ
тѣмъ должны замѣтить, что съ нашей стороны неизбежно было сопос-
тавленіе различныхъ взаимно другъ друга объясняющихъ сообщеній». Отвѣтъ,
такимъ образомъ, до известной степени былъ редакціонной рабо-
той, хотя корреспондентъ съ Мозеля говоритъ отъ своего имени. Онъ
хотѣлъ подробнѣе остановиться послѣдовательно на вопросахъ о распределе-
ніи лѣса, объ отношеніи жителей Мозельской области къ болѣе свободной
дѣятельности печати, о язвахъ, разъядающихъ Мозельскую область, о вам-
пиряхъ мозельскихъ крестьянъ и, наконецъ, на средствахъ помочь мо-
зельцамъ. Но ему удалось разобрать только два первыхъ пункта.

Въ первой статьѣ онъ уполномочиваетъ редакцію назвать оберъ-прези-
денту имя общины, въ которой не было раздачи лѣса; въ четырехъ слѣ-
дующихъ статьяхъ онъ или редакція приводитъ подавляющій матеріалъ
въ доказательство того, что правительство съ жестокой суровостью пода-
вляло всѣ вопли мозельскихъ крестьянъ о помощи. Отвѣтомъ на устные
жалобы голодныхъ винодѣловъ были известныя процессы объ оскорбленіи

должностных лиц; запрещено было печатать протоколы совѣта старинны, въ которыхъ упоминалось о бѣдственномъ состояніи мозельскаго округа; статья на ту же тему профессора Кауфмана въ Боннѣ была запрещена. Но наиболѣе скандальной была, конечно, судьба депутата ландтага Вальденера. Когда въ 1836 г. кронпринцъ прѣхалъ въ Рейнскую провинцію, именной королевскій указъ призывалъ возлюбленныхъ подданныхъ сообщить сыну иѣжнаго отца своихъ подданныхъ свои нужды. Тогда Вальденеръ вручилъ кронпринцу петицію 160 мозельскихъ крестьянъ, въ которой они просили объ уменьшеніи податного бремени, о выборѣ общинной общинныхъ чиновниковъ, объ удлиненіи часовъ пріема въ таможенныхъ правленіяхъ и, наконецъ, о разрѣшеніи запахать поля вплоть до шоссевой канавы. Нужно замѣтить, что только за иѣсколько лѣтъ до этого было предписано оставлять незапаханной полосу въ два фута вдоль шоссевой канавы. Крестьяне чистосердечно просили Его Королевское Высочество судить объ ихъ печальномъ положеніи не на основаніи положенія многочисленныхъ, хорошо оплаченныхъ чиновниковъ, пенсіонеровъ, діетаріевъ, военныхъ и гражданскихъ властей, рантье, промышленниковъ, живущихъ въ городахъ въ роскоши, о которой иѣтъ и помину въ жилищѣ задолженнаго поселянина. Гдѣ раньше было 27 человекъ съ жалованьемъ въ 29000 талеровъ, теперь 63 чиновника, кромѣ пенсіонеровъ, со 105000 талеровъ жалованья. Но петиція эта изъ рукъ кронпринца пошла не въ любвеобильное сердце отца-короля, а въ судъ исправительной палаты, который приговорилъ Вальденера къ шестимѣсячному заключенію «за дерзкое, непочтительное порицаніе законовъ». Апелляціонный судъ, хотя и отиѣнилъ этотъ приговоръ, но все же Вальденеръ долженъ былъ уплатить судебныя издержки, такъ какъ его иѣсколько легкомысленное поведеніе дало основаніе къ судебному процессу.

Оберъ-президентъ, слѣдовательно, самъ долженъ былъ сознавать, что его опроверженія представляютъ пустую болтовню; онъ обладалъ въ достаточной мѣрѣ патристическимъ самоотверженіемъ, чтобы подавить свою любознательность по отношенію къ сообщеніямъ мозельскаго корреспондента. 20 января онъ распорядился черезъ цензуру потушить свѣтильню, которая съ такою готовностью озаряла его своимъ свѣтомъ, а черезъ недѣлю послѣ этого Рейнская Газета сама должна была опубликовать свой смертный приговоръ.

5. Катастрофа.

Конфликтъ изъ-за мозельскихъ крестьянъ былъ не единственной тучей, омрачавшей горизонтъ деспотизма въ началѣ 1843 г. Его угнетало не одно это горе: во-первыхъ, письмо, которое Гервегъ написалъ изъ Кенигсберга королю, затѣмъ открытое выставленіе демократическаго знамени въ *Deutsche Jahrbücher* и, наконецъ, оправданіе Іоганна Якоби апелляціоннымъ департаментомъ Берлинскаго верховнаго суда.

Вскорѣ послѣ аудіенціи Гервега у короля прусскія власти запретили распространеніе въ предѣлахъ Пруссіи журнала, который Гервегъ только

еще собирався издавать въ Швейцаріи. По этому поводу поэтъ написалъ королю, не съ цѣлью просить объ отъѣздѣ запрещенія. «Мнѣ не о чемъ просить въ странѣ, которую я хочу покинуть. Я по природѣ своей республиканецъ и, можетъ быть, въ данный моментъ гражданинъ республики, а съ цѣлью «довести до престола свою жалобу, не выражая при этомъ ни лицемѣрной преданности, которой я не знаю, ни чувствъ, которыхъ я не испытываю и никогда испытывать не буду». Онъ предлагаетъ королю рѣшить, кто правъ; поэтъ желаетъ только противнооставить «дряхлающему сознанию» министровъ свой «ограниченный вѣрноподданинскій разумъ», свое «пониманіе вѣяній новаго времени»... Письмо было напечатано 24 декабря въ Лейпцигской Всеобщей Газетѣ (Leipziger Allgemeine Zeitung), противъ воли автора, который называлъ его королю «словомъ съ глазу на глазъ». Однако Гервегъ сообщилъ его кейнigsбергскимъ либераламъ, и онъ могъ предвидѣть то, на что онъ потомъ жаловался: «непростительную нескромность друга» и «злосчастную страсть къ сплетнямъ», которая тотчасъ же все должна раструбить».

Раздраженный уколами «Свободныхъ», Гервегъ хотѣлъ исправить ошибку съ аудіенціей, но, попавши разъ на наклонную плоскость, онъ дѣлалъ только новыя ошибки. Однако, дальнѣйшія вытарства его могли заставить забыть его юношески-необдуманные поступки. Уже 26 декабря ему былъ объявленъ приказъ объ изгнаніи его изъ предѣловъ Пруссіи—онъ въ то время, гостилъ у своего друга Пруца въ Штеттнѣ. И та самая печать, которая только что восторженно прославляла его, набросилась теперь на него съ лакейской бранью. Даже Фрейлигратъ напечаталъ въ Кельнской Газетѣ безтактное «письмо» Гервегу:—«За тобой, какъ за жнецомъ неволпль, раздается еле слышннй шорохъ; то дрожать побѣги «На юномъ деревѣ свободы!» И почки, и побѣги,—красу того древца, увь! ты погубилъ ихъ ударомъ топора!» Рейнская Газета судила справедливо. Она нарушила свое сдержанное молчаніе, которое она до сихъ поръ хранила по отношенію къ аудіенціи Гервега у короля. Замѣтивъ, что поэтъ въ своемъ письмѣ поступилъ немножко à la маркизъ Поза, она прибавила, что это объясняется непрактичностью, свойственной характеру нѣмцевъ, и что нападать на него за это могутъ только нѣмецкія газеты.

Руге выпутался изъ исторіи со «Свободными» болѣе правильно, чѣмъ Гервегъ. Въ ближайшей книгѣ (январь 1843 г.) своего журнала онъ помѣстилъ «Самокритику либерализма». Онъ бичуетъ аристократическую философію, которая считаетъ себя неизмѣримо выше бѣднаго либерализма, тогда какъ на самомъ дѣлѣ они очень близки другъ другу: ни въ первой, ни во второй нѣтъ новаго самосознанія. «Философское освобожденіе нельзя считать освобожденіемъ, оно лишь плетется рядомъ съ отдѣльнымъ государствомъ, мало того, въ немъ самое оно не что иное, какъ его собственное отраженіе; оно не воплощается въ общественной организаціи, а существуетъ лишь въ обособленномъ, вышоложенномъ на философскихъ категоріяхъ, самосознаніи субъекта. Проблемы эпохи должны стать достояніемъ народа, и только тогда онъ будутъ живыми». И Руге высказывается за демократію съ ея практическими проблемами: превращеніемъ

церкви въ школу и уничтоженіемъ народнаго певѣжества путемъ истиннаго народнаго воспитанія, съ которымъ совершенно должно слѣдиться военное дѣло. Руге требовалъ народнаго правительства и народнаго суда, что, по его мнѣнію, не было фантазіей, а «лишь нашимъ перевернутымъ вверхъ ногами міромъ». «Пусть всякій, кого это смущаетъ, спроситъ себя, не зяждется ли у насъ міръ на безмысленной плязюзи, будто разума слѣдуетъ искать *по ту сторону* народа, будто онъ долженъ быть ему преднесенъ свыше и осуществляться не въ немъ». Эта статья стоила жизни Deutsche Jahrbücher. Саксонское и прусское правительства запретили журналъ въ своихъ предѣлахъ, и къ этому присоединилось еще постановленіе франкфуртскаго союзнаго собранія въ томъ же духѣ. Пруссія со своей стороны запретила еще Leipziger Allgemeine Zeitung сейчасъ послѣ опубликованія письма Гервега.

Деспотизмъ, вѣроятно, уголил бы свою метильность этимъ двойнымъ убійствомъ, но она вновь заговорила въ немъ сильнѣе, чѣмъ когда-либо, когда 15 января вынесенъ былъ оправдательный приговоръ Якоби, противъ котораго самъ король возбудилъ обвиненіе въ государственной измѣнѣ и оскорбленіи величества. Благородный монархъ былъ взбѣшенъ этимъ столь рѣдкимъ доказательствомъ того, что въ прусскомъ государствѣ существуетъ еще нѣчто въ родѣ права и справедливости. Старый Грольманъ, который подписалъ оправдательный приговоръ, долженъ былъ выйти въ отставку, Якоби, несмотря на всѣ недвусмысленныя предписанія закона, не были доставлены мотивы оправдательнаго приговора, и новый дисциплинарный законъ подтянулъ существовавшую еще до сихъ поръ среди прусскихъ судей независимость. Ко всему этому король требовалъ еще новыхъ запрещеній газетъ, такъ какъ на суды нельзя было болѣе полагаться. Такъ его уязвленная душа встрѣтилась съ уязвленной душой рейнскаго оберъ-президента, и это погубило Рейнскую Газету.

Она начала новый годъ своего изданія смѣлой критикой первыхъ запрещеній газетъ, затѣмъ напечатала пять статей мозельскаго корреспондента; за этимъ послѣдовало робкое молчаніе на недѣлю. 25 января завѣдующій цензурой министерства рѣшилъ прекратить газету къ 31 марта, 28 она сама опубликовала свой смертный приговоръ. Она въ довольно остроумной формѣ сообщала своимъ читателямъ «причины» запрещенія. Это были тѣ же тирады, которыя хорошо памяты каждому нѣмецкому избирателю со времени закона о социалистахъ и законопроекта о крамолѣ (Umsturzvorlage). Прусская бюрократія, какъ извѣстно, не грѣшитъ избыткомъ фантазіи. При каждомъ новомъ актѣ насилія она неизбѣжно повторяетъ свою старую пѣсню о переворотѣ, о подрываніи основъ, о потрясеніи монархическаго принципа, пустыхъ теоріяхъ, предосудительныхъ цѣляхъ, необузданныхъ рѣчахъ и весь прочій вздоръ, входящій въ лексиконъ спасателей государства. Но Рейнская Газета должна была видѣть особую честь въ томъ обстоятельстве, что одновременно съ постановленіемъ о запрещеніи къ ней приставленъ былъ оберъ-цензоръ въ лицѣ правительственнаго президента ф. Герлаха, на котораго возложена была обязанность вторичнаго просмотра прошедшей уже черезъ цензуру газеты; ему предоста-

влено было право приостановить его выпускъ въ томъ случаѣ, если онъ найдетъ въ ней что-либо предосудительное. Такъ какъ вслѣдъ за этимъ цензоръ Витгаузъ подалъ въ отставку, то вызванъ былъ изъ Берлина Сень-Поль, который такъ хорошо исполнялъ службу палача, что оберъ-цензура могла быть уничтожена 18 февраля.

Марксъ, вѣроятно, вернулся изъ своей рождественской поѣздки къ исполненію своихъ редакторскихъ обязанностей до 1 января 1843 г. Въ номерѣ отъ 1 января редакціонная статья, принадлежащая, очевидно, Марксу, говоритъ о только что объявленномъ прусскимъ правительствомъ запрещеніи Лейпцигской Всеобщей Газеты. Въ ближайшихъ нѣсколькихъ номерахъ мы находимъ полемику съ другими газетами по вопросу о печати, которая также велась Марксомъ. Труднѣе опредѣлить его участіе въ статьяхъ мозельскаго корреспондента. Въ умѣлой и мѣткой группировкѣ фактовъ чувствуется собственно его рука; но нельзя этого сказать ни относительно формы и слога, ни относительно потки притворства по поводу добрыхъ намѣреній правительства, потки, въ которой едва-едва сквозитъ пропія. Въ этомъ вопросѣ такта Марксъ всегда соблюдалъ извѣстную строгость, чего нельзя сказать о другихъ сотрудникахъ; такъ, напр., они выражали свой восторгъ по поводу опроверженій, точно не понимая ихъ настоящаго смысла.

Когда было объявлено запрещеніе, то въ газетѣ возникли нѣкоторыя разногласія. Акціонеры не были бы акціонерами, если бы ихъ до извѣстной степени не тронуло увѣреніе правительства, что оно только изъ вниманія ко вложенному въ газету капиталу болѣе года тому назадъ воздержалось отъ запрещенія вообще, а теперь отъ немедленнаго запрещенія. Развѣ невозможно было соглашеніе съ такимъ осторожнымъ правительствомъ при нѣкоторой взаимной уступчивости? Марксъ видѣлъ всю иллюзорность надеждъ тѣхъ, кто отъ менѣ рѣзкаго тона газеты ожидалъ отъмены произнесеннаго надъ нею смертнаго приговора; и дѣйствительно, Опенгеймъ, ѣздившій еще съ кѣмъ-то въ Берлинъ, не былъ даже допущенъ къ королю. Но Марксъ не могъ однимъ своими собственными силами удержать газету на прежней высотѣ. Назначеніе оберъ-цензора было самымъ лучшимъ доказательствомъ энергіи и ловкости, съ которыми онъ велъ борьбу противъ цензуры, но успѣхи этой борьбы имѣли свои границы, и Энгельсъ смотрѣлъ на дѣло слишкомъ оптимистически, когда онъ писалъ для народнаго календаря Брака въ 1878 г.: «Будь еще десять газетъ, которыя обладали бы такимъ же мужествомъ, какъ и Рейнская Газета, и рискни ихъ издатели лишнимъ нѣсколькими стами талеровъ, и цензура была бы фактически невозможна въ Германіи уже въ 1843 г.». Борьба съ цензурой имѣла большой успѣхъ только до тѣхъ поръ, пока жалкіе люди брались за это презрѣнное дѣло. Но когда красный карандашъ переходилъ въ руки такого отвѣсненнаго легодея, какъ Сень-Поль, то, разумѣется, никакія хитрости не помогали.

Такимъ образомъ Рейнская Газета съ 28 января стала очень сухой, особенно въ своемъ политическомъ отдѣлѣ. Только 9 марта опять помѣщена полемика Маркса противъ Рейнско-Мозельской Газеты, которая вызвала

къ воспоминаніямъ и историческимъ традиціямъ старой Ганзы по поводу того, что Кампгаузенъ былъ, наконецъ, выбранъ въ ландтагъ в утвержденъ изъ вниманія къ матеріальнымъ интересамъ Кельна. Марксъ сибется надъ реакціонной іереміадой и называетъ «людей прошлаго», подтягивающихъ ей, «фантазирующими матеріалистами, которымъ каждый пароходъ и каждая желѣзная дорога *ad oculos* демонстрируютъ ихъ глупость». 12 марта Марксъ затѣмъ дѣлаеть остроумныя замѣчанія по поводу спора, завязавшагося между Рейско-Мозельской и Трирской газетами изъ-за Саллета. Первая напала на только что умершаго писателя за его атеизмъ, вторая больше оправдывала, чѣмъ осуждала его. Марксъ нападаетъ на половичатость и предлагаетъ выборъ между «терроризмомъ вѣры и терроризмомъ разума». «О свѣтскомъ евангеліи» Саллета Марксъ пишетъ въ чисто лессинговскомъ стилѣ: «Оно страдаетъ однимъ основнымъ недостаткомъ, непоэтичностью; и вообще — что за фантазія хотѣть излагать теологическіе споры въ поэтической формѣ! Приходило развѣ когда-нибудь на умъ композитору переложить догматику на музыку?»

13 марта газета не вышла; «газета не могла появиться», лаконически было сказано въ вышедшемъ на слѣдующій день двойномъ номерѣ. Въ номерѣ 77 отъ 18 марта въ концѣ третьей страницы есть примѣчаніе: «Нижеподписавшійся заявляетъ, что онъ въ виду *современныхъ цензурныхъ условій* выступилъ изъ редакціи. Докторъ Марксъ». Напечатанныя курсивомъ слова и въ оригиналѣ напечатаны курсивомъ.

Протоколы шестого рейнского ландтага.

Рейнского обывателя.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

Дебаты о свободѣ печати и объ опубликованіи протоколовъ собранія земскихъ чиновъ.

Опубликованіе протоколовъ ландтага лишь тогда станетъ дѣйствительностью, когда они открыто будутъ обсуждаться, т.-е. когда они станутъ достояніемъ печати. Послѣдній рейнскій ландтагъ, ближе всего, конечно, касается насъ.

Начнемъ съ «дебатовъ о свободѣ печати», тутъ же и замѣтимъ, что при обсужденіи этого вопроса намъ придется иногда проводить нашъ собственный взглядъ; въ дальнѣйшихъ статьяхъ мы будемъ слѣдить за ходомъ преній и излагать ихъ съ точки зрѣнія историческаго наблюдателя.

Самый характеръ преній обуславливаетъ этотъ различный способъ изложенія. Въ дебатахъ по всѣмъ остальнымъ вопросамъ различныя мнѣнія земскихъ чиновъ защищались съ одинаковой силой. Въ вопросѣ же о печати, наоборотъ, противники свободы печати имѣютъ нѣкоторое преимущество. Помимо остроты и общихъ мѣстъ, которые посягае въ воздухъ, мы встречаемъ у этихъ противниковъ какой-то патологическій аффектъ, страстную предвзятость, обусловленная ихъ реальнымъ, а не воображаемымъ отношеніемъ къ печати; между тѣмъ какъ защитники печати на этомъ ландтагѣ, вообще говоря, не имѣютъ конкретнаго отношенія къ предмету своей защиты. Они никогда не знали свободы печати, какъ насущной потребности. Для нихъ она дѣло ума, въ которомъ сердце не принимаетъ никакого участія. Она для нихъ «экзотическое» растеніе, съ которымъ они связаны только какъ «любители». Вслѣдствіе этого они противъ «вѣскихъ» доводовъ противниковъ выставляютъ слишкомъ общее неопредѣленное разсужденіе, а самый ограниченный аргументъ кажется сильнымъ, пока изъ-подъ него не вырвана почва.

Гѣте какъ-то говоритъ, что художнику удается изображеніе только такой женской красоты, типъ которой онъ любилъ въ какомъ-нибудь

живомъ существѣ. Свобода печати также красавица—хотя она и женщина,— которую надо любить, чтобы быть въ состояніи защищать ее. То, что я дѣйствительно люблю, существованіе того я считаю необходимымъ, я чувствую въ немъ потребность, безъ него мое существованіе не можетъ быть полнымъ, удовлетвореннымъ, законченнымъ. Между тѣмъ упомянутые защитники свободы печати, повидимому, наслаждаются полнотой жизни и при отсутствіи свободы печати.

Либеральная оппозиція показываетъ намъ уровень развитія политическаго собранія, какъ вообще оппозиція служитъ показателемъ степени развитія общества. Время, когда сомнѣваться въ привидѣніяхъ считается философскою смѣлостью, когда протестъ противъ суда надъ вѣдьмами идетъ вразрѣзъ съ общественнымъ мнѣніемъ, такое время легитимно для вѣры въ привидѣнія и процессовъ о вѣдьмахъ. Страна, которая, подобно древнимъ Афинамъ, смотритъ на прихлебателей, льстецовъ, паразитовъ, какъ на изгоевъ народного разума, какъ на юридичекихъ, есть страна независимости и самостоятельности. Народъ, который, какъ все народы лучшихъ временъ, присваиваетъ право думать и высказывать истину только иридивнымъ шутамъ, можетъ быть только народомъ зависимымъ и несамостоятельнымъ. Собраніе сословій, въ которомъ оппозиція увѣряетъ, что свобода воли присуща человеческой природѣ, по меньшей мѣрѣ не есть собраніе сословій свободной воли. Исключеніе только подтверждаетъ правило. Либеральная оппозиція показываетъ намъ, что такое либеральная позиція, насколько свобода воплотилась въ людяхъ.

Если мы поэтому замѣтили, что защитники свободы печати въ собраніи сословій ни въ какомъ случаѣ не стоятъ на высотѣ своей задачи, то это еще въ большей степени относится ко всему ландтагу вообще.

И тѣмъ не менѣе мы начинаемъ изложеніе дѣятельности ландтага именно съ этого пункта не только въ виду особаго интереса къ свободѣ печати, но также и въ виду всеобщаго интереса къ ландтагу. Нигдѣ сословный духъ не выразился яснѣе, опредѣленнѣе и полнѣе, чѣмъ въ дебатахъ о прессѣ. Въ особенности это вѣрно по отношенію къ оппозиціи противъ свободы печати; какъ вообще въ оппозиціи противъ общей свободы проявляется наиболѣе рѣзко и безпощадно, точно оскаливъ свои зубы, духъ извѣстнаго круга, индивидуальный интересъ опредѣленнаго сословія, естественная односторонность характера.

Дебаты даютъ намъ полемику княжескаго сословія противъ свободы печати, полемику дворянскаго сословія, полемику сословія горожанъ, такъ что здѣсь полемизируютъ не отдѣльные лица, а сословія. Какое зеркало могло бы вѣрнѣе отразить внутренній характеръ ландтага, чѣмъ дебаты о печати?

Мы начинаемъ съ оппонентовъ противъ свободы печати, а именно, какъ и подобаеть, съ оратора изъ княжескаго сословія.

Мы не будемъ подробно останавливаться на первой части его доклада, относительно того, «что и свобода печати, и цензура составляютъ зло и т. д.», такъ какъ эта тема болѣе основательно разобрана другимъ ораторомъ. Но мы не можемъ обойти молчаніемъ характерной аргументаціи оратора.

«Цензура меньшее зло, чѣмъ распушенность прессы». «Это убѣжденіе постепенно такъ укрѣпилось въ нашей Германіи (спрашивается, какая это часть Германіи), что и Союзъ издалъ по этому поводу законы, которые Пруссія одобрила и которымъ она подчинилась».

Ландтагъ обсуждаетъ вопросъ объ освобожденіи прессы отъ ея оковъ. Самыя эти оковы, говоритъ ораторъ, цѣни, которыми скована печать, показываютъ, что она не предназначена для свободнаго движенія. Ея скованное существованіе говоритъ противъ ея характера. Законы противъ свободы печати опровергаютъ свободу печати.

Это дипломатическій аргументъ противъ всякихъ реформъ, который наиболѣе рѣшительно высказываетъ классическая теорія извѣстной партіи. Каждое ограниченіе свободы есть фактическое, неопровержимое доказательство, что у власть имущихъ когда-то было убѣжденіе въ необходимости ограниченія свободы, и это же убѣжденіе затѣмъ служитъ регулятивомъ ихъ дальнѣйшихъ убѣжденій.

Когда-то приказали вѣрить, что солнце не двигается вокругъ земли. Былъ ли Галилей опровергнуть этимъ?

Точно такъ же въ нашей Германіи утвердилось въ формѣ закона убѣжденіе, раздѣляемое всеми владѣтельными князьями, что крѣпостная зависимость крестьянъ есть присущее крестьянамъ свойство быть зависимыми, что истину лучше всего узнаютъ посредствомъ хирургическихкихъ операцій, т.-е. съ помощью пытокъ, что огонь ада лучше всего демонстрируется еретикамъ вылающими кострами на землѣ.

Развѣ узаконенное крѣпостное состояніе не было фактическимъ доказательствомъ противъ рациональной фантазіи, что человеческое тѣло не есть объектъ пользованія и владѣнія? Развѣ пытка не опровергала пустой теоріи, что кровопусканіемъ нельзя извлечь истину, что дробленіемъ спиннаго хребта на козлѣ нельзя раздробить нравственнаго позвоночника; что судорога не есть признаніе?

Фактъ существованія цензуры, по мнѣнію оратора, опровергаетъ свободу печати; это фактически вѣрно, настолько вѣрно, что топографія въ состояніи опредѣлить размѣръ этой истины, теряющей значеніе факта за предѣлами извѣстныхъ заставъ.

«Ни въ рѣчахъ, ни въ книгахъ», поучаютъ насъ далѣе, «ни въ нашей рейпской провинціи, ни во всей Германіи истинное и болѣе благородное духовное развитіе не сковано». Все благородное очарованіе истины въ нашей печати есть, конечно, даръ цензуры.

Обратимъ прежде всего прежнюю аргументацію оратора противъ него же самого; вмѣсто рациональнаго довода мы приведемъ правя-

тельственный указъ. Въ новѣйшей прусской цензурной инструкціи официально говорится, что печать до сихъ поръ подвергалась слишкомъ большимъ ограниченіямъ, что ей предстоитъ еще проникнуться истинно національнымъ содержаниемъ. Ораторъ можетъ видѣть, что убѣжденія въ *нашей Германіи* мѣняются.

Но какой нелогическій парадоксъ видѣть въ цензурѣ причину болѣе высокаго качества нашей печати!

Величайшій ораторъ французской революціи, *voix toujours tonnante* (громовой голосъ) котораго раздается еще и въ наше время, левъ, рычаніе котораго надо было самому слышать, чтобы кричать ему вмѣстѣ съ народомъ: «здорово зарычалъ, левъ!»—Мирабо развивалъ свой ораторскій талантъ въ тюрьмахъ. Являются ли поэтому тюрьмы высшими школами краснорѣчія?

Если, несмотря на всѣ духовныя рогатки, нѣмецкій духъ все же развился до крупныхъ размѣровъ, то было бы неистинно княжескимъ предъзвѣдкомъ думать, что таможенныя заставы и кордоны содѣйствовали его развитію. Умственное развитіе Германіи совершалось не *черезъ* цензуру, а *вопреки* цензурѣ. Когда пресса при цензурныхъ условіяхъ прозябаетъ и влечитъ жалкое существованіе, то это приводитъ какъ аргументъ противъ свободы печати, хотя это, конечно, аргументъ противъ невольности печати. Если печать, несмотря на цензуру, сохраняетъ свои характерныя особенности, то и это приводитъ въ пользу цензуры, хотя это говоритъ только въ пользу духа, а не въ пользу оковъ.

Вопросъ объ «истинномъ, болѣе благородномъ развитіи» впрочемъ—дѣло особое.

Во времена строгаго соблюденія цензуры отъ 1819 до 1830 г. (позднѣе цензура сама подверглась цензурѣ, если и не въ «нашей Германіи», то все же въ значительной части Германіи, подъ влияніемъ условій времени и сложившихся въ обществѣ убѣжденій) наша литература переживала, если можно такъ выразиться, эпоху Вечерней Газеты, которую съ такимъ же правомъ можно назвать «истинной, благородной, живой и богато развитой», съ какимъ редакторъ Вечерней Газеты, по фамиліи «Winkler» (темная личность), присвоилъ себѣ юмористическій псевдонимъ «Hell» (свѣтлый). Нужно замѣтить, что въ немъ, въ этомъ «Свѣтломъ», не было даже столько свѣта, сколько въ блуждающемъ по ночамъ надъ бологами огонькѣ. Этотъ провинціалъ съ кличкой «Свѣтлый» («Hell») и представляетъ прототипъ тогдашней литературы. Этотъ великій духовный постъ докажетъ будущимъ поколѣніямъ, что не въ примѣръ католическимъ святымъ, съ трудомъ выдержавшимъ сорокъ дней безъ пищи, Германія, даже не будучи святой, болѣе двадцати лѣтъ могла прожить, не производя и не потребляя духовной пищи. Печать стала низкой, и трудно сказать, что преобладало, недостатокъ ли ума надъ недостаткомъ характера, отсутствіе формы надъ отсутствіемъ содержанія—или наоборотъ. Для Германіи, пожалуй, было бы выгодно всего, если бы критикъ уда-

лось доказать, что этотъ періодъ никогда не существовалъ. Единственная область литературы, въ которой тогда еще билась живая жизнь, философія, перестала говорить по-нѣмецки, потому что нѣмецкій языкъ пересталъ быть языкомъ мысли. Духъ говорилъ непонятнымъ, мистическимъ языкомъ, потому что разумныя слова болѣе не должны были быть понятными.

А что касается специально примѣра рейпской литературы, — во всякомъ случаѣ примѣръ этотъ довольно близокъ рейпскому ландтагу — то можно было бы обойти диемъ съ огнемъ, какъ Діогенъ, всѣ пять правительственныхъ округовъ и нигдѣ не сыскать «сего человѣка». Мы это огнюдо не считаемъ недостаткомъ рейпской провинціи, а скорѣе доказательствомъ ея практически-политическаго смысла. Рейпская провинція можетъ создать «свободную печать», но для «независимой» ей не хватаетъ ни способностей и ни плдювій.

Только что истекшій литературный періодъ, который мы можемъ назвать «литературнымъ періодомъ строгой цензуры», представляеть такимъ образомъ очевидное, историческое доказательство, что цензура несомнѣнно панесла жестокой и непростительный ударъ развитію нѣмецкаго духа и что она ни въ коемъ случаѣ не предназначена быть *magister bonarum artium*, какъ это кажется оратору. Или, можетъ быть, подѣ «истинной, болѣе благородной прессы» слѣдуетъ понимать такую, которая съ достоинствомъ посить свои цѣли?

Если ораторъ «позволяетъ себѣ напомнить поговорку о мизницѣ и всей рукѣ», то и мы также позволимъ себѣ спросить, не соответствуетъ ли достоинству правительства протянуть духу своего народа не одну только руку, а обѣ руки?

Нашъ ораторъ, какъ мы видѣли, съ небрежною важностью, съ дипломатическою трезвостью устранилъ вопросъ объ отношеніи цензуры къ умственному развитію. Еще рѣшительнѣе опъ обнаруживаетъ отрицательныя стороны своего сословія въ своихъ нападкахъ на историческія формы свободы печати.

Что касается существованія свободы печати у другихъ народовъ, то «Англія не можетъ служить примѣромъ, такъ какъ тамъ въ теченіе цѣлыхъ столѣтій, благодаря особенностямъ положенія Англій, исторически сложились извѣстныя условія, которыя не могутъ быть искусственно созданы ни въ какой другой странѣ при помощи теорій». «Въ Голландіи свобода печати не сумѣла предохранить отъ тяжелаго государственнаго долга и въ значительной степени содѣйствовала взрыву революціи, въ результатѣ которой половина территоріи отпала». Мы пока обходимъ молчаніемъ Францію, чтобы потомъ вернуться къ ней. «Наконецъ, находимъ ли мы въ Швейцаріи осчастливленное свободой печати эльдорадо? Развѣ не вызываютъ *отараченія* воспоминанія о грубыхъ партійныхъ ссорахъ, наполнявшихъ газетные столбцы, когда партіи, въ вѣрномъ сознаніи своего ничтожнаго человеческого достоинства, усваивали названія частей животнаго организма, какъ напр.,

роговъ, ногтей и т. д.; плоскими ношеніями эти партіи вызвали презрѣніе у всѣхъ сосѣдей!»

Англійская печать не говоритъ въ пользу свободы печати вообще, такъ какъ она тамъ покоится на историческихъ основаніяхъ. Печать въ Англии имѣетъ заслуги лишь потому, что она развила исторически, а не—какъ таковая. Здѣсь, стало-быть, заслуги за исторіей, а не за печатью. Какъ будто печать не составляетъ также части исторіи, какъ будто печати не приходилось при Генрихѣ VIII, Маріи Стюартъ, Елисаветѣ и Яковѣ вести жестокою и подчасъ варварскую борьбу, чтобы добыть англійскому народу его историческіе устои!

И развѣ не говоритъ это, наоборотъ, въ пользу свободы печати, если англійская печать при наибольшей свободѣ не подѣйствовала разрушительно на историческіе устои? Но ораторъ не отличается послѣдовательностью.

Англійская печать говоритъ не *въ пользу* печати вообще, *потому что* она—англійская. Голландская печать говоритъ *противъ* печати вообще, *хотя* она только голландская. То всѣ преимущества печати приписываются историческимъ основаніямъ, то всѣ недостатки историческимъ основаніямъ—печати. То печать не имѣетъ своей доли въ историческомъ прогрессѣ, то исторія не имѣетъ своей доли въ недостаткахъ печати. Какъ въ Англии печать срослась съ ея исторіей и особенностями положенія, точно такъ же и въ Голландіи и въ Швейцаріи.

Должна ли печать отражать, уничтожать или развивать историческія основанія? Ораторъ упрекаетъ ее и въ одномъ, и въ другомъ, и въ третьемъ.

Онъ порицаетъ голландскую печать за то, что она продуктъ исторіи. Она должна была бы помѣшать исторіи, она должна была оградить Голландію отъ обременительнаго національнаго долга! Какое историческое требованіе! Голландская печать не могла предотвратить вѣка Людовика XIV; голландская печать не могла помѣшать тому, чтобы англійскій флотъ въ эпоху Кромвеля сталъ первымъ въ Европѣ. Она не могла заколдовать океанъ, дабы онъ избавилъ Голландію отъ тяжелой роли служить колымъ сраженія для воинственныхъ континентальныхъ державъ; она не могла такъ же, какъ всѣ германскіе цензоры имѣть взятыя, уничтожить деспотическихъ великій Наполеона.

Но развѣ когда-нибудь свободная печать умножала государственные долги? Кто, кромѣ нѣсколькихъ сатириковъ, смѣло выступилъ въ періодъ баснословныхъ денежныхъ спекуляцій, когда во время орлеанскаго регентства вся Франція была вовлечена Джономъ Ло въ биржевую горячку? Писателямъ въ награду достались за это во всякомъ случаѣ не банковые билеты, а билеты на заключеніе въ Бастилію.

Требованіе, чтобы печать предохраняла отъ національнаго долга,

можетъ быть расширено въ томъ смыслѣ, чтобы она платила долги отдѣльныхъ лицъ; но подобное требованіе напоминаетъ того литератора, который постоянно сердился на своего врача за то, что тотъ, правда и исправлялъ его здоровье, но не исправлялъ его произведеній. Свобода печати, подобно врачу, не обѣщаетъ совершенства ни чело-вѣку, ни народу. Она сама по себѣ есть совершенство. Довольно тривіально—поносить какое-либо благо за то, что оно представляетъ собою опредѣленное благо, а не всеобъемлющее благо, что оно есть *то*, а не *другое* благо. Конечно, если бы въ свободѣ печати воплотилось все, то она сдѣлала бы излишними всѣ остальные функціи народа и даже самый народъ.

Ораторъ винитъ голландскую печать въ бельгійской революціи.

Ни одинъ человѣкъ съ историческимъ образованіемъ не станетъ отрицать, что отдѣленіе Бельгіи отъ Голландіи было гораздо болѣе исторично, чѣмъ ихъ соединеніе.

Голландская печать произвела бельгійскую революцію. Какая печать? Прогрессивная или реакціонная? Такой же вопросъ мы можемъ поставить и относительно Франціи; и если ораторъ порицаетъ клерикальную бельгійскую печать, которая въ то же время была демократической, то онъ точно такъ же долженъ порицать и клерикальную печать во Франціи, которая въ то же время была сторонницей абсолютизма. И та и другая содѣйствовали испроверженію своихъ правительствъ. Во Франціи революціонизировала не свобода печати, а цензура.

Но какъ бы тамъ ни было, бельгійская революція проявилась вначалѣ въ видѣ уметвенной революціи, въ видѣ революціи печати. Видъ этихъ рамокъ утвержденіе, будто пресса сдѣлала бельгійскую революцію, не имѣетъ никакого смысла. Но развѣ это заслуживаетъ порицанія? Развѣ революція съ самаго начала должна проявиться въ матеріальной формѣ? Правительство можетъ матеріализировать духовную революцію; матеріальная революція должна раньше одухотворить правительство.

Бельгійская революція есть продуктъ бельгійскаго духа. Поэтому и печать,—самое свободное въ наши дни проявленіе духа, принимала участіе въ бельгійской революціи. Бельгійская печать не была бы бельгійской печатью, если бы она стояла вдали отъ революціи, но точно такъ же бельгійская революція не была бы бельгійской, если бы она въ то же время не была революціей печати. Революція народа проявляется *во всемъ*, она *цѣлостна*, т.-е. въ каждой области революція совершается по-своему; почему же печать, какъ таковая, должна составлять исключеніе?

Ораторъ порицаетъ такимъ образомъ въ бельгійской печати не печать, онъ порицаетъ Бельгію. И въ этомъ заключается основа его историческаго взгляда на свободу печати. Народный характеръ свободной печати,—а какъ извѣстно, даже художникъ не пишетъ большихъ историческихъ картинъ водяными красками,—историческая

индивидуальность свободной печати, благодаря которой она становится печатью индивидуальной, печатью определенного народного духа, не приходится по вкусу оратору из княжеского сословия. Онъ предъявляетъ требованіе къ печати различныхъ націй, чтобы она была печатью, выражающею его взгляды, печатью haute volée (аристократіи) и чтобы она вращалась вокругъ отдѣльныхъ личностей, а не вокругъ духовныхъ планетъ, вокругъ націй. Въ критикѣ швейцарской печати это требованіе выступаетъ въ неприкрытомъ видѣ.

Пока мы позволимъ себѣ задать одинъ вопросъ. Почему не вспомнилъ ораторъ, что швейцарская пресса, въ лицѣ Альбрехта фонъ Галлера, выступила противъ вольтеровскаго просвѣщенія? Почему онъ не помнитъ, что если Швейцарія и не Эльдorado, то все же она произвела также пророка будущаго княжескаго Эльдorado, господина фонъ Галлера, который въ своей «Реставраціи государственныхъ наукъ» («Restauration der Staatswissenschaften») положилъ фундаментъ «болѣе благородной, истинной» печати «Berliner Politische Wochenblatt»? Дерево познается по его плодамъ. А какая страна въ мірѣ кромя Швейцаріи могла бы похвастать плодомъ, обладающимъ столь сочною легитимностью?

Ораторъ ставитъ въ вину швейцарской прессѣ, что она присвоила себѣ «зоологическія партійныя имена» въ родѣ «роговъ» и «когтей», однимъ словомъ, что она говоритъ по швейцарски и со швейцарцами, живущими въ извѣстной патріархальной дружбѣ съ быками и коровами. Печать этой страны есть печать этой именно страны. Только это и можно сказать. Но извѣстѣ съ тѣмъ свободная печать выводитъ изъ ограниченности мѣтнаго партикуляризма, какъ это опять-таки доказываетъ швейцарская печать.

О животныхъ партійныхъ именахъ мы въ частности должны замѣтить, что сама религія возводитъ животныхъ въ символъ духа. Нашъ ораторъ, конечно, отвергнетъ индійскую прессу, которая въ религіозномъ экстазѣ чтитъ корову Сабалу и обезьяну Гапузана. Онъ поставитъ индійской прессѣ въ вину индійскую религію, какъ онъ швейцарской прессѣ ставитъ въ вину швейцарскій характеръ. Но есть печать, которую онъ едва ли захочетъ поднимать цезуры, мы имѣемъ въ виду религіозную печать, библію. А развѣ она не дѣлаетъ всего человечества на двѣ большія партіи козлищъ и овецъ? Развѣ самъ Богъ не характеризуетъ слѣдующимъ образомъ своего отношенія къ козлянамъ Іуды и Израиля: «Для дома Іуды я моль, а для дома Израиля червякъ?» Или, что для насъ мірянъ ближе, развѣ нѣтъ княжеской литературы, которая превращаетъ всю антропологию въ зоологию, мы имѣемъ въ виду геральдическую литературу? Тамъ встрѣчаются еще большіе курьезы, чѣмъ партіи роговъ и когтей.

Что же собственно порицалъ ораторъ въ свободѣ печати? То, что недостатки народа извѣстѣ съ тѣмъ составляютъ и недостатки его печати, что она есть непосредственное выраженіе откровенія историческаго народнаго духа. Доказалъ ли онъ, что нѣмецкій народный духъ

лишенъ этой великой, естественной привилегіи? Онъ показалъ, что каждый народъ проявляетъ *свой* духъ въ *своей* прессѣ. Почему же философски образованному уму пѣмперъ не должно быть присуще то, что, по собственному увѣренію оратора, свойственно швейцарцамъ, не вышедшимъ изъ стадія животнаго?

Думаетъ ли, наконецъ, ораторъ, что національные недостатки свободной печати не являются также и національными недостатками цензоровъ? Развѣ цензора изъятъ изъ историческаго процесса, не затронуты духомъ времени? Къ сожалѣнію, это можетъ быть и такъ; но какой же здравый человѣкъ не предпочтетъ извинить печати грѣхи націи и времени, чѣмъ извинять цензурѣ грѣхи противъ націи и времени?

Мы уже въ началѣ замѣтили, что въ лицѣ различныхъ ораторовъ, полемизирующихъ противъ свободы печати, полемизируетъ ихъ собственное сословіе. Ораторъ изъ княжескаго сословія привелъ сначала дипломатическія причины. Онъ доказалъ несправедливость свободы печати на основаніи княжескихъ убѣжденій, довольно ясно выраженныхъ въ законахъ о цензурѣ. Онъ думаетъ, что болѣе благородное, истинное развитіе пѣмперскаго ума обусловлено стѣсненіями сверху. Онъ, наконецъ, полемизировалъ противъ народовъ и отвергъ въ благородномъ ужасѣ свободу печати, какъ педеликатный, нескромный языкъ народа.

* * *

Ораторъ изъ дворянскаго сословія, къ которому мы теперь переходимъ, полемизируетъ не противъ народовъ, а противъ людей. Въ свободѣ печати онъ оспариваетъ человѣческую свободу, въ законѣ о печати — законъ. Прежде чѣмъ зайтия собственно вопросомъ о свободѣ печати, онъ касается вопроса о ежедневномъ печатаніи дебатовъ ландтага въ несокращенномъ видѣ. Мы послѣдуемъ за нимъ шагъ за шагомъ.

«Первое изъ предложеній объ опубликованіи протоколовъ удовлетворено. Ландтагу предоставляется сдѣлать разумное употребленіе изъ даннаго разрѣшенія».

Вотъ это именно и есть *punctum quaestionis*. Провинція думаетъ, что ландтагъ, такъ сказать, въ ея рукахъ съ того момента, какъ опубликованіе его дебатовъ не предоставлено болѣе произволу его благоразумія, а предписано закономъ. Мы должны были бы назвать эту новую уступку новымъ шагомъ назадъ, если толковать ее въ томъ смыслѣ, что печатаніе будетъ зависѣть отъ произвола земскихъ чиновъ.

Привилегіи земскихъ чиновъ не являются правомъ провинціи. Наоборотъ, скорѣе право провинціи тамъ именно кончается, гдѣ оно становится привилегіей земскихъ чиновъ. Такъ, напр., сословія въ Средніе вѣка сосредоточили въ своемъ лицѣ все права страны и обратили ихъ какъ привилегіи противъ страны.

Гражданинъ не желаетъ знать правъ въ видѣ привилегіи. Можетъ ли онъ считать правомъ прибавленіе новыхъ привилегированныхъ къ уже существующимъ?

Права ландтага въ такомъ случаѣ не являются болѣе правами провинціи, а правами противъ провинціи, самый ландтагъ является наибольшей несправедливостью по отношенію къ провинціи, съ мистическимъ назначеніемъ слыть за ея величайшее право.

Слѣдя далѣе за рѣчью оратора изъ дворянскаго сословія, мы увидимъ, насколько онъ проникся этимъ средневѣковымъ пониманіемъ ландтага, какъ откровенно онъ защищаетъ привилегію земскихъ чиновъ противъ права страны.

«Расширеніе этого разрѣшенія (публикаціи дебатовъ) можетъ исходить только изъ внутренняго убѣжденія, но не въ силу вѣшняго воздѣйствія».

Неожиданное заявленіе! Воздѣйствіе провинціи на ея ландтагъ считается чѣмъ-то вѣшнимъ, и ему противостоитъ, какъ сокровенный голосъ сердца, убѣжденіе земскихъ чиновъ, необыкновенно чувствительная натура которыхъ взываетъ къ провинціи: *Noli me tangere!* Эта эгегическая фраза о «внутреннемъ убѣжденіи», въ противовѣсъ холодному, вѣшному, несправедливому сѣверному вѣтру «общественнаго убѣжденія», тѣмъ болѣе достойна вниманія, что рѣчь идетъ какъ разъ о томъ, чтобы придать внутреннему убѣжденію земскихъ чиновъ вѣшное выраженіе. Во всякомъ случаѣ и здѣсь замѣтна непослѣдовательность. Въ подходящихъ случаяхъ, какъ напр., въ вопросѣ о церковномъ конфликтѣ ораторъ взываетъ къ провинціи.

«Мы допустимъ публикацію, — продолжастъ ораторъ, — тамъ, гдѣ мы считаемъ это целесообразнымъ, и ограничимъ ее тамъ, гдѣ расширеніе ея кажется намъ безцѣльнымъ или даже вреднымъ».

Мы будемъ дѣлать, что *мы* захотимъ. *Sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas.* Это настоящій языкъ повелителя, который звучитъ очень трогательно въ устахъ современнаго родового дворянина.

Кто эти «мы»? Земскія сословія. Опубликованіе дебатовъ предназначается для провинціи, а не для сословія. Но ораторъ поучаетъ насъ другому. Печатаніе протоколовъ также составляетъ привилегію земскихъ сословія, которыя имѣютъ право, если они считаютъ это удобнымъ, дать своей мудрости многоголосное эхо печати.

Ораторъ знаетъ только провинцію земскихъ сословія, но не знаетъ земскихъ сословія провинціи. Земскія сословія имѣютъ провинцію, на которую распространяется привилегія ихъ дѣятельности, но провинція не имѣетъ земскихъ сословія, въ лицѣ которыхъ она проявляетъ свою дѣятельность. Во всякомъ случаѣ провинція имѣетъ право, при указанныхъ условіяхъ, сотворить себѣ этихъ боговъ, но сейчасъ же послѣ сотворенія она должна забыть, какъ идолопоклонникъ, что эти боги — дѣло ея собственныхъ рукъ.

Изъ этого, между прочимъ, трудно заключить, почему монархія безъ ландтага не лучше монархіи съ ландтагомъ, ибо, если ландтагъ

не является представителем воли провинции, то мы питаемъ къ публичному разуму правительства больше довѣрія, чѣмъ къ частному разуму землевладѣнія.

Мы видимъ въ данномъ случаѣ передъ собою удивительную картину, отражающую, можетъ быть, самое существо ландтага: провинция приходится бороться не черезъ своихъ представителей, а противъ нихъ. По мнѣнію оратора, ландтагъ не считаетъ общихъ правъ провинции своими единственными привилегіями, ибо въ такомъ случаѣ ежедневное печатаніе протоколовъ ландтага въ несокращенномъ видѣ составило бы лишь новое право ландтага, какъ и сграпы; опъ, напротивъ того, хочетъ, чтобы страна считала своими единственными правами привилегіи земскихъ чиновъ. По почему бы въ такомъ случаѣ не привилегіи какаго-нибудь класса чиновниковъ, дворянства или духовенства!

Да, нашъ ораторъ совершенно открыто говоритъ, что привилегіи земскихъ чиновъ уменьшаются въ той мѣрѣ, въ какой увеличиваются права провинции.

«Насколько ему кажется желательнымъ, чтобы здѣсь въ собраніи была свобода обсужденія и чтобы здѣсь не приходилось робко вѣвѣшивать каждое слово, настолько же необходимо, по его мнѣнію, для сохраненія этой свободы слова и этой откровенности въ рѣчахъ, чтобы слова наши въ данное время обсуждались лишь тѣми, для кого они предназначены».

Именно потому, что свобода дискусіи желательна въ нашемъ собраніи, заключаетъ ораторъ, — а какія свободы намъ не желательны, гдѣ рѣчь идетъ о насъ, — именно потому свобода обсужденія въ провинции въ высшей степени [не] желательна. Въ виду того, что намъ желательно говорить, не стѣпясь, еще болѣе желательно держать провинцію въ пачу тайны. Наши слова не предназначены для провинции.

Такъ, — нужно признать, — подсказалъ оратору, что печатаніе дебатовъ въ несокращенномъ видѣ превратило бы ландтагъ изъ привилегіи земскихъ чиновъ въ право провинции, что, сдѣлавшись непосредственнымъ объектомъ публичнаго разума, онъ долженъ былъ бы рѣшиться стать воплощеніемъ публичнаго разума, что при свѣтѣ всеобщаго сознанія онъ долженъ былъ бы отказаться отъ своей особенной сущности въ пользу общей.

Но если дворянскій ораторъ считаетъ личныя привилегіи, индивидуальныя свободы по отношенію къ народу и правительству, — общими правами, безспорно очень мѣтко выражая этимъ исключительный духъ своего *сословія*, то за то духъ провинции онъ толкуетъ самымъ превратнымъ образомъ, превращая ея общія требованія въ личныя вожденія.

Такъ ораторъ приписываетъ провинции какое-то мелкое любопытство чисто личнаго характера къ *нишимъ словамъ* (т.-е. отдѣльныхъ представителей сословія).

Мы можем увѣрить его, что провинція отнюдь не интересуется «словами» земскихъ чиновъ, какъ отдѣльныхъ личностей, — а вѣдь только «такія» слова они справедливо могутъ назвать «свободными». Провинція, напротивъ того, требуетъ, чтобы слова земскихъ чиновъ превратились въ официальный, громко раздающійся голосъ страны.

Здѣсь рѣчь идетъ о томъ, должна ли провинція имѣть представленіе о своемъ представительствѣ или нѣтъ? Должно ли къ таинству правительства прибавиться еще новое таинство представительства? Вѣдь и въ правительствѣ народъ представленъ. Новое представительство его въ лицѣ земскихъ чиновъ не имѣло бы никакого смысла, если бы ихъ специфическій характеръ не заключался именно въ томъ, что въ данномъ случаѣ дѣйствуютъ не за провинцію, а дѣйствуетъ сама провинція; что за нее здѣсь не представляютъ, а она сама себя представляетъ. Представительство, которое не существуетъ въ сознаніи представляемыхъ, не есть представительство. Чего не знаю, о томъ и не вспоминаю. Это нелѣпое противорѣчіе, когда функція государства, которая преимущественно выражаетъ собою самостоятельность отдѣльныхъ провинцій, совершенно изъята даже изъ ихъ формальнаго соотвѣствія, изъята изъ ихъ сознанія; нелѣпое противорѣчіе, что моя самостоятельность заключается въ неизвѣстной мнѣ дѣятельности другого.

Но опубликованіе протоколовъ ландтага, предоставленное произволу земскихъ чиновъ, хуже, чѣмъ если бы совсѣмъ ничего не опубликовали; ибо, если ландтагъ даетъ мнѣ не то, что онъ есть, но то, чѣмъ онъ хочетъ казаться въ моихъ глазахъ, то я принимаю его за то, за что онъ себя выдаетъ, т.-е. принимаю иллюзію за дѣйствительность; а очень печально, когда иллюзія получаетъ санкцію закона.

Но развѣ даже ежедневное печатаніе дебатовъ въ несокращенномъ видѣ можно назвать несокращеннымъ и гласнымъ? Развѣ замѣна живыхъ словъ изложеніемъ, лицъ — схемами, дѣйствительныхъ дѣйствій — бумажками, не есть сокращеніе? Развѣ гласность состоитъ лишь въ томъ, что *дѣйствительное* дѣло сообщается публикѣ, а не въ томъ, что оно сообщается *дѣйствительной публикѣ*, т.-е. не воображаемой, читающей, но живой, современной публикѣ?

Нѣтъ ничего болѣе противорѣчливаго, чѣмъ то, что павысшая общественная функція провинціи является тайной, что двери суда въ частныхъ процессахъ для провинціи открыты, но что въ ея собственномъ процессѣ двери предъ нею закрываются.

Опубликованіе протоколовъ ландтага въ несокращенномъ видѣ не можетъ въ его полномъ послѣдовательномъ смыслѣ быть чѣмъ-либо инымъ, какъ полною публичностью дѣятельности ландтага.

Нашъ ораторъ, наоборотъ, продолжаетъ разсматривать, ландтагъ какъ нѣчто въ родѣ кабинета для куренія (Estaminet).

«У большинства изъ насъ хорошія личныя отношенія несмотря

на различіе взглядовъ основаны на многолѣтнемъ знакомствѣ другъ съ другомъ. Эти отношенія по наследству переносятся на вновь вступающихъ».

«И именно поэтому мы по большей части въ состояніи оцѣнить значеніе нашихъ словъ, и это будетъ происходить тѣмъ проще, тѣмъ меньше мы допустимъ вѣщнее воздѣйствіе, которое лишь тогда можетъ быть полезно, когда оно является въ видѣ доброжелательнаго совѣта, а не стремится въ формѣ критики, похвалы или порицанія повліять черезъ печать на нашу личность».

Нашъ ораторъ апеллируетъ къ чувству.

Мы собираемся по семейному, мы такъ не стѣсняясь бесѣдуемъ другъ съ другомъ, мы такъ вѣрно оцѣниваемъ слова другъ друга; неужели вамъ слѣдуетъ испортить наше столь патріархальное, столь благородное, столь удобное положеніе, подчиняясь сужденіямъ провинціи, которая, можетъ быть, придастъ меньше значенія нашимъ словамъ?

Помилуй Богъ! Ландтагъ не переноситъ свѣта. Во мракѣ частной жизни мы себя лучше чувствуемъ. Если вся провинція настолько довѣрчива, что ввѣряетъ свои права отдѣльнымъ лицамъ, то само собою понятно, что эти отдѣльныя лица такъ снисходительны, что принимаютъ довѣріе провинціи, но было бы настоящимъ безуміемъ требовать, чтобы они платили той же монетой и съ полнымъ довѣріемъ отдавали самихъ себя, свои труды, свои личности на судъ провинціи, которая только что высказала о нихъ свое сужденіе. Во всякомъ случаѣ гораздо важнѣе, чтобы провинція не повредила личности земскихъ чиновъ, нежели чтобы интересамъ провинціи не нанесено было ущербъ личностями земскихъ чиновъ.

Мы хотимъ также быть справедливы и милостивы. Мы, а мы вѣчто въ родѣ правительства, мы, хотя и не разрѣшаемъ никакой критики, ни похвалы, ни порицанія, не разрѣшаемъ общественному мнѣнію имѣть вліяніе на наши *persona sacrosancta*, но мы разрѣшаемъ *благожелательный советъ*, не въ томъ абстрактномъ смыслѣ, что имъ преслѣдуется благо страны, а въ томъ болѣе благозвучномъ, чтобы въ немъ заключалась страстная пѣжноть къ представителямъ сословій, особо высокое мнѣніе объ ихъ качествахъ.

Можно было бы, пожалуй, подумать, что если гласность вредна для нашего добраго согласія, то наше доброе согласіе должно быть вредно для гласности. Но эта софистика забывается, что ландтагъ есть собраніе земскихъ чиновъ, а не собраніе представителей провинціи. И кто могъ бы устоять противъ самаго убѣдительнаго изъ всѣхъ аргументовъ? Если провинція, согласно конституціи, выбираетъ представителей сословій, которые должны представлять ея коллективный разумъ, то она этимъ самымъ отказывается отъ собственного сужденія и собственного разума, воплощенныхъ отпыль цѣлкомъ въ ея представителяхъ. Подобно тому, какъ великіе изобрѣтатели по извѣстной легендѣ предавались смерти или—что отпуюдь не легенда—жи-

выми замуровывались въ крѣпостяхъ, какъ только они сообщали свой секретъ властелинамъ, такъ политическій коллективный разумъ провинціи бросается на собственный мечъ всякій разъ, когда онъ изобрѣтаетъ земскихъ чиновъ, — для того, правда, чтобы вновь, какъ фениксъ, возродиться къ слѣдующимъ выборамъ.

Послѣ этого задушевнаго описанія всѣхъ опасностей, угрожающихъ представителямъ земскихъ сословій извѣтъ, отъ опубликованія протоколовъ, т. е. отъ провинціи, ораторъ заканчиваетъ свою діагнотическую основную мысль, за которой мы до сихъ поръ пытались слѣдить.

«Парламентская свобода», очень благозвучное выраженіе, «находится еще въ первоначальной стадіи своего развитія. Ее еще слѣдуетъ охранять и воспитывать, чтобы она пріобрѣла ту внутреннюю силу и самостоятельность, которыя безусловно необходимы, для того чтобы она безъ вреда для себя могла подвергаться вѣншиимъ бурямъ». Опять старое фатальное противоположеніе ландтага, какъ чего-то внутренняго провинціи, какъ чему-то вѣншнему.

Мы, признаться, давно уже придерживались такого мнѣнія, что парламентская свобода находится еще въ самомъ зачаточномъ состояніи, и разбираемая рѣчь насъ опять убѣдила, что не пройденъ еще курсъ *primitiae studiorum* въ *politicais*. Но мы этимъ ни въ коемъ случаѣ не хотимъ сказать, — и разбираемая рѣчь опять-таки подтверждаетъ наше мнѣніе, — что ландтагу слѣдуетъ представить еще большее возмозможность отгородить себя непроницаемой стѣной отъ провинціи. Можетъ быть ораторъ подъ парламентской свободой понимаетъ свободу старыхъ французскихъ парламентовъ. По его собственному признанію, между земскими чинами установилось многолѣтнее знакомство, ихъ духъ какъ эпидемическое налѣдство передается *homines novi*; и при этомъ все еще не настало время для гласности? Двѣнадцатый ландтагъ можетъ дать такой же отвѣтъ, какъ шестой, но только съ той рѣшительной оговоркой, что онъ слишкомъ независимъ для того, чтобы позволить вырвать у себя благородную привилегію свободы отъ гласности.

Развитіе парламентской свободы въ старо-французскомъ духѣ, самостоятельность по отношенію къ общегвнному мнѣнію, застои кастоваго духа — наиболѣе основательно развиваются при изоляціи; по предостережѣ именно отъ такого хода вещей никогда не можетъ быть слишкомъ преждевременно. Политическое собраніе въ истинномъ смыслѣ этого слова можетъ процвѣтать только подъ верховнымъ покровительствомъ духа обществениости, какъ органическая жизнь только при свободномъ доступѣ воздуха. Только «экзотическія» растенія, растенія, перенесенныя въ чуждый климатъ, нуждаются въ тепличной обстановкѣ. Неужели ораторъ разсматриваетъ ландтагъ какъ «экзотическое» растеніе среди вольной и веселой природы Рейнской провинціи?

При видѣ того, какъ нашъ ораторъ изъ рыцарскаго сословія съ почти комическою серьезностью, съ почти меланхолическимъ достоинствомъ и съ почти религіознымъ пафосомъ развиваетъ постулаты о высокой мудрости сословія, а также объ ихъ средневѣковой свободѣ и независимости, профанъ удивится, что въ вопросѣ о свободѣ печати тотъ же ораторъ съ высотъ мудрости лапдлага спускается до обычнаго неразумія человѣческаго рода, что отъ только что воехваленной независимости и свободы привилегированныхъ сословія онъ переходитъ къ принципиальной несвобождѣ и несамостоятельности человѣческой натуры. Намъ нисколько не удивляетъ этотъ весьма распространенный въ наши дни представитель христіанско-рыцарскаго, современно-феодалнаго, однимъ словомъ—романтическаго принципа.

Эти господа хотя и видѣтъ въ свободѣ не естественный даръ всеобщаго, яснаго свѣта разума, а сверхъестественный результатъ особо благоприятнаго сочетанія звѣздъ; разсматривая свободу только, какъ индивидуальное свойство отдѣльныхъ лицъ и сословія, они логически вынуждены отпести всеобщій разумъ и всеобщую свободу къ разряду вредныхъ идей и фантазмагорій «логически построенныхъ системъ». Желая спасти частныя свободы привилегированныхъ лицъ, они осуждаютъ всеобщую свободу человѣческой природы. Но злое исчадіе 19 столѣтія и собственное сознаніе современныхъ рыцарей, зараженное ядомъ этого столѣтія, не могутъ понять того, что само по себѣ исполнимо, т.-е. какимъ образомъ вострепліе, существенно-важныя общіе атрибуты связаны съ извѣстными индивидами путемъ вѣшнихъ, случайныхъ, частныхъ моментовъ, не будучи въ то же время связаны съ существомъ челоѣка, съ разумомъ вообще, не будучи, слѣдовательно, общи всѣмъ людямъ; не понимая этого, они по необходимости прибѣгаютъ къ чуду и къ мистикѣ. Такъ какъ дѣйствительное положеніе этихъ господъ въ современномъ государствѣ далеко не соответствуетъ тому представленію, которое они имѣютъ о своемъ положеніи, такъ какъ они живутъ въ мірѣ, лежащемъ внѣ дѣйствительнаго; такъ какъ сила воображенія затѣняетъ имъ умъ и сердце, они, неудовлетворенные практикой, по необходимости прибѣгаютъ къ теоріи, но къ теоріи потусторонняго міра, къ религіи. Въ ихъ рукахъ религія приобретаетъ полемическую, полную политическихъ тенденцій горечь, становясь болѣе или менѣе сознательно покровомъ весьма свѣтскихъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и весьма фантастическихъ вождеденій.

И мы увидимъ, что нашъ ораторъ противопоставляетъ практическимъ требованіямъ — мистическую религіозную теорію воображенія, дѣйствительнымъ теоріямъ — мелочно-умную, прагматически-затѣливую, заимствованную изъ самой поверхностной практики мудрость опыта, человѣчески пошлѣнному — сверхчеловѣческія святости, а дѣйствительной святости идей—произволъ и невѣріе низости мысли. Болѣе аристократическій, болѣе небрежный и трезвый языкъ оратора изъ княжескаго сословія превращается у нашего рыцаря въ патети-

чекую взвинченность и фалтастически-экзальтированную елейность, которая въ княжеской рѣчи отступали на задній планъ передъ пафосомъ привилегіи.

«Чѣмъ менѣе можно отрицать, что печать въ настоящее время представляетъ политическую силу, тѣмъ ошибочнѣе кажутся ему широко распространенный взглядъ, будто изъ борьбы хорошей и дурной печати рождаются истина и свѣтъ, и надежда на большее и болѣе вліятельное распространеніе послѣднихъ. Человѣкъ въ отдѣльности, какъ и въ массѣ, всегда одинъ и тотъ же. По своей природѣ онъ не совершененъ и не зрѣлъ и пужается въ воспитаніи до тѣхъ поръ, пока продолжается его развитіе, которое прекращается только съ его смертію. А искусство воспитанія заключается не въ наказаніи недозволенныхъ дѣйствій, а въ содѣйствіи хорошимъ вліяніямъ и въ устраненіи дурныхъ. Но при этомъ человѣческомъ несовершенствѣ неизбежно, что оболъстительная прелесть дурного сильно дѣйствуетъ на массы и является, если и не абсолютнымъ, то во всякомъ случаѣ трудно поборимымъ препятствіемъ для простаго и трезваго голоса истины. Дурная печать говоритъ только человѣческимъ страстямъ, она не брезгаетъ ни однимъ средствомъ, лишь бы возбужденіемъ страстей достигъ своей цѣли — возможно большаго распространенія вредныхъ началъ и вредныхъ идей; къ ея услугамъ все преимуще-ства той опаснѣйшей изъ всѣхъ наступательныхъ позицій, для которой объективно не существуетъ границъ права, а субъективно — законовъ нравственности, болѣе того формальной чести. Не то — благонамѣренная печать: она всегда ограничивается одной лишь оборонительной позиціей, вліяніе ея чаще всего оборонительнаго и сдерживающаго характера; она не можетъ похвалиться значительнымъ успѣхомъ въ непріятельскомъ лагерѣ. Хорошо и то, если вышнія препятствія не мѣшаютъ совершенно ея вліянію».

Мы привели эту патетическую тираду цѣликомъ, чтобы не ослабить ея впечатлѣнія на читателя.

Ораторъ сталъ à la hauteur des principes (на высоту принциповъ). Чтобы бороться противъ свободы печати, нужно защищать постоянную незрѣлость рода человѣческаго. Положеніе — если несвобода въ натурѣ человѣка, то свобода противорѣчитъ его натурѣ, — представляетъ собою чистую тавтологію. Что, если злые скептики осмѣлятся не повѣрить оратору на слово?

Если незрѣлость человѣческаго рода есть мистическое основаніе противъ свободы печати, то цензура во всякомъ случаѣ въ высшей степени разумное средство противъ зрѣлости рода человѣческаго. Все, что развивается, несовершенно. Развитіе кончается только со смертію. Въ такомъ случаѣ было бы весьма послѣдовательно лишать человѣка жизни, дабы избавить его отъ состоянія несовершенства. Эти посылки приводятъ оратора къ убійству свободы печати. Для него настоящее воспитаніе состоитъ въ томъ, чтобы держать человѣка всю жизнь въ пеленкахъ, ибо, какъ только человѣкъ научается ходить, онъ на-

учается и падать, а только падая онъ научается ходить. Но если мы всё будемъ оставаться въ пеленкахъ, то кто будетъ насъ пеленать? Если мы всё будемъ лежать въ колыбели, кто будетъ насъ качать? Если мы всё будемъ арестантами, то кто же будетъ тюремщикомъ?

Человѣкъ по природѣ своей несовершененъ, какъ въ отдѣльности, такъ и въ массѣ. De principiis non est disputandum. Пусть такъ! Что изъ этого слѣдуетъ? Разсужденія нашего оратора несовершенны, правительствa несовершенны, лаядтаги несовершенны, свобода печати несовершенна, всякая сфера человѣческаго существованія несовершенна. Если хоть одна изъ нихъ не должна существовать въ силу этого несовершенства, то ни одна не имѣетъ права существовать, то человѣкъ вообще не имѣетъ права существовать.

Если заранѣе предположить принципиальное несовершенство человека, тогда мы заранѣе знаемъ относительно всѣхъ человѣческихъ учреждений, что они несовершенны. Объ этомъ, стаю-быть, нечего распространяться, это не говорить ни за, ни противъ нихъ, это не ихъ специфическій характеръ, это не ихъ отличительный признакъ.

Почему именно среди всѣхъ этихъ несовершенствъ свободная печать должна быть совершенной? Почему несовершенное земское собраніе требуетъ совершенной прессы?

Несовершенное нуждается въ воспитаніи. Но развѣ воспитаніе не есть дѣло человека, а слѣдовательно, несовершенно? Развѣ само воспитаніе не нуждается въ воспитаніи?

Если, слѣдовательно, все человѣческое по существу своему несовершенно, то развѣ отсюда слѣдуетъ, что мы должны все смѣшать, все одинаково высоко чтить, добро и зло, истину и ложь? Единственно вѣрный выводъ отсюда заключается въ слѣдующемъ: необходимо оставить ту точку зрѣнія, съ которой міръ и человѣческія отношенія представляются только съ ихъ виѣшней стороны; необходимо признать ее такъ же негодной для сужденія о цѣности вещей, какъ при разсматриваніи картины не пригодна та точка зрѣнія, съ которой миѣ видны одни лишь пятна, а не краски, беспорядочно перенлетающіяся линіи, а не рисунокъ, ибо какимъ образомъ можеть миѣ разсуждать и различать точка зрѣнія, въ основѣ которой лежитъ плоское представленіе о томъ, что все въ мірѣ несовершенно? Эта точка зрѣнія есть самое несовершенное изъ всѣхъ несовершенствъ. Мы должны поэтому при оцѣнкѣ вещей пользоваться мѣриломъ сущности внутренней идеи и тѣмъ менѣе поддаваться заблужденіямъ односторонняго и тривиальнаго опыта, что въ результатъ его устраняется всякій опытъ, всякое сужденіе: всё кончки становится съры.

Съ точки зрѣнія идеи понятно само собою, что свобода печати имѣетъ совершенно другое оправданіе, чѣмъ цензура, такъ какъ она сама есть воплощеніе идеи, свободы, есть положительное добро; цензура, напротивъ того, есть воплощеніе несвободы, борьба міровоззрѣнія видимости противъ міровоззрѣнія сущности, есть лишь отрицательное понятіе.

Нѣтъ! нѣтъ! нѣтъ!—прерываетъ насъ ораторъ.—Я порицаю не явленіе, я порицаю сущность. Свобода есть самое несчастное въ свободѣ печати. Свобода даетъ возможность творить зло, поэтому свобода—зло. Злая свобода!

Въ тѣнстой рошѣ ее онъ убилъ
И трупъ ея въ Рейна глуби потопилъ.

Но:

Теперь я долженъ говорить съ тобою,—
Слушай же меня спокойно, властелинъ мой!

Развѣ въ странѣ цензуры не существуетъ свободы печати? Печать вообще есть осуществленіе человѣческой свободы. Тамъ, слѣдовательно, гдѣ есть печать, есть и свобода печати.

Въ странѣ цензуры государство въ цѣломъ не пользуется свободой печати, но одинъ изъ членовъ государственнаго организма, правительство, ею все-таки пользуется. Не говоря уже о томъ, что официальные произведенія правительства пользуются полной свободой печати, развѣ цензоръ не пользуется ежедневно безусловной свободой печати, если не прямо, то косвенно?

Писатели, такъ сказать, его секретари. Какъ только секретарь не выразилъ мнѣнія принципала, послѣдшій просто зачеркиваетъ негодное произведеніе. Цензоръ, стало-быть, есть главный сотрудникъ печати.

Цензорскія мѣтки для печати то же самое, что прямыя линіи—Куас—китайцевъ для мышленія. Куас цензора—категоріи литературы, а, какъ извѣстно, категоріи опредѣляютъ содержаніе.

Свобода настолько присуща человѣку, что даже ея противники осуществляютъ ее, борясь противъ ея существа; они хотя и присвоить себѣ какъ драгоценнѣйшее украшеніе то, что они отвергли какъ украшеніе человѣческой природы.

Никто не борется противъ свободы, развѣ только противъ свободы другихъ. Во все времена существовали все виды свободы, въ однихъ случаяхъ какъ особая привилегія, въ другихъ—какъ общее право.

Только теперь вопросъ этотъ получилъ правильную постановку. Вопросъ не въ томъ, должна ли существовать свобода печати, такъ какъ она всегда существуетъ. Спрашивается, составляетъ ли свобода печати привилегію отдѣльныхъ лицъ или же она есть привилегія человѣческаго духа? Спрашивается, должно ли то, что въ одномъ случаѣ есть право, считаться въ другомъ случаѣ нарушеніемъ права? Спрашивается, имѣетъ ли «свобода духа» больше права, чѣмъ «свободы противъ духа»?

Но если слѣдуетъ отвергнуть «свободную печать» и «свободу печати» какъ осуществленіе «общей свободы», то тѣмъ болѣе слѣдуетъ отвергнуть цензуру и подцензурную печать какъ осуществленіе частной свободы, ибо какъ же можетъ годиться *видъ*, когда *родъ* негоденъ? Если бы ораторъ былъ послѣдователемъ, то онъ долженъ былъ

бы отвергнуть не свободную печать, а печать вообще. По его мнѣнію она только тогда была бы хороша, если бы она не была продуктомъ свободы, т. е. не была бы человѣческимъ продуктомъ. На печать, слѣдовательно, имѣли бы право либо одни животныя, либо боги.

Или, можетъ быть, мы должны приписать — ораторъ не осмѣливается этого высказать — ему и правительству *naimie svyishe?*

Если частное лицо приписываетъ себѣ божественное откровеніе, то въ нашемъ обществѣ существуетъ только одинъ оппонентъ, который официально можетъ его опровергнуть — *психіатръ*.

Но англійская исторія достаточно доказала, какъ идея божественнаго откровенія сверху порождаетъ противоположную идею о божественномъ откровеніи снизу: Карлъ Первый взошелъ на эшафотъ, благодаря божественному откровенію снизу.

Наиъ ораторъ изъ рыцарскаго сословія, правда, продолжаетъ, какъ мы услышимъ далѣе, характеризовать цензуру и свободу печати, подцензурную печать и свободную печать, какъ два зла, но онъ не доходитъ еще до того, чтобы признать печать вообще зломъ.

Наоборотъ! Онъ дѣлитъ всю печать на «хорошую» и «дурную» печать.

Про дурную печать онъ намъ рассказываетъ невѣроятную вещь, будто зло и распространеніе всякой скверны — ея цѣль. Не будемъ касаться того, что ораторъ приписываетъ намъ слишкомъ большую долю легковѣрія, когда требуетъ, чтобы мы вѣрили ему на слово, будто существуетъ зло по профессіи. Мы позволимъ себѣ лишь напомнить ему аксіому насчетъ несовершенства всего человѣческаго. Не слѣдуетъ ли въ силу ея ожидать, что дурная печать станетъ несовершенно дурной, т. е. хорошей, а хорошая — несовершенно хорошей, т. е. дурной?

Но ораторъ показываетъ намъ также обратную сторону медали. Онъ утверждаетъ, что дурная печать лучше хорошей, такъ какъ дурная, молъ, находится постоянно въ наступательномъ положеніи, хорошая же — въ оборонительномъ. Но онъ самъ вѣдь сказалъ, что развитіе человѣка кончается только съ его смертію. Онъ, конечно, немного этимъ сказалъ, т. е. только то, что жизнь кончается со смертію. Но если жизнь человѣка есть развитіе, а хорошая печать всегда находится въ оборонительномъ положеніи, «только защищаетъ, сдерживаетъ и укрѣпляетъ», то развѣ этимъ она не возмаетъ постоянно противъ развитія, а слѣдовательно, и противъ жизни? Либо, слѣдовательно, эта хорошая оборонительная печать дурна, либо развитіе есть зло? Такимъ образомъ утвержденіе оратора, что цѣль «дурной печати заключается въ наиболѣе широкомъ распространеніи дурныхъ идей и въ возможно большемъ развитіи дурныхъ принциповъ», теряетъ свою мистическую невѣроятность въ рациональномъ толкованіи, что въ наиболѣе широкомъ распространеніи идей и возможно большемъ развитіи принциповъ заключается зло дурной печати.

Отношеніе дурной печати къ хорошей становится еще болѣе стран-

нымъ, когда ораторъ насъ увѣряетъ, что хорошая печать безсильна, а дурная—всесильна; ибо первая не имѣетъ вліянія на народъ, вторая же производитъ неотразимое вліяніе. Для оратора хорошая и безсильная печать тождественны. Не хочетъ ли онъ вообще утверждать, что хорошее безсильно, или что безсильное—хорошо?

Заманчивому голосу дурной печати онъ прогивоставляетъ трезвый голосъ хорошей. А трезвымъ голосомъ можно вѣдь лучше всего и съ наибольшимъ эффектомъ пѣть. Но ораторъ, очевидно, знакомъ только съ чувственнымъ жаромъ страсти, онъ не знаетъ горячей страсти къ истинѣ, побѣдопоснаго энтузіазма разума, неотразимаго пафоса нравственныхъ силъ.

Къ тенденціямъ дурной печати онъ относитъ «гордость, не признающую авторитета церкви и государства», «зависль», проповѣдующую уничтоженіе аристократіи, и другіе пороки, къ которымъ мы вернемся еще. Пока мы ограничимся вопросомъ, на какомъ основаніи ораторъ считаетъ эти изолированныя категоріи добромъ? Если всѣ силы жизни дурны,—а мы только что слышали, что зло всемогуще и что лишь оно дѣйствуетъ на массы,—то, спрашивается, кто и что въ правѣ выдавать себя за добро? Вѣдь утвержденіе, что моя индивидуальность есть добро, что тѣ немногочисленные личности, которыя соответствуютъ моей индивидуальности суть добро, чрезвычайно высокоумно; и дурная печать не хочетъ никакъ признать этого утвержденія! Дурная печать!

Если ораторъ съ самаго начала превратилъ пападки на свободу печати въ пападки на свободу вообще, то теперь онъ превращаются у него въ пападки на добро. Его страхъ переть зломъ оказывается страхомъ передъ добромъ. Въ основаніе цензуры онъ кладетъ, слѣдовательно, положительную оцѣнку зла и отрицательную оцѣнку добра. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ я не презираю человека, которому я заравѣ говорю: противникъ твой долженъ побѣдить въ борьбѣ,—потому что ты, хоть и очель трезвый парень и прекрасный соствѣ, но плохой герой; хоть у тебя и освященное оружіе, но ты не умѣешь владѣть имъ; хотя мы оба, я и ты, и вполне убѣждены въ твоемъ совершенствѣ, но міръ никогда не будетъ раздѣлять этого убѣжденія; хотя твои принципы и хороши, но твоя энергія ничтожна.

Устанавливаемое ораторомъ дѣленіе печати на хорошую и дурную дѣлаетъ излишними всякія дальнѣйшія возраженія, такъ какъ оно и безъ того запутывается въ своихъ собственныхъ противорѣчійхъ; все же мы не должны упускать изъ виду, что ораторъ совершенно неправильно ставитъ вопросъ, походя изъ того, что онъ еще долженъ обосновать.

Если хотять говорить о двухъ видахъ печати, то это различіе слѣдуетъ выводить изъ самой сущности печати, а не изъ соображеній, лежащихъ внѣ ея. Подцензурная печать или свободная печать,—одна изъ этихъ двухъ должна быть хорошей или дурной печатью. О томъ именно и спорить, какая печать хороша—подцензурная или

свободная печать, т.-е. соответствует ли сущности печати свободное или несвободное бытіе. Выставлять дурную печать какъ возраженіе противъ свободной печати значитъ утверждать, что свободная печать дурна, а подцензурная хороша, — что требовалось еще доказать.

Низменные взгляды, личные дразги, подлости общи какъ подцензурной, такъ и свободной печати. То обстоятельство, что какъ на той, такъ и на другой произрастаютъ отдѣльные цвѣточки такого сорта, не составляетъ, слѣдовательно, ихъ родового отличія. И на болотѣ растутъ цвѣты. Здѣсь дѣло идетъ о сущности, о внутреннемъ характерѣ подцензурной печати и свободной печати.

Свободная печать, которая дурна, не соответствуетъ собственно своему характеру. Подцензурная печать со своимъ лицемеріемъ, своею безхарактерностью, своимъ языкомъ кастрата, своимъ виляніемъ хвостомъ проявляетъ только свою внутреннюю сущность.

Подцензурная печать остается дурной, даже когда она даетъ хорошие продукты, ибо эти продукты хороши лишь постольку, поскольку внутри подцензурной печати проявляется свободная печать и поскольку они по характеру своему не являются продуктами подцензурной печати. Свободная печать остается хорошей, даже если она производитъ дурные продукты, ибо эти продукты лишь отклоненія отъ природы свободной печати. Кастратъ остается изуродованнымъ человѣкомъ, даже если онъ обладаетъ хорошимъ голосомъ. Природа остается хорошей, даже если она и производитъ уродовъ.

Сущность свободной печати это сильная, разумная, нравственная сущность свободы. Характеръ подцензурной печати это безхарактерное уродство несвободы, это цивилизованное чудовище, надушенный уродъ.

Или нужны еще доказательства, что свобода печати соответствуетъ сущности печати, а цензура противорѣчитъ ей? Развѣ не понятно само собой, что вѣшнія границы духовной жизни не присущи внутреннему характеру этой жизни, что онѣ отрицаютъ эту жизнь, а не утверждаютъ ея?

Чтобы дѣйствительно оправдать цензуру, ораторъ долженъ былъ бы доказать, что цензура составляетъ сущность свободы печати. Вмѣсто этого онъ доказываетъ, что свобода не составляетъ сущности человѣка. Онъ отвергаетъ цѣлый родъ, чтобы сохранить хорошей видъ, ибо свобода есть вѣдь родовая сущность всего духовнаго бытія, а слѣдовательно и печати. Чтобы уничтожить возможность зла, онъ уничтожаетъ возможность добра и осуществляетъ зло, ибо человѣчески хорошимъ можетъ быть лишь то, что является осуществленіемъ свободы.

Мы, поэтому, будемъ до тѣхъ поръ считать подцензурную печать дурной печатью, пока намъ не докажутъ, что цензура вытекаетъ изъ самой сущности свободы печати.

Но если даже допустить, что цензура неотдѣлима отъ природы печати — хотя ни одно животное, а тѣмъ менѣе разумное существо не

является на свѣтъ въ цѣпяхъ — то что же изъ этого слѣдуетъ? То, что и та свобода печати, которую официально осуществляетъ цензоръ, т.-е. сама цензура нуждается въ цензурѣ. А кто же долженъ подвергать цензурѣ правительственную печать, если не народная печать?

Другой ораторъ думаетъ, правда, что зло цензуры уничтожается тѣмъ, что его утраиваютъ, что мѣстную цензуру подчиняютъ провинціальной цензурѣ, а провинціальную цензуру, въ свою очередь, берлинской цензурѣ; свобода печати, такимъ образомъ, осуществляется односторонне, цензура же многосторонне. Сколько обходовъ, чтобы жить! Кто же будетъ подвергать цензурѣ берлинскую цензуру? Но вернемся къ нашему оратору.

Уже съ самаго начала онъ насъ поучалъ, что изъ борьбы между дурной и хорошей печатью не получится свѣтъ истины. Но, спросимъ мы, хочетъ ли онъ, чтобы эта бесполезная борьба никогда не прекратилась? Развѣ по его собственнымъ словамъ борьба между цензурой и печатью не есть борьба между хорошей и дурной печатью?

Цензура не уничтожаетъ борьбы, она дѣлаетъ ее односторонней, она превращаетъ ее изъ открытой въ тайную борьбу, она изъ борьбы принциповъ дѣлаетъ борьбу безпринципа съ безпринципной силой. Истинная, коренящаяся въ самомъ существѣ свободы печати цензура, есть критика. Она — тотъ судъ, который свобода печати порождаетъ изъ самой себя. Цензура есть критика, монополизируемая правительствомъ. Но развѣ критика не теряетъ своего рациональнаго характера, если она является не открытой, но тайной, не теоретической, а практической, если она не выше партій, а сама становится партіей, если она дѣйствуетъ не острымъ ножомъ разума, а тупыми ножищами произвола, если она только сама хочетъ заниматься критикой, но не желаетъ терпѣть критики, если осуществляясь, она отрицаетъ себя, если, наконецъ, она настолько лишена критики, что принимаетъ отдѣльное лицо за универсальный умъ, великія силы за великія разума, чернильныя пятна за солнечныя пятна, перечеркиванія цензора за математическія построенія и удары за убѣдительные аргументы?



Въ нашемъ изложеніи мы показали, какъ фантастическая, елейная, мягкосердечная мистика оратора превращается въ жестокосердіе, въ мелочно-плутовскую прагматику ума, въ ограниченность безыдейнаго расчета опыта. Его дальнѣйшія разсужденія объ отношеніи закона о цензурѣ къ закону о печати, о предупредительныхъ и репрессивныхъ мѣрахъ, избавляютъ насъ отъ этого труда, такъ какъ здѣсь онъ самъ переходитъ къ практическому сознательному примѣненію своей мистики.

«Предупредительныя или репрессивныя мѣры, цензура или законъ о печати вотъ о чемъ, собственно, идетъ рѣчь; при этомъ, однако

не лишне будетъ пѣсколько внимательнѣе рассмотреть тѣ опасности, которыя слѣдовало бы устранить и въ одномъ и въ другомъ случаѣ. Въ то время какъ цензура хочетъ предупредить зло, законъ о печати хочетъ путемъ наказанія предупредить повтореніе его. Но и цензура и законъ о печати, какъ всякое человѣческое установленіе, несовершенны. Вопросъ лишь въ томъ, что менѣе несовершенно? Такъ какъ здѣсь рѣчь идетъ о чисто духовныхъ вопросахъ, то одна задача, притомъ самая важная, никогда не сможетъ быть удовлетворительно рѣшена ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ. Задача эта состоитъ въ томъ, чтобы найти формулу, коювая такъ ясно и опредѣленно выражала бы нацѣреніе законодателя, чтобы можно было строго раграничить законное отъ незаконнаго и, стало-быть, — устранить *всякій* произволъ. Что такое произволъ, какъ не дѣйствіе, основанное на личномъ усмотрѣніи? И какъ устранить личное усмотрѣніе тамъ, гдѣ рѣчь идетъ о чисто духовныхъ вопросахъ? Найти формулу, котора была бы такъ ясно и опредѣлена, чтобы съ помощью ея можно было бы въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ безъ колебаній рѣшать, въ чемъ воля законодателя—вотъ тотъ философскій камень, который до сихъ поръ еще не найденъ и едва ли можетъ быть когда-нибудь найденъ. Такимъ образомъ произволъ неотдѣлимъ какъ отъ цензуры, такъ и отъ закона о печати, если подъ произволомъ понимать дѣйствіе, основанное на личномъ усмотрѣніи. Мы должны, слѣдовательно, разсматривать и первую, и вторую съ точки зрѣнія ихъ неизбежнаго несовершенства и ихъ возможныхъ результатовъ. Цензура не допуститъ кое-чего хорошаго, но законъ о печати не въ силахъ будетъ предотвратить много дурнаго. Истины, однако, нельзя подавить на доло. Чѣмъ больше ставятъ ей препятствія, тѣмъ смѣлѣе преслѣдуетъ она свою цѣль, тѣмъ прекраснѣе будетъ достигнутая цѣль. Злое слово подобно греческому огню, котораго ужъ ничѣмъ не остановишь, разъ онъ выпущенъ изъ метательнаго снаряда; оно не рассчитываетъ своихъ дѣйствій, потому что для него нѣтъ ничего святаго, оно неугасимо, потому что какъ въ устахъ, такъ и въ сердцѣ чловѣка оно находитъ пищу для своего распространенія.

Оратору не везетъ со сравненіями. Онъ впадаетъ въ поэтическую възальтацию, когда описываетъ всемогущество зла. Мы уже слышали, что голосъ добра, будучи слишкомъ трезвымъ, безсиленъ противъ обольстительнаго голоса зла. Теперь опять зло превращается въ греческій огонь, для правды же ораторъ не находитъ никакого сравненія. Если бы мы хотѣли облечь въ какое-нибудь сравненіе его «трезвыя» слова, то мы должны были бы уподобить истину въ лучшемъ случаѣ кремню, изъ котораго выбиваются тѣмъ болѣе яркія искры, чѣмъ сильнѣе объ него ударяютъ. Печерный аргументъ для торговцевъ невольниками—выколачивать изъ негра все чловѣческое, превосходное правило для законодателя—издавать репрессивные законы противъ истины, чтобы она тѣмъ смѣлѣе преслѣдовала свою цѣль. Ораторъ, повидному, только тогда начинаетъ питать уваженіе

въ истинѣ, когда она становится «дюжей» и для каждого осязаемой. Чѣмъ больше плотницъ вы ставите на пути истины, тѣмъ болѣе дѣльную истину вы получите! Игакъ побольше плотницъ!

Но послушаемъ дальше сиреня!

Мистическая «теорія несовершенства» нашего оратора принесла, наконецъ, свои земные плоды; она угостила насъ своими лунными камнями. Разсмотримъ эти лунные камни!

Все несовершенно. Цензура несовершенна, законъ о печати несовершененъ. Этимъ опредѣляется ихъ сущность; о законности *изъ идеи* не приходится ничего говорить, намъ остается лишь установить съ точки зрѣнія самой грубой эмпирии, на основаніи простой вѣроятности, — въ какомъ случаѣ грозитъ большая опасность. Разница только во времени: цензура предупреждаетъ самое зло, законъ о печати повтореніе зла.

Мы видимъ, какъ ораторъ посредствомъ пустой фразы о «человѣческомъ несовершенствѣ» умѣетъ обойти существенное, внутреннее, характерное различіе между цензурой и закономъ о печати, превратить разногласіе изъ принципиальнаго вопроса въ базарный споръ, т.-е. больше ли достанется сивяковъ — отъ цензуры или отъ закона о печати.

Но если противопоставляются законъ о печати и законъ о цензурѣ, то прежде всего рѣчь идетъ не объ ихъ послѣдствіяхъ, а объ ихъ основаніяхъ, не объ ихъ индивидуальномъ примѣненіи, а объ ихъ общей правомѣрности. Уже Монтескье учить, что примѣнять деспотизмъ удобнѣе, чѣмъ законность, а Маккиавелли утверждаетъ, что зло выгоднѣе для князей, чѣмъ добро. Если мы поэтому не желаемъ санкционировать стараго іезуитскаго иреченія, что хорошая цѣль, — а мы сомнѣваемся даже въ качествѣ цѣли, — оправдываетъ дурныя средства, то прежде всего мы должны изслѣдовать, хорошее ли средство по существу своему цензура?

Ораторъ правъ, когда онъ называетъ законъ о цензурѣ мѣрой предупрежденія; это полицейская мѣра предосторожности противъ свободы; но онъ не правъ, когда онъ законъ о печати называетъ репрессивной мѣрой. Это мѣра самой свободы, которая дѣлаетъ себя мѣриломъ своихъ собственныхъ исключеній. Мѣропріятія цензуры — не есть законъ, законъ о печати не есть репрессивная мѣра.

При законѣ о печати свобода карается. При цензурѣ караютъ свободу. Законъ о цензурѣ есть узаконенная подозрительность по отношенію къ свободѣ. Законъ о печати есть вотумъ довѣрія, который свобода сама себѣ выдаетъ. Законъ о печати караетъ злоупотребленіе свободой. Законъ о цензурѣ караетъ свободу какъ злоупотребленіе. Онъ обращается со свободой, какъ съ преступницею; а развѣ во всѣхъ слояхъ не считается вѣчной карой состоять подъ надзоромъ полиціи? Законъ о цензурѣ имѣетъ только форму закона. Законъ о печати есть дѣйствительный законъ.

Законъ о печати есть дѣйствительный законъ, потому что онъ

представляет положительное бытие свободы. Онъ разсматриваетъ свободу, какъ нормальное состояніе печати, печать—какъ бытие свободы; онъ вступаетъ въ конфликтъ только съ преступленіемъ противъ печати, какъ съ исключеніемъ, которое борется противъ своей собственной нормы и, такимъ образомъ, уничтожаетъ себя. Свобода печати является въ формѣ закона о печати противъ покушеній на нее самое, т.-е. преступленій противъ печати. Законъ о печати считаетъ свободу природою преступника. То, что онъ, слѣдовательно, совершилъ противъ свободы, онъ совершилъ противъ самого себя, и это преступленіе противъ самого себя кажется ему наказаніемъ, которое есть санкція его свободы.

Законъ о печати очень далекъ отъ того, чтобы быть репрессивной мѣрой противъ свободы печати, простымъ средствомъ противъ повторенія преступленій изъ страха наказаній; наоборотъ, отсутствіе законодательства о печати слѣдуетъ разсматривать какъ исключеніе свободы печати изъ сферы юридической свободы, такъ какъ юридически признанная свобода существуетъ въ государствѣ въ формѣ закона. Законы не являются репрессивными мѣрами противъ свободы, какъ законъ тяжести не есть репрессивная мѣра противъ движенія: если въ качествѣ закона тяготѣнія онъ управляетъ вѣчными движеніями мировыхъ тѣлъ, то въ качествѣ закона паденія онъ убиваетъ меня, когда я его нарушаю и хочу плясать въ воздухѣ. Законы—это положительныя, ясныя, общія нормы, въ которыхъ свобода приобретаетъ теоретическое, независимое отъ произвола отдѣльной личности существованіе. Сводъ законовъ есть библія свободы народа.

Законъ о печати есть, слѣдовательно, законодательное признаніе свободы печати. Онъ есть выраженіе права, такъ какъ онъ есть положительное бытие свободы. Онъ поэтому долженъ существовать, если даже онъ [никогда] не примѣняется, какъ въ Сѣверной Америкѣ, между тѣмъ какъ цензура, такъ же какъ и рабство, никогда не можетъ стать законной, если бы даже она тысячу разъ существовала какъ законъ.

Нѣтъ действительныхъ предупредительныхъ законовъ. Законъ предупреждаетъ только какъ повелѣніе. Активнымъ онъ становится лишь тогда, когда его нарушаютъ, такъ какъ настоящимъ закономъ онъ становится лишь тогда, когда въ его лицѣ безсознательный естественный законъ свободы воплотился въ сознательный государственный законъ. Тамъ, гдѣ законъ является дѣйствительнымъ закономъ, т.-е. бытіемъ свободы, онъ является дѣйствительнымъ бытіемъ свободы человека. Законы, такимъ образомъ, не могутъ предупреждать дѣйствій человека, такъ какъ являются внутренними жилищными законами самихъ дѣйствій его, сознательными отраженіями его жизни. Законъ, слѣдовательно, отстываетъ предъ жизнью человека, какъ жизнь свободы, и только когда его дѣйствительное дѣйствіе показало, что онъ пересталъ подчиняться естественному закону свободы, послѣдній въ формѣ государственнаго закона принуждаетъ его быть свободнымъ,

точно так же, какъ физическіе законы только тогда выступаютъ какъ нечто чуждое, когда моя жизнь перестала быть жизнью этихъ законовъ, когда она отклонилась отъ нормы. Предупредительный законъ есть, следовательно, безмысленное противорѣчіе.

Предупредительный законъ не заключаетъ, следовательно, въ себѣ никакого мѣрила, никакого разумнаго правила, такъ какъ разумное правило можетъ быть замѣчено только изъ природы вещей, въ данномъ случаѣ изъ природы свободы. Онъ не имѣетъ предѣловъ, такъ какъ, чтобы осуществить предупрежденіе свободы, онъ долженъ быть такъ же всеобъемлющъ, какъ и его объектъ, т.-е. неограниченъ. Предупредительный законъ заключаетъ, следовательно, противорѣчіе неограниченнаго ограниченія, и если этотъ его характеръ не всегда проявляется, то лишь потому, что произволъ наталкивается на предѣлъ не въ силу необходимости, а въ силу случайности: это ежедневно ad oculos доказываетъ цензура.

Человѣческое тѣло отъ природы смертно. Болѣзнь, поэтому, неизбежна. Почему, однако, человѣкъ обращается къ врачу только, когда онъ заболѣваетъ, а не когда онъ здоровъ? Потому что не только болѣзнь, но и самый врачъ есть уже зло. Постоянная врачебная опека превратила бы жизнь въ зло, а человѣческое тѣло — въ объектъ лѣченія со стороны медицинскіихъ коллегій. Развѣ не желательнѣе смерть, нежели жизнь, состоящая только изъ мѣръ предупрежденія противъ смерти? Развѣ свободное движеніе не есть также атрибутъ жизни? Что такое болѣзнь, какъ не стѣсненная въ своей свободѣ жизнь? Неотступный врачъ уже самъ по себѣ былъ бы болѣзнию, отъ которой даже не было бы надежды умереть, а оставалось бы только жить. Пускай жизнь умретъ, но смерть не должна жить. Развѣ духъ не имѣетъ больше правъ, чѣмъ тѣло? Правда, это право часто толковали такъ, что духу со свободнымъ полетомъ физическая свобода передвиженія даже вредна, и его, поэтому, лишали этой свободы. Цензура исходитъ изъ того, что болѣзнь есть нормальное состояніе, а нормальное состояніе, свобода, есть болѣзнь. Цензура постоянно внушаетъ печати, что она больна, и какія бы доказательства своего здороваго тѣло-ложенія она ни давала, она все же должна подвергать себя лѣченію. Но цензура даже и не ученый врачъ, применяющій различныя внутреннія средства, смотря по болѣзни. Она лишь — сельскій цирюльникъ, знающій противъ всего одно универсальное средство, пощипцы. Она даже не цирюльникъ, стремящійся къ восстановленію моего здоровья, она — цирюльникъ-эстетикъ, который считаетъ лишнимъ на моемъ тѣлѣ все то, что ему не нравится, и сбрасываетъ все, что на него непріятно дѣйствуетъ. Она — шарлатанъ, вгоняющій смѣхъ въ плоть, чтобы не видѣть ея, не заботясь нисколько о томъ, что она можетъ поразить болѣе пѣжныя внутреннія части тѣла.

Вы считаете несправедливымъ ловить птицъ. Развѣ клѣтка не есть мѣра предупрежденія противъ хищныхъ птицъ, пуль и буръ? Вы счи-

таете варварствомъ ослѣплять соловьевъ, но вы не считаете варварствомъ острымъ цензурскимъ перьями выкалывать глаза печати? Вы считаете деспотизмомъ отрѣзать свободному человѣку противъ его воли волосы, а цензура ежедневно рѣжетъ по живому тѣлу мыслящихъ людей, и только бездушныя существа, существа не реагирующія, смиренныя сходятъ у нея за здоровыхъ.

Мы показали, въ какой мѣрѣ законъ о печати есть право, а законъ о цензурѣ безправіе. Но цензура сама признаетъ, что она не есть самоцѣль, что она сама по себѣ не представляетъ ничего хорошаго, что она, слѣдовательно, поконится на принципѣ: цѣль оправдываетъ средства. Но цѣль, пользующаяся дурными средствами, не есть святая цѣль; и развѣ печать, въ свою очередь, не могла бы также признать принципъ: цѣль оправдываетъ средства?

Законъ о цензурѣ не есть, слѣдовательно, законъ, а полицейская мѣра; но это даже плохая полицейская мѣра, такъ какъ она не достигаетъ того, чего хочетъ, и она не хочетъ того, чего достигаетъ.

Если законъ о цензурѣ хочетъ ставить преграды свободѣ, какъ чему-то нежелательному, то онъ достигаетъ какъ разъ обратнаго. Въ странѣ цензуры всякая запрещенная, т.-е. напечатанная безъ цензуры книжка есть событіе. Она считается мученицей, а итѣе мучениковъ безъ ореола и безъ вѣрующихъ. Она считается исключеніемъ, и если свобода никогда не можетъ перестать быть цѣнной для человѣка, то тѣмъ болѣе это относится къ исключеніямъ изъ общаго отсутствія свободы. Всякая тайна подкупаетъ. Тамъ, гдѣ общественное мнѣніе составляетъ тайну для самого себя, оно заранѣе подкуплено каждымъ произведеніемъ печати, которое формально нарушаетъ таинственный границы. Цензура дѣлаетъ каждое запрещенное произведеніе, будь оно плохое или хорошее, необычайнымъ произведеніемъ, между тѣмъ какъ свобода печати отнимаетъ у произведенія этотъ элементъ матеріальной вѣщности.

Но если цензура честна, то она, конечно, хочетъ предупредить произволъ, а между тѣмъ она узаконяетъ произволъ. Она не можетъ предотвратить никакой опасности, которая была бы больше ея самой. Самая серьезная опасность для каждаго существа заключается въ потерѣ самого себя. Отсутствіе свободы есть, поэтому, смертельная опасность для человѣка. Оставляя въ сторонѣ моральныя послѣдствія, слѣдуетъ помнить, что нельзя пользоваться преимуществами свободной печати, не относясь въ то же время терпимо къ ея неудобствамъ. Нельзя сорвать розы безъ шиповъ! Но за то сколько теряется вмѣстѣ со свободной печатью?

Свободная печать — это открытый глазъ народнаго духа, воплощенное довѣріе народа къ самому себѣ, краснорѣчивое званіе, соединяющее отдѣльную личность съ государствомъ и съ цѣлымъ міромъ, воплощенная культура, преображающая матеріальную борьбу въ духовную и идеализирующая ихъ грубую матеріальную форму. Она — безопасная исповѣдь народа предъ самимъ собой, а, какъ извѣстно,

покаяніе спасаетъ. Она — духовное зеркало, въ которомъ народъ видитъ самого себя, а самопознаніе есть первое условіе мудрости. Она — свѣточъ государственнаго разума, который можетъ проникать во всякую хижину, который дешевле матеріальнаго свѣта. Она всесторонняя, всеобъемлющая, всеобъясняющая. Она — идеальный міръ, который, выростая изъ реальной дѣйствительности, въ свою очередь обогащаетъ и одухотворяетъ эту дѣйствительность.

Наше изложеніе показало, что разница между цензурой и закономъ о печати такая же, какъ между произволомъ и свободой, между формальнымъ закономъ и дѣйствительнымъ закономъ. Но то, что относится къ существу, относится также и къ явленію. То, что относится къ ихъ правомѣрности, относится также къ ихъ примѣненію. Какъ различны законъ о печати и законъ о цензурѣ, такъ же различно и отношеніе къ печати со стороны судьи и цензора.

Но нашъ ораторъ, глаза котораго обращены къ небу, видитъ глубоко подъ собой землю въ видѣ презрѣнной кучки пыли, и обо всѣхъ цвѣтахъ онъ можетъ сказать только, что они завялены. Онъ и здѣсь видитъ только двѣ мѣры, которыя въ своемъ примѣненіи одинаково произвольны, ибо произволъ есть дѣйствіе по индивидуальному усмотрѣнію, а индивидуальнаго усмотрѣнія нельзя отдѣлать отъ духовныхъ вещей и т. д. и т. д. Если пониманіе духовныхъ вещей индивидуально, то какое преимущество имѣетъ одинъ взглядъ предъ другимъ, мнѣніе цензора предъ мнѣніемъ писателя? Но мы понимаемъ оратора. Чтобы доказать правомѣрность цензуры, онъ окольными путями доказываетъ, что и цензура и законъ о печати неправомѣрны въ своемъ примѣненіи; такъ какъ для него все земное несовершенно, то для него остается лишь одинъ вопросъ, долженъ ли быть произволъ на сторонѣ народа или на сторонѣ правительства.

Его мистика превращается въ цинизмъ, ставящій на одну доску законъ и произволъ и устанавливающій формальную разницу тамъ, гдѣ рѣчь идетъ о нравственныхъ и правовыхъ противорѣчіяхъ, ибо онъ полемизируетъ не противъ закона о печати, а противъ закона вообще. Существуетъ ли такой законъ, примѣненіе котораго въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ съ имманентной необходимостью должно осуществляться въ духѣ законодателя и абсолютно исключать всякій произволъ? Пужна невѣроятная смѣлость, чтобы называть подобную бессмысленную задачу философскимъ камнемъ, и только крайнее невѣжество можетъ ставить подобную задачу. Законъ устанавливаетъ общую норму. Случай, къ которому примѣняется законъ, есть частное явленіе. Чтобы подвести частное явленіе подъ общую норму, требуется сужденіе. Сужденіе проблематично. Примѣненіе закона требуетъ судьи. Если бы законы сами примѣнялись, тогда судьи были бы излишни.

Но все человѣческое несовершенно. Итакъ: Edite, bibite! Зачѣмъ нужны вамъ судьи, разъ судьи люди? Зачѣмъ нужны вамъ законы, разъ законы могутъ исполняться только людьми, а всякое человѣче-

ское исполненіе несовершенно? Положитесь на добрую волю начальства! Рейнская юстиція такъ же несовершенна, какъ и турецкая! Итакъ, edite, bibite!

Какая громадная разница между судьей и цензоромъ!

Для цензора нѣтъ другого закона, кромѣ его начальства. Судья не имѣетъ другого начальства, кромѣ закона. Но судья обязанъ толковать законъ въ примѣненіи его къ отдѣльному случаю, какъ онъ понимаетъ его при добросовѣтномъ разсмотрѣніи. Цензоръ обязанъ понимать законъ такъ, какъ это ему официально предписано для каждаго отдѣльнаго случая. Независимый судья не принадлежитъ ни имѣ, ни правительству. Независимый цензоръ самъ членъ правительства. У судьи можетъ проявиться въ крайнемъ случаѣ ненадежность индивидуальнаго разума, у цензора же — ненадежность индивидуальнаго характера. Судья имѣетъ передъ собою определенное преступленіе печати, цензоръ — духъ печати. Судья судитъ мое дѣйствіе на основаніи определеннаго закона; цензоръ не только караетъ преступленія, онъ ихъ самъ создаетъ. Когда меня передаютъ суду, то меня обвиняютъ въ нарушеніи существующаго закона; а гдѣ законъ можетъ быть нарушенъ, онъ долженъ существовать. Тамъ, гдѣ нѣтъ закона о печати, не можетъ быть нарушенъ законъ о печати. Цензура не обвиняетъ меня въ нарушеніи существующаго закона. Она осуждаетъ мое мнѣніе, потому что оно не является мнѣніемъ цензора и его начальства. Мое открытое дѣйствіе, выпесенное на судъ общества, государства и его закона, попадаетъ на судъ тайной, только отрицательной силы, которая не умѣетъ стать закономъ, которая боится дневнаго свѣта, не связана никакими общими принципами.

Законъ о цензурѣ невозможенъ, такъ какъ онъ желаетъ карать не просупки, а мнѣнія, такъ какъ не можетъ быть ни чѣмъ инымъ, какъ формулированнымъ цензоромъ, потому что ни одно государство не имѣетъ мужества высказать въ видѣ определенныхъ законоположеній то, что оно фактически можетъ проводить при помощи цензора. И поэтому завѣдываніе цензурой передается не судамъ, а полиціи.

Если бы даже цензура фактически была тождественна съ юстиціей, то такое совпаденіе было бы лишь фактомъ, но не являлось бы необходимою. Къ тому же свобода состоитъ не только въ томъ, что я живу, но также и въ томъ, какъ я живу, не только въ томъ, что я свободенъ въ своихъ дѣйствіяхъ, но и въ томъ, чтобы я совершалъ ихъ *свободно*. Въ противномъ случаѣ архитекторъ отличался бы отъ бобра лишь тѣмъ, что бобръ есть архитекторъ, покрытый шкурой, а архитекторъ есть бобръ безъ шкуры?

Нашъ ораторъ безъ всякой надобности опять возвращается къ вліянію свободы печати въ странахъ, гдѣ она дѣйствительно существуетъ. Такъ какъ мы уже подробно останавливались на этомъ вопросѣ, то мы здѣсь коснемся только еще французской печати. Не говоря уже о томъ, что недостатки французской печати являются

недостаткамъ французской націи, мы видимъ зло не тамъ, гдѣ его ищетъ ораторъ. Французская печать отнюдь не слишкомъ свободна; наоборотъ, она недостаточно свободна. Хотя она и не подлежитъ духовной цензурѣ, но зато она подлежитъ матеріальной цензурѣ, высокому денежному залогу. Она дѣйствуетъ матеріально именно потому, что изъ своей постоянной сферы она перенесена въ сферу крупныхъ денежныхъ спекуляцій. Въ тому же крупныя денежные спекуляціи совершаются въ крупныхъ городахъ. Французская печать поэтому концентрируется въ немногихъ пунктахъ, а если матеріальная сила, будучи сосредоточена на немногихъ пунктахъ, дѣйствуетъ демонически, то что ужъ говорить о духовной?

Но если вы непременно хотите судить о свободѣ печати не на основаніи ея идеи, а на основаніи ея историческаго существованія, то почему не ищите вы ея тамъ, гдѣ она исторически существуетъ? Естественный опытатель старается съ помощью эксперимента представить явленіе природы въ наиболее чистомъ его видѣ. Вы не нуждаетесь въ опытахъ. Вы находите явленіе свободы печати въ Сѣверной Америкѣ въ ея наиболее чистой и естественной формѣ. Но если въ Сѣверной Америкѣ имѣются великія историческія основанія для свободы печати, то Германія имѣетъ еще большія. Литература и сросшееся съ нею умственное образованіе народа являются не только прямыми историческими основаніями печати, но составляютъ ея исторію. А какой народъ въ мірѣ можетъ болѣе похвалиться этими непосредственными историческими основаніями свободы печати, чѣмъ нѣмецкія?

Но горе пѣмечкой правдственности,—заявляетъ снова нашъ ораторъ, — если печать въ Германіи станетъ свободной, такъ какъ свобода печати создаетъ «внутреннюю деморализацію, которая старается подорвать вѣру въ высшее назначеніе чловѣка, а вмѣстѣ съ нею—основаніе истинной цивилизаціи».

Деморализующимъ образомъ дѣйствуетъ подцензурная печать. Величайшій порокъ, лицемеріе, неотдѣлимъ отъ нея; изъ этого ея основного порока вытекаютъ всѣ остальные ея недостатки, въ которыхъ нѣтъ даже и тѣни добродѣтели, ея самый отвратительный, хотя бы съ эстетической точки зрѣнія, порокъ пассивности. Правительство слышитъ только свой собственный голосъ, оно знаетъ, что слышитъ только свой собственный голосъ, и тѣмъ не менѣе оно укрѣпляетъ себя въ самообманѣ, что оно слышитъ голосъ народа, и требуетъ также отъ народа, чтобы онъ утвердился въ этомъ самообманѣ. Народъ же либо впадаетъ отчасти въ политическое суевѣріе, отчасти въ политическое невѣріе, либо отвращаясь совершенно отъ государственной жизни, превращается въ обывательскую чернь.

Если Господь Богъ только въ шестой день сказалъ о своемъ собственномъ твореніи: «И видѣлъ, что добро есть», то подцензурная печать каждый день восхваляетъ творенія правительственной воли; но такъ какъ одинъ день по необходимости противорѣчитъ другому,

то печать постоянно жжетъ, выпужденная къ тому же скрывать сознание лжи и оставить всякій стыдъ.

Народъ, вынужденный разсматривать свободныя произведенія какъ противозаконныя, приучается считать противозаконное свободнымъ, а законное несвободнымъ. Такъ цензура убиваетъ государственнй духъ.

Но нашъ ораторъ боится свободы печати въ интересахъ «частныхъ лицъ». Онъ не думаетъ о томъ, что цензура есть постоянное покушеніе на права частныхъ лицъ и еще болѣе па идеи. Онъ впадаетъ въ павось, говоря объ опасностяхъ, угрожающихъ личностямъ; неужели мы не должны впадать въ павось, говоря объ опасностяхъ, угрожающихъ всему обществу?

Мы не можемъ болѣе рѣзко разграничить нашъ взглядъ и взглядъ оратора, чѣмъ противопоставивъ его опредѣленіямъ «вредныхъ тенденцій» наши собственныя.

Вредной тенденціей является «гордость, не признающая авторитета церкви и государства». А можемъ ли мы не считать вредной тенденцію не признавать авторитета разума и закона? «Зависть проповѣдуетъ уничтоженіе всего того, что чернь называетъ аристократіей», мы же говоримъ, что зависть хочетъ уничтожить вѣчную аристокрацію человѣческой природы, свободу, аристокрацію, въ которой не можетъ усумниться даже чернь. «Эго злобное злорадство, которое находитъ удовольствіе въ сплетняхъ, властно требуетъ гласности, чтобы ни одинъ скандалъ частной жизни не остался скрытымъ». Злобное злорадство, — скажемъ мы, — вырываетъ изъ жизни народовъ сплетни и личности, игнорируя разумъ исторіи и преподнося публикѣ только скандалы исторіи; оно, будучи вообще неспособно судить о сущности вещей, привязывается къ отдѣльнымъ сторонамъ явленія, къ личностямъ, и властно требуетъ тайны, чтобы каждое позорное пятно общественной жизни оставалось скрытымъ. «Это чистоплотность сердца и фантазіи, которая щеколетъ непристойныя картины». Да, нечистоплотность сердца и фантазіи щеколетъ себя непристойными картинами всемогущества зла и безенія добра; да, это фантазія, гордость которой—грѣхъ, это порочность сердца, которое скрываетъ свое свѣтское высокомеріе въ мистическихъ образахъ. «Это отчаяніе въ своемъ собственномъ спасеніи, которое отрицаніемъ Бога хочетъ заглушить голосъ совѣсти». Да, отчаяніе въ собственномъ спасеніи, желая очистить свою совѣсть, превращаетъ личныя слабости въ слабости человечества, отчаяніе въ спасеніи человечества отказываетъ ему въ правѣ слѣдовать законамъ природы и проповѣдуетъ неурядицу, какъ нѣчто необходимое, лицемеріе прикрывается Богомъ, не вѣря ни въ его дѣйствительность, ни во всемогущество добра, только эгоизмъ ставитъ личное спасеніе выше спасенія всего общества.

Эти люди сомнѣваются въ человечествѣ вообще и канонизируютъ отдѣльныхъ личностей. Они рисуютъ устрашающій образъ человѣческой природы, то и дѣло требуя, чтобы мы падали ницъ предъ свя-

тымъ образомъ отдѣльныхъ избраниковъ. Мы же знаемъ, что отдѣльный человекъ слабъ, но что общество въ цѣломъ—сила.

Наконецъ, ораторъ напоминаетъ слова, раздавшіяся въ раю изъ древа познанія, о плодахъ котораго мы нынѣ, какъ и *тогда* ведемъ споръ: «Вы, да, будете бессмертны, если вы вкусите отъ его плодовъ, глаза ваши раскроются, вы будете, какъ боги, различать добро и зло».

Хотя мы и сомнѣваемся въ томъ, вкусилъ ли ораторъ плоды отъ древа познанія, а также въ томъ, вели ли мы (рейнскія сословія) *тогда* переговоры съ дьяволомъ, (объ этомъ книга Бытія по крайпей мѣрѣ ничего не рассказываетъ), тѣмъ не менѣе мы присоединяемся къ мнѣнію оратора и только напоминаемъ ему, что дьяволъ насъ тогда не обманулъ, ибо самъ Господь сказалъ: «Адамъ уподобился намъ, онъ позналъ добро и зло».

Въ качествѣ эпилога къ этой рѣчи мы приведемъ собственныя слова оратора: «Писать и говорить—дѣло технической ловкости».

Какъ бы нашъ читатель ни усталъ отъ этой «технической ловкости», мы все же должны ради точности дать высказаться послѣ княжескаго и дворянскаго сословія и городскому сословію *противъ* свободы печати. Здѣсь передъ нами оппозиція буржуа, а не гражданина.

Ораторъ изъ городскаго сословія думаетъ, что онъ примыкаетъ къ Спенсу, когда онъ по-обыкновенію заявляетъ: «Свобода печати прекрасная вещь, пока въ дѣло не вѣшаются дурные люди». «Противъ этого до сихъ поръ не найдено еще вѣрнаго средства» и т. д.

Уже одно уподобленіе свободы печати вещи—великолепно по своей наивности. Этого оратора, вообще, можно упрекать во всемъ, только не въ отсутствіи трезвости или въ избыткѣ фантазій.

Итакъ, свобода печати прекрасная вещь, скрашивающая радость бытія, приятная, славная вещь? Но, къ несчастію, есть дурные люди, которые злоупотребляютъ языкомъ для вранья, головой для интригъ, руками для воровства, ногами для дезертирства. Прекрасная вещь—рѣчь и умъ, руки и ноги, хорошій языкъ, приятныя мысли, ловкія руки, превосходнѣйшія ноги,—если бы только не было дурныхъ людей, которые всѣмъ этимъ злоупотребляютъ! Но противъ этого еще не придумано никакого средства.

«Спящія къ конституціи и свободѣ печати безусловно ослабли бы, если бы появились, что съ этимъ связаны постоянныя перемѣны въ той странѣ (читай: Франціи) и ужасающая неуверенность въ будущемъ».

Когда въ первый разъ сдѣлано было великое открытіе, что земля есть *mobile perpetuum*, мирный пѣмецкій обыватель, пожалуй, схватился за свой ночной колпакъ и сталъ вздыхать по случаю постоянныхъ перемѣнъ въ своемъ отечествѣ, а ужасающая неуверенность въ будущемъ сдѣлала ему постылымъ домъ, который каждую минуту перевертывается вверхъ ногами.

Свобода печати такъ же мало повинна въ «постоянныхъ перемѣнахъ», какъ подзорная труба астронома въ вѣчномъ движеніи мировой системы. Злая астрономія! Прекрасное было времячко, когда земля, подобно почтенному обывателю, еще паходилась въ центрѣ вселенной, спокойно покуривала свою глиняную трубку, не утруждая себя даже добываніемъ свѣта, такъ какъ солнце, луна и звѣзды кружились вокругъ нея, какъ вѣрныя лампадки и «прекрасныя вещи».

Кто никогда не разрушаетъ того, что онъ построилъ, тотъ неподвижно стоитъ въ этомъ мірѣ, который самъ-то движется, — говорить Гарири — отнюдь не французъ, а арабъ.

Совершенно опредѣленно сказывается сословіе оратора въ заявленіи: «Истинный, честный патріотъ не въ силахъ подавить въ себѣ мысли, что конституція и свобода печати существуютъ не для блага народа, а для удовлетворенія честолюбія отдельныхъ личностей и для господства партій».

Извѣстно, что нѣкоторые люди готовы объявлять великое мелкими причинами и, исходя изъ вѣрной мысли, что все, за что человекъ борется, вытекаетъ изъ сознанаго имъ интереса, приходятъ къ вѣрному заключенію, что существуютъ только «маленькіе» интересы, только интересы стереотипнаго себялюбія. Извѣстно также, что этого сорта психологія и проникательность въ особенности встрѣчаются въ городахъ, гдѣ считается признакомъ большого ума все кнѣзь насквозь и за потокомъ идей и фактовъ усматривать пичгожныхъ, завистливыхъ, интригующихъ манекеновъ, которые держатъ все нити этого движенія въ своихъ рукахъ. Но, какъ извѣстно, если слишкомъ глубоко заглядываютъ въ бутылку, то ошибаются о свою собственную голову, и точно такъ же знаніе людей и свѣта у этихъ умницъ есть не что иное, какъ замаскированный ударъ объ свою собственную голову.

Половинчатость и перфшительность характеризуютъ сословіе оратора. «Его чувство независимости говорить за свободу печати (т.-е. въ духѣ докладчика), но онъ долженъ слушаться голоса разсудка и опыта».

Если бы ораторъ въ концѣ-концовъ сказалъ, что, хотя разумъ его за свободу печати, но его чувство зависимости говорить противъ нея, то его рѣчь была бы вполне вѣрной жайровой картинкой городской реакціи.

Кто языкомъ владѣетъ и дитъ молчать,
Кто мечъ имѣя, имъ не разить,
О немъ не стоитъ и говорить!

* * *

Мы теперь переходимъ къ защитникамъ свободы печати. Начнемъ съ главнаго доклада. Общія положенія, вѣтко и правильно выставленныя во вступленіи къ докладу, мы опускаемъ; остановимся лишь

на своеобразной и характерной точкѣ зрѣнія, проведенной въ самомъ докладѣ.

Докладчикъ хочетъ, чтобы и печать не была исключена изъ всеобщей промысловой свободы, что еще до сихъ поръ имѣетъ мѣсто; онъ хочетъ устранить это внутреннее противорѣчiе, являющееся классическимъ образомъ непослѣдовательности. «Трудъ рукъ и ногъ свободенъ, трудъ головы находится подъ опекой. Конечно, подъ опекой болѣе крупныхъ головъ? Избави Богъ, голова для цензора неужна. «Кого Богъ награждаетъ чиномъ, того надѣляетъ и умомъ».

Прежде всего странно то, что свобода печати подводится подъ промышленную свободу. Но мы все таки не можемъ просто отвергнуть взгляда оратора. Рембрандтъ писалъ Мадонну съ нидерландской крестьянки; почему бы и нашему оратору не изображать свободу въ той формѣ, которая ему ближе всего?

Мы не можемъ также отказать разсужденiямъ оратора въ нѣкоторой правильности. Если смотрѣть на печать только какъ на ремесло, то ей подобать, въ качествѣ головного ремесла, большая свобода, чѣмъ профессiямъ ручного труда. Эмансипація рукъ и ногъ получаетъ для человѣка огромное значенiе только благодаря эмансипаціи головы: какъ извѣстно, руки и ноги становятся важными человѣческими органами лишь постольку, поскольку онѣ служатъ головѣ.

Какъ ни оригинальна кажется на первый взглядъ точка зрѣнія оратора, мы все же должны отдать ей предпочтенiе предъ безогоржательными, туманными и половинчатыми разсужденiями нѣмецкихъ либераловъ; они думаютъ, что, перенося свободу съ почвы реальной дѣйствительности въ звѣздное небо воображенiя, они этимъ воздаютъ ей честь. Этимъ резонерамъ воображенiя, этимъ сентиментальнымъ энтузиастамъ, которые видятъ профанацію въ каждомъ соприкосновенiи ихъ идеала съ будничной дѣйствительностью, мы, нѣмцы, отчасти обязаны тѣмъ, что свобода до сихъ поръ остается цвѣткомъ воображенiя и сентиментальности.

Нѣмцы вообще склонны къ сантиментамъ и эвзальтаціи, они питаютъ пристрастiе къ музыкѣ небесной лазури. Поэтому чрезвычайно отраднo, когда великая идейная проблема демонстрируется изъ съ точки зрѣнія суровой, реальной дѣйствительности. Нѣмцы отъ природы уже отличаются глубочайшей, всеподданнѣйшей и благоговѣннѣйшей преданностью. Отъ чрезмѣрнаго уваженiя къ идеямъ они ихъ не осуществляютъ. Они дѣлаютъ ихъ предметомъ культа, но не культивируютъ ихъ. Методъ оратора, пожалуй, можетъ ближе освоить нѣмца съ его идеями, показать ему, что рѣчь идетъ не о недосягаемыхъ даляхъ, а о его ближайшихъ интересахъ; ораторъ переводитъ, такъ сказать, языкъ боговъ на человѣчскій языкъ.

Извѣстно, что греки видѣли въ египетскихъ, ливійскихъ, даже скифскихъ богахъ своего Апполона, свою Аяину, своего Зевса, проглядывъ своеобразныя особенности чужихъ культовъ, какъ нѣчто второстепенное. Точно такъ же нѣтъ ничего предосудительнаго въ томъ,

что нѣмецъ представляеть себѣ незнакомую ему богиню свободы печати въ видѣ одной изъ извѣстныхъ ему богинь, называетъ ее просто промысловой свободой или свободой собственности.

Но именно потому, что мы готовы признать нѣкоторую цѣнность за точкой зрѣнія оратора, мы подвергаемъ ее тѣмъ болѣе рѣзкой критикѣ.

«Можно еще представить себѣ существованіе цеховъ рядомъ со свободой печати, потому что умственная дѣятельность требуетъ болѣе высокой потенціи; она требуетъ одинаковаго положенія съ семью древними свободными искусствами. Но существованіе несвободы печати рядомъ съ промысловой свободой есть преступленіе противъ святаго духа».

Конечно! Подчиненная форма свободы должна быть признана противорѣчащей праву, разъ болѣе высокая форма ея считается неправомѣрной. Право отдѣльнаго гражданина есть безсмыслица, когда не признано право государства. Если свобода вообще законна, то, разумеется, тѣмъ болѣе законна та форма ея, въ которой свобода проявляется наиболѣе нынѣ и полно. Если полиціа имѣеть права на существованіе, потому что въ немъ чуть-чуть теплится жизнь природы, то что сказать о львѣ, въ которомъ жизнь бушуетъ и клочется?

Но какъ ни правильно выводить высшую форму права изъ низшей, неправильно все же дѣлать болѣе низкую сферу мѣриломъ болѣе высокой сферы; въ этомъ случаѣ разумные въ данныхъ предѣлахъ законы превращаются въ безсмыслицу, такъ какъ нѣтъ придають значеніе законамъ, примѣнимыхъ и въ чужой, болѣе высокой области. Это все равно, какъ если бы я хотѣлъ великана поселить въ домѣ пигмеевъ.

Промысловая свобода, свобода собственности, совѣсти, печати, суда, все это различные виды одного и того же рода, т.-е. свободы вообще. Но совершенно неправильно изъ-за единства забывать различіе и дѣлать опредѣленный видъ мѣриломъ, нормой, сферой всѣхъ остальныхъ видовъ. Въ этомъ случаѣ одинъ видъ свободы настолько нетерпимъ, что позволяетъ существовать остальнымъ ея видамъ при условіи отреченія ихъ отъ самихъ себя и подчиненія ему.

Промысловая свобода есть только промысловая свобода, а не кака-либо другая, такъ какъ въ пей природа ремесла безпримѣнно проявляется сообразно своему внутреннему существу. Свобода суда есть свобода суда, если судъ подчиняется собственнымъ имманентнымъ законамъ права, а не законамъ другой сферы, напр., религіи. Каждая опредѣленная область свободы есть свобода опредѣленной области, какъ каждый опредѣленный образъ жизни есть образъ жизни опредѣленнаго характера. Развѣ не безсмысленно было бы требованіе, чтобы левъ слѣдовалъ законамъ жизни полиціа. Совершенно неправильно будетъ, напримѣръ, такого рода пониманіе связи и единства человѣческаго организма: такъ какъ руки и ноги

функции прують опредѣленнымъ образомъ, то глаза и уши—гѣ органы, которые отрываютъ челоѵка отъ его индивидуальности, превращая его въ зеркало и эхо вселенной, имѣють еще больше правъ функционировать, должны, слѣдовательно, обладать, потенцированной функцией ногъ и рукъ.

Какъ въ мировой системѣ каждая отдѣльная планета, двигаясь вокругъ себя, движется въ то же время вокругъ солнца, такъ и въ системѣ свободы каждый изъ ея мировъ, вращаясь вокругъ себя, вращается вокругъ центрального солнца свободы. Дѣлать изъ свободы печали только видъ промысловой свободы, значить, не защищать ее, а убить до защиты; развѣ я не уничтожаю свободу характера, когда я требую, чтобы онъ былъ свободенъ на чужой ладъ? Твоя свобода, не моя свобода, гонорить печать ремеслу. Какъ ты подчиняешься законамъ твоей сферы, такъ я хочу подчиняться законамъ своей сферы. Быть свободной по твоему, для меня все равно, что не быть свободной; столяръ едва ли былъ бы удовлетворенъ, если бы ему вместо свободы его ремесла предоставили свободу философа.

Обнажимъ мысль оратора: на вопросъ, что такое свобода? онъ отвѣчаетъ: промысловая свобода. Это все равно, какъ если бы студентъ на вопросъ: что такое свобода? отвѣтилъ бы: «Свободная ночь».

Съ тѣмъ же правомъ, что свободу печати, можно и всякій другой видъ свободы подвести подъ промысловую свободу. Судья занимается промысломъ юриста, проповѣдникъ—религиознымъ промысломъ, отецъ семейства—промысломъ воспитанія дѣтей; но развѣ этимъ опредѣлена сущность юридической, религіозной, нравственной свободы?

Можно перевернуть вопросъ и называть промысловую свободу лишь вполнѣ свободы печати. Развѣ ремесленникъ работаетъ только руками и ногами, а не головой такъ же? Развѣ языкъ словъ есть единственный языкъ мысли? Развѣ механикъ своей паровой машиной не говоритъ очень внятно моему уху, фабрикантъ кроватей—моимъ бокамъ, поваръ—моему желудку? Развѣ не протпворчте, что всѣ эти виды свободы печати разрѣшены, и только одинъ видъ ея не разрѣшенъ, а именно тотъ, который говоритъ моему уму черезъ посредство типографской краски?

Чтобы защищать, мало того, чтобы постичь свободу, какую-либо область свободы, я долженъ обратить вниманіе на ея существенныя черты, ея высшія отношенія. Но развѣ печать вѣрпа своему характеру, развѣ она дѣйствуетъ соответственно благородству своей природы, развѣ свободна та печать, которая опускается до уровня ремесла? Писатель, конечно, долженъ зарабатывать, чтобы имѣть возможность существовать и писать, но онъ ни въ какомъ случаѣ не долженъ существовать и писать, чтобы зарабатывать.

Беранже поетъ:

Je ne vis que pour faire des chansons,
Si vous m'otiez ma place, Monseigneur,
Je ferai des chansons pour vivre.

Въ этой угрозѣ кроется пропическое признаніе, что поэтъ унижаетъ свое званіе, когда поэзія становится для него средствомъ.

Писатель отнюдь не смотритъ на свою работу какъ на средство. Она сама по себѣ цѣль; она въ такой мѣрѣ не является средствомъ ни для него и ни для другихъ, что писатель приноситъ въ жертву ея существованію *свое*, когда это нужно, личное существованіе. Подочно религіозному проповѣднику, хотя въ другомъ смыслѣ и онъ также слѣдуетъ принципу: «Повиноваться больше Богу, чѣмъ людямъ», среди которыхъ находится и онъ самъ со своими человѣческими потребностями и желаніями. Представимъ себѣ, что ко мнѣ явился бы портной, которому я заказалъ парижскій фракъ, и припешъ мнѣ римскую тогу, такъ какъ она, по его мнѣнію, болѣе соответствуетъ вѣчному закону красоты! Главнѣйшая свобода печати состоитъ въ томъ, чтобы не быть ремесломъ. Писатель, который низводитъ печать до простаго матеріальнаго средства, заслуживаетъ за эту вступреннюю несвободу наказанія вышней несвободой—цензурой, впрочемъ и самое его существованіе является уже для него наказаніемъ.

Конечно, печать существуетъ также и какъ промыселъ, но тогда она является уже не дѣломъ писателей, а типографовъ и книготорговцевъ. Но здѣсь дѣло идетъ не о промысловой свободѣ типографовъ и книготорговцевъ, а о свободѣ печати.

И дѣйствительно, нашъ ораторъ не удовлетворяется тѣмъ, что выводитъ свободу печати изъ промысловой свободы, онъ, кромѣ того, требуетъ, чтобы свобода печати вмѣсто своихъ собственныхъ законовъ подчинилась законамъ промысловой свободы. Онъ колеблется даже съ докладчикомъ комиссіи, проводящимъ болѣе высокій взглядъ на свободу печати, и выставляетъ требованія, которыя производятъ комическое впечатлѣніе. Вообще, выходитъ комично, когда законы болѣе низкой сферы примѣняются къ болѣе высокой; это не менѣе комично, чѣмъ, когда дѣти впадаютъ въ патетическій тонъ.

Онъ различаетъ призванныхъ и непризванныхъ авторовъ. Подъ этимъ онъ понимаетъ, что пользованіе дарованнымъ правомъ даже и въ области промысловой свободы всегда связано съ какимъ-нибудь условіемъ, которое труднѣе или легче выполнимо, смотря по профессіи». «Каменишники, плотники и архитекторы, понятію, должны вынолнять такія условія, отъ которыхъ большинство другихъ ремеслъ совершенно свободны». «Его предложеніе имѣетъ въ виду специальное, а не общее право».

Прежде всего, кому будетъ принадлежать право выдавать дипломы? Капитъ не даль бы Фихте права на званіе философа, Итоломей Копернику на званіе астронома, Бернардъ Клервосскій Лютеру на званіе богослова. Всякій ученый причисляетъ своихъ критиковъ къ «непризваннымъ авторамъ». Или певѣжды должны будутъ рѣшать, кто призванный ученый? Очевидно, рѣшеніе должно было бы быть предоставлено непризваннымъ авторамъ, ибо призванные не могутъ же быть судьями въ своемъ собственномъ дѣлѣ. Или же призваніе

должно быть связано съ сословіемъ? Сапожникъ Яковъ Бемъ былъ великимъ философомъ. Иные извѣстные философы только великіе сапожники.

Впрочемъ, разъ рѣчь идетъ о призванныхъ и непризванныхъ авторахъ, то послѣдовательно ради нельзя остановиться на личности, а надо уже все печатное дѣло раздѣлить на цѣлый рядъ профессій. Не выдавать ли различныхъ промысловыхъ свидѣтельствъ для различныхъ отраслей писательской дѣятельности, или, можетъ быть, призванный писатель долженъ умѣть писать обо всемъ? Зарадѣе можно сказать, что сапожникъ болѣе призванъ писать о кожѣ, нежели юристъ. Поденщикъ не менѣе, чѣмъ богословъ, призванъ писать о томъ, слѣдуетъ ли работать по праздникамъ или нѣтъ. Если, слѣдовательно, связывать призваніе съ особенными объективными условіями, то каждый гражданинъ въ одно и то же время будетъ призваннымъ и непризваннымъ писателемъ: призваннымъ въ дѣлахъ, касающихся его профессіи, непризваннымъ во всемъ прочемъ.

При такихъ условіяхъ печать вмѣсто того, чтобы быть фактомъ, связующимъ народъ, стала бы элементомъ, разъединяющимъ его, сословное дѣленіе упрочилось бы и въ области духа, такъ что исторія литературы опустилась бы до уровня естественной исторіи отдѣльныхъ духовно обособленныхъ, животныхъ расъ; неизбежны стали бы всякаго рода коллизіи и неразрѣшимые споры изъ-за размежеванія; бездарность и ограниченность завладѣли бы печатью, такъ какъ свободное дарованіе можетъ заниматься частнымъ лишь въ связи его съ цѣлымъ, а никакъ не въ оторванномъ видѣ. Но мало того! Въдѣ чтеніе столь же важно, какъ и писаніе; поэтому необходимо было бы ввести также призванныхъ и непризванныхъ читателей—то, что было въ древнемъ Египтѣ, гдѣ жрецы были единственными призванными писателями и читателями въ одно и то же время.

Какая непослѣдовательность: разъ господствуетъ привилегія, то разумѣется, тогда правительство имѣетъ полное право утверждать, что оно—единственный призванный авторъ въ сферѣ своихъ дѣйствій; если же вы въ качествѣ гражданъ считаете себя въ правѣ писать не только о дѣлахъ своего сословія, но и о наиболѣе общемъ, о государствѣ, то неужели другіе смертные, которыхъ вы хотите исключить, не имѣютъ права въ качествѣ просто людей высказать свое сужденіе по поводу весьма маленькаго вопроса, т.-е. вашихъ правъ и вашихъ произведеній?

Получилось бы комическое противорѣчіе, что призванный авторъ могъ бы писать безъ цензуры о государствѣ, непризванный же могъ бы писать о призванномъ только съ разрѣшеніемъ цензуры.

Свобода печати врядъ ли будетъ достигнута тѣмъ, что вы наберете кучу официальныхъ писателей изъ вашихъ рядовъ. Призванные авторы это будутъ официальные авторы, борьба между свободой печати и цензурой превратится въ борьбу между призванными и непризванными писателями.

Совершенно справедливо поэтому членъ четвертаго сословія предлагаетъ, «если должно еще существовать какое либо стѣсненіе для печати, то пусть оно будетъ одинаково для всѣхъ партій, т.-е. въ этомъ отношеніи одному классу граждапъ не должно быть предоставлено больше правъ, чѣмъ другому». Цензура всѣ одинаково подчинены подобно тому, какъ въ деспотіи всѣ уравнены, правда, не въ смыслѣ уваженія къ личности, а ея обезцѣненія. Такая свобода печати введетъ олигократію въ область духовную. Цензура объявляетъ писателя въ худшемъ случаѣ неудобнымъ, не подходящимъ въ границахъ ея царства. Предполагаемая же свобода печати претендуетъ предвосхитить исторію, предупредить голосъ народа, который до сихъ поръ былъ единственнымъ судьей «призванности» и «непризванности» писателя. Если Солонъ рѣшался судить о человѣкѣ только послѣ его смерти, то здѣсь рѣшаются судить о писателѣ еще до его рожденія.

Печать есть для личности наиболѣе общее средство проявлять свое духовное бытіе. Для нея имѣютъ цѣнность не личности, а только умъ. Хотите ли вы способность духовнаго самопроявленія официально опредѣлить особыми внѣшними признаками? Чѣмъ я не могу быть для другихъ, тѣмъ я не могу быть и для самого себя. Если я не въ правѣ быть для другихъ духовной силой, то я не въ правѣ также быть умственной личнаи привилегіею быть духовнымъ существомъ? Подобно тому, какъ каждый учится писать и читать, точно такъ же каждый *долженъ* имѣть право писать и читать.

Для кого же нужно подраздѣленіе писателей на «призванныхъ» и «непризванныхъ»? Очевидно, не для истинно призванныхъ, потому что они и безъ того проявятъ себя. Слѣдовательно, для «непризванныхъ», которые хотятъ защитить себя внѣшней привилегіею и импортировать такимъ образомъ?

Притомъ такой палліативъ не устраняетъ надобности въ законѣ о печати, ибо, какъ ораторъ изъ крестьянскаго сословія замѣчаетъ по этому поводу: «развѣ не можетъ и привилегированный превысить свое право и навлечь на себя наказаніе? Поэтому такъ или иначе какой-нибудь законъ о печати будетъ необходимъ, причеиъ и здѣсь мы встрѣтимся съ тѣми же трудностями, какъ и при общемъ законѣ о печати».

Если пѣмецъ оглянется назадъ на свою исторію, то главную причину своего медленнаго политическаго развитія, а также и жалкой литературы до Лессинга онъ увидитъ въ «призванныхъ писателяхъ». Профессиональные, цеховые, привилегированные ученые, доктора, безцвѣтные университетскіе писатели 17 и 18 столѣтій съ ихъ косичками, ихъ благороднымъ педантизмомъ и ихъ мелочными микрологическими диссертациями, стали между пародомъ и его духомъ, между жизнью и наукой, между свободой и человѣкомъ. Непризнанные писатели создали нашу литературу. Готтшедъ и Лессингъ—выберите между ними, кто «призванный», кто «непризванный» авторъ.

Мы вообще отвергаемъ «свободу», которая можетъ существовать только во множественномъ числѣ. Англія представляетъ живой историческій примѣръ, какъ опасенъ для свободы ограниченный горизонтъ «свободы».

Ce mot des libertés, говоритъ Вольтеръ, des privilèges, suppose l'assujettissement. Des libertés sont des exemptions de la servitude générale.

Если нашъ ораторъ даже желаетъ исключить анонимныхъ и псевдонимныхъ писателей изъ свободы печати и подчинить ихъ цензурѣ, то мы должны замѣтить, что имя въ печати не имѣетъ значенія, но что тамъ, гдѣ господствуетъ законъ о печати, издатель, а черезъ него и анонимный писатель и псевдонимъ, подчиняются судамъ. Къ тому же Адамъ, когда онъ давалъ имена всѣмъ тварямъ въ раю, забылъ дать имена нѣмецкимъ газетнымъ сотрудникамъ, и они такъ и останутся безъ имени in secula seculorum.

Если докладчикъ пытается ограничить лицъ, субъектовъ печати, то другія сословія хотятъ ограничить объективный матеріалъ печати, кругъ ея дѣйствія и бытія: возникаетъ базарный торгъ изъ-за того, сколько свободы должна получить свобода печати.

Одно сословіе хотеть ограничить печать обсужденіемъ матеріальныхъ, духовныхъ и церковныхъ дѣлъ Рейнской провинціи; другое желаетъ «Общивую Газету», названіе которой говоритъ уже объ ограниченности ея содержания; третье желаетъ, чтобы въ каждой провинціи можно было откровенно высказываться только въ одной газетѣ!!!

Всѣ эти попытки напоминаютъ того учителя гимнастики, который предложилъ въ качествѣ самаго лучшаго метода обучить прыганью слѣдующее: ученика подводить къ большому рву и веревочками обозначаютъ, до какого мѣста онъ долженъ прыгать *черезъ* ровъ. Понятно, ученикъ долженъ былъ сначала еще поупражняться въ прыганіи и въ первый день не долженъ былъ перепрыгнуть черезъ весь ровъ; но современно предполагалось все дальше отодвигать веревку. Къ сожалѣнію, ученикъ при первомъ урокѣ узналъ въ ровъ, гдѣ онъ и лежитъ до сихъ поръ. Учитель былъ нѣмецъ, а ученикъ назывался «Свобода».

Итакъ, защитники свободы печати на шестомъ рейнскомъ ландтагѣ отличаются отъ ея противниковъ не по существу, но по формѣ. Въ лицѣ однихъ ограниченность отдѣльныхъ сословій борется противъ печати, въ лицѣ другихъ та же ограниченность защищаетъ ее. Одни хотятъ привилегіи только для правительства, другіе хотятъ распределить ее между многими лицами; одни хотятъ полной цензуры, другіе половину ея, одни три восьмыхъ свободы печати, другіе не хотятъ никакой. Избави меня Богъ отъ моихъ друзей! Но совершенно расходятся съ общимъ духомъ ландтага рѣчи докладчика и нѣсколькихъ членовъ изъ крестьянскаго сословія.

Докладчикъ между прочимъ замѣчаетъ: «Въ жизни народовъ, какъ и въ жизни отдѣльныхъ людей, наступаетъ моментъ, когда оковы слишкомъ долгой опеки становятся невыносимыми, когда является

стремленіе къ самостоятельности, и когда каждый самъ желаетъ отвѣчать за свои поступки». «Съ наступленіемъ такого момента цензура отжила свой вѣкъ; тамъ, гдѣ она еще продолжаетъ существовать, ее считаютъ ненавистными путями, мѣшающими писать то, о чемъ говорятъ публично». Пиши, какъ ты говоришь, и говори, какъ ты пишешь, учать насъ уже начальныя учителя. Впослѣдствіи создается такое правило: говори то, что тебѣ предписано, и пиши то, что ты говоришь согласно указкѣ.

«Каждый разъ, когда съ теченіемъ прогресса развивается новый важный интересъ или выдвигается новая потребность, для которой въ существующемъ законодательствѣ не имѣется достаточныхъ постановленій, новые законы должны реализовать это новое состояніе общества. Именно съ такимъ случаемъ мы имѣемъ теперь дѣло». Это истинно историческій взглядъ, а не воображаемый, убивающій разумъ исторіи, чтобы затѣмъ воздать ей косямъ историческія почести.

«Рѣшить задачу (кодекса о печати), конечно, не особенно легко; первая попытка можетъ быть будетъ очень несовершенна! Но всѣ государства будутъ чувствовать благодарность къ тому законодателю, который первый займется этимъ, и при такомъ королѣ, какъ нашъ, прусскому правительству можетъ быть выпала честь идти впередъ другихъ странъ по этому пути, который одинъ только и можетъ привести къ цѣли».

Насколько изолированнымъ являлся этотъ рѣшительный, мужественный, достойный взглядъ, показало все наше изложеніе, это слишкомъ часто замѣчалъ предсѣдатель докладчику, это, наконецъ, высказываетъ членъ крестьянскаго сословія въ дышащемъ негодованіемъ превосходномъ докладѣ:

«Обсуждаемый вопросъ обходить, не зная, какъ за него припяться». «Человѣческій духъ долженъ свободно развиваться по присущимъ ему законамъ и сообщать другимъ приобрѣтенное, ипаче олъ изъ прозрачнаго живительнаго источника превратится въ заражающее болото. Если какой-нибудь народъ нуждается въ свободѣ печати, то это навѣрное спокойный, добродушный нѣмецкій народъ, которому скорѣе нужны стимулы для выведенія изъ его флегматическаго состоянія, чѣмъ духовныя тиски цензуры. Невозможность безпрепятственно передавать другимъ свои мысли и чувства очень напоминаетъ сѣверо-американскую систему заключенія для отбывающихъ наказаніе, которая часто приводитъ къ сумашествію. Если чловѣкъ не можетъ порицать, то и похвала его не имѣетъ значенія. По своей невыразительности такое писаніе напоминаетъ китайскую картинку, которой не достаетъ тѣней. Но лучше было бы, если бы мы не уподоблялись этому застывшему народу».

Оглядываясь назадъ на дебаты о печати, мы не можемъ подавить въ себѣ тоскливаго и непріятнаго чувства, которое вызываетъ собраніе представителей Рейнской провинціи, колеблющихся между на-

мѣрною закоснѣlostью привилегія и естественнымъ безсиліемъ (половинчатого) либерализма. Мы констатируемъ почти полное отсутствіе общихъ и широкихъ точекъ зрѣнія, а равно небрежную поверхностность, съ которой дебатруется и устранивается вопросъ о свободной печати. Мы еще разъ спрашиваемъ себя, слишкомъ-ли чужда печать, земскимъ сословіямъ, слишкомъ ли мало у нея реальныхъ точекъ соприкосновенія съ послѣдними для того, чтобы они могли защищать свободу печати съ основательностью и серьезностью, порождаемыми только глубокимъ интересомъ къ дѣлу?

Свобода печати петиціонировала передъ сословіями съ топчаішей *carpatio benevolentiae*.

Уже въ самомъ началѣ ландтага возникли дебаты, въ которыхъ председатель замѣтилъ, что печатаніе протоколовъ ландтага, подобно всѣмъ прочимъ произведеніямъ печати, подлежитъ цензурѣ, но что въ данномъ случаѣ онъ, председатель, заступаетъ мѣсто цензора.

Развѣ въ этомъ одномъ хотя бы пунктѣ дѣло свободы печати не совпало со свободой ландтага? Эта коллизія тѣмъ болѣе интересна, что здѣсь ландтагу въ его собственномъ лицѣ дано было доказательство, какъ призрачны всѣ остальные свободы при отсутствіи свободы печати. Одинъ видъ свободы обуславливаетъ другой, какъ и одинъ членъ тѣла—другой. Всякій разъ, когда подъ вопросомъ ставится та или другая свобода, тѣмъ самымъ и все дѣло свободы ставится подъ вопросомъ. Всякій разъ, когда отвергается одинъ видъ свободы, этимъ самымъ отвергается свобода вообще. Она обречена, слѣдовательно, на призрачное существованіе, при которомъ отъ чистой случайности будетъ зависетьъ, въ какой именно области несвобода будетъ безраздѣльно господствовать. Несвобода становится правиломъ, а свобода—случайнымъ исключеніемъ изъ общаго произвола. Нѣтъ, поэтому, ничего болѣе ошибочнаго, чѣмъ полагать, будто вопросъ объ особомъ видѣ свободы есть особый вопросъ. Это общій вопросъ въ предѣлахъ особой сферы. Свобода остается свободой, выражается ли она въ типографской краскѣ, въ землѣ, или въ совѣти, или въ политическомъ собраніи. Но что же дѣлаетъ лояльный другъ свободы, который чувствовалъ бы себя оскорбленнымъ въ своей чести вопросомъ: быть или не быть свободѣ? Этотъ другъ становится въ тупикъ передъ особымъ воплощеніемъ свободы, въ видѣ онъ не узнаетъ рода, изъ-за печати онъ забываетъ свободу, ему кажется, что онъ осуждаетъ чуждое ему дѣло, а между тѣмъ онъ осуждаетъ свое собственное дѣло. Шестой рейпскій ландтагъ осудилъ самого себя, вынесши приговоръ свободѣ печати.

Высокомудрые практики-бюрократы, думающіе про себя втихомолку и безъ всякаго основанія то, что Перингъ вслухъ и съ полнымъ правомъ говорилъ о себѣ: «Въ знаніи потребностей государства, какъ и въ искусствѣ развивать ихъ, я могу помѣряться со всякимъ», эти наследственные арендаторы политическаго смысла навѣрно будутъ по-

жимать плечами и оракулоподобно вѣщать, что защитники свободы печати тратят зря свой порошекъ, ибо мягкая цензура вѣдь лучше суровой свободы печати. Мы отвѣтимъ то же, что отвѣтили спартапцы Спертій и Булисъ персидскому сатрапу Гидарну:

«Гидарнъ, совѣтъ, который ты намъ преподносишь, ты не взвѣсилъ съ обѣихъ сторонъ. Ибо одно, что ты совѣтуешь, ты испробовалъ; другое же осталось неиспытаннымъ. Ты знаешь, что значитъ быть рабомъ; свободы же ты еще никогда не испыталъ и не знаешь, сладка она, или пѣтъ. Ибо если бы ты ее испыталъ, то ты бы намъ совѣтовалъ сражаться за нее не только колыями, но и топорами».

Передовая статья въ № 79 Кельнской газеты.

Прежде всего является вопросъ: «Должна ли философія касаться религіозныхъ вопросовъ и въ газетныхъ статьяхъ?».

На этотъ вопросъ можно отвѣтить, только подвергнувъ его критику.

Философія, а въ особенности пѣмецкая философія, имѣетъ склонность къ уединенію, къ систематической замкнутости, къ безстрастному самосозерцанію; всѣмъ этимъ она какъ бы враждебно противопоставляетъ себя газетѣ, которой свойственно быстро реагировать на вопросы дня и удовлетворяться фактическими сообщеніями. Философія, взятая въ ея систематическомъ развитіи, непонятна; ея таинственное самоуглубленіе является въ глазахъ непосвященныхъ сумасброднымъ и непрактичнымъ заплятѣмъ; на нее смотрятъ, какъ на профессора магін, заклинанія котораго звучатъ торжественно, потому что никто ихъ не пощмаетъ.

Философія, согласно своему характеру, никогда не дѣлала перваго шага, чтобы замѣнить аскетическую священническую рясу на легкую модную одежду газетъ. Но философы не вырастаютъ какъ грибы изъ земли, они продуктъ своего времени, своего народа, самые тонкіе, драгоценнѣйше и невидимые соки котораго бродятъ въ философскихъ идеяхъ. Тотъ же самый духъ, который строитъ желѣзныя дороги руками ремесленниковъ, строитъ философскія системы въ мозгу философовъ. Философія не витаетъ вѣвъ міра, какъ и мозгъ не находится вѣвъ человѣка, хотя онъ и не лежитъ въ желудкѣ. Но, конечно, философія является сначала чистымъ умозрѣніемъ, лишь впоследствии приобретаая почву подъ ногами; между тѣмъ нѣкоторые другія сферы человѣческой дѣятельности уже давно обѣими ногами упираются въ землю и срываютъ руками земные плоды, даже не подозревая, что и «голова» есть отъ міра сего, т.-е., что сей міръ есть міръ головы.

Такъ какъ всякая истинная философія есть духовная квинтъ-эссенція своего времени, то должно наступить время, когда философія не только внутренне, по своему содержанію, но и вѣнше, по своей формѣ, вступитъ въ соприкосновеніе и во взаимодѣйствіе съ дѣйствительнымъ міромъ своего времени. Философія тогда уже не будетъ

опредѣленной системой по отношенію къ другимъ опредѣленнымъ системамъ, она стане философіей вообще по отношенію къ міру, она стане философіей современнаго міра. Формальные признаки, свидѣтельствующіе о томъ, что философія приобрѣла такое значеніе, что она представляетъ собою живую душу культуры, что философія стала мірской, а міръ философскимъ,—во всё время были одні и тѣ же. Любой учебникъ исторіи покажетъ намъ, какъ стереотипно повторяются обычныя формы, неизмѣнно сопровождающія ея проникновеніе въ салоны, въ домъ священника, въ редакціи газетъ, въ королевскія переднія, въ сердца современниковъ, возбуждая то ненависть, то любовь. Философія вторгается въ міръ при крикахъ ея враговъ; они выдаютъ свое внутреннее зараженіе ея дикимъ воплемъ о помощи противъ пожара идей. Этотъ крикъ ея враговъ имѣетъ для философіи такое же значеніе, какое имѣетъ первый крикъ ребенка для тревожно прислушивающейся матери, это первый крикъ ея идей, которыя, разорвавши установленную іероглифическую оболочку системы, появляются на свѣтъ какъ міровые граждане. Корибанты и кабирь, которые громко и шумно возвѣщаютъ міру о рожденіи сына Зевеса, прежде всего встаютъ противъ религиозныхъ умозрѣній философовъ; это происходитъ отчасти оттого, что инквизиторскій инстинктъ наиболѣе вѣрно умѣетъ затронуть эту сантиментальную сторону публики, отчасти же оттого, что публика, къ которой принадлежать и противники философіи, способна охватить идеальную сферу философіи только своими идеальными шупальцами, а единственный кругъ идей, имѣющій для публики почти такую же цѣнность, какъ матеріальныя потребности,—это религія. Религія, наконецъ, полемизируетъ не противъ опредѣленной системы философіи, но вообще противъ философіи всѣхъ опредѣленныхъ системъ.

Такова судьба всѣхъ философіи, и не въ этомъ — отличіе истинной философіи настоящаго времени отъ истинныхъ философіи прошлыхъ временъ. Эта судьба скорѣе доказательство ея истины, которое должна была представить исторія.

И въ продолженіе шести лѣтъ нѣмецкія газеты трубили противъ религиозныхъ умозрѣній философіи, клеветали, коверкали, искажали ихъ. «Всеобщая Аугсбургская газета» распѣвала бравурныя арии, игралась увертюра на тему, что философія недостойна служить предметомъ разговора для этой мудрой дамы, что она—увлеченіе вѣтренной молодежи, мода пресыщенныхъ кружковъ и т. д. Но несмотря на все это нельзя было отъ нея отвязаться, и все смызова приходилось Аугсбургской газетѣ устраивать противъ нея свои антифилософскіе коначныя концерты на единственномъ инструментѣ, которымъ она владѣетъ, барабанѣ. Всѣ нѣмецкія газеты отъ «Berliner Politisches Wochenblatt» и «Hamburger Korrespondent» до мелкихъ провинціальныхъ газетъ и «Kölnische Zeitung», такъ и пестрѣли именами — Гегеля и Шеллинга, Фейербаха и Бауера, «Deutsche Jahrbücher» и т. д. Наконецъ, публика воспылала желаніемъ увидѣть самого левиафана тѣмъ

болѣе, что въ полу-официальныхъ статьяхъ пригрозили ввести философію въ законныя рамки. Въ этотъ именно моментъ философія появилась на столбцахъ газетъ. Философія долго хранила молчаніе въ отвѣтъ на самодовольную поверхностность, которая въ нѣсколькихъ жалкихъ газетныхъ фразахъ хвастала развѣять какъ мыльные пузыри многолѣтніе труды человѣческаго гевія, плоды тяжелаго, полнаго лишеній уединенія, результаты невидимой и медленно изпуряющей борьбы сознанія. Философія протестовала даже противъ газетъ, какъ противъ неподходящей для себя арены дѣйствія, но въ концѣ-концовъ философія должна была нарушить свое молчаніе, она стала газетнымъ сотрудникомъ, и—неслыханная диверсія—вдругъ болтливые газетчики находятъ, что философія не пища для газетной публички. Они, конечно, не преминули при этомъ обратить вниманіе правительствъ на то, что философскіе и религіозные вопросы переносятся на страницы газетъ не для просвѣщенія публики, а для достиженія вышнихъ цѣлей.

Что могла сказать дурного философія о религіи, о самой себѣ, чего бы ваша газетная болтовня уже давно не вмѣнила ей въ вину и при томъ въ гораздо худшей и болѣе фривольной формѣ? Ей надо только повторить то, что вы, не философскіе капуцины, тысячи и тысячи разъ говорили про нее, и этимъ она скажетъ самое худшее.

Но философія говоритъ иначе о религіозныхъ и философскихъ предметахъ, чѣмъ говорили объ этомъ вы. Вы говорите, не изучая ихъ, она же говоритъ, изучая, вы обращаетесь къ чувству, она обращается къ уму, вы ругаете, она учитъ, вы общаете небо и весь міръ, она не общаетъ ничего кромѣ истины, вы требуете вѣры въ вашу вѣру, она не требуетъ вѣры въ свои выводы, она требуетъ проверенія сомнѣній; вы пугаете, она успокаиваетъ. И право, философія достаточно умна, чтобы знать, что ея выводы не потворствуютъ жаждѣ наслажденій и эгоизму ни небеснаго ни земнаго царства. Но публика, любящая истину и познаніе ради нихъ самихъ, сумѣетъ позѣряться своей моральной и уметвенной силой съ моральной и уметвенной силой невѣжественныхъ, холопскихъ, непослѣдовательныхъ и продажныхъ писатѣль.

Конечно, тотъ или другой по ничтожности своего ума и моральныхъ убѣжденій можетъ ложно толковать философію, но развѣ вы, протестанты, не думаете, что католики неправильно толкуютъ христіанство, развѣ вы не брасаете христіанству упрека въ лицо за эпоху VIII и IX столѣтія, Вароламеевскую ночь и инквизицію? Существуетъ очевидное доказательство, что ненависть протестантской теологіи противъ философовъ въ значительной степени происходитъ отъ того, что философія терпима ко всякому вѣроисповѣданію. Фейербаха, Штрауса больше упрекали въ томъ, что они считали католическіе догматы христіанскими, чѣмъ въ томъ, что они не считали догматовъ христіанства догматами разума.

Но если отдельные лица не могут переварить новейшей философии и умирают от философского несварения, то это так же мало говорит против философии, как мало говорят против механики отдельные случаи взрыва парового котла, убивающие пассажиров.

Вопрос о томъ, слѣдуетъ ли обсуждать религіозные и философскіе вопросы въ газетахъ, разрѣшается его собственной бессмысленностью.

Если такіе вопросы интересуютъ уже публику, какъ газетные вопросы, то значить они стали вопросами дня. Тогда вопросъ уже не въ томъ, слѣдуетъ ли ихъ вообще обсуждать, а въ томъ, гдѣ и какъ ихъ обсуждать: въ семейномъ кругу и въ салонахъ, въ школахъ и церквахъ или въ печати? Должны ли говорить о нихъ противники философии, а не философы, туманнымъ языкомъ частнаго мнѣнія, а не яснымъ языкомъ общественнаго разума? Возникаетъ вопросъ, входить ли въ область печати то, чѣмъ полна дѣйствительная жизнь? Однимъ словомъ, вопросъ идетъ не о томъ или другомъ содержаніи печати, а о томъ, должна ли печать быть настоящей печатью, т.-е. свободной печатью?

Второй вопросъ мы совершенно отдѣляемъ отъ перваго: «Должны ли газеты обсуждать политику съ точки зрѣнія философии въ такъ называемомъ христіанскомъ государствѣ?».

Если религія становится политическимъ факторомъ, предметомъ политики, то, кажется, совершенно нечего и говорить о томъ, что газеты не только могутъ, но и должны обсуждать политическіе вопросы [съ точки зрѣнія философии]. Само собой очевидно, что мирская мудрость, философія, имѣетъ большее право интересоваться царствомъ міра сего, государствомъ, чѣмъ потусторонняя мудрость, религія. Вопросъ не въ томъ, слѣдуетъ ли вообще философствовать о государствѣ, а въ томъ, слѣдуетъ ли о немъ философствовать хорошо или дурно, философски или нефилософски, съ предразсудками или безъ предразсудковъ, сознательно или безсознательно, послѣдовательно или непослѣдовательно, вполне рационально или наполовину рационально? Если вы дѣлаете религію теоріей государственнаго права, то вы самую религію дѣлаете видомъ философии.

Развѣ не христіанство первое отдѣлило церковь отъ государства?

Читайте «de civitate dei» святого Августина, изучайте отцовъ церкви и духъ христіанства, а затѣмъ уже говорите намъ, составляетъ ли государство или церковь «христіанское государство?» Развѣ каждая минута вашей практической жизни не уличаетъ во лжи вашу теорію? Развѣ вы считаете несправедливымъ обращаться къ суду, чтобы защитить свои интересы? Но вѣдь апостолъ говоритъ, что это несправедливо. Развѣ вы подставляете правую щеку, когда васъ ударили въ лѣвую, или наоборотъ, не возбуждаете ли вы процесса объ оскорбленіи дѣйствіемъ? Но вѣдь евангеліе запрещаетъ это. Развѣ вы не требуете разумнаго права въ этомъ мірѣ, развѣ вы не ропщете противъ cadaго малѣйшаго повышенія налоговъ, развѣ вы не выходите

изъ себя по поводу малѣйшаго нарушенія личной свободы? Но вамъ вѣдь сказано, что страданія въ этой жизни ничто въ сравненіи съ будущимъ блаженствомъ, что смиреніе, терпѣніе и блаженство надежды—главные добродѣтели.

Развѣ въ большей части вашихъ процессовъ и въ большей части гражданскихъ законовъ дѣло не идетъ о собственности? Но вѣдь вамъ же сказано, что сокровища ваши не отъ міра сего. Если же вы признаете, что слѣдуетъ воздать кесарево кесарю, а богове Богу, тогда считайте не только золотого тельца, но въ той же мѣрѣ и свободный разумъ, княземъ земли, а «дѣйствіе свободнаго разума» мы называемъ философіей.

Когда въ лицѣ Священнаго союза предполагалась создать quasi-религіозный союзъ государствъ (Staatenbund), и религія должна была стать девизомъ европейскихъ государствъ, папа съ глубокимъ пониманіемъ и строгой послѣдовательностью отказался вступить въ этотъ Священный союзъ, ибо, по его мнѣнію, всеобщей христіанской связью народовъ является церковь, а не дипломатія, не свѣтскій союзъ государствъ.

Истинно религіозное государство есть теократическое государство. Главой такихъ государствъ долженъ быть, какъ въ еврейскомъ государствѣ, Богъ религіи, самъ Іегова или, какъ въ Тибетѣ, намѣстникъ Бога, Далай-Лама, или, наконецъ, какъ справедливо требуетъ Геррестъ въ своей послѣдней книгѣ, христіанскія государства должны всѣ безъ исключенія подчиняться одной церкви, являющейся «непогрѣшимой церковью». Если, какъ въ протестантизмѣ, не существуетъ верховнаго главы церкви, то господство религіи есть не что иное, какъ религія господства, культъ воли правительства.

Разъ въ государствѣ существуетъ нѣсколько равноправныхъ вѣроисповѣданій, оно не можетъ больше быть религіознымъ государствомъ, не нарушая правъ отдѣльныхъ вѣроисповѣданій, оно перестаетъ быть церковью, осуждающей каждаго сторонника другой религіи какъ еретика, ставящей каждый кусокъ хлѣба въ зависимость отъ вѣры, дѣлающей догматъ единственной связью между личностью и правами гражданина. Спросите католическихъ обитателей «бѣднаго, зеленого Эрина», спросите гугенотовъ: они не апеллировали къ религіи, ибо ихъ религія не была государственной религіей, они апеллировали къ «правамъ человѣчества», а толкованіемъ этихъ правъ занимается философія, она требуетъ, чтобы государство было государствомъ человѣческой природы.

По половинчатый, ограниченный, невѣрующій, хотя и теологическій, рационализмъ утверждаетъ, будто общій христіанскій духъ, независимо отъ вѣроисповѣданныхъ различій, долженъ быть духомъ государства. Отдѣлять общій духъ религіи отъ положительной религіи—величайшая перерелигіозность, высокоуміе мірскаго разума. Это отдѣленіе религіи отъ ея догматовъ и учрежденій равносильно утвержденію, что въ государствѣ долженъ господствовать общій духъ права,

независимо отъ опредѣленныхъ законовъ и отъ положительныхъ учрежденій права.

Если вы дерзаете стоять настолько выше религіи, что вы считаете себя въ правѣ отдѣлить общій духъ ея отъ положительнаго содержанія ея, то въ чемъ же вы можете упрекать философовъ, когда они хотятъ провести это дѣленіе вполнѣ, а не наполовину, если они общій духъ религіи называютъ человѣческимъ духомъ, а не христіанскимъ.

Христіане живутъ въ государствахъ съ различными конституціями, одни въ республикѣ, другіе въ абсолютной монархіи, третьи въ конституціонной монархіи. Христіанство не судитъ о сравнительномъ достоинствѣ конституцій, оно учитъ, какъ должна учить религія: будьте покорны власти, ибо всякая власть отъ Бога. Такимъ образомъ не изъ христіанства, а изъ собственной природы государства, изъ его собственнаго существа вы должны выводить право государственныхъ конституцій, т.-е. не изъ природы христіанскаго, а изъ природы человѣческаго общества.

Византійское государство было настоящимъ религіознымъ государствомъ, ибо догматы здѣсь были государственнымъ вопросами, но византійское государство было самымъ худшимъ государствомъ. Государства ancient régime (старого порядка) были наихристіанѣйшими государствами, но тѣмъ не менѣе они были государствами «воли двора».

Есть дилемма, которой не можетъ противостоятъ «здоровый» человѣческій разсудокъ.

Либо христіанское государство соответствуетъ понятію государства, какъ осуществленія разумной свободы, и въ такомъ случаѣ, достаточно быть разумнымъ государствомъ, чтобы быть христіанскимъ, тогда достаточно строить государство согласно разуму человѣческихъ отношеній — дѣло, которое выполняетъ философія. Либо государство разумной свободы нельзя вывести изъ христіанства, и тогда вы сами признаете, что оно не входитъ въ цѣли христіанства: послѣднее противъ плохого государства, а вѣдь государство, которое не представляетъ осуществленія разумной свободы, есть плохое государство.

Вы можете разрѣшать эту дилемму, какъ вамъ угодно, но вы должны будете сознаться, что государство надо строить не на основѣ религіи, а на основѣ разума свободы. Только самое грубое невѣжество можетъ утверждать, что эта теорія, устанавливающая понятію государства, какъ такового, есть минутная фантазія новѣйшихъ философовъ.

Философія сдѣлала въ политикѣ то же, что физика, математика, медицина и каждая другая наука сдѣлали въ своей области. Бэконъ Веруламскій считалъ теологическую физику посвященной Богу дѣвой, но бесплодной, онъ освободилъ физику отъ теологіи и—она стала давать плоды. Разъ вы не спрашиваете врача, вѣрующій онъ или нѣтъ, вамъ нечего спрашивать объ этомъ политикѣ. Одновременно съ

великимъ открытіемъ Коперника былъ открытъ также и законъ тяготѣнія государствъ, ихъ центръ тяжести былъ найденъ въ нихъ самихъ. Различныя европейскія правительства пытались, правда, поверхностно, какъ это бываетъ при первыхъ практическихъ шагахъ, примѣнить этотъ законъ въ смыслъ установленія равновѣсія государствъ. Но уже Маккиавелли, Кампанелла, а впоследствии Гоббсъ, Спиноза, Гуго Гроціусъ, вплоть до Руссо, Фихте, Гегеля стали разсматривать государство человѣческими глазами и выводили его законы изъ разума и опыта, а не изъ теологіи. Они слѣдовали примѣру Коперника, котораго мало смущало то, что Иисусъ Навинъ велѣлъ остановиться солнцу въ Гедеонѣ и лунѣ въ долинѣ Аялонской. Новѣйшая философія продолжала только работу, которую начали уже Гераклитъ и Аристотель. Вы полемизируете, слѣдовательно, не противъ разума новѣйшей философіи, вы полемизируете противъ вѣчно новой философіи разума. Разумѣется, невѣжество, которое можетъ быть только вчера или третьяго дня въ первый разъ нашло въ Рейнской и Кенигсбергской газетѣ давшіяся государственныя идеи, считаетъ идеи исторіи внезапно родившимися фантазіями отдѣльныхъ лицъ, потому что ему онѣ стали знакомы со вчерашняго дня. Оно беретъ на себя старую роль того доктора Сорбонны, который считалъ своимъ долгомъ публично обвинить Монтескье въ легкомысліи, ибо послѣдній считалъ высшимъ достоинствомъ государства политическую добродѣтель, а не церковную. Оно беретъ на себя роль Іоахима Лаанге, довсего на Вольфа, ученіе котораго о предопредѣленіи будто бы ведетъ за собой дезертирство солдатъ, ослабленіе военной дисциплины и, наконецъ, разложеніе всего государства. Это невѣжество забываетъ о томъ, что прусское государственное право беретъ начало отъ философской школы именно «этого Вольфа» (игра словъ: «dieses Wolfes» — буквально — этого волка), а французскій кодексъ Наполеона имѣетъ своимъ источникомъ не ветхій завѣтъ, съ одной стороны идеи Вольтера, Руссо, Кондорсе, Мирабо, Монтескье, а съ другой стороны факты французской революціи. Невѣжество — это демоническая сила, которая — опасаясь — послужить причиною еще многихъ трагедій. Недаромъ величайшіе греческіе поэты въ своихъ потрясающихъ драмахъ изображаютъ невѣжество въ видѣ трагическаго рока.

Прежніе философы государственнаго права строили государство либо на основѣ чувства, какъ, наприм., честолюбія, чувства общественности, либо на основѣ разума, но не общественнаго, а индивидуальнаго разума. Новѣйшая философія, исходя изъ болѣе идеальныхъ и основательныхъ взглядовъ, строитъ государство изъ идеи цѣлаго. Она разсматриваетъ государство какъ великій организмъ, въ которомъ должны осуществиться правовая, нравственная и политическая свобода, при чемъ отдѣльный гражданинъ, повинувшійся законамъ государства, повинувается только естественнымъ законамъ своего собственнаго разума, человѣческаго разума. Sapienti sat.

Философскій манифестъ исторической школы права.

Вульгарная точка зрѣнія считаетъ историческую школу реакціей противъ фривольнаго духа XVIII столѣтія. Распространенность этого взгляда обратво пропорціональна его правильности. XVIII столѣтіе произвело только одинъ продуктъ, существенной чертой котораго является фривольность, и этотъ единственный фривольный продуктъ это—историческая школа.

Историческая школа сдѣлала изученіе источниковъ своимъ лозунгомъ, свою любовь къ источникамъ она довела до крайности, она требуетъ отъ гребца, чтобы онъ плылъ не по рѣкѣ, а по ея источнику. Она поэтому ничего не будетъ имѣть противъ того, чтобы и мы возвратились къ ея источникамъ, къ естественному праву Гуго. Ея философія предшествуетъ ея развитію, поэтому въ самомъ ея развитіи мы напрасно стали бы искать философіи.

Хотячая фикція XVIII столѣтія считала естественное состояніе истиннымъ состояніемъ человѣческой природы. Тѣлесными очами хотѣли тогда узрѣть идеи человѣка и съ этой цѣлью создавали наивный образъ естественныхъ людей, Paragenos, съ кожей, покрытой перьями. Въ послѣднія десятилѣтія XVIII столѣтія предполагали, что народы въ естественномъ состояніи обладаютъ глубочайшей мудростью, и птицеловы повсюду подражали способу пѣнія ирокезовъ, индѣйцевъ и т. д., думая этими удочками заманить самихъ птицъ въ сѣти. Въ основаніи всѣхъ этихъ эксцентричностей лежала вѣрная мысль, что дикое состояніе представляетъ лишь наивную нидерландскую картину идеальнаго состоянія человѣчества.

Гуго для исторической школы является тѣмъ человѣкомъ въ естественномъ состояніи, котораго не коснулась еще романтическая культура. Его учебникъ естественнаго права—это ветхій заветъ исторической школы. Намъ нисколько не смущаетъ взглядъ Гердера, что люди въ естественномъ состояніи поэты, и что священные книги первобытныхъ народовъ представляютъ собою поэтическія книги, между тѣмъ какъ Гуго говоритъ самой тривиальной, самой трезвой прозой—каждая эпоха обладаетъ своею специфической природой и создаетъ свойственныхъ ей людей въ естественномъ состояніи. Хотя

Гуго и не поэтъ, онъ все же фантазеръ, а фикція есть поэзія прозы, вопліть соответствующая прозаической натурѣ XVIII столѣтія.

Признавая Гуго прародителемъ и творцомъ исторической школы, мы этимъ не противорѣчимъ духу послѣдней, какъ показываетъ программа чествованія къ юбилею Гуго, составленная знаменитѣйшимъ юристомъ исторической школы. Считая Гуго продуктомъ XVIII столѣтія, мы поступаемъ даже въ духъ самого господина Гуго, выдающаго себя за ученика Канта, а свое естественное право за дѣтище кантовской философіи. Съ этого пункта его манифеста мы и начнемъ.

Гуго неправильно толкуетъ своего учителя Канта, полагая, что разъ мы не можемъ познать истины, то логически мы должны безъ обиняковъ признать ложное за достовѣрное, разъ только оно существуетъ. Гуго скептикъ по отношенію къ необходимой сущности вещей и вѣрующій по отношенію къ ихъ случайнымъ проявленіямъ. Онъ поэтому ничуть не старается доказать, что позитивное разумно. Онъ, напротивъ, старается доказать, что позитивное неразумно. Онъ отовсюду съ самодовольной проныей стягиваетъ доводы и старается сдѣлать вопліть очевидной ту истину, что никакая разумная необходимость не одухотворяетъ положительныхъ институтовъ, напр., собственности, государственной конституціи, брака и т. д. Они, по его мнѣнію, даже противорѣчатъ разуму и въ лучшемъ случаѣ допускаютъ разлагольствованіе за и противъ себя. Этого метода отнюдь не надо ставить въ вину лично Гуго; это скорѣе методъ его принципа, откровенный, павный, ни съ чѣмъ не считающійся методъ исторической школы. Если позитивное должно имѣть силу, потому что оно позитивно, то я долженъ доказать, что позитивное не потому имѣетъ силу, что оно разумно, а можно ли это доказать съ большей очевидностью, чѣмъ ссылкой на то, что неразумное позитивно, а позитивное неразумно? Что позитивное существуетъ не благодаря разуму, а вопреки разуму? Если бы разумъ былъ масштабомъ позитивнаго, тогда позитивное не было бы масштабомъ разума. «Хотя это и сумасбродство, но въ немъ есть методъ». Гуго погосту развѣнчиваетъ все, что свято для справедливаго, нравственнаго, политическаго человѣка, но онъ разбиваетъ эти святыни только для того, чтобы воздать имъ почести, подобающія историческимъ реликвіямъ, онъ порочитъ ихъ въ глазахъ разума, чтобы затѣмъ превознести ихъ въ глазахъ исторіи и одновременно съ тѣмъ, отдать должное и исторической школѣ.

Аргументація Гуго, какъ и его принципъ, позитивна, т.-е. некритична. Онъ не признаетъ никакихъ различій. Все, что существуетъ, пріобрѣтаетъ въ его глазахъ значеніе авторитета, все, что имѣетъ характеръ авторитета, онъ признаетъ за основаніе. Такъ, въ одномъ параграфѣ онъ цитируетъ Моисея и Вольтера, Ричардсона и Гомера, Монтэня и Аммона, *Contrat social* (Общественный договоръ) Руссо и *De civitate dei* Августина. Съ народами онъ поступаетъ такъ же, инвектируя ихъ. Сіамецъ, считаю-

пій вѣчнымъ закономъ природы, что по волѣнію короля сшиваютъ ротъ болтуну и разрѣзываютъ его до ушей у плохого оратора,— по Гуго такое же положительное явленіе, какъ англичанинъ, который считаетъ политической ересью, чтобы его король самовластно назначилъ налогъ хотя бы на одинъ пфеннигъ. Не знающій стыда конти, расхаживающій нагишомъ и покрывающій свое тѣло въ дѣтшмъ случаѣ иломъ, такъ же положительнъ, какъ французъ, который не только одѣвается, но одѣвается даже изящно. Нѣмецъ, воспитывающій свою дочь, какъ сокровище семьи, не болѣе положительнъ, чѣмъ разбуть, который убиваетъ ее, чтобы избавиться отъ заботы по ся пропитанію. Однимъ словомъ, кожная сыпь такъ же положительна, какъ сама кожа.

Въ одномъ мѣстѣ положительно одно, въ другомъ другое. Одно такъ же неразумно, какъ другое. Подчинись тому, что позитивно въ приходѣ твоёмъ.

Гуго, такимъ образомъ, совершеннѣйшій скептикъ. Скептицизмъ XVIII столѣтія относительно разумности существующаго у него переходитъ въ скептицизмъ относительно существованія разума. Онъ примыкаетъ къ эпохѣ просвѣщенія, онъ не видитъ ничего разумнаго въ позитивномъ, но лишь для того, чтобы не видѣть ничего позитивнаго въ разумномъ. Онъ думаетъ, что изъ позитивнаго вытравили всякій признакъ разумности лишь для того, чтобы признать позитивное несмотря на всякое отсутствіе разума; онъ думаетъ, что уничтожены фальшивые цвѣты на цѣляхъ для того, чтобы носить настоящія цѣпи безъ всякихъ цвѣтовъ.

Гуго находится въ такомъ же отношеніи къ просвѣтителямъ XVIII столѣтія, въ какомъ находится, положимъ, разложеніе французскаго государства при развратномъ дворѣ регента къ разложенію французскаго государства въ эпоху національнаго собранія. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ разложеніе! Тамъ оно проявляется въ видѣ распутной фривольности, понимающей и осмѣивающей вустію безыдейность существующаго, но лишь съ тѣмъ, чтобы, расквитавшись со всѣми разумными и нравственными узами, продолжать игру среди всеобщей гнили и разрушенія и быть похороненнымъ подъ развалинами. Это разложеніе тогдашняго міра, которое наслаждается самимъ собою. Въ эпоху національнаго собранія, наоборотъ, разложеніе есть освобожденіе поваго духа отъ старыхъ формъ, которыя были уже недостойны и неспособны охватить его. Это чувство собственнаго достоинства новой жизни, которое разрушаетъ уже разрушенное, отвергаетъ отверженное. Если, поэтому, философію Канта можно по справедливости считать нѣмецкой теоріей французской революціи, то естественное право Гуго нужно считать нѣмецкой теоріей французскаго апсіен рѣгїме (старога порядка). Мы вновь встрѣчаемъ у него фривольность прожигателей жизни, пониый скептицизмъ, наглый по отношенію къ идеямъ, въ высшей степени покорный по отношенію къ конкретностямъ, тотъ скептицизмъ, который чувствуетъ силу сво-

его ума лишь послѣ того, какъ убилъ духъ положительнаго. Тогда онъ мнитъ себя обладателемъ чисто позитивнаго, такъ сказать, филитрата позитивнаго, и въ этомъ животномъ состояніи онъ чувствуетъ себя великолѣпно. Даже когда Гуго взвѣшиваетъ сплу аргументовъ, онъ съ безошибочно вѣрнымъ инстинктомъ находитъ все разумное и нравственное въ учрежденіяхъ сомнительнымъ съ точки зрѣнія разума. Только животные моменты представляются его уму чѣмъ-то неподлежащимъ сомнѣнію. Но послушаемъ нашего просвѣтителя съ точки зрѣнія ancien régime! Нужно выслушать взгляды Гуго отъ самаго Гуго. Ко всѣмъ его разсужденіямъ надо прибавить: *αὐτὸς εἶπῃ*.

Введеніе.

«Единственнымъ юридическимъ отличительнымъ признакомъ чловѣка является его животная природа».

Глава о свободѣ.

«Ограниченіемъ свободы разумнаго существа является даже то обстоятельство, что оно не можетъ по желанію перестать быть разумнымъ существомъ, т.-е. существомъ, которое можетъ и должно поступать разумно».

«Несвобода ничего не измѣняетъ въ животной и разумной природѣ какъ самого несвободнаго, такъ и другихъ людей. Долгъ совѣсти остается. Рабство не только физически возможно, но его можно также согласовать съ требованіями разума; изсѣдованія, доказывающія прогивное, вѣроятно, заключаютъ въ себѣ какую-нибудь ошибку. Рабство, конечно, не безусловно закононо, т.-е. оно не вытекаетъ ни изъ животной, ни изъ разумной, ни изъ гражданской природы. Но что оно точно такъ же можетъ быть провизорнымъ правомъ, какъ и многіе другіе признаваемые противниками его институты, видно изъ сравненія съ частнымъ правомъ и съ публичнымъ правомъ». Доказательство: «Принимая во вниманіе животную природу, нельзя не видѣть, что тотъ, кто принадлежитъ богачу, которому невыгодно его лишиться, и который относится со вниманіемъ къ его положенію, болѣе застрахованъ отъ нужды, чѣмъ бѣднякъ, котораго сограждане эксплуатируютъ, пока есть что эксплуатировать и т. д.».

«Право бить и увѣчить рабовъ (*servi*) не вытекаетъ изъ сущности рабства; если оно принимается, то оно не многимъ хуже того, что продѣлываютъ съ бѣдняками; а что касается тѣла, то результаты этого права въ отношеніи къ нему не такъ дурны, какъ послѣдствія войны, отъ которой рабы (*servi*), какъ таковыя, вездѣ должны быть освобождены. Даже красоту можно скорѣе встрѣтить у рабыни черкешевки, чѣмъ у нищей дѣвушки». (Послушайте старика!)

«Что касается разумной природы, то *servitus* (рабство) имѣетъ то преимущество предъ бѣдностью, что собственникъ изъ разумныхъ хозяйственныхъ соображеній скорѣе затратитъ кое-что на обучение раба (*servus*), обнаруживающаго извѣстныя способности, чѣмъ кто бы то ни было—на нищаго ребенка. Со стороны государства именно рабъ освобожденъ отъ очень многихъ видовъ гнета. Развѣ рабъ несчастіе военноплѣннаго, котораго конвой касается лишь настолько, что онъ въ некоторое время отвѣтственъ за него, несчастіе каторжника, надъ которымъ правительство поставило надсмотрщика?»

«Это спорный вопросъ, благопріятно ли или вредно рабство само по себѣ для *размноженія*».

ГЛАВА О ВОСПИТАНІИ.

Мы тотчасъ же узнаемъ, «что искусство воспитанія въ состояніи выставить не меньше доводовъ противъ связанныхъ съ нимъ (т.-е. съ воспитаніемъ въ семьѣ) юридическихъ условій, чѣмъ искусство любить—противъ брака».

«Затрудненіе, что воспитывать можно только при такихъ условіяхъ, далеко не такъ серьезно, какъ при удовлетвореніи полового чувства, между прочимъ и потому, что разрѣшается передать дѣло воспитанія по договору третьему лицу; слѣдовательно, тотъ, кто чувствуетъ очень сильное влеченіе, легко можетъ добиться его удовлетворенія, только, конечно, не со стороны того опредѣленнаго лица, которое ему желательно. Но вмѣстѣ съ тѣмъ и то уже противно разуму, что человѣкъ, которому никто никогда навѣрное не доверилъ бы ребенка, въ силу такого условія можетъ воспитывать и устранивъ другихъ отъ воспитанія. Наконецъ, и здѣсь проявляется принужденіе, отчасти въ томъ смыслѣ, что положительное право часто не разрѣшаетъ воспитателю отказываться отъ этого обязательства, отчасти же потому, что воспитываемый принужденъ терпѣть именно этого воспитателя. Дѣйствительность этого отношенія покоится по большей части на простой случайности рожденія, которое связывается въ силу брака съ отцомъ. Такой источникъ права воспитанія, очевидно, не особенно разуменъ, хотя бы потому, что здѣсь обыкновенно проявляется фактъ предпочтенія, которое уже само по себѣ мѣшаетъ хорошему воспитанію; онъ также не безусловно необходимъ, какъ можно видѣть изъ того, что воспитываются вѣдь и дѣти, родители которыхъ уже умерли».

ГЛАВА О ГРАЖДАНСКОМЪ ПРАВѢ.

Въ § 107 насъ поучаютъ, что «необходимость гражданскаго права вообще фантазія».

ГЛАВА О ГОСУДАРСТВЕННОМЪ ПРАВѢ.

«Повпноваться начальству, имѣющему въ рукахъ власть, священнѣйшій долгъ совѣсти».

«Что касается распредѣленія правительственной власти, то собственно ни одна конституція не законна безусловно; но временно законна всякая, какъ бы ни была распредѣлена власть правительства».

Развѣ Гуго не доказалъ, что человекъ можетъ отбросить и послѣднія узы свободы, а именно тѣ, которыя налагаютъ обязанность быть разумнымъ существомъ?

Этихъ нѣсколькихъ извлеченій изъ манифеста исторической школы вполне достаточно, по вашему мнѣнiю, чтобы поставить историческую оцѣнку этой школы на мѣсто противорѣчащихъ исторiи фантазiй, неопредѣленныхъ мечтаний и намѣренныхъ фикцiй. Ихъ достаточно, чтобы рѣшить, имѣютъ ли послѣдователи Гуго призванiе быть законодателями нашего времени.

Время и культура, правда, окутали мистическимъ туманомъ грубое родословное древо исторической школы; романтика придала ему фантастическую форму; спекулятивная философия сдѣлала ему свою прививку; многочисленные ученые плоды были сбиты съ дерева, высушены и хвастливо собраны въ большой кладовой пѣмецкой учености. Но въ сущности не много надо критики, чтобы за благоухающими современными фразами узнать грязныя старыя фантазины нашего просвѣтителя ancien régime, а за высокопарной елейностью его распутную тривиальность.

Если Гуго говоритъ: «Животная природа человека юридическiй отличительный признакъ его», слѣдовательно, право есть животное право, то образованные современники вмѣсто грубаго, откровеннаго «животнаго» говорятъ «органическое» право, ибо кому при словѣ — организмъ—сейчасъ же придетъ на умъ животный организмъ? Если Гуго говоритъ, что въ бракѣ и въ другихъ нравственно-правовыхъ институтахъ нѣтъ разума, то современные господа говорятъ, что эти институты не являются построенiями человеческого ума, но являются отраженiями высшаго «позитивнаго» разума—и такъ во всемъ. Только одинъ выводъ всѣ высказываютъ одинаково грубо: право полного произвола.

Юридическiя и историческiя теорiи Галлеровъ, Стаалей, Лео и ихъ сдвигомышленниковъ надо разсматривать только какъ *codices rescripti* естественнаго права Гуго, въ которыхъ послѣ нѣсколькихъ операций критическаго анализа опять обнаруживается старый первоначальный текстъ,—что мы впоследствии покажемъ болѣе подробно.

Поэтому напрасны всѣ дальнѣйшия прикрасы, въ нашихъ рукахъ имѣется еще старый манифестъ; онъ хотя и не очень разумный, но все же весьма понятный.

О коммунизмѣ.

№ 284 Аугсбургской газеты нелѣпо открываетъ въ Рейнской газетѣ прусскую коммунистку, правда, не настоящую коммунистку, но все же особу, которая безыѣрно кокетничаетъ съ коммунизмомъ и платонически строитъ ему глазки.

Является ли этотъ неприличный бредъ Аугсбургской Газеты безкорыстнымъ, не связано ли это праздное фиглярничаніе съ возбужденнаго воображенія со разсчетами и дипломатическими соображеніями, пусть читатель судитъ самъ послѣ того, какъ мы приведемъ мнимый *corpus delicti*.

Рейнская Газета, говорятъ они, напечатала въ видѣ фельетона коммунистическую статью о Берлинскихъ семейныхъ домахъ и сдѣлала къ ней слѣдующее примѣчаніе: Эти сообщенія «не лишены интереса для исторіи этого важнаго современнаго вопроса». Отсюда, по логикѣ Аугсбургской Газеты, слѣдуетъ, что Рейнская Газета «рекомендуетъ подобный вздоръ». Если я, слѣдовательно, говорю, напр.: «Слѣдующія сообщенія Мефистофеля о внутреннихъ дѣлахъ Аугсбургской Газеты не лишены интереса для исторіи этой важничавшей газеты», то развѣ этимъ я рекомендую грязный «матеріаль», изъ котораго Аугсбургская Газета выкраиваетъ свой пестрый гардеробъ? Или мы потому уже не должны считать коммунизма важнымъ современнымъ вопросомъ, что онъ не является современнымъ салоннымъ вопросомъ, что онъ носитъ грязное бѣлье и не пахнетъ духами?

Но Аугсбургская Газета справедливо сердится на наше непониманіе. Важность коммунизма не въ томъ, что онъ составляетъ въ высшей степени серьезный современный вопросъ для Франціи и Англии. Коммунизмъ приобрѣлъ европейское значеніе потому, что Аугсбургская Газета использовала его ради фразы. Одному изъ ея парижскихъ корреспондентовъ, новообращенному, который трактуетъ исторію, какъ кондитеръ ботанику, недавно пришла фантазія, что монархія должна стремиться усвоить себѣ на свой ладъ социалистическо-коммунистическія идеи.

Понимаете ли вы теперь негодованіе Аугсбургской Газеты, которая никакъ не можетъ простять намъ, что мы представили публикѣ комму-

низмъ въ его неприкрашенной наготѣ; понимаете ли вы злую иронию, съ которой она говоритъ намъ: такъ рекомендуете вы коммунизмъ, который однажды обладалъ уже счастьемъ попасть на столбцы Аугсбургской Газеты!

Второй упрекъ по адресу Рейнской Газеты — это заключительныя слова отчета о произнесенныхъ на страсбургскомъ конгрессѣ коммунистическихъ рѣчахъ; нужно замѣтить, что обѣ газеты подѣлили между собой материалъ такимъ образомъ, что на долю Рейнской достались дебаты, а на долю Баварской обѣды страсбургскихъ ученыхъ. Покривляемое мѣсто гласитъ буквально такъ: «Положеніе средняго сословія въ настоящее время напоминаетъ положеніе дворянства въ 1789 г.; въ то время среднее сословіе требовало привилегій дворянства и получило ихъ; въ настоящее время сословіе, не владеющее ничѣмъ, хочетъ получить долю въ богатствѣ среднихъ классовъ, стоящихъ теперь у кормила правленія. Среднее сословіе въ настоящее время лучше защищено отъ внезапнаго переворота, чѣмъ дворянство въ 1789 г., и можно надѣяться, что проблема будетъ рѣшена мирнымъ путемъ».

Что пророчество Сиейса сбылось и что tiers état стало всѣмъ и хочетъ быть всѣмъ—это признаютъ съ грустью и съ негодованіемъ и Бюдовъ-Куммеровы, и прежній Берлинскій политическій еженедѣльникъ (Berl. Politische Wochenblatt), и д-ръ Козегартенъ, словомъ, всѣ феодальные писатели. Что сословіе, которое лишено всего, требуетъ части изъ богатства среднихъ классовъ, это фактъ, который несмотря на молчаніе Аугсбургской Газеты и безъ страсбургскихъ рѣчей въ-какому бросается въ глаза на улицахъ Манчестера, Парижа и Люна. Или, можетъ быть, Аугсбургская Газета думаетъ, что ея негодованіе и ея молчаніе опровергнутъ современные факты? Аугсбургская Газета пахальна въ своемъ бѣгствѣ. Она бѣжитъ отъ шекотливыхъ современныхъ явленій и думаетъ, что пыль, которую она при этомъ подымаетъ, равно какъ и трусливыя брашныя слова, которыя она, убогая, бормочетъ сквозь зубы, такъ же ослѣпляютъ и сбиваютъ съ толку неудобное явленіе, какъ покладистаго читателя.

Быть-можетъ Аугсбургская Газета злится на надежду нашего корреспондента, что неизбежная коллизія разрешится! «мирнымъ путемъ»? Быть-можетъ, она упрекаетъ насъ въ томъ, что мы не прописали готчасъ же вѣрнаго средства и не подсунули удивленному читателю яснаго, какъ Божій дѣпъ, рѣшенія проблемы? Мы не обладаемъ искусствомъ *одной* фразой рѣшать проблемы, надъ разрешеніемъ которыхъ работаютъ *два* народа.

Но, милѣйшая, дражайшая Аугсбуржанка, по поводу коммунизма вы даете намъ понять, что Германія теперь бѣдна экономически независимыми людьми, что $\frac{9}{10}$ образованной молодежи выключивается у государства хлѣбъ, что наши рѣки въ запусканіи, что судоходство въ упадкѣ, что нашимъ нѣвогда цвѣтущимъ торговымъ городамъ недостаетъ былого блеска, что свободныя учрежденія только очень

медленно вводятся въ Пруссіи, что избытокъ нашего населенія безпомощно шатается по чужимъ странамъ, утрачивая свою національность среди чужихъ народовъ. И противъ всѣхъ этихъ проблемъ ни одного средства, ни одной попытки «выяснить себѣ способъ осуществленія» великаго дѣла, которое должно спасти насъ отъ всѣхъ этихъ грѣховъ! Или вы не ожидаете мирнаго рѣшенія? Другая статья въ этомъ же номерѣ, помѣщенная Карлсруэ, почти указываетъ на это; даже въ отношеніи таможеннаго союза она ставитъ Пруссіи щекотливый вопросъ: «Развѣ можно думать, что такой кризисъ пройдетъ какъ драка изъ-за куренія въ зоологическомъ саду?» Въ защиту вашего невѣрія вы приводите коммунистическія соображенія. «Ну, пусть разразится кризисъ въ промышленности, провадутъ милліоны капитала, тысячи рабочихъ останутся безъ хлѣба». Какъ некетати пришло наше «мирное ожиданіе», развѣ вы рѣшили допустить кровавый кризисъ; вѣроятно, съ этой цѣлью въ вашей статьѣ о Великобританіи вы со свойственной вамъ логикой съ похвалой отзываетесь о демагогѣ д-рѣ М. Дуаллѣ, переселившемся въ Америку потому, что «съ этой королевской породой ничего не подѣлаешь».

Прежде чѣмъ разстаться съ вами, мы хотѣли бы еще мимоходомъ обратить ваше вниманіе на вашу собственную мудрость: при нашемъ фразерствѣ не можетъ не случиться иногда, чтобы вы наивно не высказали правильной мысли, даже не имѣя ея. Вы находите, что полемика г. Геннекепа изъ Парижа противъ раздробленія земельныхъ участковъ приводитъ его къ поразительной гармоніи съ автономистами! Изумленіе есть начало философствованія, говоритъ Аристотель. Но вы не идете дальше начала. Развѣ въ противномъ случаѣ вы не замѣтили бы того поразительнаго факта, что въ Германіи коммунистическія идеи распространяются не либералами, а вашими реакционными друзьями?

Кто говорить о корпораціяхъ ремесленниковъ? Реакціонеры. Сословіе ремесленниковъ должно образовать государство въ государствѣ. Находите ли вы страннымъ, что подобныя мысли, выраженные современнымъ языкомъ, гласятъ: «Государство должно превратиться въ ремесленное сословіе?» Если для ремесленника его сословіе должно быть государствомъ, если современный ремесленникъ, какъ и всякій современный человѣкъ, понимаетъ и не можетъ не понимать государства иначе, какъ общую всѣмъ согражданамъ сферу, то какъ же вы можете иначе слить обѣ идеи, чѣмъ въ ремесленномъ государствѣ?

Кто полемизируетъ противъ дробленія земельной собственности? Реакціонеры. Въ недавно появившейся книгѣ феодала Козегаргена о нарцелляціи авторъ идетъ такъ далеко, что объявляетъ частную собственность привилегіей. Это основное положеніе Фурье. А если люди согласны насчетъ основныхъ положеній, то развѣ нельзя спорить о выводахъ и ихъ приложеніи?

Рейнская Газета, которая не признаетъ даже теоретической дѣйности за коммунистическими идеями въ ихъ современной формѣ, не

можетъ, слѣдовательно, ни желать ихъ практическаго осуществленія, ни даже считать его возможнымъ. Она подвергнетъ эти идеи основательной критикѣ.

Что такія произведенія, какъ Леру, Консидерана и, въ особенности, остроумную книгу Прудона, нельзя критиковать на основаніи поверхностной минутной фантазіи, а только послѣ упорнаго и старательнаго изученія, признала бы и Аугсбургская Газета, если бы она была способна на что-нибудь большее, чѣмъ салонная болтовня. Тѣмъ болѣе серьезно должны мы относиться къ подобнымъ произведеніямъ, что мы не согласны съ Аугсбургскою Газетою, которая находитъ «дѣйствительность коммунистическихъ идей не у Платона, а у своего неизвѣстнаго знакомаго, отдавшаго все свое состояніе и несмотря на свои научныя заслуги чистившаго, по приказанію отца Анфатена, сапоги и тарелки своихъ сотоварищей». Мы твердо убѣждены, что настоящая опасность коммунизма не въ практическихъ попыткахъ, а въ его идеяхъ: на практическія попытки, даже при массовомъ характерѣ ихъ, можно отвѣтить пушками, если онѣ станутъ опасны; идеи же, которыя овладѣваютъ нашимъ умомъ, которыя покоряютъ себѣ наши убѣжденія, которыя сковываютъ нашу совѣсть—это цѣпи, изъ которыхъ нельзя вырваться, не разорвавъ своего сердца, это демоны, которыхъ человѣкъ можетъ побѣдить, лишь подчинившись имъ.

Но Аугсбургская Газета никогда, конечно, не испытывала тѣхъ страданій совѣсти, которыя вызываетъ возмущеніе субъективныхъ желаній человѣка противъ объективныхъ доводовъ его собственнаго ума, ибо она не обладаетъ ни собственнымъ умомъ, ни собственными взглядами, ни собственной совѣстью.

Протоколы шеего Рейнекаго ландтага.

Рейнскаго обывателя.

ТРЕТЬЯ СТАТЯ.

Дебаты по поводу закона противъ кражи дровъ.

До сихъ поръ мы изобразили два главныхъ государственныхъ акта ландтага, смуту, господствовавшую на немъ по отношенію къ свободѣ печати, и несвободу его по отношенію къ смутѣ. Теперь мы спустимся на землю... Прежде чѣмъ перейти къ собственно земельному вопросу во всю его величину, къ вопросу о раздробленіи земельной собственности, мы дадимъ нашимъ читателямъ нѣсколько жанровыхъ картинокъ, въ которыхъ полно отразится духъ и, мы сказали бы, физическая природа ландтага.

Собственно законъ противъ кражи лѣса, какъ и законъ о проступкахъ противъ правилъ о лѣсахъ, охотѣ и выгонахъ, заслуживаетъ подробнаго обсужденія и самъ по себѣ, а не только въ связи съ ландтагомъ. Но мы не имѣемъ теперь подъ руками проекта закона. Нашъ матеріалъ ограничивается нѣсколькими въ общихъ чертахъ намѣченными дополненіями къ законамъ, предложеннымъ ландтагомъ и его комиссіей; законы же фигурируютъ только въ видѣ номеровъ статей. Самые дебаты ландтага такъ жалко, такъ безсвязно и апокрифически переданы, что передача похожа на мистификацію. Если судить по имѣющимся обрывкамъ, то ландтагъ, повидимому, хотѣлъ этимъ пассивнымъ молчаніемъ выразить нашей провинціи свое почтеніе.

Одинъ чрезвычайно характерный для этихъ дебатовъ фактъ сейчасъ же бросается въ глаза. Ландтагъ въ качествѣ дополняющаго законодателя становится на сторону государственнаго законодателя. Въ высшей степени интересно показать на конкретномъ примѣрѣ законодательныя способности ландтага. Исходя изъ этого, читатель проститъ намъ, если мы нѣсколько злоупотребимъ его терпѣніемъ и выдержкой—двумя добродѣтелями, которыя мы безпрестанно должны были проявлять при обработкѣ нашего сухого предмета. Въ дебатахъ ландтага по поводу закона о кражѣ мы, такъ сказать, непо-

средственно излагаемъ дебаты ландтага о его призваніи къ законодательству.

Въ самомъ же началѣ дебатовъ одинъ городской депутатъ возражаетъ противъ заголовка закона, въ силу котораго-де категорія бражки распространяется на простые проступки противъ лѣсныхъ правилъ.

На это депутатъ отъ дворянства возражаетъ, «что именно потому, что брать лѣсъ не считается кражей, этотъ проступокъ случается такъ часто».

По аналогіи съ этимъ законодатель долженъ былъ бы заключить: такъ какъ пощечины никто не считаетъ убійствомъ, то поэтому пощечины—столь часто отпускаются. А посему необходимо установить, что пощечина есть убійство.

Другой депутатъ отъ дворянства находитъ «еще болѣе рискованнымъ не пользоваться словомъ кража, потому что люди, которые узнаютъ про дебаты объ этомъ словѣ, легко могутъ подумать, будто и ландтагъ не считаетъ самовольной порубки кражей».

Ландтагъ долженъ рѣшить, считаетъ ли онъ нарушенія лѣсныхъ правилъ кражей. Но если бы ландтагъ не объявилъ этого кражей, то могли бы подумать, что онъ дѣйствительно не считаетъ нарушенія лѣсныхъ правилъ кражей. Такимъ образомъ лучше всего оставить этотъ щекотливый вопросъ. Здѣсь дѣло идетъ объ эвфемизмѣ, а эвфемизмовъ слѣдуетъ избѣгать. Ответственный лѣса затыкаетъ ротъ законодателю, потому что стѣны имѣютъ уши.

Тотъ же самый депутатъ идетъ еще дальше. Онъ считаетъ весь этотъ апалпзъ выраженія кража «далеко не рациональнымъ занятіемъ пленарнаго собранія редакціонными поправками».

Виявъ этимъ яснымъ доказательствамъ, ландтагъ вотировалъ за заголовокъ закона.

Съ указанной выше точки зрѣнія, которая считаетъ превращеніе гражданина въ вора простой редакціонной ошибкой и отклоняетъ всякія возраженія, какъ грамматическій пурризмъ, само собою понятно, что даже похищеніе валежника или собираніе хвороста признается за кражу и наказывается, какъ порубка лѣса.

Вышеупомянутый городской депутатъ, правда, замѣчаетъ: «Такъ какъ наказаніе можетъ подняться до продолжительнаго тюремнаго заключенія, то такая строгость поведетъ людей, которые вообще еще не отклонились отъ честнаго пути, прямо на путь преступленія. Это произойдетъ хотя бы оттого, что въ тюрьмѣ они столкнутся съ профессиональными ворами». Поэтому онъ стоитъ за то, чтобы собираніе или похищеніе сухого хвороста подвергалось только простому наказанію въ полицейскомъ порядкѣ. Но другой городской депутатъ возражаетъ глубокомысленнымъ замѣчаніемъ, что въ лѣсахъ его мѣстности часто дѣлаютъ насѣчки на молодыхъ деревьяхъ и, когда они отъ этого портятся, къ пнямъ относятъ какъ къ валежнику.

Нельзя болѣе изящно и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе просто пожертвовать

правомъ человѣка въ пользу права молодыхъ деревьевъ. Если эта статья закона будетъ принята, то множество людей безъ преступныхъ наклонностей будетъ срублено съ зеленого дерева правдивости и какъ валежникъ брошено въ бездну преступленія, позора и нищеты. Если же эта статья будетъ отвергнута, то станетъ возможно поврежденіе нѣсколькихъ молодыхъ деревьевъ: и едва ли нужно добавлять, что деревянные плоды побуждаютъ, а люди приносятся въ жертву.

Драконовское уголовное судопроизводство XVI в. относитъ къ кражѣ лѣса только похищеніе срубленныхъ деревьевъ и самовольную порубку лѣса. Но нашъ ландтагъ этому не повѣритъ: «Но если кто-нибудь днемъ собираетъ плоды для ѣды и унося ихъ причиняетъ этимъ небольшой убытокъ, тотъ, смотря по лицу и по дѣлу, долженъ нести гражданское (слѣдовательно не уголовное) наказаніе». Мы вынуждены защитить драконовское уголовное судопроизводство 16 столѣтія отъ упрека со стороны рейскаго ландтага 19 столѣтія въ чрезмѣрной гуманности, и мы охотно исполняемъ эту задачу.

Собраніе валежника и самая сложная кража лѣса! Одинъ признакъ общъ какъ первому, такъ и второй: присвоеніе чужого лѣса. Слѣдовательно, и то и другое—кража. Къ этому сводится дальновидная логика вашихъ законодателей!

Мы первымъ дѣломъ отмѣтимъ отличительные признаки ихъ, и если окажется, что дѣйствія, о которыхъ идетъ рѣчь, по существу своему различны, то едва ли можно будетъ утверждать, что съ точки зрѣнія закона ихъ слѣдуетъ считать тождественными.

Самовольная порубка лѣса связана съ насильственнымъ отдѣленіемъ дерева отъ его органической связи. Этотъ актъ, являясь явнымъ покушеніемъ на дерево, тѣмъ самымъ становится явнымъ покушеніемъ на собственника дерева.

Если, дажѣ, у третьяго лица похищаютъ срубленный лѣсъ, то въ этомъ случаѣ срубленный лѣсъ есть продуктъ собственника. Срубленный лѣсъ представляетъ собою уже обработанный человѣкомъ лѣсъ. На мѣсто естественной связи съ собственностью стала искусственная связь. Кто, слѣдовательно, похищаетъ срубленный лѣсъ, похищаетъ собственность.

При сборѣ валежника, наоборотъ, ничего не отдѣляется отъ собственности. Отъ собственности отдѣляется то, что фактически отдѣлилось отъ нея. Ворующій лѣсъ принимаетъ самовольное рѣшеніе противъ собственности. Собиратель валежника исполняетъ только ириговоръ, произнесенный самимъ характеромъ собственности, такъ какъ въ нашемъ владѣніи находится только дерево, а на деревѣ фактически уже тѣхъ хворостинъ нѣтъ.

Собраніе валежника и кража лѣса это, слѣдовательно, существенно различныя явленія. Объекты различны, не менѣе различны и дѣйствія въ отношеніи объектовъ, слѣдовательно, умыселъ долженъ быть различный, ибо какое же объективное мѣрило можемъ мы при-

ложить къ умыслу, помимо содержанія дѣйствія и формы дѣйствія? И вопреки этому существенному различію вы оба дѣйствія называете кражей и наказываете оба какъ кражу. Вы даже наказываете собираніе валежника строже, чѣмъ кражу лѣса, такъ какъ вы его называете уже тѣмъ, что объявляете его кражей, наказаніе, котораго вы не назначаете за кражу лѣса. Кражу лѣса вы въ такомъ случаѣ должны были бы объявить убійствомъ по отношенію къ деревьямъ и наказывать ее, какъ убійство. Законъ не свободенъ отъ общей обязанности говорить правду. Онъ вдвойнѣ обязанъ это дѣлать, такъ какъ онъ является общимъ и истиннымъ судьей относительно правовой природы вещей. Правовая природа вещей не можетъ поэтому сообразоваться съ закономъ, законъ долженъ сообразоваться съ ней. Но если законъ называетъ кражей лѣса дѣйствіе, которое нельзя назвать даже проступкомъ противъ правилъ о лѣсахъ, то законъ лжетъ, и бѣдвякъ приносится въ жертву узаконенной лжи. Есть два вида испорченности, говоритъ Монтескьё, одна, когда народъ совершенно не исполняетъ законовъ; второй, когда его законы портятъ: послѣднее зло неизлѣчимо, потому что само лѣкарство заражено имъ. (Il y a deux genres de corruption, l'un lorsque le peuple n'observe point les loix; l'autre lorsqu'il est corrompu par les loix; mal incurable parce qu'il est dans le remède même).

Поскольку вамъ не удастся заставить вѣрить въ наличность преступленія тамъ, гдѣ нѣтъ преступленія, постольку же вамъ удастся превратить самое преступленіе въ законное дѣйствіе. Вы стерли границы, но вы ошибаетесь, если думаете, что онѣ стерты только въ вашемъ интересѣ. Народъ видитъ наказаніе, но онъ не видитъ преступленія, и именно потому, что онъ видитъ наказаніе тамъ, гдѣ нѣтъ преступленія, онъ не увидитъ болѣе преступленія тамъ, гдѣ есть наказаніе. Примѣняя категорію кражи тамъ, гдѣ ея не слѣдуетъ примѣнять, вы этимъ самымъ какъ бы облагораживаете ее тамъ, гдѣ она должна быть примѣнена.

И развѣ не уничтожаетъ самъ себя этотъ грубый взглядъ тѣмъ, что онъ устанавливаетъ только общіе признаки въ различныхъ дѣйствіяхъ, абстрагируя отъ отличительныхъ признаковъ? Если всякое нарушеніе собственности, безъ различія, безъ болѣе точнаго опредѣленія, есть кража, то не является ли всякая частная собственность кражей? Развѣ своей частной собственностью я не исключаю изъ владѣнія ею всякаго другого? развѣ я не нарушаю, слѣдовательно, его права собственности? Если вы отрицаете различіе существенно различныхъ видовъ одного и того же преступленія, то вы отрицаете самое преступленіе, какъ нѣчто отличное отъ права, вы уничтожаете самое право, ибо всякое преступленіе имѣетъ одну общую сторону съ правомъ. Это фактъ настолько же исторически вѣрный, насколько согласный съ разумомъ, что безотносительная жестокость уничтожаетъ всякую положительную сторону наказанія, ибо она уничтожаетъ наказаніе какъ слѣдствіе права.

Но о чемъ мы собственно споримъ? Вѣдь ландтагъ не признаеть различія между собираніемъ валежника, проступкомъ противъ правилъ о лѣсахъ, и, наконецъ, порубкой лѣса. Онъ не признаеть отличительныхъ признаковъ дѣйствія, какъ чего-то опредѣляющаго характеръ дѣйствія, когда рѣчь идетъ объ интересахъ провинившагося, но онъ признаеть это различіе, когда рѣчь идетъ объ интересахъ владѣльца лѣса.

Такъ, коммиссія предлагаетъ прибавить «считать отягчающими обстоятельствами, когда зеленое дерево срублено или срублено рѣзущимъ инструментомъ, т.-е. когда вмѣсто топора пользуются пилой». Ландтагъ одобряеть это различіе. Проницательность, которая съ такой добросовѣстностью отличаетъ топоръ отъ пилы, когда дѣло идетъ объ интересахъ однихъ, достаточно безсовѣстна, что бы не отличать валежника отъ растущаго дерева, когда дѣло идетъ о чужихъ интересахъ. Различіе приобретаетъ значеніе какъ отягчающее обстоятельство, но оно не имѣеть никакого значенія, какъ смягчающее обстоятельство, хотя отягчающія обстоятельства невозможны, разъ невозможны смягчающія обстоятельства.

Та же логика сказывается еще неоднократно въ продолженіи дебатовъ.

При обсужденіи § 65 депутатъ отъ горожанъ желаетъ, «чтобы и стоимость похищеннаго лѣса служила масштабомъ для опредѣленія наказанія», «что, однако, оспаривается докладчикомъ, какъ *непрактичная мѣра*». Тотъ же самый депутатъ отъ горожанъ замѣчаетъ по поводу § 66: «Вообще во всемъ законѣ отсутствуетъ указаніе на размѣры стоимости, которая могла бы служить мѣриломъ для усиленія или смягченія наказанія».

Значеніе этого фактора для опредѣленія размѣра наказанія за преступленія противъ собственности ясно само собою.

Если понятіе преступленія предполагаетъ наказаніе, то конкретное преступленіе предполагаетъ опредѣленную степень наказанія. Дѣйствительное преступленіе ограничено, и наказаніе должно быть ограничено уже для того, чтобы быть дѣйствительнымъ, должно быть ограничено принципомъ права, чтобы быть справедливымъ.

Задача состоитъ въ томъ, чтобы сдѣлать наказаніе дѣйствительнымъ слѣдствіемъ преступленія. Оно должно явиться въ глазахъ преступника необходимымъ послѣдствіемъ его собственнаго дѣянія, т.-е. его собственнымъ дѣяніемъ. Предѣломъ его наказанія должень быть предѣлъ его дѣянія. То, что въ данныхъ предѣлахъ было нарушено, составляетъ предѣлъ даннаго преступленія. Мѣра преступленнаго есть такимъ образомъ мѣра преступленія. Поскольку вопросъ идетъ о собственности, такой мѣрой является ея цѣнность. Личность, въ какіе бы она ни была поставлена предѣлы, всегда полноцѣнна; собственность всегда заключена въ извѣстныя границы, которыя не только можно опредѣлить, по которыя опредѣлены, не только можно измѣрить, но измѣрены. Цѣнность есть гражданское бытіе собствен-

ности, логическое выражение, въ которомъ она становится опредѣленнымъ факторомъ. Понятно, что этотъ объективный признакъ, данный природою самого предмета, долженъ служить также объективнымъ и существеннымъ признакомъ наказанія. Если законодательство вынуждено тамъ, гдѣ рѣчь идетъ о числовыхъ величинахъ, руководствоваться вѣшними признаками, чтобы не вдаваться въ безконечныя опредѣленія, то оно обязано, по крайней мѣрѣ, устанавливать опредѣленныя нормы. Дѣло не въ томъ, чтобы исчерпать всѣ различія, а въ томъ, чтобы ихъ хотя бы установить. Но ландтагу вообще не интересно было посвятить свое благородное вниманіе такимъ мелочамъ.

Но вы, можетъ быть, думаете, что ландтагъ совершенно исключилъ моментъ стоимости при опредѣленіи наказанія? Какой легкомысленный, непрактичный выводъ! Лѣсовладѣлецъ—мы еще остановимся на этомъ подробнѣе—требуетъ отъ вора не только возмѣщенія просто стоимости. Онъ надѣляетъ эту стоимость индивидуальнымъ характеромъ, и на этой поэтической индивидуальности онъ основываетъ требованіе особаго вознагражденія за убытки. Теперь мы понимаемъ, что подразумѣваетъ докладчикъ подъ словомъ практической. Практичный лѣсовладѣлецъ разсуждаетъ такимъ образомъ: это постановленіе закона хорошо, поскольку оно полезно для меня, ибо моя польза есть добро. Это постановленіе закона излишне, оно вредно, оно непрактично, поскольку оно изъ чисто теоретическаго юридическаго каприза должно быть примѣнено и къ обвиняемому. Такъ какъ обвиняемый для меня вреденъ, то само собою понятно, что для меня вредно все, что избавляетъ его отъ большей мѣры наказанія. Такова практическая мудрость.

Но мы, непрактичные люди, пользуемся для защиты интересовъ политически и социалью неимущей массы тѣмъ самымъ, что ученая и попятливая услужливость тѣхъ пазываемыхъ историковъ придумала въ качествѣ настоящаго философскаго камня, чтобы превращать всякое грязное притязаніе въ чистое золото справедливости. Мы признаемъ за бѣдностью обычное право, и притомъ не мѣстное обычное право, а обычное право, принадлежащее бѣдности во всѣхъ странахъ. Мы идемъ еще дальше и утверждаемъ, что обычное право по своей природѣ можетъ быть только правомъ этихъ низшихъ неимущихъ слоевъ населенія.

Подъ такъ называемыми обычаями привилегированныхъ подразумѣваютъ обычай, противорѣчащіе праву. Время ихъ возникновенія относится къ тому времени, когда исторія человечества составляла еще часть естественной исторіи, и когда, согласно египетскому сказанію, всѣ боги скрывались въ образѣ животныхъ. Человѣчество распадается въ то время на рядъ животныхъ расъ, связь между которыми опредѣляется не равенствомъ, а неравенствомъ, закрѣпленномъ законами. Міровой періодъ несвободы требуетъ соответствующихъ законовъ, и, если человѣческое право есть воплощеніе сво-

боды, то это животное право есть воплощеніе несвободы. Феодализмъ въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова есть духовное животное царство, міръ разрозненнаго человечества, въ противоположность міру дифференцированнаго человечества, неравенство котораго есть не что иное, какъ преломленіе равенства. Въ странахъ наипаго феодализма, въ странахъ господства кастоваго духа, гдѣ человечество въ истинномъ смыслѣ этого слова раздѣлено искусственными перегородками, гдѣ благородные, свободно переходящіе другъ въ друга члены великаго святаго, святаго Гумануса, распилены, расколоты, насильственно другъ отъ друга оторваны, мы также находимъ поэтому культъ животныхъ, религію животныхъ въ ея первобытной формѣ, ибо человекъ всегда считаетъ высшимъ существомъ то, что составляетъ его истинную сущность. Единственная форма равенства, проявляющаяся въ дѣйствительной жизни животныхъ, есть равенство между животными опредѣленнаго вида, это тожество вида съ самимъ собой, но не равенство рода. Самый родъ животныхъ проявляется только во враждебномъ отношеніи различныхъ видовъ животныхъ другъ къ другу; они обнаруживаютъ свои особыя отличительныя свойства лишь въ борьбѣ другъ съ другомъ. Въ желудкѣ хищнаго звѣря природа создала арену единенія, горнило самаго тѣснаго слиянія, органъ связи между различными видами животныхъ. Такъ, въ феодальномъ строѣ одна раса питается насчетъ другой расы вплоть до той, которая сама, подобно полипу, прикрѣплена къ землѣ и обладаетъ многочисленными руками, какъ будто для того только, чтобы срывать земные плоды для высшихъ расъ, сама питаясь прахомъ; ибо, если въ естественномъ животномъ мірѣ трупы убиваются рабочими пчелами, то въ духовномъ мірѣ, наоборотъ, рабочія пчелы убиваются трутнями и какъ разъ именно съ помощью труда. Когда привилегированныя классы апеллируютъ отъ установленнаго закономъ права къ своему обычному праву, они требуютъ вмѣсто человѣческаго содержанія права, животную форму права, но эта форма въ данномъ случаѣ вырождается въ простую звѣриную маску.

* * *

Обычное право привилегированныхъ по своему содержанію противорѣчитъ формѣ закона. Оно не можетъ быть отлито въ законы, такъ какъ оно предоставляетъ олицетвореніе баззакопія. Противорѣча по своему содержанію формѣ закона, всеобщности и необходимости его, эти нормы обычнаго права тѣмъ самымъ являюся нормами обычнаго безправія и не могутъ быть выдвигаемы въ противовѣсъ закону; онѣ должны, напротивъ того, какъ противорѣчащія закону, быть уничтожены и должны при случаѣ преслѣдоваться, ибо чье-нибудь дѣйствіе не перестаетъ быть незаконнымъ отъ того, что этотъ способъ дѣйствія составляетъ его привычку, какъ нельзя оправдывать сына разбойника, занимающагося разбоемъ, его семейной идіосин-

кразіей. Если чловѣкъ намѣренно поступаетъ противъ закона, тогда надо наказывать его намѣреніе, если же по привычкѣ, надо наказывать его привычку, какъ дурную привычку. Разумное обычное право при господствѣ общихъ законовъ есть не что иное, какъ привычка къ законному праву, ибо право не перестало быть обычаемъ, потому что стало закономъ, оно перестало быть только обычаемъ. У чловѣка закона право превращается въ привычку, а что касается беззаконника, то право осуществляется по отношенію къ нему, несмотря на то, что оно не составляетъ его привычки. Право не зависитъ больше отъ случайности, разумень или неразуменьъ обычай; обычай, наоборотъ, становится разумнымъ, потому что право превратилось въ законъ, потому что обычай сталъ государственнымъ обычаемъ.

Обычное право, какъ отдѣльная область наряду съ закономъ, имѣетъ, поэтому, разумное оправданіе лишь тамъ, гдѣ право существуетъ наряду и помимо закона, гдѣ обычай есть предвосхищеніе закона. Объ обычномъ правѣ привилегированныхъ сословій, поэтому, не можетъ и рѣчи быть. Законъ признаетъ не только ихъ разумное право, но часто даже неразумныя притязанія. Ихъ обычное право не имѣетъ права предвосхищать закона, ибо законъ предвосхитилъ всѣ возможные выводы изъ ихъ права. Они, поэтому, настаиваютъ на немъ только какъ на источникѣ для *menus plaisirs*, чтобы то же самое содержаніе, которое въ законѣ разсматривается согласно его разумнымъ границамъ, въ обычай приобрѣло просторъ для капризовъ и притязаній вопреки разумнымъ границамъ закона.

Но если это обычное право привилегированныхъ является обычаемъ противорѣчающимъ конятію разумнаго права, то обычное право нищеты противорѣчитъ только обычаемъ положительнаго права. Ихъ содержаніе является протестомъ не противъ законной формы, а скорѣе противъ своей собственной безформенности. Форма закона не противорѣчитъ ему, оно только еще не получило ея. Нужно только немного поразмыслить, чтобы видѣть, какъ односторонне разсматривали и должны были разсматривать просвѣщенные законодатели обычныя права нищеты, самымъ богатымъ источникомъ которыхъ можно считать различныя германскія права.

Самыя либеральныя законодательства по отношенію къ частному праву ограничивались тѣмъ, что формулировали и обобщали тѣ права, которыя имѣлись на лицо. Тамъ, гдѣ таковыхъ не было на лицо, они ихъ не создавали. Мѣстное обычное право отмѣнялось, но при этомъ упускали изъ виду, что поскольку беззаконіе сословій проявлялось въ формѣ произвольныхъ притязаній, постольку право бессословныхъ проявилось въ формѣ случайныхъ уступокъ. Эти законодательства правильно поступали по отношенію къ тѣмъ, которые помимо закона пользовались покровительствомъ обычаевъ, но—неправильно по отношенію къ тѣмъ, которые пользовались покровительствомъ обычаевъ, но не закона. Разъ они обратили въ законныя требованія произвольныя притязанія, поскольку въ послѣднихъ можно было найти ра-

зупное юридическое содержаніе, они должны были также обратить случайныя уступки въ необходимыя. Мы можемъ пояснить это на примѣрѣ монастырей. Монастыри были уничтожены, имущество ихъ секуляризовано, и это было справедливо. Но, съ другой стороны, случайная поддержка, которую бѣдняки находили въ монастыряхъ, не была замѣнена никакимъ другимъ источникомъ дохода. Превративъ монастырскую собственность въ частную собственность и вознаградивъ монастыри, не вознаградили бѣдныхъ, которые жили отъ монастырей. Наоборотъ, воздвигнувъ новыя преграды, ихъ отрѣзали отъ стараго права. Это имѣло мѣсто при всѣхъ превращеніяхъ привилегій въ право. Положительную сторону этихъ злоупотребленій— а это были злоупотребленія, поскольку право одной стороны превращалось въ нихъ въ нѣчто случайное — законодательства эти устранили не путемъ превращенія случайнаго въ необходимое, а путемъ отвлеченія отъ него.

Законодательства эти необходимо должны были быть односторонними, такъ какъ источникъ всякаго обычнаго права бѣдныхъ заключается въ неопредѣленномъ характерѣ нѣкоторыхъ видовъ собственности, не дѣлающемъ ее ни безусловно частной, ни безусловно общей собственностью, — въ смѣшеніи частнаго и публичнаго права, выступающемъ передъ нами во всѣхъ средневѣковыхъ учрежденіяхъ. Единственнымъ критеріемъ, который законодатели прилагали къ подобнымъ смѣшаннымъ правовымъ образованіямъ, служилъ разсудокъ; а разсудокъ не только одностороненъ, его роль по существу сводится къ тому, чтобы сдѣлать міръ одностороннимъ; великая и достойная удивленія работа, ибо только односторонность формируетъ и вырываетъ частное изъ безформенной неорганической массы цѣлага. Характеръ вещей есть продуктъ разсудка. Каждая вещь должна изолировать себя и быть изолированной, чтобы быть чѣмъ-нибудь. Заключая всякое содержаніе въ опредѣленные рамки, превращая какъ бы въ кристаллы жидкій растворъ, разсудокъ создаетъ разнообразіе міра, ибо міръ не былъ бы многостороннимъ безъ многихъ односторонностей.

Разсудокъ такимъ образомъ уничтожилъ промежуточные неустойчивыя виды собственности, прибѣгнувъ къ заимствованной изъ римскаго права категоріи абстрактнаго гражданскаго права; законодательный разумъ тѣмъ болѣе считалъ себя въ правѣ уничтожить обязательства этой неустойчивой собственности по отношенію къ бѣднѣйшему классу, что онъ уничтожилъ и ея государственныя привилегіи. Однако онъ забылъ, что даже съ точки зрѣнія частнаго права здѣсь имѣлось на лицо двоякое частное право: частное право владѣльца и частное право невладѣльца, не говоря уже о томъ, что никакое законодательство не уничтожило государственно-правовыхъ привилегій собственности, а только лишило ихъ случайнаго характера и придавало имъ гражданскій характеръ. Но если всякая средневѣковая форма права, а слѣдовательно и собственность, была во

всѣхъ отношеніяхъ промежуточной, дуалистичной, двойственной, и если разумъ справедливо выставлялъ противъ него свой принципъ единства, онъ все же проглядѣлъ, что есть предметы собственности, которые по своей природѣ никогда не могутъ пріобрѣсть характера предопредѣленной частной собственности; что это именно тѣ предметы, которые по своему стихійному случайному характеру относятся къ области захватнаго права того общественнаго класса, который въ силу того же захватнаго права лишенъ всякой другой собственности и въ буржуазномъ обществѣ занимаетъ такое же положеніе, какъ вышеупомянутые предметы въ природѣ.

Мы увидимъ, что обычай, являющіеся обычаями многочисленнаго бѣднаго класса, съ вѣрнымъ инстинктомъ умѣютъ затронуть собственность съ ея неоформившейся стороны; мы увидимъ, что этотъ классъ не только чувствуетъ влеченіе удовлетворить естественную потребность, но что онъ чувствуетъ потребность удовлетворить законное стремленіе. Валежникъ послужитъ намъ примѣромъ. Валежникъ такъ же мало связанъ съ живымъ деревомъ, какъ отпавшая кожа со змѣей. Сама природа даетъ какъ бы образецъ противоположности между бѣдностью и богатствомъ въ сухихъ, оторванныхъ отъ органической жизни, сломанныхъ вѣтвяхъ и сучьяхъ, съ одной стороны, и крѣпко сидящихъ, сочныхъ деревьяхъ и стволахъ, органически ассимилирующихъ для своего роста воздухъ, свѣтъ, воду и землю—съ другой стороны. Это какъ бы физическое изображеніе бѣдности и богатства. Человѣческая бѣдность чувствуетъ это родство и выводитъ изъ этого чувства родства свое право собственности; органическое богатство она связываетъ съ собственностью, а природную бѣдность она связываетъ съ нуждой и ея невзгодами. Въ этой игрѣ стихійныхъ силъ она чувствуетъ благожелательную себѣ силу, болѣе гуманную, чѣмъ человѣческая. Въмѣсто случайнаго произвола привилегированныхъ мы видимъ случайность стихій, вырывающей у частной собственности то, чего она сама не даетъ. Богатый имѣетъ такъ же мало права на эти милости природы, какъ на милостыню, раздаваемую на улицѣ. Въ самой своей дѣятельности бѣдность находитъ оправданіе своего права. Въ процессѣ собираиціи, группировки стихій человѣческаго общества противопоставляетъ себя стихіи природы. Такъ же дѣло обстоитъ съ тѣми плодами, которые, дико произрастая, составляютъ лишь случайный придатокъ владѣнія, настолько незначительный, что уже вслѣдствіе одного этого онъ не можетъ служить объектомъ дѣятельности настоящаго собственника; то же самое относится и къ праву собирать оставшіеся на полѣ козосѣя и тому подобнымъ обычнымъ правамъ.

Въ этихъ обычаяхъ бѣднаго класса корепится, такимъ образомъ, инстинктивное сознаніе права, корня ихъ положительны и законны; что же касается формы обычнаго права, то она здѣсь тѣмъ болѣе естественна, что самая наличность бѣднаго класса тоже не болѣе, какъ обычай гражданскаго общества, который не нашелъ еще подо-

баюшаго мѣста въ кругу сознательныхъ государственныхъ учрежденій.

Разбираемые нами дебаты представляютъ собою примѣръ отношенія къ этимъ обычнымъ правамъ, примѣръ, въ которомъ вполне отражается методъ и духъ этого отношенія.

Депутатъ отъ горожанъ возражаетъ противъ опредѣленія, разсматривающаго сборъ лѣсныхъ ягодъ и брусники, какъ кражу. Онъ говоритъ въ защиту дѣтей бѣдняковъ, которыя собираютъ эти ягоды, зарабатывая этимъ кой-какую мелочь для своихъ родителей; это съ незапамятныхъ временъ разрешалось владѣльцами, и такимъ образомъ возникло обычное право этихъ малышей. Этотъ фактъ опровергается замѣчаніемъ другого депутата: «Въ его округѣ, дескать, эти ягоды стали уже предметомъ торговли, и ихъ цѣлыми бочками отправляютъ въ Голландію».

Итакъ, въ одномъ мѣстѣ уже дѣйствительно дошли до того, что обычное право бѣдныхъ превратили въ монополію богатыхъ. Слѣдовательно, вполне доказано, что можно монополизировать общественную собственность; отсюда само собою слѣдуетъ, что ее должно монополизировать. Природа предмета требуетъ монополіи, потому что интересы частной собственности придумали эту монополію. Изобрѣтательность пѣсколькихъ жадныхъ торговцевъ оказывается непреложной, разъ только она можетъ сдѣлать выгоднымъ для истиннопотвоянскихъ землевладѣльцевъ отбросы земли.

Мудрый законодатель воспрепятствуетъ преступленію, чтобы не быть вынужденнымъ наказывать за него. Но онъ предупредить его не путемъ ограниченія сферы права, а тѣмъ, что онъ уничтожить въ каждомъ правовомъ стремленіи его отрицательную сторону, предоставивъ ему положительную сферу дѣятельности. Онъ не ограничится только устраненіемъ для членовъ одного класса препятствій, мѣшающихъ ему правомѣрно подняться на болѣе высокую ступень, онъ предоставитъ самому этому классу реальную возможность стать средоточіемъ правъ. Но [или] если государство для этого недостаточно гуманно, недостаточно богато и недостаточно разумно, то, по крайней мѣрѣ, его безусловный долгъ не превращать въ преступленіе того, что обстоятельства дѣлаютъ только проступкомъ. Съ величайшей мягкостью должно оно исправлять какъ социальную неурядицу то, что было бы величайшей несправедливостью карать, какъ антисоціальное преступленіе. Въ противномъ случаѣ оно будетъ бороться противъ социальнаго истинника, думая бороться противъ антисоціальной его формы. Однимъ словомъ, если подавляютъ народныя обычныя права, то соблюденіе ихъ можно разсматривать только какъ нарушеніе полицейскихъ постановленій, но ни въ коемъ случаѣ нельзя его наказывать какъ преступленіе. Полицейское наказаніе есть средство противъ дѣйствія, которое обстоятельства квалифицируютъ, какъ нарушеніе виѣшняго порядка, но которое не является нарушеніемъ вѣчнаго правового порядка. Наказаніе не должно вну-

шать больше отвращенія, чѣмъ проступокъ, позоръ преступленія не долженъ превращаться въ позоръ закона. Если несчастіе превращается въ преступленіе или преступленіе въ несчастіе, то это подкапываетъ основы государства. Далекій отъ этой точки зрѣнія ландтагъ не соблюдаетъ даже основныхъ правилъ законодательства.

Мелочливая, деревянная, пошлая, эгоистичная душа интереса ищетъ только одного пункта, того, который ее оскорбляетъ: такъ, грубый, невоспитанный человѣкъ готовъ считать прохожаго, наступившаго ему на мозоль, самой скверной и самой низкой тварью на землѣ. Свои мозоли онъ дѣлаетъ мѣриломъ оцѣнки человѣческихъ дѣйствій. Тѣлесную точку своего соприкосновенія съ прохожимъ онъ превращаетъ въ единственную точку соприкосновенія міра съ душой этого человѣка. Но вѣдь человѣкъ можетъ наступить мнѣ на мозоли, не переставая быть честнымъ, даже прекраснѣйшимъ человѣкомъ. Подобно тому, какъ ваши мозоли не могутъ служить мѣриломъ оцѣнки людей, точно такъ же и ваши частные интересы не могутъ служить этимъ мѣриломъ. Одна какаля-нибудь сфера, въ которой человѣкъ враждебно сталкивается съ частнымъ интересомъ, превращается въ жизненную сферу этого человѣка. Частные интересы превращаютъ законъ въ истребителя крысъ, видящаго въ крысахъ—въ противоположность естествоиспытателю—только нечисть. Но государство въ нарушителѣ правилъ о лѣсахъ должно видѣть не только человѣка, занимающагося похищеніемъ лѣса, не только врага лѣса. Развѣ каждый изъ его гражданъ не связанъ съ нимъ тысячей нервовъ, и развѣ государство вправѣ разрѣзать всѣ эти нервы только потому, что одинъ гражданинъ самовластно разрѣзалъ одинъ нервъ? Государство должно видѣть человѣка и въ порубщикѣ лѣса, живого члена съ горячей кровью, солдата, защищающаго отечество, свидѣтеля, голосъ котораго гудитъ значеніе для суда, члена общины, исполняющаго общественныя функціи, отца семейства, существованіе котораго священно и, наконецъ, самое главное—гражданина. Государство не можетъ легкомысленно отрѣзать одного изъ своихъ членовъ отъ всѣхъ этихъ функцій, ибо государство калѣчитъ само себя, когда оно дѣлаетъ изъ гражданина преступника. Но въ особеннѣйшій правительственный законодатель будетъ считать серьезнѣйшимъ, самымъ болѣзненнымъ и опаснѣйшимъ дѣломъ позволить неопороченное до сихъ поръ дѣйствіе подъ категорію преступныхъ дѣяній.

Частный интересъ практиченъ, а нѣтъ ничего болѣе практичнаго въ мірѣ, чѣмъ уничтожить своего врага! «Кто не стремится уничтожить предметъ своей ненависти?» говоритъ Шейлокъ. Истинный законодатель долженъ бояться только несправедливости, интересъ въ качествѣ законодателя знаетъ только страхъ передъ послѣдствіями права, страхъ передъ злодѣями, противъ которыхъ онъ издаетъ законы. Жестокость характеризуетъ законы, продиктованные трусостью, ибо трусость можетъ быть энергична только будучи жестокой. Частный интересъ всегда трусливъ, ибо его сердце, его душа есть вѣншій предметъ, который

всегда может быть отнять или повредить. А кто же не будет дрожать при опасности потерять сердце и душу? Как может своекорыстный законодатель быть человечным, когда нечто печеловѣческое, чуждое матеріальное существо составляет его высшую сущность? Quand il a peur, il est terrible, говорит газета «National» о Гизо. Этот девиз может служить эпиграфомъ ко всемъ законодательствамъ, продиктованнымъ своекорыстіемъ, а слѣдовательно, и трусостью.

Когда самоѣды убиваютъ звѣря, то прежде чѣмъ содрать съ него шкуру, они увѣряютъ его серьезнѣйшимъ образомъ, что только русскіе причиняютъ это зло, что русскій ножъ рѣжетъ его и что, слѣдовательно, вся месть должна обратиться на русскихъ. Можно превратить законъ въ русскій ножъ, даже не претендуя быть самоѣдами. Посмотримъ!

По поводу § 4 комиссія предложила: «На разстояніи больше 2-хъ миль доносящій стражникъ опредѣляетъ цѣнность по существующимъ мѣстнымъ цѣнамъ».

Противъ этого протестовалъ депутатъ отъ городского сословія: «Предложеніе, чтобы лѣсничій, доводящій до свѣдѣнія о покражѣ, устанавливалъ въ то же время таксу на похищенный лѣсъ, довольно рискованно. Конечно, къ этому доносящему чиновнику слѣдуетъ относиться съ довѣріемъ,— но только по отношенію къ самому факту, а ни въ какомъ случаѣ не по отношенію къ стоимости похищенного. Последняя должна быть опредѣлена по тактѣ, предложенной мѣстными властями и утвержденной ландтагомъ. Правда, было предложено, чтобы § 14, по которому штрафъ взимается въ пользу лѣсовладѣльца, не былъ принятъ». «Если бы сохранили § 14, тогда предлагаемое постановленіе было бы вдвойнѣ опасно, ибо лѣсничій, служащій у лѣсовладѣльца и получающій у него жалованье, само собой разумѣется, по возможности выше оцѣнитъ стоимость похищенного лѣса». Ландтагъ одобрилъ предложеніе комиссіи.

Этимъ, по нашему мнѣнію, устанавливается натримоніальный судъ. Служащій у владѣльца является вмѣстѣ съ тѣмъ отчасти и судьей. Опредѣленіе цѣны составляетъ часть самаго приговора. Приговоръ, такимъ образомъ, уже отчасти предрѣшенъ въ протоколѣ доносителя. Доносщій стражникъ застѣваетъ въ судебной коллегіи, онъ экспертъ, съ мнѣніемъ котораго судъ связанъ, онъ исполняетъ функцію, изъ которой онъ исключаетъ остальныхъ судей. Безразсудно возражать противъ инвизиторскаго процесса, разъ возможно существованіе натримоніальныхъ жацдармовъ и доносчиковъ, которые вмѣстѣ съ тѣмъ являются судьями.

Не говоря уже объ основномъ нарушеніи нашихъ институтовъ, само собою очевидно, какъ мало обладаетъ доносящій стражникъ объективной способностью быть въ то же самое время и оцѣнщикомъ похищенного лѣса.

Въ качествѣ стражника онъ олицетворенный геній лѣсоохраненія.

Охрана, а тѣмъ болѣе личная, физическая защита требуетъ энергичнаго и нѣжнаго отношенія лѣсного сторожа къ предмету его опеки, такого отношенія, въ которомъ онъ какъ бы срастается съ деревьями. Лѣсъ для него долженъ быть всею; онъ долженъ для него имѣть абсолютную цѣнность. Оцѣнщикъ, наоборотъ, относится со скептическимъ недовѣрjemъ къ похищенному лѣсу, онъ оцѣниваетъ его острымъ прозаическимъ взглядомъ, обыкновенной мѣрой и вычисляетъ въ копейкахъ его стоимость. Охранитель и оцѣнщикъ такъ же отличаются другъ отъ друга, какъ минералогъ отъ торговца минералами. Лѣсной стражникъ не можетъ оцѣнивать стоимость похищеннаго лѣса, ибо въ каждомъ протоколѣ, въ которомъ онъ устанавливаетъ стоимость украденнаго, онъ устанавливаетъ свою собственную стоимость, т.-е. стоимость своей собственной дѣятельности; и неужели вы думаете, что онъ будетъ хуже охранять стоимость лѣса, чѣмъ субстанцію лѣса?

Объ эти функціи, поручаемыя одному человѣку, которому грубость вмѣняется въ обязанность службы, противорѣчатъ другъ другу не только по отношенію къ предмету охраны, но также по отношенію къ заинтересованнымъ лицамъ.

Какъ охранитель лѣса, лѣсной сторожъ обязанъ охранять интересы частнаго владѣльца, но, какъ оцѣнщикъ, онъ, съ другой стороны, обязанъ защищать интересы порубщика отъ чрезмѣрныхъ требованій частнаго собственника. Работая кулакомъ въ интересахъ лѣса, онъ въ то же время долженъ работать головой въ интересахъ врага лѣса. Будучи, съ одной стороны, воплощеннымъ интересомъ лѣсовладѣльца, онъ долженъ, съ другой стороны, быть гарантіей противъ интересовъ лѣсовладѣльца.

Стражникъ, далѣе, является доносчикомъ. Протоколъ есть доносъ. Стоимость предмета становится, слѣдовательно, предметомъ доноса; онъ терлетъ, такимъ образомъ, свое судебное достоинство, и функція судьи глубоко падаетъ, ибо она перестаетъ отличаться на моментъ отъ функціи доносчика.

Накопецъ, этотъ доносящій стражникъ, который ни въ качествѣ доносчика, ни въ качествѣ стражника неспособенъ быть экспертомъ, находится на жалованьи и въ услуженіи у лѣсовладѣльца. Съ такимъ же правомъ можно было бы предоставить подъ присягой оцѣнку самому владѣльцу, такъ какъ фактически послѣдній въ лицѣ своего стражника принялъ только форму третьяго лица.

Но вмѣсто того, чтобы видѣть опасность въ этой двойственной роли доносящаго стражника, ландтагъ, наоборотъ, находитъ рискованнымъ только одно предложеніе, а именно то, которое среди этого лѣсного самодержавія оставляетъ хоть призракъ власти за государствомъ—предложеніе о пожизненномъ назначеніи доносящаго стражника. Противъ этого предложенія поднимается самый сильный протестъ, и объясненіе докладчика съ трудомъ можетъ утихнуть бурю: «уже прежніе ландтаги, — говоритъ докладчикъ, — требовали отказа

отъ пожизненнаго назначенія стражниковъ, но правительство всегда было противъ этого и смотрѣло на пожизненное назначеніе, какъ на защиту подданныхъ».

Ландтагъ уже раньше, слѣдовательно, торговался съ правительствомъ насчетъ отказа отъ охраны его подданныхъ и дальше этого торгашества не пошелъ. Разсмотримъ столь же великодушные, сколь неопровержимые доводы, которые приводились противъ пожизненнаго назначенія.

Одинъ депутатъ отъ сельскихъ общинъ «паходить, что пожизненное назначеніе стражника, какъ условіе довѣрія къ его показаніямъ, очень вредно отзовется на интересахъ мелкихъ лѣсовладѣльцевъ»; другой настаиваетъ, что «охрана должна быть одинаково дѣйствительна какъ для крупныхъ, такъ и для мелкихъ лѣсовладѣльцевъ».

Членъ княжескаго сословія замѣчаетъ, что «пожизненное назначеніе служащихъ у частныхъ лицъ очень рисковано, и что, напримѣръ, во Франціи вовсе оно и не требуется, чтобы внушать довѣріе къ протоколамъ лѣсоохранительной полиціи; но непременно нужно что-нибудь сдѣлать для прекращенія проступковъ». Депутатъ отъ городовъ заявляетъ: «Слѣдуетъ относиться съ довѣріемъ ко всѣмъ указаніямъ правильно назначенныхъ и принесшихъ присягу лѣсныхъ служащихъ. Пожизненное назначеніе во многихъ общинахъ и въ особенности для владѣльцевъ мелкихъ участковъ, такъ сказать, невозможно. Рѣшеніе относиться съ довѣріемъ только къ тѣмъ лѣсничимъ, которые назначены пожизненно, лишаетъ этихъ лѣсовладѣльцевъ всякой лѣсной охраны. Въ значительной части провинціи общины и частные владѣльцы поручаютъ и по повелѣнью должны поручать полевымъ сторожамъ охрану своихъ лѣсныхъ участковъ, потому что ихъ лѣса недостаточно обширны, чтобы папимать специальныхъ лѣсныхъ сторожей. Было бы странно, если бы эти полевые сторожа, которые подъ присягой обязываются охранять и лѣса, не пользовались полнымъ довѣріемъ, когда констатируютъ похищеніе лѣса, между тѣмъ какъ они пользуются довѣріемъ, когда доводятъ до свѣдѣнія о нарушеніяхъ правилъ о выгонѣ».

* * *

Такъ говорили: городское, сельское и княжеское сословія. Они не только не считаютъ пущнымъ упустить разницу между правами порубщика и притязаніями лѣсовладѣльца, но находятъ ее еще недостаточно большой; стараются подогнать подъ одну мѣрку охрану крупнаго и мелакаго лѣснаго владѣнія, а не стремятся къ одинаковой охранѣ владѣльца лѣса и порубщика. Въ первомъ случаѣ закономъ становится доведенное до мельчайшихъ тонкостей равенство, между тѣмъ какъ во второмъ неравенство превращается въ аксіому. Почему мелкій лѣсовладѣлецъ требуетъ той же охраны, какъ и крупный? Потому что они оба лѣсовладѣльцы. А развѣ и лѣсовла-

дѣлецъ, и порубщикъ оба не граждане? Если мелкій и крупный лѣсовладѣлецъ имѣютъ одинаковое право на защиту со стороны государства, то развѣ не въ большей еще степени имѣютъ это право мелкій и крупный гражданинъ?

Если членъ княжескаго сословія ссызается на Францію—интересъ не знаетъ политическихъ аптипатій,—то онъ только забываетъ прибавить, что во Франціи стражникъ доноситъ о фактѣ, но не о стоимости. Точно такъ же почтенный ораторъ отъ горожанъ забываетъ, что полевой сторожъ здѣсь недопустимъ, такъ какъ дѣло идетъ не только о констатированіи похищенія лѣса, но также и объ оцѣнкѣ лѣса.

Къ чему сводится сущность всѣхъ только что слышанныхъ нами разсужденій? Мелкій лѣсовладѣлецъ, говорятъ, не имѣетъ средствъ нанять пожизненнаго лѣсного сторожа. Что собственно слѣдуетъ изъ этого разсужденія? Что мелкій лѣсовладѣлецъ не имѣетъ права на это. Какой же выводъ дѣлаетъ мелкій лѣсовладѣлецъ? Что онъ имѣетъ право назначить лѣсного сторожа на срокъ. Отсутствие средствъ служить для него правомъ на привилегію.

Мелкій лѣсовладѣлецъ не имѣетъ также средствъ содержать независимую судебскую коллегію. Слѣдовательно, государство и обвиняемый должны отказать отъ независимой судебской коллегіи, и пусть въ судѣ застѣдаетъ работникъ мелкаго лѣсовладѣльца, а если у него нѣтъ работника, его работница, а если нѣтъ работницы, онъ самъ? Развѣ обвиняемый не имѣетъ такого же права на судебную власть, т.-е. органъ государства, какъ и на исполнительную? Почему же въ такомъ случаѣ не учредить судовъ, которые были бы по средствамъ мелкимъ лѣсовладѣльцамъ?

Можетъ ли отношеніе государства и обвиняемаго потерпѣть уронъ вслѣдствіе недостатка средствъ у частнаго лица, лѣсовладѣльца? У государства есть права по отношенію къ обвиняемому, такъ какъ оно по отношенію къ данному индивиду выступаетъ въ роли государства. Отсюда для него непосредственно вытекаетъ обязанность относиться къ преступнику, какъ государство, и сообразно съ характеромъ государства. Государство не только имѣетъ средства поступать такимъ образомъ, какъ то соответствуетъ его разуму, его всеобщности и его достоинству, а также праву и условіямъ жизни и собственности обвиняемаго гражданина — его непремѣнная обязанность располагать этими средствами и примѣнять ихъ. Отъ лѣсовладѣльца, лѣса котораго не есть государство и душа котораго не душа государства, никто этого не можетъ требовать. Какое же выводить отсюда заключеніе? Такъ какъ частная собственность не имѣетъ средствъ подняться до государственной точки зрѣнія, то государство обязано опуститься до образа дѣйствія частной собственности, противнаго разуму и праву.

Это притязаніе частнаго интереса, жалкая душа котораго никогда не озарялась государственной идеей, является серьезнымъ и основа-

тельнымъ урокомъ для государства. Если государство хотя бы въ одномъ отношеніи такъ низко опускается, что оно дѣйствуетъ сообразно съ требованіями частной собственности, вмѣсто того, чтобы дѣйствовать сообразно своему характеру, то отсюда непосредственно слѣдуетъ, что оно должно при выборѣ своихъ средствъ приспособиться къ рамкамъ частной собственности. Этотъ выводъ въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи приводитъ къ тому, что рамкой и правиломъ государственной дѣятельности становится частный интересъ въ его наиболее ограниченной и жалкой формѣ. Такимъ образомъ, не говоря уже о полнѣйшемъ приращеніи государства, противъ обвиняемаго пускаются въ ходъ наиболее противныя разуму и праву средства; дѣло въ томъ, что горячее вниманіе къ интересамъ ограниченной частной собственности, по необходимости, превращается въ неограниченное пренебреженіе интересами обвиняемаго. Если, стало быть, частный интересъ нѣтается низвести государство до уровня своего средства, то само собою разумѣется, что представительство частныхъ интересовъ, т. е. сословія, нѣтается и обязапо деградировать государство до идей частнаго интереса.

Всякое современное государство, какъ бы мало оно ни соответствовало идеѣ государства, при первой практической попыткѣ такой законодательной власти принуждено будетъ громко заявить: твои пути — не мои пути и твои идеи — не мои идеи! Несколько неурегоденъ наемъ на срокъ лѣсного сторожа, лучше всего доказывается аргументомъ, приведеннымъ противъ пожизненнаго пайма. Аргументъ этотъ былъ прочитанъ, и его нельзя считать случайно сорвавшимся. Членъ изъ городского сословія прочиталъ слѣдующее заявленіе: «Назначенные пожизненно общинные лѣсные сторожа не находятся и не могутъ находиться подъ строгимъ контролемъ, подобно королевскимъ чиновникамъ. Всякое поощреніе къ вѣрному исполненію обязанностей парализуется пожизненнымъ назначеніемъ. Если лѣсной сторожъ даже съ грѣхомъ пополамъ исполняетъ свои обязанности, стараясь лишь не заслужить обвиненія въ какихъ-либо дѣйствительныхъ проступкахъ, то онъ всегда найдетъ достаточно оправданій для непримѣненія къ нему § 56 объ увольненіи. Заинтересованныя стороны при такихъ обстоятельствахъ даже не осмѣлятся внести предложеніе объ увольненіи».

Мы напоминаемъ, какъ было декретировано полное довѣріе доносящему лѣсному сторожу, когда рѣчь шла о томъ, чтобы предоставить ему право оцѣнки. Мы напоминаемъ, что § 4 былъ вотумомъ довѣрія лѣсному сторожу.

Теперь же мы вдругъ узнаемъ, что доносящій лѣсной сторожъ нуждается въ контролѣ и вдобавокъ въ строгомъ контролѣ. Онъ является не только человѣкомъ, но и лошадей, для которой шпоры и хлѣбъ — единственные возбудители совѣсти; пожизненное назначеніе, оказывается, не только не поощряетъ къ исполненію обязанностей, но, напротивъ того, оно совершенно парализуетъ чувство долга.

Мы видимъ, что своекорыстіе обладаетъ двойкою мѣрой и въсомъ для оцѣнки людей, двойкимъ міровоззрѣніемъ, двойкими очками, изъ которыхъ одни окрашиваютъ все въ черный цвѣтъ, другіе въ яркій. Когда нужно жертвовать другими людьми, когда дѣло идетъ о скрашиваніи сомнительныхъ средствъ, тогда своекорыстіе надѣваетъ розовые очки, черезъ которые его орудія и его средства представляются ему въ фантастическомъ сіяніи, тогда оно и себя и другихъ ублаживаетъ непрактичными и пріятными мечтаніями нѣжной и до-вѣрчивой души. Въ каждой складкѣ его лица сквозитъ смѣющееся добродушіе. Своекорыстіе до боли сжимаетъ руку своего противника, но оно жметъ ее съ чувствомъ довѣрія. Но дѣло принимаетъ совсѣмъ другой оборотъ, когда приходится думать о собственной выгодѣ, когда нужно за кулисами, гдѣ иллюзиі сцены исчезаютъ, испытать годность орудій и средствъ. Будучи строгимъ знатокомъ людей, своекорыстіе осторожно и недовѣрчиво надѣваетъ свои мудрые черные очки, очки практики. Подобно опытному лошадику, оно подвергаетъ людей долгому, весьма внимательному осмотру, и они кажутся ему такими маленькими, такими жалкими и грязными, какъ само своекорыстіе.

Мы не будемъ здѣсь вдаваться въ споръ съ міровоззрѣніемъ своекорыстія, но мы хотимъ заставитьъ его быть послѣдовательнымъ. Мы не хотимъ, чтобы оно монополизировало для себя всю практическую мудрость, оставляя для другихъ только одиѣ фантазіи. Мы любимъ софистическій духъ частнаго интереса на его собственныхъ выводахъ.

Если доносящій чиновникъ соответствуетъ вашей характеристикѣ, если онъ — человѣкъ, которому пожизненное назначеніе не только не придаетъ чувства независимости, увѣренности и достоинства въ исполненіи своихъ обязанностей, а напротивъ, отнимаетъ всякій стимулъ въ этомъ отношеніи, то можемъ ли мы ожидать безпристрастнаго отношенія къ обвиняемому со стороны этого человѣка, когда онъ станетъ безусловнымъ рабомъ вашего произвола? Если этого человѣка только шпоры побуждаютъ къ исполненію обязанностей, при чемъ вы сами занимаетесь припшпориваніемъ, то какая участь предстоитъ обвиняемому, который не носитъ шпоръ? Если даже вы не можете имѣть достаточно строгаго контроля надъ нимъ, то какъ же сможетъ контролировать его государство и преслѣдуемая сторона? Развѣ при смѣяемости должности, наоборотъ, не произойдетъ то, что вы связываете съ несмѣяемостью? «Если лѣсной сторожъ, утверждаетъ вы, съ грѣхомъ пополамъ будетъ исполнять свои обязанности, то у него всегда найдется достаточно оправданій для неприймѣнія къ нему § 56 объ увольненіи». Развѣ вы первые всѣ не возьмете его подъ свою защиту, развѣ только онъ исполняетъ одну половину своихъ обязанностей, а именно защиту вашихъ интересовъ?

Внезапное превращеніе наивнаго, безконечнаго довѣрія къ лѣсному сторожу въ ворчливое, критическое недовѣріе вскрываетъ передъ нами суть дѣла. Не лѣсному сторожу оказываете вы столь огромное

довѣріе, а самимъ себѣ, требуя, чтобы государство и порубщикъ вѣрили въ него, какъ въ догматъ.

Не служебное положеніе, не присяга, не совѣсть лѣсного сторожа стаповятся гарантіями обвиняемаго противъ васъ, пѣтъ, ваше чувство справедливости, ваша гуманность, ваше безкорыстіе, ваша умѣренность должны стать гарантіями обвиняемаго противъ лѣсного сторожа. Вашъ контроль составляетъ его послѣднюю и единственную гарантію. Въ туманномъ представленіи о вашемъ личномъ превосходствѣ, въ поэтическомъ самовосхищеніи вы предлагаете заинтересованной сторонѣ въ качествѣ средства защиты противъ вашихъ законовъ—ваши личности. Я сознаю, что не раздѣляю этого романческаго представленія о лѣсовладѣльцахъ. Я вообще не думаю, что личности должны служить гарантіями противъ законовъ, я, наоборотъ, думаю, что законы должны служить гарантіями противъ личностей. И развѣ самая смѣлая фантазія сумѣетъ вообразить себѣ, чтобы люди, которые въ высокой роли законодателей ни на одну минуту не могутъ возвыситься отъ узкаго, практически-низменнаго настроенія своскорыстія до теоретической высоты болѣе общихъ и объективныхъ точекъ зрѣнія, люди, которые уже при одной мысли о будущихъ потеряхъ дрожать, готовые ухватиться за что угодно въ защиту своихъ интересовъ, чтобы эти люди вдругъ стали философами передъ лицомъ дѣйствительной опасности? Никто, даже самый лучший законодатель не долженъ ставить свою личность выше созданнаго имъ закона. Никто не имѣетъ права декретировать самому себѣ вотумъ довѣрія, который связанъ съ послѣдствіями для третьихъ лицъ.

Слѣдующіе факты показываютъ, въ правѣ ли вы даже требовать, чтобы вамъ оказывали особенное довѣріе.

«Противъ § 87, — заявляетъ депутатъ отъ горожанъ, — онъ долженъ возражать, такъ какъ постановленія его вызовутъ лишь пространныя и совершенно безцѣльныя разслѣдованія, нарушающія принципъ свободы личности и свободы торговаго обмѣна. Нельзя же считать кого-либо преступникомъ и предполагать преступленіе, пока нѣтъ доказательства, что таковое на самомъ дѣлѣ было совершено». Другой депутатъ отъ горожанъ говоритъ, что этотъ параграфъ слѣдуетъ вычеркнуть, ибо постановленіе, въ силу котораго «всякій подозрѣвается въ кражѣ или храпеніи краденаго, самымъ грубымъ и оскорбительнымъ образомъ врывается въ жизнь гражданъ. Параграфъ 87 былъ принять.

Право, вы предъявляете слишкомъ большія требованія къ человеческой непослѣдовательности, полагая, что она должна принять за правило то недовѣріе—во вредъ себѣ, то довѣріе—для вашей пользы; вы хотите, чтобы она оцѣнивала свое довѣріе и недовѣріе сквозь очки вашего частнаго интереса и чувствовала сердцемъ вашего частнаго интереса.

Противъ пожизненнаго назначенія приводить еще одинъ доводъ, столь же позорный, сколь и нецѣльный.

«Свободной воли частных лиц не слѣдуетъ такъ сильно ограничивать; поэтому можно разрѣшать только смѣняемая должности».

Конечно, пріятная и неожиданныя новость, что человекъ обладаетъ свободной волей, которую нельзя всячески ограничивать. Изреченія, которыя мы до сихъ поръ слышали, походили на древній оракулъ въ Дидонѣ—въ томъ смыслѣ, что и тамъ и здѣсь роль нифія принадлежала дровамъ. Свободная воля, однако, не обладаетъ сословными особенностями. Какъ же должны мы понимать это внезапное матежное выступленіе идеологии, по отношенію къ идеямъ мы вѣдь ищемъ передать собою только послѣдователей Наполеона?

Воля тѣснителя требуетъ свободы расправляться съ порубщикомъ самымъ удобнымъ для нея, самымъ пріятнымъ и наименѣе дорогимъ образомъ. Эта воля желаетъ, чтобы государство предоставило ему злодѣя въ его полное распоряженіе. Она требуетъ *plein pouvoir*. Она борется не противъ ограниченія свободной воли, она борется противъ способа этого ограниченія, который настолько ограничиваетъ, что затрагиваетъ не только порубщика, но и владѣльца зѣса. Развѣ эта свободная воля не желаетъ многоихъ вельностей? Развѣ это не превосходная свободная воля? И развѣ это не неслыханное дѣло, что въ XIX столѣтіи осмѣливаются «въ такой степени» ограничивать свободную волю тѣхъ частныхъ лицъ, которыя издають законы? Это неслыханно.

Упрямого реформатора, свободную волю, тоже присоединяютъ къ компаніи тѣхъ основательныхъ мотивовъ, во главѣ которой стоитъ софистика интереса. Но эта свободная воля должна вести себя соответствующимъ образомъ, она должна быть осторожной, лояльной свободной волей, свободной волей, которая умѣетъ такъ устрояваться, чтобы ея сфера совпадала со сферой произвола нѣкоторыхъ привилегированныхъ частныхъ лицъ. Всего одинъ разъ ссылаются на свободную волю, и въ этотъ единственный разъ она является въ формѣ приземистаго частнаго лица, закидывающаго брезвнами духъ разумной воли. И чего въ самомъ дѣлѣ бродить здѣсь этому духу, гдѣ воля, какъ каторжникъ, прикована къ самымъ мелкимъ и эгоистичнымъ интересамъ?

Кульминаціонная точка этого разсужденія можетъ быть резюмирована въ слѣдующемъ замѣчаніи, которое ставитъ вверхъ ногами весь вопросъ: «Пусть въ королевскихъ зѣсахъ зѣвнчіе и охотники назначаются пожизненно, но примѣненіе подобнаго правила къ обшннамъ и частнымъ лицамъ вызываетъ серьезнѣйшее сомнѣніе». Какъ будто единственное сомнѣніе не вызывается какъ разъ тѣмъ обстоятельствомъ, что вмѣсто государственныхъ чиновниковъ дѣйствуютъ частныя служащіе! Какъ будто пожизненное назначеніе не направлено именно противъ сомнительнаго частнаго лица! Rien n'est plus terrible que la logique dans l'absurdité, т.-е. нѣтъ ничего болѣе ужаснаго, чѣмъ логика своекорыстія.

Эта логика, превращающая служащаго тѣснителя въ государ-

ственную власть, превращает государственную власть въ прислужниці лѣсовладѣльца. Весь строй государства, роль различныхъ административныхъ учреждений, — все должно выйти изъ своихъ рамокъ для того, чтобы все опустилось до роли орудія лѣсовладѣльца; его интересъ долженъ стать опредѣляющей душой всего механизма. Все органы государства становятся ушами, глазами, руками, ногами, посредствомъ которыхъ интересъ лѣсовладѣльца слышится, подстерегается, оцѣпивается, охраняется, хватается, бѣжитъ.

Къ § 62 комиссія предлагаетъ добавить требованіе, чтобы неплатежеспособность порубщика удостоверялась сборщикомъ податей, бургомистромъ и двумя представителями общины, составляющей мѣсто жительства порубщика. Одинъ депутатъ сельскихъ общинъ находить, что прибѣганіе для этой цѣли къ сборщику податей противорѣчитъ существующему законодательству. Понятно, что это противорѣчіе не принимается въ соображеніе.

Къ § 20 комиссія предложила: «Въ Рейнской провинціи законному лѣсовладѣльцу должно быть предоставлено право передавать мѣстной власти преступниковъ для исполненія штрафныхъ работъ съ тѣмъ, чтобы ихъ рабочіе дни засчитывались лѣсовладѣльцу въ счетъ той коммунальной дорожной повинности, которую онъ обязанъ нести въ общинѣ».

Противъ этого было замѣчено, «что бургомистры не могутъ служить въ роли экзекуторовъ по отношенію къ отдѣльнымъ членамъ общины, и что работы притворенныхъ къ наказанію не могутъ замѣнять тѣхъ услугъ, которыя должны исполняться платными поденщиками или слугами».

Докладчикъ замѣчаетъ: «Хотя для господъ бургомистровъ и обременительно принуждать къ работѣ лѣпивыхъ и упорныхъ порубщиковъ, но все же обязанность этихъ чиновниковъ — вернуть на путь долга непослушныхъ и злонамѣренныхъ преступниковъ, и развѣ это не благородный поступокъ вернуть преступника съ ложнаго пути на путь истины? У кого въ деревнѣ для этого больше средствъ, чѣмъ въ рукахъ у господъ бургомистровъ?»

И столько Рейнска передъ ними капючили, такимъ притворился печальнымъ,

Что и точно иной добрякъ ощутилъ состраданье.
Взявъ косою, наприхвѣрь, глубоко былъ тронуть ¹⁾.

Ландтагъ принялъ предложеніе.

Добрый бургомистръ долженъ взять на себя бремя и сдѣлать доброе дѣло, чтобы лѣсовладѣлецъ могъ безъ всякихъ издержекъ выполнить свои обязанности по отношенію къ общинѣ. Съ тѣмъ же правомъ лѣсовладѣлецъ могъ бы воспользоваться бургомистромъ какъ оберъ-поваромъ или оберъ-кельнеромъ. Развѣ это не прекрасное дѣло,

¹⁾ Собр. соч. Гёте въ переводѣ русскихъ писателей. Второе изд. подъ ред. П. Вейнберга, т. III, стр. 409.

если бургомистръ содержитъ въ порядкѣ кухню и погребъ подвластныхъ ему? Осужденный преступникъ не подвластенъ бургомистру, онъ подвластенъ смотрителю тюрьмы. Развѣ бургомистръ не расточаетъ понапрасну силы и не роняетъ своего положенія, если онъ изъ представителя общины превращается въ эскутора отдѣльныхъ членовъ общины, если онъ изъ бургомистра превращается въ вахмистра? развѣ это не оскорбляетъ другихъ свободныхъ членовъ общины, если ихъ честный трудъ на общую пользу принижаютъ до роли штрафной Работы въ пользу отдѣльныхъ личностей?

* * *

Впрочемъ, совершенно излишне вскрывать эти софизмы. Господинъ докладчикъ будетъ столь добръ, что самъ скажетъ намъ, какъ мудрые люди относятся къ гуманнымъ фразамъ. Лѣсовладѣлецъ въ его докладѣ слѣдующимъ образомъ отзывается о гуманномъ землевладѣльцѣ: «Если у помѣщика съ поля будетъ украдепъ хлѣбъ, то воръ можетъ сказать: у меня нѣтъ хлѣба, поэтому я беру нѣсколько колосьевъ съ принадлежащаго вамъ большого участка, какъ крадущій лѣсъ говоритъ: у меня нѣтъ дровъ для топлива, и потому я краду лѣсъ. Помѣщика защищаетъ статья 444 уголовного кодекса, опредѣляющая отъ 2 до 5 лѣтъ тюремнаго заключенія за самовольный увозъ хлѣба съ поля. Такой сплшной защиты лѣсовладѣлецъ не имѣетъ».

Въ этомъ послѣднемъ завистливомъ восклицаніи лѣсовладѣльца лежатъ цѣлый символъ вѣры. Эй, землевладѣлецъ, почему ты такъ великодушенъ, когда дѣло идетъ о моемъ интересѣ? Потому что о твоёмъ интересѣ уже позаботились. Итакъ, никакихъ ялюзій! Великодушіе либо ничего не стоитъ, либо оно что-нибудь приноситъ. Итакъ, землевладѣлецъ, ты не обманешь лѣсовладѣльца! А ты, лѣсовладѣлецъ, не обманывай бургомистра!

Такое интермеццо могло бы доказать, какъ мало смысла могутъ имѣть въ нашихъ дебатахъ «благородные поступки», если бы вообще эти дебаты не доказывали, что нравственные и гуманные мотивы выставляются здѣсь просто какъ фразы. Но интересъ скупъ даже на фразы. Онъ изобрѣтаетъ ихъ лишь тогда, когда это нужно, когда это ведетъ за собой выгодныя послѣдствія. Тогда онъ становится краснорѣчивымъ, кровь обращается въ его жилахъ быстрѣе, онъ договаривается даже до благородныхъ поступковъ, которые ему выгодны, а другимъ убыточны, до льстивыхъ словъ, до вкрадчивыхъ комплементовъ, и все это продѣлывается только для того, чтобы сдѣлать порубщика болѣе цѣпной величиной для лѣсовладѣльца, чтобы сдѣлать его болѣе прибыльнымъ порубщикомъ, чтобы имѣть возможность выгоднѣе помѣстить капиталъ, ибо порубщикъ лѣса сталъ капиталомъ для лѣсовладѣльца. Рѣчь идетъ не о томъ, чтобы злоупотреблять бургомистромъ въ пользу порубщика, а о томъ, чтобы злоупотреблять имъ въ пользу

лѣсовладѣльца. Какая удивительная судьба, какой поразительный фактъ, что въ тѣ рѣдкіе моменты, когда хотя бы вскользь вспоминаютъ о проблематическомъ благѣ преступника, въ эти моменты господину лѣсовладѣльцу гарантируется безусловное благо.

Еще одинъ примѣръ этихъ гуманныхъ эпизодическихъ пунктовъ!

Докладчикъ: «Французскій законъ не знаетъ замѣны тюремнаго заключенія работой въ лѣсу, но онъ, докладчикъ, считаетъ послѣднюю разумной и благотвѣльной, ибо содержаніе въ тюрьмѣ не всегда ведетъ къ исправленію, а, наоборотъ, очень часто портить».

Раньше, когда невинныхъ дѣлали преступниками, и городской депутатъ въ интересахъ собирающихъ валежникъ замѣтилъ, что въ тюрьмахъ они сталкиваются съ профессиональными ворами, тогда тюрьмы были хороши. Теперь вдругъ исправительныя заведенія превратились въ развращающія заведенія, ибо въ данный моментъ для интересовъ лѣсовладѣльца полезно, чтобы тюрьмы портили. Подъ исправленіемъ преступниковъ понимаютъ исправленіе процентовъ, приносить которые составляетъ призваніе преступниковъ.

Интересъ не имѣетъ памяти, ибо онъ думаетъ только о себѣ. Единственнаго, что для него важно, — собственной выгоды — онъ не забываетъ.

До противорѣчій ему нѣтъ дѣла, ибо съ самимъ собою онъ не впадаетъ въ противорѣчія. Онъ постоянный импровизаторъ, у него нѣтъ системы, но есть средство.

Въ то время, какъ гуманные правовые мотивы дѣлаютъ лишь то

*Ce qu'en bal nous autres sots humains,
Nous appelons faire tapisserie,*

средство являются самыми дѣятельными факторами въ резонирующемъ механизмѣ интереса. Между этими средствами мы замѣчаемъ два, которыя постоянно возвращаются въ этихъ дебатахъ и составляютъ основныя категоріи: во-1-хъ, «благіе мотивы» и, во-2-хъ, «вредныя послѣдствія». Мы видимъ то докладчика комиссін, то члена ландтага, защищающихъ всякое двусмысленное положеніе отъ стрѣлъ противорѣчій путемъ испытанныхъ, разумныхъ и благихъ мотивовъ. Мы видимъ, съ другой стороны, что всякій выводъ, вытекающій изъ основъ права, отклоняется указаніемъ на вредныя или опасныя послѣдствія. Остановимся на одну минуту на этихъ всеобъемлющихъ средствахъ, этихъ средствахъ *par excellence*, этихъ средствахъ, годныхъ для всего и еще кой-чего.

Интересъ умѣетъ очернить право перспективой вредныхъ послѣдствій отъ его вліянія на вѣдшій міръ; но онъ умѣетъ, съ другой стороны, облить несправедливость благими мотивами, т.-е. ссылкой на свой внутренній духовный міръ. Право имѣетъ дурныя послѣдствія во вѣдшемъ мірѣ среди дурныхъ людей, несправедливость имѣетъ благіе мотивы въ груди порядочнаго человѣка, который ее декретируетъ. Но и тѣ, и другіе, т.-е. и благіе мотивы, и вредныя послѣд-

ствія, раздѣляютъ ту особенность, что они разсматриваютъ вещь не какъ таковую, разсматриваютъ право не какъ самостоятельный предметъ, но исходить отъ права либо къ вѣдшему міру, либо къ собственному разуму, что они, такимъ образомъ, дѣйствуютъ за сппной права.

Что такое вредныя послѣдствія? Все наше изложеніе показываетъ, что подъ этимъ, конечно, не слѣдуетъ понимать вредныя послѣдствія для государства, закона, обвиняемаго. Въ дальнѣйшемъ мы въ нѣсколькихъ штрихахъ ясно докажемъ, что, подъ вредными послѣдствіями не слѣдуетъ также понимать вредныя послѣдствія для безопасности гражданъ.

Мы уже слышали отъ самихъ членовъ ландтага, что постановленію, «въ силу котораго каждый долженъ указать, гдѣ онъ взялъ свои дрова», грубо и оскорбительно врывастся въ жизнь гражданъ и отдасть каждому гражданина на произволъ безцеремонныхъ придирокъ. Другое постановленіе объявляетъ воровъ каждого, у кого окажутся на хранилищѣ краденныя дрова, хотя депутатъ объясняетъ: «Это можетъ быть опаснымъ для иного честнаго человѣка. Но сосѣдству съ нимъ кому-то во дворъ сбросили краденныя дрова, и невиннаго привлекли къ отвѣтственности».

§ 66 осуждаетъ каждого гражданина, покупающаго не монополизированный вѣнникъ, къ заключенію въ смиригельномъ домѣ срокомъ отъ 4 недѣль до 2 лѣтъ.

Депутатъ отъ горожанъ по этому поводу дѣлаетъ слѣдующее замѣчаніе: «Этотъ параграфъ угрожаетъ всемъ поголовно жителямъ округовъ Эльберфельдъ, Ленпенъ и Зоннигенъ тюремнымъ заключеніемъ». Наконецъ, надзоръ и функции охотничьей и лѣсной полиціи превращены какъ въ право, такъ и въ обязанность поиска, несмотря на то, что статья 9 уголовного судопроизводства признаетъ только тѣхъ чиновниковъ, которые находятся подъ присмотромъ государственныхъ прокуроровъ, т.-е. могутъ быть преслѣдуемы непосредственно ими, между тѣмъ какъ военные ограждены отъ этого. Это угрожаетъ какъ независимости судовъ, такъ и свободѣ и безопасности гражданъ.

Речь идетъ, слѣдовательно, далеко не о вредныхъ послѣдствіяхъ для гражданской свободы, наоборотъ, гражданская свобода сама разсматривается какъ обстоятельство, имѣющее вредныя послѣдствія.

Что же такое вредныя послѣдствія? Вредно то, что вредно интересу лѣсовладѣльца. Если, поэтому, послѣдствія права невыгодны ему, то это—вредныя послѣдствія. Въ данномъ случаѣ интересъ проникатель. Если онъ раньше не видѣлъ того, что видно простымъ глазомъ, то теперь онъ видитъ даже то, что можно видѣть только съ помощью микроскопа. Весь міръ для него сучекъ въ глазу, міръ опасностей, именно потому, что онъ является не міромъ одного интереса, а міромъ многихъ интересовъ. Частный интересъ смотритъ на себя какъ на конечную цѣль міра. Если, слѣдовательно, право не реализуетъ этой конечной цѣли, то это право нецѣлесообразно.

Право, вредное для частнаго интереса, есть, слѣдовательно, право съ вредными послѣдствіями.

Но можетъ быть благіе мотивы лучше вредныхъ послѣдствій?

Интересъ не думаетъ, онъ считаетъ. Мотивы—его числа. Мотивъ есть побудительная причина для уничтоженія правовыхъ основаній; а кто же можетъ сомнѣваться въ томъ, что у частнаго интереса найдется для этого много побудительныхъ причинъ? Достоинство мотива состоитъ въ той гибкости, которая позволяетъ скрыть объективное фактическое положеніе и ублажать себя и другихъ иллюзіей, будто не надо думать о хорошемъ дѣлѣ, а достаточно въ дурномъ дѣлѣ имѣть хорошия мысли.

Продолжая опять прерванную нить, мы прежде всего приведемъ кое-что въ pendant къ рекомендованнымъ бургомистру благороднымъ поступкамъ.

«Комиссія предложила измѣнить § 34 слѣдующимъ образомъ: если появленіе протоколирующаго лѣснаго сторожа вызвано обвиняемымъ, то послѣдній долженъ внести въ лѣсной судъ сполна все издержки на сей предметъ впередъ».

Государство и судъ не должны ничего дѣлать безвозмездно въ интересахъ обвиняемаго. Имъ слѣдуетъ заплатить впередъ, что, конечно, заранѣе чрезвычайно затрудняетъ очную ставку между допосащимъ стражникомъ и обвиняемымъ.

Благородный поступокъ! Только олимпъ единственный благородный поступокъ! Поль-дартства за одинъ благородный поступокъ! Но этотъ единственный благородный поступокъ, указанный въ законопроектѣ, бургомистръ долженъ совершить въ пользу лѣсовладѣльца. Бургомистръ до известной степени носитель благородныхъ поступковъ, онъ — воплощеніе прекрасныхъ поступковъ; но, къ сожалѣнію, послѣдніе до дна исчерпаны той тяжестью, которую возложили на бургомистра.

Если бургомистръ для блага государства и во имя моральнаго благополучія преступника долженъ дѣлать больше, чѣмъ онъ обязанъ, то не должны ли были бы госнода лѣсовладѣльцы во имя тѣхъ же благъ требовать меньше, чѣмъ это въ ихъ интересахъ?

Можно было бы думать, что отвѣтъ на этотъ вопросъ данъ уже въ разобранной до сихъ поръ части дебатовъ, но это ошибка. Перейдемъ къ уста овленнымъ наказаніямъ.

«Депутатъ отъ дворянства все еще не считаетъ достаточнымъ вознагражденіемъ, если лѣсовладѣлецъ получаетъ даже штрафъ въ деньги, сверхъ возврата простой стоимости, такъ какъ ихъ не всегда можно будетъ взыскать».

Депутатъ отъ горожанъ замѣчаетъ: «Постановленія этого параграфа (§ 15) могутъ вести къ самымъ серьезнымъ послѣдствіямъ. Лѣсовладѣлецъ такимъ образомъ получаетъ тройное вознагражденіе, а именно: во 1-хъ, стоимость, во 2-хъ, учетверенный, умноженный и даже увосьмеренный штрафъ, наконецъ, особое вознагражденіе за убытки, которое часто устанавливается совершенно произвольно и больше

является результатом фикции, чѣмъ дѣйствительности. Во всякомъ случаѣ ему кажется необходимымъ постановить, чтобы требованіе этого спорнаго особаго вознагражденія предъявлялось немедленно на судѣ и чтобы оно опредѣлялось по приговору суда. Само собою разумѣется, что доказательства объ убыткахъ должны быть представлены особо, а не основываться на одномъ только протоколѣ». По поводу этого возраженія докладчикъ и еще другой членъ объяснили, какія путемъ въ отдѣльныхъ указанныхъ ими случаяхъ получается упомянутая здѣсь добавочная стоимость. Параграфъ былъ принятъ.

Преступленіе превращается въ потерю, которая даетъ лѣсовладѣльцу, если счастье ему благоприятствуетъ, выкурыши. Онъ можетъ получить добавочную стоимость, но если даже онъ получитъ лишь дѣйствительную стоимость похищеннаго, онъ, благодаря 4-хъ, 6-ти и 8-кратному штрафу, сдѣлаетъ прекрасное дѣльце. Но когда онъ получаетъ, кромѣ обыкновенной стоимости, еще особое вознагражденіе за убытки, то штрафъ является во всякомъ случаѣ чистымъ барышомъ. Если членъ дворянскаго сословія думаетъ, что причитающіяся штрафныя деньги не представляютъ достаточныхъ гарантій, потому что часто ихъ нельзя взыскать, то вѣдь взысканіе ихъ отнюдь не облегчается отъ того, что кромѣ нихъ будетъ еще причитаться стоимость и вознагражденіе за убытки. Мы, впрочемъ, увидимъ, какъ предполагается помѣшать этой недокмочности обвиняемаго.

Могъ ли бы лѣсовладѣлецъ лучше застраховать свой лѣсъ, чѣмъ съ помощью этого превращенія преступленія въ ренту? Какъ искусный полководецъ, онъ превращаетъ атаку, направленную на него, въ вѣрный источникъ богатаго дохода, ибо даже повышенная оцѣнка лѣса, экономическая мечта, благодаря кражѣ превращается въ реальность. Лѣсовладѣльцу долженъ быть гарантированъ не только его лѣсъ, но и его лѣсная торговля, а онъ выражаетъ свое небезвыгодное довѣріе государству, этому приказчику своему, тѣмъ, что не оплачиваетъ его услугъ. Превратить наказаніе за преступленіе изъ побѣды права надъ покушеніемъ на право — въ побѣду своекорыстія надъ покушеніемъ на своекорыстіе—это замѣчательная выдумка.

Но мы обращаемъ особенное вниманіе нашихъ читателей на постановленіе § 14, постановленіе, въ виду котораго нужно оставить привычку считать *leges barbarorum* законами варваровъ. Наказаніе, которое, какъ возстановленіе права, слѣдуетъ отличать отъ вознагражденія стоимости и вознагражденія за убытки, возстановленія частной собственности, превращается изъ публичнаго наказанія въ частную сдѣлку; штрафныя деньги идутъ не въ государственную кассу, а въ частную кассу лѣсовладѣльца.

Одинъ депутатъ отъ горожанъ, правда, заявляетъ: «это противорѣчить достоинству государства и принципамъ хорошаго уголовного судопроизводства», но депутатъ отъ дворянства апеллируетъ, во имя защиты интересовъ лѣсовладѣльцевъ, къ чувству справедливости собранія, т.-е. апеллируетъ къ особому чувству справедливости.

Варварскіе народы заставляют потерпѣвшаго платить за опредѣленное преступленіе опредѣленный выкупъ. Идея публичнаго наказанія явилась только въ противовѣсъ тому взгляду, который въ преступленіи видитъ только нарушеніе правъ отдѣльной личности, но надо еще открыть такой народъ и такую теорію, которые были бы такъ милы, чтобы предоставить личности право и на частное и на государственное наказаніе.

Полнѣйшее *quid pro quo*, вѣроятно, ввело въ заблужденіе земскія сословія. Имѣющій законодательную власть лѣсовладѣлецъ на одиакъ моментъ перепуталъ лицъ: себя, какъ законодателя, и себя, какъ лѣсовладѣльца. Одинъ разъ онъ заставилъ заплатить себя за лѣсъ въ качествѣ лѣсовладѣльца, а во второй разъ въ качествѣ законодателя онъ заставилъ заплатить себя за преступныя убѣжденія вора, причемъ случайно сложилось такъ, что оба раза получалъ мзду лѣсовладѣлецъ. Мы такимъ образомъ не имѣемъ предъ собою простого *droit des seigneurs*. Черезъ эпоху публичнаго права мы пришли къ эпохѣ удвоеннаго патримоніальнаго права. Патримоніальные владѣльцы пользуются прогрессомъ времени, отвергающимъ ихъ требованія, чтобы узурпировать какъ частное наказаніе варварскаго міровоззрѣнія, такъ и общественное наказаніе современнаго міровоззрѣнія.

Благодаря возмѣщенію стоимости и особому еще вознагражденію за убытки, не существуетъ больше отношенія между лѣснымъ воромъ и лѣсовладѣльцемъ, ибо нарушеніе лѣсныхъ правилъ совершенно устранено. Оба, и воръ и собственникъ, вернулись къ своему прежнему состоянію. Интересы лѣсовладѣльца при кражѣ лѣса затронуты лишь настолько, насколько пострадалъ лѣсъ, но не насколько нарушено право. Только чувственная сторона преступника затрагиваетъ его интересы, преступная же сущность дѣйствія заключается не въ посягательствѣ на матеріальное дерево, а въ посягательствѣ на государственннй нервъ дерева, на право собственности, какъ таковое, т.-е. въ осуществленіи противозаконнаго намѣренія. Развѣ лѣсовладѣлецъ имѣетъ частныя притязанія на правовыя взгляды вора, а что же означаетъ увеличеніе наказанія при повтореніи преступленія, какъ не наказаніе за преступныя взгляды? Развѣ лѣсовладѣлецъ можетъ имѣть частныя требованія тамъ, гдѣ у него нѣтъ права на такія требованія? Олицетворялъ ли собою лѣсовладѣлецъ до кражи лѣса государство? Нѣтъ, но онъ его олицетворяетъ послѣ кражи лѣса. Лѣсъ обладаетъ удивительнымъ свойствомъ: стоитъ лишь его украсть, и его владѣлецъ сейчасъ же пріобрѣтаетъ государственныя свойства, которыми онъ прежде не обладалъ. Лѣсовладѣлецъ можетъ вѣдь получить обратно лишь то, что у него было отнято. Если ему возвращаютъ государство, а ему его возвращаютъ, развѣ онъ кромѣ частнаго права пріобрѣтаетъ и государственное право по отношенію къ вору, — то, повидимому, и государство было похищено у него, т.-е. оно, очевидно, составляло его частную собственность. Похититель лѣса,

словно второй Христофоръ, уносить на своей спиѣ не только украденныя бревна, но и самое государство.

Публичное наказаніе есть нѣкоторое соглашеніе между преступленіемъ и государственнымъ разумомъ, оно поэтому есть право государства, но такое право, которое государство такъ же не можетъ передать частнымъ лицамъ, какъ не можетъ одинъ человекъ уступить другому свою совѣсть. Всякое право государства по отношенію къ преступнику есть выѣстъ съ тѣмъ государственное право преступника. Его отношеніе къ государству не можетъ быть превращено въ отношеніе къ частнымъ лицамъ путемъ введенія промежуточныхъ звеньевъ. Если даже разрѣшить государству отказаться отъ его правъ, т.-е. разрѣшить ему самоубійство, то все же отказъ отъ его обязанностей былъ бы не только попустительствомъ, но и преступленіемъ.

Лѣсовладѣлецъ, слѣдовательно, такъ же не можетъ получить отъ государства частнаго права на публичное наказаніе, какъ само оно не имѣетъ никакого права на такую передачу. Но если я, за неимѣніемъ законныхъ притязаній, превращаю въ самостоятельный источникъ дохода преступное дѣяніе третьяго лица, то развѣ я этимъ самымъ не становлюсь его сообщникомъ? Или я въ меньшей степени его сообщникъ только потому, что на его долю выпадаетъ наказаніе, а на мою — пріятные плоды преступленія? Вина не меньше отъ того, что частное лицо злоупотребливаетъ своимъ правомъ законодателя, чтобы присвоивать себѣ самому государственныя права, благодаря преступленію третьихъ лицъ. Растрата казенныхъ денегъ есть государственное преступленіе, а развѣ штрафныя деньги не представляютъ собою казенныхъ денегъ?

Воръ укралъ у лѣсовладѣльца лѣсъ, но лѣсовладѣлецъ воспользовался воровъ для того, чтобы украсть само государство. Насколько это буквально вѣрно, доказываетъ § 19, въ которомъ не останавливаются на денежномъ штрафтѣ, но предъявляютъ претензіи и на жизнь обвиняемаго. § 19 отдастъ порубщика цѣликомъ въ руки лѣсовладѣльца благодаря лѣсной работѣ, которую онъ обязанъ для него исполнить, что, по мнѣнію одного депутата отъ горожанъ, «можетъ повести къ большимъ неудобствамъ. Онъ только обращаетъ вниманіе на опасность этого способа наказанія, когда дѣло касается лицъ другого пола»

Депутатъ отъ дворянства даетъ знаменательный отвѣтъ: «что хотя необходимо и цѣлесообразно при обсужденіи законопроекта заранѣе разобрать и установить его принципы, но разъ это уже сдѣлано, то не слѣдуетъ при обсужденіи каждаго отдѣльнаго параграфа снова возвращаться къ этимъ принципамъ. Послѣ этого параграфъ принимается безъ возраженій».

Стоитъ только не стѣсняться и положить въ основаніе разсужденій дурныя принципы и можно получить вѣрное юридическое оправданіе для дурныхъ выводовъ. Вы, правда, могли бы подумать, что негодность принципа проявляется въ ненормальности его послѣдствій,

но, если у васъ есть свѣтское образованіе, то вы убѣдитесь, что умный исползуетъ до послѣдней возможности то, что ему однажды удалось провести. Намъ только удивляетъ, что лѣсовладѣлецъ не имѣетъ права топить своей печки порубщиками лѣса. Такъ какъ вопросъ вертится не вокругъ права, а вокругъ принциповъ, изъ которыхъ ландтагу вздумалось нехотить, то противъ подобнаго вывода не было бы абсолютно никакихъ возраженій.

Въ прямомъ противорѣчій съ только что установленнымъ догматомъ бѣглый ретроспективный взглядъ покажетъ намъ, какъ было бы необходимо при каждомъ параграфѣ сызнова обсуждать принципы; благодаря вотированію съ виду не связанныхъ между собой и находящихся на далекомъ разстояніи другъ отъ друга параграфовъ, удавалось незамѣтно проводить одно постановленіе за другимъ и, проведши одно, отбрасывать въ дальѣйшемъ даже *видимость* того условія, при которомъ первое только и могло быть принято.

* * *

Когда при § 4 рѣчь шла о предоставленіи доносящему стражнику права оцѣнки, одинъ городской депутатъ замѣтилъ: «Если не будетъ принято предложеніе, чтобы штрафныя деньги поступали въ государственную кассу, то разбираемое постановленіе будетъ вдвойнѣ опасно». И очевидно, что у лѣсничаго меньше мотивовъ для повышенія оцѣнки, когда онъ оцѣниваетъ въ интересахъ государства, а не того, у кого онъ служить. Но лѣсовладѣльцы были настолько осторожны, что не обсуждали этого пункта, сдѣлавъ видъ, будто можно отбросить § 14, который предоставляетъ штрафныя деньги лѣсовладѣльцу. Такимъ образомъ былъ проведенъ § 4. Послѣ вотированія 10 параграфовъ очередь, наконецъ, доходить до § 14, благодаря которому § 4 пріобрѣтаетъ новый и опасный смыслъ. Но эта связь совершенно игнорируется, § 14 принимается, и штрафныя деньги поступаютъ въ частную кассу лѣсовладѣльца. Главная и единственная причина, приводимая въ пользу этого, это интересъ лѣсовладѣльца, который будто бы не въ достаточной мѣрѣ обезпечивается вознагражденіемъ одной только стоимости похищеннаго. Но въ § 15 опять-таки забываютъ, что штрафныя деньги были вотированы въ пользу лѣсовладѣльца, и чекретируютъ въ его пользу кромѣ простой стоимости еще особое вознагражденіе за убытки на томъ основаніи, что онъ могъ бы получить прибыль, какъ будто онъ ея не получилъ уже благодаря штрафнымъ деньгамъ. Было даже еще замѣчено, что штрафныя деньги не всегда могутъ быть взысканы. Сдѣлали видъ, будто только по отношенію къ деньгамъ хотятъ запятъ мѣсто государства, но въ § 19 маска сброшена, и они присваиваютъ себѣ не только деньги, но и самого преступника, не только кошелекъ чловѣка, но и самого чловѣка.

Въ этомъ мѣстѣ рѣзко, обнаженно и съ вполнѣ сознательной опре-

дѣленностью выступаетъ методъ обмана, такъ какъ онъ уже не считаетъ нужнымъ прикрывать себя принципомъ.

Простая стойкость и вознагражденіе за убытки давали, очевидно, лѣсовладѣльцу только право предъявленія частнаго иска къ порубщику, для реализаціи котораго къ его услугамъ имѣется гражданскій судъ. Если порубщикъ не можетъ платить, то лѣсовладѣлецъ находится въ положеніи частнаго человѣка, имѣющаго неплатежеспособнаго должника, что, однако, не даетъ кредитору права на принудительный трудъ, барщину, однимъ словомъ, на временное крѣпостное состояніе должника. Что же даетъ лѣсовладѣльцу право на эту? Штрафныя деньги! Присвоивъ себѣ штрафныя деньги, лѣсовладѣлецъ, какъ мы видѣли, присвоилъ себѣ, кромѣ своего частнаго права, еще и государственное право на порубщика и занялъ самъ мѣсто государства. Но выговоривъ себѣ штрафныя деньги, онъ благоразумно скрылъ, что онъ выговорилъ себѣ и самое право наказанія. Раньше онъ говорилъ о денежной пенѣ лишь какъ о простыхъ деньгахъ, теперь же онъ ссылается на нее какъ на наказаніе, онъ теперь съ торжествомъ признаетъ, что онъ посредствомъ пени превратилъ въ свою частную собственность публичное право. вмѣсто того, чтобы отступить передъ этимъ столь же преступнымъ, какъ и возмутительнымъ выводомъ, пользуются имъ именно потому, что это выводъ. Если здравый человѣческій смыслъ утверждаетъ, что передача одного гражданина другому въ качествѣ временнаго крѣпостного противорѣчитъ всякому праву, то заявляютъ, пожимая плечами, что принципы уже рассмотрѣны, несмотря на то, что не было ни принципа, ни разбора его. Такимъ путемъ лѣсовладѣлецъ посредствомъ штрафныхъ денегъ уловляетъ личность порубщика. § 19 обнаруживаетъ только двусмысленность § 14.

Мы видимъ такимъ образомъ, что § 4 долженъ былъ бы стать невозможнымъ черезъ § 14, § 14 черезъ § 15, § 15 черезъ § 19, а § 19 просто невозможенъ и долженъ былъ бы сдѣлать невозможнымъ весь принципъ штрафовъ, именно потому, что въ немъ проявляется вся негодность самого принципа.

Нельзя болѣе искусно проводить принципъ *divide et impera*. При предыдущемъ параграфѣ не думаютъ о слѣдующемъ, а при слѣдующемъ забываютъ о предыдущемъ. Одинъ уже обсуждался, другой еще не обсуждался, поэтому оба въ силу прямо-противоположныхъ основаній не нуждаются ни въ какомъ обсужденіи. Но признаннымъ принципомъ является «чувство права и справедливости къ охраненію интересовъ лѣсовладѣльца», которое прямо противоположно чувству справедливости въ охраненіи интересовъ жизни, свободы, чело-вѣчности, государства, всего, что не имѣетъ другого достоинства, кромѣ самого себя.

Вотъ какъ далеко мы зашли.—Лѣсовладѣлецъ вмѣсто бревенъ получаетъ человѣка.

Шейлокъ. Ученѣйшій изъ судей! Рѣшено, 'приготовься же.

Порція. Повремени немного, еще не все: въ обязательствѣ вполнѣ опредѣленно сказано: фунтъ мяса, — по это не даетъ тебѣ права пролить ни одной капли крови. Сказано—фунтъ мяса, такъ и бери его согласно обязательству; бери свой фунтъ, но если, вырѣзывая его, ты прольешь хоть одну каплю христіанской крови, — и твои земли, и все твое имущество будетъ взято въ пользу республики.

Граціано. О, правосуднѣйшій судья,—замѣть это, жидъ,—о, ученѣйшій судья!

Шейлокъ. Развѣ законъ это говоритъ?

Порція. Можешь взглянуть самъ ¹⁾).

Заглянемъ и мы!

На чемъ основываете вы свое притязаніе на крѣпостное владѣніе порубщикомъ? На штрафныхъ деньгахъ. Мы показали, что вы не имѣете права на пеню. Но обойдемъ это. Не будемъ обращать на это вниманія. Въ чемъ состоитъ вашъ основной принципъ? Чтобы былъ обезпеченъ интересъ лѣсовладѣльца, хотя бы отъ этого погибъ міръ права и свободы. Для васъ неопровержимо, что порубщикъ какимъ-нибудь способомъ долженъ возмѣститъ вашъ убытокъ. Это твердое бревенчатое основаніе вашего разсужденія такъ гнило, что оно разсыпается въ прахъ предъ критикой здраваго смысла.

Государство можетъ и должно сказать: я гарантирую право отъ всякихъ случайностей. Одно только право во мнѣ безсмертно, и потому я вамъ доказываю смертность преступленія, уничтожая его. Но государство не можетъ и не должно говорить: частный интересъ, опредѣленное существованіе собственности, лѣсное помѣстье, дерево, сучокъ (а въ сравненіи съ государствомъ самое большое дерево не болѣе, чѣмъ сучокъ), гарантированы отъ всѣхъ случайностей, безсмертны. Государство не можетъ идти противъ природы вещей, оно не можетъ оградить конечное отъ условій конечнаго, отъ случайности. Насколько мало государство можетъ гарантировать вашу собственность отъ случайности преступленія, настолько же мало преступленіе можетъ превратить неустойчивую природу вашей собственности въ ея противоположность. Во всякомъ случаѣ, государство обезпечитъ вашъ частный интересъ, поскольку онъ можетъ быть обезпеченъ разумными законами и разумными предупредительными мѣрами, но государство не можетъ вашего частнаго иска удовлетворить другимъ правомъ, чѣмъ правомъ вообще всѣхъ частныхъ исковъ, путемъ гражданскаго судопроизводства. Если такимъ путемъ вы, вслѣдствіе несостоятельности преступника, не можете получить вознагражденіе, то отсюда только слѣдуетъ, что всякій законный путь къ вознагражденію исчезъ. Міръ отъ этого не погибнетъ, государство не оставитъ свѣтлаго пути справедливости, вы же узнаете непостоянство всего земнаго, приобретете опытъ, который едва ли представитъ пикантную новость для вашей глубокой религіозности, или болѣе

¹⁾ Полное собр. соч. Шекспира, т. I, стр. 671. Пер. Капшана. Изд. Иогансона, Кіевъ, 1902 г.

удивить васъ, чѣмъ буря, пожаръ и дихорадка. Если бы государство захотѣло сдѣлать преступника вашимъ временнымъ крѣпостнымъ, то оно пожертвовало бы безсмертіемъ права вашему переходящему частному интересу. Оно доказало бы этимъ преступнику смертность права, между тѣмъ какъ оно обязано на наказаніи показать ему его безсмертіе.

Когда во времена короля Филиппа Антверпенъ легко могъ задержать испалцевъ, затопивъ свою территорію, то цехъ мясниковъ не согласился на это, потому что у нихъ пасся на лугахъ тучный скотъ. Вы требуете, чтобы государство отказалось отъ своей духовной территоріи, лишь бы отомстить за ваши бревна.

Мы должны привести еще нѣсколько второстепенныхъ постановленийъ § 19. Депутатъ отъ городского сословія замѣчаетъ: «По дѣйствующему до сихъ поръ законодательству 8 дней заключенія считаются равными денежному штрафу въ 5 талеровъ. Нѣтъ достаточнаго повода отступать отъ этого» (а именно: назначить вмѣсто 8 дней 14). Комиссія предложила слѣдующее добавленіе къ этому параграфу: «ли въ какомъ случаѣ тюремное заключеніе не должно продолжаться меньше 24 часовъ». Когда было замѣчено, что этотъ минимумъ слишкомъ великъ, то депутатъ отъ дворянскаго сословія, наоборотъ, замѣтилъ, «что во французскомъ дѣсномъ законодательствѣ нѣтъ меньшей мѣры наказанія, чѣмъ 3 дня».

Одинъ разъ вопреки французскому закону пеню въ 5 талеровъ замѣняютъ, вмѣсто 8 дней заключенія, 14 днями; въ другой разъ изъ благоговѣнія къ тому же закону не хотятъ замѣны 3 дней 24 часами заключенія.

Вышеупомянутый городской депутатъ говоритъ далѣе: «Было бы по меньшей мѣрѣ очень жестоко замѣнять при дѣсныхъ кражахъ, которыя все же нельзя разсматривать какъ тяжело наказуемое преступленіе, пеню въ 5 талеровъ 14-ти днями заключенія. Это повело бы къ тому, что состоятельный, который можетъ откупиться деньгами, былъ бы одинъ разъ наказанъ, а бѣднякъ—вдвойнѣ». Одинъ депутатъ отъ дворянства упоминаетъ, что въ окрестностяхъ Клеве многіе порубники совершаютъ преступленіе просто съ тѣмъ, чтобы попасть въ арестный домъ и кормиться. Развѣ этотъ депутатъ отъ дворянства не доказываетъ какъ разъ того, что онъ хотѣлъ опровергнуть, а именно—что только нужда и бездомность заставляютъ людей прибѣгать къ дѣснымъ порубкамъ? Развѣ эта ужасная нужда есть отягчающее обстоятельство?

Тотъ же городской депутатъ говоритъ далѣе: «Сокращеніе пайка, по его мнѣнію, при принудительныхъ работахъ слишкомъ жестокая и даже невыполнимая мѣра». Кромѣ городского депутата и другіе возмущаются жестокостью ограниченія пайка хлѣбомъ и водою. Но одинъ депутатъ сельской общины замѣчаетъ, что въ Трирскомъ округѣ сокращеніе продовольствія уже введено и оказалось очень дѣйствительнымъ.

Почему почтенный ораторъ хочетъ видѣть причину благотельнаго дѣйствія именно въ хлѣбѣ и водѣ, почему, напр., не въ усиленіи религіознаго чувства, о которомъ ландтагъ такъ много и такъ трогательно говорилъ? Кто бы могъ подумать тогда, что хлѣбъ и вода настоящіи благотельныя средства! По нѣкоторымъ преніямъ можно было думать, что возстановленъ англійскій священный парламентъ, и вдругъ? Въмѣсто молитвы, довѣрія и пѣснопѣнія, — хлѣбъ и вода, тюрьма и лѣсная работа! Какъ щедры были на слова, чтобы доставить рейпскимъ жителямъ мѣсто на небѣ, какъ опять щедры на слова, чтобы загнать цѣлый классъ рейпскихъ жителей на лѣсную работу, держа ихъ на хлѣбѣ и водѣ, выдумка, которую едва ли позволилъ бы себѣ голландскій плантаторъ по отношенію къ своимъ неграмъ. Что все это доказываетъ? Что легко быть святымъ, когда не хотять быть человѣчнымъ. Такъ можно понять слѣдующее мѣсто: «Одинъ членъ ландтага пашель постановленіе § 23 безчеловѣчнымъ; тѣмъ не менѣе оно было принято». Кромѣ безчеловѣчности объ этомъ параграфѣ ничего не сообщается.

Все наше изложеніе показало, какъ ландтагъ принижаетъ до уровня матеріальныхъ средствъ частнаго интереса исполнительную власть, административныя учрежденія, существованіе обвиняемаго, государственную идею, само преступленіе и наказаніе. Поэтому вполне послѣдовательно, что и судебное рѣшеніе разсматривается какъ простое средство, а законная его сила какъ излишняя формальность.

Комиссія желаетъ вычеркнуть въ § 6 слова «имѣющій законную силу», такъ какъ принятіе ихъ дастъ ворами лѣса средство при заочныхъ рѣшеніяхъ избѣгать въ случаѣ рецидива болѣе высокой мѣры наказанія; но противъ этого протестуютъ многіе депутаты, замѣчая, что надо сопротивляться предложенію комиссіей устраницію выраженія: «имѣющее законную силу рѣшеніе» въ § 6 проекта. Это опредѣленіе рѣшеній принято въ этомъ мѣстѣ, какъ и въ параграфѣ, конечно, не безъ юридическихъ соображеній. Если бы перваго судебного рѣшенія было достаточно для обосновапія болѣе строгаго наказанія, тогда, конечно, намѣреніе болѣе строго наказывать рецидивистовъ осуществлялось бы гораздо проще и чаще. Но нужно еще подумать, слѣдуетъ ли пожертвовать существеннымъ принципомъ права выдвигаемому здѣсь докладчикомъ интересу охраны лѣсовъ. Нельзя согласиться съ тѣмъ, чтобы нарушеніе безспорнаго основнаго принципа права придавало рѣшенію, не имѣющему еще законной силы, такое свойство. Другой депутатъ отъ горожанъ точно такъ же предложилъ отвергнуть поправку комиссіи. Последняя, по его мнѣнію, нарушаетъ положенія уголовнаго права, по которымъ никогда не можетъ послѣдовать усиленія мѣры наказанія до тѣхъ поръ, пока первое наказаніе не вошло въ законную силу.

На это докладчикъ возражаетъ: «Всѣ эти мѣры, въ цѣломъ, представляютъ собой исключительный законъ, а потому исключительная

мбра, вродѣ предложенной, также допустима». «Предложеніе комиссіи вычеркнуть «имѣющее законную силу» принято».

Рѣшеніе имѣется только для того, чтобы констатировать рецидивы. Судебныя формы представляются жадному безпокойству частнаго интереса тягостными и лишними препятствіями педантичнаго правового этикета. Судебный процессъ есть только надежная охрана, которая должна только проводить противника до тюрьмы, простое приготовленіе къ экзекуціи, а гдѣ процессъ желаетъ быть не только этимъ, тамъ его заставляютъ молчать. Страхъ своекорыстія выслѣживается, разсчитывается, комбинируется самымъ аккуратнымъ образомъ, какъ используетъ противника для себя область права, на которую приходится перейти, какъ на неизбѣжное зло; ловкими маневрами стараются предупредить его дѣйствія. При этомъ наталкиваются на самое право, какъ на препятствіе необузданному проявленію частныхъ интересовъ, и обращаются съ правомъ, какъ съ препятствіемъ. Съ нимъ грязно торгуются, выторговываютъ у него то здѣсь, то тамъ основной принципъ, укрошаютъ его умоляющей ссылкой на право интереса, хлопаютъ его по плечу и шепчутъ ему на ухо, что это исключенія и что нѣтъ правила безъ исключенія, точно стараются терроризмомъ и аккуратностью по отношенію къ врагу вознаградить его за ту двусмысленную эластичность совѣсти, съ которой его разсматриваютъ, какъ гарантію обвиняемаго и какъ самостоятельную вещь. Интересъ права получаетъ возможность говорить, поскольку это есть право интереса, но онъ долженъ молчать, какъ только онъ сталкивается съ этимъ святымъ.

Тѣсовладѣлецъ, который самъ наказывалъ, такъ послѣдователенъ, что онъ самъ судить, ибо онъ очевидно судить, объявляя, что рѣшеніе, не имѣющее законной силы, законно. Какая пелѣная, непрактичная иллюзія, вообще, безпартійный судья, когда законодатель партійный? Какое значеніе можетъ имѣть безкорыстное рѣшеніе, если законъ своекорыстенъ? Судья можетъ только пуритански формулировать своекорыстіе закона, строго примѣнять его. Безпартійность въ этомъ случаѣ является формой, но не содержаніемъ рѣшенія. Содержаніе предвосхитилъ законъ. Если процессъ не представляетъ ничего, кромѣ безсодержательной формы, то такой формальный пустякъ не имѣетъ никакой самостоятельной цѣнности. Съ этой точки зрѣнія китайское право стало бы французскимъ, если бы его втиснули въ форму французской процедуры; матеріальное право, однако, имѣетъ свои имманентныя, присущія ей процессуальныя формы, и какъ для китайскаго права необходима палка, такъ необходима для содержанія драконовскаго средневѣковаго уголовного права, въ качествѣ процессуальной формы, пытка, такъ же необходимо связано съ гласнымъ свободнымъ процессомъ гласное по своей природѣ, продиктованное свободой, а не частнымъ интересомъ—содержаніе. Процессъ и право такъ же тѣсно связаны другъ съ другомъ, какъ, наприм., формы растений и животныхъ связаны съ мясомъ и кровью живот-

ныхъ. Одинъ духъ долженъ одушевлять процессъ и законы, ибо процессъ есть только форма жизни закона, слѣдовательно, проявленіе его внутренней жизни.

Морскіе разбойники Тидонга ломаютъ пойманнымъ ноги и руки, чтобы не дать имъ бѣжать. Чтобы обезпечить себя отъ порубщиковъ, ландтагъ не только переломалъ правую руку и ноги, но еще пронзилъ ему сердце. Въ дѣлѣ примѣненія ландтагомъ нашего процесса къ нѣкоторымъ категоріямъ преступленій мы рѣшительно не видимъ никакой заслуги. Мы, наоборотъ, должны воздать должное той откровенности и послѣдовательности, съ которыми несвободному содержанию придана несвободная форма. Если въ наше право фактически вносится частный интересъ, который не переноситъ свѣта гласности, то слѣдуетъ придать ему также соответствующую тайную процедуру, чтобы не возбуждать и не питать, по крайней мѣрѣ, никакихъ опасныхъ и самоуспокоивающихъ иллюзій. Мы считаемъ обязанностью всѣхъ рейнскихъ гражданъ и преимущественно рейнскихъ юристовъ посвятить въ настоящій моментъ свое главное вниманіе содержанию права, чтобы у насъ въ концѣ-концовъ не осталась пустая маска. Форма не имѣетъ никакой цѣны, если она не есть форма содержанія.

Только что разсмотрѣнное предложеніе комиссіи и одобрительный вотумъ ландтага представляютъ самую блестящую часть всѣхъ дебатовъ, ибо коллизія между интересомъ охраны лѣса и принципами права, санкціонированнымъ нашимъ собственнымъ закономъ, здѣсь входятъ въ сознаніе самого ландтага. Ландтагъ поэтому подвергъ голосованію вопросъ, слѣдуетъ ли пожертвовать принципами права интересу охраны лѣса, или же интересомъ охраны лѣса принципамъ права, и интересъ взялъ перевѣсъ надъ правомъ. Нашла даже, что весь законъ представляетъ исключеніе изъ закона и вывели отсюда, что въ немъ допустимо всякое исключительное постановленіе. Ограничились тѣмъ, что сдѣлали выводы, которые законодатель упустилъ сдѣлать. Вездѣ, гдѣ законодатель забылъ, что рѣчь идетъ объ исключеніи изъ закона, а не о законѣ, гдѣ онъ проводитъ правовую точку зрѣнія, тамъ дѣятельность ландтага съ вѣрнымъ тактомъ переправляетъ и дополняетъ и предоставляетъ частному интересу диктовать праву законы тамъ, гдѣ право диктовало законы частному интересу.

Ландтагъ такимъ образомъ вполне выполнилъ свое назначеніе. Онъ, согласно своему призванію, представлялъ опредѣленные групповые интересы и разсматривалъ ихъ, какъ конечную цѣль. То, что при этомъ онъ попираетъ ногами право, есть прямой результатъ его задачи, ибо интересъ по своей природѣ является слѣпымъ, безграничнымъ, одностороннимъ, однимъ словомъ, незаконнымъ природнымъ инстинктомъ; а развѣ незаконіе можетъ издавать законы? Частный интересъ не становится способнымъ къ законодательству отъ того, что его дѣлаютъ законодателемъ, какъ необыкновенно дачинный рупоръ не дѣлаетъ нѣмого способнымъ говорить.

Мы съ отвращеніемъ слѣдили за этими скучными и бездушными

дебатамъ, по мы считали своей обязанностью показать на примѣрѣ, чего можно ожидать отъ сословнаго представительства групповыхъ интересовъ, если оно когда-нибудь будетъ серьезно призвано къ законодательству.

Мы повторяемъ еще разъ, что наши сословія исполнили свое назначеніе, какъ сословія, но мы далеки отъ желанія оправдывать ихъ этимъ. Рейпскій житель долженъ былъ побѣдить въ нихъ сословіе, человѣкъ—лѣсовладѣльца. По закону имъ предоставлено не только представительство отдѣльныхъ интересовъ, но и представительство интересовъ провинціи, и какъ ни противорѣчивы обѣ задачи, въ случаѣ коллизіи не слѣдовало бы ни минуты колебаться пожертвовать представительствомъ частнаго интереса представительству провинціи. Чувство права и законности самая характерная черта рейпскихъ жителей. Но само-собою разумѣется, что частный интересъ не знаетъ ни отечества, ни провинціи, ни общаго, ни отечественнаго духа. Вопреки утвержденію тѣхъ писателей-фантазеровъ, которые хотятъ видѣть въ представительствѣ частныхъ интересовъ идеальную романтику, неизмѣриму глубину чувства и самый богатый источникъ индивидуальныхъ и своеобразныхъ формъ нравственности, оно, наоборотъ, уничтожаетъ всѣ духовныя и естественныя различія, ставя на pedestalъ вмѣсто нихъ безнравственную, неразумную и безчувственную абстракцію опредѣленной матеріи и опредѣленнаго, рабаки подчиненнаго ей сознанія.

Лѣсъ остается лѣсомъ въ Сибири, какъ и во Франціи, лѣсовладѣлецъ остается лѣсовладѣльцемъ на Камчаткѣ, какъ и въ Рейпской провинціи. Если, слѣдовательно, лѣсъ и лѣсовладѣлецъ, какъ таковые, будутъ издавать законы, то эти законы ничѣмъ не будутъ отличаться, кромѣ мѣста, гдѣ они изданы, и языка, на которомъ они написаны. Эготъ грубый матеріализмъ, эготъ грѣхъ противъ святого духа народовъ и человечества есть непосредственный результатъ той теоріи, которой поучаетъ законодателя *Preussische Staatszeitung*. Она поучаетъ, что при лѣсномъ законѣ надо думать только о деревѣ и лѣсѣ и вообще каждую матеріальную задачу рѣшать не политически, т.-е. не въ связи со всѣмъ государственнымъ разумомъ и съ государственной нравственностью.

Дикари съ Кубы считали золото фетишемъ испанцевъ. Они устраивали въ честь него праздникъ, пѣли и затѣмъ бросали его въ море. Если бы дикари съ Кубы присутствовали на засѣданіяхъ рейпскихъ сословій, то не сочли ли бы они дерево фетишемъ рейпскихъ жителей? Но слѣдующее засѣданіе показало бы имъ, что съ фетишизмомъ связанъ культъ животныхъ, и дикари съ Кубы побросали бы въ море зайцевъ для спасенія людей.

Примѣчанія.

Статьи, которыя Марксъ писалъ изъ Бонна для «Рейнской газеты», были помѣчены тремя звѣздочками * *, объ статьѣ о рейнскомъ ландтагѣ, какъ и статья, написанная для «Анекдотовъ», подписаны «Рейнскій обыватель». Какъ Руге, такъ и Оппенгеймъ спрашивали Маркса, не желаетъ ли онъ подписывать свою фамилю, но Марксъ на это не согласился.

Въ статьѣ о свободѣ печати Марксъ говоритъ, что въ печати имя автора не относится къ дѣлу; защищая мозельскаго корреспондента, Марксъ повторяетъ, что анонимность присуща характеру газетъ. Благодаря анонимности, газета превращается изъ сборника многихъ индивидуальныхъ мнѣній въ *органъ одного духа*. Имя такъ рѣзко отдѣляетъ одну статью отъ другой, какъ тѣло отдѣляетъ людей другъ отъ друга, и такимъ образомъ оно какъ бы совершенно лишаетъ статью своего назначенія служить дополняющимъ звеномъ. Наконецъ, благодаря анонимности, не только самъ авторъ, но даже публика становится безпристрастнѣе и свободнѣе; послѣдняя обращаетъ въ такомъ случаѣ вниманіе не на имя, *которое* говорить, а на суть, *которую* оно высказываетъ; мѣриломъ ея сужденій ставится духовная личность независимо отъ эмпирической личности автора. Въ «Новой Рейнской Газетѣ» впоследствии никто не подписывалъ своей фамиліи подъ статьями.

Еще раньше, чѣмъ Марксъ началъ свою дѣятельность въ маѣ 1842 г. статьѣй о свободѣ печати, въ январѣ появилась статья съ тремя звѣздочками * *. Она трактовала о «Шеллингѣ и вновь воскресающей церковной жизни въ Берлинѣ» и принадлежала, судя по подстрочному примѣчанію редакціи, перу ученаго, стоящаго въ новѣйшей философской борьбѣ въ первыхъ рядахъ. Но слогъ и содержаніе безусловно исключаютъ мысль, что она написана Марксомъ. Такъ же мало, по моему мнѣнію, напоминаютъ Маркса тѣ корреспонденціи изъ Бонна, на которыя Энгельсъ обратилъ мое вниманіе. Онѣ очень коротки и незначительны. Въ крайнемъ случаѣ можно допустить, что нѣсколько строкъ изъ Бонна, помѣченныхъ 8 мая, въ которыхъ говорилось объ отъѣздѣ Бруно Бауера въ Берлинъ и въ которыхъ проскользнуло нѣсколько рѣзкихъ замѣчаній по поводу боннскихъ университетскихъ дѣлъ, присланы Марксомъ.

Въ общемъ его сотрудничество изъ Бонна ограничивается двумя статьями о рейнскомъ ландтагѣ, полемикой съ «Кельнской Газетой» и критикой «Естественнаго права» Гуго. Третья статья о ландтагѣ появилась,

правда, лишь послѣ того, какъ Марксъ вступилъ въ редакцію, но онъ ее либо привезъ съ собой, либо раньше еще прислалъ въ редакцію. Такія работы, конечно, не сыплются изъ рукава въ нѣсколько дней.

Его первый редакціонный дебютъ заключается въ полемикѣ съ «Аугсбургской Всеобщей Газетой» о коммунизмѣ. Съ этого времени труднѣе прослѣдить его дѣятельность на столбцахъ газеты, такъ какъ она сводится къ редакціонной дѣятельности. Короткая замѣтка въ номерѣ отъ 28 ноября написана, очевидно, Марксомъ; она содержитъ только опроверженіе помѣщенного въ «Frankfurter Journal» сообщенія о томъ, будто карриатура на Гермеса психодила изъ редакціи «Рейнской Газеты». 30 ноября Марксъ въ передовицѣ на трехъ столбцахъ ведетъ войну ради войны. Майнскій корреспондентъ обвинялъ «Аугсбургскую Всеобщую Газету» въ томъ, что она дала благопріятный отзывъ о романѣ Мозена потому лишь, что романъ вышелъ въ ея изданіи. Нѣсколько дней спустя въ «Рейнской Газетѣ» появилась сухая замѣтка, что романъ изданъ не фирмой Ботта, а Дункеръ и Гумблотъ, но безъ всякаго слова извиненія. «Аугсбургская Газета» не безъ основанія жаловалась на это, и Марксъ отвѣтилъ ей съ большимъ жаромъ, но не безъ софистики. Въ настоящее время не стоитъ перепечатывать этой статьи; ее, можетъ быть, откопаетъ какой-нибудь многообѣщающій приватъ-доцентъ изъ «уничтожителей Маркса».

Въ декабрѣ въ трехъ длинныхъ редакціонныхъ статьяхъ вновь ведется полемика съ «Аугсбургской Газетой» о сословныхъ коммисіяхъ. Онѣ помѣчены двумя звѣздочками * и ипкоиивъ образомъ не написаны Марксомъ; для этого имъ не достааетъ блеска и силы его слога. Но онѣ пестрятъ тѣми своеобразными антитезами, которыя Марксъ такъ любилъ, и поэтому можно предполагать, что онъ такъ или иначе участвовалъ въ ихъ составленіи. Въ видѣ образца я привожу заключительную фразу: «Государство проникаетъ всю природу духовными нервами, и въ каждомъ пунктѣ должно проявиться то, что доминируетъ не матерія, а форма, не природа безъ государства, а природа государства, не несвободный предметъ, а свободный человѣкъ». Статьи довольно сильно проникнуты темнымъ гегельянскимъ духомъ государственности и сильно разнятся отъ статей о рейнскомъ ландтагѣ.

Съ Января 1843 года редакціонныя статьи, помѣченные одной звѣздочкой *, по моему мнѣнію, такъ же несомнѣнно принадлежатъ перу Маркса, какъ статьи, помѣченные другими редакціонными знаками, не написаны имъ. Уже въ первыхъ январскихъ номерахъ—отъ 1, 4, 5, 8, 10, 13 января—тянется критическій анализъ свободы печати въ связи съ запереніемъ «Лейпцигской Всеобщей Газеты», анализъ, переходящій въ дальнѣйшемъ въ полемику съ другими газетами, особенно съ «Аугсбургской» и съ «Кельнской Газетой», и содержащій довольно много мѣткихъ замѣчаній. Однако сама полемика очень устарѣла, и привести то, что еще и въ настоящее время интересно было бы читать безъ длинныхъ разъясненій—нельзя. Я думаю, что тѣмъ болѣе не стоитъ ихъ приводить, что здѣсь полностью приведены двѣ статьи изъ «Апекдотовъ» и «Рейнской Газеты», въ которыхъ Марксъ принципиально высказывается о свободѣ печати. Привести

отдѣльныя мелкія, хотя и не лишеныя остроумныхъ замѣчаній, но нѣсколько тяжеловѣсныя статьи на ту же тему, значило бы испортить впечатлѣніе тѣхъ двухъ крупныхъ работъ.

Гораздо больше я ломалъ себѣ голову надъ вопросомъ, воспроизводить ли статьи мозельскаго корреспондента, появившіяся 15, 17, 18, 19 и 20 января. Объ этомъ не могло бы возникнуть вопроса, если бы дѣло обстояло такъ, какъ Энгельсъ его ошибочно изложилъ въ «Словарѣ Общественныхъ Наукъ» («Handwörterbuch der Staatswissenschaften»), т.-е. если бы Марксъ писалъ эти статьи и если бы онѣ были посвящены положенію крестьянъ-винодѣловъ на Мозелѣ. Но Марксъ только принималъ участіе въ составленіи этихъ статей, при чемъ даже трудно точно опредѣлить въ какомъ размѣрѣ и какимъ образомъ; повидимому, однако, его участіе выражалось въ собираніи и группировкѣ фактическаго матеріала. Статьи притомъ занимаются не столько самымъ положеніемъ мозельскихъ крестьянъ, сколько тѣмъ, какимъ образомъ жалобы этихъ крестьянъ подавались органами бюрократіи. Всѣ эти каверзы типично иллюстрируются самымъ яркимъ примѣромъ, т.-е. судебнымъ преслѣдованіемъ депутата ландтага Вальденера, котораго я касался въ введеніи. Въ общемъ продѣлки тогдашней цензуры при всей ея ограниченности и злостности были слишкомъ мелочны, и перепечатка сравнительно обстоятельныхъ статей не оправдывается интересомъ, который современный читатель можетъ проявить къ покрытымъ лѣсеню цензорскимъ продѣлкамъ.

Я уже въ введеніи высказывался по поводу послѣднихъ мелкихъ полемическихъ статей, написанныхъ Марксомъ въ «Рейнской газетѣ», и поэтому перехожу къ статьямъ, которыя вошли въ этотъ сборникъ.

Дебаты о свободѣ печати. Первая статья о рейнскомъ ландтагѣ появилась въ номерахъ 125, 128, 130, 132, 135 и 139 (5, 8, 10, 12, 15, 19 мая). Я сохранилъ шесть отдѣловъ, но раздѣлилъ ихъ сообразно смыслу. Въ самой газетѣ онѣ печатались каждый разъ въ такомъ объемѣ, какимъ располагала газета, и статьи часто обрываются чуть не на полусловѣ. Введеніе этой статьи составляетъ довольно длинная полемика противъ «Allgemeine Preussische Staatszeitung», которая вскорѣ послѣ изданія новой цензурной инструкціи въ качествѣ официального правительственнаго органа довольно плоско подшучивала надъ тѣмъ, что печать не умѣла использовать дарованной ей свободы. Возраженія Маркса не совсѣмъ понятны безъ подробнаго анализа официальныхъ пошлостей, отгапываніе которыхъ было бы бесполезной тратой мѣста. Эпоха «Abendblatt» въ нѣмецкой литературѣ—это то печальное время, которое Платенъ бичевалъ въ Verhängnisvolle Gabel:

Dieses mark- und knochenlose Publikum beklatschet nur,
Was verwandt ist seiner eignen Froschmolnskenbreinatur,
Kommt doch von Berlin und Dresden ein Roman mit jeder Post,
Bis die Deutschen kindisch werden über dieser Kinderkost.

«Abendzeitung» («Вечерняя газета») выходила въ Дрезденѣ и издавалась Карломъ Теодоромъ Винклеромъ, который называлъ себя Теодоръ Гелль

(Свѣтлыѣ) и вмѣстѣ съ Фридрихомъ Квиндъ устраивалъ «Чаепитія поэтовъ»; тамъ читалась самая пошлая литература альманаховъ, и авторы другъ другу воскуривали ениамъ.

Относительно обѣихъ Галлеровъ, о которыхъ Марксъ упоминаетъ какъ о реакціонныхъ типахъ, слѣдуетъ замѣтить, что старшій былъ таковымъ только въ условномъ смыслѣ. Довольно извѣстный естествоиспытатель и не совсѣмъ безызвѣстный поэтъ 18 столѣтія, Альбрехтъ фонъ-Галлеръ меньше ухаживалъ за вольтеровской философійю, чѣмъ послѣдняя за нимъ. Такъ напр., Ла-Меттри посвящалъ этому благочестивому человѣку своего «Homme machine» («Человѣка-машину»), enfant terrible тогдашняго французскаго материализма. Зато внукъ этого Галлера былъ полнокровнымъ дѣтищемъ феодально-легитимистской реакціи, которую онъ возвеличилъ въ своей «Реставаціи Общественныхъ Наукъ». Духъ его виталъ надъ «Политическимъ еженедѣльникомъ», который былъ основанъ послѣ июльской революціи въ Берлинѣ подъ эгидой романтическаго кронпринца, но прекратился въ концѣ 1841 года.

Передовая статья въ № 79 «Кельнской газеты». Подъ этимъ заглавіемъ и подъ корреспондентскимъ знакомъ Маркса «Рейнская газета» напечатала въ своихъ номерахъ 191, 193 и 194 (10-го, 12 и 14 іюля) три статьи противъ Гермеса, который обрушился противъ нихъ страстными доносомъ, не называя ихъ.

Гермесъ доказывалъ, что партія, которая обсуждаетъ въ газетахъ философскіе и религіозные взгляды, показываетъ этимъ, что у нея нечестныя намѣренія, что ее менѣе интересуетъ просвѣщеніе и образованіе народа, чѣмъ достиженіе другихъ витѣшнихъ цѣлей. Государство не только имѣетъ право, но оно обязано положить конецъ непризваннымъ болтунамъ. Его можно скорѣе упрекнуть въ слишкомъ большой снисходительности, чѣмъ въ преувеличенной строгости. Настоятельнѣйшая обязанность цензуры удалить эти отвратительнѣйшіе наросты мальчишескаго задора и т. д. въ этомъ родѣ. «Рейнская Газета» тотчасъ же отвѣтила на неприличный конкурренціонный маневръ, но она, повидимому, придала дѣлу слишкомъ большое значеніе, можетъ быть потому, что она кое-что знала о тайныхъ отношеніяхъ, существовавшихъ между берлинскимъ правительствомъ и Гермесомъ. Такъ Марксъ выступилъ послѣ сравнительно большого промежутка времени съ тяжелой артиллеріей своихъ трехъ статей, подвергаясь опасности, которой такъ боялся Оппенгеймъ, что «негодяй цензоръ» будетъ защищать редактора «Кельнской Газеты».

Этого однако не случилось, какъ видно, такъ какъ нельзя было болѣе немилосердно поступить съ доносчикомъ, чѣмъ это сдѣлалъ Марксъ въ своихъ двухъ первыхъ статьяхъ. Къ сожалѣнію, эта полемика въ настоящее время малопонятна и для того, чтобы сдѣлать ее удобопонятной, потребовалась бы несоразмѣрно пространные комментаріи, поэтому мы предпочли ее пропустить. Тѣмъ интереснѣе третья статья, на блестящую форму которой нѣтъ надобности указывать. Какъ быстро развивался Марксъ, видно изъ болѣе опредѣленнаго и яснаго трактованія темы, которую онъ затронулъ уже въ примѣчаніяхъ къ своей докторской диссертаціи,

именно о томъ, какъ философское умозрѣніе переходитъ въ практическую жизнь. Здѣсь, пожалуй, не лишнее будетъ замѣтить, что, если Марксъ и въ этой статьѣ вскользь говоритъ о «Кёльнской Газетѣ», какъ о мелкой мѣстной газетѣ, то этимъ онъ высказалъ только безспорный фактъ, хотя бы это и было сказано въ небрежной полемической формѣ. «Кёльнская Газета» въ то время была еще чисто мѣстной газетой. Только послѣ прекращенія «Рейнской Газеты» и именно благодаря ему она начала расти въ томъ смыслѣ, что приобрѣла много читателей и нѣкоторыхъ сотрудниковъ запрещенной газеты.

Философскій манифестъ исторической школы права. Эта статья находится въ номерѣ 221 отъ 9 августа. Профессоръ Гуго изъ Гёттингена, который знакомъ болѣе широкимъ кругамъ, по крайней мѣрѣ, изъ «Путешествія по Гарцу» Гейне, праздновалъ 10 мая 1842 года свой пятидесятилѣтній докторскій юбилей, по поводу котораго Савиньи, самый знаменитый представитель исторической школы права, написалъ юбилейную статью; въ этой статьѣ онъ охарактеризовалъ Гуго, какъ родоначальника этой школы. Это было честное, но во всякомъ случаѣ не умное признаніе въ то время, когда историческая школа права находилась во вѣтвѣ своихъ грѣховъ. Самъ Савиньи въ качествѣ прусскаго министра юстиціи составлялъ реакціонные законы, безспіе которыхъ къ счастью парализовало ихъ опасности.

Гуго называлъ себя кантіанцемъ; по его кантіанство было весьма своеобразное: онъ устранилъ ту предпосылку, отъ наличности которой Кантъ ставилъ въ зависимость свой нравственный законъ, свой категорическій императивъ. Чтобы имѣть возможность проявлять свою разумную волю, каждый человекъ долженъ обладать вѣтшией свободой и обезпеченной правовой основой для своей дѣятельности: отсюда Кантъ выводилъ разумную необходимость отдѣльныхъ правовыхъ институтовъ. Гуго, наоборотъ, показывалъ на одномъ институтѣ права за другимъ, что они совершенно не нужны для того, чтобы имѣть возможность жить по кантовскому нравственному закону. Право и государство не продукты разума, а природы, и поэтому, какъ и другіе продукты природы, они являются предметами наблюденія, а не умозрѣнія. Гуго защищалъ сенъеральныя права, майораты, рабство, государственное банкротство, но защищалъ онъ ихъ, не потому, что они были разумны, а несмотря на то, что они были неразумны. Это было, по мѣткому выраженію Маркса, разложеніе, которое само собой наслаждалось. Марксъ намекаетъ на вѣрищаго въ привидѣнія поэта Гоффмана, когда онъ говоритъ, что Гуго скептикъ по отношенію къ необходимости сущности вещей и вѣрующій по отношенію къ ихъ случайнымъ проявленіямъ. Утверждать, что требованія буржуазнаго разума осуществимы въ мірѣ феодальнаго неразумія, было неосновательнымъ легкомысліемъ.

Конечно, историческая школа права должна была замаскировать наивную грубость своего основателя, чтобы имѣть возможность продолжать существовать въ эпоху нашей классической литературы и философіи. Бравый Рошеръ, который въ томъ же самомъ году и въ томъ же самомъ Гёттингенѣ, гдѣ Гуго праздновалъ свой академическій юбилей, началъ препода-

вать политическую экономію по тому же методу, говорить со стыдливою улыбкой, что не всегда легко отличать серьезность отъ пропіи у Гуго, но такой скептицизмъ, по его миѣнію, оказался очень полезнымъ для освобожденія и углубленія науки, ибо въ данномъ случаѣ нечего, молъ, было опасаться практическаго злоупотребленія со стороны несовершеннолѣтнихъ. Историческая школа права злоупотребляла понятіемъ «органическій», чтобы придать животному праву, возвыщенному Гуго, видимость человѣческаго. Откровенность, съ которой Савиньи призналъ себя его духовнымъ піонеромъ, дала поэтому желательный поводъ сорвать маску благочестія со всей шайки, работавшей тогда на службѣ у деспотизма надъ порабощеніемъ народа.

О коммунизмъ. Нѣкоторые памеки, заключающіеся въ этой статьѣ, появившейся въ № 289 отъ 15 октября, разобраны уже въ введеніи, какъ напр., Мефистофель, упомянутый въ началѣ и таинственный знакомый — въ концѣ статьи. Я не могу сказать, кто былъ парижскимъ корреспондентомъ «Allgemeine Zeitung», разсматривавшимъ исторію, какъ кондитеръ ботанику; возможно, что рѣчь идетъ о такъ называемомъ баронѣ Эштейнѣ. Онъ былъ тогда главнымъ парижскимъ корреспондентомъ «Allgemeine Zeitung» и получалъ субсидію изъ секретнаго фонда Гизо, но передъ іюльской революціей находился въ близкихъ сношеніяхъ съ бурбоиской реставраціей; онъ-то, стало быть, и могъ ввезти въ Германію феодально-легиитимистическую фантазію использованія социализма монархіей. Какъ извѣстно, эта фантазія, къ которой Марксъ еще въ 1842 г. отпесся съ безграничнымъ презрѣніемъ, десять лѣтъ спустя была выражена Лоренцомъ Штейномъ въ его идеѣ «соціального королевства», тѣмъ самымъ Штейномъ, который якобы посвятилъ Маркса въ социализмъ!

Бюловъ-Куммеровъ былъ старо-сословнымъ феодальнымъ политикомъ, который напечаталъ подъ охраной новой цензурной инструкціи книгу о конституціи и управленіи прусскаго государства. Она обратила на себя вниманіе, благодаря своимъ рѣзкимъ нападкамъ на бюрократическое управленіе; однако Марксъ былъ совершенно правъ, относясь къ этому «другу конституціи» просто какъ къ феодальному писателю. Въ Бюловѣ-Куммеровѣ говорила только ненависть средневѣкового юнкера къ болѣе развитой формѣ господства бюрократіи, ненависть, которую съ пріятной откровенностью проявлялъ и молодой Бисмаркъ и которую раздѣлялъ также и король, весьма расположенный къ нитежпкамъ этого сорта. Во время реставраціи изъ рядовъ этой оппозиціи вышло главное ядро феодальной реакціи.

Изъ феодальной точки зрѣнія также исходили «Соображенія объ отчуждаемости и дѣлимости земельной собственности», изданныя въ 1842 году Козегартеномъ въ Боннѣ. Изъ гамбургскаго адвоката онъ превратился въ доцента общественныхъ наукъ въ Боннѣ и изъ послѣдователя Адама Смита — въ защитника средневѣковой реставраціи. То обстоятельство, что Марксъ тогда уже былъ знакомъ съ его произведеніями, не лишено интереса, такъ какъ Козегартенъ воздавалъ должную дань глубинѣ Смита и Рихардо и, борясь противъ нихъ, старался опереться на Сисмонди. Козегартенъ самъ

былъ, конечно, слишкомъ незначительной и несамостоятельной личностью, чтобы онъ могъ возбуждать интересъ Маркса хотя бы и съ отрицательной стороны.

Дебаты о кражѣ мяса. Третья статья о рейнскомъ ландтагѣ появилась въ номерахъ 298, 300, 303, 305 и 307 (25, 27, 30 октября, 1 и 3 ноября). Законопроектъ, вызвавшій эти дебаты, въ настоящее время такъ же мало извѣстенъ, какъ и въ то время, когда Марксъ писалъ. Впрочемъ для критики, которой Марксъ подвергъ дѣятельность рейнскаго ландтага, текстъ законопроекта и не особенно важенъ. Критика эта была настолько убѣдительна, что она, вѣроятно, послужила поводомъ къ первой серьезной репрессіи, которой подверглась «Рейнская Газета» спустя недѣлю послѣ появленія этихъ статей.

Въ заключеніе слѣдуетъ еще отиѣтить обстоятельство чисто внѣшняго характера: упомянутыя статьи печатались въ приложенияхъ, выходившихъ при газетѣ черезъ день — за исключеніемъ, впрочемъ, полемикъ противъ «Аугсбургской Всеобщей Газеты», которая, какъ и всѣ редакціонныя полемическія статьи, появилась въ видѣ газетной передовицы, писанной изъ Кельна. Передовыхъ статей въ современномъ смыслѣ этого слова въ «Рейнской Газетѣ» не было. Весь свой духовный багажъ она помѣщала въ приложенияхъ.

The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the Board of Education for the year 1900-1901. The names are arranged in alphabetical order of the surnames.

Board of Education:

President: J. H. [Name]

Vice-President: [Name]

Secretary: [Name]

Treasurer: [Name]

Members: [List of names]

Superintendent: [Name]

Principals: [List of names]

Teachers: [List of names]

The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the Board of Education for the year 1900-1901. The names are arranged in alphabetical order of the surnames.

Board of Education:

President: J. H. [Name]

Vice-President: [Name]

Secretary: [Name]

Treasurer: [Name]

Members: [List of names]

Superintendent: [Name]

Principals: [List of names]

Teachers: [List of names]

IV.

Статьи изъ Deutsch-Französische Jahrbücher.

ВВЕДЕНИЕ.

Съ запрещеніемъ «Рейнской Газеты» Марксъ лично также оказался вѣнъ закона. Публичная дѣятельность стала для него возможной лишь за-границей; онъ предполагалъ изъ Швейцаріи участвовать въ «Deutscher Bote», котораго собирался издавать Гервегъ въ издательствѣ цюрихской «Литературной Конторы». Поэтому немедленно послѣ запрещенія «Рейнской Газеты» Марксъ написалъ Руге. Руге съ живостью ухватился за эту мысль, но тѣмъ временемъ появился издатель «Deutsch Jahrbücher» съ предложеніемъ продолжать это изданіе въ Швейцаріи, рядомъ съ «Deutscher Bote», который, по его мнѣнію, едва ли могъ бы одинъ выполнить важную миссію, выпадающую на него съ запрещеніемъ нѣмецкой оппозиціонной печати. «Я не хочу скрывать отъ васъ, — писалъ Руге Марксу 1-го февраля, — что Вигандъ честолюбивъ и безъ сопротивленія не уступитъ Фребелю и Гервегу, намѣревающемуся соединиться съ Фребелемъ, своей славы прогрессистскаго книготорговца и издателя книгъ послѣдняго движенія. Онъ не хотѣлъ поэтому и слышать, когда я ему открылъ, что теперь слѣдуетъ сосредоточить на «Bote» всѣ силы». Руге самъ думалъ, что вопросъ, дѣйствительно, имѣетъ двѣ стороны; первоначальный планъ съ «Bote» совершенно измѣнится, «если мы войдемъ туда съ нашими воззрѣніями»; оба предпріятія могли бы довольно мирно существовать другъ подлѣ друга — «Bote» могъ бы замѣнить «Рейнскую Газету», между тѣмъ какъ въ переименованныхъ и основательно перелѣданныхъ «Jahrbücher» дѣйствовала бы тяжелая артиллерія философіи. Такъ какъ Руге считалъ Маркса болѣе пригоднымъ для редактированія журнала, чѣмъ газеты, то онъ предложилъ ему соредакторство въ реформированныхъ «Jahrbücher» и назначилъ ему для начала годовое жалованье въ 850 талеровъ.

Этотъ планъ былъ разрушенъ прежде всего высылкой Гервега изъ Цюриха. Въ письмѣ къ Марксу отъ 18 февраля Руге, хотя и сомнѣвался въ правильности этого факта, но думалъ, что еще ничего не потеряно, если бы даже онъ подтвердился; предстоящіе въ маѣ выборы могутъ даже въ Цюрихѣ повести за собой перемѣну. «Къ тому же предъ нами всегда еще открыто достаточно мелкихъ кантоновъ, наконецъ, Страсбургъ, Брюссель и другіе большіе города. Когда ваши редакторскія мушкетеры въ

Кельнѣ окончатся, мы должны встрѣтиться, и, пожалуй, будетъ самымъ благоразумнымъ, если вы прїѣдете въ Лейпцигъ, разумѣется, на средства правленія, и тогда или останетесь нѣсколько мѣсяцевъ въ Дрезденѣ, или тотчасъ же поспѣшите къ мѣсту нашего возрожденія». Но Марксъ, повидимому, оцѣнивалъ положеніе дѣлъ въ Швейцаріи болѣе пессимистически; 19-го марта ему пишетъ Руге: «Письмо Ваше, дорогой другъ, говоритъ совершенную правду о галло-германскомъ принципѣ. Но если плетъ рѣчь о реализаціи его, то въ конечномъ счетѣ все будетъ зависѣть отъ того, какъ дѣйствовать. Вигандъ—человѣкъ, который, хотя и не понимаетъ положенія вещей, все же чуткѣмъ догадывается, и я подготовилъ его. Удивительное совпаденіе, что какъ разъ ему предлагаетъ Фребель вмѣстѣ съ собой основать собственную фирму въ Брюсселѣ. Я не думаю, чтобы Вигандъ принялъ это предложеніе, такъ какъ онъ слишкомъ честолюбивъ, чтобы работать вмѣстѣ съ Фребелемъ; тѣмъ не менѣе это броженіе въ книготорговлѣ даетъ нашимъ планамъ параллельный толчокъ, и, быть можетъ, черезъ нѣсколько недѣль все будетъ готово». Однако, такъ скоро дѣло не пошло; наоборотъ, Вигандъ совершенно устранился, между тѣмъ какъ Фребель далъ погибнуть «Deutsch'g Vote» и ограничился тѣмъ, что издалъ поступившія статьи подъ названіемъ «Двадцать одинъ листъ изъ Швейцаріи». Слишкомъ уже непрочна была почва въ Швейцаріи, тѣмъ болѣе, что реакціонное направленіе удержалось въ Цюрихѣ у власти.

3-го мая Руге писалъ своему брату, что Фребель и Марксъ должны на этихъ дняхъ прибыть въ Дрезденъ, и что вмѣстѣ съ Марксомъ онъ будетъ издавать *Revue radicale*. 24-го того же мѣсяца онъ сообщилъ Фейербаху планъ этого новаго предпріятія,—не въ томъ, правда, видѣ, какъ онъ былъ выполненъ, а какъ предполагался къ исполненію: «Мы хотимъ совершенно свободно печатать за-границей этотъ журналъ («Deutsch-Französische Jahrbücher») и вовсе выкинуть посредственный, схоластическій и традиціонный хламъ старыхъ журналовъ, затѣмъ объединиться въ журналъ съ самыми выдающимися французами: Леру, Прудономъ, Л. Бланомъ, быть можетъ, Ламартинномъ (Ламенэ и Корменэна, пожалуй, или не заплучивши, или они не годны); такимъ образомъ, они будутъ непосредственно сотрудничать съ нами (по-французски вѣдь всякій читаетъ) и образуютъ своего рода редакцію. Затѣмъ совмѣстно съ ними мы опубликуемъ объявленіе о названіи журнала и проспектъ и такимъ образомъ неожиданно, однимъ ударомъ, мы осуществимъ въ этомъ предпріятіи духовный союзъ двухъ націй». Насчетъ этого «галло-германскаго принципа», только что провозглашеннаго Фейербахомъ въ «Anecdota», Руге тѣмъ временемъ, повидимому, пришелъ къ соглашенію съ Марксомъ.

Въ Дрезденѣ Марксъ къ назначенному времени не прибылъ, а Фребель—лишь 31-го мая. Онъ былъ передъ тѣмъ въ Берлинѣ и велъ переговоры съ Бруно Бауэромъ. «Бауэръ хочетъ принять участіе, — сообщалъ Руге Марксу со словъ Фребеля. Онъ по поводу всего кипятился и неистовствовалъ и вначалѣ думалъ, что теперь дѣло должно распасться и каждый долженъ дѣйствовать за свой рискъ; но когда онъ услышалъ, что мы хотимъ именно теперь основать рѣшительный органъ радикализма, онъ перемѣнилъ свое

миѣніе и заявилъ, что, если этотъ планъ осуществится, онъ не отдѣлится. Всѣ другіе очень не поправились Фребелю и рѣшительно произвели на него впечатлѣніе глупыхъ парней, чего они никогда и не скрываютъ». Руге пришелъ къ соглашенію съ Фребелемъ, что журналъ долженъ начать выходить, если только можно, въ октябрѣ, по рѣшеніе относительно мѣста изданія было поставлено въ зависимость отъ рекогносцировочной поѣздки въ Брюссель и Парижъ, которую хотѣли предпринять въ августѣ Фребель и Руге. Между прочимъ Фребель очень жаловался на ярмарку и долгосрочный кредитъ, котораго требовали книготорговцы; онъ желалъ бы большаго оборотнаго капитала для предпріятія и по этому поводу повелъ переговоры съ Руге, немедленно набросавшимъ планъ акціонерной компаніи, согласно которому «друзья свободной печати» должны въ теченіе трехъ мѣсяцевъ покрыть 1.000 акцій по 50 талеровъ, приносящихъ каждую пасхальную ярмарку по 4% и предназначенныхъ къ тому, чтобы учредить книжное дѣло, «совершенно эманипировавшееся отъ цензуры» и дѣйствующее «внѣ предѣловъ завѣσμной кантональной полѣтнки Швейцаріи». Разумѣется, этотъ отважный для условій того времени планъ не осуществился; однако очень состоятельный Руге рѣшился вступить въ «Литературную Контору» съ 6.000 талерами на правахъ товарища на вѣрѣ.

Прежде чѣмъ начать поѣздку съ Фребелемъ, Руге посѣтилъ Фейербаха въ Брукбергъ и Маркса въ Крейцнахъ. 25-го іюля онъ былъ тутъ. 19-го іюня Марксъ наконецъ женился на своей невѣстѣ, за которую онъ отслужилъ семь лѣтъ, и эти годы «казались ему нѣсколькими днями—такъ крѣпко онъ ее любилъ». Въ медовый мѣсяць молодые должны были поѣхать, гдѣ имъ, за предѣлами Германіи, начать строить свое гнзздо! Въ Кельнѣ Руге встрѣтился съ Моисеемъ Гессомъ, проводившимъ его въ Брюссель и Парижъ и здѣсь познакомившимъ съ французскими социалистами: Луи Бланомъ, Каба, Дезами, Леру, Консидераномъ, Флора Тристаномъ и другими. 11-го августа, на третій день своего парижскаго пребыванія, Руге сообщалъ Марксу: «Брюссель гораздо больше отрѣзанъ отъ нѣмецкой жизни, чѣмъ Парижъ. Здѣсь имѣются всѣ газеты и всѣ книги, не считая 85.000 человекъ изъ нашей любезной родины; въ Брюсселѣ, напротивъ, во всемъ недостатокъ. Нѣмецкіе ученые тамъ слышкомъ бѣдны, чтобы все себѣ покупать, а нѣмецкая публика недостаточного численна, чтобы дать столько дѣла нѣмецкой книготорговцѣ, какъ здѣсь. Зато въ Брюсселѣ печать значительно свободнѣе. Въ Брюсселѣ нѣтъ ни сентябрьскихъ законовъ, ни залоговъ и всего того, что теперь въ Парижѣ такъ ужасно гнететъ». Нѣкоторое время подумывали, не избрать ли мѣстомъ пребыванія новаго предпріятія Страсбургъ, что, повиднмому, особенно отвѣчало желаніямъ молодой четы Марксовъ. Но 22-го сентября Руге писалъ Марксу: «Фребель здѣсь, и конецъ пѣсни—Парижъ». Онъ самъ переѣдетъ сюда, и пусть Марксъ рѣшится лучше въ пользу Парижа, чѣмъ Страсбурга; на 3.000 франковъ или нѣсколько больше можно прожить въ Парижѣ. Впрочемъ, какъ видно изъ позднѣйшаго письма Руге къ Фейербаху, Марксъ получалъ всего 500 талеровъ редакторскаго жалованья.

Въ ноябрѣ 1843 года Марксъ съ женой переселился въ Парижъ. 30-го октября онъ писалъ еще изъ Крейцнаха Фейербаху съ просьбой о сотрудничествѣ въ новомъ журналѣ. 1-го декабря Руге изъ Франкфурта на Майнѣ извѣщалъ о своемъ прибытіи въ Парижъ Маркса, бывшаго уже тамъ. «Дамы—ваша жена, мой уважаемый другъ, прежде всего—должны заранѣе подумать, гдѣ бы мнѣ пристать съ моимъ Ноевымъ ковчегомъ, и не найдется ли сразу подходящей квартиры, на которой бы я могъ какъ можно скорѣе остановиться». 10-го декабря въ парижской печати возгорѣлась полемика относительно участія Ламартина въ новомъ журналѣ; онъ утверждалъ, что не давалъ своего согласія, тогда какъ Руге и Марксъ увѣряли въ противномъ. Имъ не удалось привлечь въ свой журналъ хотя бы только одного французскаго писателя; Луи Бланъ обрушился на нихъ религіозно-филистерскими рѣчами; вѣроятно, памятуя эти уроки, писалъ Марксъ въ некрологѣ о Прудонѣ: его нападки на религію и церковь имѣли большое мѣстное значеніе въ эпоху, когда французскіе социаллисты считали для себя приличнымъ быть религіознѣ буржуазнаго вольтеріанства XVIII вѣка и нѣмецкаго безбожія XIX вѣка. Прудонъ въ то время жилъ еще въ провинціи, и съ нимъ не вступали въ переговоры. Леру, другой французскій социалистъ, занимавшійся нѣмецкой философійю, къ этому времени, по свидѣтельству Руге, совсѣмъ сложилъ свое писательское оружіе, погрузившись въ изобрѣтеніе наборной машины.

Подъ заголовкомъ «Нѣмецко-Французскій Ежегодникъ, издаваемый Арнольдомъ Руге и Карломъ Марксъ», появились затѣмъ два выпуска новаго журнала, повидямому, въ одной книжкѣ и не раньше марта 1844 г. Определенное указаніе о выходѣ въ свѣтъ журнала имѣется даже только отъ 28-го марта; такъ какъ въ текстѣ книжки еще упоминается объ одной нѣмецкой газетѣ отъ 25-го января, а печатаніе непрестанно задерживалось, то книжка, вѣроятно, не многимъ раньше могла появиться въ свѣтъ. Какъ извѣстно, на этомъ изданіи и окончилось; денежные средства Фребеля изсякли, а новаго издателя нельзя было получить; къ тому же контрабандная перевозка черезъ границу оказалась очень затруднительной, и, наконецъ, между Марксомъ и Руге возникли принципиальныя разногласія.

Объ этихъ разногласіяхъ будетъ рѣчь впереди. Здѣсь намъ прежде всего необходимо опредѣлить историческое мѣсто работъ, опубликованныхъ Марксомъ и Энгельсомъ въ «Deutsch-Französische Jahrbücher».

1. Гуманизмъ Фейербаха.

Въ самомъ общемъ смыслѣ этимъ историческимъ мѣстомъ является гуманизмъ Людвигъ Фейербаха. Съ него начинается Марксъ свою критику гегелевской философіи права, имъ же кончается Энгельсъ свою критику Карлейля.

Въ своей работѣ о Фейербахѣ Энгельсъ говоритъ, что масса наиболѣе рѣшительныхъ дѣвъ гегелянцевъ была практически вынуждена въ борьбѣ

противъ религіи обратиться къ англо-французскому матеріализму. Но тѣмъ самымъ они вступили въ конфликтъ съ системою ихъ школы, учившей, что природа—лишь «обнаруженіе» идеи, что идея, слѣдовательно, первоначальное, а природа—лишь производное. Въ этомъ противорѣчii они безконечно бы топтались. «Тутъ явилась феѳербаховская «Сущность христіанства». Однимъ ударомъ разсѣялъ онъ противорѣчіе, безъ всякихъ околичностей снова посадивъ на тронъ матеріализмъ. Природа существуетъ независимо отъ всякой философіи; она—основа, на которой выросли мы, люди, сами продуктъ природы; вѣдь природы и человѣка ничто не существуетъ, а высшія существа, которыя создала наша фантазія,—лишь фантастическое отраженіе нашего собственнаго существа. Чары были разсѣяны, «система» взорвана и отброшена въ сторону, противорѣчіе, какъ существующее лишь въ воображеніи, разрѣшено. Нужно было самому пережить освободительное дѣйствіе этой книги, чтобы составить себѣ о томъ представленіе. Воодушевленіе было всеобщимъ, мы всѣ сразу сдѣлались послѣдователями Феѳербаха». Энгельсъ прибавляетъ сюда: съ какимъ энтузіазмомъ привѣтствовали Марксъ новую теорію и какъ сильно онъ былъ охваченъ ею, несмотря на всѣ критическія оговорки,—это можно видѣть изъ «Святого Семейства».

Вліяніе это отразилось еще раньше—въ «Deutsch-Französische Jahrbücher». «Сущность христіанства» появилась уже въ 1841 году, вскорѣ послѣ Бауэровской критики синоптиковъ, но въ первыхъ, вслѣдъ затѣмъ появившихся работахъ Маркса нельзя было замѣтить особеннаго вліянія Феѳербаха. Лишь въ «Deutsch-Französische Jahrbücher» это вліяніе мощно выступаетъ впередъ; но въ промежутокъ между основаніемъ этого журнала и гибелью «Рейнской Газеты» появился въ «Anecdota» предварительные тезисы Феѳербаха къ реформѣ философіи. Собственно говоря, въ нихъ не заключалось больше, чѣмъ заключалось въ «Сущности христіанства», но зато они въ сжатыхъ, краткихъ, рѣшительныхъ положеніяхъ порывали съ гегелевскою философіею и должны были произвести на Маркса глубокое впечатлѣніе; вѣдь та самая тѣлесная дѣйствительность, которую Феѳербахъ съ рѣшительной силой противопоставилъ нечувствительной абстракціи Гегеля, вызвала и въ Марксѣ глубочайшее сомнѣніе въ правильности этой философіи!

Подобно тому, какъ въ «Сущности христіанства» Феѳербахъ объявлялъ антропологію тайною теологію, такъ и въ тезисахъ онъ объявлялъ теологію тайною спекулятивной философіи, родоначальникомъ которой былъ Спиноза, а завершителемъ — Гегель. Пантеизмъ есть необходимое слѣдствіе теологіи или деизма, есть послѣдовательная теологія, а атеизмъ—необходимое слѣдствіе пантеизма,—послѣдовательный пантеизмъ. Пантеизмъ есть отрицаніе теологіи съ точки зрѣнія теологіи, атеизмъ есть пантеизмъ на изнанку. Подобно тому, какъ теологія раздваиваетъ и отчуждаетъ человѣка, дабы затѣмъ эту отчужденную сущность снова отождествить съ самимъ человѣкомъ, такъ и Гегель умножилъ и раздробилъ простую, себѣ идентичную сущность природы и человѣка, дабы насильно разъединенное снова насильно воссоединить.

«Абсолютный дух»—это умерший дух теологич., подобно призраку еще блуждающий въ гегелевской философіи. Теологія есть вѣра въ призраки. Обыденная теологія имѣетъ свои призраки въ чувственномъ воображеніи, спекулятивная философія—въ нечувственной абстракціи. Абстрагировать—значитъ видѣть сущность природы внѣ природы, сущность чело-вѣка внѣ чело-вѣка, сущность мышленія внѣ процесса мысли. Гегелевская философія отчуждила чело-вѣка отъ себя самого, такъ какъ вся гегелевская система покоится на этихъ актахъ абстракціи. Правда, она вновь отождествила то, что разлучила, но лишь раздѣльнымъ, посредственнымъ образомъ. Гегелевской философіи недостаетъ непосредственного единства, непосредственной достовѣрности, непосредственной правды. Непосредственное, ясное какъ день, правдивое отождествленіе съ чело-вѣкомъ сущности чело-вѣка, отчужденной путемъ абстракціи отъ него самого, не можетъ быть выведено изъ гегелевской философіи положительнымъ путемъ, а лишь какъ ея отрицаніе; вообще, его можно только постигнуть, только понять, если разумѣть гегелевскую философію какъ полное отрицаніе спекулятивной философіи, хотя она и составляетъ истину этой послѣдней. Правда, въ гегелевской философіи заключается все, но всегда вмѣстѣ съ его отрицаніемъ, его противоположностью.

Честность и правдивость во всемъ полезны—даже и въ философіи. Но философія бываетъ честной и правдивой лишь тогда, когда она признаетъ конечность своей спекулятивной безконечности,—признаетъ, слѣдовательно, что, напр., тайна природы въ Богѣ есть не что иное, какъ тайна чело-вѣческой природы, что тьма, которую она приписываетъ Богу, чтобы изъ нея извлечь свѣтъ сознанія, есть не что иное, какъ ея собственное, темное, истиннообразное чувство реальности и необходимости матеріи. Превжній путь спекулятивной философіи отъ абстрактнаго къ конкретному, отъ идеальнаго къ реальному былъ ложенъ. Такимъ путемъ нельзя никогда притти къ истинной, объективной реальности, а всегда лишь къ реализаціи своей собственной абстракціи, и именно потому никогда нельзя притти къ истинной свободѣ духа; ибо только воззрѣніе на вещи и сущность въ ихъ объективной дѣйствительности дѣлаетъ чело-вѣка свободнымъ отъ всякихъ предразсудковъ. Философія есть познаніе того, что есть. Мыслить о вещахъ, познавать ихъ такъ, какъ онѣ суть, составляетъ высшій законъ, высшую задачу философіи.

Какова философія, таковъ и философъ, и обратно: свойства философа—субъективные условия и элементы философіи—являются и объективными ея условиями. Истинный, тождественный съ жизнью, чело-вѣкомъ, философъ долженъ быть галло-германскаго происхожденія. Эта мысль была высказана уже въ 1716 въ году въ Acta philosophorum: «Если мы сравнимъ нѣмцевъ и французовъ, то хотя ingenia послѣднихъ отличаются большей живостью, зато у первыхъ больше солидности, и потому можно сказать, что temperamentum gallo-germanicum всего болѣе пригоденъ для философіи, или что ребенокъ, имѣющий отцомъ француза и матерью нѣмку, долженъ (при равенствѣ прочихъ условий) унаслѣдовать хорошее ingenium philosophicum». Фейербахъ думалъ лишь, что матерью должна быть французенка, а

отпомъ—нѣмецъ. Сердце—женскій принципъ, чувство конечнаго, мѣсто-пробываніе матеріализма—чувствуетъ по-французски; голова—мужской принципъ, мѣстопробываніе идеализма—по-нѣмски. Сердце—революционеръ, голова—реформаторъ; голова приводитъ вещи къ покою, сердце—въ движеніе. Но только тамъ, гдѣ движеніе, волненіе, страсть, кровь, чувственность, тамъ и духъ. Лишь умъ Лейбница, его сангвиническій, матеріалистически-идеалистическій принципъ впервые вырвалъ нѣмцевъ изъ ихъ педантичности и схоластичности.

Гегелевская философія есть упраздненіе противорѣчія между мышленіемъ и бытіемъ, какъ оно было высказано особенно Кантомъ, но замѣтьте! лишь упраздненіе этого противорѣчія въ предѣлахъ противорѣчія—въ предѣлахъ *одного* элемента—въ предѣлахъ мышленія. У Гегеля мысль есть бытіе—мысль есть субъектъ, бытіе—предикатъ. Именно потому и не пришелъ Гегель къ бытію, какъ бытію, къ свободному, самостоятельному, въ себѣ счастливому бытію. Кто не откажется отъ гегелевской философіи, тотъ не отказывается и отъ теологій. Гегелевское ученіе, что природа, реальность полагается идеей, есть лишь раціональное выраженіе теологическаго ученія, что природа создана Богомъ, матеріальная сущность—нематеріальной, абстрактной сущностью. Гегелевская философія есть послѣднее прибѣжище, послѣдняя раціональная опора теологій. Истинное отношеніе мышленія къ бытію только таково: бытіе есть субъектъ, мышленіе—предикатъ, но такой предикатъ, который заключаетъ въ себѣ сущность своего субъекта. Мышленіе возникло изъ бытія, а не бытіе изъ мышленія. Бытіе возникло изъ себя и черезъ себя—бытіе дается только бытіемъ—бытіе имѣетъ свою основу въ себѣ самомъ, ибо только бытіе есть чувство, разумъ, необходимость, истина, слово, все во всемъ. «Бытіе *есть*, ибо небытіе есть небытіе, т.-е. ничто, есть *безмыслица*». Сущность бытія, какъ *бытія*, есть сущность природы; происхожденіе во времени распространяется лишь на формы, но не сущность природы.

«Кто, подобно такъ называемымъ позитивнымъ философамъ, ищетъ *особою* реального принципа философіи, тотъ

Ist wie ein Thier auf dürrer Heide
Von einem bösen Geist im Kreis herum geführt,
Und rings umher liegt schöne grüne Weide ¹⁾.

Этой пажитью прекрасной являются природа и человѣкъ, ибо оба принадлежатъ къ одному. Взгляните на природу, взгляните на человѣка! Здѣсь передъ вашими глазами мистерія философіи».

Всякое разсужденіе о правѣ, волѣ, свободѣ, личности безъ человѣка, внѣ человѣка или даже надъ человѣкомъ есть разсужденіе безъ единства,

1) Какъ глухой скотъ, что бѣсомъ обольщенъ
Бредеть, въ степи безлюдной заключенъ,
Невдалекѣ отъ пажити прекрасной.

(пер. Ник. Холодковского).

безъ необходимости, безъ субстанціи, безъ основы, безъ реальности. Человѣкъ есть бытіе свободы, бытіе личности, бытіе права. Лишь человѣкъ есть основа фихтевскаго «Я», основа лейбницевской монады, основа абсолютнаго. Всѣ науки должны покоиться на природѣ. Всякое ученіе остается лишь гипотезой до тѣхъ поръ, пока не найдено его естественное основаніе. Это въ особенности относится къ ученію о свободѣ. Только новой философій удастся натурализовать свободу, бывшую до сихъ поръ противоестественной и сверхъестественной гипотезой. Философія должна снова соединиться съ естествознаніемъ, естествознаніе—съ философій. Этотъ союзъ, основанный на взаимной потребности, на внутренней необходимости, будетъ продолжительнѣе, счастливѣе и плодотворнѣе, чѣмъ неравный бракъ, бывший до сихъ поръ между философій и теологіей.

Какъ ни увлекательно были написаны эти тезисы Фейербаха, все же заключительное его замѣчаніе о государствѣ было очень недостаточнымъ. Человѣкъ есть единое цѣлое государства. Государство есть реализованная, развитая, раскрытая цѣлостность человѣческаго существа. Существенныя качества или способности человѣка осуществляются въ государствѣ особыми сословіями, но снова приводятся къ тождеству въ личности главы государства. Глава государства долженъ представлять всѣ сословія безъ различія; передъ нимъ всѣ они равно необходимы, равно правомочны. Глава государства есть представитель универсальнаго человѣка. Поскольку Фейербахъ опередилъ Гегеля въ натуръ-философіи и философій религіи, настолько же онъ остался позади Гегеля въ философій права и государства. По своему Гегель прославлялъ и монархію, но за этихъ прославленіемъ скрывалось лукавство.

Марксъ познакомился съ тезисами Фейербаха тотчасъ послѣ появленія «Анекдота», еще въ то время, когда онъ состоялъ въ редакціи «Рейнской Газеты». Мы уже упоминали о письмѣ Руге отъ 19-го марта, изъ котораго видно, что Марксъ привѣтствовалъ «галло-германскій принципъ»; изъ того же письма видно, однако, первая и въ то же время главная критическая оговорка, которую Марксъ могъ выдвинуть противъ Фейербаха. Руге пишетъ Марксу: «Я согласенъ съ вами насчетъ натурфилософской односторонности Фейербаха. Но, кромѣ того, онъ обладаетъ очень большимъ политическимъ смысломъ, только онъ думаетъ, что въ Германіи можно подойти къ вопросу не иначе, какъ со стороны теологіи. Мы не можемъ обойтись безъ религіи—это вѣрно, но вѣдь при всемъ томъ уже теперь есть сильно проявившаяся реально-политическая атмосфера, которая требуетъ культуры, свѣта и тепла».

Быть можетъ, было бы правильнѣе сказать, что у Фейербаха было очень много политическаго чувства; онъ былъ слишкомъ гуманнымъ мыслителемъ, чтобы не воспринимать политическихъ вопросовъ демократически. Но съ политическими его разсужденіями дѣло всегда обстояло плохо, потому что матеріальныя условія жизни, отъ которыхъ онъ никогда не могъ освободиться, сузили его кругозоръ. Какъ ни добивались Руге и Марксъ его сотрудничества, какъ сильно ни виталъ его духъ надъ «Deutsch-Französische Jahrbücher», его участіе въ журналѣ выразилось

всего лишь въ нѣсколькихъ строкахъ; хотя первоначально Фейербахъ въ этихъ именно строкахъ выразилъ свое согласіе, но затѣмъ его стали обуревать разнаго рода сомнѣнія; къ тому же тяжеловѣсность его манеры работать помѣшала ему дать характеристику Шеллинга, которой просилъ у него Марксъ въ любезно-настойчивой формѣ.

Но гуманистическій принципъ Фейербаха, какъ таковой, былъ для Маркса откровеніемъ. По сравненію съ нимъ французскій социализмъ былъ лишь зародышемъ. Надо полагать, что Марксъ началъ изучать его въ нѣмцы досуга, послѣдовавшіе за запрещеніемъ «Рейнской Газеты»; но въ то время какъ одни предлагали ему догматическія абстракціи, готовые картины будущаго, предъявлявшія невозможное притязаніе на то, что ими окончательно завершается историческое развитіе,—другіе гнали его безъ руля по вѣтру и волнамъ въ метафизическія области, гдѣ вѣрнымъ компасомъ служила нѣмцамъ гегелевская діалектика. Это та діалектика, при помощи которой Марксъ хочетъ искать своей дороги во «всеобщей анархіи среди реформистовъ». Онъ самъ признается и требуетъ такого же признанія отъ другихъ, что у нихъ нѣтъ точнаго представленія о томъ, что должно случиться. Но именно въ этомъ онъ видитъ преимущество новаго направленія, пбо оно не хочетъ догматически предвосхитить міръ, а изъ критики стараго міра найти новый. Если не ихъ дѣло давать конструкцію будущаго и шаблоны на все времена, то тѣмъ опредѣленіе задачи, которую они должны выполнить: беспощадная критика всего существующаго, беспощадная въ двойномъ смыслѣ—въ томъ, что критика не останавливается ни передъ своими результатами, ни передъ конфликтномъ съ предрѣжащими властями.

Издателямъ пришла счастливая мысль начать «Deutsch-Französische Jahrbücher» переименовавъ «реформистовъ», потому что въ ней съ объективной, такъ сказать, пластичностью выражалось ихъ смущеніе по вопросу: куда? Были ли эти письма въ такомъ видѣ написаны или переработаны ихъ авторами для печати, съ достовѣрностью сказать нельзя; вѣрно то, что переписка эта не вымышленна, какъ думалъ Трейтчке. Слишкомъ ужъ ясно выступаетъ индивидуальность авторовъ, чтобы можно было допустить подобное предположеніе. Въ то время какъ Руге бурлитъ, а Бакунинъ хвастается, Фейербахъ проявляетъ хладнокровное спокойствіе мудреца, который стремится лишь не отстать отъ жизни. Марксъ, напротивъ, въ самой гущѣ жизни, и бѣдствія нѣмцевъ вызываютъ въ немъ тѣмъ больше надеждъ, чѣмъ глубже—значительно глубже другихъ—онъ проникаетъ къ ихъ основанію. Практическая школа, пройденная Марксомъ въ «Рейнской Газетѣ», показываетъ теперь свои счастливыя стороны. Марксъ хочетъ дѣйствительной борьбы; онъ хочетъ сообразоваться съ тѣмъ, что когда-то въ Германіи дѣйствительно было, какимъ бы плохимъ, отстающимъ, обветшалымъ оно ни было; онъ хочетъ поднять религиозные и политическіе вопросы, волновавшіе его нѣмецкихъ современниковъ, на высоту сознательной человѣческой формы.

Для религіи главное было сдѣлано Фейербахомъ. Но передъ политикой гуманизмъ Фейербаха стоялъ такъ же безпомощно, какъ французскій со-

циализмъ, который отодвигалъ въ сторону политическіе вопросы или, въ лучшемъ случаѣ, признавалъ за ними второстепенное значеніе. Ближайшей задачей Маркса явилась, такимъ образомъ, критика гегелевской философіи права, недостаточность которой онъ практически испыталъ уже въ то время, когда работалъ для «Рейнской Газеты».

2. Общество и государство.

Въ «Deutsch-Französische Jahrbücher» Марксу удалось напечатать лишь введеніе къ критикѣ гегелевской философіи права. Ея результатъ онъ позднѣе формулировалъ въ слѣдующихъ словахъ: «Мое изслѣдованіе привело къ выводу, что правовыя отношенія, какъ и формы государства, не могутъ быть поняты ни изъ самихъ себя, ни изъ такъ называемаго всеобщаго развитія человѣческаго духа, а, наоборотъ, коренятся въ матеріальныхъ жизненныхъ условіяхъ, совокупность которыхъ Гегель, по призыву англичанъ и французовъ 18-го вѣка, опредѣлилъ именемъ «гражданскаго общества»; что анатомію гражданскаго общества надо искать въ политической экономіи». Если Гегель видѣлъ въ политическомъ государствѣ «завершеніе зданія», то Марксъ, наоборотъ, доказывалъ, что именно въ гражданскомъ обществѣ, которое Гегель съ слишкомъ большимъ пренебреженіемъ трактовалъ какъ «Noth—und Verstandes-Staat» (государство нужды и разсудка), должно искать ключа къ пониманію историческаго процесса развитія.

Для Маркса вопросъ облекался прежде всего въ форму вопроса объ отпущеніи политической эмансипаціи къ человѣческой. Марксъ исходилъ изъ феѳербаховской критики религіи. «Критика религіи разочаровываетъ человѣка, дабы онъ мыслилъ, дѣйствовалъ, развивалъ свою дѣйствительность, какъ разочарованный, образумившііся человѣкъ, дабы онъ двігался вокругъ себя самого и выѣстъ съ тѣмъ вокругъ своего дѣйствительнаго солнца... Критика религіи закапчивается ученіемъ, что человѣкъ есть высшее существо для человѣка, слѣдовательно, категорическимъ императивомъ опрокинуть все отношенія, въ которыхъ человѣкъ является униженнымъ, поработаннымъ, покиннутымъ, презрѣннымъ существомъ... Единственное практически возможное освобожденіе Германіи есть освобожденіе, въ основу котораго положена теорія, возвышающая человѣка высшей сущностью человѣка». Эта мысль красной чертой проходитъ черезъ статью: «Къ критикѣ гегелевской философіи права».

Переходъ къ этой философіи Марксъ находитъ въ томъ, что она есть единственная нѣмецкая исторія, стоящая на одномъ уровнѣ съ оффиціальной повой современностью. Германія въ своей дѣйствительности далеко отстала отъ этой современности; главная проблема новаго времени — отношеніе промышленнаго міра къ политическому — находится въ Германіи еще въ стадіи завязки, въ Англии же и Франціи — уже при развязкѣ. Марксъ намекаетъ на агитацію Листа, чтобы на ея отдаленности отъ французскаго и англійскаго социализма показать всю отсталость германскихъ

условій. Что въ передовыхъ странахъ является уже практически разрушеніемъ современныхъ государственныхъ условій, то въ Германіи, гдѣ этихъ условій еще даже нѣтъ, представляется пока критическимъ разрушеніемъ философскаго отраженія этихъ условій.

Но въ этомъ вопросѣ Марксъ проникаетъ глубже Фейербаха. Послѣдній упразднилъ гегелевскую философію, дабы безстрашно броситься впередъ; Марксъ, напротивъ, какъ хорошій діалектикъ, знаетъ, что нельзя преодолѣть историческаго развитія простымъ его отрицаніемъ. Либераламъ, въ родѣ Гагземана и сотоварищей, онъ говоритъ: Вы не можете упразднить философію, не осуществивъ ея; а философамъ, въ родѣ Бауэра и товарищей, онъ говоритъ наоборотъ: Вы не можете осуществить философію, не упразднивъ ея. Рѣчь идетъ о задачахъ, разрѣшеніе которыхъ возможно лишь на практикѣ, и потому возникаетъ вопросъ: какимъ образомъ можетъ Германія достигнуть практики, отвѣчающей принципамъ, достигнуть революціи, которая бы подняла ее не только до оффиціального уровня современныхъ народовъ, но и на ту человѣческую высоту, которая будетъ ближайшимъ будущимъ этихъ народовъ?

Къ этой цѣли ведетъ лишь одинъ путь: теорія должна захватить массы. Но это не столько разрѣшаетъ вопросъ, сколько углубляетъ его. Теорія будетъ всегда находить въ народѣ свое осуществленіе лишь постольку, поскольку она является осуществленіемъ его потребностей. Какимъ же образомъ Германія, практически не достигшая даже степеней, теоретически ею уже пройденныхъ, можетъ однимъ salto mortale перескочить не только черезъ свои собственныя преграды, но въ то же время и черезъ преграды, которыя въ дѣйствительности она должна воспринимать, какъ освобожденіе отъ своихъ дѣйствительныхъ преградъ, и къ которымъ, поэтому, она должна стремиться? Радикальная революція можетъ быть лишь революціей радикальныхъ потребностей, для которыхъ, повидному, нѣтъ ни предпосылокъ, ни мѣста.

Но если Германія не участвовала въ завоеваніяхъ историческаго развитія, за то она претерпѣла свои страданія; въ одинъ прекрасный день она отутится на уровнѣ европейскаго распада, ни разу не бывавъ на уровнѣ европейской эмансипаціи. Германія, это убожество политической современности, конституировавшееся въ свой особый міръ, не сможетъ испровергнуть специфически нѣмецкихъ преградъ, не повергнувъ общихъ преградъ политической современности. Не обще-человѣческая эмансипація, а исключительно политическая революція есть утопія для Германіи, исключительно политическая революція, покоящаяся на томъ, что часть гражданскаго общества эмансипируется и достигаетъ всеобщаго господства, что извѣстный классъ, исходя изъ своего собственнаго положенія, предпринимаетъ эмансипацію всего общества, что этотъ классъ освобождаетъ все общество, но въ томъ лишь предположеніи, что все общество находится въ положеніи этого класса, слѣдовательно, владѣетъ, напр., деньгами и образованіемъ или можетъ по желанію приобрести ихъ.

И вотъ Марксъ доказываетъ, что предпосылокъ для такой политической революціи въ Германіи не имѣется, что филлистерская умѣренность всѣхъ

классовъ въ Германіи является къ тому непреодолимымъ препятствіемъ, что Германіи недостаегь драматическаго напряженія классовой борьбы, что каждая изъ ея сферъ будетъ побѣждена прежде, чѣмъ она побѣдитъ, что каждый классъ, прежде чѣмъ начать бой съ классомъ, выше его стоящимъ, будетъ уже вовлеченъ въ бой съ классомъ, ниже его стоящимъ. Такимъ образомъ положительная возможность эмансипации Германіи поконится на образованіи класса, который уже не можетъ сослаться на историческое, а лишь на человѣческое право; который не можетъ эмансипироваться, не эмансипировавъ себя отъ всѣхъ другихъ классовъ общества и потому всѣ другіе классы общества; который совершенно утратилъ человѣческой обликъ, сѣловательно, можетъ обрѣсти себя самого лишь полнымъ новымъ возрожденіемъ человѣка. Это разложившееся общество, какъ особый классъ, есть пролетаріатъ.

Подобно тому какъ философія находитъ въ пролетаріатѣ свое матеріальное оружіе, такъ и пролетаріатъ находитъ въ философіи свое духовное оружіе, и лишь только молнія мысли крѣпко ударитъ въ эту наивную народную почву, совершится и эмансипация иѣмцевъ въ людей. Эмансипация иѣмца есть эмансипация человѣка. Философія не можетъ быть осуществлена безъ упраздненія пролетаріата, а пролетаріатъ не можетъ упразднить себя безъ осуществленія философіи. Когда всѣ внутреннія условія будутъ налицо, день иѣмецкаго возстанія изъ мертвыхъ будетъ возвѣщенъ крикомъ галльскаго пѣтуха.

Введеніе къ критикѣ гегелевской философіи права принадлежитъ къ числу самыхъ значительныхъ работъ молодого Маркса, и именно потому оно издавна возбуждало величайшее негодованіе экстраординарныхъ профессоровъ, помогающихъ ординарной профессуре. Каррикатурный стиль, крайняя степень безвкусицы, дальше которой не пошелъ даже самъ Марксъ, совершенно неудачныя пророчества, рѣшительнѣйшія утвержденія безъ малѣйшей попытки ихъ доказательства: развѣ исключительно политическая революція не наступила въ Германіи, хотя по Марксу она должна была быть невозможной? Или развѣ Англія и Франція находятся на высотѣ человѣческой эмансипации, на которой онѣ уже должны были находиться въ 1844 году, «въ ближайшемъ будущемъ»? Такъ кричатъ орлы и завываютъ волки капитализма.

Просимъ прощенія, что потратили время на эту вздорную болтовню. Инстинктивно они по крайней мѣрѣ чувуютъ, что духъ молодого Маркса именно въ этой работѣ нашелъ свое типическое и по формѣ и по содержанию выраженіе; потому онъ такъ сильно и раздражаетъ профессорское тупоуміе. Напротивъ, у кого сохранилась хоть крупница эстетическаго вкуса, не безъ наслажденія будетъ восхищаться діалектической силой, съ какой молодой мыслитель укрощаетъ переплывающійся черезъ край потокъ мыслей. «Манерничаніе», въ которомъ будто бы повинны юношескія работы Маркса, можетъ быть постигнуто въ его дѣйствительной сущности тещерь, когда эти работы снова стали всѣмъ доступными: оно не что иное, какъ наивная радость гения своей творческой силой, иногда, правда, вырождающаяся въ смѣлый задоръ, въ родѣ того, какъ въ гётевскомъ Гецѣ

или шиллеровских Разбойникахъ. Даже буржуазный историкъ литературы, который бы вопреки истинѣ отыскалъ «манерничаніе» въ этихъ первыхъ гениальныхъ наброскахъ, подвергся бы безнадежному сраму, но тамъ, гдѣ дѣло касается Маркса, даже самый безнадежный срамъ становится спасительнымъ дѣяніемъ для официальной, разумѣется, науки.

То, что въ «Критикѣ гегелевской философіи права» Марксъ предсказываетъ будущему Германіи, является еще философскимъ гороскопомъ; исходя изъ фѣйербаховскаго гуманизма, онъ пытается вырисовать основныя черты нѣмецкой эмансипаціи, какъ общечеловѣческой эмансипаціи. Но его философія проникнута и насыщена зародышами историческаго міровоззрѣнія. Мастерски характеризуетъ онъ французскую революцію, историческое право которой такъ трудно было постичь французскому социализму, какъ всеобщую эмансипацію общества, предпринятую опредѣленнымъ классомъ, исходящимъ изъ своего особеннаго положенія; какъ эмансипацію, которая не могла бы совершиться, если бы не вызвала на время энтузіазма въ массы, отъ чего, казалось, этотъ классъ сливается съ обществомъ вообще, дабы затѣмъ предстать лишь эмансипаціей опредѣленнаго класса, отъ котораго она исходила. И развѣ Марксъ не былъ правъ въ томъ, что нѣмецкой буржуазіи недостаетъ революціоннаго мужества, давшаго французской буржуазіи вызывающій пароль: Я—ничто, но должна бы быть всѣмъ?

Всякій учебникъ исторіи учитъ тривіальной мудрости, что въ Германіи произошла исключительно политическая революція. Но развѣ эта политическая революція не была «утопическимъ сномъ» въ томъ смыслѣ, въ какомъ Марксъ предсказывалъ ея будущее? Развѣ въ этой революціи нѣмецкая буржуазія не потерпѣла пораженія, прежде чѣмъ смогла отпраздновать свою побѣду, развѣ она не создала свою собственную преграду, прежде чѣмъ смогла преодолѣть противопоставленную ей грань, развѣ она не проявила своей узкосердечной сущности, прежде чѣмъ смогла осуществить свою великодушную сущность? Развѣ она не была вовлечена въ борьбу съ пролетаріатомъ, прежде чѣмъ начала борьбу съ феодализмомъ? И не значило ли предсказать первоисточникъ всѣхъ страданій и мукъ, въ теченіе полустолѣтія переживаемыхъ Германіей, когда Марксъ говорилъ: страна эта въ одинъ прекрасный день очутится на уровнѣ европейскаго разложенія, никогда еще не побывавъ на уровнѣ европейской эмансипаціи? Именно въ настоящій моментъ, когда нѣмецкому народу угрожаетъ безпримѣрный разбойническій набѣгъ земельной ренты, приходится вспомнить, что въ 1844 году Англія во всякомъ случаѣ должна была «въ близкомъ будущемъ» достигнуть «человѣческой высоты», безповоротно дѣлающей невозможными такіе набѣги.

Такимъ образомъ критика гегелевской философіи права, исполненная Марксомъ, открыла новыя горизонты; ее можно, конечно, порицать за то, что она слишкомъ ясно разоблачила будущее, отчего это будущее показалось ближе, чѣмъ это дѣйствительно было. Какое впечатлѣніе производилъ эти предсказанія на современниковъ, показываетъ письмо, отправленное Марксу Георгомъ Юнгомъ 26-го іюля 1844 года. Юнгъ прежде всего

сообщаетъ, что сто экземпляровъ журнала конфискованы баденскимъ правительствомъ на пароходѣ, и просить новаго транспорта въ Люттихъ или Вервье, беря на себя контрабандный провозъ его черезъ границу. Переходя затѣмъ къ возстанію силезскихъ ткачей, онъ писалъ: «Силезскія волненія, вѣроятно, васъ такъ же поразили, какъ и насъ. Они—блестящее доказательство правильности вашей конструкціи настоящаго и будущаго Германіи во введеніи къ философіи права. Особенно вѣрнымъ оказалось ваше утвержденіе, что, такъ какъ ни одна система, ни одинъ отдѣльный классъ не достигъ особаго господства, то и треніе, борьба будутъ значительно слабѣе. Повсюду симпатіи къ ткачамъ, мятежникамъ, и если кто въ газетахъ беретъ это возстаніе на подозрѣніе и говоритъ о немъ въ суровыхъ выраженіяхъ, то это не капитализмъ, не буржуа, а въ крайнемъ случаѣ не въ мѣру усердный чиновникъ, который не можетъ понять, что королевско-прусскіе штаты встрѣтили отпоръ. Въ «Kölnische Zeitung» вы найдете теперь больше коммунизма, чѣмъ когда-то въ «Рейнской Газетѣ»; мало того, она открываетъ подписку въ пользу осерѣвшихъ семей силезскихъ ткачей, павшихъ во время недавнихъ печальныхъ событій, слѣдовательно, въ пользу семействъ мятежниковъ самаго опаснаго сорта. Богѣе того, въ добромъ, солидномъ казино въ честь г. фонъ-Герлаха дается прощальный обѣдъ (тоже хорошая исторія: бѣдному служацкѣ ставить въ вину «Рейнскую Газету» и разныя другія провинности, и вотъ его переводятъ противъ желанія въ Эрфуртъ — въ газетахъ объявлено: по желанію, — и этотъ господинъ, подобно дрянной книгѣ, подвергшейся запрещенію, сразу приобретаетъ цѣну въ глазахъ публики!). Присутствуютъ самыя богатые купцы и высшіе чиновники и собираютъ сотни талеровъ въ пользу спротивъ повстанцевъ! Въ виду такихъ фактовъ то, что нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ было у васъ еще смѣлымъ, совершенно новымъ построеніемъ, стало теперь почти достовѣрностью общаго мѣста». Факты, о которыхъ рассказывалъ Юнгъ, конечно, не могутъ теперь имѣть мѣста въ Германіи: даже въ пользу женъ и дѣтей стачечниковъ, слѣдовательно, на вопліи законномъ основаніи борющихся рабочихъ, не производится теперь сборовъ на пиръшество, которое даютъ сливки буржуазіи и бюрократіи въ честь какого-нибудь прусскаго губернатора. Почему? Потому что теперь дана положительная возможность нѣмецкой эмансипаціи, потому что молнія философіи основательно ударила въ наивную народную почву пролетаріата; потому что рабочій классъ въ Германіи принялъ свое революціонное рѣшеніе, котораго не въ силахъ поколебать ни Богъ, ни человекъ; потому что именно вслѣдствіе этого и господствующій классъ во всѣхъ своихъ особыхъ отгѣнкахъ приобрѣлъ рѣзкость и безпощадность, налагающую на него печать отрицательнаго представителя общества.

Всякое политическое пророчество есть дѣтская игра, если оно пытается предсказать будущій ходъ вещей во всѣхъ его конкретныхъ подробностяхъ. По мѣткому выраженію Лассаля, его задачей можетъ быть всегда лишь одно: изъ знанія прошлаго вскрывать знаніе настоящаго и предсказывать очертанія будущаго. Эти очертанія нарисованы твердой рукой Маркса въ его введеніи къ критикѣ гегелевской философіи права, и это тѣмъ за-

мѣтательнѣе, что самъ онъ находился еще въ процессѣ линянiя отъ идеализма къ материализму, въ процессѣ линянiя, который показалъ ему прошлое, французскую революцію, въ ея материалистической сущности, а иѣмнѣею реформу—еще при носомъ освѣщенiи идеологiи.

Относительно второй статьи, опубликованной Марксомъ въ: «Deutsch-Französische Jahrbücher» профессорская критика отдѣляется остроумнымъ возраженiемъ, будто она слишкомъ специальна, и потому болѣе подробное ея изученiе представляло бы неоправдываемую трату времени. Во всякомъ случаѣ критическiй анализъ статьи «Къ еврейскому вопросу» имѣлъ свои основанiя въ эпоху, когда плоскiй антисемитизмъ и плоскiй филосемитизмъ боролись за пальму живости.

Если въ первой статьѣ Марксъ примыкалъ къ Гегелю, то во второй—къ радикальнѣйшимъ его послѣдователямъ. Бруно Бауэръ опубликовалъ въ «Deutsche Jahrbücher» работу по еврейскому вопросу, изданную потомъ отдѣльной брошюрой; къ тому же вопросу вернулся онъ позже въ «Двадцати одномъ листѣ изъ Швейцарiи». Какъ здѣсь, такъ и тамъ онъ не выходилъ за рамки религiи, какъ ни радикально работалъ его критическiй умъ въ предѣлахъ этихъ рамокъ. Изъ религiозной противоположности между христіанствомъ и иудействомъ онъ старался доказать, во-первыхъ, что христіанское государство такъ же мало можетъ эмансипировать еврея, какъ еврей можетъ эмансипироваться въ качествѣ еврея, и, во-вторыхъ, что христіанцы болѣе способны къ эмансипаціи, чѣмъ евреи, ибо онъ легче можетъ освободиться отъ религiи, чѣмъ послѣднiй.

Поскольку теорiя Бауэра была правильной, Марксъ признавалъ ея выводы, но возражалъ противъ нея, что въ еврейскомъ вопросѣ рѣчь идетъ не объ отношенiи религiозной эмансипаціи къ политической, а объ отношенiи политической къ человѣческой. Марксъ повелъ процессъ противъ гегелевской философіи именно въ ея наиболѣе законченной формѣ, какъ противъ послѣдней формы религiознаго пониманiя,—такое ея свойство доказано было Ф.Йербахомъ. На примѣрѣ Сѣверо-американскихъ Штатовъ онъ показалъ, что въ странѣ съ законченной политической эмансипаціей тѣмъ не менѣе можно отыскать жизненное существованіе религiи, и такъ какъ бытіе религiи есть бытіе нужды, то источникъ этой нужды слѣдуетъ искать лишь въ сущности государства. «Для насъ религiя болѣе не служить основанiемъ, а только феноменомъ земной ограниченности. Мы объяняемъ поэтому религiозные предрасудки свободныхъ гражданъ изъ ихъ свѣтской ограниченности. Мы не утверждаемъ, что они должны отказаться отъ своей религiозной ограниченности, чтобы уничтожить свои свѣтскiя ограниченiя. Мы утверждаемъ, что они откажутся отъ своей религiозной ограниченности, какъ только уничтожатъ свои свѣтскiя ограниченiя. Мы не превращаемъ свѣтскихъ вопросовъ въ теологическіе. Мы превращаемъ теологическіе вопросы въ свѣтскіе. Послѣ того какъ исторiя достаточно долго была растворена въ суевѣрiи, мы растворяемъ суевѣрiе въ исторiю. Вопросъ объ отношенiи политической эмансипаціи къ религiи становится для насъ вопросомъ объ отношенiи политической эмансипаціи къ человѣческой эмансипаціи». Когда Марксъ сталъ изучать это соотношеніе

на примѣръ еврейскаго вопроса, оно вскрылось передъ нимъ въ видѣ различія политическаго государства отъ гражданскаго общества.

Политическая эмансипация еврея и религіознаго человѣка вообще есть эмансипация государства отъ еврейства и религіи вообще. Предѣлъ политической эмансипации обнаруживается въ томъ, что человѣкъ можетъ освободить себя отъ ограниченія, не ставъ въ дѣйствительности свободнымъ отъ него; государство можетъ быть свободнымъ государствомъ безъ того, чтобы человѣкъ былъ свободнымъ человѣкомъ. Политическое возвышеніе человѣка надъ религіей раздѣляетъ все недостатки и все преимущества политическаго возвышенія вообще. Государство, какъ государство, уничтожаетъ частную собственность, человѣкъ объявляетъ частную собственность упрядненной въ политическомъ отношеніи, какъ только государство упраздняетъ имущественный цензъ для активнаго и пассивнаго избирательнаго права,—что и было во многихъ Сѣверо-американскихъ Штатахъ. Однако съ политической отмѣной частной собственности частная собственность не только не упраздняется, а даже становится предпосылкой. Такъ бываетъ со всякими различіями въ пропехожденіи, сословіи, образованіи, профессіи, которыя на свой ладъ упраздняетъ государство, чтобы позволить имъ существовать на свой ладъ и проявлять свое особое существо. Государство не только не думаетъ упразднить эти фактическія различія, но, напротивъ, существуетъ лишь въ ихъ предположеніи, чувствуетъ себя политическимъ государствомъ и осуществляетъ свою всеобщность лишь въ противоположность къ этимъ элементамъ.

Подобно Фейербаху, конструировавшему противоположность неба и земли, Маркъ установилъ противоположность политическаго государства и гражданскаго общества. «Законченное политическое государство является по своей сущности родовой жизнью человѣка въ противоположность къ его матеріальной жизни... Тамъ, гдѣ политическое государство достигло своего истиннаго развитія, тамъ и человѣкъ не только въ мысли, сознаниіи, но и въ дѣйствительности, въ жизни, ведетъ двоякую жизнь—небесную и земную, жизнь въ политическомъ обществѣ, въ которомъ онъ выступаетъ какъ общественное существо, и жизнь въ гражданскомъ обществѣ, въ которомъ онъ дѣйствуетъ какъ частное лицо, разматриваетъ другихъ людей какъ средство, низводитъ себя самого до средства и становится игрушкой чуждыхъ силъ. Политическое государство относится къ гражданскому обществу такъ же спиритуалистически, какъ небо къ землѣ. Оно находится къ нему въ той же противоположности, преодоливаетъ его тѣмъ же образомъ, какимъ религія—ограниченность земнаго міра, т.-е. подобно религіи оно должно снова его признать, возстановить, позволить ему господствовать надъ собою». Конфликтъ, въ которомъ находится человѣкъ, какъ послѣдователь особой религіи, со своими согражданами, съ другими людьми, какъ членами обществія, сводится къ свѣтскому расколу между политическимъ государствомъ и гражданскимъ обществомъ; но этотъ свѣтскій споръ, отношеніе политическаго государства къ его предпосылкамъ, будутъ ли то матеріальные элементы, какъ частная собственность, или духовные, какъ образованіе и

религія, этотъ расколъ между политическимъ государствомъ и гражданскимъ обществомъ Бауэръ оставилъ въ силѣ, полемизируя противъ его религіознаго выраженія.

Марксъ не отрицаетъ громадныхъ успѣховъ политической эмансипаціи; если она не есть послѣдняя форма человѣческой эмансипаціи вообще, то она, по крайней мѣрѣ, послѣдняя форма человѣческой эмансипаціи въ предѣлахъ нынѣ существующаго порядка вещей. Но не обманывайтесь насчетъ ея границъ! Разложеніе челоѵка на еврея и гражданина, на протестанта и гражданина, на религіознаго челоѵка и гражданина,—это разложеніе не является ложью по отношенію къ гражданству, обходомъ политической эмансипаціи, а скорѣе самой этой эмансипаціей, ибо послѣдняя такъ же мало упраздняетъ дѣйствительную религіозность челоѵка, какъ мало стремится ее уничтожить.

«Во всякомъ случаѣ въ эпохи, когда политическое государство насильственно рождается изъ нѣдръ гражданского общества, какъ политическое государство, когда челоѵческое самоосвобожденіе стремится вылиться въ форму политическаго самоосвобожденія, государство можетъ и должно продолжать свой путь до упраздненія религіи, до уничтоженія религіи, но лишь такъ, какъ оно идетъ къ упраздненію частной собственности, къ максимуму, ¹⁾ къ конфискаціи, прогрессивному налогу, къ уничтоженію жизни, къ гильотинѣ. Въ моменты своего особаго самочувствія политическая жизнь стремится подавить свои предпосылки—гражданское общество и его элементы, и конституироваться въ дѣйствительную, свободную отъ противорѣчій родовую жизнь челоѵка. Но она можетъ этого добиться лишь насильственно противорѣча своимъ собственнымъ жизненнымъ условіямъ, лишь объявляя революцію непрерывной, и потому политическая драма съ такой же необходимостью заканчивается восстановленіемъ религіи, частной собственности, всѣхъ элементовъ гражданского общества, съ какой война оканчивается миромъ».

Марксъ опять ориентируется на французской революціи. Слѣдующее затѣмъ доказательство, что не такъ называемое христіанское государство, признающее христіанство своей основой, государственной религіей, а какъ разъ атеистическое государство, демократическое государство, государство, помѣщающее религію среди другихъ элементовъ гражданского общества, есть совершенное христіанское государство,—это доказательство скорѣе остроумно, чѣмъ богато плодотворными мыслями. Заключаетъ Марксъ не тѣмъ, что говоритъ вмѣстѣ съ Бауэромъ евреямъ: вы не можете быть политически эмансипированы, радикально не эмансипировать себя отъ еврейства, а наоборотъ: такъ какъ вы можете быть политически эмансипированы, не отказываясь совершенно и рѣшительно отъ еврейства, то сама политическая эмансипація не есть челоѵческая эмансипація. Глубокимъ ударомъ заступая онъ открываетъ новые источники историческаго познанія, когда приходитъ къ рассмотрѣнію вопроса, мо-

¹⁾ Для борьбы съ голодомъ въ Парижѣ въ революцію 1793, 1794 гг. были установлены таксы на припасы и ограничено потребленіе мяса. *Прим. пер.*

жеть ли еврей, если бы онъ могъ быть политически эмансипированъ, приязать и на такъ называемыя права человѣка.

Утъ идетъ о правахъ человѣка въ собственномъ смыслѣ, *droits de l'homme*, поскольку они отличаются отъ правъ гражданина, *droits du citoyen*. Среди этихъ правъ человѣка и притомъ въ той формѣ, какую они получили у сѣвероамериканцевъ и французовъ, ихъ творцовъ, находится свобода совѣсти, право отправлять какой-угодно культъ. Несомнѣстимость религii съ правами человѣка лежитъ такъ мало въ понятii этихъ правъ, что право быть религіознымъ, быть религіознымъ въ любомъ смыслѣ, отправлять культъ своей особой религii, скорѣе буквально перечисляется среди нихъ. Но *homme*, различаемый отъ *citoyen*, является членомъ гражданского общества. *Egalité, liberté, sûreté, propriété* (равенство, свобода, безопасность, собственность) являются правами члена гражданского общества, эгоистическаго человѣка, человѣка, оторваннаго отъ общегитiя. «Ни одно изъ такъ называемыхъ правъ человѣка не выходитъ за предѣлы эгоистическаго человѣка, человѣка, какъ члена гражданского общества, т.-е. какъ индивида, ушедшаго въ себя, свои частныя интересы и свою частную волю и обособившагося отъ общегитiя. Человѣкъ не только не разсматривается въ нихъ какъ родовое существо, а напротивъ, сама родовая жизнь, общество, разсматривается какъ внѣшняя рамки для индивидовъ, какъ ограничешя ихъ первоначальной самостоятельности. Единственной связью, ихъ объединяющей, является естественная необходимость, потребность и частный интересъ, сохранешя своей собственности и своей эгоистической личности». Какимъ же образомъ объяснить загадочный фактъ, что народъ, который только что начинаетъ освобождаться и устранять политическое общегитiе, торжественно провозглашаетъ права эгоистическаго человѣка, обособленнаго отъ сочеловѣка и общегитiя, изводить сферу, въ которой человѣкъ пребываетъ какъ общественное существо, ниже той сферы, въ которой онъ пребываетъ какъ частное существо, наконецъ, признаетъ собственнымъ и истиннымъ человѣкомъ не человѣка какъ *citoyen*, а человѣка какъ *bourgeois*?

Загадка эта разрѣшается тѣмъ, что политическая эмансипацiя была разложениемъ феодальнаго общества, политическая революцiя—революцiей гражданского общества. Она испровергла королевскую власть, чуждый народу государственнй строй, сдѣлала политическое государство общимъ дѣломъ и конституировала его какъ дѣйствительное государство, разбивъ всѣ сословія, корпорацiи, цехи, привилегii, всѣ эти многообразныя выраженiя отдѣленiя народа отъ своего общегитiя. «Она разбила гражданское общество на его простыя составныя части, съ одной стороны на индивидовъ, съ другой—на матеріальные и духовныя элементы, образующiе жизненное содержанiе, гражданское положешя этихъ индивидовъ. Она освободила отъ оковъ политическiй духъ, равномерно раздѣленный, разложенный, растекшiйся по различнымъ тупикамъ феодальнаго общества: она собрала его воедино изъ этого раздѣланiя, она освободила его отъ смѣшенiя съ гражданской жизнью и конституировала его какъ сферу общенiя, всеобщаго народнаго дѣла, въ идеальной независимости отъ того

особаго элемента гражданской жизни». Съ идеализмомъ государства завершился материализмъ гражданского общества. Феодалное общество было разложено до своего основанія—до человѣка, но человѣка, который дѣйствительно былъ его основаніемъ,—эгоистическаго человѣка. Этотъ человѣкъ, членъ гражданского общества, является теперь основой, предпосылкой политическаго государства. Въ качествѣ такового, онъ получилъ признаніе въ правахъ человѣка.

Такимъ образомъ ясно опредѣлена сущность политической эмансипаціи. Она разлагаетъ гражданскую жизнь на ея составныя части, даже не революціонизируя этихъ составныхъ частей и не подвергая ихъ критикѣ. Она относится къ гражданскому обществу, міру потребностей, работы, частныхъ интересовъ, частнаго права, какъ къ основѣ своего существованія, какъ къ своему естественному базису. Она есть сведеніе человѣка, съ одной стороны, къ члену гражданского общества, эгоистическому, независимому индивиду, съ другой — къ гражданину государства, — къ моральной личности.

Изъ этого вытекаетъ сущность эмансипаціи человѣка. «Только когда дѣйствительный индивидуальный человѣкъ восприметъ въ себя абстрактнаго гражданина государства и какъ индивидуальный человѣкъ станетъ родовымъ существомъ въ своей эмпирической жизни, въ своей индивидуальной работѣ, въ своихъ индивидуальныхъ отношеніяхъ, только тогда человѣкъ организуетъ свои собственные силы, какъ общественныя силы, и потому больше не станетъ отдѣлять отъ себя общественной силы въ видѣ политической силы, только тогда свершится человѣческая эмансипація». Если введеніе «къ критикѣ гегелевской философіи права» заканчивалось философскимъ абрисомъ пролетарской классовой борьбы, то статья «Къ еврейскому вопросу» въ ея первой части заканчивалась философскимъ очеркомъ коммунистическаго общества.

3. Еврейскій вопросъ.

Во второй части этой статьи Маркъ освѣтилъ собственную сущность еврейскаго вопроса.

Актомъ Германскаго союза предусматривалось въ ст. 16-й справедливое общее законодательство о евреяхъ, но это обѣщаніе было такъ же мало выполнено, какъ и другія. Нѣмецкіе евреи въ государственно-правовомъ отношеніи жили среди обломковъ феодально-средневѣковаго гетто. Хотя денежная власть евреевъ сильно развилась съ капиталистическимъ способомъ производства и сдѣлалась для правительства необходимой, но упорное сопротивленіе, встрѣченное революціей буржуазнаго общества со стороны абсолютизма и феодализма, задержало политическую эмансипацію евреевъ. Тамъ, гдѣ эта эмансипація произведена была чужеземнымъ господствомъ французовъ, по мѣрѣ возможности ее пытались взять назадъ; въ одномъ прусскомъ государствѣ дѣйствовало около восемнадцати различныхъ законодательствъ о евреяхъ, прошедшихъ черезъ всѣ ступени право-

выхъ ограниченій—отъ полнаго почти уравненія съ христіанами до средне-вѣкового почти варварства.

Однако, среди всѣхъ грѣховъ домартовскихъ правительствъ этотъ грѣхъ сравнительно меньше всего волновалъ народную массу. Убийственная роль, сыгранная еврейскимъ ростовщичествомъ въ разложеніи феодальнаго общественнаго строя, вызвала противъ евреевъ сильную ненависть и не только среди крестьянъ и ремесленниковъ, подвергшихся ростовщической эксплуатаціи. Хорошо извѣстно, что передовые бойцы нашей классической литературы и философіи не были расположены къ евреямъ, за единичнымъ исключеніемъ Лессинга, ихъ буржуазнаго защитника; хотя его дружественное отношеніе къ евреямъ имѣло мало общаго съ современнымъ филосемитизмомъ, но онъ видѣлъ въ политическомъ угнетеніи евреевъ несправедливость противъ буржуазнаго міровоззрѣнія. Въ этомъ вопросѣ онъ мыслилъ яснѣе, чѣмъ даже Фихте, который, несмотря на свой антифеодальный и антимонархическій образъ мыслей, очень сурово судилъ о евреяхъ.

Конечно, медаль имѣла и свою оборотную сторону. Еврейство не принимало участія въ славной работѣ нашихъ великихъ мыслителей и поэтовъ; Моисей Мендельсонъ отнюдь не былъ умомъ, прокладывающимъ новые пути, и какъ разъ самая заслуженная часть его работы, его заботы объ образованіи евреевъ, убѣдительноншимъ образомъ показали, какъ чуждо было еврейство духовной жизни націи. Мендельсонъ перевелъ на нѣмецкій языкъ пятикнижіе и псалмы, но напечаталъ переводъ гебраическими буквами, дабы приучить впервые евреевъ къ употребленію нѣмецкаго языка вмѣсто такъ называемаго «еврейско-нѣмецкаго» жаргона, этого ужаснаго смѣшенія испорченныхъ нѣмецкаго, еврейскаго, славянскаго и другихъ языковъ, ставшаго со временемъ послѣднихъ вѣковъ средневѣковья европейскимъ языкомъ евреевъ. Было ясно, что это еврейство еще долго не могло стать нивой для идей нашей классической литературы и философіи, что для болѣе свободомыслящихъ его головъ переходъ въ христіанство въ теченіе нѣсколькихъ еще десятилѣтій былъ культурнымъ факторомъ. Даже такой страстный еврей, какъ Берне, совершилъ этотъ шагъ еще въ 1818 году, въ эпоху христіанско-германской травли евреевъ, которая никакъ не давала бы ему почувствовать его вѣрность еврейству.

Годъ спустя Берне издалъ маленькую брошюру «Въ защиту евреевъ», въ которой распространился о причинахъ ненависти къ евреямъ, проявившейся въ Германіи немедленно по окончаніи такъ называемой освободительной войны. Намекая на Фихте, Берне говорилъ, что знаменитымъ публичнымъ ораторамъ, воспламенявшимъ нѣмецкій народъ, было слишкомъ много дѣла съ объединеніемъ этого народа, и тутъ еврей съ ихъ замкнутой и особенной культурой являлся для нихъ слишкомъ твердымъ кускомъ, чтобы ихъ можно было ассимилировать въ общей свободѣ. Сюда присоединялась всякаго рода театральность; хотѣли имѣть лишь нѣмцевъ изъ плесовъ Тацнта, съ рыжими волосами и свѣтлоглазыми глазами, смуглые же евреи некрасиво выдѣлялись среди нихъ. «Наконецъ такой причиной было туманное еще въ эпоху освободительной войны чувство, ставшее яснымъ лишь теперь, а именно, что всѣ успія

и вся борьба иѣмецкаго народа должны быть направлены противъ аристократіи; оно-то и возстановило писателей противъ евреевъ. Ибо евреи и дворянство, т.-е. деньги и государство, т.-е. вещественная и личная аристократія, составляли послѣднія двѣ опоры феодализма. Онѣ грубо держались вмѣстѣ». Берне рекомендовалъ избавить евреевъ отъ необходимости искать покровительства спальныхъ міра сего, дабы послѣдніе не могли заключать у евреевъ займовъ и были поставлены подъ контролъ представительства.

Между тѣмъ еврейство, какъ классъ, благодаря экономическому развитію, приобрѣло слишкомъ большую власть, чтобы не попытаться собственными силами разрушить преграды, еще стѣснявшія его фактическое господство. Такъ какъ его политическая эмансипація совпала съ буржуазной революціей, то еврейство стало очень демократичнымъ и либеральнымъ, открыто намѣреваясь немедленно же избить демократіи и либерализму, когда тѣ станутъ препятствіемъ его собственному господству. Въ теченіе полустолѣтія мы видѣли много такихъ примѣровъ и видимъ и теперь каждый день, что еврейскіе граждане, которыми мы недавно восхищались какъ непреклонными вожаками буржуазной демократіи, становятся яркими реакціонерами, когда послѣдовательно примѣненіе буржуазнаго права нарушаетъ какіе-либо специфически еврейскіе интересы, каковы бы вообще ни былъ этотъ интересъ ¹⁾. Явленіе это такъ же старо, какъ и участіе евреевъ въ общественной борьбѣ, и именно оно послужило поводомъ для работъ Бруно Бауэра по еврейскому вопросу.

Онъ самъ писалъ объ этомъ: «Когда критика пытается изслѣдовать сущность, свойственную еврею какъ еврею, подымается крикъ объ измѣнѣ челоѣчеству. Тѣ самые, которые, быть можетъ, съ удовольствіемъ смотрятъ на то, какъ критика побѣждаетъ христіанство, или считаютъ такую критику необходимой и даже требуютъ ея, готовы проявлять того, кто хочетъ подвергнуть критику, и еврейство. Еврейство, следовательно, должно пользоваться привилегіей: теперь, когда привилегіи падаютъ подъ

¹⁾ Ф. Мерингъ слишкомъ низко цѣнитъ культурную роль германскаго еврейства (върѣшѣ—еврейской буржуазіи) и слишкомъ сильно преувеличиваетъ его действительные и мнимые грѣхи. Странно слышать, что еврейство не принимало участія въ славной работѣ великихъ мыслителей и поэтовъ Германіи, то самое, которое дало странѣ не только Мендельсона и Маймона, Берне, Гейне и Ганса, но Маркса и Лассалю. Еще больше поражаетъ отношеніе Меринга къ грѣхамъ еврейства: Мерингъ совершенно отбрасываетъ классовую точку зрѣнія, обязательную для социаль-демократовъ, и возводитъ въ специфическую особенность еврейства общія свойства всякой буржуазіи, смѣлой и радикальной, когда она борется съ силами стараго порядка, трусливой и предательской, лишь только демократіи становится слишкомъ опасной для ея матеріальнаго благополучія. За примѣрами превращенія вожаковъ буржуазной демократіи въ ярыхъ реакціонеровъ Мерингу не было надобности такъ далеко идти: достаточно было прослѣдить эволюцію „истинно“ германской буржуазіи съ 1848 года и до нашихъ дней, когда она окончательно предала дѣло демократіи. Такое отношеніе Меринга къ еврейству, какъ и отдѣльнымъ выраженія по адресу его, представляють, повидимому, отголосокъ того періода въ духовномъ развитіи Меринга, когда онъ еще стоялъ въ рядахъ антисемитовъ.

Прим. перев.

ударами критики, и даже на будущія времена, когда привилегій совсѣмъ не будетъ? Защитники эмансипаціи еврейства заняли, поэтому, своеобразное положеніе — они борются противъ привилегій и въ то же время даютъ еврейству привилегію неизмѣнности, неприкосновенности и безответственности. Такъ и кажется, будто эти строки написаны сегодня.

Освободительная борьба лѣвыхъ гегелианцевъ противъ христіанской религіи не могла, конечно, вестись безъ критики и еврейской религіи, но она велась исключительно историческими приѣмами, къ слову сказать, въ характерную противоположность къ кантіанцу Якоби, который писалъ о еврейскомъ вопросѣ, не имѣя ни малѣйшаго представленія объ его исторической сущности. Въ «Сущности христіанства» Фейербахъ анализировалъ еврейство какъ религію практическаго эгоизма, но пришелъ къ выводу: «еврейство есть свѣтское христіанство, а христіанство—духовное еврейство... Христіанство одухотворило эгоизмъ еврейства до субъективности, обратило требованіе земнаго благополучія въ тоску по небесному блаженству».

Съ болѣе грубымъ арсеналомъ оружія выступилъ юрибергскій профессоръ Даумеръ въ брошюрѣ, изданной Вигандомъ по рекомендаціи Фейербаха: работа должна была историко критически доказать, что поклоненіе огню и Молоху древнихъ евреевъ было законнымъ, легальнымъ, ортодоксальнымъ культомъ націи. Если Даумеръ признавалъ за извѣстными еврейскими сектами кровавыя мистеріи, закланіе собственныхъ и чужихъ дѣтей, то лишь затѣмъ, чтобы еще прибавить, что и христіанство долго еще знало въ своей средѣ человѣческія жертвоприношенія, что католическая церковь въ древнѣйшія свои времена содержала «святыхъ» мальчиковъ, дабы въ извѣстное время принести ихъ въ жертву. Равнымъ образомъ и Бауэръ доказывалъ, что христіанство достигло болѣе высокой степени безчеловѣчности, чѣмъ еврейство, и именно отсюда выводилъ заключеніе о большей способности христіанъ къ эмансипаціи, ибо, чтобы достигнуть чистой челоуѣчности, надо пройти черезъ высшую степень безчеловѣчности.

Какъ ни бессмысленны были жалобные крики евреевъ на эту критику еврейства, все же она не проникла до корня вещей, до разрѣшенія вопроса, почему еврейская религія могла такъ долго существовать рядомъ съ христіанской религіей, и какимъ образомъ можно преодолѣть ее. Бауэръ полагалъ, что христіанство возникло, когда мужской духъ греческой философіи, въ минуту слабости, соединился съ страстнымъ еврействомъ. Еврейство, оставшееся еврействомъ, родивъ свой плодъ, позабыло объ этомъ объятіи любви. А то еврейство, которое любовно сохраняло въ памяти прекрасный образъ свѣтской философіи и постоянно посылало съ мыслью о челоуѣческой красотѣ безбожника, пока оно не умерло отъ тоски по немъ, и его мѣсто не заняла дѣйствительная философія, это еврейство, умершее отъ своей языческой любви, и есть христіанство. Но этимъ собственно ничего не было сказано, и Фейербахъ оставилъ безъ разъясненія главный вопросъ, когда анализировалъ еврейство, какъ свѣтское христіанство, а христіанство—какъ духовное еврейство. Рѣшительный шагъ былъ сдѣланъ лишь Марксомъ, сведшимъ религіозный вопросъ къ

его свѣтской основѣ, доказавшимъ, почему гражданское общество постоянно порождаетъ еврея изъ своего собственного чрева, почему еврейство достигаетъ своего завершенія лишь въ гражданскомъ обществѣ, а гражданское общество завершается лишь въ христіанскомъ мірѣ.

Всякіе комментаріи только ослабили бы это основное изслѣдованіе; многія его страницы стоятъ большаго, чѣмъ вся груда литературы, появившейся съ тѣхъ поръ по еврейскому вопросу. Напомнимъ только: черезъ сорокъ лѣтъ послѣ обнародованія Марксомъ этой работы придворный проповѣдникъ Штекеръ и профессоръ Вагнеръ, развернувъ грязный платокъ реакціоннаго антисемитизма, какъ свое знамя, совершили поѣздку по странѣ и пытались убѣдить рабочихъ, у которыхъ былъ заткнутъ ротъ закономъ противъ социалстовъ, будто еврей Марксъ, нападая на трудящагося и прилежнаго фабриканта, никогда не нападалъ на еврей-ростовщика. Было бы жаль, если бы когда-либо позабылся этотъ славный триумфъ христіанско-германской добросовѣстности.

4. Фридрихъ Энгельсъ и его первыя работы.

У меня нѣтъ новаго біографическаго матеріала о Фридрихѣ Энгельсѣ. Какъ и Марксъ, онъ всего меньше унаслѣдовалъ революціонныя воззрѣнія въ своемъ родительскомъ домѣ; напротивъ, въ его семьѣ консервативный образъ мыслей соединялся еще съ церковной ортодоксальностью. Отецъ его былъ фабрикантомъ въ Барменѣ, и Фридрихъ Энгельсъ точно такъ же посвятилъ себя купеческому дѣлу. Родившись 28 ноября 1820 г., Энгельсъ посѣщалъ гимназію, выступивъ изъ нея за годъ до экзамена зрѣлости, затѣмъ учился въ Барменѣ и Бременѣ и, наконецъ, съ октября 1841 года до октября 1842 года отбывалъ военную службу вольноопредѣляющимся въ Берлинѣ.

Когда Энгельсъ прибылъ въ Берлинъ, Марксъ уже съ полгода его полюбилъ. Лично познакомились они лишь въ послѣднихъ числахъ ноября 1842 года, при посѣщеніи Энгельсомъ редакціи «Рейнской Газеты», передъ своимъ отъездомъ въ Манчестеръ, гдѣ онъ долженъ былъ поступить на фабрику, однимъ изъ владѣльцевъ которой былъ его отецъ. Однако, эта первая встрѣча, по свидѣтельству самого Энгельса, была очень сдержанной; въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ онъ поддерживалъ сношенія съ «вольницей», противъ дѣйствій которой Марксъ выступилъ въ тѣ самые дни, когда Энгельсъ появился въ редакціи «Рейнской Газеты». Изъ Берлина Энгельсъ посылалъ туда случайныя корреспонденціи, но миѣ не удалось хоть съ какою-нибудь достоверностью разыскать ихъ. Такъ же мало могу я сказать, написалъ ли Энгельсъ уже во время своего пребыванія въ Берлинѣ или даже въ Бременѣ нѣкоторые брошюры, приписываемыя ему третьими лицами; — маленькую брошюру противъ новообращеннаго Шеллнга или сатирическую поэму по случаю отрѣшенія отъ должности Бруно Бауэра; вѣрно то, что онъ не былъ авторомъ точно такъ же приписываемаго ему «Трубнаго гласа страшнаго суда надъ Гегелемъ, атеистомъ и анти-

хрестомъ»; неоднократно упоминающійся «трубачъ» былъ Бруно Бауэръ, какъ это видно, между прочимъ, и изъ писемъ послѣдняго къ Марксу.

Во всякомъ случаѣ свою историческую дѣятельность Энгельсъ впервые началъ двумя статьями для «Deutsch-Französische Jahrbücher», и здѣсь онъ сразу выступаетъ на свой особый ладъ болѣе законченнымъ, чѣмъ Маркъ въ своихъ первыхъ работахъ. Если бы у насъ было больше свѣдѣній о молодомъ Энгельсѣ, мы едва ли нашли бы въ нихъ такъ много слѣдовъ внутренней борьбы, какъ это показываютъ первые шаги духовнаго развитія Маркса. Либнехтъ сказалъ однажды, что совершенно неправильно видѣть въ Маркѣ непреступнаго, а въ Энгельсѣ болѣе мягкаго и податливаго человека, впервые передавшаго массамъ мысли олимпійца. Правда, Энгельсъ съ ясной, какъ у Лессинга, головой писалъ гораздо доступнѣе Маркса, но былъ гораздо суровѣе Маркса, вмѣшпаго въ обращеніи съ людьми нѣчто необыкновенно привлекательное. Впечатлѣніе, вынесенное Либнехтомъ изъ личнаго своего знакомства съ ними обими, подтверждается духовной ихъ физиономіей, поскольку она отражается въ ихъ работахъ. Подобно Лессингу, Энгельсъ былъ прирожденнымъ диалектикомъ, но безъ глубокихъ спекулятивныхъ дарованій, составлявшихъ такое же преимущество передъ нимъ Маркса, какое имѣлъ Лейбницъ передъ Лессингомъ. Въ полномъ согласіи съ этимъ, Энгельсъ гораздо скорѣе составлялъ свое сужденіе и потому былъ болѣе склоненъ къ полемикѣ, чѣмъ Маркъ; попадн Маркъ въ Англію, онъ не такъ скоро покончилъ бы счета съ Адамомъ Смитомъ и Рикардо, какъ это удалось Энгельсу въ «Очеркахъ критики политическо-экономіи». Мы можемъ сказать это съ полной увѣренностью, потому что мы знаемъ, какъ тщательно изучалъ Маркъ Адама Смита и Рикардо, когда познакомился съ ними, и какъ онъ продолжалъ строитъ зданіе на фундаментѣ, возведенномъ этими буржуазными мыслителями.

Излишне подробнѣе останавливаться на сужденіяхъ Энгельса объ Адамѣ Смитѣ, этомъ Лютерѣ въ политической экономіи, который гуманизировалъ торговлю, исходя изъ гуманистическаго направленія XVIII вѣка, или на его доказательствахъ по поводу теоріи чѣистости или поземельной ренты Рикардо. Кто знакомъ съ позднѣйшими работами Маркса и Энгельса, самъ легко найдетъ настоящее мѣсто этимъ мыслямъ молодой горячей головы. Энгельсъ не умѣетъ еще разрѣшить противорѣчій буржуазной экономіи и даже не первый указываетъ на нихъ; это сдѣлали уже до него англійскіе и французскіе социалеты. Гениальный прогрессъ его статьи состоялъ въ томъ, что противорѣчія эти выводились изъ настоящаго источника—изъ частной собственности. Тѣмъ самымъ былъ открытъ путь, приведшій политическую экономію къ социализму, и если Энгельсъ еще не проложилъ этого пути, то все же онъ сумѣлъ отмѣтить его важнѣйшіе этапные пункты. Его разсужденія относительно обезчеловѣчивающаго дѣйствія капиталистической конкуренціи, теоріи народонаселенія Мальтуса, все возрастающей горячей капиталистическаго производства, торговыхъ кризисовъ, закона заработной платы, успѣховъ знанія, при господствѣ частной собственности становящихся изъ средства освобожденія челоѣчества скорѣе средствомъ ко всеусливающемуся порабощенію рабочаго класса,—во всѣхъ этихъ

разсужденіяхъ заключаются плодотворныя зачатки современнаго научнаго социализма со стороны экономическаго его содержанія, и эти зачатки были впервые заложены Энгельсомъ.

Въ частности, быть можетъ, его воззрѣнія не были совершенно новыми; Энгельсъ учился у англійскихъ социалистовъ, а также у Карлейля, которому посвящена вторая его статья для «Нѣмецко-Французскаго Ежегодника». Но его преимущество предъ ними—философское образованіе и диалектическая острота, съ какими онъ умѣлъ проникнуть въ сущность капиталистическаго способа производства и добраться къ истинному источнику его происхожденія, съ какими онъ умѣлъ разглядѣть въ страдающихъ нынѣшняго дня надежды завтрашняго, въ лишенномъ человѣческаго образа рабочемъ классѣ—спасителя человѣчества. Въ этомъ онъ далеко превзошелъ не только англійскихъ социалистовъ, относившихся къ дѣйствительной освободительной борьбѣ пролетаріата или равнодушно или даже отрицательно, но и проповѣдника покаянія Карлейля: Карлейль, по мѣткому выраженію одного изъ его нѣмецкихъ биографовъ, хотя и относился съ глубокимъ почтеніемъ къ «революціоннымъ партіямъ», но лишь такъ, какъ какой-нибудь благочестивый монахъ, который долженъ былъ видѣть въ Атилѣ карающій перстъ Божій, поднявшійся на грѣхи господствующихъ классовъ. Какъ извѣстно, надежды, возлагавшіяся Энгельсомъ на дальнѣйшее развитіе Карлейля, не оправдались; по своей природѣ Карлейль становился, напротивъ, тѣмъ реакціоннѣе, чѣмъ революціоннѣе становилась исторія. Во всякомъ случаѣ, въ этихъ упованіяхъ скорѣе выражалась истинная симпатія, питаемая Энгельсомъ, какъ и Марксомъ, ко всякой недюжинной силѣ, чѣмъ дѣйствительное непониманіе Карлейля, оцѣненаго Энгельсомъ съ удивительной для того времени ясностью.

Можно легко себѣ представить, съ какой радостью привѣтствовалъ Марксъ статьи Энгельса для «Нѣмецко-Французскаго Ежегодника», хотя и не сохранилось переписки того времени. Такъ какъ Руге захворалъ, то Марксъ почти одинъ долженъ былъ нести заботы по редакціонной журналисткѣ, что, по свидѣтельству Руге, кончилось не безъ большихъ разочарованій. Зато Марксъ нашелъ родственную по духу силу, и это могло съ избыткомъ вознаграждать его за всякія другія огорченія. Съ перваго же взгляда бросается въ глаза, какъ близко соприкасаются Марксъ и Энгельсъ въ своихъ первыхъ статьяхъ для «Deutsch-Französische Jahrbücher»; одинаковость ихъ выводовъ должна была быть для нихъ тѣмъ цѣннѣе, что эти выводы достигнуты были различными путями. Общей была у нихъ философская точка отправленія: диалектика Гегеля, самосознаніе Бауера, гуманизмъ Фейербаха; затѣмъ оба изучали англійскихъ и французскихъ социалистовъ, но съ этого момента средствомъ уясненія борьбы и стремленій вѣка для Маркса стала французская революція, для Энгельса—англійская промышленность.

На этихъ двухъ великихъ историческихъ переворотахъ, датирующихъ собой исторію новаго буржуазнаго общества, они изучили до самыхъ его корней внутреннее разложеніе этого общества. Марксъ пришелъ къ тому

выводу, что эмансипация человечества исполнится лишь тогда, когда человекъ станетъ родовымъ существомъ путемъ организаціи своихъ собственныхъ силъ, какъ общественныхъ силъ, и почти буквально то же говоритъ Энгельсъ: производите съ сознаниемъ, какъ люди, а не какъ разсѣянные атомы, не сознающіе своей родовой общности, и вы избавитесь отъ всѣхъ этихъ искусственныхъ и несостоятельныхъ противорѣчій.

Открылось новое поле для человѣческаго познанія; оставалось лишь основательно изслѣдовать его и сдѣлать его прочнымъ достояніемъ человечества. Задачу эту сообща исполнили Марксъ и Энгельсъ.

Переписка 1843 года.

М. къ Р.

На бечевомъ судиѣ по пути въ Д., мартъ 1843 г.

Я ѣду теперь въ Голландію. Насколько я сужу по здѣшнимъ и французскимъ газетамъ, Германія глубоко погрузилась въ болото, и чѣмъ дальше—тѣмъ будетъ хуже. Я увѣряю васъ, если даже не чувствовать никакой національной гордости, все же чувствуешь національный стыдъ, даже въ Голландіи. Самый маленький голландецъ все еще гражданинъ въ сравненіи съ самымъ великимъ нѣмцемъ. А сужденія иностранцевъ о прусскомъ правительствѣ! Царить устрашающее единодушіе, никто больше не обманывается насчетъ этой системы и ея простой природы. Итакъ, кое-какую пользу новая школа все же принесла. Пышный плащъ либерализма спалъ, и отвратительнѣйшій деспотизмъ стоитъ во всей своей наготѣ предъ глазами всего міра.

Это тоже откровеніе, хотя нанзанку. Это—исгнипа, которая учитъ насъ познать по меньшей мѣрѣ пустоту нашего патріотизма, противостоитъ естественности нашего государственнаго строя и закрываетъ лицо наше. Вы смотрите на меня съ улыбкой и спрашиваете, чего же мы этимъ добились? Отъ стыда не дѣлается революція. Я отвѣчу: стыдъ есть уже революція; онъ дѣйствительно является побѣдой французской революціи надъ нѣмецкимъ патріотизмомъ, который ее побѣдилъ въ 1813 году. Стыдъ—это своего рода гнѣвъ, обращенный внутрь. И если бы вся нація дѣйствительно стыдилась, она была бы подобна лѣву, приготовившемуся къ прыжку. Я согласенъ, въ Германіи нѣтъ даже стыда; напротивъ, эти несчастные все еще остаются патріотами. Но какая же система могла бы выколотить изъ нихъ патріотизмъ, если не уморительная система поваго рыцаря? Комедія деспотизма, разыгрываемая съ нами, для него такъ же опасна, какъ когда-то для Стюартовъ и Бурбоновъ трагедія. И даже если бы эту комедію долго не считали тѣмъ, что она есть, она была бы уже революціей. Государство—слишкомъ серьезная вещь, чтобы его можно было обращать въ арлекинаду. Можно, пожалуй, нѣкоторое время глатъ по вѣтру корабль,

полный сумасшедших; но онъ пойдетъ навстрѣчу своей судьбѣ, именно потому, что сумасшедшіе не вѣрятъ этому. Эта судьба есть революція, памъ предстоящая.

Р. къ М.

Берлинъ, мартъ 1843 года.

«Суровое слово, и все же я его произношу, потому что оно — правда: я не могу себя представить народа, который былъ бы растерзанъ иѣмцевъ. Ты видишь предъ собой ремесленниковъ, но не людей, мыслителей, но не людей, господъ и слугъ, молодыхъ и старинныхъ, но не людей.—Развѣ это не поле битвы, гдѣ руки, плечи и другіе члены тѣла беспорядочно лежатъ разрубленные на части, тогда какъ пролитая кровь жизни растеклась въ песокъ?» «Гиперіонъ» Гельдерлина.—Вотъ девизъ моего настроенія, и, къ сожалѣнію, оно не ново; одинъ и тотъ же предметъ отъ времени до времени дѣйствуетъ одинаково на людей. Ваше письмо—иллюзія. Ваша бодрость меня только еще больше обезкураживаетъ.

Мы доживемъ до политической революціи? Мы, современники этихъ иѣмцевъ? Мой другъ, Вы вѣрите въ то, чего желаете. О, я это знаю! Сладка надежда и горько полное разочарованіе. Требуется больше мужества для отчаянія, чѣмъ для надежды. Но это мужество разума, и мы пришли къ тому мѣсту, гдѣ больше не должно быть заблужденій. Что видимъ мы въ настоящій моментъ? Второе изданіе карлсбадскихъ постановленій, дополненное пропускомъ общаго своды печати и исправленіемъ общаго своды цензуры,—вторую неудачу опытовъ съ политической свободой, и на этотъ разъ безъ Лейпцига и Бель-Алліанса, безъ напряженій, послѣ которыхъ мы имѣли бы основаніе отдохнуть. Мы теперь отдыхаемъ отъ отдыха; и къ покою насъ приводитъ простое повтореніе стараго пріема деспотизма,—переписываніе актовъ. Изъ одного позора мы попадаемъ въ другой. Я испытываю совершенно то же чувство угнетенія и опозоренія, какъ въ эпоху наполеоновскихъ завоеваній, когда Россія предписала иѣмецкой печати болѣе строгую цензуру; и если Вы находите утѣшеніе въ томъ, что мы теперь наслаждаемся той же откровенностью, то меня это нисколько не утѣшаетъ. Когда Наполеонъ въ Эрфуртѣ на поздравленіе иѣмцевъ, называвшихъ его *notre prince*, сказалъ: *je ne suis pas votre prince, je suis votre maitre* ¹⁾, онъ былъ встрѣченъ бурными кликами одобренія. И если бы на это не отвѣтила русская зима, негодованіе иѣмцевъ спало бы еще. Не говорите мнѣ, это безстыдное слово было кровью отомщено, не увѣряйте меня, случайная месть была бы неизбежна, всѣ народы отложились бы отъ

¹⁾ Я не вашъ князь, я—вашъ повелитель.

оголенного деспотизма, какъ только бы онъ совершенно разоблачилъ себя. Я хочу видѣть народъ, который чувствовалъ бы свой позоръ безъ всѣхъ другихъ народовъ. Я называю революціей превращеніе всѣхъ сердець и поднятіе всѣхъ рукъ за честь свободнаго чело-вѣка, за свободное государство, которое не принадлежитъ никакому властелину, а само является общественнымъ существомъ, принадле-жащимъ лишь себѣ. Такъ далеко пѣмцы никогда не пойдутъ. Исто-рически они давно пошли ко дну. Что пѣмцы всюду участвовали въ походахъ, ничего не доказываетъ. Завоеваннымъ и покореннымъ на-родамъ приходится сражаться, но они — только гладиаторы, которые борются за чужія намѣренія и убиваютъ себя по первому знаку сво-его господина. Смотрите, какъ борется народъ за насъ, сказали въ 1813 году король прусскій. Германія это — не оставшіяся въ живыхъ наслѣдникъ, а открывшееся наслѣдство. Пѣмцы никогда не ведутъ счета по борющимся партіямъ, а по числу душъ, продающихся тамъ.

Вы говорите, либеральное лицемеріе разоблачено. Это такъ; свер-шилось даже нѣчто большее. Люди чувствуютъ себя смущенными и оскорбленными; часто слышишь, какъ друзья и знакомые рассу-ждають промежъ себя; всюду здѣсь говорятъ о судьбѣ Стюартовъ, а кто бонится произнести неосторожное слово, тотъ, по крайней мѣрѣ, покачиваетъ головою, чтобы показать, что въ немъ происходитъ из-вѣстное движеніе. Но всѣ лишь говорятъ и только говорятъ: найдется ли здѣсь хоть одинъ, кто повѣрилъ бы своему негодованію, что оно всеобщее? Есть ли хоть одинъ глупецъ, который бы не понималъ нашихъ мелкихъ буржуа и ихъ вѣчнаго овечьяго терпѣнія? Мы пережили пятьдесятъ лѣтъ со времени французской революціи и воз-рожденіе всего безстыдства стараго деспотизма. Не говорите, 19-й вѣкъ не потерпитъ его. Пѣмцы разрѣшили эту задачу. Они не только терпятъ его, но терпятъ съ патриотизмомъ, и мы, краснѣющіе за нихъ, мы какъ разъ знаемъ, что они заслуживали его. Кто не ду-малъ, что этотъ рѣзкій возвратъ отъ рѣчи къ молчанію, отъ надежды къ безнадежности, отъ человѣкоподобнаго къ совершенно рабскому состоянію возмутитъ всѣ живыя души, прильетъ кровь къ сердцу и вызоветъ всеобщій крикъ негодованія! У пѣмцевъ была лишь одна свобода духа, которую все еще можетъ имѣть чело-вѣкъ, находящійся въ крѣпостной зависимости у другого, но и эта свобода была у нихъ отнята; нѣмецкіе философы еще раньше были слугами людей, они говорили и молчали по приказанію, — Кантъ представилъ намъ тому доказательства; но терпѣлась ихъ смѣлость называть in abstracto чело-вѣка свободнымъ. Теперь и эта свобода, такъ называемая науч-ная или принципіальная, довольствующаяся тѣмъ, что остается пе-реализованной, упряднена и, конечно, нашлось не мало людей, про-повѣдующихъ вѣру Тассо:

Glaubt nicht, dass mir
Der Freiheit wilder Trieb den Busen blähe.
Der Mensch ist nicht geboren frei zu sein.

Und für den Edlen ist kein schöner Glück,
Als einem Fürsten, den er ehrt, zu dienen

...Но не думай, чтобъ стремленье
Къ свободѣ возмущало грудь мою;
Родился человекъ не для свободы!
И для меня прекраснѣй счастья нѣтъ,
Какъ герцогу, предъ кѣмъ благоговѣю,
Служить усердно: онъ—мой государь!

Если бы мы вздумали возразить: а если онъ предъ нимъ не благоговѣетъ? эти господа повторили бы: родился человекъ не для свободы. Рѣчь идетъ о понятіи человекъ, а не его счастья. Да, Тассо правъ, человекъ, который служитъ человеку и котораго зовутъ рабомъ, можетъ чувствовать себя свободнымъ, можетъ чувствовать себя даже благороднымъ, — исторія и Турція подтверждаютъ это. Если допустить, что понятіе человекъ образуетъ не человекъ-свободное существо, а человекъ-слуга, то старый міръ найдетъ себѣ оправданіе.

Въ теченіе 25 лѣтъ со времени революціи нѣмцы не могли ничего возразить противъ факта, что человекъ родился быть слугою и собственностью ихъ наслѣдственныхъ властителей. Нѣмецкіе князья соединились въ Германскій союзъ, чтобы снова возстановить свою частную собственность на землю и людей и снова уничтожить «права человека». То было антифранцузски, — и ихъ привѣтствовали. Теперь заднимъ числомъ появилось теоретическое оправданіе этого факта, и почему бы Германіи безъ негодованія не выслушать его! Почему бы не утѣшиться въ своей судьбѣ мыслью, что такъ должно быть, что человекъ не рожденъ быть свободнымъ?

Такъ оно и есть—наше поколѣніе действительно не рождено для свободы. Тридцать лѣтъ политическаго одичанія и такого унижительнаго гнета, что даже мысли и чувства людей были подвергнуты надзору и управленію тайной полиціи и цензуры, сдѣлали Германію политически болѣе ничтожной, чѣмъ когда-либо. Вы говорите, корабль безумцевъ, ставшій игрой вѣтра и волнъ, не избѣгнетъ своей участи, и эта участь—революція. Вы не прибавляете, что эта революція есть выздоровленіе безумцевъ; напротивъ, вашъ образъ приводитъ лишь къ мысли о гибели. Но я не согласенъ съ Вами и насчетъ гибели, которой вѣдь еще надо ждать. Физически этотъ способный народъ не погибнетъ, а духовно давно кончилось его существованіе какъ свободнаго народа.

Когда я сужу о Германіи по ея прошлой и настоящей исторіи, Вы не станете же возражать мнѣ, что вся эта исторія фальсифицирована, и что вся нѣмецкая современная печать не выражаетъ истиннаго состоянія народа. Прочтите любую газету, убѣдитесь, что въ нихъ не перестаютъ—Вы согласитесь, что цензура никому въ этомъ не мѣшаетъ—восхвалять свободу и національное счастье, которыми мы пользуемся, и потомъ скажите англичанину, фран-

цузу или даже голландцу, что это насъ не касается и не выражаетъ нашего характера.

Поскольку нѣмецкій духъ проявляется вовнѣ, онъ подль, и я смѣло утверждаю, что, если онъ не проявляется иначе, тому виной его подлая натура. Или вы настолько высоко цѣните его домашнее существованіе, его тихія заслуги, его нецензурные разговоры за столомъ, его кулакъ въ карманѣ, что онъ могъ бы еще смыть позоръ современнаго своего проявленія славой своего будущаго? О, это нѣмецкое будущее! Гдѣ посянано его сѣмя? Не въ позорной ли исторіи, нами до сихъ поръ пережитой? Не въ отчаяніи ли тѣхъ, кто поминаетъ, что такое свобода и историческая честь? Не въ презрѣніи ли, которымъ насъ осыпаютъ чужіе народы и которое они даютъ намъ наиболѣе сильно почувствовать какъ разъ тогда, когда они хотятъ быть наилучшаго о насъ мнѣнія? Вѣдь они совершенно не могутъ себѣ представить всю глубину политической безчувственности и паденія, до какого мы дѣйствительно дошли. Прочтите хотя бы *Tites* объ угнетеніи печати въ Пруссіи. Прочтите, что говорятъ свободные люди, прочтите, какъ много чувства собственнаго достоинства они еще предполагаютъ въ насъ, насъ, у которыхъ его вовсе нѣтъ, и сожалѣйте о Пруссіи, сожалѣйте о Германіи. Я знаю, что это относится и ко мнѣ; не думайте, что я хочу уклониться отъ обшлаго позора. Упрекайте меня, что я поступаю не лучше другихъ, требуйте отъ меня, чтобы я съ новымъ принципомъ повелъ новую эпоху и сталъ писателемъ, за которымъ слѣдуетъ свободный вѣкъ, скажите мнѣ какую угодно горечь,—я на это готовъ. У нашего народа нѣтъ никакой будущности, что толку въ нашей славѣ?

М. къ Р.

Кельнъ, въ маѣ 1843 года.

Письмо Ваше, мой дорогой другъ, — хорошая элегія, захватывающее духъ надгробное пѣніе; но политическимъ его никакъ нельзя назвать. Ни одинъ народъ не впадаетъ въ отчаяніе, и хотя бы онъ долгое время надѣлся лишь по глупости, все же послѣ многихъ лѣтъ онъ когда-нибудь съ неожиданной мудростью осуществить все свои благія пожеланія.

Однако, Вы меня заразили, Ваша тема еще не исчерпана, я хочу добавить финалъ, и, когда я копчу. Вы подадите мнѣ руку, дабы мы могли снова пачать съ начала. Предоставьте мертвымъ хоронить мертвыхъ и оплакивать ихъ. Зато какъ завидно быть первымъ, кто живымъ войдетъ въ новую жизнь; да будетъ таковъ нашъ жребій.

Да, старый міръ принадлежитъ филистеру. Но мы не должны смотреть на него, какъ на пугало, и со страхомъ отворачиваться отъ

него. Мы должны, напротивъ, посмотрѣть ему прямо въ глаза. Стоитъ изучать этого владыку міра.

Конечно, онъ является владыкой міра лишь оттого, что заполняетъ его своимъ обществомъ, какъ черви трупъ. Общество этихъ владыкъ не нуждается, поэтому, ни въ чемъ кромѣ толпы рабовъ, а собственно никакъ рабовъ нѣтъ надобности быть свободными. Если за принадлежащее имъ право собственности на землю и людей ихъ называютъ владыками въ высшемъ смыслѣ, развѣ отъ этого они перестаютъ быть такими же филистерами, какъ ихъ слуги?

Человѣкъ—это духовное существо, свободный гражданинъ, республиканецъ. Ни тѣмъ, ни другимъ не хотятъ быть мелкіе буржуазы, чѣмъ же остается имъ быть и чего желать?

Чего они желаютъ,—жить и размножаться (а вѣдь достигнуть большаго—говоритъ Гете—никому не удастся), того желаетъ и животное; нѣмецкій политикъ въ лучшемъ случаѣ счелъ бы еще нужнымъ прибавить, что человѣкъ знаетъ, что онъ этого хочетъ, а нѣмецъ такъ разсудителецъ, что ничего больше не хочетъ. Въ груди этихъ людей надо снова пробудить самочувствіе человѣка, свободу. Лишь это чувство, вмѣстѣ съ греками исчезнувшее изъ міра, а съ христіанствомъ—удалившееся въ голубую даль неба, можетъ снова превратить общество въ общеніе людей для высшихъ ихъ цѣлей, въ демократическое государство.

Напротивъ, люди, не чувствующіе себя людьми, плодятся у своихъ господъ, какъ приплодъ рабовъ или лошадей. Паслѣдственные владетели—цѣль всего этого общества. Этотъ міръ принадлежитъ имъ. Они берутъ этотъ міръ такимъ, каковъ онъ есть и какимъ чувствуетъ себя. Они берутъ себя самихъ такими, какими себя находятъ, и, если имъ позволяютъ ихъ поги, становятся на спину этихъ политическихъ животныхъ, не знающихъ никакого другого назначенія, какъ быть «вѣрноподданными, преданными и покорными».

Міръ филистеровъ—это политическій міръ животныхъ, и разъ мы должны признать его существованіе, намъ ничего не остается, какъ только оправдать существующій порядокъ. Его создали и развили столѣтія варварства, и вотъ онъ стоитъ предъ нами въ образѣ послѣдовательной системы, принципомъ которой является обезчеловѣченый міръ. Поэтому самый совершенный міръ филистеровъ, наша Германія, естественно долженъ былъ далеко отстать отъ французской революціи, снова возстановившей человѣка; и нѣмецкій Аристотель, который вздумалъ бы создать свою политику по нашимъ порядкамъ, написалъ бы въ ея заголовкѣ: «человѣкъ есть общительное, но совершенно не политическое животное», а государство онъ не могъ бы опредѣлить лучше, чѣмъ это уже сдѣлалъ господинъ Цепфль, авторъ «Конституціоннаго государственнаго права Германіи». Но его мнѣнію, государство есть «союзъ семействъ», который—продолжимъ мы—наслѣдственно и своеобразно принадлежитъ высочайшей семьѣ, называемой династіей. Чѣмъ плодovitѣе эти семьи, тѣмъ счастливѣе люди,

тѣмъ сильнѣе государство, тѣмъ могущественнѣе династія, поэтому въ нормально-деспотической Пруссіи и полагается премія въ 50 талеровъ за седьмого ребенка. Францы такіе разсудочно реалисты, что всѣ ихъ желанія и самыя возвышенныя мысли не выходятъ за предѣлы голой жизни. И эту дѣйствительность, ничего больше, принимаютъ тѣ, кто господствуетъ надъ ними. Таковыми же реалистами, очень далекими отъ великихъ мыслей и всякаго человѣческаго величія, являются всѣ эти обыкновенные офицеры и дворяне-помѣщики, но они не ошибаются, они правы; они, такъ какъ есть, вполне умѣютъ пользоваться и владѣть этимъ животнымъ царствомъ, потому что господство и пользованіе, здѣсь какъ и всюду, представляеть собой понятіе. И когда они принимаютъ присягу на вѣрность и глядятъ поверхъ жужжащихъ головъ этихъ безмозглыхъ существъ, что ближе ихъ сердцу мыслей Наполеона при Березинѣ? Говорятъ, что Наполеонъ, указывая на копошившуюся внизу толпу утопавшихъ, сказалъ своему адъютанту: *Voyez ces sardauds!* ¹⁾ Это преданіе, вѣроятно, сочинено, но тѣмъ не менѣе оно правдиво. Единственная мысль деспотизма—презрѣніе къ людямъ, обезчеловѣченный человѣкъ, и эта мысль имѣеть то преимущество предъ многими другими, что она въ то же время является фактомъ. Деспотъ всегда видитъ людей униженными. На его глазахъ и для него они тонуть въ тинѣ пошлой жизни, откуда они, подобно жабамъ, всегда снова вылѣзаютъ. Если такія мысли неволью приходятъ въ голову даже людей, способныхъ на великія дѣла, какимъ былъ Наполеонъ до своего династическаго помѣшательства, то какъ можетъ быть въ подобной реальности идеалистомъ самый обыкновенный король?

Принципъ монархіи вообще—это презрѣнный, презрительный, обезчеловѣченный человѣкъ, и Монтескье былъ весьма неправъ, когда выдавалъ за этотъ принципъ честь. Онъ оперируетъ различіемъ монархіи, деспотіи и тирании. Но все это названія для одного и того же понятія, въ лучшемъ случаѣ различіе обычаи при одномъ и томъ же принципѣ. Гдѣ монархическій принципъ въ большинствѣ, тамъ люди въ меньшинствѣ, а тамъ, гдѣ онъ не подвергается сомнѣнію, тамъ вовсе нѣтъ людей. Почему бы человѣку, въ родѣ короля прусскаго, еще не убѣдившагося въ своей проблематичности, не слѣдовать только своему капризу? Вѣдь когда онъ слѣдуетъ ему, что получается отсюда? Противорѣчивыя намѣренія? Эка важность,—тогда изъ нихъ ничего не выйдетъ. Безпомощная тенденціозность? Она—все еще единственная политическая дѣйствительность. Стыдъ и смущеніе? Есть одинъ только стыдъ и одно только смущеніе—слетѣть съ трона. До тѣхъ поръ, пока капризъ остается на своемъ мѣстѣ, онъ правъ. Какъ бы непостоянецъ, безмысленъ, презрѣнъ онъ ни былъ, онъ все еще достаточно хорошъ, чтобъ править народамъ, никогда не знавшимъ иного закона, кромѣ произвола своихъ коро-

¹⁾ Поглядите на этихъ жабъ!

лей. Я не говорю, что бессмысленная система и потеря уваженія къ себѣ какъ внутри, такъ и внѣ государства, останутся безъ послѣдствій, я не беру на себя страховки корабля съ безумцами; но я утверждаю, король прусскій останется человѣкомъ своего времени до тѣхъ поръ, пока превратный міръ является дѣйствительнымъ міромъ.

Вы знаете, меня сильно занимаетъ этотъ человѣкъ. Уже тогда, когда его органомъ была еще лишь «Berliner Politische Wochenblatt», я позналъ ему цѣну и его назначеніе. Уже во время присяги на вѣрность въ Кенигсбергѣ онъ оправдалъ мое предположеніе, что теперь вопросъ приметъ чисто личный характеръ. Онъ объявилъ свое сердце и свой умъ будущимъ государственнымъ основнымъ закономъ домены прусской, *своего* государства; и, дѣйствительно, въ Пруссіи король есть система. Онъ—единственная политическая персона. Его личность такъ или иначе опредѣляетъ систему. Все, что онъ дѣлаетъ или ему позволяютъ дѣлать, все, что онъ думаетъ или ему влагаютъ въ уста, это то, что въ Пруссіи думаетъ или дѣлаетъ государство. Дѣйствительная заслуга нынѣшняго короля, что онъ такъ откровенно повѣдалъ намъ это.

Едиственное заблужденіе состояло одно время въ томъ, что считали важнымъ знать, какія желанія и мысли высказываются королемъ. Но существу отъ этого ничего не могло измѣниться, филистеръ—матеріалъ для монархіи, а монархъ—всегда лишь король филистеровъ; онъ не можетъ сдѣлать ни себя, ни своихъ слугъ дѣйствительно свободными людьми, разъ обѣ стороны остаются тѣмъ, что онъ есть.

Король прусскій сдѣлалъ попытку измѣнить эту систему посредствомъ теоріи, которая дѣйствительно была чужда его отцу. Но участь этой попытки извѣстна. Она совершенно не удалась. И это вполне естественно. Разъ мы опустились до политическаго міра животныхъ, дальше его реакція пойти не можетъ, какъ не можетъ быть и никакого движенія впередъ, если не покинуть этого базиса и не перейти къ человѣческому міру демократіи.

Старый король не хотѣлъ ничего экстравагантнаго; онъ былъ филистеромъ и не притязалъ на умъ. Онъ зналъ, что государство слугъ и его домена нуждаются только въ прозаическомъ, спокойномъ существованіи. Молодой король былъ бодрѣе и живѣе, былъ значительно болѣе высокаго мнѣнія о всемогуществѣ монарха, ограниченнаго только своимъ сердцемъ и своимъ умомъ. Старое окостенѣлое государство прислужниковъ и рабовъ претіло ему. Онъ желалъ оживить его и насквозь проникнуть своими желаніями, чувствами и мыслями; и онъ могъ этого требовать, онъ въ *своемъ* государствѣ, была бы только удача. Отсюда его либеральная рѣчи и сердечныя изліянія. Не мертвый законъ, а полное, живое сердце короля должно править всѣми его подданными. Онъ хотѣлъ привести въ движеніе всѣ сердца и умы за свои сердечныя желанія и долго выпошенные

планы. Движеніе послѣдовало; но сердца другихъ бились не такъ, какъ его собственное сердце, и управляемые не могли раскрыть рта безъ того, чтобы не заговорить объ упраздненіи стараго режима. Идеалисты, имѣвшіе безстыдное желаніе сдѣлать человека человекомъ, взяли слово, и въ то время какъ король фантазировалъ по старо-нѣмецки, они считали себя въ правѣ философствовать по ново-нѣмецки. Во всякомъ случаѣ для Пруссіи это было неслыханнымъ. Одно время казалось, что старый порядокъ вещей опрокинуть на голову, мало того, эти вещи стали даже превращаться въ людей, нашлись даже извѣстные по именамъ люди, хотя называть именъ не было дозволено въ ландтагахъ; но прислужники стараго деспотизма скоро положили конецъ этому поведенію нѣмцевъ. Не трудно было привести къ замѣтному конфликту желанія короля, мечтавшаго о великомъ прошломъ съ попами, рыцарями и крѣпостными, и намѣренія идеалистовъ, которые исключительно желали результатовъ французской революціи, слѣдовательно, въ вѣчномъ счетѣ — республики и строя живыхъ людей вмѣсто строя мертвыхъ вещей. Когда этотъ конфликтъ сталъ достаточно острымъ и неудобнымъ, и вспыльчивый король сдѣлался достаточно раздражительнымъ, слуги, которые раньше такъ легко руководили ходомъ вещей, пошли къ королю и сказали: король нехорошо поступаетъ, вызывая своихъ подданныхъ на бесполезныя рѣчи, имъ не управиться съ поколѣніемъ говорящихъ людей. Къ тому же восточнорусскій повелитель обезпокоился движеніемъ въ головахъ западнорусскихъ и потребовалъ возобновленія стараго спокойствія. И послѣдовало новое изданіе старой опалы на всѣ желанія и помыслы людей о человѣческихъ правахъ и обязанностяхъ, т.-е. возвращеніе къ старому окостенѣлому государству слугъ, въ которомъ рабъ служитъ молча, а владѣлецъ земли и людей возможно молчаливѣй править при посредствѣ хорошо воспитанной, тихой и послушной челяди. Обѣ стороны не могутъ сказать, чего желаютъ, — одни, что хотѣть быть людьми, а другой, что въ своей странѣ ему нѣтъ надобности ни въ какихъ людяхъ. Молчаніе, поэтому, есть единственное средство. *Muta resora, prona et ventri obedientia* ¹⁾.

Такова злосчастная попытка упразднить филистерское государство на его собственной основѣ: она кончилась тѣмъ, что показала наглядно всему міру необходимость деспотизма быть жестокимъ и невозможность быть гуманнымъ. Жестокій порядокъ вещей можетъ быть поддержанъ только жестокостью. Вотъ я и кончилъ нашу общую задачу — познать филистера и его государство. Вы не станете утверждать, что я слишкомъ высоко цѣню современность, и если я тѣмъ не менѣе не отчаиваюсь въ ней, то потому, что ея собственное отчаянное положеніе наполняетъ меня надеждой. Я не говорю уже о неспособности правителей и равнодушій слугъ и подданныхъ, предоставляющихъ все на волю Божию; хотя и того и другого до-

¹⁾ Безгласный скотъ, покорный, и послушный желудку.

статочно, чтобы вызвать катастрофу. Обращаю Ваше вниманіе лишь на то, что враги филистерства, одвигъ словомъ, все мыслящіе и все страждущіе достигли соглашенія, — къ этому раньше у нихъ совѣтъ не было способовъ — и что даже пассивная система размноженія старыхъ подданныхъ каждый день вербуетъ рекрутовъ на службу повому человечеству. Но система промышленности и торговли, собственности и эксплуатаціи людей гораздо еще скорѣе, чѣмъ ростъ населенія, ведутъ къ катастрофѣ внутри нынѣшняго общества, которую не въ силахъ будетъ задержать старая система, ибо она вообще не лѣчитъ и не творитъ, а лишь существуетъ и поѣдаетъ. Существованіе страждущаго человечества, которое мыслить, и мыслящаго человечества, которое страждетъ, необходимо должно сдѣлаться несъѣдобнымъ и несваримымъ для пассивнаго и безмысленно поѣдающаго животнаго міра филистерства.

Наше дѣло вывести на свѣтъ Божій старый міръ и положительно создать новый. Чѣмъ больше времени оставляютъ событія мыслящему человечеству, чтобы собраться съ мыслями, и страждущему человечеству, чтобы собраться съ силами, тѣмъ закончешше явится на свѣтъ тотъ плодъ, которымъ чревата современность.

Б. къ Р.

Островъ Петра на Бильскомъ озерѣ, май 1843 г.

Ваше письмо изъ Берлина сообщилъ мнѣ нашъ другъ М. Повидному, Вы негодуете на Германію. Вы видите лишь семью и филистера, заключеннаго, со всеми своими мыслями и желаніями, въ тѣсныхъ четырехъ стѣнахъ, и не вѣрите въ весну, которая заманитъ его на улицу. Милый другъ, только Вы не теряйте вѣры, только Вы. Подумайте, я, русскій, варваръ, не отказываюсь отъ нея, не отказываюсь отъ Германіи, а Вы, Вы, стоящій посреди движенія, Вы, дожившій до его начала и неожиданно пораженный его расцвѣтомъ, Вы хотите теперь обречь на безсиліе ту самую мысль, которой Вы все довѣрили, до тѣхъ поръ, пока не было испытано ея могущество? О, я согласенъ, еще далеко до наступленія нѣмецкаго 1789 года! Когда же пѣмцы не отставали на столѣтія? Но оттого еще не время сидѣть со сложенными руками и малодушно отчаиваться. Если ужъ люди, какъ Вы, не вѣрятъ болѣе въ будущность Германіи, не желаютъ больше работать надъ ней, кто же будетъ тогда вѣрить, кто работать? Я пишу это письмо на островѣ — Руссо на Бильскомъ озерѣ. Вы знаете, я не живу фантазіями и фразами; но я содрогаюсь съ головы до ногъ при мысли, что именно сегодня, когда я пишу Вамъ и о такомъ предметѣ, меня привлекло къ этому мѣсту. О, я знаю, моя вѣра въ побѣду человечества надъ попами и тиранами есть та же вѣра, которую великій изгнанникъ вливалъ въ сердца милліоновъ людей, ко-

тору ю опъ и сюда унесъ съ собой. Руссо и Вольтеръ, эти безсмертныя, снова молодѣютъ; они празднуютъ свое воскресеніе изъ мертвыхъ въ одареннѣйшихъ головахъ германской націи; великое воодушевленіе гуманизмомъ и государствомъ, принципомъ котораго является, въ концѣ концовъ, дѣйствительно человѣкъ, хлопочущая непамять противъ поповъ и наглаго оскверненія ими всего человѣчески великаго и истиннаго снова овладѣли міромъ. Философіи еще разъ предстоитъ сыграть роль, которую она такъ славно провела во Франціи; и ровно ничего не доказываетъ противъ нея, если могущество и плодотворность ея стали ясными для противниковъ раньше, чѣмъ для нея самой. Она пассивна и еще не ждетъ никакой борьбы и никакого преслѣдованія, потому что она считаетъ всѣхъ людей разумными существами и обращается къ ихъ разсудку, словно къ своему неограниченному повелителю. Въ порядкѣ вещей, что наши противники, которымъ па то и дана голова, чтобы сказать: мы неразумны и хотимъ такими остаться, пачали вести практическую борьбу, противодействовать разуму неразумными средствами. Такое положеніе доказываетъ лишь могущество философіи, окрики на нее есть уже побѣда. Вольтеръ сказалъ какъ-то: *Vous, petits hommes, revêtus d'un petit emploi, qui vous donne une petite autorité dans un petit pays, vous criez contre la philosophie?* ¹⁾ Мы живемъ въ Германіи въ вѣкъ Руссо и Вольтера, и «тѣ среди насъ, кто достаточно молодъ, чтобы дожить до плодовъ нашей работы, увидятъ великую революцію и эпоху, въ которую стоитъ родиться». Мы имѣемъ право повторить и эти слова Вольтера, не опасаясь, что во второй разъ они мѣлѣе подтвердятся исторіей, чѣмъ въ первый.

Теперь еще французы—наши учителя. Въ политическомъ отношеніи они опередили насъ на столѣтія. И какъ много слѣдствій прористекаетъ отсюда! Эта мощная литература, эта живая поэзія и образовательное искусство, эта культурность и одухотворенность всего народа, все—условія, которыя мы издалека только понимаемъ! Мы должны навестать, мы должны наказывать розгами наше метафизическое высокомеріе, которое не согрѣваетъ міра, мы должны учиться, должны работать день и ночь, дабы мы могли жить по-человѣчески съ людьми, могли быть свободными и дать другимъ свободу, мы должны—я снова къ этому возвращаюсь—овладѣть нашимъ вѣкомъ при помощи нашихъ мыслей. Мыслителю и поэту дозволено предвосхищать будущее и строить новый міръ свободы и красоты посреди гroudъ разложенія и тлѣна, насъ окружающихъ.

И въ виду всего этого, посвященный въ тайны вѣчныхъ силъ, которыя вновь рождаетъ время изъ пѣдръ своихъ, Вы хотите отчаиваться? Отчаиваясь въ Германіи, Вы отчаиваетесь не только въ

¹⁾ Вы, маленькіе людишки, облеченные маленькой должностью, которая даетъ вамъ маленькую власть въ маленькой странѣ, вы осмѣливаетесь кричать противъ философіи?

себѣ самомъ,—Вы отказываетесь отъ власти истины, которой Вы себя посвятили. Немногіе люди настолько благородны, чтобы цѣликомъ и напрямки посвятить себя приженію и тканью освобождающей истины, немногіе способны передать своимъ современникамъ это движеніе сердца и головы; но кому разъ удалось сдѣлаться устами свободы и очаровать міръ серебрястыми звуками ея голоса, тотъ имѣетъ залогъ побѣды своего дѣла; добиться ея можетъ другой лишь съ тѣмъ же трудомъ и при той же удачѣ.

Я признаю, мы должны порвать съ нашимъ собственнымъ прошлымъ. Мы разбиты, и если даже то была лишь грубая сила, что поставила препятствіе движенію мысли и творчества, то сама эта грубость была бы невозможна, если бы мы не вели обособленной жизни въ небесахъ ученой теоріи, если бы мы имѣли на нашей сторонѣ народъ. Мы не защищали его дѣла предъ лицомъ самого народа. Иначе у французовъ. Будь только возможность, ихъ освободителей также бы задушили.

Я знаю, Вы любите французовъ, Вы чувствуете ихъ превосходство. Для сильной воли въ такомъ великомъ дѣлѣ достаточно этого чувства, чтобъ вступить съ ними въ соперничество и сравняться съ ними. Что за чувство! Что за невыразимое блаженство это стремленіе и эта власть! О, какъ завидую я Вамъ въ этой работѣ, даже въ Вашемъ гнѣвѣ, ибо и онъ—чувство всехъ благородныхъ сыновъ Вашего народа. Если бы я только могъ помочь ему! Огдаты мою кровь и жизнь за его освобожденіе! Повѣрьте мнѣ, онъ возстанетъ и достигнетъ свѣта человѣческой исторіи. Онъ не всегда будетъ считать своей гордостью позоръ германцевъ—быть лучшими слугами всякой тираніи. Вы ставите ему въ упрекъ, что онъ не свободенъ, что онъ лишь народъ частныхъ лицъ. Вы говорите лишь о томъ, что онъ есть; но можете ли Вы этимъ доказать, чѣмъ онъ будетъ?

Развѣ не было то же самое во Франціи, а какъ быстро вся Франція сдѣлалась государственнымъ существомъ и ея сыны политическими людьми. Мы не имѣемъ права отказываться отъ дѣла народа, даже если бы онъ самъ пренебрегъ имъ. Они, эти филистеры, откалываются отъ насъ, они преслѣдуютъ насъ; тѣмъ преданіе отдается нашему дѣлу ихъ дѣти. Ихъ отцы хотятъ умертвить свободу, а тѣ пойдутъ за свободу на смерть.

И какъ велико наше преимущество передъ людьми XVIII вѣка! Тѣ говорили, имѣя предъ собой эпоху одичанія. Передъ нашими же глазами стоятъ какъ живые огромные результаты ихъ идей; мы можемъ въ практической жизни соприкоснуться съ ними. Стоитъ поѣхать во Францію, занести ногу черезъ Рейнъ, и мы сразу очутимся среди новыхъ элементовъ, которые въ Германіи еще даже не родились. Распространеніе политическаго мышленія на всѣ круги общества, энергія мысли и рѣчи, проявляющаяся въ выдающихся головахъ только потому, что въ каждомъ мѣткомъ словѣ чувствуется сила всего народа,—все это мы можемъ теперь наглядно изучить.

Поѣздка во Францію и даже продолжительное пребываніе въ Парижѣ принесли бы намъ огромную пользу.

Нѣмецкая теорія вполне заслужила этого паденія со всѣхъ своихъ небесъ, съ ней теперь приключившагося, если грубые теологи и глупые юнкера треплютъ ее за уши, какъ охотничью собаку, и указываютъ ей дорогу, куда бѣжать. Благо ей, если это паденіе излѣчитъ ее отъ высокомерія. Все зависитъ отъ нея, — извлечетъ ли она изъ своей судьбы урокъ, что она покинута на одинокой темной выси и можетъ найти защиту только въ сердцѣ народа. Кто склонитъ на свою сторону народъ, мы или вы, — такъ взываютъ къ философамъ эти невѣжественные кастраты. Позоръ имъ за это! Но зато слава и честь людямъ, ведущимъ къ побѣдѣ дѣло человѣчества!

Здѣсь, только здѣсь начинается борьба, и наше дѣло такъ сильно, что мы, нѣсколько развѣянныхъ по свѣту людей, съ связанными руками, однимъ только боевымъ кличемъ повергаемъ въ бѣгство и страхъ ихъ міриады. Такъ и быть, идетъ и я, скифъ, развяжу у васъ ваши пути, у васъ, германцевъ, желающихъ быть греками. Шлите мнѣ ваши труды! На островѣ Руссо я напечатаю ихъ и огненными буквами еще разъ начертаю на небесахъ исторіи: гибель персамъ!

Р. къ Б.

Дрезденъ, въ іюнѣ 1843 г.

Лишь теперь получилъ я Ваше письмо; по содержаніе его не старится такъ быстро. Вы правы. Мы, нѣмцы, дѣйствительно такъ отстаемъ, что прежде всего должны запово создать человѣческую литературу, при помощи которой можно было бы теоретически завоевать міръ, дабы этими мыслями онъ руководился потомъ въ своихъ дѣйствіяхъ. Быть можетъ, намъ удастся предпринять во Франціи общее изданіе, быть можетъ, даже совмѣстно съ французами. Я намѣренъ по этому поводу вступитъ въ переписку съ нашими друзьями. Впрочемъ, Вы напрасно такъ близко приняли къ сердцу мое угнетенное настроеніе въ Берлинѣ. Зато тѣмъ самодовольнѣе всѣ другіе; и одно какое-нибудь сбывшееся желаніе перваго берлинца-короля превѣщаетъ собою всеобщее уныніе. Не думайте, что я не вижу этихъ обширныхъ желаній. Христіанство, напр., вѣдь, такъ сказать, все. И вотъ оно возстаповлено, государство сдѣлалось христіанскимъ, настоящимъ монастыремъ, король — еще болѣе христіанскимъ, а королевскіе чиновники — наихристіанѣйшими. Я допускаю, эти господа набожны только потому, что имъ недостаточно одного рабства. Наряду съ земной придворной службой имъ пужна еще небесная; рабство должно быть не только ихъ службой, но и ихъ совѣтью. И если сѣвероамериканскіе дикари наказываютъ себя самихъ за свои грѣхи, то когда-нибудь и другіе народы, я надѣюсь, произведутъ

ту же самую операцію надъ этими псами пеба. Но въ настоящій моментъ, кто не скажетъ, что все обстоитъ благополучно въ царствѣ Божьемъ? П я, конечно, припаялъ бы живѣйшее участіе въ общемъ великолѣпнн, если бы не полагалъ, что разочарованное уныніе всегда лучше разочарованнаго самодовольства. Вы скажете, я могъ бы съ пользою прочесть Эйленшпигеля ¹⁾, который приходилъ въ уныніе уже при видѣ приближающейся горы; берлинцы также его читали, читаютъ его всегда, когда читаютъ свою исторію, но безъ толку: и потому остаются въ увѣренности, что ихъ шуточки остроумны. Даже христіанство интересуетъ ихъ только какъ острое слово, какъ гениальный оборотъ рѣчи. Пикантно вѣрить во все нелѣпности суевѣрія и носить при этомъ цѣлый сюртукъ; пикантно слушать обращеніе къ себѣ въ стилѣ священной римской имперіи съ «поклономъ и пожатіемъ руки» или подписываться въ нашъ нечестивый вѣкъ дпемъ какого-нибудь святого и, разъ уже невозможно помѣтить святыми мѣстами вроде Св. Іоанна въ Латеравѣ и Ватикана, то, по меньшей мѣрѣ, пикантно издать во дворцѣ безбожнаго Фридриха буллу о возстановленіи сестеръ милосердія или объ основаніи часовни святого Адельберта.

Однако, я не желаю даже рискнуть жить подъ сѣнью пальмъ, даже въ воображеніи. Прощай, Берлинъ. Мнѣ милѣе Дрезденъ. Здѣсь достигли всего, наслаждаются всѣмъ, чего не можеть добиться Пруссія при полномъ напряженіи своего оффиціального остроумія. Сословія, цехи, устарѣвшіе законы, духовенство рядомъ съ мірянами, католическій прелатъ въ палатѣ господъ, короткіе штаны и черныя чулки даже лютеранскаго духовенства, разводъ съ благословенія поповъ и власть консисторіи въ такого рода дѣлахъ, празднованіе воскресенья и штрафъ отъ 16 грошей до 5 имперскихъ талеровъ каждому нарушителю воскреснаго отдыха, исполняющему грубыя работы, союзъ противъ мучительства животныхъ и ни одного союза для покровительства трубочистовъ, для призрѣнія людей.— Вирочемъ нѣтъ, чтобы не быть несправедливымъ, я долженъ напомнить объ одномъ честномъ христіанинѣ, который серьезно относился къ гуманизму и весьма гениальнымъ средствомъ отчасти уничтожилъ мученія дѣтей бѣдлйковъ,—онъ потерялъ крушеніе не вслѣдствіе своей неспособности, а вслѣдствіе превосходства существующаго порядка вещей. Саксонія сохранила доисторическую эпоху во всѣмъ ея юношескомъ великолѣпнн; слишкомъ мало изучаютъ это Эльдorado стараго крющкотворства и теологін, эту священную римскую имперію въ мншіатурѣ, въ которой округа и области скоро объявятъ себя независимыми другъ отъ друга, а Лейпцигскій университетъ давно уже независимъ отъ тщеславнаго развитія духовной культуры въ пустынной, далекой Германіи, не говоря уже о Европѣ. Но я я не говорю, что саксонскій

¹⁾ Эйленшпигель—шутъ, жившій въ XIV в. (ум. въ 1350 г.). Книга того же имени, написанная въ XVI в., повѣствуетъ о его шутовскихъ продолженіяхъ.

народъ не дѣлаетъ никакихъ успѣховъ. Я расскажу вамъ исторію. Евреи—плохіе христіане, поэтому они и не принимаютъ никакого участія въ вольностяхъ всего остального саксонскаго народа, они не пользуются правами чести и не должны дѣлать всего того, на что имѣютъ право крещеные. Недавно еще брюловская терраса была брюловскимъ садомъ. У моста, гдѣ теперь спускъ, садъ замыкался отвѣсной каменной стѣной, а другая его сторона была заперта. По многимъ днямъ стража пиного и собакъ. Однажды съ собачкой на рукахъ явилась жена генерала, и стража изъ-за собачки не пустила ея въ садъ. Возмущенная этимъ, дама пожаловалась своему мужу, генералу, и появился приказъ, отмѣнявшій инструкцію стражи относительно собакъ. П вотъ отъ времени до времени собаки стали появляться въ брюловскомъ саду; а евреи?—нѣтъ, они все еще не имѣли права. Тогда евреи принесли жалобу и потребовали равноправія съ собаками. Генераль отутился въ величайшемъ смущеніи. Не взять ли обратно свой приказъ, революціонныхъ послѣдствій котораго онъ даже не подозрѣвалъ? Жена отстаивала права своей собаки и собачъ ея пріятельницъ. Порядокъ этотъ вошелъ уже въ обычай, и евреи—генераль это предвидѣлъ—поднимуть страшный крикъ, если теперь въ XIX вѣкѣ за ними не признаютъ собачьей привилегіи, которой они пользовались даже въ теченіе всѣхъ среднихъ вѣковъ. Тогда генераль рѣшился на свою отвѣтственность пустить евреевъ въ брюловскій садъ, когда онъ не запертъ по случаю пріѣзда двора. Негодованіе было велико, но старый вояка противостоялъ ему. Затѣмъ появились русскіе. Генераль-губернаторъ Рѣпякъ въ 1813 г. не засталъ никакого двора. Онъ даже думалъ, что дворецъ, вѣроятно, никогда не вернется, и обратилъ брюловскій садъ въ брюловскую террасу съ широкимъ спускомъ и свободнымъ входомъ, какой у него сейчасъ. Это возмутило сердца всѣхъ истинно-саксонскихъ людей, и если бы русскіе не были значительно популярнѣе пѣмцевъ, наступило бы возмущеніе. А теперь народъ позволилъ себя увлечь, онъ даже разстрѣлялъ въ большомъ саду королевскихъ фазановъ и покорился тому, что русскіе открыли для публики и ту часть, которая раньше была предоставлена фазанамъ. Одинъ только самый истинно-саксонскій человѣкъ, курфюретскій тайный совѣтникъ, понинъ еще здравствующій, не простилъ русскимъ ихъ непристойной, всеразрушающей любви къ повизнѣ. Онъ не признаетъ ни брюловской террасы, ни большого сада. Онъ никогда не выходитъ и не спускается съ «русской лѣстницы», онъ всегда проходитъ черезъ законную калиточку стараго «брюловскаго сада», никогда не беретъ съ собой ни собакъ, ни евреевъ и никогда не ходитъ въ «фазаній дворецъ» иначе, какъ средней дорожкой, которая была открыта для пѣшеходовъ и въ добрыя старыя времена, за исключеніемъ времени выводки птенцовъ.

Боячно, этотъ консервативный христіанинъ разсудительнѣе, и

если бы всё пѣмцы были истинно-саксонскими людьми, или не было бы русскихъ, появляющихся отъ времени до времени, чтобы открыть пѣмцамъ ихъ мѣста прогулокъ, или не было бы французовъ, которые при Ленѣ отрѣзали имъ косы, или, наконецъ, если бы не было пруссаковъ и любви къ повешествамъ въ головахъ ихъ христіанскихъ и языческихъ королей,—нигдѣ не жило бы спокойно, чѣмъ въ Дрезденѣ. А теперь нашему саксонскому отечеству, при всемъ его великолѣпіи внутри, всегда еще угрожаютъ великія потрясенія извнѣ.

Die Welt ist vollkommen überall,
Wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual ¹⁾.

Ф. къ Р.

Брукбергъ, іюнь 1843 г.

Письма и литературные планы, Вамъ мнѣ сообщенные, подали мнѣ поводъ для многихъ размышленій. Въ моемъ одиночествѣ они нужны мнѣ,—не забудьте повторить ваши присылки. Гибель «*Deutsche Jahrbücher*» напоминаетъ мнѣ гибель Польши. Услія немногихъ людей были тщетны въ общемъ болотѣ загнившей народной жизни.

Не скоро добьемся мы въ Германіи и успѣха. Все насквозь испорчено, одно—по одному, другое—по другому. Намъ нужны были новые люди. Но на этотъ разъ они не пришли изъ болотъ и дѣсовъ, какъ во времена переселенія народовъ; мы должны родить ихъ изъ нашихъ чреслъ. И этому новому поколѣнію должно преподнести новый міръ въ мысляхъ и стихахъ. Надо все созидать съ основанія. Гигантская работа многихъ объединенныхъ силъ. Цѣлой нитки не должно остаться отъ стараго режима. Новая любовь—новая жизнь, говоритъ Гете; новое ученіе—новая жизнь, скажемъ мы.

Голова не всегда бываетъ впереди; она въ одно и то же время и самое подвижное и самое тяжеловѣсное существо. Въ головѣ рождается новое, но въ головѣ всего дольше засиживается и старое. Головѣ съ радостью повинуется руки и ноги. Поэтому прежде всего очистите и опорочите голову. Голова—теоретикъ, философъ. Она должна лишь научиться носить тяжелое ярмо практики, подъ которое мы ее подводимъ, и по-человѣчески жить въ этомъ мірѣ на плечахъ дѣятельныхъ людей. Но это лишь различіе образа жизни.

Что такое теорія, что практика? Въ чемъ состоитъ ихъ различіе? Теоретическимъ будетъ то, что еще торчитъ въ моей только головѣ, практическимъ—то, что водится въ головахъ многихъ. То, что объединяетъ многія головы, образуетъ массу, ширится и тѣмъ завосываетъ себя мѣсто въ свѣтѣ. Если можно создать новый органъ для новаго принципа,—съ этимъ дѣломъ нельзя медлить.

¹⁾ Міръ—всюду совершенство, гдѣ насъ иѣтъ съ нашими страданіями.

Р. къ М.

Парижъ, августъ 1843 г.

Новый Анахарисъ и новый философъ убѣдили меня. Да, Польша погибла, но Польша еще не потеряна—такъ доносится постоянно изъ развалищъ, и если бы Польша воспользовалась уроками своей судьбы и бросилась въ объятія разума и демократіи, т.-е. перестала бы быть Польшею, ее можно было бы еще спасти. «Новое ученіе—повалъ жизнь», да! подобно тому какъ католическая вѣра и шляхетская свобода не могутъ спасти Польши, такъ теологическая философія и дворянская наука не могутъ освободить насъ. Мы можемъ продолжать наше прошлое не иначе, какъ самымъ рѣшительнымъ разрывомъ съ нимъ. Мы намѣрены основать здѣсь, въ Парижѣ, органъ, въ которомъ будемъ судить о себѣ самихъ и всей Германіи совершенно свободно и съ горькой правдивостью. Это и есть настоящее обновленіе, новый принципъ, новая позиція, освобожденіе отъ узкоэгоистической сущности націонализма и рѣзкій протестъ противъ жестокой реакціи распутныхъ пародныхъ чудовищъ, поглотившихъ вмѣстѣ съ тираномъ Наполеономъ и гуманизмъ революціи. Философія и національная ограниченность,—какъ можно соединить ихъ обѣихъ, хотя бы въ заголовкѣ журнала? Еще разъ: Германскій Союзъ совершенно правильно запретилъ возобновить «Deutsche Jahrbücher», онъ говоритъ намъ: никакой реставраціи! Какъ умно! Мы должны предпринять что-нибудь новое, если вообще хотимъ что-нибудь сдѣлать. Я позабочусь о матеріальной сторонѣ дѣла. Мы разсчитываемъ на Васъ. Напишите мнѣ насчетъ плана новаго журнала, при семъ Вамъ прилагаемаго.

М. къ Р.

Крейцнахъ, сентябрь 1843 г.

Меня радуешь, что Вы рѣшились и, окинувъ взоромъ прошлое, направляете Ваши мысли впередъ къ новому предпріятію. Итакъ, въ Парижѣ, старой академіи философіи,—*absit omen!*—и новой столицѣ новаго міра. Что необходимо, то и исполнится. Поэтому я нисколько не сомнѣваюсь, что удастся устранить всѣ препятствія, значенія которыхъ я не скрываю.

Осуществится ли предпріятіе или нѣтъ,—во всякомъ случаѣ въ концѣ этого мѣсяца я буду въ Парижѣ, такъ какъ здѣшній воздухъ дѣлаетъ крѣпостнымъ, и я не вижу въ Германіи рѣшительно никакой возможности для свободной дѣятельности.

Въ Германіи все насильнически подавляется, воцарилась настоящая анархія духа, царство самой глупости, и Цюрихъ повинуется приказамъ изъ Берлина; становится все яснѣе, что падо искать новаго сборнаго пункта для всѣхъ дѣйствительно мыслящихъ и неза-

висящихъ головъ. Я убѣжденъ, что нашъ планъ отвѣчаетъ дѣйствительной потребности, а дѣйствительныя потребности должны быть дѣйствительно удовлетворены. Поэтому я нисколько не сомнѣваюсь въ предпріятіи, если только серьезно взятыся за него.

Повидимому, едва ли не важнѣе внѣшнихъ препятствій внутреннія затрудненія. Ибо, если и вѣтъ никакихъ сомнѣвій относительно вопроса «откуда», то тѣмъ большая путаница господствуетъ по вопросу «куда». Не только потому, что среди реформистовъ обнаружилась общая анархія; каждый долженъ себѣ самому признаться, что онъ не имѣетъ точнаго представленія о томъ, что должно предпринять. Между тѣмъ преимущество новаго направленія какъ разъ въ томъ и состоитъ, что мы не предвосхищаемъ догматически міра, а хотимъ отыскать новый міръ лишь изъ критики стараго міра. До сихъ поръ разрѣшеніе всѣхъ загадокъ философы хранили въ своемъ письменномъ столѣ, а глупому экзотерическому міру оставалось только раскрыть ротъ, чтобы въ него полетѣли жареные голуби абсолютнаго знанія. Философія сдѣлалась свѣтской, и лучшимъ тому доказательствомъ служить то, что философское сознаніе само вовлечено въ муки борьбы не только внѣшнимъ, но и внутреннимъ образомъ. Если не наше дѣло конституированіе будущаго и шаблонизированіе на всѣ времена, то тѣмъ безспорнѣе задача, которую намъ теперь предстоитъ осуществить; я говорю о беспощадной критикѣ всего существующаго, безпощадной въ томъ смыслѣ, что критика не останавливается ни предъ своими выводами, ниже предъ конфликтомъ съ предрѣжащими властями.

Я не стою поэтому за то, чтобы поднять догматическое знамя; напротивъ, мы должны постараться помочь догматикамъ, дабы они уяснили себѣ свои положенія. Такъ, коммунизмъ есть догматическая абстракція, при чемъ я однако пжѣю въ виду не какой-либо воображаемый и возможный, а дѣйствительно существующій коммунизмъ, въ родѣ коммунизма Кабэ, Дезами, Вейтлинга и др. Самъ этотъ коммунизмъ есть лишь частное проявленіе гуманистическаго принципа, зараженное своей противоположностью—индивидуальной сущностью. Поэтому упраздненіе частной собственности и коммунизмъ отнюдь не тождественны, и не случайно, а необходимо рядомъ съ коммунизмомъ возникли другія социалистическія ученія, какъ ученіе Фурье, Прудона и др., ибо онъ самъ—лишь особое, одностороннее осуществленіе социалистическаго принципа.

И весь социалистическій принципъ въ свою очередь представляетъ собой одну только сторону, которая касается реальности истиннаго человѣческаго существа. Мы должны точно также позаботиться и о другой сторонѣ, о теоретическомъ существованіи чловѣка, слѣдовательно, должны избрать предметомъ нашей критики религію, науку и т. п. Кроме того, мы должны воздѣйствовать на нашихъ современниковъ, и при томъ на нашихъ вѣмецкихъ современниковъ. Спрашивается, какъ же это устроить? Нельзя отрицать двойаго рода

фактовъ. Во-первыхъ, религія, а затѣмъ политика—вотъ вопросы, образующіе главный интересъ современной Германіи. Надо пачать съ нихъ, каковы бы они ни были, а не противопоставлять имъ какой-нибудь готовой системы, въ родѣ «Путешествія въ Икарію».

Разумъ всегда существовалъ, но не всегда въ самой разумной формѣ. Поэтому критикъ можетъ взять отправнымъ пунктомъ любую форму теоретическаго и практическаго сознанія и изъ собственныхъ формъ существующей дѣйствительности вывести истинную дѣйствительность, какъ ея долженствованіе и конечную цѣль. Что же касается дѣйствительной жизни, то какъ разъ политическое государство, даже тамъ, гдѣ оно сознательно еще не преклонило социалистическихъ требованій, заключаетъ во всѣхъ своихъ современныхъ формахъ требованія разума. И на этомъ оно не останавливается. Оно всюду предполагаетъ разумъ реализованнымъ, и именно потому оно всюду впадаетъ въ противорѣчіе между своимъ идеальнымъ назначеніемъ и своими реальными предпосылками.

Изъ этого конфликта политическаго государства съ самимъ собой всюду развивается социальная истина. Подобно тому какъ религія есть указатель содержанія теоретической борьбы человѣчества, такъ и политическое государство есть указатель его практической борьбы. Такимъ образомъ, политическое государство выражаетъ въ предѣлахъ своихъ границъ всю социальную борьбу, потребности, истины *sub specie republicae* ¹⁾. Поэтому отнюдь не ниже *hauteur des principes* ²⁾ дѣлать предметомъ критики самые спеціальные политическіе вопросы, въ родѣ различія между сословной и представительной системой. Ибо этотъ вопросъ выражаетъ лишь политическимъ образомъ различіе между господствомъ чловѣка и господствомъ частной собственности. Критикъ, поэтому, не только можетъ, но долженъ войти въ разсмотрѣніе всѣхъ политическихъ вопросовъ (по воззрѣніямъ отъявленныхъ социалистовъ они вовсе не заслуживаютъ этого). Развивая преимущество представительной системы передъ сословной, онъ практически заинтересовываетъ большую партію. Возвышая представительную систему изъ ея политической формы до общей формы и осуществляя истинное значеніе, лежащее въ ея основѣ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ вынуждаетъ эту партію выйти за предѣлы себя самой, ибо ея побѣда есть въ то же время ея уронъ.

Ничто, слѣдовательно, не мѣшаетъ намъ приурочить нашу критику къ критикѣ политики, къ партійному участію въ политикѣ, т.-е. къ дѣйствительной борьбѣ, и отождествить ее съ ней. Мы не выступаемъ тогда доктринерски навстрѣчу міру съ новымъ принципомъ: здѣсь истина, здѣсь преклони колѣни! Изъ принциповъ міра мы развиваемъ міру новые принципы. Мы не говоримъ ему: оставь твою борьбу, все это глупости; мы крикнемъ тебѣ истинный пароль борьбы. Мы

¹⁾ Въ формѣ государства.

²⁾ высоты принциповъ.

только показываемъ ему, за что собственно онъ борется, а сознание есть вещь, которую онъ долженъ усвоить, хотя бы того и не ждалъ.

Реформа сознания состоитъ лишь въ томъ, что мы даемъ міру пропикнуться своимъ сознаниемъ, пробуждаемъ его отъ мечтаній о себѣ самомъ, объясняемъ ему его собственныя дѣйствія. Подобно фейербаховской критикѣ религіи, вся наша цѣль должна состоять только въ томъ, чтобы свести религіозныя и политическія вопросы къ самосознанной человѣческой формѣ.

Итакъ, нашъ избирательный лозунгъ долженъ гласить: реформа сознания не черезъ догмы, а черезъ анализированіе мистическаго, себѣ самому неяснаго сознания, выступаетъ ли оно въ религіозной или политической формѣ. Тогда окажется, что міръ давно мечтаетъ о вещи, которую онъ долженъ лишь сознать, чтобы дѣйствительно обладать ею. Окажется, что рѣчь идетъ не о большомъ тире между прошлымъ и будущимъ, а о завершеніи мыслей прошедшаго. Наконецъ, окажется, что человечество начинаетъ не новую работу, а сознательно заканчиваетъ свою старую работу.

Такимъ образомъ, мы можемъ опредѣлить направленіе нашего журнала однимъ словомъ: уясненіе въкомъ своей борьбы и желаній (критическая философія). Это работа для міра и для насъ. Она можетъ быть дѣломъ только объединенныхъ силъ. Рѣчь идетъ лишь объ исповѣди, ничего больше. Чтобы добиться прощенія своимъ грѣхамъ, человечеству надо лишь объявить себя тѣмъ, что оно есть.

Къ критикѣ гегелевской философіи права.

Карла Маркса.

ВВЕДЕНІЕ.

Для Германіи критика религіи по существу окончена, а критика религіи—предпосылка всякой другой критики.

Съ тѣхъ поръ какъ опровергнута небесная *oratio pro aris et focis* ¹⁾, земное существованіе заблужденія скомпрометировано. Человѣкъ, нашедшій въ фантастической дѣйствительности неба, гдѣ онъ искалъ сверхчеловѣка, лишь отраженіе себя самого, не пожелаетъ больше находить лишь видимость себя самого, лишь нечеловѣка, тамъ, гдѣ онъ ищетъ и долженъ искать своей истинной дѣйствительности.

Основаніе иррелигіозной критики таково: человѣкъ создаетъ религію, религія не создаетъ человѣка. Религія есть самосознаніе и самочувствіе человѣка, который или еще не отыскалъ себя, или снова уже потерялъ себя. Но человѣкъ—не абстрактное, внѣ міра витающее существо. Человѣкъ—это міръ человѣка, государство, общество. Это государство, это общество создаютъ религію, превратное міросознаніе, ибо сами они—превратный міръ. Религія есть общая теорія этого міра, его энциклопедическая сводка, его логика въ популярной формѣ, его спиритуалистическое *point d'honneur* ²⁾, его энтузіазмъ, его моральная санкція, его торжественное завершеніе, его общая основа, дающая ему утѣшеніе и оправданіе. Она—фантастическое воплощеніе человѣческаго существа, ибо человѣческое существо не обладаетъ истинной дѣйствительностью. Такимъ образомъ, борьба противъ религіи есть косвенно борьба противъ того міра, духовнымъ ароматомъ котораго является религія.

Религіозное убожество есть въ одно и то же время выраженіе дѣйствительной нищеты и протестъ противъ дѣйствительной нищеты. Религія—это вздохъ угнетенной твари, душа безсердечнаго міра, духъ безвременья. Она—опіумъ народа.

¹⁾ Рѣчь въ защиту алтарей и очаговъ.

²⁾ Чувство чести.

Упраздненіе религіи, какъ призрачнаго счастья народа, есть требованіе его действительнаго счастья. Требованіе отказаться отъ иллюзій относительно религіи есть требованіе отказаться отъ религіи, которая нуждается въ иллюзіяхъ. Критика религіи есть, следовательно, въ зародышѣ критика долины скорбей, лучезарнымъ вѣнцомъ которой является религія.

Критика сорвала воображаемые цвѣты съ цѣпей не затѣмъ, чтобы человѣкъ посылъ трезвыя, безнадежныя цѣпи, а затѣмъ, чтобы онъ сбросилъ цѣпи и срывалъ живые цвѣты. Критика религіи разочаровываетъ человѣка, дабы онъ мыслить, действовать, развивать свою действительность, какъ разочарованный, образумившійся человѣкъ; дабы онъ двигался вокругъ себя самого и своего действительнаго солнца. Религія есть лишь призрачное солнце, движущееся вокругъ человѣка до тѣхъ поръ, пока онъ не начнетъ двигаться вокругъ себя самого.

Такимъ образомъ, съ тѣхъ поръ какъ исчезла загробная жизнь истины, задача исторіи — возстановить истину земной юдоли. Ближайшая задача философіи, находящейся на службѣ исторіи, съ тѣхъ поръ какъ разоблаченъ священный образъ человѣческаго самоотчужденія, состоитъ въ томъ, чтобы разоблачить самоотчужденіе въ его безбожныхъ образахъ. Критика неба обращается, такимъ образомъ, въ критику земли, критика религіи — въ критику права, критика теологіи — въ критику политики.

Дальнѣйшее изслѣдованіе — попытка такой критики — ближайшимъ образомъ приурочивается не къ оригиналу, а къ копіи — къ нѣмецкой философіи государства и права, по той простой причинѣ, что оно приурочивается къ Германіи.

Если бы мы приурочили его къ существующимъ нѣмецкимъ порядкамъ, хотя бы и въ единственно возможной формѣ, а именно отрицательной, результатъ все же остался бы анахронизмомъ. Даже отрицаніе нашей политической современности является уже покрытымъ пылью фактомъ въ исторической кладовой новыхъ народовъ. Отрицательно относясь къ напудреннымъ косамъ, я все еще нѣмю предъ собой ненапудренныя косы. Отрицательно относясь къ нѣмецкимъ порядкамъ 1843 года, я по французскому лѣтосчисленію едва пахуюсь въ 1789 году, тѣмъ менѣе въ самомъ фокусѣ современности.

Да, нѣмецкая исторія гордится движеніемъ, котораго на историческомъ небѣ ни до нея не сдѣлазъ, да и потомъ не сдѣлаеть ни одинъ народъ. А именно, мы раздѣляли съ новыми народами реставраціи, не раздѣляя ихъ революцій. Мы подверглись реставраціи, во-первыхъ, потому что другіе народы отважились на революцію, и, во-вторыхъ, потому что другіе народы страдали отъ контръ-революціи; въ первый разъ реставрація была потому, что наши повелители труслили, а во второй разъ потому, что наши повелители не труслили. Съ нашими пастырями во главѣ, мы всегда находились только разъ въ обществѣ свободы — въ девъ ея погребенія.

Школа, узаконяющая подлость сегодняшнего дня подлостью вчерашнего, школа, объявляющая мятежнымъ всякій крикъ крѣпостныхъ противъ кнута, разъ только кнутъ—матерый годами, прирожденный, историческій кнутъ, школа, которой исторія показываетъ, какъ Богъ Израиля своему слугѣ Моисею, только свое a posteriori,—эта историческая школа права избрѣла бы нѣмецкую исторію, если бы она не была избрѣтеніемъ нѣмецкой исторіи. Она, этотъ Шейлокъ, по Шейлокъ лакей, клянется въ каждомъ фунтѣ мяса, вырѣзанномъ изъ народнаго сердца, ея векселемъ, ея историческимъ векселемъ, ея христіанско-германскимъ векселемъ.

Напротивъ, добродушные энтузіасты, германоманы по крови и свободомыслящіе по рефлексіи, ищутъ нашу исторію свободы по ту сторону нашей исторіи въ тевтонскихъ первобытныхъ лѣсахъ. Но чѣмъ же отличалась бы наша исторія свободы отъ исторіи свободы кабана, если ее можно разыскать только въ лѣсахъ? Къ тому же извѣстно: какъ аукнется въ лѣсу, такъ откликнется изъ лѣсу. Такъ миръ же тевтонскимъ первобытнымъ лѣсамъ!

Война нѣмецкимъ порядкамъ! Разумѣется! Они находятся ниже уровня исторіи, они ниже всякой критики, но они остаются объектомъ критики, какъ преступникъ, падающійся ниже уровня человѣчности, остается объектомъ уголовного судьи. Въ борьбѣ съ ними критика является не страстью головы, она—голова страсти. Она не анатомическій ножъ, она — оружіе. Ея объектъ есть ея врагъ, котораго она хочетъ не опровергнуть, а уничтожить. Ибо духъ тѣхъ порядковъ опровергнуть. Сами по себѣ эти объекты не заслуживаютъ вниманія, они столько же презрительныя, сколько презрѣнныя существа. Критикъ не стоитъ возиться съ этимъ объектомъ, ибо съ нимъ она уже покончила счеты. Она уже представляетъ собой не самоцѣль, а еще только средство. Ея главный паюсъ—негодование, ея главная работа—изобличеніе.

Рѣчь идетъ объ изображеніи взаимнаго глухого гнета всѣхъ социальныхъ сферъ другъ на друга, всеобщаго, бездѣятельнаго унынія, ограниченности, столь же высоко себя цѣнящей, сколько не умѣющей себя цѣнить,—изображеніи, заключенномъ въ рамки правительственной системы, которая, живя за счетъ сохраненія всѣхъ ничтожествъ, есть сама не что иное, какъ ничтожество въ правительствѣ.

Что за зрѣлище! Общество до безкопечности дробится на разнообразнѣйшія расы, которыя устали другъ противъ друга со своими мелкими антипатіями, нечистой совѣстью и жестокой посредственностью, и, джменно вълѣдствіе взаимной двусмысленности и подозрительности ихъ положенія, повелители обращаются со всѣми ними безъ различія, хотя и съ различными формальностями, какъ съ существами, отданными имъ въ концессию! И даже тотъ фактъ, что надъ ними властвуютъ, ими правятъ, владѣютъ, онѣ должны признавать и исповѣдывать какъ концессию небал! А на другой сторонѣ—сами повелители, значеніе которыхъ находится въ обратномъ отношеніи къ ихъ числу!

Критика, предъ которой поставлена такая задача, есть критика въ рукопашную, а въ рукопашномъ бою важно не то, благороденъ ли противникъ, равнаго ли происхожденія, интересенъ ли онъ: важно то, чтобы поразить его. Необходимо не дать нѣмцамъ ни минуты для самообмана и смиренія. Надо сдѣлать дѣйствительный гнетъ еще болѣе гнетущимъ, присоединяя къ нему сознание гнета; позоръ—еще болѣе позорнымъ, разглашая его. Надо изображать каждый кругъ нѣмецкаго общества какъ *partie honteuse* ¹⁾ нѣмецкаго общества, надо заставить плясать эти окаменѣлые порядки, напѣвая имъ ихъ собственныя мелодіи! Надо научить народъ страшиться себя самого, чтобы вызвать въ немъ отвагу. Тогда осуществится непреодолимая потребность нѣмецкаго народа, а потребности народовъ являются сами послѣдними причинами ихъ удовлетворенія.

Эта борьба противъ ограниченнаго содержанія нѣмецкихъ порядковъ не можетъ не представлять интереса даже и для современныхъ народовъ, ибо нѣмецкіе порядки являются чистосердечнымъ завершеніемъ *ancien régime* ²⁾, а *ancien régime* есть скрытый порокъ современнаго государства. Борьба противъ нѣмецкой политической современности есть борьба съ прошлымъ современныхъ народовъ, и память объ этомъ прошломъ все еще тяготитъ ихъ. Для нихъ поучительно видѣть, какъ старый порядокъ, пережившій у нихъ свою трагедію, разыгрываетъ свою комедію въ видѣ нѣмецкаго выходца съ того свѣта. Трагической была исторія стараго порядка, пока онъ былъ предвѣчной силой міра, свобода же, напротивъ,—личной прихотью, другими словами: покуда онъ самъ вѣрилъ и долженъ былъ вѣрить въ свою справедливость. Покуда старый порядокъ, какъ существующій міропорядокъ, боролся съ міромъ, еще только рождающимся, на его сторонѣ было всемірноисторическое заблужденіе, по не личное. Гибель его и была, поэтому, трагической.

Напротивъ, современный нѣмецкій режимъ, этотъ анахронизмъ, яркое противорѣчіе общепризнанной аксіомѣ, на показъ всему міру выставленное ничтожество стараго порядка, все больше лишь воображаетъ, что вѣрить въ себя, и требуетъ отъ міра того же воображенія. Если бы онъ вѣрилъ въ свою собственную сущность, развѣ онъ сталъ бы ее прятать подъ видомъ чужого существа и искать своего спасенія въ лицемѣрїи и софизмахъ? Современный *ancien régime*—скорѣе лишь комедіантъ міропорядка, дѣйствительные герои котораго вымерли. Исторія дѣйствуетъ основательно и проходитъ черезъ множество фазисовъ, когда несетъ въ могилу старую форму. Послѣдній фазисъ всемірноисторической формы есть ея комедія. Богамъ Греціи, однажды уже трагически раненымъ на смерть въ «Привоканномъ Прометей» Эсхилла, пришлось еще разъ комически умереть въ «Разговорахъ» Лукіана. Зачѣмъ такъ движется исторія? Затѣмъ,

¹⁾ Позорную часть.

²⁾ Стараго порядка.

чтобы человечество смѣясь разставалось со своимъ прошлымъ. Этого веселаго историческаго назначенія мы требуемъ для политическихъ властей Германіи.

Между тѣмъ, какъ только новѣйшая политико-соціальная дѣятельность сама подвергается критикѣ, какъ только, поэтому, критика возвышается до истинно-человѣческихъ проблемъ, она выходитъ за предѣлы нѣмецкихъ порядковъ,—иначе она оцѣнила бы свой предметъ ниже, чѣмъ онъ заслуживаетъ. Возьмемъ примѣръ. Отношеніе промышленности, вообще міра богатства, къ политическому міру есть главная проблема новаго времени. Въ какой формѣ начинается эта проблема занимать нѣмцевъ? Въ формѣ охранительныхъ пошлинъ, запретительной системы, національной экономіи. Германоманство переселилось изъ человѣка въ матерію, и такимъ образомъ въ одно прекрасное утро наши хлопчатобумажные рыцари и желѣзные герои увидѣли себя превращенными въ патриотовъ. Въ Германіи, слѣдовательно, начинаютъ признавать суверенитетъ монополіи внутри страны тѣмъ, что облачаютъ ее суверенитетомъ вовнѣ. Въ Германіи, слѣдовательно, начинаютъ теперь съ того, чѣмъ кончаютъ во Франціи и Англійи. Старая ветошь, противъ которой теоретически возстали эти сраны и которую онѣ еще терять такъ, какъ терять дѣли, привѣтствуется въ Германіи какъ восходящая заря прекраснаго будущаго, едва еще отваживающагося перейти отъ коварной ¹⁾ теоріи къ самой беззащитной практикѣ. Въ то время какъ во Франціи и Англійи эта проблема гласитъ: политическая экономія или господство общества надъ богатствомъ, въ Германіи она гласитъ: національная экономія или господство частной собственности надъ національностью. Во Франціи и Англійи, слѣдовательно, дѣло идетъ о томъ, чтобы уничтожить монополію, развившуюся до самыхъ своихъ послѣднихъ выводовъ; въ Германіи же—о томъ, чтобы развить монополію до самыхъ ея послѣднихъ выводовъ. Тамъ идетъ рѣчь о разрѣшеніи, здѣсь лишь—о коллизіи. Наглядный примѣръ нѣмецкой формы современныхъ проблемъ, показывающій, что наша исторія, подобно неуклюжему рекруту, до сихъ поръ считала своей задачей лишь повторять изобрѣтенныя исторіи.

Итакъ, если бы общее нѣмецкое развитіе не выходило за предѣлы политическаго нѣмецкаго развитія, нѣмецъ могъ бы принимать участіе въ проблемахъ современности въ лучшемъ случаѣ такъ, какъ можетъ въ нихъ участвовать русскій. Но если отдѣльная личность не связана ограниченіями націи, то вся нація еще менѣе освобождается съ освобожденіемъ одной личности. Скныи ни на шагъ не приблизились къ греческой культурѣ оттого, что Греція насчитывала среди своихъ философовъ одного скныа. По счастью, мы нѣмцы—не скныи.

¹⁾ Непереводаемый каламбуръ: „listige“ Theorie, намекающій на протекціонистскую агитацію Фр. Ляста.

Подобно тому, какъ древніе народы переживали свою доисторическую эпоху въ воображеніи, въ мифологии, такъ мы, нѣмцы, переживаемъ нашу будущую исторію въ мысляхъ, въ философіи. Мы—философскіе современники дѣйствительности, не будучи ея историческими современниками. Нѣмецкая философія—идеальное продолженіе нѣмецкой исторіи. Когда, слѣдовательно, вмѣсто *oeuvres incomplètes* ¹⁾ нашей реальной исторіи мы критикуемъ *oeuvres posthumes* ²⁾ нашей идеальной исторіи, философію, то наша критика находится среди вопросовъ, о которыхъ современность говоритъ: *that is the question* ³⁾. Что въ передовыхъ странахъ является уже практическимъ распадомъ современныхъ государственныхъ порядковъ, то въ Германіи, гдѣ этихъ порядковъ еще даже и нѣтъ, является пока критическимъ распадомъ философскаго отраженія этихъ порядковъ.

Нѣмецкая философія права и государства—единственная нѣмецкая исторія, стоящая на уровнѣ официальной новой современности. Нѣмецкій народъ долженъ, поэтому, присоединить эту свою исторію въ мечтахъ къ существующимъ у него порядкамъ и подвергнуть критикѣ не только эти существующіе порядки, но и ихъ абстрактное продолженіе. Его будущее не можетъ ограничиться ни непосредственнымъ отрицаніемъ своихъ реальныхъ государственно-правовыхъ порядковъ, ни непосредственнымъ осуществленіемъ своихъ идеальныхъ порядковъ, ибо въ своихъ идеальныхъ порядкахъ народъ имѣетъ непосредственное отрицаніе своихъ реальныхъ порядковъ, а непосредственное осуществленіе своихъ идеальныхъ порядковъ онъ почти уже пережилъ, наблюдая за сосѣдними народами. Поэтому, практическая политическая партія въ Германіи справедливо требуетъ отрицанія философіи. Ошибка ея заключается не въ требованіи, а въ томъ, что она застыла на требованіи, котораго она серьезно не выполняетъ, да и выполнить не можетъ. Она полагаетъ осуществить это отрицаніе философіи тѣмъ, что поворачивается къ ней спиною и, отвернувши голову, бормочетъ про нее нѣсколько сердитыхъ и банальныхъ фразъ. Благодаря своему ограниченному кругозору, она не причисляетъ даже философіи къ кругу нѣмецкой дѣйствительности или воображаетъ, что философія стоитъ даже ниже германской практики и обелуживающихъ ее теорій. Вы хотите сообразоваться съ дѣйствительными зародышами жизни, но забываете, что дѣйствительный зародышъ жизни нѣмецкаго народа до сихъ поръ размножался только подъ его черепомъ. Однимъ словомъ: вы не можете упразднить философію, не осуществивъ ея въ дѣйствительности. Ту же ошибку, но при обратныхъ условіяхъ, дѣлаетъ политическая партія, ведущая свое происхожденіе отъ философіи.

Она увидѣла въ нывѣшней борьбѣ лишь критическую борьбу философіи съ нѣмецкимъ міромъ, она не подумала о томъ, что донынѣ

1) Неполное изданіе сочиненій.

2) Посмертное изданіе сочиненій.

3) Вотъ въ чемъ вопросъ.

существующая философія сама принадлежитъ къ этому міру и является его, хотя бы и идеальнымъ, завершеиіемъ. Критически настроенная по отношеиію къ своему противнику, она относилась некритически къ себѣ самой, ибо исходила изъ предпосылокъ философіи и—или оставалась на данныхъ ей результатахъ, или выдавала требованія и результаты, добытые другимъ путемъ, за непосредственныя требованія и результаты философіи, хотя послѣдніе, если допустить ихъ правильность, могли быть получены, напротивъ, только посредствомъ отрицанія унаслѣдованной философіи, философіи какъ философіи. Мы сохраняемъ за собой право вернуться къ болѣе подробному описанію этой партіи. Основную ея ошибку можно свести къ слѣдующему: она вѣрила, что можно превратить философію въ дѣйствительность, не упразднивъ ея.

Критика нѣмецкой государственно-правовой философіи, получившей черезъ Гегеля свою самую послѣдовательную, самую содержательную и законченную формулировку, есть и то и другое—какъ критическій анализъ современнаго государства и связанной съ нимъ дѣйствительности, такъ и самое рѣшительное отрицаніе всей донинѣ существующей формы нѣмецкаго политическаго и правового сознанія, самымъ благороднымъ, универсальнымъ, до степени науки возвысившимся выраженіемъ котораго есть именно сама спекулятивная философія права. Если въ Германіи была возможна только спекулятивная философія права, это абстрактное, не знающее мѣры мышленіе новаго государства, дѣйствительность котораго остается потустороннимъ міромъ, хотя бы потусторонній міръ лежалъ лишь по ту сторону Рейена, то, наоборотъ, нѣмецкій образъ современнаго государства, абстрагирующій отъ дѣйствительнаго человѣка, былъ лишь возможенъ потому и постольку, почему и поскольку само современное государство абстрагируетъ отъ дѣйствительнаго человѣка или удовлетворяетъ всего человѣка лишь мнимымъ образомъ. Нѣмцы размышляли въ политикѣ о томъ, что другіе народы дѣлали. Германія была ихъ теоретической совѣтью. Абстракція и высокомеріе ея мышленія шли всегда нога въ ногу съ односторонностью и неизменностью ея дѣйствительности. Если такимъ образомъ существующіе порядки германской государственности выражаютъ завершеиіе стараго порядка, завершеиіе «жала въ плоти» современнаго государства, то состояиіе нѣмецкаго государствовѣдѣнія выражаетъ незаконченность современнаго государства, поврежденность самаго тѣла.

Уже какъ рѣшительный противникъ прежней формы нѣмецкаго политическаго сознанія, критика спекулятивной философіи права претендуетъ не въ себѣ самой, а въ задачахъ, для разрѣшенія которыхъ имѣется одно только средство—практика.

Спрашивается: можетъ ли Германія достигнуть практики *à la hauteur de principes* ¹⁾, т.-е. революци, которая бы подняла ее не только до

¹⁾ Стоящей на высотѣ принциповъ.

официального уровня передовых народов, но и па человеческую высоту, которая будет ближайшим будущим этих народов?

Оружіе критики во всякомъ случаѣ не можетъ замѣнить критики оружія, матеріальная сила должна быть опрокинута матеріальной же силой; даже и теорія становится матеріальной силой, какъ только она овладѣваетъ массами. Теорія способна захватить массы, когда она доказываетъ *ad hominem*, а доказываетъ она *ad hominem*, когда становится радикальной. Быть радикальнымъ—значитъ понять вещь въ ея корнѣ. Но корнемъ является для человѣка самъ человѣкъ. Очевиднымъ доказательствомъ радикализма нѣмецкой теоріи, слѣдовательно, ея практической энергіи, служить ея происхождение изъ рѣшительнаго, положительнаго упраздненія религіи. Критика религіи заканчивается ученіемъ, что человѣкъ есть высшее существо для человѣка, слѣдовательно, категорическимъ императивомъ шепровергнуть всѣ отношенія, въ которыхъ человѣкъ является униженнымъ, поработаннымъ, покинутымъ, презреннымъ существомъ,—отношенія, которыхъ нельзя лучше характеризовать, какъ крикомъ одного француза по поводу проектированнаго налога на собакъ: бѣдныя собаки! съ вами хотятъ поступать, какъ съ зюдьми!

Даже съ исторической точки зрѣнія теоретическая эмансипація имѣетъ специфически практическое значеніе для Германіи. Революціонное прошлое Германіи — теоретично, то — реформація. Какъ тогда въ мозгу монаха, такъ теперь въ мозгу философа возникла революція.

Во всякомъ случаѣ, Лютеръ побѣдилъ рабство по объѣту, потому что на его мѣсто онъ поставилъ рабство по убѣжденію. Онъ разбилъ вѣру въ авторитетъ, потому что реставрировалъ авторитетъ вѣры. Онъ обратилъ поповъ въ мірянъ, потому что обратилъ міряпъ въ поповъ. Онъ освободилъ человѣка отъ внѣшней религіозности, потому что сдѣлалъ религіозность внутреннимъ міромъ человѣка. Онъ эмансипировалъ тѣло отъ цѣпей, потому что падѣлъ на сердце цѣпи.

Но если протестантство не было настоящимъ рѣшеніемъ, зато оно было настоящею постановкой задачи. Дѣло шло уже не о борьбѣ мірянина съ попами внѣ его, а о борьбѣ со своими собственными внутренними попами, со своей поповской натурой. И если протестантское превращеніе нѣмца-мірянина въ попа эмансипировало свѣтскихъ папъ, князей со всѣмъ ихъ клеромъ — привилегированными и филістерами, то философское превращеніе клерикальнаго нѣмца въ человѣка эмансипируетъ міръ. Но если эмансипація не остановилась на князьяхъ, такъ и секуляризація имущества не остановится на ограбленіи церкви, раньше другихъ осуществленнымъ лицемѣрной Пруссіей. Тогда крестьянская война, этотъ самый радикальный фактъ въ нѣмецкой исторіи, разбилась о теологию. Теперь, когда сама теологія разбита, самый несвободный фактъ нѣмецкой исторіи — нашъ существующій строй — потерпитъ крушеніе о философію. За день до реформаціи официальная Германія была самымъ покорнымъ рабомъ

Рима. За день до революціи она — самый покорный рабъ того, что меньше Рима,—Пруссін и Австріи, грубыхъ дворянъ и филпстеровъ.

Между тѣмъ радикальной нѣмецкой революціи, повидному, препятствуетъ одна огромная трудность.

Революціи нуждаются въ пассивномъ элементѣ, матеріальной основѣ. Теорія осуществляется въ каждомъ народѣ всегда лишь постольку, поскольку она—осуществленіе его потребностей. Такъ будетъ ли соотвѣтствовать чудовищному расколу между требованіями нѣмецкой мысли и отвѣтомъ нѣмецкой дѣйствительности такой же разладъ гражданскаго общества съ государствомъ и самимъ собой? Станутъ ли теоретическія потребности непосредственно практическими потребностями? Недостаточно, чтобы мысль стремилась къ превращенію въ дѣйствительность, сама дѣйствительность должна стремиться къ мысли.

Но Германія забралась на среднія ступени политической эмансипаціи не въ одно время съ новѣйшими народами. Практически она не достигла даже тѣхъ ступеней, которыя преодолѣла теоретически. Какимъ же образомъ она можетъ перескочить однимъ salto mortale не только черезъ свои собственныя преграды, но и черезъ преграды новѣйшихъ народовъ, черезъ преграды, которыя въ дѣйствительности она должна воспринимать, какъ освобожденіе отъ своихъ дѣйствительныхъ преградъ, и къ которымъ потому должна стремиться? Радикальная революція можетъ быть только революціей радикальныхъ потребностей, для которыхъ, повидному, нѣтъ ни предпосылокъ, ни мѣста.

Но если Германія сопровождала развитіе новыхъ народовъ лишь абстрактной дѣятельностью мышленія, не принимая активного участія въ дѣйствительныхъ бояхъ этого развитія, то, съ другой стороны, она раздѣляла страданія этого развитія, не раздѣляя его радостей, его частичнаго удовлетворенія. Абстрактной дѣятельности на одной сторонѣ отвѣчаетъ абстрактное страданіе на другой. Германія поэтому въ одно прекрасное утро очутится на уровнѣ европейскаго распада, ни разу не бывавъ на уровнѣ европейской эмансипаціи. Ее можно сравнить съ поклонникомъ фетишизма, чахнущимъ отъ болѣзней христіанства.

Если мы теперь обратимся къ нѣмецкимъ правительствамъ, то увидимъ, что, благодаря условіямъ времени, положенію Германіи, характеру нѣмецкаго образованія, наконецъ, своему собственному счастливному инстинкту, они вынуждены сочетать культурные недостатки современнаго государственнаго міра, выгодами которыхъ мы не пользуемся, съ варварскими недостатками стараго порядка, которымъ мы наслаждаемся въ полной мѣрѣ; поэтому Германія, если не отъ ума, то по неразумію должна все болѣе участвовать даже въ государственныхъ образованіяхъ, далеко выходящихъ за предѣлы существующаго строя. Есть ли, напримѣръ, въ мірѣ страна, которая бы болѣе наввно раздѣляла всѣ иллюзіи конституціоннаго государственнаго устройства, не раздѣляя его реальностей, тѣмъ такъ называемая конституціонная Германія? Или развѣ не была необходимостью

затѣя пѣмецкаго правительства соединить мучительства цензуры съ мучительствами французскихъ сентябрьскихъ законовъ, предполагающихъ свободу печати? Подобно тому какъ въ римскомъ Пантеонѣ можно было найти боговъ всѣхъ націй, такъ и въ священной римской германской имперіи можно найти грѣхи всѣхъ формъ государственнаго устройства. Что этотъ эклектизмъ достигнетъ никогда небывалой высоты, тому порукой политически-эстетическая гастрономія какого-нибудь прусскаго короля, который хочетъ разыграть всѣ роли королевства, какъ феодальнаго, такъ и бюрократическаго, какъ абсолютнаго, такъ и конституціоннаго, какъ авторитарическаго, такъ и демократическаго, если не въ лицѣ народа, то въ своемъ собственномъ лицѣ, если не для народа, то для себя самого. Германія, это убожество политической современности, конституціоннаго вѣка, не сможетъ испровергнуть специфически нѣмецкихъ преградъ, не испровергнувъ общихъ преградъ политической современности.

Не радикальная революція — утопическій сонъ для Германіи, не общечеловѣческая эмансипація, а скорѣе частичная, исключительно политическая революція, — революція, оставляющая цѣлыми устои зданія. На чемъ покоится частичная, исключительно политическая революція? На томъ, что часть гражданскаго общества эмансипируетъ себя и достигаетъ всеобщаго господства, на томъ, что опредѣленный классъ, исходя изъ своего собственнаго положенія, предпринимаетъ эмансипацію всего общества. Этотъ классъ освобождаетъ все общество, но лишь въ предположеніи, что все общество находится въ положеніи этого класса, т.-е., напр., располагаетъ деньгами и образованіемъ или можетъ по желанію приобрести ихъ.

Ни одинъ классъ гражданскаго общества не можетъ сыграть этой роли, не возбудивъ момента энтузіазма въ себѣ и массахъ, момента, когда онъ братается и сливается со всѣмъ обществомъ, смѣшивается съ нимъ, пользуется его любовью и признается всеобщимъ его представителемъ, — момента, когда его собственные притязанія и права являются поистинѣ правами и притязаніями самого общества, когда онъ дѣйствительно представляетъ собой социальную голову и социальное сердце. Лишь во имя правъ всего общества отдѣльный классъ можетъ требовать себѣ всеобщаго господства. Но для завоеванія этой освободительной позиціи и потому для политической эксплоатаціи всѣхъ круговъ общества въ интересахъ своего собственнаго круга недостаточно одной революціонной энергіи и духовнаго самочувствія. Дабы революція народа и эмансипація отдѣльнаго класса гражданскаго общества совпала другъ съ другомъ, дабы одно сословіе считалось сословіемъ всего общества, для этого, наоборотъ, всѣ недостатки общества должны быть сосредоточены въ какомъ-нибудь другомъ классѣ, для этого опредѣленное сословіе должно быть олицетвореніемъ общихъ притязаній, осуществленіемъ общей преграды, для этого особая социальная среда должна считаться общепризнаннымъ престу-

плеиѣмъ всего общества,—тогда освобожденіе отъ этой среды явится какъ бы всеобщимъ самоосвобожденіемъ. Дабы одно сословіе было по преимуществу сословіемъ освобожденія, для этого другое сословіе должно быть, наоборотъ, явнымъ сословіемъ угнетенія. Отрицательно-всеобщее значеніе французскаго дворянства и французскаго духовенства обусловило собой положительно-всеобщее значеніе граничащаго съ ними и враждебнаго къ нимъ класса буржуазіи.

Но ни у одного класса въ Германіи нѣтъ не только послѣдовательности, рѣзкости, мужества, безпощадности, которыя бы могли заклеивать его отрицательнымъ представителемъ общества,—ни у одного класса нѣтъ также той душевной широты, которая огождествляетъ себя, хотя бы только на время, съ душой народной, той гениальности, которая одухотворяетъ матеріальную силу до степени политической силы, той революціонной отваги, которая кидаетъ въ лицо противнику упрямый пароль: я—ничто, но долженъ бы быть всеѣмъ. Основу нѣмецкой морали и честности, не только въ отдѣльныхъ личностяхъ, но и классахъ, образуетъ скорѣе тотъ скромный эгоизмъ, который осуществляетъ свою ограниченность и позволяетъ ей осуществиться противъ себя. Отношеніе различныхъ слоевъ нѣмецкаго общества, поэтому, не драматическое, а эпическое. Каждый изъ нихъ начинаеть себя чувствовать и располагаться со всеѣмъ своими особыми притязаніями рядомъ съ другими не тогда, когда его притѣсняютъ, а когда условія времени, безъ всякаго содѣйствія съ его стороны, создаютъ общественную подкладку, на которую опъ въ свою очередь можетъ оказать давленіе. Даже моральное самочувствіе средняго класса въ Германіи покоится лишь на сознаніи, что онъ общій представитель филистерской посредственности всеѣхъ другихъ классовъ. Поэтому, не одни только нѣмецкіе короли некстати достигаютъ трона: каждый слой гражданскаго общества переживаетъ свое пораженіе, прежде чѣмъ успѣетъ отпраздновать свою побѣду, развиваеть свои собственныя преграды, прежде чѣмъ успѣетъ преодолѣть поставленную ему преграду, осуществляетъ свою узкосердечную сущность, прежде чѣмъ ему удастся осуществить свою великодушную сущность, и потому даже возможность сыграть большую роль проходитъ всегда раньше, чѣмъ она появляется, потому каждый классъ, какъ только начинаеть борьбу съ классомъ, выше его стоящимъ, уже вовлеченъ въ борьбу съ классомъ, ниже его стоящимъ. Поэтому княжеская власть находится въ борьбѣ съ королевской, бюрократія—въ борьбѣ съ дворянствомъ, буржуазія—въ борьбѣ со всеѣмъ, тогда какъ пролетарій уже начинаеть борьбу съ буржуа. Средній классъ еще не отваживается, исходя изъ своей точки зрѣнія, ухватиться за мысль объ эмансипаціи, а развитіе соціальныхъ условій и прогрессъ политической теоріи объявляютъ уже эту точку зрѣнія устарѣвшей или, по крайней мѣрѣ, проблематичной.

Во Франціи достаточно человѣку быть чѣмъ-нибудь, чтобы желать быть всеѣмъ. Въ Германіи челоѣкъ долженъ быть ничѣмъ, если не

хочетъ потерять всего. Во Франціи частичная эмансипація есть основаніе всеобщей. Въ Германіи всеобщая эмансипація есть *conditio sine qua non* всякой частичной. Во Франціи должна родить всю свободу дѣйствительность, въ Германіи — невозможность постепеннаго освобожденія. Во Франціи каждый классъ народа—политическій идеалистъ и чувствуетъ себя прежде всего не отдѣльнымъ классомъ, а представителемъ социальныхъ потребностей вообще. Поэтому роль эмансипатора въ драматическомъ движеніи послѣдовательно переходитъ къ различнымъ классамъ французскаго народа, пока, наконецъ, не дойдетъ до класса, который осуществляетъ социальную свободу уже не въ предположеніи извѣстныхъ, вѣ людей лежащихъ и все же человѣческимъ обществомъ созданныхъ условій, а, наоборотъ, организуетъ всѣ условія человѣческаго существованія въ предположеніи социальной свободы. Въ Германіи, напротивъ, гдѣ практическая жизнь такъ же бездуховна, какъ духовная жизнь непрактична, ни одинъ классъ гражданскаго общества не чувствуетъ потребности и способности къ всеобщей эмансипаціи, пока его къ тому не принудятъ его непосредственное положеніе, матеріальная необходимость, его собственныя цѣни.

Итакъ, въ чемъ же заключается положительная возможность пѣмцейской эмансипаціи? Отвѣтъ: въ образованіи класса съ радикальными цѣлями, класса гражданскаго общества, который не представляетъ собой никакого класса гражданскаго общества; сословія, которое являетъ собой разложеніе всѣхъ сословіи; сферы, которая имѣетъ универсальный характеръ влѣдствіе ея универсальныхъ страданій и не притязуетъ ни на какое особое право, ибо надъ ней совершается не какая-нибудь особая несправедливость, а несправедливость вообще; которая не можетъ уже ссылаться на историческое, а еще лишь на человѣческое право; которая находится не въ какомъ-нибудь одностороннемъ противорѣчій къ слѣдствіямъ нѣмецкой государственности, а во всестороннемъ противорѣчій къ ея предпосылкамъ; наконецъ, сфера, которая не можетъ себя эмансипировать, не эмансипировавъ себя отъ всѣхъ другихъ сферъ общества и вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ другія сферы общества; которая, однимъ словомъ, представляетъ полную потерю чловѣка и, слѣдовательно, можетъ себя обрѣсти лишь полнымъ новымъ возрожденіемъ чловѣка. Это разложившееся общество, какъ особый классъ, есть пролетаріатъ.

Въ Германіи пролетаріатъ начинается лишь зарождаются вмѣстѣ съ промышленнымъ развитіемъ, ибо пролетаріатъ образуетъ не естественно возникшая, а искусственно созданная бѣдность; не механически, подъ тяжестью общества, согбенная людская масса, а масса, возникшая изъ своего остраго разложенія, главнымъ образомъ изъ разложенія средняго сословія, хотя постепенно, какъ это само собой понятно, ряды пролетаріата заполняютъ и естественно возникшая бѣдность, и христіанско-германское крѣпостное сословіе.

Возвѣщая разложеніе прежняго міропорядка, пролетаріатъ выска-

зываетъ лишь тайну своего собственнаго бытія, ибо онъ—фактическое разложенеіе этого міропорядка. Требуя отрпцанія частной собственности, пролетаріатъ лишь возводитъ въ принципъ общества то, что общество возвело въ свой принципъ, что овеществлено въ немъ уже помимо его содѣйствія, какъ отрицательный результатъ общества. Въ отношеніи образующагося міра пролетаріи такъ же правъ, какъ правъ прусскій король въ отношеніи уже образовавшагося міра, когда онъ пазываетъ народъ *своими* народами, какъ лошадь *своей* лошадыю. Объявляя народъ своей частной собственностью, король выражаетъ лишь ту мысль, что частный собственникъ есть король.

Подобно тому какъ философія находитъ въ пролетаріатѣ свое матеріальное оружіе, такъ и пролетаріатъ находитъ въ философіи свое духовное оружіе, и какъ только молнія мысли крѣпко ударитъ въ эту наивную народную почву, свершится и эмансипація нѣмцевъ въ людей.

Резюмируемъ выводъ: единственно практически возможное освобожденіе Германіи есть освобожденіе на точкѣ зрѣнія теоріи, объявляющей человѣка высшимъ существомъ человѣка. Эмансипація отъ средневѣковья возможна въ Германіи лишь какъ эмансипація выѣтъ съ тѣмъ и отъ частичныхъ побѣдъ надъ средневѣковьемъ. Никакое рабство не можетъ быть въ Германіи уничтожено безъ того, чтобы не было уничтожено всякое рабство. Основательная Германія не можетъ поднять революцію, не начавъ революціи съ самаго основанія. Эмансипація нѣмца есть эмансипація человѣка. Голова этой эмансипаціи—философія, ея сердце—пролетаріатъ. Философія не можетъ быть превращена въ дѣйствительность безъ упраздненія пролетаріата, пролетаріатъ не можетъ упразднить себя безъ превращенія философіи въ дѣйствительность.

Когда всѣ внутреннія условія будутъ налицо, день нѣмецкаго возстанія изъ мертвыхъ будетъ возвѣщенъ крикомъ галльскаго нѣтуха.

Къ еврейскому вопросу.

1. Bruno Bauer: Die Judenfrage. Braunschweig 1843.—2. Bruno Bauer: Die Fähigkeit der heutigen Juden und Christen frei zu werden. Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz. Herausgegeben von Georg Herwegh. Zürich und Wintertur. 1843. S. 56—71.

Карла Маркса.

I.

Бруно Бауэръ: Еврейскій вопросъ. Брауншвейгъ 1843.

Нѣмецкіе евреи добиваются эмансипаціи. Какой же эмансипаціи добиваются они? Гражданской, политической эмансипаціи.

Бруно Бауэръ отвѣчаетъ имъ: въ Германіи никто не эмансипировать политически. Мы сами несвободны. Какъ же намъ освободить васъ? Вы, еврей,—эгоисты, если требуете для себя, какъ евреевъ, особой эмансипаціи. Какъ нѣмцы, вы должны были бы трудиться надъ политической эмансипаціей Германіи, какъ люди—надъ человѣческой эмансипаціей, и вы должны были бы чувствовать, что особый родъ вашего угнетенія и вашего позора не исключеніе изъ правила, а, наоборотъ, подтвержденіе правила.

Или евреи требуютъ равноправія съ христіанскими подданными? Тогда они признаютъ справедливымъ христіанское государство, признаютъ режимъ всеобщаго порабощенія. Почему же не правится вамъ ваше специфическое рабство, если вамъ правится общее рабство? Почему бы нѣмцу интересоваться освобожденіемъ евреевъ, если еврей не интересуется освобожденіемъ нѣмцевъ?

Христіанское государство знаетъ только привилегіи. Еврей пользуется въ немъ привилегіей быть евреемъ. Какъ еврей, онъ имѣетъ права, которыхъ нѣтъ у христіанъ. Почему же онъ добивается правъ, которыхъ у него нѣтъ и которыми пользуются христіане?

Разъ еврей хочетъ эмансипаціи отъ христіанскаго государства, въ такомъ случаѣ онъ требуетъ, чтобы христіанское государство отказалось отъ своего *религіознаго* предрасудка. А развѣ онъ, еврей, отказывается отъ *своего* религіознаго предрасудка? Имѣетъ ли онъ,

слѣдовательно, право требовать отъ другихъ этого отреченія отъ религій?

Христіанское государство по своей сущности не можетъ эмансипировать еврея; но—прибавляетъ Бауэръ—еврей по своей сущности не можетъ быть эмансипированъ. До тѣхъ поръ пока государство остается христіанскимъ, а еврей—евреемъ, оба такъ же мало способны дать эмансипацію, какъ и получить ее.

Христіанское государство можетъ относиться къ еврею лишь по способу христіанскаго государства, т.-е. по способу привилегій, позволяя еврею обособиться отъ прочихъ подданныхъ, но заставляя его испытывать гнетъ другихъ обособленныхъ сферъ и тѣмъ сильнѣе испытывать, насколько еврей находится въ религіозной противоположности къ господствующей религій. Но и еврей можетъ относиться къ государству только по-еврейски, т.-е. къ государству, какъ чужеземцу, противопоставляя дѣйствительной національности свою химерическую національность, дѣйствительному закону—свой призрачный законъ, считая себя въ правѣ обособляться отъ человечества, принципиально не принимая никакого участія въ историческомъ движеніи, уповая на будущее, не имѣющее ничего общаго съ будущимъ всего человечества, считая себя членомъ еврейскаго народа, а еврейскій народъ избраннымъ народомъ.

Итакъ, на какомъ основаніи вы, евреи, требуете эмансипаціи? Ради вашей религій? Она—смертельный врагъ государственной религій. Какъ граждане? Въ Германіи нѣтъ гражданъ. Какъ люди? Вы не люди, такъ же мало, какъ и тѣ, къ которымъ вы апеллируете.

Бауэръ далъ новую постановку вопросу объ эмансипаціи евреевъ, послѣ того какъ подвергъ критикѣ всѣ прежнія постановки и рѣшенія вопроса. Онъ спрашиваетъ: какъ созданы они,—еврей, который долженъ быть эмансипированъ, христіанское государство, которое должно эмансипировать? И отвѣчаетъ критикой еврейской религій, анализируетъ религіозную противоположность между іудействомъ и христіанствомъ, разъясняетъ сущность христіанскаго государства,—все это со смѣлостью, пронзательностью, остроуміемъ, основательностью, въ столь же точной, какъ выразительной и полной энергій литературной формѣ.

Какимъ же образомъ разрѣшаетъ Бауэръ еврейскій вопросъ? Каковъ его выводъ? Формулировать вопросъ значить разрѣшить его. Критика еврейскаго вопроса есть отвѣтъ на еврейскій вопросъ. Итакъ, выводъ его слѣдующій:

Мы должны самихъ себя эмансипировать, прежде чѣмъ быть въ силахъ эмансипировать другихъ.

Самая рѣзкая форма противоположности между евреемъ и христіаниномъ есть религіозная противоположность. Какъ можно разрѣшить противоположность? Сдѣлавъ ее невозможной. Какъ сдѣлать религіозную противоположность невозможной? Уничтоживъ религію. Какъ только еврей и христіанинъ взаимно признаютъ свои религій

лишь различными ступенями развитія человѣческаго духа, различными отложеніями исторіи вродѣ змѣивыхъ шкуръ, а самого человѣка— змѣей, надѣвшей на себя ихъ шкуру, они находятся уже не въ религиозномъ, а въ критическомъ, научномъ, человѣческомъ взаимоотношеніи. Наука является тогда ихъ существомъ. А противорѣчія въ наукѣ разрѣшаются лишь посредствомъ самой науки.

Нѣмецкому еврею противопоставлены недостаточность политической эмансипаціи вообще и провозглашенная христіанственность государства. Однако въ бауэровскомъ смыслѣ еврейскій вопросъ имѣетъ общее значеніе, независимое отъ специфически нѣмецкихъ условій. Это вопросъ объ отношеніи религіи къ государству, о противорѣчіи религиозныхъ предразсудковъ и политической эмансипаціи. Эмансипація отъ религіи ставится условіемъ какъ еврею, который хочетъ быть политически эмансипированъ, такъ и государству, которое должно эмансипировать и само быть эмансипированнымъ.

«Хорошо, говорятъ,—и самъ еврей это говоритъ,—еврей и долженъ быть эмансипированъ не какъ еврей, не потому что онъ еврей, не потому что въ немъ такой прекрасный обще-человѣчскій принципъ правственности; еврей, напротивъ, самъ отойдетъ на задній планъ въ гражданствѣ и будетъ гражданиномъ, несмотря на то, что онъ еврей и долженъ [хочетъ] остаться евреемъ: т.-е. онъ есть и останется евреемъ, несмотря на то, что онъ гражданинъ и живетъ въ общечеловѣческихъ условіяхъ: его еврейская и ограниченная сущность всегда, въ концѣ концовъ, восторжествуетъ надъ его человѣческими и политическими обязанностями. Предразсудокъ останется несмотря на то, что его побѣдили общіе принципы. Но разъ онъ останется, онъ, напротивъ, побѣдитъ все остальное». «Только софистически, по виду, еврей могъ бы оставаться въ государственной жизни евреемъ; слѣдовательно, если бы онъ желалъ остаться евреемъ, простая видимость была бы его сущностью и восторжествовала бы, т.-е. его жизнь въ государствѣ была бы лишь видимостью или мгновеннымъ противорѣчіемъ его сущности и исключеніемъ изъ правила». (*Die Fähigkeit der heutigen Juden und Christen frei zu werden*, Einundzwanzig Bogen, стр. 57).

Послушаемъ, съ другой стороны, какъ опредѣляетъ Бауэръ задачу государства: «Франція—читаемъ мы у него—показала намъ недавно (дебаты въ палатѣ депутатовъ отъ 26 декабря 1840 г.) по поводу еврейскаго вопроса,—какъ и всегда во всѣхъ другихъ политическихъ вопросахъ,—зрѣлице свободной жизни; но въ законѣ она откликлась отъ этой свободы, слѣдовательно, также признала ее видимостью, а съ другой стороны, фактически опровергла свой свободный законъ». (*Еврейскій вопросъ*, стр. 64).

«Общая свобода еще не стала во Франціи закономъ, еврейскій вопросъ также еще не рѣшенъ, ибо законная свобода—равенство всѣхъ гражданъ—ограничена въ жизни, надъ которой еще властвуютъ и которую дробятъ религиозныя привилегіи, и эта несвобода жизни

отражается на законѣ и принуждаетъ его санкціонировать дѣленіе самахъ по себѣ свободныхъ гражданъ на угнетенныхъ и угнетателей» (стр. 65).

Когда же, слѣдовательно, былъ бы разрѣшенъ для Франціи еврейскій вопросъ?

«Еврей, напр., долженъ былъ бы перестать быть евреемъ, если вопреки запрещенію еврейскаго закона онъ исполнялъ бы свои обязанности по отношенію къ государству и своимъ согражданамъ, слѣдовательно, ходилъ бы, напр., по субботамъ въ палату депутатовъ и принималъ бы участіе въ публичныхъ засѣданіяхъ. Всякая вообще религіозная привилегія, слѣдовательно, и монополія привилегированной церкви, должна бы быть уничтожена, и если нѣкоторые или многіе или даже преобладающее большинство считали бы еще своимъ долгомъ исполнять религіозныя обязанности, то исполненіе ихъ слѣдовало бы предоставить имъ самимъ какъ частное дѣло» (стр. 65). «Нѣтъ вообще религій, разъ нѣтъ никакой привилегированной религій. Огните у религій ея исключительную силу,—и нѣтъ ея больше» (стр. 66). «Подобно тому какъ господинъ Мартэнъ дю-Нордъ счелъ предложеніе не упоминать въ законѣ про воскресный день за предложеніе декларациі, что христіанство прекратило свое существованіе съ такимъ же правомъ (а это право совершенно основательно) декларациа, что законъ о субботѣ не имѣетъ больше обязательной силы для евреевъ, была бы провозглашеніемъ смерти еврейства» (стр. 71).

Итакъ, для политической эмансипаціи Бауэръ требуетъ, съ одной стороны, чтобы еврей отказался отъ еврейства, человекъ вообще—отъ религій. Съ другой стороны, политическое упраздненіе религій логически является для него упраздненіемъ просто религій. Государство, предполагающее религію, не есть еще истинное, дѣйствительное государство. «Конечно, религіозное представленіе даетъ гарантіи государству. Но какому государству? Какого рода государству?» (стр. 97).

Въ этомъ мѣстѣ выступаетъ одностороннее пониманіе еврейскаго вопроса.

Отнюдь не было достаточно изслѣдовать, кто долженъ эмансипировать? Кто долженъ быть эмансипированъ? Критика должна была сдѣлать и третье. Она должна была спросить: о какого рода эмансипаціи идетъ рѣчь? Какія условія вытекаютъ изъ сущности требуемой эмансипаціи? Сама критика политической эмансипаціи была лишь заключительной критикой еврейскаго вопроса и его истиннымъ претвореніемъ въ «общій вопросъ времени».

Такъ какъ Бауэръ не поставилъ вопроса на такую высоту, онъ впалъ въ противорѣчія. Онъ ставитъ условія, которыя не обоснованы сущностью самой политической эмансипаціи. Онъ возбуждаетъ вопросы, которые не заключаются въ его задачѣ, и разрѣшаетъ задачи, которыя оставляютъ его вопросы безъ отвѣта. Если Бауэръ говоритъ о противникахъ еврейской эмансипаціи: «ихъ недостатковъ

заключался лишь въ томъ, что они предполагали христіанское государство единственно истиннымъ и не подвергали его той же самой критикѣ, съ какою разсматривали еврейство» (стр. 3), то, по нашему мнѣнію, ошибка Бауэра состоитъ въ томъ, что онъ подвергъ критику лишь «христіанское государство», а не «просто государство», что онъ не изслѣдовалъ отношенія политической эмансипаціи къ человѣческой эмансипаціи, и потому ставитъ условія, которыя могутъ быть объяснены лишь некритическимъ смѣшеніемъ политической эмансипаціи съ общечеловѣческой. Если Бауэръ спрашиваетъ евреевъ: имѣете ли вы право съ вашей точки зрѣнія требовать политической эмансипаціи?—то мы спросимъ наоборотъ: имѣетъ ли право точка зрѣнія политической эмансипаціи требовать отъ евреевъ отказа отъ еврейства, отъ человѣка вообще—отказа отъ религіи?

Еврейскій вопросъ получаетъ различную формулировку, смотря по государству, въ которомъ находятся евреи. Въ Германіи, гдѣ не существуетъ политическаго государства, государства какъ государства, еврейскій вопросъ—чисто теологическій вопросъ. Еврей находится въ религіозной противоположности къ государству, признающему христіанство своей основой. Это государство есть теологъ *ex professo*. Критика является здѣсь критикой теологіи, обоюдоострой критикой, критикой христіанской и критикой еврейской теологіи. Но мы все еще движемся въ теологіи, какъ бы критически мы въ ней ни подвигались.

Во Франціи, конституціонномъ государствѣ, еврейскій вопросъ есть вопросъ конституціонализма, вопросъ о половинчатости политической эмансипаціи. Такъ какъ здѣсь сохранена видимость государственной религіи, хотя и въ ничего неговорящей и себѣ противорѣчающей формѣ, въ формѣ религіи большинства, то отношеніе евреевъ къ государству сохраняетъ видимость религіозной, теологической противоположности.

Лишь въ Сѣверо-американскихъ Штатахъ—по крайней мѣрѣ, въ части ихъ—еврейскій вопросъ теряетъ свое теологическое значеніе и становится дѣйствительно свѣтскимъ вопросомъ. Лишь тамъ, гдѣ политическое государство существуетъ въ его совершенномъ развитіи, можетъ выступить во всемъ его своеобразіи, во всей его чистотѣ отношеніе еврея, вообще религіознаго человѣка, къ государству, слѣдовательно, отношеніе религіи къ государству. Критика этого отношенія перестаетъ быть теологической критикой, какъ только государство перестаетъ относиться къ религіи теологически, какъ только оно начинаетъ относиться къ религіи какъ государство, т.-е. политически. Тогда критика становится критикой политическаго государства. На этомъ мѣстѣ, гдѣ вопросъ перестаетъ быть теологическимъ, критика Бауэра перестаетъ быть критической. Il n'existe aux Etats-Unis ni religion de l'état, ni religion déclarée celle de la majorité, ni prééminence d'un culte sur un autre. L'état est étranger à tous les cultes ¹⁾. (Marie

¹⁾ Въ Соединенныхъ Штатахъ не существуетъ ни государственной религіи, ни религіи, признаваемой религіей большинства, ни преобладанія одного культа надъ другимъ. Государство чуждо всякимъ культамъ.

ou l'esclavage aux Etats-Unis etc., par G. de Beaumont, Paris 1835, p. 214). Въ нѣкоторыхъ даже Сѣверо-американскихъ Штатахъ la constitution n'impose pas les croyances religieuses et la pratique d'un culte comme condition des privilèges politiques ¹⁾ (l. c. p. 225). Тѣмъ не менѣе онъ не вѣритъ въ Сѣверо-американскихъ Штатахъ qu'un homme sans religion puisse être un honnête homme ²⁾ (l. c. p. 224). Тѣмъ не менѣе Сѣверная Америка по преимуществу страна религіозности, какъ это единогласно увѣряютъ Бомонъ, Токвиль и англичанинъ Гампльтонъ. Между тѣмъ Сѣверо-американскіе Штаты служатъ намъ лишь примѣромъ. Вопросъ заключается въ томъ: какъ отнесется законченная политическая эмансипація къ религіи? Разъ мы видимъ, что даже въ странѣ съ законченной политической эмансипаціей религія не только существуетъ, но существуетъ полная жизни, полная силъ, то тѣмъ самымъ доказывается, что бытіе религіи не противорѣчитъ совершенству государства. Но такъ какъ бытіе религіи есть бытіе несовершенства, то источникъ этого несовершенства надо искать лишь въ сущности самого государства. Для насъ религія больше не служитъ основаніемъ, а только феноменомъ свѣтской ограниченности. Поэтому мы объясняемъ религіозныя предразсудки свободныхъ гражданъ изъ ихъ свѣтской ограниченности. Мы не утверждаемъ, что они должны отказаться отъ своей религіозной ограниченности, чтобы уничтожить свои свѣтскія ограниченія. Мы утверждаемъ, что они откажутся отъ своей религіозной ограниченности, какъ только уничтожатъ свои свѣтскія ограниченія. Мы не превращаемъ свѣтскихъ вопросовъ въ теологическіе. Мы превращаемъ теологическіе вопросы въ свѣтскіе. Послѣ того какъ исторія достаточно долго была растворена въ суевѣрїи, мы растворяемъ суевѣрїе въ исторїи. Вопросъ объ отношенїи политической эмансипаціи къ религіи становится для насъ вопросомъ объ отношенїи политической эмансипаціи къ человѣческой. Мы критикуемъ религіозную слабость политическаго государства, критикуя политическое государство, независимо отъ его религіозныхъ слабостей, въ его свѣтской формѣ. Противорѣчіе между государствомъ и определенной религіей, напр., еврействомъ, мы очеловѣчиваемъ въ противорѣчіе между государствомъ и определенными свѣтскими элементами, противорѣчіе между государствомъ и религіей вообще—въ противорѣчіе между государствомъ и его предпосылками вообще.

Политическая эмансипація еврея, христіанина, религіознаго чело- вѣка вообще, есть эмансипація государства отъ еврейства, христіанства, религіи вообще. По своему, на свой особый ладъ, государство эмансипируется отъ религіи какъ государство, когда оно эмансипируется отъ государственной религіи, т.-е. когда государство, какъ государство, не исповѣдуетъ никакой религіи, когда государство,

¹⁾ Конституція не ставитъ религіозныхъ вѣрованій и отправленія культа условіемъ политическихъ привилегій.

²⁾ Въ Соединенныхъ Штатахъ не вѣрятъ, чтобы чело- вѣкъ безъ религіи могъ быть порядочнымъ чело- вѣкомъ.

напротивъ, вѣруетъ въ себя какъ въ государство. Политическая эмансипація отъ религіи не есть законченная, свободная отъ противорѣчій эмансипація отъ религіи, ибо политическая эмансипація не есть законченный, свободный отъ противорѣчій способъ человѣческой эмансипаціи.

Граница политической эмансипаціи сразу проявляется въ томъ, что государство можетъ освободить себя отъ ограниченія безъ того, чтобы человѣкъ сталъ дѣйствительно свободнымъ отъ него, что государство можетъ быть свободнымъ государствомъ безъ того, чтобы человѣкъ былъ свободнымъ человѣкомъ. Самъ Бауэръ молчаливо допускаетъ это, когда ставитъ слѣдующее условіе политической эмансипаціи: «всякая религіозная привилегія вообще, слѣдовательно, и монополія привилегированной церкви, должна быть уничтожена, и если нѣкоторые люди или многіе или даже преобладающее большинство считаютъ еще своимъ долгомъ исполнять религіозныя обязанности, то исполненіе ихъ должно быть предоставлено имъ самимъ какъ частное дѣло». Государство, слѣдовательно, можетъ совершенно эмансипироваться отъ религіи, даже когда преобладающее большинство еще остается религіознымъ. И преобладающее большинство не перестаетъ быть религіознымъ оттого, что въ частной жизни оно остается религіознымъ.

Но вѣдь отношеніе къ религіи государства, именно свободного государства, есть не что иное, какъ отношеніе къ религіи людей, образующихъ государство. Отсюда слѣдуетъ, что человѣкъ освобождается отъ ограниченія при посредствѣ государства, политически, когда, въ противорѣчій съ самимъ собою, онъ возвышается надъ этимъ ограниченіемъ абстрактнымъ и ограниченнымъ, частичнымъ образомъ. Отсюда же слѣдуетъ, что человѣкъ даже тогда, когда при посредствѣ государства объявляетъ себя атеистомъ, т.-е. когда объявляетъ государство атеистомъ, все еще остается при религіозныхъ предрасудкахъ, именно потому, что признаетъ себя самого лишь окольнымъ путемъ, лишь черезъ посредника. Религія и есть признаніе человѣка окольнымъ путемъ, черезъ посредника. Государство есть посредникъ между человѣкомъ и свободой человѣка. Какъ Христосъ есть посредникъ, на котораго человѣкъ возложилъ всю свою божественность, всѣ свои религіозныя страсти, такъ и государство есть посредникъ, въ котораго онъ вкладываетъ всю свою небожественность, всю свою человѣческую безстрастность.

Политическое возвышеніе человѣка надъ религіей раздѣляетъ всѣ недостатки и всѣ преимущества политическаго возвышенія вообще. Государство, какъ государство, уничтожаетъ, напр., частную собственность, человѣкъ объявляетъ частную собственность упраздненной въ политическомъ отношеніи, лишь только онъ упраздняетъ имущественный деизъ для активнаго и пассивнаго избирательнаго права, что и было во многихъ Сѣвероамериканскихъ Штатахъ. Съ политической точки зрѣнія Гамильтонъ совершенно правильно истолковалъ

этотъ фактъ въ томъ смыслѣ, что «чернь одержала побѣду надъ собственниками и денежнымъ богатствомъ». Развѣ идеально частная собственность не упразднена, развѣ невладѣющій сталъ законодателемъ владѣющаго? Цензъ—это послѣдняя политическая форма, признающая частную собственность.

Но съ политическимъ уничтоженіемъ частной собственности частная собственность не только не упраздняется, но даже становится предпосылкой. Государство на свой ладъ упраздняетъ различія въ происхожденіи, сословіи, образованіи, профессіи, когда объявляетъ неполитическими различіями рожденіе, сословіе, образованіе, профессію, когда провозглашаетъ, безъ всякаго вниманія къ этимъ различіямъ, каждого члена народа равноправнымъ участникомъ народнаго суверенитета, когда разсматриваетъ всѣ элементы дѣйствительной народной жизни съ точки зрѣнія государственной. Несмотря на все это, государство позволяетъ частной собственности, образованію, профессіи, дѣйствовать на свой ладъ и проявлять свою особую сущность, какъ частной собственности, образованію, профессіи. Далекое отъ того, чтобы упразднить всѣ эти различія, государство, напротивъ, существуетъ лишь въ предположеніи ихъ наличности, чувствуетъ себя политическимъ государствомъ и осуществляетъ свою всеобщность лишь въ противоположность къ этимъ своимъ элементамъ. Гегель совершенно правильно опредѣлялъ отношеніе политическаго государства къ религіи, когда говорилъ: «Дабы государство могло проявиться, какъ себя сознающая нравственная дѣйствительность духа, необходимо его различеніе отъ формы авторитета и вѣры; но это различеніе проявляется лишь постольку, поскольку церковная сторона обособляется въ себя самое: только такъ, стоя надъ различными церквями, государство пріобрѣтаетъ всеобщность мысли, принципъ своей формы, и претворяетъ ее въ жизнь» (Hegels Rechtsphil. zweite Ausg., p. 346). Конечно! Лишь стоя надъ особыми элементами, государство пріобрѣтаетъ всеобщій характеръ.

Законченное политическое государство является по своей сущности родовой жизнью человѣка, въ противоположность къ его матеріальной жизни. Всѣ предпосылки его эгоистической жизни продолжаютъ существовать внѣ государственной сферы, въ гражданскомъ обществѣ, но какъ свойства гражданского общества. Тамъ, гдѣ политическое государство достигло своего дѣйствительнаго развитія, человѣкъ не только въ мысляхъ, въ сознаніи, а въ дѣйствительности, въ жизни, ведетъ двойную жизнь, небесную и земную, жизнь въ политическомъ обществѣ, въ которомъ онъ выступаетъ какъ общественное существо, и жизнь въ гражданскомъ обществѣ, въ которомъ онъ дѣйствуетъ какъ частное лицо, разсматриваетъ другихъ людей какъ средство, низводитъ себя самого до средства и становится игрушкой чуждыхъ силъ. Политическое государство относится къ гражданскому обществу такъ же сниритуалистически, какъ небо къ землѣ. Оно находится къ нему въ той же противоположности,

преодолываетъ его тѣмъ же образомъ, какъ религія—ограниченность земного міра, т. е. такимъ образомъ, что государство, подобно религіи, должно его снова признать, возстановить, позволить ему надъ собой господствовать. Въ своей ближайшей дѣйствительности, въ гражданскомъ обществѣ, человѣкъ—земное существо. Здѣсь, гдѣ онъ для себя и другихъ имѣетъ значеніе дѣйствительнаго индивида, онъ представляетъ собой неистинное явленіе. Напротивъ, въ государствѣ, гдѣ человѣкъ имѣетъ значеніе родового существа, онъ является мнимымъ членомъ воображаемаго суверенитета, лишень своей дѣйствительной индивидуальной жизни, преисполненъ недействительной всеобщности.

Конфликтъ человѣка, какъ послѣдователя особой религіи, со своими согражданами, съ другими людьми, какъ членами общегитія, сводится къ свѣтскому расколу между политическимъ государствомъ и гражданскимъ обществомъ. Для человѣка, какъ буржуа, «жизнь въ государствѣ есть лишь видимость или мгновенное исключеніе изъ сущности и правила». Во всякомъ случаѣ буржуа, какъ и еврей, лишь софистически остается въ государственной жизни, подобно тому какъ гражданинъ лишь софистически остается евреемъ или буржуа; но эта софистика не личная. Она—софистика самого политическаго государства. Различіе между религіознымъ человѣкомъ и гражданиномъ есть различіе между купцомъ и гражданиномъ, между поденникомъ и гражданиномъ, землевладѣльцемъ и гражданиномъ, между живымъ индивидомъ и гражданиномъ. Противорѣчіе, въ которомъ находится религіозный человѣкъ съ политическимъ человѣкомъ, есть то же противорѣчіе, въ которомъ находится bourgeois съ citoyen'омъ, въ которомъ находится членъ гражданского общества и его политическая шкура льва.

Этотъ свѣтскій споръ, къ которому въ концѣ концовъ сводится еврейскій вопросъ, отношеніе политическаго государства къ своимъ предпосылкамъ, будутъ ли то матеріальные элементы, какъ частная собственность и т. п., или духовные, какъ образованіе, религія, споръ между общимъ интересомъ и частнымъ интересомъ, расколъ между политическимъ государствомъ и гражданскимъ обществомъ,—эти свѣтскія противоположности Бауэръ оставляетъ нетронутыми, когда онъ полемизируетъ противъ ихъ религіознаго выраженія. «Именно основа гражданского общества—потребность, обезпечивающая гражданскому обществу его существованіе и гарантирующая его необходимость,—подвергаетъ его существованіе постоянной опасности, поддерживаетъ въ немъ элементъ непрочности и вызываетъ подверженное постоянной смѣнѣ соединеніе бѣдности и богатства, нужды и преуспѣванія, измѣчивость вообще» (стр. 8).

Сравните весь отдѣлъ «гражданское общество» (стр. 8—9), начертанный по основнымъ принципамъ гегелевской философіи права. Гражданское общество въ его противоположности къ политическому государству признается необходимостью, ибо политическое государство признается необходимостью.

Политическая эмансипация, конечно, представляет огромный прогрессъ; хотя она и не является послѣдней формой человѣческой эмансипации вообще, но она является послѣдней формой человѣческой эмансипации въ предѣлахъ существующаго міропорядка. Разумѣется, мы говоримъ здѣсь о дѣйствительной, практической эмансипации.

Человѣкъ политически эмансипируется отъ религіи тѣмъ, что удаляетъ ее изъ публичнаго права въ частное право. Она уже не является духомъ государства, гдѣ человѣкъ—хотя и въ ограниченной степени, подъ особой формой и въ особой сферѣ—ведетъ себя какъ родовое существо, въ сообществѣ съ другими людьми; она стала духомъ гражданскаго общества, сферы эгонизма, *bellum omnium contra omnes*¹⁾. Она уже не существо общности, а существо различія. Она стала выраженіемъ отдѣленія человѣка отъ своей общественности, отъ себя самого и другихъ людей,—чѣмъ и была первоначально. Она еще является лишь абстрактнымъ неповданіемъ особой превратности, личнаго каприза, произвола. Такъ, безконечное дробленіе религіи въ сѣверной Америкѣ уже внѣшне даетъ ей форму чисто личнаго дѣла. Она низвергнута въ число частныхъ интересовъ и изгнана изъ общежитія какъ общественное существо. Но не слѣдуетъ заблуждаться насчетъ границъ политической эмансипации. Раздвоеніе человѣка на публичнаго и частнаго человѣка, перемѣщеніе религіи изъ государства въ гражданское общество,—это не ступень, а завершеніе политической эмансипации, которая, слѣдовательно, такъ же мало уничтожаетъ дѣйствительную религіозность человѣка, какъ и стремится ее уничтожить.

Разложеніе человѣка на еврея и гражданина государства, на протестанта и гражданина государства, на религіознаго человѣка и гражданина государства, это разложеніе не представляетъ ли по отношенію къ гражданственности, обхода политической эмансипации, оно—сама политическая эмансипация, политическій способъ эмансипироваться отъ религіи. Во всякомъ случаѣ: въ эпохи, когда политическое государство насильственно рождается на свѣтъ изъ нѣдръ гражданскаго общества какъ политическое государство, когда человѣческое самоосвобожденіе стремится выдѣлиться въ форму политическаго самоосвобожденія, государство можетъ и должно продолжать свой путь до упраздненія религіи, но лишь такъ, какъ оно идетъ къ упраздненію частной собственности, къ максимуму, къ конфискаціи, прогрессивному обложенію, какъ оно идетъ къ упраздненію жизни, къ гильотинѣ. Въ моментъ своего особаго самочувствія политическая жизнь стремится подавить свои предпосылки—гражданское общество и его элементы,—конституироваться въ дѣйствительную, свободную отъ противорѣчій, родовую жизнь человѣка. А этого она можетъ достигнуть лишь насильственно противорѣча своимъ собственнымъ жизненнымъ условіямъ, лишь объявивъ революцію непрерывной,

1) Войны всѣхъ противъ всѣхъ.

и потому политическая драма съ такой же необходимостью заканчивается возстановленіемъ религіи, частной собственности, всѣхъ элементовъ гражданскаго общества, съ какой война заканчивается миромъ.

Да, не такъ называемое христіанское государство, признающее христіанство своимъ основаніемъ, государственной религіей, и потому относящееся къ другимъ религіямъ исключяюще, есть совершенное христіанское государство, а, наоборотъ, атеистическое государство, демократическое государство, государство, ставящее религію въ ряду другихъ элементовъ гражданскаго общества. Государство, которое еще остается теологомъ, которое еще исповѣдуетъ христіанство официальнымъ образомъ, которое еще не отваживается объявить себя государствомъ, — такому государству еще не удалось въ свѣтской, человѣческой формѣ, въ своей дѣйствительности государства, выразить человѣческое основаніе, чрезмѣрнымъ выраженіемъ котораго является христіанство. Такъ называемое христіанское государство есть просто лишь негосударство, ибо не христіанство какъ религія, а лишь человѣческая основа христіанской религіи можетъ найти свое выраженіе въ дѣйствительно человѣческихъ созданіяхъ. Такъ называемое христіанское государство есть христіанское отрицаніе государства, но отнюдь не осуществленіе государствомъ христіанства. Государство, которое еще исповѣдуетъ христіанство въ формѣ религіи, еще не исповѣдуетъ его въ формѣ государства, ибо еще относится къ религіи религіозно, т.-е. оно не является дѣйствительнымъ осуществленіемъ человѣческаго основанія религіи, ибо оно еще взываетъ къ недѣйствительности, воображаемому образу этой человѣческой сущности. Такъ называемое христіанское государство является несовершеннымъ государствомъ, и христіанская религія служитъ завершеніемъ и освященіемъ его несовершенства. Поэтому религія необходимо становится для него орудіемъ, и христіанское государство оказывается государствомъ лицемѣрія. Большая разница, считаетъ ли совершенное государство религію въ числѣ своихъ предпосылокъ вслѣдствіе несовершенства, лежащаго въ общей сущности государства, или несовершенное государство объявляетъ религію своимъ основаніемъ вслѣдствіе несовершенства, лежащаго въ его особой сущности, какъ несовершеннаго государства. Въ послѣднемъ случаѣ религія становится несовершенной политикой. Въ первомъ случаѣ въ религіи сказывается несовершенство даже совершенной политики. Такъ называемое христіанское государство нуждается въ христіанской религіи, чтобы добиться совершенства какъ государство. Демократическое же государство, дѣйствительное государство, не нуждается въ религіи для своего политическаго совершенства. Напротивъ, оно можетъ отвѣчаться отъ религіи, ибо въ немъ по-свѣтски осуществлена человѣческая основа религіи. Такъ называемое христіанское государство относится къ религіи политически, а къ политикѣ—религіозно. Низведя государственныя формы къ видимости, оно такъ же сильно низводитъ религію до видимости.

Чтобы уяснить эту противоположность, рассмотрим бауэровскую конструкцию христіанскаго государства, конструкцию, возникшую изъ возрѣвнїи на христіанско-германское государство.

«Чтобы доказать невозможность или несуществованіе христіанскаго государства, — говоритъ Бауэръ, — неоднократно указывали на тѣ изреченія изъ Евангелія, которымъ государство не только не слѣдуетъ, но и не можетъ даже слѣдовать, если не хочетъ совершенно распасться». «Но такъ легко вопросъ не рѣшается. Чего требуютъ эти евангельскія изреченія? Сверхъестественнаго самоотрицанія, подчиненія авторитету откровенія, удаленія отъ государства, упраздненія свѣтскихъ отношеній. И всего этого требуетъ и все это даетъ христіанское государство. Оно усвоило духъ евангелія и, если не повторяетъ его въ тѣхъ же самыхъ буквахъ, какими выражаетъ его евангеліе, то это происходитъ только потому, что государство выражаетъ этотъ духъ въ государственныхъ формахъ, т.-е. въ такихъ формахъ, которыя, хотя и взяты изъ государственной жизни на семь свѣтъ, но производятся къ простой видимости въ процессѣ религіознаго возрожденія, который ихъ ожидаетъ. Отреченіе отъ государства пользуется государственными формами для осуществленія его» (стр. 55).

Бауэръ доказываетъ дальше, что народъ христіанскаго государства представляетъ собой лишь ленародъ, что онъ не имѣетъ больше собственной воли, что его истинное бытіе заключается въ главѣ государства, которому онъ подвластенъ и который, однако, первоначально и по своей природѣ чуждъ ему, т.-е. дакъ Богомъ и пришелъ къ нему безъ всякаго усилія съ его стороны; что законы этого народа—не его рукъ дѣло, а положительныя откровенія; что его повелитель нуждается въ привилегированныхъ посредникахъ между собой и собственно народомъ, массою; что эта масса сама распадается на множество особыхъ круговъ, созданныхъ случасмъ и получающихъ отъ него свое назначеніе, различающихся своими интересами, особыми страстями и предразсудками и пользующихся въ видѣ привилегіи правомъ на взаимное обособленіе другъ отъ друга и т. д. (стр. 56).

Однако самъ Бауэръ говоритъ: «Политика, если она должна быть не чѣмъ инымъ какъ религіей, не должна быть политикой, такъ же мало, какъ чистка кухонной посуды, если она должна быть дѣломъ религіи, не можетъ считаться хозяйственнымъ дѣломъ» (стр. 108). Но въ христіанско-германствѣ религія есть «хозяйственное дѣло», какъ и «хозяйственное дѣло» есть религія. Въ христіанско-германскомъ государствѣ господство религіи есть религія господства.

Отдѣленіе «духа евангелія» отъ «буквы евангелія» есть актъ иррелигіозный. Государство, позволяющее евангелію говорить буквами политики, иными буквами, чѣмъ буквы святаго духа, совершаетъ святотатство, если не въ глазахъ челоуѣка, то все же въ своихъ собственныхъ религіозныхъ глазахъ. Государству, признающему хри-

стіанство какъ свой верховный законъ, біблію—какъ свою хартію, должно противопоставить слова священнаго писанія, ибо это писаніе священо до послѣдняго слова. Это государство, какъ и человѣческій соръ, на которомъ оно поконится, попадаетъ въ мучительное, непреодолимое съ точки зрѣнія религіознаго сознанія противорѣчіе, когда его отсылають къ тѣмъ изреченіямъ евангелія, которымъ оно «не только не слѣдуетъ, но и не можетъ слѣдовать, если только не хочетъ совершенно погибнуть какъ государство». Почему же оно не хочетъ совершенно погибнуть? На это не могутъ дать отвѣта ни само государство, ни другіе. Передъ его собственнымъ сознаніемъ официальное христіанское государство есть должествованіе, осуществленіе котораго недостижимо; предъ самимъ собой оно можетъ удовольствіть дѣйствительность своего существованія лишь при помощи лжи и потому всегда остается для себя самого предметомъ сомнѣнія, недостовернымъ, проблематическимъ предметомъ. Поэтому критика поступаетъ совершенно правильно, когда она доводитъ государство, ссылающееся на біблію, до состоянія умопомраченія; тогда оно само больше не знаетъ, представляетъ ли оно изъ себя воображеніе или реальность, тогда низменные его свѣтскія цѣли, для которыхъ религія служитъ прикрытіемъ, вступаютъ въ неразрѣшимый конфликтъ съ честностью его религіознаго сознанія, для котораго религія является цѣлью міра. Это государство можетъ избавиться отъ своихъ внутреннихъ мукъ, лишь сдѣлавшись полпейскимъ служителемъ католической церкви. Предъ ней, признающей свѣтскую власть подчиненной себѣ организаціей, государство безпомощно, безпомощна свѣтская власть, утверждающая, что она—повелитель религіознаго духа.

Въ такъ называемомъ христіанскомъ государствѣ имѣеть, впрочемъ, значеніе отреченіе, но не человѣкъ. Единственный человѣкъ, имѣющій значеніе, король, есть существо специфически отличное отъ всѣхъ другихъ людей, къ тому же еще религіозное существо, непосредственно связанное съ небомъ, съ Богомъ. Отношенія, здѣсь господствующія,—еще отношенія религіозныя. Религіозный духъ въ дѣйствительности, слѣдовательно, еще не сдѣлался свѣтскимъ.

Но религіозный духъ и не можетъ стать дѣйствительно свѣтскимъ, ибо что такое онъ самъ, какъ не несвѣтская форма ступени развитія человѣческаго духа? Религіозный духъ можетъ быть осуществленъ лишь постольку, поскольку ступень развитія человѣческаго духа, религіознымъ выраженіемъ котораго онъ является, выступаетъ и конституируется въ своей свѣтской формѣ. Это имѣеть мѣсто въ демократическомъ государствѣ. Не христіанство, а человѣческая основа христіанства является основаніемъ этого государства. Религія остается идеальнымъ, несвѣтскимъ сознаніемъ его членовъ, ибо она—идеальная форма человѣческой ступени развитія, въ немъ осуществляемая.

Члены политическаго государства религіозны вслѣдствіе дуализма между индивидуальной и родовой жизнью, между жизнью гражданскаго общества и политической жизнью, — религіозны, потому что

человѣкъ относится къ загробной государственной жизни своей дѣйствительной индивидуальности, какъ къ своей истинной жизни, религіозны, поскольку здѣсь религія—духъ гражданскаго общества, выраженіе отдѣленія и удаленія человѣка отъ человѣка. Политическая демократія является христіанскою постольку, поскольку въ ней человѣкъ, не одинъ только человѣкъ, а всякій человѣкъ имѣть значеніе сувереннаго, высшаго существа, но человѣкъ въ его некультуриврованномъ, несоціальному видѣ, человѣкъ въ его случайномъ существованіи, человѣкъ, каковъ онъ есть, человѣкъ, испорченный всей организаціей нашего общества, потерявшій, продавшій себя самого, отданный во власть нечеловѣческихъ отношеній и элементовъ, однимъ словомъ, человѣкъ, который еще не представляетъ собой дѣйствительнаго родового существа. Образъ фантазіи, мечта, постулатъ христіанства, суверенитетъ человѣка, но чуждаго, отличнаго отъ дѣйствительнаго человѣка существа, является въ демократіи чувственной дѣйствительностью, современностью, свѣтской нормой.

Само религіозное и теологическое сознаніе чувствуетъ себя въ совершенной демократіи тѣмъ религіознѣе, тѣмъ теологичнѣе, что по виду оно не имѣетъ политическаго значенія, земныхъ цѣлей, является дѣломъ чуждающагося міра духа, выраженіемъ глупости разума, продуктомъ произвола и фантазіи, дѣйствительно потусторонней жизнью.

Христіанство достигаетъ здѣсь практическаго выраженія своей универсально-религіозной роли тѣмъ, что группируетъ самыя разнообразныя міровоззрѣнія въ формѣ христіанства, еще болѣе тѣмъ, что не предъявляетъ къ другимъ даже требованія христіанства, а лишь религіи вообще, какой угодно религіи (ср. вышеуказанное сочиненіе Бомона). Религіозное сознаніе сибаритничаетъ въ богатствѣ религіозной противоположности и религіознаго многообразія.

Такимъ образомъ, мы показали: политическая эмансипація отъ религіи оставляетъ въ неприкосновенности религію, но не привилегированную религію. Противорѣчіе, въ которомъ находится послѣдователь какой-нибудь особой религіи къ своимъ согражданами, есть лишь часть общеміроваго противорѣчія между политическимъ государствомъ и гражданскимъ обществомъ. Завершеніе христіанскаго государства есть государство, признающее себя государствомъ и абстрагирующее отъ религіи своихъ членовъ. Эмансипація государства отъ религіи не есть эмансипація дѣйствительнаго человѣка отъ религіи.

Поэтому мы не говоримъ вмѣстѣ съ Бауэромъ еврейскъ: вы не можете политически быть эмансипированы, не эмансиповавъ себя радикально отъ еврейства. Мы, напротивъ, говоримъ имъ: такъ какъ вы можете политически быть эмансипированы, не отказываясь совершенно и безпрекословно отъ еврейства, потому то сама политическая эмансипація не есть человѣческая эмансипація. Если вы, еврей, хотите быть политически эмансипированы, не эмансиповавъ себя самихъ какъ людей, то въ этой половинчатости и противорѣчій повинны не только вы, но существо и понятіе политической эмансипаціи. Если

вы заблуждаетесь насчетъ этого понятія, вы раздѣляете всеобщій предразсудокъ. Какъ государство евангелизируетъ, когда оно, хотя и оставался государствомъ, по-христіански относится къ еврею, такъ еврей политикамствуетъ, когда онъ, хотя и оставался евреемъ, требуетъ правъ гражданина.

Но если еврей, хотя и оставался евреемъ, можетъ быть политически эмансипированъ, получить гражданскія права, можетъ ли онъ притязать и получить такъ называемыя человѣческія права? Бауэръ отвѣчаетъ отрицательно. «Вопросъ въ томъ, способенъ ли еврей, какъ таковой, т. е. еврей, признающійся себѣ самому, что истинная его сущность принуждаетъ его жить въ вѣчной обособленности отъ другихъ, получить общечеловѣческія права и дать ихъ другимъ».

«Мысль о правахъ человѣка была открыта христіанскому міру лишь въ прошломъ столѣтіи. Она не врождена человѣку, а скорѣе завоевана въ борьбѣ съ историческими традиціями, въ которыхъ до сего времени воспитывался человѣкъ. Такимъ образомъ, права человека не даръ природы, не приданое отъ прошлой исторіи, а цѣна борьбы противъ случайностей рожденія и противъ привилегій, донимавшихся исторіей въ наслѣдство изъ поколѣнія въ поколѣніе. Они—результатъ образованія, и только тотъ можетъ обладать ими, кто ихъ приобрѣлъ и заслужилъ».

«Но можетъ ли еврей дѣйствительно обладать ими? Покуда онъ остается евреемъ, ограниченная сущность, дѣлающая его евреемъ, должна одерживать верхъ надъ человѣческой сущностью, которая соединяла бы его, какъ человѣка, съ людьми, и должна обособлять его отъ несреетъ. Въ этомъ обособленіи онъ находитъ объясненіе тому, что особая сущность, дѣлающая его евреемъ, есть его истинная высшая сущность, передъ которой должна отступить сущность человѣка».

«Равнымъ образомъ христіанствъ, какъ христіанствъ, не можетъ дать никакихъ человѣческихъ правъ» (стр. 19, 20).

Но Бауэру, человѣкъ долженъ принести въ жертву «привилегію вѣры», чтобы имѣть возможность получить общечеловѣческія права. Разсмотримъ такъ называемыя права человѣка и при томъ права человѣка въ ихъ подлинной формѣ, въ той формѣ, какую они получили у сѣвероамериканцевъ и французовъ, ихъ открывшихъ. Отчасти этими правами человѣка являются политическія права, права, осуществляемыя лишь въ общеніи съ другими людьми. Участіе въ обществѣ и при томъ политическомъ обществѣ, въ государствѣ, образуетъ ихъ содержаніе. Они входятъ въ категорію политической свободы, въ категорію гражданскихъ правъ, которыя, какъ мы видѣли, отнюдь не предполагаютъ безпрекословнаго и положительнаго упраздненія религіи, слѣдов., напр. и еврейства. Остается разсмотрѣть другую часть правъ человѣка, *droits de l'homme* ¹⁾, поскольку они отличаются отъ *droits du citoyen* ²⁾.

1) Права человѣка.

2) Права гражданина.

Въ ряду этихъ правъ находится свобода совѣсти, право отправлять какой-угодно культъ. Привилегія вѣры ясно признается или какъ человѣческое право, или какъ слѣдствіе человѣческаго права—свободы.

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1791, art. 10: Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses ¹⁾. Въ titre I конституціи 1791 года признается человѣческимъ правомъ: La liberté à tout homme d'exercer le culte religieux auquel il est attaché ²⁾.

Déclaration des droits de l'homme и т. д. 1793 г., ст. 7, считаетъ въ числѣ правъ человѣка: Le libre exercice des cultes ³⁾. Относительно права обнародовать свои мысли и мнѣнія, собираться, отправлять свой культъ говорится даже: La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme. Ср. конституцію 1795 г., titre XII, art. 354 ⁴⁾.

Constitution de Pensylvanie, art 9 § 3: Tous les hommes ont reçu de la nature le droit imprescriptible d'adorer le Tout-Puissant selon les inspirations de leur conscience, et nul ne peut légalement être contraint de suivre, instituer ou soutenir contre son gré aucun culte ou ministère religieux. Nulle autorité humaine ne peut, dans aucun cas, intervenir dans les questions de conscience et contrôler les pouvoirs de l'âme ⁵⁾.

Constitution de New-Hampshire, art 5 et 6: Au nombre des droits naturels, quelques-uns sont inaliénables de leur nature, parce que rien n'en peut être l'équivalent. De ce nombre sont les droits de conscience ⁶⁾. (Beaumont l. c., p. 213, 214).

Несовмѣстимость религіи съ правами человѣка такъ мало содержится въ понятіи правъ человѣка, что право быть религіознымъ, быть на любой ладъ религіознымъ, отправлять культъ своей особой религіи, скорѣе буквально перечисляется среди правъ человѣка. Привилегія вѣры есть общечеловѣческое право.

Droits de l'homme, права человѣка, какъ таковыя, отличаются отъ droits du citoyen, правъ гражданина. Кто же этотъ homme, различаемый отъ citoyen'а? Никто иной, какъ членъ гражданского общества. Почему членъ гражданского общества называется «человѣкомъ»,

¹⁾ Декларация правъ человѣка и гражданина 1791 года, ст. 10: Никто не можетъ быть преслѣдуемъ за свои мнѣнія, даже религіозныя.

²⁾ Свобода всякаго человѣка отправлять религіозный культъ, котораго онъ придерживается.

³⁾ Декларация правъ человѣка и т. д. 1793: Свободное отправленіе культа.

⁴⁾ Необходимость провозглашенія этихъ правъ предполагаетъ или наличности деспотизма или недавнее о немъ воспоминаніе.

⁵⁾ Конституція Пенсильваніи, ст. 9 § 3: Всѣ люди получили отъ природы неотъемлемое право поклоняться Всемогущему согласно велѣнію своей совѣсти, и никто нельзя заставить по закону слѣдовать, устанавливать или поддерживать, противъ воли, какой-нибудь культъ или религіозную службу. Никакая человѣческая власть ни въ какомъ случаѣ не можетъ вмѣшиваться въ вопросы совѣсти и контролировать авторитетъ духа.

⁶⁾ Конституція Нью-Гампшайра, стг. 5 и 6: Въ числѣ естественныхъ правъ нѣкоторыя неотчуждаемы по своей природѣ, ибо ничто не можетъ быть имъ равноцѣнно. Въ числѣ ихъ права совѣсти.

просто человѣкомъ, почему его права называются человѣческими правами? Чѣмъ можемъ мы объяснить этотъ фактъ? Отношеніемъ политическаго государства къ гражданскому обществу, сущностью политической эмансипація.

Прежде всего установимъ фактъ, что такъ называемыя права человека, *droits de l'homme*, въ отличіе отъ *droits du citoyen*, не что иное, какъ права члена гражданского общества, т.-е. эгоистическаго человека, человека, обособленнаго отъ людей и обществитя. Самая радикальная конституція, конституція 1793 года, говорятъ:

Déclar. des droits de l'homme et du citoyen. Art. 2. Ces droits etc. (les droits naturels et imprescriptibles) sont: l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété ¹⁾.

Въ чѣмъ состоитъ *liberté*? *Art. 6. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui*, или по деклараціи правъ человека 1791 года: *La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à d'autrui* ²⁾.

Свобода, слѣдовательно, есть право дѣлать все то, что не вредитъ другимъ. Границы, въ предѣлахъ которыхъ каждый можетъ двигаться безъ вреда для другихъ, опредѣляются закономъ, какъ граница двухъ полей опредѣляется межевымъ столбомъ. Рѣчь идетъ о свободѣ человека, какъ изолированной, уединившейся въ себя монады. Почему, по мнѣнію Бауэра, еврей неспособенъ къ воспріятію правъ человека? «До тѣхъ поръ, пока онъ остается евреемъ, ограниченная сущность, дѣлающая его евреемъ, должна одерживать верхъ надъ человѣческой сущностью, связывающей его, какъ человека, съ людьми, и обособлять его отъ нееврея». Но право человека на свободу не поконится на соединеніи человека съ человекомъ, а наоборотъ, на обособленіи человека отъ человека. Оно—право этого обособленія, право ограниченной, въ себѣ ограниченной личности.

Практическое примѣненіе человѣческаго права на свободу есть право человека на частную собственность.

Въ чѣмъ состоитъ человѣческое право частной собственности?

Art. 16. (Const. de 1793): Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie ³⁾.

Право человека на чужую собственность есть, слѣдовательно, право по своему усмотрѣнію (à son gré), безотносительно къ другимъ лю-

¹⁾ Декларация правъ человека и гражданина. Ст. 2-ая. Эти права и т. д. (права естественныя и неотъемлемыя) суть: равенство, свобода, безопасность, собственность.

²⁾ Ст. 6-ая. Свобода есть принадлежащее человеку право дѣлать все, что не вредитъ правамъ другого... Свобода состоитъ въ правѣ дѣлать все, что не вредитъ другому.

³⁾ Ст. 16-ая (конституціи 1793 года): Право собственности есть принадлежащее всякому гражданину право по своему усмотрѣнію пользоваться и распоряжаться своимъ имуществомъ, своими доходами, плодами своего труда и своего промысла.

дям независимо отъ общества, пользоваться своимъ имуществомъ и распоряжаться имъ, право своекорыстія. Всякая индивидуальная свобода, какъ и индивидуальное примѣненіе ея, образуютъ основу гражданскаго общества. Она заставляетъ всякаго человѣка находить въ другомъ человѣкѣ не осуществленіе, а, наоборотъ, границу своей свободы. Но превыше всего она ставитъ право человѣка de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie ¹⁾.

Остаются еще другія права человѣка, égalité и sûreté.

Egalité (равенство) въ его неполитическомъ значеніи есть не что иное, какъ равенство вышеописанной liberté, а именно: каждый человѣкъ одинаково разсматривается какъ одинаковая, замкнутая въ себя монада. Конституція 1795 года опредѣляетъ понятіе этого равенства, сообразно его значенію, въ такомъ смыслѣ: Art. 5. (Const. de 1795): L'égalité consiste en ce que la loi est même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ²⁾.

А sûreté? Art. 8. (Const. de 1793): La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés ³⁾.

Безопасность есть высшее социальное понятіе гражданскаго общества, понятіе полицейское, что все общество существуетъ лишь для того, чтобы обезпечить каждому его члену неприкосновенность его личности, его правъ и его собственности. Въ этомъ смыслѣ Гегель называетъ гражданское общество «государствомъ нужды и разсудка».

При помощи понятія безопасности гражданское общество не возвышается надъ своимъ эгоизмомъ. Безопасность есть, скорѣе, гарантія его эгоизма.

Ни одно, слѣдовательно, изъ такъ называемыхъ правъ человѣка не выходитъ за предѣлы эгоистическаго человѣка, человѣка, какъ члена гражданскаго общества, т.-е. какъ индивида, ушедшаго въ себя, въ свои частные интересы и свою частную волю и обособившагося отъ общегитія. Человѣкъ не только не разсматривается въ нихъ какъ родовое существо, напротивъ, сама родовая жизнь, общество, разсматривается какъ внѣшнія рамки для индивидовъ, какъ ограпиченіе ихъ первоначальной самостоятельности. Единственной связью, объединяющей ихъ, является естественная необходимость, потребность и частный интересъ, сохраненіе своей собственности и своей эгоистической личности.

Неопытно уже то, какимъ образомъ народъ, начинающій еще

¹⁾ По своему усмотрѣнію пользоваться и распоряжаться своимъ имуществомъ, своими доходами, плодами своего труда и своего промысла.

²⁾ Ст. 5-ая (Констат. 1795 года): Равенство состоитъ въ томъ, что законъ одинаковъ для всѣхъ, защищаетъ ли онъ, или наказываетъ.

³⁾ Ст. 8-ая (Конст. 1793 г.): Безопасность состоитъ въ защитѣ, оказываемой обществомъ всякому его члену для сохраненія его личности, его правъ и его собственности.

только освобождать себя, разрушать всё преграды между различными членами народа, оспывать политическое общежитіе, какимъ образомъ такой народъ торжественно провозглашаетъ право эгонистическаго человѣка, обособленнаго отъ сочеловѣка и общежитія (декларация 1791 года), и при томъ повторяетъ это провозглашеніе въ такой моментъ, когда одна только героическая самоотверженность можетъ спасти націю и потому настоятельно необходима, въ такой моментъ, когда пожертвованіе всѣми интересами гражданскаго общества должно быть поставлено въ порядокъ дня, а эгонизмъ долженъ быть наказанъ какъ преступленіе. (Declar. des droits de l'homme etc. de 1793). Но этотъ фактъ становится еще загадочнѣе, когда мы видимъ, что гражданственность, политическое общежитіе производится политическими освободителями даже до простаго средства для сохраненія этихъ такъ называемыхъ правъ человѣка, что такимъ образомъ citoyen объявляется слугою эгонистическаго homme'a, сфера, въ которой человѣкъ поступаетъ какъ общественное существо, ставится ниже той сферы, въ которой онъ поступаетъ какъ частное существо, наконецъ, не человѣкъ-citoyen, а человѣкъ-bourgeois, считается собственнымъ и настоящимъ человѣкомъ.

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme (Decl. des droits etc. de 1791 art. 2) ¹⁾. Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles. (Decl. etc. de 1793 art. 1) ²⁾. Слѣдовательно, даже въ моменты своего еще юношескаго, теченіемъ событій доведеннаго до высшаго напряженія, энтузіазма политическая жизнь признается простымъ средствомъ, цѣль котораго—жизнь гражданскаго общества. Правда, ея революціонная практика находится въ самомъ жгучемъ противорѣчій съ ея теоріей. Напр., въ то время, какъ безопасность признается правомъ человѣка, нарушеніе почтовой тайны открыто становится обычнымъ порядкомъ вещей. Въ то время какъ признается liberté indéfinie de la presse (Const de 1793 art. 122) ³⁾, какъ слѣдствіе человѣческаго права индивидуальной свободы, свобода печати совершенно уничтожается, ибо la liberté de la presse ne doit pas être permise lorsqu'elle compromet la liberté publique. (Robespierre jeune, hist. parlem. de la rev. franç. par Buchez et Roux, T. 28, p. 135) ⁴⁾, другими словами: право человѣка на свободу перестаетъ быть правомъ, какъ только оно вступаетъ въ конфликтъ съ политической жизнью, тогда какъ въ теоріи по-

¹⁾ Цѣлью всякаго политическаго общества является охраненіе естественныхъ и неотъемлемыхъ правъ человѣка (Декларация правъ и т. д. 1791 года, статья 2.)

²⁾ Правительство учреждено для того, чтобы обезпечить человѣку пользование его естественными и неотъемлемыми правами (Декларация и т. д. 1793 г., статья 1.)

³⁾ Неограниченная свобода печати (конституція 1793 г. ст. 122).

⁴⁾ Свобода печати не должна быть дозволена, когда отъ этого можетъ пострадать общественная свобода.

литическая жизнь есть лишь гарантія человѣческихъ правъ, правъ индивидуальнаго человѣка, и потому она должна быть уничтожена, какъ только она вступаетъ въ противорѣчіе со своей цѣлю—этими правами человѣка. Но практика является лишь исключеніемъ, а теорія—общимъ правиломъ. Если мы даже захотимъ считать революціонную практику правильной постановкой вопроса, то все еще останется разрѣшить загадку, почему въ сознаніи политическихъ эмансипаторовъ вопросъ опрокинуть на голову и цѣль кажется средствомъ, а средство—цѣлью. Этотъ оптический обманъ ихъ сознанія все еще оставался бы той же загадкой, хотя уже психологической, теоретической загадкой.

Загадка разрѣшается просто.

Политическая эмансипація есть въ то же время наденіе стараго общества, на которое спирается чуждая народу государственность, верховная власть. Политическая революція есть революція гражданскаго общества. Каковъ былъ характеръ стараго общества? Его характеризуетъ одно слово—феодализмъ. Старое гражданское общество имѣло непосредственно политическій характеръ, т.-е. элементы гражданской жизни, напр., собственность и семья, форма и способъ труда были возведены на высоту элементовъ государственной жизни въ формѣ феодальныхъ правъ, сословіи и корпораціи. Въ этой формѣ они опредѣляли отношеніе отдѣльной личности къ государству, какъ цѣлому, т.-е. ея политическое положеніе, т.-е. положеніе изолированности и исключенности отъ другихъ составныхъ частей общества. Ибо та организація народной жизни не возвела собственности или труда до степени социальныхъ элементовъ, а, скорѣе, завершила ихъ отдѣленіе отъ государства, какъ цѣлаго, и конституировала ихъ въ отдѣльные общества въ обществѣ. Такимъ образомъ, жизненные функціи и жизненные условія гражданскаго общества все еще были политическими, хотя и политическими въ смыслѣ феодализма, т.-е. онѣ замыкали личность отъ государства, какъ цѣлаго, превращали особое отношеніе ея корпораціи къ государственному цѣлому въ ея собственное общее отношеніе къ народной жизни, какъ и опредѣленную ея гражданскую дѣятельность и положеніе въ общую дѣятельность и положеніе. Слѣдствіемъ такой организаціи необходимо является государственное единство, какъ сознаніе, воля и дѣятельность государственнаго единства, и общая государственная власть, также какъ особое дѣло отдѣлившагося отъ народа повелителя и его слугъ.

Политическая революція, ниспровергшая эту верховную власть и возвеличившая дѣло государственное на степень дѣла народнаго, конституировавшая политическое государство какъ общее дѣло, т.-е. какъ дѣйствительное государство, по необходимости разбила всѣ сословія, корпораціи, цехи, привилегіи, которыя представляли собой многообразное выраженіе обособленности народа отъ общественной жизни. Политическая революція уничтожила тѣмъ политическій ха-

раakterъ гражданскаго общества. Она разбила гражданское общество на его простыя составныя части, съ одной стороны на индивидуовъ, съ другой—на матеріальные и духовныя элементы, образующіе жизненное содержаніе, гражданское положеніе этихъ индивидуовъ. Она освободила отъ оковъ политическій духъ, одинаково раздѣленный, разложенный, растекшійся по различнымъ тупикамъ феодальнаго общества, собрала его воедино изъ этого разсыпанія, освободила его отъ смѣшенія съ гражданской жизнью и конституировала его какъ сферу общественности, всеобщаго народнаго дѣла въ идеальной независимости отъ тѣхъ особыхъ элементовъ гражданской жизни. Определенная дѣятельность въ жизни и определенное положеніе въ жизни свелись къ индивидуальному лишь значенію. Они не устанавливали больше общаго отношенія индивида къ государству какъ цѣлому—Общественное дѣло, какъ таковое, стало, напротивъ, общимъ дѣломъ каждаго индивида, а политическая функція—общей функціей.

Но завершеніе идеализма въ государствѣ было въ то время завершеніемъ матеріализма въ гражданскомъ обществѣ. Сверженіе политическаго ярма было въ то же время сверженіемъ цѣпей, сковывавшихъ эгоистическій духъ гражданскаго общества. Политическая эмансипація была въ то же время эмансипаціей гражданскаго общества отъ политики, даже отъ видимости какого-нибудь общаго содержанія.

Феодальное общество было разложено на свое основаніе,—человѣка. Но на того человѣка, который дѣйствительно составлялъ его основаніе, на эгоистическаго человѣка.

Этотъ человѣкъ, членъ гражданскаго общества, является, слѣдовательно, основой, предпосылкой политическаго государства. Въ качествѣ такой предпосылки его признало государство въ правахъ человѣка.

Но свобода эгоистическаго человѣка и признакіе этой свободы являются скорѣе признакіемъ ничѣмъ неограниченнаго движенія духовныхъ и матеріальныхъ элементовъ, образующихъ его жизненное содержаніе.

Человѣкъ, поэтому, не былъ освобожденъ отъ религіи,—онъ получилъ свободу религіи. Онъ не былъ освобожденъ отъ собственности,—онъ получилъ свободу собственности. Онъ не былъ освобожденъ отъ эгоизма промысла,—онъ получилъ свободу промысла.

Конституированіе политическаго государства и разложеніе гражданскаго общества на независимыхъ индивидуовъ—отношеніе которыхъ является правомъ, какъ отношеніе сословнаго и цеховаго человѣка было привилегіей—совершается въ одно и то же актѣ. Но человѣкъ, какъ членъ гражданскаго общества, неполитическій человѣкъ неизбежно является естественнымъ человѣкомъ. *Droits de l'homme* (права человѣка) являются *droits naturels* (естественными правами), ибо сознательная дѣятельность концентрируется въ политическомъ актѣ. Эгоистическій человѣкъ есть пассивный, только найденный готовымъ

результатъ распавшагося общества, предметъ непосредственной увѣренности, слѣдовательно, естественный предметъ. Политическая революція разлагаетъ гражданскую жизнь на ея составныя части, не революціонируя этихъ составныхъ частей и не подвергая критикѣ. Она относится къ гражданскому обществу, міру потребностей, работы, частныхъ интересовъ, частнаго права, какъ къ основѣ своего существованія, какъ къ послѣдней, не подлежащей дальнѣйшему обоснованію, предпосылкѣ, и потому какъ къ ея естественному основанію. Наконецъ, человекъ, какъ членъ гражданского общества, имѣетъ значеніе истиннаго человека, *homme*'а въ отличіе отъ *citoyen*'а, ибо онъ является человекомъ въ своемъ ближайшемъ чувственномъ индивидуальномъ существованіи, тогда какъ политическій человекъ является лишь абстрактнымъ, искусственнымъ человекомъ, человекомъ какъ аллегорической, моральной личностью. Дѣйствительный человекъ признаетъ лишь въ образѣ эгоистической личности, истинный человекъ—лишь въ образѣ абстрактнаго *citoyen*'а.

Абстракцію политическаго человека Руссо правильно изображаетъ слѣдующимъ образомъ: *Celui qui ose entreprendre d'instituer un peuple doit se sentir en état de changer, pour ainsi dire la nature humaine, de transformer chaque individu, qui par lui-même est un tout parfait et solitaire en partie d'un plus grand tout, dont cet individu recoit, en quelque sorte sa vie et son être, de substituer une existence partielle et morale à l'existence physique et indépendante. Il faut qu'il ôte à l'homme ses forces propres pour lui en donner qui lui soient étrangères et dont il ne puisse faire usage sans le secours d'autrui* (Cont. Soc. liv. II, Londr., 1757, p. 67) ¹⁾.

Всякая эмансипація есть сведеніе человѣческаго міра, человѣческихъ отношеній, къ самому человеку.

Политическая эмансипація есть сведеніе человека, съ одной стороны, къ члену гражданского общества, къ эгоистическому, независимому индивиду, съ другой—къ политическому гражданину, къ моральной личности.

Только когда дѣйствительный индивидуальный человекъ восприниметъ въ себя абстрактнаго гражданина государства и какъ индивидуальный человекъ станетъ родовымъ существомъ въ своей эмпирической жизни, въ своей индивидуальной работѣ, въ своихъ индивидуальныхъ отношеніяхъ, только когда человекъ познаетъ и организуетъ свои *forces propres* (личныя силы) какъ общественныя силы

¹⁾ Тотъ, кто отважится создать народъ, долженъ чувствовать себя въ силахъ, такъ сказать, пересоздать природу человека, преобразить каждую личность, которая сама по себѣ представляетъ совершенное и одинокое цѣлое, въ часть болѣе великаго цѣлага, отъ котораго она въ нѣкоторомъ смыслѣ получаетъ свою жизнь и бытіе, замѣнить физическое и независимое существованіе частичнымъ и нравственнымъ существованіемъ. Онъ долженъ отнять у человека личныя его силы, чтобы дать ему замѣнить ихъ чуждыя ему силы, пользованіе которыми невозможно безъ содѣйствія другихъ.

и потому больше не станеть отдѣлять отъ себя общественной силы въ видѣ политической силы, — только тогда свершится человѣческая эмансипація.

II.

„Способность нынѣшнихъ евреевъ и христіанъ стать свободными“. Бруно-Бауэръ. (Двадцать одинъ листъ, стр. 56—71.)

Подъ такимъ заглавіемъ Бауэръ изслѣдуетъ отношеніе еврейской и христіанской религіи другъ къ другу и отношеніе ихъ къ критикѣ. Ихъ отношеніе къ критикѣ есть ихъ отношеніе «къ способности стать свободными».

Въ результатъ оказывается: «христіанину нужно пройти черезъ одну только ступень, а именно свою религію, чтобы упразднить религію вообще», слѣдовательно, стать свободнымъ, «еврею, напротивъ, нужно порвать не только со своей еврейской сущностью, но и съ развитіемъ завершенія своей религіи, съ развитіемъ, которое ставозе ему чуждымъ» (стр. 71).

Такимъ образомъ, Бауэръ превращаетъ здѣсь вопросъ объ эмансипаціи евреевъ въ чисто религіозный вопросъ. Теологическое сомнѣніе насчетъ того, у кого больше шансовъ причислиться къ лику блаженныхъ, — у еврея или христіанина, повторяется въ болѣе просвѣщенной формѣ: кто изъ нихъ болѣе способенъ къ эмансипаціи? Правда, уже не спрашиваютъ больше: освобождаетъ ли еврейство или христіанство, а, скорѣе, наоборотъ: что дѣлаетъ человѣка болѣе свободнымъ — отрицаніе ли еврейства, или отрицаніе христіанства?

«Если еврей хотять стать свободнымъ, они должны вѣровать не въ христіанство, а въ уничтоженное христіанство, уничтоженную религію вообще, т.-е. въ просвѣщеніе, критику и ея результаты — въ свободную человѣчность» (стр. 70).

Рѣчь все еще идетъ о вѣрованіи для еврея, но не вѣрованіи въ христіанство, а въ уничтоженное христіанство.

Бауэръ предъявляетъ къ евреямъ требованіе порвать съ сущностью христіанской религіи, требованіе, которое — какъ онъ самъ говоритъ — не вытекаетъ изъ развитія еврейской сущности.

Послѣ того какъ Бауэръ въ концѣ «Еврейскаго вопроса» установилъ взглядъ на еврейство лишь какъ на грубую религіозную критику христіанства, придавъ ему, слѣдовательно, «только» религіозное значеніе, не трудно было предвидѣть, что и эмансипація евреевъ превратится въ философско-теологическій актъ.

Бауэръ считаетъ идеальную абстрактную сущность еврея, его религію, всѣмъ его существомъ. Поэтому онъ правильно заключаетъ: «Еврей ничего не даетъ человѣчеству, когда онъ пренебрегаетъ своимъ ограниченнымъ закономъ, когда онъ отрекается отъ всего своего еврейства» (стр. 65).

Въ согласіи съ этимъ отношеніемъ евреевъ и христіанъ опредѣляется такъ: единственный интересъ христіанъ въ эмансипаціи евреевъ есть общечеловѣчскій, теоретическій интересъ. Еврейство есть фактъ, оскорбительный для религіознаго взгляда христіанина. Какъ только его взглядъ перестаетъ быть религіознымъ, этотъ фактъ перестаетъ быть оскорбительнымъ. Эмансипація евреевъ сама по себѣ не есть дѣло христіанина.

Напротивъ, еврей, чтобы освободить себя, долженъ исполнить не только свое собственное дѣло, но вмѣстѣ съ тѣмъ и дѣло христіанина, критику сипэтиковъ и жизни Христа и т. д.

«Пусть они сами думаютъ, что рѣшеніе ихъ участіе въ ихъ собственныхъ рукахъ, по исторіи не позволитъ шутить надъ собой» (стр. 71).

Попробуемъ разрушить теологическую формулировку вопроса. Вопросъ о способности еврея къ эмансипаціи обращается для насъ въ вопросъ, какой особый общественный элементъ надо преодолѣть, чтобы уничтожить еврейство? Ибо способность къ эмансипаціи нынѣшнихъ евреевъ есть отношеніе еврейства къ эмансипаціи нашего вѣка. Это отношеніе съ необходимостью вытекаетъ изъ особаго положенія еврейства въ нашемъ рабскомъ мірѣ.

Подойдемъ къ дѣйствительно свѣтскому еврею, не къ еврею субботы, какъ это дѣлаетъ Бауэръ, а къ еврею повседневному.

Поищемъ тайны еврея не въ его религіи, поищемъ тайны религіи въ дѣйствительномъ еврей.

Каково свѣтское основаніе еврейства? Практическая потребность, своекорыстіе.

Каковъ свѣтскій культъ еврея? Торгашество. Кто его свѣтскій Богъ? Деньги.

Хорошо! Эмансипація отъ торгашества и денегъ, слѣдовательно, отъ практическаго, реального еврейства была бы самоэмансипаціей нашего времени.

Организація общества, которая упразднила бы предпосылки торгашества, слѣдовательно, возможность торгашества, сдѣлала бы еврея невозможнымъ. Его религіозное сознаніе разсѣялось бы въ дѣйствительномъ воздухѣ жизни, какъ нелѣпый угарь. Съ другой стороны: когда еврей признаетъ ничтожной эту свою практическую сущность и трудится надъ ея упраздненіемъ, онъ освобождается отъ рамокъ прежняго своего развитія, трудится надъ просто человѣческой эмансипаціей и обращается противъ высшаго практическаго выраженія человѣческаго самоотчужденія.

Итакъ, мы признаемъ въ еврействѣ общій антисоціальный элементъ современности, подвинутый на нынѣшнюю свою высоту историческимъ развитіемъ при ревностномъ, въ дурномъ смыслѣ, содѣйствіи евреевъ, — на высоту, на которой оно необходимо должно распасться.

Эмансипація евреевъ въ ея послѣднемъ значеніи есть эмансипація человѣчества отъ еврейства.

Еврей уже эмансипировалъ себя по-еврейски. «Еврей, который, напр., въ Вѣнѣ только терпящъ, своей денежной силой опредѣляетъ судьбы всей имперіи. Еврей, который можетъ быть безправнымъ въ самыхъ мелкихъ германскихъ государствахъ, рѣшаетъ судьбы Европы».

«Въ то время какъ корпораціи и цехи закрыты передъ евреемъ или недолюбливаютъ его, отвага промышленности насмѣхается надъ упрямствомъ средневѣковыхъ учреждений» (Б. Бауэръ, *Еврейскій вопросъ*, стр. 14). И это не единичный фактъ. Еврей эмансипировалъ себя по-еврейски не только тѣмъ, что присвоилъ себѣ денежную власть, но и тѣмъ, что черезъ него и помимо него деньги стали міровой властью, а практическій духъ еврейства — практическимъ духомъ христіанскихъ народовъ. Евреи настолько эмансипировали себя, насколько христіане стали евреями.

«Благочестивый и политически свободный обитатель Новой Англіи — сообщаетъ, напр., полковникъ Гамилтонъ — есть своего рода Лаокоонъ, не дѣлающій ни малѣйшихъ усилій, чтобы освободиться отъ змѣи, его сковавшихъ. Маммонъ — ихъ идолъ, они молятся ему не только устами, но всѣми силами своего тѣла и души. Въ ихъ глазахъ міръ не что иное какъ биржа, и они убѣждены, что на этомъ свѣтѣ у нихъ нѣтъ иного назначенія какъ стать богаче своихъ сосѣдей. Торгашество овладѣло всѣми ихъ помыслами, перемена предметовъ торгашества составляетъ единственное, что окрыляетъ ихъ. Путешествудъ, они, такъ сказать, носятъ съ собою на плечахъ свою лавочку или контору и не говорятъ ни о чемъ другомъ, какъ о процентахъ и прибыли, и если на минуту теряютъ изъ виду свои дѣла, то только затѣмъ, чтобы пропихать дѣла другихъ».

Мало того, практическое господство еврейства надъ христіанскимъ міромъ достигло въ Сѣверной Америкѣ своего недвусмысленнаго, нормальнаго выраженія въ томъ, что сама проповѣдь Евангелія, христіанская кафедра стала товаромъ, и обанкротившійся купецъ торгуетъ Евангеліемъ, какъ разбогатѣвшій евангелистъ. *Tel que vous le voyez à la tête d'une congrégation respectable a commencé par être marchand; son commerce étant tombé, il s'est fait ministre; cet autre a débuté par le sacerdoce, mais dès qu'il a eu quelque somme d'argent à la disposition, il a laissé la chaire pour le négoce. Aux yeux d'un grand nombre, le ministre religieux est une véritable carrière industrielle.* (Beaumont, l. c. p. 185, 86.) ¹⁾

По мнѣнію Бауэра, великая ложь то, что въ теоріи за евреемъ не признается политическихъ правъ, между тѣмъ какъ на практикѣ

¹⁾ Вотъ этотъ, кого вы видите во главѣ почтовой конгрегаціи, началъ съ купеческой карьеры; когда торговля разоргла его, онъ сдѣлался священнослужителемъ; этотъ другой началъ съ священнослужительства, но, набравши нѣкоторую сумму денегъ, переменяя церковную кафедру на торговое предприятие. Въ глазахъ многихъ священнослужительство есть настоящая промышленная карьера.

онъ пользуется огромной властью и проявляетъ свое вліяніе оптомъ, разъ это вліяніе стѣснено въ розницу. («Еврейскій вопросъ», стр. 14.)

Противорѣчіе, въ которомъ находятся фактическая политическая власть еврея и политическія его права, есть противорѣчіе между политикою и денежною властью вообще. Тогда какъ въ идеѣ первая властвуетъ надъ второй, на дѣлѣ она стала ея крѣпостнымъ рабомъ.

Еврейство удержалось подлѣ христіанства не только какъ религіозная критика христіанства, не только какъ овеществленное сомнѣніе въ религіозномъ происхожденіи христіанства, но также и потому, что практически еврейскій духъ, еврейство удержалось въ самомъ христіанскомъ обществѣ и даже достигло здѣсь своего высшаго развитія. Еврей, занимающій въ буржуазномъ обществѣ положеніе особаго члена, есть лишь особое проявленіе еврейства въ буржуазномъ обществѣ.

Еврейство сохранилось не вопреки исторіи, а благодаря исторіи. Буржуазное общество изъ своего собственнаго чрева постоянно порождаетъ еврея.

Что такое представляло само по себѣ основаніе еврейской религіи? Практическая потребность, эгоизмъ.

Монотеизмъ еврея является поэтому въ дѣйствительности политеизмомъ многихъ потребностей, политеизмомъ, который возводитъ даже отхожее мѣсто въ объектъ божественнаго закона. Практическая потребность, эгоизмъ—вотъ принципъ гражданскаго общества, и онъ выступаетъ въ чистомъ видѣ, какъ только гражданское общество окончательно породило изъ себя политическое государство. Богъ практической потребности и своекорыстія—это деньги.

Деньги—это ревностный богъ Израиля, предъ лицомъ котораго не должно быть никакого другого бога. Деньги унижаютъ всѣхъ боговъ человѣка,—и обращаютъ ихъ въ товаръ. Деньги—это всеобщая, въ себѣ самой конституировавшаяся цѣнность всѣхъ вещей. Они, поэтому, лишили весь міръ, человѣческій міръ, какъ и природу, ихъ своеобразной цѣпности. Деньги—это отчужденное отъ человѣка существо его труда и его бытія; и это чуждое существо повелѣваетъ имъ, а онъ молится на него.

Богъ евреевъ сдѣлался свѣтскимъ, сталъ мировымъ богомъ. Вексель—это истинный богъ еврея. Его богъ—только призрачный вексель.

Возрѣніе на природу, складывающееся при господствѣ частной собственности и денегъ, есть дѣйствительное презрѣніе, практическое развѣчиваніе природы, которая хотя и существуетъ въ еврейской религіи, но лишь въ воображеніи.

Въ этомъ смыслѣ Томасъ Мюнцеръ называлъ невыносимымъ, «что всѣ твари сдѣлались собственностью, рыбы въ водѣ, птицы въ воздухѣ, растенія на землѣ,—и тварь должна быть свободна».

То, что въ еврейской религіи находится въ абстракціи,—презрѣніе къ теоріи, искусству, исторіи, человѣку какъ самоцѣли,—то является

дѣйствительно сознанной точкой зрѣнія, добродѣтелью денежнаго человѣка. Сама супружеская связь, связь мужчины съ женщиной и т. д. становится предметомъ торговли! Женщина становится объектомъ торгашества.

Химерическая національность еврея есть національность купца, вообще денежнаго человѣка.

Безпочвенный законъ еврея есть лишь религіозная карриатура на безпочвенную мораль и право вообще, на формальные лишь ритуалы, которыми окружаетъ себя міръ своекорыстія.

И здѣсь высшее отношеніе человѣка — законное отношеніе, отношеніе къ законамъ, имѣющимъ для него значеніе не потому, что они — законы его собственной воли и сущности, а потому, что они повелѣваютъ, и отступленіе отъ нихъ карается.

Еврейскій іезуитизмъ, тотъ самый практическій іезуитизмъ, который Бауэръ находитъ въ талмудѣ, есть отношеніе міра своекорыстія къ властвующимъ надъ нимъ законамъ, хитроумный обходъ которыхъ образуетъ главное искусство этого міра.

Даже движеніе этого міра внутри этихъ законовъ неизбежно является постояннымъ упраздненіемъ закона.

Еврейство, какъ религія, не могло дальше теоретически развиваться, потому что міровоззрѣніе практической потребности по своей природѣ ограничено и исчерпывается немногими штрихами.

Религія практической потребности по своей сущности могла найти свое завершеніе не въ теоріи, а лишь въ практикѣ, именно потому, что ея истина есть практика.

Еврейство не могло создать новаго міра; оно могло лишь возлечь новыя мірозданія и міровыя отношенія въ кругъ своей дѣятельности, потому что практическая потребность, разумомъ которой является своекорыстіе, ведетъ себя пассивно и не можетъ произвольно расширяться; она расширяется лишь съ дальнѣйшимъ развитіемъ общественныхъ условій.

Еврейство достигаетъ своей высшей точки съ завершеніемъ гражданскаго общества; но гражданское общество завершается лишь въ христіанскомъ мірѣ. Лишь при господствѣ христіанства, при которомъ становятся вышними человѣку все національныя, естественныя, нравственныя, теоретическія отношенія, гражданское общество могло окончательно отдѣлаться отъ государственной жизни, порвать все родовыя оковы человѣка, эгоизмъ, поставить на мѣсто этихъ родовыхъ оковъ своекорыстную потребность, претворить міръ человѣка въ міръ атомистическихъ, враждебно другъ другу построенныхъ индивидовъ.

Христіанство возникло изъ еврейства. Оно снова же претворилось въ еврейство.

Христіанинъ былъ съ самаго начала теоретизирующимъ евреемъ, еврей, поэтому, является практическимъ христіаниномъ, а практическій христіанинъ снова сталъ евреемъ.

Христіанство только по формѣ преодолѣло реальное еврейство. Оно было слишкомъ возвышеннымъ, спиритуалистическимъ, чтобъ устранить грубость практической потребности ипаче, какъ возпесни ее на небеса.

Христіанство есть возвышенная мысль еврейства, еврейство есть пошлое приѣмленіе христіанства, но это приѣмленіе могло стать всеобщимъ лишь послѣ того, какъ христіанство, какъ законченная религія, теоретически завершила самоотчужденіе человѣка отъ себя самого и природы.

Только тогда могло еврейство достигнуть всеобщаго господства и обратить отчужденнаго человѣка, отчужденную природу въ отчуждаемые, продажные, ставшіе добычей эгоистической потребности, торгашества предметы.

Продажа есть практика отчужденія. Подобно тому, какъ человѣкъ, пока онъ религіозно настроенъ, умѣетъ представить себѣ свое существо, лишь обращая его въ чуждое фантастическое существо, такъ и при господствѣ эгоистической потребности онъ можетъ лишь практически работать, лишь практически производить предметы, подчиняя свои продукты, какъ и свою дѣятельность, власти чуждаго существа и придавая имъ значеніе чуждаго существа—денегъ.

Христіанскій эгоизмъ блаженства превращается въ своей законченной практикѣ въ еврейскій эгоизмъ тѣла, небесная потребность—въ земную, субъективизмъ—въ своекорыстіе. Мы выводимъ живучесть еврея не изъ его религіи, а напротивъ, изъ человѣческой основы его религіи, изъ практической потребности, изъ эгоизма.

Такъ какъ реальная сущность еврея стала въ гражданскомъ обществѣ всеобщей, земной, то гражданское общество и не могло убѣдить еврея въ недействительности его религіозной сущности, представляющей собой лишь идеальное воззрѣніе практической потребности. Слѣдовательно, сущность современнаго еврея мы находимъ не только въ Пятикнижии или въ Талмудѣ, но и въ современномъ обществѣ, не какъ абстрактную, а въ высшей степени эмпирическую сущность, не только какъ ограниченность еврея, но какъ еврейскую ограниченность общества.

Какъ только удастся обществу уничтожить эмпирическую сущность еврейства, торгашество и его предпосылки, еврей станетъ невозможнымъ, ибо его сознаніе не будетъ имѣть больше объекта, ибо субъективная основа еврейства, практическая потребность станетъ человѣческой, ибо конфликтъ между индивидуальпо-чувственнымъ бытіемъ человѣка и родовымъ бытіемъ будетъ уничтоженъ.

Эмансипація обществомъ еврея есть эмансипація общества отъ еврейства.

Очерки критики политической экономіи.

Фридриха Энгельса въ Манчестерѣ.

Политическая экономія явилась естественнымъ послѣдствіемъ распространенія торговли, и съ ней на мѣсто простого, ненаучнаго шарлатанства выступила развитая система дозволеннаго обмана, дѣлая наука обогащенія.

Эта политическая экономія или наука обогащенія, возникшая изъ взаимной зависти и жадности купцовъ, носитъ на своемъ челѣ печать самаго отвратительнаго эгоизма. Люди еще жили наивнымъ представленіемъ, что золото и серебро составляютъ богатство, и что потому надо какъ можно скорѣе всюду запретить вывозъ «благородныхъ» металловъ. Націи относились другъ къ другу какъ скопидомы, обхватившіе обѣими руками дорогой имъ денежный мѣшокъ и съ завистью и подозрительностью поглядывавшіе другъ на друга. Были приняты всѣ средства, чтобы извлечь какъ можно больше наличныхъ денегъ изъ тѣхъ націй, съ которыми поддерживались торговля сношенія, и прочно удержать внутри границъ государства благополучно ввезенныя деньги.

Послѣдовательное проведеніе этого принципа убило бы торговлю. Поэтому націи начали переступать черезъ эту первую ступень; онѣ увидѣли, что капиталъ неподвижно лежитъ въ сундукахъ, тогда какъ въ обращеніи онъ всегда растетъ. Націи стали дружелюбнѣе относиться другъ къ другу, стали посылать свои дукаты какъ приманную птицу, дабы они увлекли за собой другихъ, и поняли, что нѣтъ худа, если заплатить лицу В слишкомъ много за его товаръ, развѣ только его можно сбыть лицу А по болѣе высокой цѣнѣ.

На этой основѣ была построена система меркантилизма. Алчный характеръ торговли былъ уже нѣсколько прикрытъ; націи нѣсколько ближе придвинулись другъ къ другу, стали заключать договоры о торговлѣ и дружбѣ, взаимно вступали въ торговля сдѣлки и ради большей прибыли выказывали другъ другу сколько можно любви и внимательности. Но по существу то все же была старая жадность къ деньгамъ и корыстолюбію, и отъ времени до времени она прояв-

ялась въ войнахъ, которыя въ эту эпоху всё вызывались торговымъ соревнованіемъ. Войны эти показали также, что торговля, подобно разбою, покоится на кулачномъ правѣ; безъ всякаго зазрѣнія совѣсти старались хитростью или насиліемъ выжать наиболѣе для себя выгодные торговые договоры.

Центральнымъ пунктомъ всей меркантильной системы была теорія торговаго баланса. Такъ какъ все еще сохранялось въ силѣ положеніе, что золото и серебро образуютъ богатство, то прибыльными считались лишь тѣ дѣла, которыя въ конечномъ счетѣ приносили странѣ наличныя деньги. Чтобы выяснитъ это, стали сравнивать вывозъ и ввозъ. Если вывозъ превышаетъ ввозъ, то разница—думали—должна поступить въ страну наличными деньгами, и на эту разницу должно возрасти ея богатство. Искусство экономистовъ состояло, такимъ образомъ, въ заботахъ о томъ, чтобы къ концу каждаго года вывозъ представлялъ благоприятный балансъ противъ ввоза; и ради этой смѣхотворной иллюзіи были отданы на закланіе тысячи людей! И торговлѣ были знакомы свои крестовые походы и инквизиціи.

XVIII вѣкъ, вѣкъ революціи, революционировалъ и экономію; но подобно тому, какъ всё революціи этого столѣтія носили односторонній характеръ и увязали въ противорѣчій, подобно тому, какъ абстрактному спиритуализму былъ противопоставленъ абстрактный матеріализмъ, монархіи—республика, божественному праву—общественный договоръ, такъ и экономической революціи не удалось выйти за предѣлы противорѣчій. Всюду остались тѣ же предпосылки; матеріализмъ не тронулъ христіанскаго презрѣнія и униженія человѣка и на мѣсто христіанскаго Бога поставилъ лишь природу человѣка, какъ абсолюта; позитивка и не подумала изслѣдовать предпосылки государства, какъ такового; экономія не приходило въ голову поставить вопросъ о справедливости частной собственности. Поэтому новая экономія была лишь наполовину шагомъ впередъ; она была вынуждена предать и отринути свои собственные предпосылки, взять къ себѣ на помощь софистику и лицемеріе, дабы скрыть противорѣчія, въ которыя она была вовлечена, дабы притти къ тѣмъ выводамъ, къ которымъ ее толкали не ея собственные предпосылки, а гуманный духъ вѣка. Такимъ путемъ экономія приняла человѣколюбивый характеръ; она лишила производителя своего благоволенія и распростерла его на потребителя; она аффектировала свое омерзѣніе къ кровавымъ ужасамъ меркантильной системы и объявила торговлю узами дружбы и единенія между націями и между отдѣльными людьми.

Все было прекрасно и великолѣпно,—но предпосылки вскорѣ дали себя достаточно почувствовать и породили, въ противовѣсъ этой блестящей филантропіи, мальтузіанскую теорію народонаселенія, самую грубую варварскую систему, когда-либо существовавшую,—систему отчаянія, бросившую о землю всё прекрасныя рѣчи о человѣческой любви и всемірномъ гражданствѣ; онѣ создали и возвеличили фабричную систему и современное рабство, ни въ чемъ не уступающее

старому въ безчеловѣчности и жестокости. Новая экономія, система торговой свободы, обоснованная въ Wealth of Nations Адама Смита, оказалась тѣмъ же лицемеріемъ, непослѣдовательностью и безправственностью, какую пылѣ можно встрѣтить во всѣхъ областяхъ свободнаго челоуѣчества.

Но развѣ Смитовская система не была шагомъ впередъ? Конечно, была и при томъ необходимымъ шагомъ. Необходимымъ было то, что меркантильная система была испровергнута со своими монополіями и стѣсненіями торговыхъ сношеній, дабы яснѣ могли выступить истинныя послѣдствія частной собственности; необходимымъ было то, что всѣ эти мелочныя мѣстныя и національныя соображенія отступили на задній планъ, дабы борьба нашего времени могла сдѣлаться всеобщей, челоуѣческой; необходимымъ было то, что теорія частной собственности покинула чисто эмпирической, только объективно изслѣдующій методъ, приняла научный характеръ, сдѣлавшій ее ответственной и за послѣдствія, и тѣмъ перевела дѣло въ общечелоуѣческую область; что заключающаяся въ старой экономіи безправственность была доведена до высшей своей точки попыткой ея отрицанія и привнесеніемъ лицемерія, какъ необходимымъ слѣдствіемъ этой попытки. Все это было въ порядкѣ вещей.

Мы охотно признаемъ, что лишь обоснованіе и осуществленіе свободы торговли дало намъ возможность выйти за предѣлы экономіи частной собственности, но въ то же время мы должны имѣть и право изобразить эту свободу торговли во всемъ ея теоретическомъ и практическомъ ничтожествѣ.

Нашъ приговоръ долженъ быть тѣмъ суровѣе, чѣмъ ближе къ нашему времени экономисты, которыхъ намъ предстоитъ судить. Ибо въ то время какъ Смитъ и Мальтусъ встали въ готовомъ видѣ лишь отдѣльные обломки, повѣншіе экономисты имѣли уже предъ собой цѣлую законченную систему; были сдѣланы всѣ выводы, противорѣчія достаточно ясно выступили на свѣтъ, — и все же они не приступили къ критикѣ предпосылокъ и все еще они брали на себя ответственность за всю систему. Чѣмъ больше приближаются экономисты къ современности, тѣмъ дальше удаляются они отъ честности. Съ каждымъ прогрессомъ нашего времени необходимо усиливается софистическое мудрствованіе, чтобы удержать экономію на уровнѣ вѣка. Поэтому, напр., Рикардо болѣе виновенъ, чѣмъ Адамъ Смитъ, а Макъ Куллохъ и Милль виновнѣе Рикардо.

Повѣншая экономія не способна правильно оцѣнить даже меркантильную систему, потому что она сама носитъ односторонній характеръ и еще отягощена предпосылками послѣдней. Лишь точка зрѣнія, возвышающаяся надъ противоположностью обѣихъ системъ, критикующая общія предпосылки обѣихъ и исходящая изъ чисто челоуѣческой общей основы, сумѣетъ указать обѣимъ системамъ ихъ настоящее мѣсто. Тогда окажется, что защитники торговой свободы еще худшіе монополисты, чѣмъ сами старые меркантилисты. Тогда

окажется, что за обманчивой гуманностью новѣйшихъ экономистовъ скрывается варварство, о которомъ старые не имѣли ни малѣйшаго представленія; что путаница понятій у старыхъ экономистовъ кажется еще простой и послѣдовательной въ сравненіи съ двуязычной логикой ихъ противниковъ; что ни одна изъ этихъ сторонъ не можетъ сдѣлать другой упрека, который бы не обратился противъ нея самой. Поэтому новѣйшая либеральная экономія и не можетъ понять предприятую Листомъ реставрацію меркантильной системы, тогда какъ для насъ дѣло очень просто. Непослѣдовательная и двойственная либеральная экономія необходимо должна снова распасться на свои составныя части. Подобно тому какъ теологія должна или вернуться къ слѣпой вѣрѣ, или идти впередъ къ свободной философіи, такъ и свобода торговли должна привести, съ одной стороны, къ возрожденію монополіи, съ другой — къ уничтоженію частной собственности.

Единственное положительное завоеваніе, сдѣланное либеральной экономіей, — это развитіе законовъ частной собственности. Конечно, законы эти заключаются въ ней, хотя еще не развитые до послѣднихъ выводовъ и недостаточно ясно выраженные. Отсюда слѣдуетъ, что во всѣхъ вопросахъ, гдѣ идетъ рѣчь объ отысканіи кратчайшаго способа обогащенія, слѣдовательно, во всѣхъ строго экономическихъ спорахъ, правда на сторонѣ защитниковъ свободной торговли.

Разумѣется, — въ спорахъ со сторонниками монополіи, а не съ противниками частной собственности, ибо, какъ это давно доказали на практикѣ и въ теоріи англійскіе социалисты, противники частной собственности и съ экономической точки зрѣнія способны правильно судить объ экономическихъ вопросахъ.

Итакъ, критикуя политическую экономію, мы станемъ изслѣдовать основныя категоріи, разоблачать противорѣчіе, привнесенное системой свободной торговли, и выводить заключенія изъ обѣихъ сторонъ противорѣчія.

* * *

Выраженіе: «національное богатство» появилось впервые благодаря стремленію либеральныхъ экономистовъ къ обобщеніямъ. Пока существуетъ частная собственность, выраженіе это не имѣетъ смысла. «Національное богатство» англичанъ очень велико, и все же они — самый бѣдный народъ въ мірѣ. Надо или вовсе оставить это выраженіе, или принять такія предпосылки, при которыхъ оно получило бы смыслъ. То же относится къ выраженіямъ національная экономія, политическая, государственная экономія. При нынѣшнихъ обстоятельствахъ науку эту слѣдовало бы называть частнохозяйственной экономіей, ибо общественныя отношенія существуютъ здѣсь лишь ради частной собственности.

* * *

Ближайшимъ слѣдствіемъ частной собственности является торговля, обмѣнъ взаимныхъ потребностей, купля и продажа. Эта торговля, какъ и всякая другая дѣятельность, должна стать при господствѣ частной собственности непосредственнымъ источникомъ дохода для производящихъ торговлю; это значитъ, каждый долженъ стараться какъ можно дороже продать и какъ можно дешевле купить. При всякой куплѣ и продажѣ выступаютъ, слѣдовательно, два человѣка съ абсолютно противоположными интересами; конфликтъ этотъ носитъ рѣшительно враждебный характеръ, потому что каждый знаетъ намѣренія другого, знаетъ, что намѣренія эти противоположны его собственнымъ. Первымъ слѣдствіемъ этого является, съ одной стороны, взаимное недовѣріе, съ другой—оправданіе этого недовѣрія, примѣненіе безправственныхъ средствъ для достиженія безправственныхъ цѣлей. Такъ, напр., въ торговлѣ первое правило—молчаніе, скрыватье всего того, что могло бы понизить цѣну даннаго товара. Изъ этого слѣдуетъ: въ торговлѣ дозвоительно извлекать возможно большую пользу изъ неосвѣдомленности, довѣрчивости противной стороны,—равнымъ образомъ расхваливать въ товарѣ такія качества, какихъ онъ вовсе не имѣетъ. Словомъ, торговля есть законный обманъ. Что практика вполнѣ совпадаетъ съ этой теоріей,—въ этомъ оговорится со мной всякій купецъ, если онъ откровенно будетъ говорить правду.

Меркантильная система въ извѣстной степени еще отличалась наивной католической прямою и ничуть не скрывала безправственной сущности торговли. Мы видѣли, какъ открыто она выставляла на показъ свою низменную алчность. Взаимная вражда народовъ въ 18-омъ вѣкѣ, отвратительная зависть и торговое соперничество были логическими слѣдствіями торговли вообще. Общественное мнѣніе еще не было гуманизировано,—съ какой стати было скрывать то, что непосредственно вытекало изъ безчеловѣчной, злобной сущности торговли!

Но къ тому времени, когда Лютеръ политической экономіи, Адамъ Смитъ, стали критиковать прежнюю экономію, положеніе вещей сильно измѣнилось. Вѣкъ сдѣлался гуманнымъ, разумъ проложилъ себѣ дорогу, нравственность стала защищать свое вѣчное право. Вынужденные торговые договоры, коммерческія войны, строгое изолированіе народовъ вступали въ слишкомъ сильный конфликтъ съ подвинувшимся впередъ сознаниемъ. Мѣсто католической прямоты заняло протестантское лицемеріе. Смитъ доказалъ, что и гуманность имѣетъ свое основаніе въ сущности торговли; что торговля, вмѣсто того чтобы «быть самымъ плодотворнымъ источникомъ раздоровъ и вражды» должна сдѣлаться «узлами единенія и дружбы какъ между націями, такъ и между отдѣльными людьми» (ср. *Wealth of Nations*, т. IV, гл. 3, § 2); вѣдь въ природѣ вещей, что торговля въ общемъ и цѣломъ выгодна всѣмъ участникамъ.

Смитъ былъ правъ, когда хвалилъ гуманность торговли. Вѣдь

абсолютно безразличнаго нѣтъ на свѣтѣ; и въ торговлѣ есть сторона, въ которой воздается правдивности и человѣчности. И какъ воздается! Кулачное право, простой грабежъ на дорогѣ въ средніе вѣка сталъ гуманнѣе, когда онъ превратился въ торговлю, а торговля, на первой ея ступени, характеризующейся запрещеніемъ вывоза денегъ, превратилась въ меркантильную систему. Теперь и эта система стала гуманнѣй. Разумѣется, въ интересахъ торговца находиться въ добрыхъ отношеніяхъ какъ съ тѣмъ, у кого онъ дешево покупаетъ, такъ и съ тѣмъ, кому онъ дорого продаетъ. Поэтому весьма неумно поступаетъ та нація, которая поддерживаетъ въ своихъ поставщикахъ и кліентахъ враждебное къ себѣ настроеніе. Чѣмъ дружественнѣе они, тѣмъ выгоднѣе для нея. Вотъ въ чемъ гуманность торговли, и этотъ лицемерный способъ злоупотребленія нравственностью для безнравственныхъ цѣлей составляетъ гордость системы свободной торговли. Развѣ мы не низвергли варварства монополіи, кричать лицемеры, развѣ мы не разнесли культуру во все отдаленные уголки земного шара, развѣ мы не обратили народы и не уменьшили войнъ? — Да, вы все это сдѣлали, но какъ? Вы уничтожили мелкія монополіи, чтобы тѣмъ свободнѣе и безграничнѣе позволить дѣйствовать одной великой основной монополіи — собственности; вы внесли культуру во все концы свѣта, дабы завоевать новую территорію для развитія вашей неизменной алчности; вы сдружили народы, но дружбой воровъ, и уменьшили войны, чтобы тѣмъ болѣе пахитъся въ мирное время, чтобы обострить до крайности вражду отдѣльныхъ лицъ, безчестную войну конкуренціи! — Что сдѣлали вы изъ побужденій чистой гуманности, изъ сознанія недѣйствительности противорѣчій между общимъ и частнымъ интересомъ? Были ли вы хоть разъ правдивными, не имѣя въ томъ интереса, не тая въ глубинѣ души безнравственныхъ, эгоистическихъ мотивовъ?

Послѣ того какъ либеральная экономія приложила все усилія, чтобы уничтожить національности и сдѣлать вражду всеобщей, превратить человѣчество въ стадо хищныхъ звѣрей—что-жъ такое конкуренты какъ не звѣри?—пожирающихъ другъ друга именно потому, что всякій имѣетъ одинаковый съ другими интересъ,— послѣ такой предварительной работы ей осталось сдѣлать одинъ лишь шагъ на пути къ цѣли,—разложеніе семьи. Чтобы достигнуть этого, на помощь къ ней пришло ея собственное милое изобрѣтеніе—фабричная система. Послѣдніе корни общихъ интересовъ,—семейная общность имущества,—были подрѣзаны фабричной системой и — по крайней мѣрѣ здѣсь, въ Англіи—они уже находятся въ процессѣ разложенія. Стало обычнымъ явленіемъ, что дѣти, едва лишь достигшія работоспособности, т. е. 9-ти-лѣтняго возраста, тратятъ на себя свою заработную плату, видятъ въ отцовскомъ домѣ простое пристанодержательство и платятъ своимъ родителямъ извѣстное вознагражденіе за харчки и квартиру. Да и можетъ ли быть иначе? Что иное могло получиться отъ обособленія интересовъ, лежащаго въ основѣ системы

свободной торговли? Разъ принципъ приведенъ въ движеніе, опъ самъ собой пробьетъ себѣ дорогу ко всѣмъ своимъ послѣдствіямъ, будутъ ли они правиться экономистамъ, или нѣтъ.

Но экономисты сами не знаютъ, какому дѣлу они служатъ. Они не знаютъ, что со всѣмъ своимъ эгоистическимъ резонерствомъ образуютъ лишь звено въ цѣпи общаго прогресса человѣчества. Они не знаютъ, что съ уничтоженіемъ всѣхъ индивидуальныхъ интересовъ они прокладываютъ лишь дорогу великому перевороту, на встрѣчу которому движется вѣкъ, — примиренію человѣчества съ природой и самимъ собою.



Ближайшей категоріей, связанной съ торговлей, является цѣнность. Относительно ея, какъ и всѣхъ другихъ категорій, между старыми и новыми экономистами не существуетъ никакого разногласія, потому что монополистамъ, непосредственно увлеченнымъ жаждой обогащенія, не оставалось свободного времени, чтобъ заняться этими категоріями. Всѣ споры относительно такого рода вопросовъ исходятъ отъ новѣйшихъ экономистовъ.

Экономистъ, живущій противорѣчіями, оперируетъ, конечно, двойной цѣнностью: абстрактной или реальной цѣнностью и мѣновой цѣнностью. О сущности реальной цѣнности шелъ долгій споръ между англичанами, считавшими издержки производства выраженіемъ реальной цѣнности, и французомъ Сэемъ, предлагавшимъ измѣрять эту цѣнность по потребительнымъ свойствамъ вещи. Споръ тянулся съ начала этого вѣка и замеръ, не получивъ разрѣшенія. Экономисты ничего не умѣютъ рѣшать.

Англичане — особенно Макъ-Куллохъ и Рикардо — утверждали, что абстрактная цѣнность вещи опредѣляется издержками производства. Разумѣется, абстрактная цѣнность, а не мѣновая цѣнность, exchangeable value, цѣнность въ торговлѣ — послѣдняя представляетъ нѣчто совсѣмъ иное. Почему издержки производства являются мѣриломъ цѣнности? Потому что — слушайте! слушайте! — при обычныхъ условіяхъ, если оставить въ сторонѣ условія конкуренціи, никто не станетъ продавать вещь дешевле того, что ему стоитъ ея производство, — не станетъ продавать? Но какое намъ дѣло до «продажи», разъ здѣсь идетъ рѣчь не о торговой цѣнности? Вѣдь тутъ какъ разъ мы снова имѣемъ дѣло съ торговлей, которую мы условились оставить въ сторонѣ, — и съ какой торговлей! съ торговлей, которая не должна принимать въ разсчетъ условій конкуренціи! Прежде была абстрактная цѣнность, теперь и абстрактная торговля, торговля безъ конкуренціи, т.-е. человѣкъ безъ тѣла, мысль безъ мозга, творящая мысль. Но развѣ экономисту совсѣмъ не приходитъ въ голову, что, разъ конкуренція оставляется въ сторонѣ, не остается никакихъ гарантій, что производителю удастся продать свой товаръ именно по издержкамъ производства? Какая путаница!

Дальше! Допустимъ на минуту, что все это такъ, какъ говорить экономистъ. Допустимъ, что кто нибудь съ большой затратой труда и огромными расходами сдѣлалъ совершенно ненужную вещь, на которую ни одинъ человекъ не предъявляетъ спроса, — развѣ такая вещь стоитъ издержекъ производства? Нисколько, отвѣчаетъ экономистъ, кто же захочетъ ее купить? Слѣдовательно, мы тутъ сразу имѣемъ не только пресловутую полезность Сэя, но—вмѣстѣ съ «куплей»—и конкуренцію. Но это невозможно, экономисту не удастся ни на минуту удержать въ силѣ свою абстракцію. Не только конкуренція, которую онъ такъ сплится удалить, но и полезность, на которую онъ нападаетъ, путается каждую минуту въ его рукахъ. Абстрактная цѣнность и ея опредѣленіе посредствомъ издержекъ производства являются именно лишь абстракціей, небылицей.

Но допустимъ еще разъ на минуту, что экономистъ правъ, — какимъ образомъ думаетъ онъ тогда опредѣлить издержки производства, если не принимать въ расчетъ конкуренціи? Мы увидимъ при изслѣдованіи издержекъ производства, что и эта категорія основана на конкуренціи, и здѣсь снова окажется, что экономистъ не можетъ доказать своихъ утвержденій.

Если мы перейдемъ къ Сэю, то увидимъ ту же самую абстракцію. Полезность вещи есть нечто чисто субъективное, абсолютно не поддающееся опредѣленію, по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока мы будемъ вращаться въ противорѣчіяхъ. Согласно этой теоріи, предметы первой необходимости должны были бы имѣть большую цѣнность, чѣмъ предметы роскоши. Единственный путь, посредствомъ котораго можно иррити къ сколько-нибудь объективному, съ виду общему рѣшенію о большей или меньшей полезности вещи, при господствѣ частной собственности намѣчается условіями конкуренціи, а между тѣмъ они именно и должны быть оставлены въ сторонѣ. Но развѣ допущены условія конкуренціи, то съ ними приходится и издержки производства: никто не станетъ продавать дешевле того, что имъ самимъ затрачено на производство. И здѣсь, слѣдовательно, вопреки желанію, одна сторона противорѣчія переходитъ въ другую.

Попытаемся внести ясность въ эту путаницу. Цѣнность какой нибудь вещи включаетъ въ себя оба фактора, насильно и, какъ мы видѣли, безуспѣшно разъединяемые спорящими сторонами. Цѣнность есть отношеніе издержекъ производства къ полезности. Ближайшее примѣненіе цѣнности имѣетъ мѣсто при рѣшеніи вопроса, слѣдуетъ ли вообще производить данную вещь, т.-е. перевѣшиваетъ ли ея полезность издержки производства. Лишь затѣмъ можетъ идти рѣчь о примѣненіи цѣнности для обмѣна. Если издержки производства двухъ вещей одинаковы, полезность будетъ рѣшающимъ моментомъ въ опредѣленіи ихъ сравнительной цѣнности.

Это основаніе—единственно правильное основаніе обмѣна. Но если исходить изъ него, кто же будетъ рѣшать вопросъ о полезности вещи? Одно лишь мнѣніе заинтересованныхъ? Тогда кто нибудь одинъ во

всякомъ случаѣ будетъ обмануть. Или назначеніе вещи, основывающееся на присущей ей полезности, независимо отъ оцѣнки участвующихъ сторонъ, и для нихъ непонятное? Тогда обмѣнъ могъ бы состояться лишь по принужденію, и каждый считалъ бы себя обманутымъ. Нельзя уничтожить этой противоположности между дѣйствительно присущей вещи полезностью и между назначеніемъ этой полезности, между назначеніемъ полезности и свободой обмѣнивающихся, не упячуживъ частной собственности; а разъ она будетъ уничтожена, не можетъ быть больше и рѣчи объ обмѣнѣ въ томъ видѣ, какъ онъ нынѣ существуетъ. Практическое примѣненіе понятія цѣнности тогда все болѣе сведется къ рѣшенію вопроса о производствѣ, а это и есть его настоящая сфера.

Каково же нынѣ положеніе вещей? Мы видѣли, что понятіе цѣнности насильственно разорвано, и каждая изъ его отдѣльныхъ сторонъ выдается за цѣлое. Издержки производства, которыя съ самаго же начала извращаются конкуренціей, должны сами служить мѣриломъ цѣнности; такую же роль должна играть чисто субъективная полезность — ибо никакой иной теперь быть не можетъ. — Чтобы помочь этимъ хромающимъ опредѣленіямъ стать на ноги, необходимо въ обоихъ случаяхъ принять въ расчетъ конкуренцію; по лучше всего то, что у англичанъ, когда они говорятъ объ издержкахъ производства, конкуренція заступаетъ мѣсто полезности, тогда какъ, наоборотъ, у Сэя, когда онъ говоритъ о полезности, конкуренція привноситъ съ собой издержки производства. Но что за полезность, что за издержки производства привноситъ она? Ея полезность зависитъ отъ случая, отъ моды, отъ прихоти богатыхъ, ея издержки производства повышаются и понижаются отъ случайнаго соотношенія спроса и предложенія.

Въ основаніи различія между реальной цѣпностью и мѣновой цѣпностью лежитъ фактъ — тотъ именно, что цѣпность вещи различна отъ такъ называемаго эквивалента, даваемаго за нее въ торговлѣ, т.-е. что этотъ эквивалентъ не является эквивалентомъ. Этотъ такъ называемый эквивалентъ есть цѣна вещи, и если бы экономисты были честны, они употребляли бы это слово вмѣсто «торговой цѣпности». Но вѣдь все еще падо сохранить хотя бы слѣды видимости, что цѣна сколько нибудь совпадаетъ съ цѣпностью, дабы не слишкомъ бросалась въ глаза безправственность торговли. А что цѣна опредѣляется взаимодействіемъ издержекъ производства и конкуренціи, — это совершенно правильно; это — главный законъ частной собственности. То былъ первый, чисто эмпирической законъ, найденный экономистами; и отсюда они затѣмъ абстрагировали свою реальную цѣпность, т.-е. цѣпу въ то время, когда условія конкуренціи уравнены, когда спросъ и предложеніе покрываютъ другъ друга, — при этихъ условіяхъ, разумѣется, издержки производства ужъ не пужны, и это называютъ экономисты реальной цѣпностью, тогда какъ она является лишь точнымъ выраженіемъ цѣны. Такъ и все въ экономіи

стоитъ на головѣ; цѣнность, первоначальное цѣны, источникъ цѣны, ставится въ зависимость отъ послѣдней, своего собственного продукта. Какъ извѣстно, это превращеніе и образуетъ сущность абстракціи (смотри объ этомъ у Фейербаха).

* * *

Согласно ученію экономистовъ, издержки производства всякаго товара состоятъ изъ трехъ элементовъ: земельной ренты на земельный участокъ, необходимый для производства сырья, капитала съ прибылью на него и платы за работу, потребовавшуюся для производства и обработки. Но не трудно видѣть, что капиталъ и трудъ тождественны, ибо сами же экономисты признаютъ, что капиталъ есть «сбереженный трудъ». Такимъ образомъ, у насъ остаются только два элемента:—естественный, объективный,—земля, и человѣческій, субъективный—трудъ, включающій въ себя понятіе капитала; но, кромѣ капитала, имѣется еще третій элементъ, о которомъ экономисты и не думаютъ, — я разумѣю духовный элементъ изобрѣтательности, мысли, рядомъ съ физическимъ элементомъ простого труда. Что дѣлать экономисту съ изобрѣтательностью? Развѣ всѣ изобрѣтенія не прилетѣли безъ его участія? Развѣ хоть одно изъ нихъ стоило ему чего нибудь? Къ чему же въ такомъ случаѣ ему беспокоиться о нихъ при вычисленіи своихъ издержекъ производства? Для него земля, капиталъ, трудъ—условія богатства, и больше ему ничего не надо. Наука его не касается. Поднесла ли она ему подарки черезъ Бертола, Дэви, Либиха, Уатта, Картрайта и др., поднявшихъ его самого и его производство на безконечную высоту,—какое ему до этого дѣло? Такихъ вещей онъ не умѣетъ подсчитать; успѣхи науки выходятъ за предѣлы его чиселъ. Но въ разумномъ строѣ, выходящемъ за предѣлы дробленія интересовъ, какъ оно имѣетъ мѣсто у экономистовъ, духовный элементъ во всякомъ случаѣ будетъ принадлежать къ числу элементовъ производства и даже въ экономіи найдетъ свое мѣсто среди издержекъ производства. И тутъ, конечно, оградно будетъ знать, что культивированіе науки вознаграждается и материально, знать, что одной какой нибудь плодъ науки, въ родѣ паровой машины Джэкса Уатта, принесъ міру за первыя пятьдесятъ лѣтъ своего существованія больше, чѣмъ имъ истрчено было съ первыхъ дней творенія на культивированіе науки.

Итакъ, мы имѣемъ два элемента производства—природу и человѣка, а послѣдняго въ свою очередь въ его физической и духовной дѣятельности; теперь мы можемъ вернуться къ экономистамъ и къ ихъ издержкамъ производства.

* * *

Все, что не можетъ стать предметомъ монополіи, не имѣетъ цѣнности,—такъ говорятъ экономисты; положеніе это мы потомъ ближе

ислѣдуемъ. Если бы мы сказали: не имѣеть цѣны, положеніе это было бы вѣрно для егрой, основаннаго на частной собственности. Если бы землю можно было получить такъ легко, какъ воздухъ, ни одинъ человекъ не сталъ бы платить земельной ренты. Но такъ какъ это не такъ, такъ какъ, наоборотъ, протяженіе земли, приобретаемой въ расчетъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, ограничено, то приходится платить земельную ренту за захваченную, т.-е. монополизированную землю, или купить землю по ея продажной цѣнѣ. Но послѣ такихъ утверженій о происхожденіи земельной цѣнности очень странно слышать отъ экономистовъ, что земельная рента представляетъ собой разницу между доходностью участка, приносящаго ренту, и самаго худшаго участка, стоющаго труда обработки. Какъ извѣстно, таково опредѣленіе земельной ренты, впервые окончательно установленное Рикардо. Опредѣленіе это, пожалуй, на практикѣ вѣрно, если предположить, что каждый случай спроса немедленно отражается на земельной рентѣ и тотчасъ же устраняетъ отъ обработки соответствующее количество самой худшей изъ обрабатываемой земли. Но это не такъ, и потому опредѣленіе это недостаточно; къ тому же оно не включаетъ причины происхожденія земельной ренты, и потому уже должно отпасть. Полковникъ Т. Н. Томсонъ, членъ лиги противъ хлѣбныхъ законовъ, въ противоположность къ этому опредѣленію, повторилъ опредѣленіе Адама Смита и обосновалъ его. По его ученію, земельная рента есть отношеніе между конкуренціей добывающихся пользованія участкомъ и ограниченнымъ количествомъ свободной земли. Здѣсь, по крайней мѣрѣ, имѣется связь съ происхожденіемъ земельной ренты; но это опредѣленіе исключаетъ различное плодородіе участковъ такъ же, какъ вышеприведенное опредѣленіе упускаетъ изъ виду конкуренцію.

Итакъ, мы снова имѣемъ два одностороннихъ и потому половинчатыхъ опредѣленія одного и того же предмета. Какъ и въ поляти цѣнности, намъ и здѣсь придется соединить оба эти опредѣленія, чтобы отыскать правильное опредѣленіе, вытекающее изъ существа дѣла и потому охватывающее всѣ практическіе случаи. Земельная рента есть отношеніе между производительностью участка, его природной стороной (которая въ свою очередь состоитъ изъ природныхъ свойствъ и человеческой обработки, труда, затраченнаго на его улучшеніе) — и человеческой стороной, конкуренціей. Пусть экономисты покачиваютъ головами по поводу этого «опредѣленія»; къ ужасу своему они увидятъ, что оно заключаетъ въ себѣ все, что имѣеть отношеніе къ существу дѣла.

Землевладелецъ не можетъ сдѣлать купцу никакихъ упрековъ.

Онъ грабитъ, монополизируя землю. Онъ грабитъ, эксплуатируя для себя ростъ населенія, который повышаетъ конкуренцію и съ ней цѣнность его земельного участка, обращая въ источникъ своей собственной выгоды то, что явилось результатомъ не его личныхъ усилій, то, что чисто случайно досталось ему. Онъ грабитъ, когда

сдасть свою землю въ аренду, присваивая себѣ въ конечномъ счетѣ всѣ меліорациі, сдѣланныя его арендаторомъ. Вотъ гдѣ тайна все растушаго богатства крупныхъ землевладѣльцевъ.

Аксиомы, квалифицирующія промысловую дѣятельность землевладѣльца какъ грабежъ, другими словами, устанавливающія, что каждый имѣеть право на продукты своего труда, или что никто не имѣеть права пожать то, чего онъ не сѣялъ,—не составляютъ нашего утвержденія. Первая аксіома исключаетъ обязанность кормить дѣтей, вторая—лишаетъ всякое поколѣніе права на существованіе, ибо всякое поколѣніе вступаетъ въ наслѣдство предшествующаго поколѣнія. Эти аксіомы являются, напротивъ, выводами изъ частной собственности. Вы должны или осуществить всѣ вытекающіе изъ нея выводы, или отказать отъ нея, какъ предпосылки.

Даже само первоначальное присвоеніе оправдывается утвержденіемъ, что еще раньше существовала общность владѣнія. Слѣдовательно, куда ни обратиться, частная собственность приводитъ насъ къ противорѣчіямъ.

Сдѣлать предметомъ торгашества землю, составляющую наше все, первое условіе нашего существованія, было послѣднимъ шагомъ къ торгашеству собою; оно было и вѣзетъ до нашихъ дней остается безправственностью, которую превосходитъ лишь безправственность самоотчужденія. И первоначальное присвоеніе, монополизированіе земли немногими лицами, лишеніе всѣхъ другихъ условія ихъ существованія, ничуть не уступаетъ въ безравственности поздѣйшему барышничанію землей.

Если мы здѣсь въ свою очередь устранимъ частную собственность, земельная рента сведется къ своей истинѣ, къ тому разумному воззрѣнію, которое по существу лежитъ въ ея основѣ. Отдѣленная отъ земли въ видѣ ренты цѣнность ея вернется тогда къ самой землѣ. Эта цѣнность, измѣряемая производительностью равныхъ площадей при равномъ количествѣ затраченнаго въ нихъ труда, во всякомъ случаѣ должна быть принята въ расчетъ при опредѣленіи цѣнности продуктовъ какъ часть издержекъ производства; подобно земельной рентѣ, эта цѣнность представляетъ собой отношеніе производительности къ конкуренціи, но къ истинной конкуренціи, къ той, которая разовьется въ свое время.

* * *

Мы видѣли, капиталъ и трудъ были первоначально тождественными понятіями; мы видѣли далѣе, изъ разсужденій самихъ экономистовъ, что капиталъ, результатъ труда, въ процессѣ производства тотчасъ же снова становится субстратомъ, матеріаломъ труда; слѣдовательно, произведенное на мигъ отграниченіе капитала отъ труда тотчасъ же снова уничтожается въ единствѣ ихъ обонхъ; и все же экономистъ отграничиваетъ капиталъ отъ труда, и все же онъ крѣпко

держится этого раздвоения, не признавая рядомъ съ нимъ единства иначе, какъ въ видѣ опредѣленія капитала: «сбереженный трудъ». Вытекающее изъ частной собственности раздвоение между капиталомъ и трудомъ есть нечто иное, какъ раздвоение труда въ себѣ самомъ, отвѣчающее этому раздвоенному состоянію и происходящее изъ него. И разъ это ограниченіе свершилось, капиталъ снова дѣлится на первоначальный капиталъ и прибыль, приростъ капитала, получаемый имъ въ процессѣ производства, хотя на практикѣ эта прибыль тотчасъ же снова присоединяется къ капиталу и вмѣстѣ съ нимъ пускается въ обращеніе. А сама прибыль дѣлится въ свою очередь на проценты и собственно прибыль. Въ процентахъ получаетъ свое крайнее выраженіе неразумность всѣхъ этихъ раздвоеній. Безправственность отдачи денегъ въ ростъ, полученія процентовъ безъ труда, за одну только ссуду, хотя и коревится въ частной собственности, слишкомъ, однако, очевидна и давно признана напвнымъ народнымъ сознаніемъ, всегда правымъ въ такого рода дѣлахъ. Всѣ эти мелкія раздвоенія и дѣленія возникаютъ изъ первоначальнаго отдѣленія капитала отъ труда, завершаемаго съ раздвоеніемъ чело-вѣчества на капиталистовъ и рабочихъ, раздвоеніемъ, которое обостряется съ каждымъ днемъ и, какъ мы покажемъ, должно постоянно усиливаться. Но это дѣленіе, какъ и разсмотрѣнное нами отграниченіе земли отъ капитала и труда, въ послѣдней инстанціи становится невозможнымъ. Никакъ нельзя опредѣлить, какая доля принадлежитъ землѣ, капиталу и труду въ опредѣленномъ продуктѣ.

Эти три величины несоизмѣримы. Земля создаетъ сырье, но не безъ капитала и труда, капиталъ предполагаетъ наличность земли и труда, а трудъ по меньшей мѣрѣ предполагаетъ наличность земли, большей же частью и капитала. Функціи всѣхъ трехъ величинъ совершенно различны и не могутъ быть измѣрены четвертымъ общимъ измѣреніемъ. Поэтому, при нынѣшнихъ обстоятельствахъ, когда приходится дѣлить доходъ между тремя элементами, нельзя найти какой-нибудь естественной мѣры, — вопросъ рѣшаетъ совершенно посторонняя, случайная для нихъ мѣра: конкуренція или рафинированное право сильного. Земельная рента скрыто предполагаетъ конкуренцію; прибыль на капиталъ опредѣляется только конкуренціей, а какъ обстоитъ дѣло съ заработной платой, — мы сейчасъ увидимъ.

Разъ мы устранимъ частную собственность, отпадутъ всѣ эти естественныя дѣленія. Отпадетъ различіе между процентомъ и прибылью; капиталъ — ничто безъ труда, безъ движенія. Значеніе прибыли сведется къ гирѣ, которую капиталъ кладетъ на чашку вѣсовъ при опредѣленіи издержекъ производства, и прибыль остается въ той же степени свойствомъ капитала, въ какой онъ самъ возвращается къ своему первоначальному единству съ трудомъ.

Трудъ, главный факторъ въ производствѣ, «источникъ богатства», свободная дѣятельность человѣка, претерпѣваетъ страданія у экономистовъ. Какъ раньше капиталъ былъ разединенъ отъ труда, такъ теперь въ свою очередь вторично дѣлится трудъ; продуктъ труда выступаетъ по отношенію къ нему въ видѣ заработной платы, онъ отдѣленъ отъ него и, по обыкновенію, также опредѣляется конкуренціей, ибо для измѣренія доли труда въ производствѣ, какъ мы видѣли, нѣтъ твердой мѣры. Стоитъ намъ уничтожить частную собственность, какъ отпадетъ и это неестественное дѣленіе; трудъ станетъ своей собственной заработной платой, и ясно выступитъ впередъ истинное значеніе раиѣ отчужденной заработной платы, значеніе труда въ опредѣленіи издержекъ производства какой-либо вещи.

* * *

Мы видѣли, что въ концѣ-концовъ, пока существуетъ частная собственность, все сводится къ конкуренціи. Она — главная категория экономистовъ, ихъ любимая дочь, которую они не перестаютъ ласкать и голубить, — и посмотрите, что за лицо Медузы выгляпнуть оттуда.

Ближайшимъ слѣдствіемъ частной собственности было дѣленіе производства на двѣ противоположныя части, естественную и человѣческую: на землю, которая безъ оплодотворенія ея человѣкомъ мертва и бесплодна, и на человѣческую дѣятельность, первымъ условіемъ которой есть именно земля. Мы видѣли далѣе, какъ человѣческая дѣятельность въ свою очередь распалась на трудъ и капиталъ и какъ враждебно относятся эти стороны другъ къ другу. Такимъ образомъ у насъ уже получила борьба всѣхъ трехъ элементовъ другъ противъ друга, вмѣсто взаимной поддержки всѣхъ трехъ; теперь въ дополненіе къ этому частная собственность несетъ съ собой дробленіе каждаго изъ этихъ трехъ элементовъ. Одинъ земельный участокъ противопоставляется другому участку, одинъ капиталъ другому капиталу, одна рабочая сила другой рабочей силѣ. Другими словами: такъ какъ частная собственность изолируетъ каждаго въ его собственномъ суровомъ одиночествѣ и такъ какъ каждый все-таки имѣетъ тотъ же интересъ, что и его сосѣдъ, то землевладѣлецъ относится враждебно къ землевладѣльцу, капиталистъ къ капиталисту и рабочій къ рабочему. Въ этой враждѣ одинаковыхъ интересовъ именно ради ихъ одинаковости завершается безразличность пынѣшняго состоянія человѣчества, и этимъ завершеніемъ является конкуренція.

* * *

Противоположностью конкуренціи является монополія. Монополія была боевымъ лозунгомъ меркантилистовъ, конкуренція же боевымъ кличемъ либеральной экономіи. Не трудно видѣть, что эта противо-

положность въ свою очередь совершенно лишена содержания. Всякій конкурентъ долженъ хотѣть для себя монополіи, будь то рабочій, капиталистъ или землевладѣлецъ. Всякая небольшая кучка конкурентовъ должна хотѣть монополіи для себя противъ всѣхъ другихъ. Конкуренція покоится на интересѣ, а интересъ снова создаетъ монополію; коротко говоря, конкуренція переходитъ въ монополію.

Съ другой стороны, монополія не можетъ выдержать напора конкуренціи; мало того, она порождаетъ самое конкуренцію, въ родѣ того, какъ запрещеніе ввоза или высокія пошлины какъ разъ порождаютъ конкуренцію контрабанды.

Противорѣчіе конкуренціи совершенно то же, что и противорѣчіе самой частной собственности. Въ интересахъ отдѣльнаго человѣка владѣть всѣмъ, въ интересахъ же общества, чтобы каждый владѣлъ паравиѣ съ другими. Такимъ образомъ, общій и частный интересы діаметрально противоположны. Противорѣчіе конкуренціи состоитъ въ томъ, что каждый долженъ желать себѣ монополіи, тогда какъ все общество, какъ таковое, должно терять отъ монополіи и потому должно ее устранить. Мало того, конкуренція уже предполагаетъ монополію, а именно монополію собственности, — здѣсь снова выступаетъ лицемѣріе либераловъ, — и до тѣхъ поръ, пока существуетъ монополія собственности, до тѣхъ поръ и собственность монополіи имѣетъ одинаковое съ ней оправданіе; ибо разъ данная монополія также есть собственность. Какая жалкая, поэтому, половничатость нападать на мелкія монополіи и сохранять въ неприкосновенности основную монополію! И если мы присоединимъ сюда уже упомянувшееся нами положеніе экономистовъ, что все то, что не можетъ быть предметомъ монополіи, не имѣетъ и цѣнности, следовательно, что все то, что не допускаетъ этого монополизированія, не можетъ вступитъ въ эту борьбу конкуренціи, то наше утвержденіе, что конкуренція предполагаетъ монополію, окажется совершенно правильнымъ.

* * *

Законъ конкуренціи состоитъ въ томъ, что спросъ и предложеніе всегда дополняютъ другъ друга и именно потому никогда не могутъ себя дополнить. Обѣ стороны снова разлучены другъ съ другомъ и обращены въ рѣзкую противоположность. Предложеніе всегда отстаетъ отъ спроса, но никогда не бываетъ, чтобы оно точно покрывало его; оно или слишкомъ велико, или слишкомъ мало, но никогда не соответствуетъ спросу, потому что въ этомъ безсознательномъ состояніи человѣчества никто не знаетъ, какъ великъ спросъ или предложеніе. Если спросъ больше предложенія, то цѣна повышается, и въ той же степени усиливается предложеніе; какъ только оно появится на рынкѣ, цѣны падаютъ, и если предложеніе становится больше спроса, паденіе цѣнъ будетъ столь значительно, что отъ этого снова усилятся спросъ. Такъ всегда происходитъ; никогда

не бывает здороваго состоянія, а есть постоянная смѣна возбужденности и утомленія, исключаящая всякій прогрессъ, вѣчное колебаніе, никогда не приводящее къ цѣли. Этотъ законъ, съ его постояннымъ сравненіемъ, — потерянное въ одномъ мѣстѣ наверстается въ другомъ, — экономисты находятъ превосходнымъ. Онъ — ихъ главная краса, они не могутъ досыта наглядѣться на него и разсматриваютъ его при всѣхъ возможныхъ и невозможныхъ условіяхъ. И все же ясно, что законъ этотъ — чисто естественный законъ, а не законъ духа. Законъ, порождающій революцію. Экономистъ является со своей красивой теоріей спроса и предложенія, доказываетъ вамъ, что «никогда не можетъ быть произведено слишкомъ много товаровъ», а дѣйствительность отвѣчаетъ торговыми кризисами, которые повторяются съ такою же правильностью, какъ кометы, приблизительно черезъ каждыя 5—7 лѣтъ. Въ теченіе 80 лѣтъ эти торговые кризисы наступали такъ же правильно, какъ прежде большія эпидеміи, и приносили съ собою больше бѣдствій, безправственности, чѣмъ тѣ (ср. Wade Hist. of the Middle and Working Classes, London, 1835, стр. 211). Разумѣется, эти торговые революціи подтверждаютъ законъ, подтверждаютъ его въ полной мѣрѣ, но другимъ способомъ, чѣмъ въ этомъ хотятъ насъ увѣрить экономисты.

Что должны мы подумать о законѣ, который можетъ осуществляться только путемъ періодическихъ революцій? Это и есть законъ природы, покоящейся на безсознательности участниковъ. Если бы производители, какъ таковые, знали, сколько нужно потребителямъ, если бы они организовали производство, распредѣлили его между собой, колебанія конкуренціи и ея наклонность къ кризису были бы невозможны. Начните производить сознательно, какъ люди, а не какъ разсыпанные атомы, не имѣющіе сознанія своей родовой общности, и вы станете выше всѣхъ этихъ искусственныхъ и несостоятельныхъ противоположностей. Но до тѣхъ поръ, пока вы продолжаете производство пинѣшимъ безсознательнымъ, бессмысленнымъ, предоставленнымъ господству случая способомъ, до этихъ поръ останутся и кризисы; и каждый послѣдующій кризисъ долженъ быть универсальнѣе, слѣдовательно острѣе предыдущаго; значительное число мелкихъ капиталистовъ должно обнищать, а численность класса, живущаго только трудомъ, должна увеличиться въ возрастающей пропорціи, — кризисъ, слѣдовательно, долженъ замѣтно увеличить массу пужающихся въ заработкѣ рабочихъ, эту главную проблему нашихъ экономистовъ, и, наконецъ, вызвать такую социальную революцію, какая и не снится школьной мудрости экономистовъ.

Вѣчное колебаніе цѣнъ, создаваемое условіями конкуренціи, окончательно отнимаетъ у торговли послѣдніе слѣды нравственности. О цѣнности нѣтъ больше и рѣчи.

Та самая система, которая, казалось, придаетъ такое значеніе цѣнности, которая въ видѣ чести признаетъ за абстракціей цѣнности въ деньгахъ особое существованіе, — эта самая система разрушаетъ

путемъ конкуренціи всякую внутреннюю дѣйность и измѣняетъ ежедневно и ежечасно отношеніе дѣйностей всѣхъ вещей другъ къ другу. Гдѣ же возможенъ въ этомъ вихрѣ обмѣвъ, покоящійся на нравственныхъ началахъ? Въ этомъ безпрестанномъ приливѣ и отливѣ каждый *долженъ* пытаться улучшить выгодный моментъ для купли и продажи, каждый долженъ стать спекулянтомъ, т.-е. пожинать тамъ, гдѣ онъ не сѣялъ, обогащаться за счетъ потери другихъ, разсчитывать на несчастіе другихъ или пользоваться удачей случая. Спекулянтъ всегда разсчитываетъ на несчастія, особенно на неурожай, онъ пользуется всѣмъ, какъ, напр., въ свое время пожаромъ Нью-Йорка; по вульгарнаціоннымъ пунктомъ безнравственности является биржевая спекуляція фондовыми бумагами, отчего исторія и съ ней человѣчество низводятся до роли средства, удовлетворяющаго алчность быющаго на расчетъ или рискъ спекулянта. И сколько бы ни фарисействовали честный «солидный» купецъ по поводу биржевой игры—благодарю тебя, Создатель, и т. д.,—онъ такъ же отвратителенъ, какъ и спекулянты фондами, онъ столько же спекулируетъ, сколько и тѣ, онъ долженъ спекулировать—конкуренція принуждаетъ его къ тому, — и его торговля скрытно заключаетъ въ себѣ ту же безнравственность, что и торговля биржевикомъ. Истинная конкуренція—это соотношеніе потребительной силы къ производительной силѣ. Въ строѣ, достойномъ человѣчества, не будетъ иной конкуренціи, кромѣ этой. Община должна будетъ опредѣлить, что можно произвести при помощи находящихся въ ея распоряженіи средствъ, и на отношеніи этихъ производительныхъ силъ къ массѣ потребителей должна будетъ построить расчетъ, насколько должно повысить или сократить производство, насколько должно поощрить или ограничить предметы роскоши. Но дабы правильно судить объ этомъ отношеніи и о томъ, какого повышения производительности труда можно ожидать отъ разумнаго устройства общины, пусть мои читатели прочтутъ работы англійскихъ социалистовъ, отчасти и Фурье.

Субъективная конкуренція, соперничество капитала съ капиталомъ, труда съ трудомъ и т. д. при этихъ условіяхъ сократится до соперничества, находящаго себѣ оправданіе въ человеческой природѣ и пока удовлетворительно разъясненнаго однимъ лишь Фурье, соперничества, которое съ устраненіемъ противоположныхъ интересовъ ограничится своей собственной и разумной сферой.

* * *

Борьба капитала съ капиталомъ, труда съ трудомъ, земли съ землей приводитъ производство въ лихорадочное состояніе, при которомъ всѣ его естественныя и разумныя отношенія переворачиваются вверхъ дномъ. Ни одинъ капиталъ не можетъ выдержать конкуренціи другого, если онъ не разовьетъ своей дѣятельности до высшей ступени. Ни одинъ земельный участокъ не можетъ быть обработанъ съ

пользой, если его производительность не будет постоянно повышаться. Ни одна рабочая не устоит против своих конкурентов, если она не посвятит работъ всѣхъ своихъ силъ. Вообще, кто вовлеченъ въ борьбу конкуренціи, не можетъ ея выдержать безъ крайняго напряженія своихъ силъ, не отказавшись отъ всѣхъ истинно человѣческихъ намѣреній. Слѣдствіемъ такой напряженности на одной сторонѣ неизбѣжно является утомленіе на другой. Когда колебаніе конкуренціи невелико, когда спросъ и предложеніе, производство должна наступить стадія, на которой окажется такъ много избыточныхъ производительныхъ силъ, что огромной массѣ народа нечѣмъ будетъ жить; что люди станутъ умирать съ голода отъ одного только избытка. Въ этомъ безумномъ положеніи, въ этой живой абсурдности давно уже находится Англія. Если производство колеблется сильнѣе, чѣмъ это необходимо при такомъ положеніи, то наступаетъ смѣна расцвѣта и кризиса, перепроизводства и застоя. Экономисты никогда не могли объяснить себѣ этого безумнаго состоянія; чтобы объяснить его, они придумали теорію народонаселенія, которая столь же бессмысленна, даже болѣе бессмысленна, чѣмъ это противорѣчіе одновременнаго существованія богатства и нищеты. Экономисты *должны* были не видѣть правды; они должны были *не* видѣть, что это противорѣчіе есть простое слѣдствіе конкуренціи, ибо иначе вся ихъ система была бы опровергнута. А ларчикъ просто открывается. Производительныя силы, пахотныя въ расворженіи человечества, неизмѣрима. Производительность земли можетъ быть безконечно повышена приложеніемъ капитала, труда и знанія. «Нерепаселенная» Англія, по расчетамъ самыхъ дѣльныхъ экономистовъ и статистиковъ (ср. Алсона Principle of population, т. I, гл. 1 и 2), можетъ быть въ теченіе десяти лѣтъ приведена въ такое состояніе, чтобы производить достаточно хлѣба для населенія, въ шесть разъ больше нынѣшняго. Капиталъ ежедневно увеличивается; рабочая сила растетъ вмѣстѣ съ ростомъ населенія, а наука съ каждымъ днемъ все больше и больше покоряетъ человѣку силы природы. Эта неизмѣримая производительность, урегулированная сознательно и въ интересахъ всѣхъ, вскорѣ свела бы къ минимуму выпадающую на долю человечества работу; предоставленная конкуренціи, она выполняетъ тоже самое, но въ предѣлахъ противорѣчія. Одна часть земли подвергается наилучшей обработкѣ, тогда какъ другая—въ Великобританіи и Ирландіи 30 милліоновъ акровъ хорошей земли—остаётся невоздѣланной. Часть капитала обращается съ необыкновенной быстротой, другая же лежитъ мертвой въ сундукахъ. Часть рабочихъ работаетъ по четырнадцати, шестнадцати часовъ въ сутки, тогда какъ другая пребываетъ въ лѣности и бездѣтельности и умираетъ съ голоду. А то распредѣленіе выступаетъ изъ этой одновременности: сегодня торговая идетъ хорошо, спросъ очень значителенъ, тогда все работаетъ, капиталъ оборачивается съ

удивительной быстротой, земледѣліе процвѣтаетъ, рабочіе работаютъ до изнеможенія,—завтра наступаетъ застой, земледѣліе не оплачивается труда, цѣлыя пространства земли остаются невоздѣланными, капиталъ коченѣетъ среди движенія, рабочіе остаются безъ занятій, и вся страна страдаетъ отъ избыточнаго богатства и избыточнаго населенія.

Такое развитіе вещей экономистъ не долженъ считать правильнымъ; иначе онъ долженъ былъ бы, какъ сказано, отказаться отъ всей своей системы конкуренціи; онъ долженъ былъ бы признать пустоту своей противоположности между производствомъ и потребленіемъ, избыточнымъ населеніемъ и избыточнымъ богатствомъ. Но дабы привести этотъ фактъ въ согласіе съ теоріей,—отрицать этого факта нельзя было,—была изобрѣтена теорія народонаселенія.

Мальтусъ, родоначальникъ этой доктрины, утверждаетъ, что населеніе всегда оказываетъ давленіе на средства существованія, что населеніе растетъ въ той же степени, въ какой увеличивается производство, и что присущая населенію тенденція размножаться свыше имѣющихся въ его распоряженіи средствъ существованія является причиной всей нищеты, всѣхъ пороковъ.

Ибо когда слишкомъ много людей, то тѣмъ или инымъ способомъ они должны быть устранены—или насильственно убиты, или перемереть съ городу. А разъ это произошло, снова образуется пробѣлъ, который тотчасъ же снова заполняется другими преумножателями населенія, и прежняя нищета снова наступаетъ. Мало того, такъ бываетъ при всѣхъ условіяхъ, не только въ культурномъ, но и въ естественномъ состояніи человѣка; дикари Новой Голландіи, по одному человѣку на квадратную милю, такъ же сильно страдаютъ отъ перенаселенія, какъ Англія. Коротко говоря, если мы хотимъ быть послѣдовательными, то должны признать, что земля была уже перенаселена, когда существовалъ одинъ только человѣкъ. Слѣдствіемъ этого развитія является слѣдующее: такъ какъ именно бѣдныя наиболѣе многочисленны, то для нихъ ничего не слѣдуетъ дѣлать; надо только по возможности облегчить имъ смерть отъ голода, убѣдить ихъ, что этого нельзя измѣнить, и что для всего ихъ класса пѣтъ иного спасенія, какъ въ томъ, чтобы возможно меньше размножаться, или, если этого нельзя достигнуть, то все же лучше устроить государственное учрежденіе для безболѣзненнаго умерщвленія дѣтей бѣдности, какъ это предлагалъ «Маркъ», а именно: на каждую рабочую семью должно приходиться два съ половиной ребенка, дѣти свыше этого числа — должны безболѣзненно умерщвляться. Милостыня преступна, такъ какъ она успливаетъ природу избыточнаго населенія; но очень полезно обратить бѣдность въ преступленіе и рабочіе дома въ исправительныя заведенія, какъ это уже сдѣлано въ Англіи новымъ «либеральнымъ» закономъ о бѣдныхъ. Правда, теорія эта очень плохо уживается съ библейскимъ ученіемъ о совершенствѣ Бога и его творенія, но «плохо то опроверженіе, которое аргументируетъ библіей противъ фактовъ».

Слѣдуетъ ли намъ еще подробнѣе излагать эту гнусную, низкую теорію, это отвратительное издѣвательство надъ природой и человѣчествомъ, продолжать дальнѣйшіе изъ нея выводы? Наконецъ-то здѣсь выступаетъ передъ нами безправственность экономистовъ въ ея высшей формѣ. Что всѣ войны и ужасы системы монополій въ сравненіи съ этой теоріей? А между тѣмъ она—заключительный камень въ либеральной системѣ свободной торговли, съ паденіемъ котораго должно рухнуть и все зданіе. Ибо разъ здѣсь доказано, что конкуренція является основной причиной нищеты, бѣдности, преступности, кто же тогда еще отважится сказать слово въ ея защиту?

Алисонъ въ выше цитированномъ сочиненіи поколебалъ теорію Мальтуса, апеллируя къ производительнымъ силамъ земли и противопоставляя мальтусовскому принципу фактъ, что всякій взрослый человѣкъ можетъ произвести больше, чѣмъ онъ самъ потребляетъ,— фактъ, безъ котораго человечество не могло бы размножаться, не могло бы даже существовать; чѣмъ жило бы тогда подрастающее поколѣніе? Но Алисонъ не подошелъ къ корню вещей, и потому въ концѣ концовъ пришелъ къ тому же выводу, что и Мальтусъ. Правда, онъ доказываетъ неправильность принципа Мальтуса, но не можетъ отрицать фактовъ, приведшихъ послѣдняго къ его принципу.

Еслибы Мальтусъ не смотрѣлъ на вопросъ такъ односторонне, онъ долженъ былъ бы увидѣть, что избыточное населеніе или рабочая сила всегда связана съ избыточнымъ богатствомъ, избыточнымъ капиталомъ и избыточной земельной собственностью. Населеніе бываетъ слишкомъ велико лишь тамъ, гдѣ слишкомъ велики производительныя силы вообще. Яснѣе всего это показываетъ состояніе всякой перенаселенной страны, напр., Англіи, съ того времени, какъ писалъ Мальтусъ.

Таковы факты, совокупность которыхъ Мальтусъ долженъ былъ бы принять во вниманіе и разсмотрѣніе которыхъ должно было бы привести къ правильному выводу; вмѣсто этого онъ выхватилъ одинъ изъ фактовъ, оставилъ другіе безъ вниманія и такимъ образомъ, пришелъ къ своему безумному заключенію. Вторая ошибка, допущенная имъ, заключалась въ смѣшеніи средствъ существованія со средствами, предназначенными для найма рабочихъ. Что населеніе всегда давитъ на средства, предназначенныя для найма, что людей рождается лишь столько, сколько можетъ получить работу, коротко говоря, что производство рабочей силы до сихъ поръ регулировалось закономъ конкуренціи и потому было также подвержено періодическимъ кризисамъ и колебаніямъ,—это фактъ, установленіе котораго составляетъ заслугу Мальтуса. Но средства для найма—не средства существованія. Средства для найма лишь въ конечномъ результатѣ увеличиваются съ увеличеніемъ силы машинъ и капитала; средства же существованія увеличиваются немедленно, какъ только сколько-нибудь увеличатся производительныя силы вообще. Здѣсь ясно выступаетъ новое противорѣчіе экономіи. Спросъ экономистовъ

не есть действительный спросъ, ихъ потребление—искусственное потребление. Для экономистовъ является действительнымъ покупателемъ, действительнымъ потребителемъ лишь тотъ, кто можетъ предложить эквивалентъ за то, что онъ получаетъ. Но если вѣрно, что всякій взрослый человѣкъ производитъ больше, чѣмъ самъ можетъ потребить, что дѣти подобны деревьямъ, съ избыткомъ возвращающимъ произведенные на ихъ расходы,—а вѣдь все это фактъ?—то надо бы полагать, что каждый рабочій долженъ былъ бы производить значительно больше того, что ему нужно, и потому община должна была бы охотно снабжать его всемъ необходимымъ; надо бы полагать, что большая семья должна быть для общины весьма желаннымъ даромъ. Но экономисты, по грубости своихъ воззрѣній, не знаютъ никакого иного эквивалента, кромѣ того, что выплачивается ослзательными наличными деньгами. Они такъ крѣпко засѣли въ своихъ противорѣчяхъ, что самые важные факты интересуютъ ихъ такъ же мало, какъ и научные принципы.

Мы уничтожаемъ противорѣчье просто тѣмъ, что упраздняемъ его. Со сляпаніемъ интересовъ, теперь противоположныхъ, исчезнетъ противоположность между перенаселеніемъ въ одномъ мѣстѣ и избыточнымъ богатствомъ въ другомъ, исчезнетъ удивительный фактъ,—удивительнѣе всѣхъ чудесъ, всѣхъ религій вмѣстѣ взятыхъ,—что народъ долженъ умереть съ голоду отъ одного богатства и изобилія; исчезнетъ безумное утвержденіе, что у земли нѣтъ силъ прокормить людей. Это утвержденіе есть высшая мудрость христіанской экономіи, а что наша экономія по существу является христіанской, я могъ бы доказать на любомъ положеніи, на любой категоріи,—въ свое время я это и сдѣлаю; теорія Мальтуса есть лишь экономическое выраженіе религіозной догмы о противорѣчьи между духомъ и природой и вытекающей отсюда испорченности ихъ обонхъ.

Я надѣюсь, что и въ экономической области доказалъ ничтожность этого противорѣчья, давно разрѣшеннаго для религии и вмѣстѣ съ религіей; впрочемъ, я не назову компетентнымъ ни одного защитника мальтузіанской теоріи, пока онъ заранѣе не объяснитъ мнѣ изъ собственнаго ея принципа, какимъ образомъ можетъ умереть съ голоду народъ отъ одного лишь избытка, и пока не приведетъ этого объясненія въ согласіе съ разумомъ и фактами.

Мальтусовская теорія была, впрочемъ, безусловно необходимымъ промежуточнымъ этапомъ, безконечно подвинувшимъ насъ впередъ. Благодаря ей, какъ и вообще благодаря экономіи, мы стали обращать наше вниманіе на производительную силу земли и человечества и, преодолевъ это экономическое отчаяніе, навсегда застраховали себя отъ страха передъ перенаселеніемъ. Изъ нея мы черпаемъ самые сильные экономическіе аргументы въ пользу соціального преобразования; ибо, если бы Мальтусъ былъ даже безусловно правъ, все же было бы необходимо немедленно предпринять это преобразование, такъ какъ лишь оно, лишь просвѣщеніе массъ, возмож-

ное благодаря ему, съдѣлаеть возможнымъ и то моральное ограниче-
 ченіе инстинкта размноженія, которое самъ Мальтусъ считаетъ самымъ
 легкимъ и самымъ дѣйствительнымъ средствомъ противъ перенасе-
 ленія. Благодаря этой теоріи мы познали самое глубокое униженіе
 человѣчества, его зависимость отъ условій конкуренціи; она показала
 намъ, что въ послѣдней инстанціи частная собственность обратила
 человѣка въ товаръ, производство и потребление котораго также зави-
 ситъ лишь отъ спроса; что вслѣдствіе этого система конкуренціи отдала
 и ежедневно отдаеть на закланіе милліоны людей;—все это мы уви-
 дѣли и все это побуждаеть насъ покончить съ этой приниженностью
 человѣчества путемъ уничтоженія частной собственности, конкуренціи
 и противоположныхъ интересовъ.

Вернемся еще разъ къ вопросу объ отношеніи производительныхъ
 силъ къ населенію, чтобы показать всю безосновательность обще-
 распространеннаго страха перенаселенія. Вся система Мальтуса по-
 строена на слѣдующемъ расчетѣ. Населеніе возрастаетъ въ геометри-
 ческой прогрессіи $1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32$ и т. д., производитель-
 ность же земли въ арифметической прогрессіи $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6$.
 Разница очевидная, устрашающая; но правильна ли она? Гдѣ дока-
 зано, что производительность земли повышается въ арифметической
 прогрессіи? Площадь земли ограничена,—прекрасно. Рабочая сила,
 затрачиваемая на эту площадь, растетъ съ населеніемъ; допустимъ
 даже, что увеличеніе производительности съ увеличеніемъ затраты
 труда не всегда повышается въ той же степени, что и трудъ; тогда
 останется еще третій элементъ, не имѣющій, конечно, для экономи-
 стовъ никакого значенія,—наука, прогрессъ, который также безко-
 неченъ и, по меньшей мѣрѣ, происходитъ такъ же быстро, какъ и
 ростъ населенія. Какими усиліями обязано земледѣліе нашего вѣка
 одной только химіи, собственно двумъ лишь людямъ—сэру Гэмпфри
 Дэви и Юстусу Либиху? Но наука растетъ, по меньшей мѣрѣ, съ
 быстротой роста населенія; населеніе растетъ относительно числен-
 ности послѣдняго поколѣнія, наука же движется впередъ въ отно-
 шеніи къ массѣ знанія, унаслѣдованной ею отъ всѣхъ предшествую-
 щихъ поколѣній, слѣдовательно, при самыхъ обыкновенныхъ усло-
 віяхъ она также растетъ въ геометрической прогрессіи. А что не-
 возможно для науки?

Смѣшно говорить о перенаселеніи, покуда «долина Мисиссипи имѣ-
 етъ достаточно свободной земли, чтобы помѣстить у себя все насе-
 леніе Европы»; покуда вообще одна лишь треть земли можетъ счита-
 таться подъ обработкой, а производительность этой трети можетъ быть
 повышена въ шесть разъ и больше отъ одного только примѣненія уже
 нынѣ извѣстныхъ меліораций.

* * *

Итакъ, конкуренція противопоставляетъ капиталъ капиталу, трудъ
 труду, земельную собственность—земельной собственности, равнымъ

образомъ каждый изъ этихъ элементовъ—двумъ другимъ. Въ борьбѣ побѣждаетъ сильнѣйшій, а чтобы предсказать результатъ этой борьбы, необходимо изслѣдовать силу борющихся. Прежде всего, земельная собственность и капиталъ—каждый въ отдѣльности—сильнѣе труда, потому что рабочій, чтобы прожить, долженъ работать, тогда какъ земельный собственникъ можетъ жить со своей ренты, а капиталистъ—со своихъ процентовъ, въ крайнемъ случаѣ—со своего капитала или капитализированной стоимости земли. Вслѣдствіе этого рабочему передается лишь самое необходимое, одни только средства существованія, тогда какъ большая часть продуктовъ дѣлится между капиталомъ и земельной собственностью. Во-вторыхъ, болѣе сильной рабочей изгоняетъ съ рынка слабѣйшаго, большій капиталъ—меньшій, крупная земельная собственность—мелкую. Жизнь подтверждаетъ это заключеніе. Хорошо извѣстны преимущества крупнаго фабриканта и купца передъ мелкимъ, крупнаго землевладѣльца передъ собственникомъ одного морга земли. Отсюда при обычныхъ уже условіяхъ крупный капиталъ и крупная земельная собственность поглощаютъ по праву сильнаго мелкій капиталъ и мелкую земельную собственность,—отсюда централизація собственности.

Во время торговыхъ и промышленныхъ кризисовъ эта централизація происходитъ еще сильнѣе.—Вообще крупная собственность растетъ значительно быстрѣе мелкой, потому что на издержки по владѣнію вычитается изъ дохода значительно меньшая доля. Централизація владѣнія есть законъ, свойственный частной собственности въ той же степени, какъ и всѣ другіе законы; средніе классы обречены на постепенное исчезновеніе, такъ что въ концѣ концовъ міръ будетъ дѣлиться на милліонеровъ и нищихъ, крупныхъ землевладѣльцевъ и бѣдныхъ поденщиковъ. Никакіе законы, никакіе дѣлежи земельной собственности, никакія случайныя дробленія капитала ничуть не помогутъ—результатъ этотъ долженъ наступить и наступитъ, если его не предупредить полное преобразование социальныхъ отношеній, сліяніе противоположныхъ интересовъ, отміна частной собственности.

Свободная конкуренція, главный пароль экономистовъ нашихъ дней, является невозможностью. Монополія имѣла по крайней мѣрѣ намѣреніе оградить потребителя отъ обмана, хотя и не смогла его осуществить. Уничтоженіе же монополій настаетъ раскрываетъ двери обману. Вы говорите: конкуренція заключаетъ въ себѣ самой средство обороны противъ обмана, никто не станетъ покупать плохихъ вещей, но вѣдь это значить, что каждый долженъ быть знатокомъ любого товара, а это невозможно; отсюда необходимость монополій, какъ это и показываетъ торговля многими товарами. Аптеки и т. п. должны имѣть монополію. И самый важный товаръ—деньги—наиболѣе нуждается именно въ монополіи.

Всякій разъ какъ орудіе обращенія переставало быть государственной монополіей, оно вызывало торговый кризисъ, и потому англійскіе экономисты, въ числѣ ихъ и Dr. Wade, здѣсь также признаютъ

необходимость монополій. Но монополія не ограждаетъ и отъ фальшивыхъ денегъ. Взгляните на вопросъ съ какой угодно стороны,— одна сторона представитъ столько же затрудненій, какъ и другая.

Монополія порождаетъ свободную конкуренцію, а послѣдняя въ свою очередь—монополію; поэтому обѣ онѣ должны пасть,—съ устраненіемъ порождающаго ихъ принципа будутъ устранены и сами затрудненія.

* * *

Конкуренція пронизала всѣ наши жизненныя отношенія и завершила взаимное порабощеніе, въ которомъ нынѣ находятся люди. Конкуренція—великій стимулъ, всегда подталкивающий къ дѣятельности нашъ старящійся и дряхлѣющей соціальній порядокъ, или, вѣрнѣе, безпорядокъ, но при всякомъ новомъ напряженіи пожирающей и часть падающихъ силъ. Конкуренція господствуетъ надъ численнымъ прогрессомъ человѣчества, она же господствуетъ и надъ его нравственнымъ прогрессомъ. Кто нѣсколько знакомъ со статистикою преступности, тому должна броситься въ глаза своеобразная закономерность, съ какой ежегодно возрастаетъ преступность, съ какой извѣстныя причины порождаютъ извѣстныя преступленія. Распространеніе фабричной системы имѣло всюду своимъ послѣдствіемъ увеличеніе преступности. Можно съ достаточной точностью заранѣе предсказать для большого города или округа ежегодное число арестовъ, уголовныхъ преступленій, даже число убійствъ, кражъ со взломами, мелкихъ кражъ и т. д., какъ это неоднократно имѣло мѣсто въ Англіи. Эта закономерность доказываетъ, что и преступность регулируется конкуренціей, что общество порождаетъ спросъ на преступность, удовлетворяющійся соответственнымъ предложеніемъ, что пробѣлъ, образующійся вслѣдствіе арестовъ, высылки или казней извѣстнаго числа людей, тотчасъ же снова заполняется другими, совсѣмъ такъ, какъ всякій пробѣлъ въ населеніи тотчасъ же заполняется новымъ потомствомъ; другими словами, что преступность такъ же давить на средства наказанія, какъ населеніе на средства для найма. Насколько справедливо при такихъ обстоятельствахъ, не говоря уже о всѣхъ прочихъ соображеніяхъ, наказывать преступниковъ, я предоставляю судить моимъ читателямъ. Мое дѣло лишь доказать распространеніе конкуренціи и на область нравственности и показать, до какого глубокаго униженія довела человѣка частная собственность.

* * *

Въ борьбѣ капитала и земли противъ труда оба первыхъ элемента имѣютъ передъ трудомъ еще особое преимущество—помощь науки, ибо при нынѣшнихъ условіяхъ и она направлена противъ труда. Почти всѣ, напр., механическія изобрѣтенія были вызваны недостаточностью рабочихъ силъ, въ особенности бумагопрядильныя машины

Гаргресса, Кромптона и Аркрайта. Усиленный спросъ на трудъ всегда влекъ за собой изобрѣтенія, которыя значительно увеличивали производительность труда, и потому уменьшали спросъ на человеческія руки. Исторія Англій съ 1770 года до нашихъ дней—непрерывное тому доказательство. Последнее великое изобрѣтеніе въ бумагопряденіи, сельфакторъ-мюль, было вызвано къ жизни исключительно спросомъ на трудъ и ростомъ заработной платы—изобрѣтеніе это удвоило машинную работу и тѣмъ сократило на половину ручную работу, лишило половину рабочихъ заработка и тѣмъ понизило заработную плату другой половины; оно уничижило заговоръ рабочихъ противъ фабрикантовъ и разрушило послѣдніе остатки сѣтъ, съ которыми трудъ выдерживалъ еще неравную борьбу противъ капитала (ср. Dr. Ure, Philosophy of Manufactures, т. 2-й). Экономисты, пожалуй, скажутъ, что въ конечномъ результатѣ машины выгодны для рабочихъ, такъ какъ удешевляютъ производство, и потому создаютъ для своихъ продуктовъ новый большой рынокъ, и такимъ образомъ рабочіе, оставшіеся безъ работы, въ концѣ концовъ снова найдутъ заработокъ. Совершенно вѣрно; но почему экономисты забываютъ, что производство рабочей силы регулируется конкуренціей, что рабочая сила всегда давить на средства для найма, что, слѣдовательно, когда наступаютъ эти выгоды, огромное число конкурентовъ опять уже будетъ ждать работы и тѣмъ сдѣлаетъ эту выгоду призрачной, тогда какъ отрицательная сторона—неожиданное лишеніе средствъ къ жизни у одной половины рабочихъ и паденіе заработной платы у другой—отнюдь не призрачны? Почему экономисты забываютъ, что прогрессъ изобрѣтеній никогда не останавливается, что, такимъ образомъ эти отрицательныя стороны становятся вѣчными? Почему они забываютъ, что при раздѣленіи труда, безконечно повысившемся благодаря нашей культурѣ, рабочій можетъ существовать лишь въ томъ случаѣ, если онъ можетъ найти ирриѣпленіе своимъ силамъ на данной опредѣленной машинѣ для данной опредѣленной мелкой работы? Что переходъ отъ одной работы къ другой, новой, почти всегда рѣшительно невозможенъ для взрослого рабочаго?

Изученіе вліянія машиннаго производства приводитъ меня къ другой, болѣе отдаленной темѣ,—къ фабричной системѣ; но у меня нѣтъ ни охоты, ни времени здѣсь подробнѣе остановиться на ней. Впрочемъ, я надѣюсь, что получу вскорѣ возможность подробнѣе обосновать отвратительную безиравственность этой системы и безпощадно разоблачить лицемеріе экономистовъ, выступающее здѣсь въ полномъ своемъ блескѣ.

Положеніе Англій.

Past and Present by Thomas Carlyle. London 1843 1).

Среди множества толстыхъ книгъ и тоненькихъ брошюръ, появившихся въ прошломъ году въ Англій для увеселенія и поученія «образованнаго общества», вышеназванное сочиненіе—единственное, которое стоило бы прочесть. Всѣ эти многотомные романы съ ихъ печальными и веселыми завязками, всѣ эти назидательные и созерцательные, ученые и пеученые комментаріи къ Библии,—а романы и назидательныя книги—два рыпочныхъ товара въ англійской литературѣ,—все это вы можете спокойно оставить нечитаннымъ. Быть можетъ, вамъ попадутся нѣсколько книгъ по геологій или экономіи, исторіи или математикѣ, въ которыхъ содержится крупца новаго,—но все это вещи, которыя надо изучать, а не читать, все это сухая специальная наука, изсушающее гербаризированіе, растенія, корни которыхъ давно оторваны отъ общечеловѣческой почвы, ихъ вырастившей. Сколько бы вы ни искали, книга Карлейля—единственная, затрагивающая человѣческія струны, говорящая о человѣческихъ дѣлахъ и открывающая слѣды человѣческаго міровоззрѣнія.

Удивительно, какъ сильно въ Англій духовно пали и расслаблены высшіе классы общества, тѣ, кого англичанинъ называетъ *respectable people, the better sort of people* 2) и т. д. Исчезла вся ихъ энергія, вся дѣятельность, все содержаніе; земельная аристократія ходитъ на охоту, денежная аристократія ведетъ записи въ главной кассовой книгѣ, и въ лучшемъ случаѣ возится съ такой же пустой и расслабленной литературой. Политическіе и релігіозные предрасудки передаются по наслѣдству отъ поколѣнія къ поколѣнію; все достается имъ легко, и вовсе нѣтъ надобности, какъ въ старыя времена, безпокоиться о принципахъ; уже въ колыбели слетаютъ на нихъ принципы въ готовомъ видѣ, неизвѣстно откуда. Чего же еще надо? Каждый изъ нихъ получилъ хорошее воспитаніе, т.-е. безъ толку мучился въ школѣ надъ римлянами и греками; сверхъ того, онъ «респектабелень», т.-е. владѣеть столькими-то тысячами фунтовъ стер-

1) „Прошлое и настоящее“, соч. Т. Карлейля. Лондонъ, 1843.

2) Респектабельными людьми, лучшими людьми.

лиговъ и, потому, ни о чемъ больше не долженъ заботиться, кромѣ какъ о подысканіи жены, если у него еще нѣтъ ея.

И вотъ такое настоящее чучело люди называютъ «умнякомъ»! Откуда при такой жизни взятыся уму, и, если бы даже онъ нашелся, гдѣ бы ему помѣститься у нихъ? Все у нихъ по-китайски твердо установлено и разграпичено—горе тому, кто преступить эти узкія границы, трижды горе тому, кто возстанетъ противъ почтеннаго годами предразсудка, и девятижды горе ему, если этотъ предразсудокъ религіозный. На всѣ вопросы существуетъ лишь два отвѣта—отвѣтъ виговъ и отвѣтъ тори; и эти отвѣты давно предписаны мудрыми оберъ-церемоніймейстерами обѣихъ партій; отъ васъ не требуется никакой сообразительности и обстоятельности,—все подается въ готовомъ видѣ: Дикки Кобденъ или лордъ Джонъ Россель сказалъ то-то, а Робби Пиль или «герцогъ» раг excellence, т.-е. герцогъ Веллингтонскій, сказалъ то-то, и дѣлу конецъ.

Вы, добрые пѣицы, должны каждый годъ слушать проповѣди либеральныхъ газетныхъ писакъ и народныхъ представителей о томъ, какими удивительными и независимыми людьми являются англичане благодаря своимъ свободнымъ учрежденіямъ;—на разстояніи все это кажется такимъ прекраснымъ. Пренія въ парламентѣ, свободная печать, бурныя народныя собранія, выборы, жюри оказываютъ свое дѣйствіе на трусливую душу Михеля, и, восхищенный, онъ принимаетъ всю эту красивую вѣишность за звонкую монету. Но вѣдь въ концѣ-то концовъ точка зрѣнія либеральныхъ газетныхъ писакъ и народныхъ представителей далеко не такъ возвышенна, чтобы дать всеобъемлющій обзоръ развитія человечества или даже какой-нибудь одной націи. Англійская конституція въ свое время была хороша и сдѣлала кое-что хорошее, а съ 1828 года она занялась лучшимъ своимъ дѣломъ, а именно своимъ собственнымъ разрушеніемъ,—но того, что ей приписываютъ либералы, она не сдѣлала. Она не сдѣлала англичанъ независимыми людьми. Англичане, т.-е. образованные англичане, по которымъ на континентѣ судятъ о національномъ характерѣ, эти англичане—самые презрѣныя рабы въ мірѣ. Лишь неизвѣстная континенту часть англійской націи, лишь рабочіе, парія Англіи, бѣдняки, дѣйствительно респектабельны, не смотря на всю ихъ грубость и всю ихъ деморализацію. Отъ нихъ изыдетъ спасеніе Англіи; въ нихъ еще кроется пригодный для творчества матеріалъ; у нихъ нѣтъ образованія, но нѣтъ и предразсудковъ, у нихъ есть еще силы для великаго національнаго дѣла—у нихъ есть еще будущее. Аристократія—она нынѣ включаетъ въ себя и средніе классы—исчерпала себя; все богатство мыслей, какимъ она располагала, переработано до самыхъ послѣднихъ логическихъ выводовъ и примѣнено къ жизни, и ихъ царство идетъ быстрыми шагами къ своему концу. Конституція есть ея рукъ дѣло, а ближайшимъ слѣдствіемъ этого дѣла было то, что ея творцы были оплетены сѣтью учреждений, въ которой сдѣлалось невозможнымъ никакое свободное движеніе духа.

Господство общественных предразсудковъ является всюду первымъ слѣдствіемъ такъ называемыхъ свободныхъ политическихъ учрежденій, и это господство въ наиболѣе политически свободной странѣ Европы, въ Англіи, сильнѣе, чѣмъ гдѣ-либо, — за исключеніемъ Сѣверной Америки, гдѣ общественные предразсудки въ видѣ закона Линча получили законное признаніе, какъ власть въ государствѣ. Англичанинъ пресмыкается предъ общественнымъ предразсудкомъ, ежедневно приноситъ себя ему въ жертву — и чѣмъ онъ либеральнѣе, тѣмъ покорнѣе онъ повергается во прахъ передъ этимъ своимъ богомъ. Но общественный предразсудокъ въ «образованныхъ кругахъ» бываетъ или тористическимъ, или вигистическимъ, въ крайнемъ случаѣ радикальнымъ, — но даже онъ уже не слишкомъ хорошо пахнетъ. Побудьте хоть разъ среди образованныхъ англичанъ и скажите имъ, что вы чартистъ или демократъ, — они усомнятся, въ здоровомъ ли вы умѣ, и станутъ избѣгать вашего общества. Или попробуйте заявить имъ, что вы не вѣрите въ божественность Христа, — и вы преданы и проданы; признайтесь откровенно, что вы — атеистъ, и на слѣдующій день они покажутъ видъ, что не знаютъ васъ. И если независимый англичанинъ начнетъ дѣйствительно думать — что достаточно рѣдко случается, — и отряхнетъ съ себя оковы предразсудка, унаслѣдованнаго съ молокомъ матери, даже тогда у него не будетъ мужества свободно высказать свое убѣжденіе, даже тогда онъ лицемерно выставитъ напоказъ, по меньшей мѣрѣ, такое мнѣніе, которое было бы терпимо, и будетъ только радоваться, если ему иногда удастся съ глазу на глазъ откровенно побесѣдовать со своимъ единомышленникомъ.

Такимъ образомъ, образованные классы въ Англіи глухи ко всякому прогрессу, и лишь подъ натискомъ рабочаго класса они нѣсколько приходятъ въ движеніе. Нельзя ожидать, чтобы ежедневный литературный хлѣбъ этой старческой культуры былъ созданъ иначе, чѣмъ они сами. Вся фешенебельная литература вращается въ заколдованномъ кругу и такъ же скучна и бесплодна, какъ безчувственное и истощенное фешенебельное общество.

Когда «Жизнь Христа» Штрауса и слава о ней перешли черезъ каналъ, ни одинъ порядочный человѣкъ не осмѣлился перевести книгу, ни одинъ видный издатель — напечатать ее. Наконецъ, какой-то социалистическій лекторъ (для этого техническаго агитаторскаго выраженія нѣтъ нѣмецкаго слова) — слѣдовательно, человѣкъ самаго нефешенебельнаго общественнаго положенія — перевелъ ее, мелкій типографъ социалистъ напечаталъ ее тетрадами, каждая цѣной въ пенни, а рабочіе Манчестера, Бирмингэма и Лондона составили въ Англіи единственную публику для Штрауса.

Впрочемъ, если ужъ надо отдать предпочтеніе одной изъ двухъ партій, на которыя дѣлится образованная часть англичанъ, то это тори. По социальнымъ условіямъ Англіи вигъ слишкомъ сильно является самъ для себя партией, чтобы имѣть свое сужденіе; промышлен-

ность, этотъ центръ англійскаго общества, находится въ его рукахъ и обогащаетъ его; онъ находитъ ее безупречною и считаетъ ея распространеніе единственною цѣлью всего законодательства, потому что она дала ему богатство и власть. Напротивъ, торіи, чье могущество и единовластіе были разрушены промышленностью, чьи принципы были ею потрясены, ненавидитъ ее и въ лучшемъ случаѣ считаетъ ее необходимымъ зломъ. Вслѣдствіе этого образовалась извѣстная секція филантроповъ торіевъ, вожаками которой являются лордъ Эшли, Феррандъ, Уольтеръ, Остлеръ и др., и которая поставила своей обязанностью защищать интересы рабочихъ противъ фабрикантовъ. Карлейль первоначально былъ также торіи и къ этой партіи онъ все еще стоитъ ближе, чѣмъ къ вигамъ. Одно несомнѣнно, вигъ никогда не могъ бы написать книгу, которая была бы хоть на половину такой человѣческой, какъ «Past and Present».

Имя Томаса Карлейля получило въ Германіи извѣстность благодаря его попыткамъ познакомить англичанъ съ нѣмецкой литературой. Въ теченіе многихъ лѣтъ онъ главнымъ образомъ изучаетъ социальное положеніе Англій—единственный человѣкъ среди образованныхъ его страны, занимающійся такимъ дѣломъ—и уже въ 1838 г. написалъ маленькую работу: «Chartism». Въ то время у власти были виги; съ большою торжественностью возвѣстили они, что «призракъ» чартизма, возникшій около 1835 года, истребленъ. Чартизмъ былъ естественнымъ продолженіемъ стараго радикализма, на нѣсколько лѣтъ укрупненнаго биллемъ о реформахъ и съ 1835—36 года вновь появившагося съ новой силой и при томъ въ болѣе сомнѣнныхъ, чѣмъ прежде массахъ. Виги думали, что они подавили этотъ чартизмъ, и это послужило Томасу Карлейлю поводомъ доказать дѣйствительныя причины чартизма и невозможность искоренить его, пока не искоренены его причины. Точка зрѣнія этой книги въ общемъ, пожалуй, будетъ та же, что и въ «Past and Present», но въ ней нѣсколько сильнѣе выражена тористическая окраска; такой ея характеръ, быть можетъ, объясняется тѣмъ лишь обстоятельствомъ, что виги, какъ правящая партія, больше всего интересовали критику. Во всякомъ случаѣ «Past and Present» заключаетъ въ себѣ все, что находится въ небольшой работѣ, но въ болѣе ясной, развитой формѣ и съ болѣе рѣшительными выводами, и такимъ образомъ она освобождаетъ насъ отъ необходимости критики «Чартизма».

«Past and Present» есть параллель между Англійей 12-го и 19-го вѣка и состоитъ изъ четырехъ отдѣловъ, озаглавленныхъ: вступленіе; монахи въ старину; рабочій новаго времени; гороскопъ. — Пройдемъ послѣдовательно черезъ всѣ эти отдѣлы; я не могу противостоять искушенію перевести самыя красивыя изъ часто дивно красивыхъ мѣстъ книги. Критика уже сама о себѣ позаботится¹⁾.

¹⁾ Вычурность языка Карлейля и отрывочность приводимыхъ Энгельсомъ выдержекъ заставили насъ прсвѣрить переводъ Энгельса съ англійскимъ оригиналомъ и мѣстами пополнить его.

Первая глава вступленія озаглавлена: Млѣдъ.

«Положеніе Англіи.... по справедливости считается однимъ изъ самыхъ грозныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ самыхъ своеобразныхъ, какія когда-либо видѣлъ свѣтъ. Англія полна богатства, самыхъ разнообразныхъ продуктовъ для удовлетворенія всякаго рода человѣческихъ потребностей, и все же Англія умираетъ отъ истощенія. Въ вѣчно одинаковомъ изобиліи зеленеетъ и цвѣтетъ земля Англіи, волнуясь золотой нивой, густо засѣянная мастерскими, орудіями труда, 15 милліонами рабочихъ, считающихся самыми сѣльными, искусными и усердными, которыхъ когда-либо знала наша земля; эти люди находятъ здѣсь: трудъ, исполненный ими, плоды, созданные ими, имѣются тутъ въ изобиліи, всюду въ самомъ пышномъ изобиліи,—и, вотъ словно по волшебству издается какое-то злосчастное повелѣніе, которое говоритъ: Не трогайте ихъ, вы рабочіе, вы работающіе хозяева, вы праздные хозяева; никто изъ васъ не смѣетъ ихъ тронуть, никому изъ васъ отъ нихъ не будетъ пользы,—это закодванный плодъ!»

Запретъ этотъ прежде всего коснулся рабочихъ. Въ 1842 году въ Англіи и Уэльсѣ насчитывалось 1.430.000 пауперовъ, изъ которыхъ 220.000 были заперты въ рабочихъ домахъ, прозванныхъ народомъ Бастиліями закона о бѣдныхъ. Благодаря гуманности вѣговъ! Въ Шотландіи пѣтъ закона о бѣдныхъ, но бѣдняковъ масса. Ирландія, къ слову, можетъ похвастать огромнымъ числомъ—2.300.000 пауперовъ.

«Передъ ассизнымъ судомъ въ Стокпортѣ (Чешаиръ) обвинялись и были признаны виновными отецъ и мать въ отравленіи трехъ своихъ дѣтей, чтобы обманнымъ образомъ получить съ похороннаго общества по три фунта восемь шиллинговъ за смерть каждаго ребенка, и официальная власть, говорятъ, намекали, что этотъ случай, вѣроятно, не единственныи, что, быть можетъ, было бы лучше не вдаваться въ подробное изслѣдованіе этого дѣла... Такіе приемы подобны высочайшей горной вершинѣ, вырѣзывающейся на горизонтѣ; подъ ней лежитъ дѣлая горная цѣпь и земля, которыхъ еще не видать. Человѣколюбивые родители сказали промежъ себя: что же намъ дѣлать, чтобъ спастись отъ голодной смерти? Мы глубоко погрязли здѣсь, въ нашемъ мрачномъ подвалѣ, а до помощи далеко. Да, въ замкѣ голода Уголино ¹⁾ творятся серьезныя дѣла: горячо любимыи крошка Гаддо упалъ мертвымъ на колѣни отца!—Стокпортекіе родители, подумавъ, сказали: шагъ бѣдный голодный малютка Томъ, который цѣлый день проситъ хлѣба, которому суждено въ этой жизни одно только горе и ничего хорошаго,—что если бы онъ сразу избавился отъ нужды; умри онъ, быть можетъ мы спасемъ нашу

¹⁾ Графъ Уголино дѣла Герардеска, подеста въ Пиэцѣ. По просякамъ своихъ враговъ былъ брошенъ, вмѣстѣ со своими сыновьями Угоччове и Гаддо и двумя внуками, въ башню, гдѣ они и умерли съ голода. Башня получила прозваніе башни голода (Torre della fame). *Прим. перев.*

жизни? Подумали, сказали, а потомъ и сдѣлали. И вотъ Тома нѣтъ въ живыхъ, всѣ деньги истрачены и проѣдены, чья теперь очередь, бѣднаго голоднаго крошки Джэка, или бѣднаго голоднаго крошки Вилли? Что за мучительные поиски хлѣба! Въ осажденныхъ, томныхъ голодомъ городахъ, на полныхъ развалинахъ павшаго отъ гнѣва Божьяго древняго Иерусалима, было пророчество: руки сострадательныхъ женщинъ варили себѣ въ пищу своихъ собственныхъ дѣтей. мрачная фантазія іудея не могла себѣ представить болѣе ужасной бездны нужды; это было послѣднимъ испытаніемъ униженнаго, Богомъ проклятаго человѣка. А мы здѣсь, въ современной Англій, среди избытка всякаго рода богатства, нигдѣ не осажденные, развѣ только по невидимому волшебству, дошли до этого! Какимъ образомъ это случилось? Откуда это, почему это должно быть такъ?»

Это случилось въ 1841 году. Я могъ бы прибавить, что пять мѣсяцевъ тому назадъ въ Ливерпульѣ была повѣшена Бетти Эйлесъ изъ Бостона, которая по той же самой причинѣ отравила трехъ собственныхъ и двухъ сводныхъ дѣтей.

Такъ является бѣднякамъ. Каково же богатымъ?

«Эта цвѣтущая промышленность, со своимъ избыточнымъ богатствомъ, до сихъ поръ никого не сдѣлала богатымъ;—это заколдованное богатство и до сихъ поръ никому не принадлежитъ. Мы можемъ тратить тысячи, гдѣ прежде тратили сотни,—но на эти деньги мы не можемъ купить ничего хорошаго... Иной ѣсть тонкія лакомства, пить дорогія вина,—но что тутъ за прибыльъ въ счастье? Развѣ они лучше, красивѣе, сильнѣе, мужественнѣе? Развѣ они стали хотя бы тѣмъ, что называютъ счастливыѣ?»

Не сталъ счастливыѣ работающій баринъ, не сталъ счастливыѣ лѣтятипчающій баринъ, т.-е. благородный землевладѣлецъ,—«для кого же все это богатство Англій составляетъ богатство? Кому оно даетъ благословеніе, кого дѣлаетъ сколько-нибудь счастливыѣ, красивѣе, умнѣе, лучше? Пока никого. Наша преуспѣвающая промышленность до сихъ поръ не имѣетъ успѣха; среди роскошнаго богатства народъ умираетъ съ голоду; межъ золотыхъ стѣнъ и полныхъ жилищъ никто не чувствуетъ себя безопаснымъ и удовлетвореннымъ. Мидасъ страстно желалъ золота, и оскорбилъ олимпійцевъ. Онъ получилъ золото; все, чего онъ ни касался, обращалось въ золото, но отъ этого онъ, со своими ослиными ушами, мало выигралъ. Мидасъ назвалъ негодной небесную музыку. Мидасъ оскорбилъ Аполлона и боговъ, и боги исполнили его желаніе и дали въ придачу пару ослиныхъ ушей,—педурная прибавка. Какая правда въ этой древней баснѣ!»

Какъ правдива—продолжаетъ онъ во второй главѣ—другая старая легенда о сфинксѣ. Природа—это сфинксъ, богица, по не совѣмъ еще освобожденная, на половину еще торчащая въ скотствѣ, прошлости; съ одной стороны, она—порядокъ, мудрость, по вмѣстѣ съ тѣмъ и мракъ, дикость, фатальность. Природа сфинкса—нѣмецкія

мистицизмъ, говорятъ англичане при чтеніи этой главы—имѣть для всякаго человѣка и всякаго времени вопросъ,— блаженъ тотъ, кто правильно на него отвѣтитъ; а кто не отвѣтитъ или неправильно отвѣтитъ, тотъ попадетъ въ лапы звѣриной половины сфинкса; вмѣсто прекрасной невѣсты онъ найдетъ львицу, которая разорветъ его на части. И то же самое происходитъ съ народами: можете ли вы разрѣшить загадку судьбы? И всѣ несчастные народы, какъ и всѣ несчастные люди, дали неправильное рѣшеніе вопроса, приняли видимость за истину, отказались отъ вѣчныхъ внутреннихъ фактовъ вселенной, какъ отъ вѣнскихъ преходящихъ формъ; такъ поступила и Англія. Англія, по другому его выраженію, стала добычей атеизма, и нынѣшнее ея положеніе является необходимымъ его слѣдствіемъ. Мы будемъ поздиѣ объ этомъ говорить, а пока лишь замѣтимъ, что Карлейль могъ бы еще дальше продолжить свое сравненіе съ сфинксомъ, если его припятъ въ вышеуказанномъ пантенистически-старошеллинговскомъ смыслѣ; какъ и въ легендѣ, рѣшеніемъ загадки является нынѣшній человѣкъ, и притомъ рѣшеніемъ въ самомъ широкомъ смыслѣ. И эта загадка будетъ разрѣшена.

Слѣдующая глава даетъ намъ описаніе манчестерскаго возстанія 1842 года: «Милліонъ голодныхъ рабочихъ возстали, вышли всѣ на улицу и остановились тутъ. Что же было имъ дѣлать? Ихъ обиды и жалобы были горьки, невыносимы, ихъ гнѣвъ за то справедливъ; но кто тѣ, что причинили имъ эти страданія, и кто тѣ, что имъ честно помогутъ? У насъ есть враги, но мы не знаемъ, кто они и что они; у насъ есть друзья, но мы не знаемъ, гдѣ они? Какъ же быть намъ, напасть ли на кого-нибудь, застрѣлить ли кого-нибудь, или самому быть имъ застрѣленнымъ? О, если бы этотъ проклятый певидимый оборотень, который высасываетъ кровь пашу и нашихъ, принявъ одинъ только образъ, явился бы передъ нами гирканскимъ тигромъ, бегемотомъ хаоса, самимъ сатаной! въ одномъ какомъ-нибудь образѣ, который мы могли бы видѣть, за который мы могли бы ухватить его!»

Но несчастье рабочихъ въ дѣтнее возстаніе 1842 года въ томъ и заключалось, что они не знали, съ кѣмъ имъ надо бороться. Ихъ бѣдствіе было социальнымъ, а социальнаго бѣдствія нельзя уничтожить, какъ уничтожаютъ королевскую власть или привилегіи. Социальное бѣдствіе не поддается дѣченію посредствомъ народной хартіи, и это чувствовалъ народъ—иначе народная хартія была бы нынѣ основнымъ закономъ Англіи. Социальное бѣдствіе надо изучить и познать, а этого до сихъ поръ не сдѣлала рабочая масса. Великимъ результатомъ возстанія было то, что жизненный вопросъ Англіи, вопросъ объ окончательномъ жребіи рабочаго класса, по выраженію Карлейля, былъ поставленъ такъ, что его слышало въ Англіи каждое мыслящее ухо. Теперь нельзя уже больше обойти молчаніемъ вопросъ,—Англія должна или рѣшить его, или погибнуть.

Мируемъ заключительную главу этого отдѣла, мируемъ пока и

весь слѣдующій отдѣлъ, и сразу начнемъ съ третьяго отдѣла, посвященнаго рабочему новаго времени, чтобы получить совершенно цѣльное описаніе положенія Англіи, начатое еще во введеніи.

Мы отбросили — продолжаетъ Карлейль — религіозность среднихъ вѣковъ, не получивъ ничего взами́въ; мы «забыли Бога, закрыли глаза наши для вѣчной сущности вещей, оставивъ ихъ открытыми для обманивой видимости вещей; при этомъ мы утѣшали себя, что эта вселенная извнутри есть великое непопятное быть можетъ, а извнѣ представляеть собой, очевидно, достаточно большой, обширный скотный дворъ и рабочий домъ, съ огромными кухонными печами и обѣденными столами,—мудръ тотъ, кто найдетъ за ними мѣсто. Вся истинность этой вселенной стала сомнительной; одна лишь прибыль и убытокъ, одинъ лишь пуддингъ и успѣхъ являются и остаются весьма видными для практическаго человѣка. Для насъ нѣтъ больше Бога; законы Бога стали «принципомъ наиболѣе возможнаго благополучія», парламентской уловкой; небо сдѣлалось для насъ астрономическими часами, цѣлью для гершелевскаго телескопа, чтобы гнаться за научными результатами, за сентиментальностями; на языкъ нашамъ и стараго Джонсона это значило бы: человѣкъ утратилъ свою душу и начинаетъ теперь замѣчать ея отсутствіе. Здѣсь, по истинѣ, самое большое мѣсто, центръ міровой соціальной гангрены... Нѣтъ больше религіи, нѣтъ Бога, человѣкъ утратилъ свою душу и напрасно щипеть антисептической соли. Напрасно: въ казняхъ королей, во французскихъ революціяхъ, въ билляхъ о реформѣ, въ манчестерскомъ возстаніи, нѣтъ спасенія. Гнойная проказа, облегченая на одинъ часъ, въ слѣдующіе часы становится сильнѣе и опаснѣе».

Но такъ какъ мѣсто старой религіи не могло остаться совсѣмъ безъ замѣстителя, то мы и получили вмѣсто нея новое евангеліе, евангеліе, соответствующее пустотѣ и безсодержательности вѣка,— евангеліе маммоны. Христіанское небо и христіанскій адъ оставлены, первое—потому что оно сомнительно, второе—потому что оно безмысленно; но вамъ дали новый адъ; адомъ нынѣшней Англіи является страхъ за то, что «не добьешься успѣха, не заработаешь денегъ». «Съ нашимъ евангеліемъ маммоны мы воистину пришли къ страннѣйшимъ выводамъ! Мы говоримъ объ «обществѣ», и все же открыто исповѣдуемъ полное раздѣленіе и обособленіе. Наша жизнь состоитъ не во взаимной поддержкѣ, а, напротивъ, во взаимной враждѣ, прикрытой плащомъ павѣстныхъ законовъ войны, именующихся «разумной конкуренціей» и т. п. Мы совершенно забыли, что уплата наличными не составляетъ единственной связи между человѣкомъ и человѣкомъ. Мои голодающіе рабочіе?! говорятъ богатый фабрикантъ. Развѣ я не нанялъ ихъ честно на рынкѣ? Развѣ я не уплатилъ имъ до послѣдней копейки условленной платы? Что же мнѣ съ ними еще дѣлать? Да, поклоненіе маммонѣ, воистину, печальная вѣра!»

«Какая-то бѣдная ирландская вдова въ Эдинбургѣ просила по-

моши у благотворительнаго учрежденія для себя и своихъ трехъ дѣтей. Во всѣхъ учрежденіяхъ ей было отказано; силы и бодрость покинули ее; она свалилась въ тифозной лихорадкѣ, умерла, и зараза распространилась по всей улицѣ, отчего умерли еще семнадцать душъ. Человѣколюбивый врачъ, разсказавшій эту исторію—д-ръ В. П. Алисонъ ¹⁾—спрашиваетъ при этомъ: развѣ экономіи ради не слѣдовало помочь этой жепщицѣ? Она захворала лихорадкой и убила среди васъ семнадцать душъ! Удивительно. Покинутая ирландская вдова обращается къ своимъ братьямъ, какъ если бы хотѣла сказать: смотрите, я погибаю безъ помощи, вы должны мнѣ помочь, я ваша сестра, я плоть отъ вашей плоти, насъ создалъ одинъ Богъ! А тѣ отвѣчаютъ: Пѣтъ, невозможно, ты—не наша сестра. Но она доказала свое родство! ея лихорадка убиваетъ ихъ; они дѣйствительно были ея братьями, хотя это и отрицали. Приходилось ли когда-нибудь человѣческому существу искать болѣе низменныхъ доказательствъ?

Карлель, къ слову сказать, здѣсь заблуждается, какъ и Алисонъ. У богатыхъ нѣтъ состраданія, имъ пѣтъ никакого дѣла до смерти «семнадцати». Развѣ это не общественное счастье, что «избыточное населеніе» сократилось на семнадцать душъ? Сократись оно на нѣсколько милліоновъ, вмѣсто жалкихъ «семнадцати» душъ, было бы споконимъ лучше. Такъ разсуждаютъ англійскіе богачи-мальтузианцы.

А затѣмъ другое, еще худшее евангеліе диллетантизма, создавшее бездѣльничайшее правительство, отнявшее у людей всю ихъ серьезность и заставляющее ихъ казаться не тѣмъ, что они есть,—это стремленіе къ «благополучію», т.-е. къ тому, чтобы хорошо попить и хорошо поѣсть, возвеличившее грубую матерію и разрушившее всякое духовное содержаніе,—къ чему все это приведетъ?

«И что сказать намъ правительству, въ родѣ нашего, которое предъявляетъ къ своимъ рабочимъ обвиненіе въ перепроизводствѣ? Перепроизводство: развѣ оно не такъ гласить? Вы, сбѣжавшіея отовсюду, неблагороднаго званія производители, вы слишкомъ много произвели! Мы обвиняемъ васъ въ томъ, что вы изготовили болѣе двухсотъ тысячъ рубахъ для наготы человѣческой. А брюки, изготовляемые вами изъ бумажнаго плюша, кашемира, шотландскаго плада, нанки и шерстяной ткани,—мало ли ихъ? Развѣ вы не производите шляпъ и обуви, стульевъ для сидѣнія и ложекъ для ѣды,—и даже золотыхъ часовъ, ювелирныхъ вещей, серебряныхъ вполкъ, коимодовъ, шифоньеръ и мягкой мебели,—о, небо, всѣ торговые базары и Howel и James ¹⁾ не могутъ вмѣстить вашихъ продуктовъ; вы все производили и производили,—стоитъ только оглянуться, чтобъ подтвердить основательность нашихъ обвиненій. Милліоны рубахъ и

¹⁾ Д-ръ Алисонъ, шотландскій врачъ, авторъ книги «Прзрѣніе бѣдныхъ въ Шотландіи», произведшей въ свое время большую сенсацію. *Прим. перев.*

¹⁾ Howel и James—извѣстные виноторговцы въ Лондонѣ. *Прим. перев.*

пустыхъ брюкъ вписать тутъ, какъ свидѣтельское показаніе противъ васъ. Мы обвиняемъ васъ въ перепроизводствѣ; вы повинны въ тяжкомъ преступленіи, что изготовили рубахъ, брюкъ, шляпъ и обуви въ устрашающемъ изобиліи. И вотъ слѣдствіемъ этого наступилъ застой, и ваши рабочіе должны помереть съ голоду».

«Милостивые государи, въ чемъ обвиняете вы этихъ бѣдныхъ рабочихъ? Вы, милостивые государи, для того и назначены, чтобы предупреждать застои; вы должны были слѣдить за распредѣленіемъ и расцѣнкой заработной платы и тщательно смотрѣть за тѣмъ, чтобы ни одинъ рабочій не остался безъ своей заработной платы, въ чемъ бы она ни выразалась, въ денежной ли монетѣ, или пеньковой веревкѣ для висѣлицы; съ незапамятныхъ временъ это было вашей обязанностью. Эти бѣдные ткачи рубахъ совершенно забыли о томъ, что должны бы помнить по дѣйствительному, неписанному закону своего положенія; но забыли ли они о томъ, что составляетъ ихъ обязанность по *писанному*, общепризнанному закону? Они получили заказъ на рубахи. Общество приказало имъ: дѣлайте рубахи, — и вотъ вамъ рубахи. Слишкомъ много рубахъ? Вовстину, это — новость въ этомъ превратномъ мірѣ съ его девятью стами милліоновъ голыхъ спинокъ! Но вамъ, милостивые государи, общество приказало: смотрите за тѣмъ, чтобы эти рубахи были правильно распредѣлены, — и гдѣ же это распредѣленіе? Два милліона рабочихъ, вовсе не имѣющихъ рубахъ или плохія рубахи, сидятъ въ бастилляхъ закона о бѣдныхъ, пять милліоновъ другихъ въ голодныхъ подвалахъ Уголино; и, вмѣсто помощи имъ, вы говорите: повысьте *наши* ренты! Вы говорите съ торжествомъ: вы хотите состряпать противъ насъ обвиненіе, вы хотите упрекнуть насъ въ перепроизводствѣ? Но мы призываемъ во свидѣтели небеса и землю, что мы вообще никогда не производили. Въ самыхъ отдаленныхъ уголкахъ міра цѣтъ ни одной рубахи, которую бы мы сдѣлали. Мы неповинны въ производствѣ; вы, неблагодарные, за то какихъ только горъ вещей намъ ни пришлось употребить и поглотить! Развѣ эти груды товаровъ не исчезли предъ нами, словно у насъ есть талантъ страуса и своего рода божественная способность къ пожиранію? Вы, неблагодарные; развѣ вы не выросли подъ тѣнью нашихъ крыльевъ? Развѣ ваши грязныя фабрики построены не на *нашей* землѣ? И мы не имѣемъ права продавать вамъ нашъ хлѣбъ по той цѣбѣ, по какой намъ вздумается? Какъ вы думаете, что стало бы съ вами, если бы мы, землевладѣльцы Англіи, вдругъ рѣшили не производить больше пшеницы?»

Этотъ образъ мыслей аристократіи, этотъ варварскій вопросъ, что стало бы съ вами, если бы мы не были такъ милостивы и не оставили расти хлѣбъ, породилъ «безумные и печальные хлѣбные законы»; хлѣбные законы, бессмысленность которыхъ такъ велика, что противъ нихъ можно спорить лишь аргументами, «приводящими въ слезы ангела на небѣ и осла на землѣ». Хлѣбные законы доказываютъ, что аристократія еще не научилась не творить зла, сидѣть

смпрно, ничего не дѣлать, не говоря ужъ о томъ, чтобы сдѣлать что нибудь хорошее; и все же, по Карлейлю, такова ихъ обязанность: «по своему положенію аристократія обязана руководить Англіей и править, и всякій рабочій работнаго дома имѣетъ право спросить ихъ раньше всѣхъ другихъ: почему я сижу здѣсь? Его вопросъ будетъ услышанъ небомъ, и станетъ слышимымъ на землѣ, если его оставлять безъ вниманія. Его обвиненіе направлено противъ васъ, милостивые государи, вы стоите въ первомъ ряду обвиняемыхъ; благодаря положенію, вами занимаемому, вы должны первыми ему отвѣтить!—Судьба бездѣлничавшей аристократіи, насколько можно прочесть ея гороскопъ въ хлѣбныхъ законахъ и т. п., есть пропасть, которая наполняетъ насъ отчаяніемъ. Да, моп розовые, охотящсея за лисицами братья, сквозь ваши свѣжія, красивые лица, сквозь ваше большинство въ хлѣбныхъ законахъ, подвижныя скалы ¹⁾, охрапительныя пошлпны, подкупы на выборахъ и шумный усойхъ, мыслящій глазъ откроетъ ужасающія картины паденія, не поддающіяся никакому описанію, надпись Мене, Мене... Боже милостивый, развѣ праздная французская аристократія, едва полвѣка тому назадъ, точно также не заявляла: мы не можемъ существовать, непрежнему одѣваться и щеголять, какъ подобаетъ нашему сословію; земельной репты съ нашихъ помѣстій намъ не хватаетъ, намъ нужно пмѣть больше, мы должны быть освобождены отъ платежа налоговъ,—намъ нуженъ хлѣбный законъ, чтобы поднять нашу земельную ренту? Это было въ 1789 году, а четырьмя годами позже — слышали ли вы о кожевенномъ заводѣ въ Мейдонѣ, гдѣ саньюлоты мастерили себѣ штаны изъ человѣческой кожи? Да отвратить милосердовъ небо это знаменіе; да будемъ мы мудры, чтобы стать менѣе несчастными!»

Работающая же аристократія запутывается въ сѣтяхъ бездѣлничавшей аристократіи; въ концѣ концовъ со своимъ «маммонизмомъ» она также попадаетъ въ плохое положеніе. «Континентъ, повидимому, экспортируетъ къ себѣ наши машины, прядетъ бумагу, фабрикуетъ за свой счетъ и вытѣсняетъ насъ то съ одного, то съ другого рынка. Печальная вѣсти, но далеко еще не самыя печальныя. Печальнѣе всего то, что наше національное существованіе, какъ я слышалъ, зависить отъ того, что мы продаемъ хлопчатобумажныя ткани грошомъ дешевле на аршинъ, чѣмъ всѣ другіе народы. На такомъ узкомъ основаніи не можетъ строиться своего существованія великая нація! И это основаніе, какъ мнѣ кажется, намъ надолго не удастся сохранить, не смотря на всевозможныя отмѣны хлѣбныхъ законовъ... Ни одна великая нація не можетъ стоять на такой вершинѣ пирамиды, подымаясь все выше и выше, балапсируя на большомъ пальцѣ поги. Словомъ, это евангеліе маммоны, со своимъ адомъ безработицы, спроса

1) „Sliding scale“—подвижная скала, по которой устанавливался размѣръ хлѣбныхъ пошлинъ въ зависимости отъ цѣнъ на пшеницу въ Англіи.

и предложенія, конкуренціи, свободной торговли, *laissez faire* и чертъ знаетъ чего, постепенно начинаетъ становиться самымъ жалкимъ евангеліемъ, когда либо проповѣдывавшимся на землѣ.— Да, если бы завтра были отмѣнены хлѣбные законы, то этимъ еще ничего не достигли бы; съ ихъ отмѣной созданъ бы лишь просторъ для всякаго рода предпринимательства. Уничтожьте хлѣбные законы, сдѣлайте торговлю свободной, тогда, несомнѣнно, нынѣшнее парализованное состояніе промышленности исчезнетъ. Мы снова увидимъ періодъ торговой предпримчивости, побѣды и расцвѣта; оковы голода, давящія нашу шею, ослабнутъ, мы снова получимъ возможность дышать и время мыслить и каяться; — трижды дорогое время, чтобъ всѣми силами бороться за реформу нашихъ дурныхъ привычекъ, чтобъ воспитать народъ, облегчить его ношу, и улучшить образъ жизни его; чтобъ дать ему немного духовной пищи, дѣйствительное руководство и правительство. Что за неоцѣнимое будетъ время! Ибо, по старому методу конкуренціи и всего, чертъ возьми, прочаго, нашъ новый періодъ расцвѣта въ концѣ концовъ окажется и долженъ оказаться только пароксизмомъ и, вѣроятно, нашимъ послѣднимъ пароксизмомъ. Ибо, если за двадцать лѣтъ промышленность удвоится, то за двадцать лѣтъ удвоится также и населеніе наше; мы останемся тамъ же, гдѣ и были, съ той лишь разницей, что насъ будетъ вдвое больше, и будетъ вдвое, если не вдесятеро, тяжелѣе править надъ нами... Увы, въ какія мѣста попали мы во время этого нашего странствованія въ даль вѣковъ? люди скитаются тамъ, какъ гальванизированные трупы, съ бессмысленными, неподвижными глазами, и пѣютъ не душу, а талантъ бобра и желудокъ! Больно глядѣть въ эти дни на голодное отчаяніе рабочихъ бумагопрядиленъ, угольныхъ копей и сельскихъ поденщиковъ Чандоса; но внутреннему чувству это далеко не такъ претитъ, какъ та жестокая, безбожная философія прибыли в убытковъ и житейской мудрости, которая провозглашается всюду, въ сенатѣ, научныхъ клубахъ и передовыхъ статьяхъ, съ церковныхъ кафедръ и ораторскихъ трибунъ, какъ послѣднее, чисто англійское евангеліе!»

«Я имѣю смѣлость думать, что со дня первыхъ зачатковъ общества никогда еще участь нѣмыхъ, утомленныхъ работою миллионныхъ людей не была такъ невыносима, какъ теперь. Не смерть, даже не голодная смерть дѣлаетъ человѣка несчастнымъ; мы всѣ должны умереть, послѣдній выходъ всѣхъ насъ — на огненной колесницѣ страданій; но жить въ нищетѣ и не знать, почему; работать до боли и ничего не зарабатывать; уставать сердцемъ и душой, и все же быть изолированнымъ, не имѣть вокругъ себя друзей, а только холодное, универсальное *laissez faire*, медленно умираетъ въ теченіе всей нашей жизни замурованнымъ въ глухой, мертвой, безконечной несправедливости, словно въ проклятомъ желѣзномъ чревѣ фаларскаго быка, — есть и вѣчно будетъ невыносимымъ для всѣхъ людей, созданныхъ по образу Божию. И мы еще удивляемся французской революціи,

чартизму, революціямъ трехъ дней? Если хорошо подумать,—времена по истинѣ безпримѣрныя».

Если въ такія безпримѣрныя времена аристократія оказывается неспособной къ управленію общественными дѣлами, то ее необходимо устранить. Отсюда—демократія. «Какого распространенія уже нынѣ достигла демократія, съ какой зловѣщей, все возрастающей поспѣшностью она подвигается впередъ, можетъ увидѣть всякій, кто съ раскрытыми глазами взглянетъ на какую либо область человѣческихъ дѣлъ. Отъ грохота наполеоновскихъ битвъ до пустой болтовни вокругъ какого нибудь церковнаго совѣта въ St. Mary Ахе—все говоритъ о демократіи». Но что такое въ концѣ концовъ демократія? «Не что иное, какъ недостатокъ въ людяхъ, которые могли бы управлять вами, и покорность этому неизбежному недостатку, попытка устроиться безъ нихъ.—Никто тебя не гнететъ, тебя, свободнаго и независимаго избирателя; но развѣ ты не рабъ этой глупой бутылки портера! Никакой сынъ Адама не можетъ тебѣ приказать придти или пойти,—но эта бессмысленная бутылка, эта одурманивающая жидкость, можетъ приказывать тебѣ и приказываетъ! Ты рабъ не Цедрика саксонца, а твоихъ собственныхъ животныхъ похотей, и ты говоришь еще о свободѣ? Ты, круглый дуракъ! Представленіе, будто свобода человѣка состоитъ въ томъ, чтобы подать свой голосъ на выборахъ и сказать: вотъ теперь мнѣ тоже принадлежитъ одна двадцатитысячная доля оратора въ нашей національной говорильнѣ,—не стануть ли теперь ко мнѣ благосклонны всѣ боги?—это представленіе—одно изъ самыхъ смѣшныхъ въ свѣтѣ. Свобода, покушаемая тѣмъ, что вы себя взаимно изолируете, ничего общаго не имѣете другъ съ другомъ, кромѣ наличныхъ денегъ и главной кассовой книги, эта свобода въ концѣ-концовъ окажется для милліоновъ трудящихся свободой голодной смерти, а для лѣнливыхъ, ничего не дѣлающихъ тысячъ и единицъ, свободой гніенія; братья, послѣ столѣтій конституціоннаго правительства, мы все еще недостаточно знаемъ, что такое свобода и что такое рабство. Но демократія пойдетъ своимъ свободнымъ путемъ, милліоны трудящихся въ своей инстинктивной, страстной потребности въ руководствѣ, оттолкнутъ отъ себя ложное руководство и на мгновеніе будутъ надѣяться, что они управятся безъ руководителей, но только на мгновеніе. Пусть вы страхнете гнетъ вашихъ ложныхъ начальниковъ; я васъ не порицаю, я сожалею васъ и только увѣщаваю васъ; но и послѣ этого великая проблема все еще останется неразрѣшенной,—проблема призвать къ власти вашихъ истинныхъ начальниковъ».

«Правительство, какъ оно нынѣ существуетъ, конечно, достаточно жалко. Въ недавнемъ парламентскомъ комитетѣ для изслѣдованія подкуповъ при выборахъ ¹⁾ самые здравомыслящіе практические люди

¹⁾ Многочисленныя жалобы на подкупы при выборахъ особенно усилились въ 1842 году. Обвиненіе главнымъ образомъ падало на консерваторовъ. По

были, повидному, того мѣня, что подкупы неизбежны—и что мы, хорошо ли, плохо ли, должны попытаться обойти безъ честныхъ выборовъ. Парламентъ, объявляющій, что онъ избранъ и избираемъ посредствомъ подкупа, — какое законодательство можетъ создать опъ? Подкупъ обозначаетъ не только продажность, но безчестность, безстыдный обманъ; постыдную безчувственность ко лжи и къ вовлеченію другихъ въ ложь. Будьте же честны, откройте на Downing Street ¹⁾ избирательное бюро, съ тарифомъ, измѣняющимся по городамъ: такое-то население, при такой-то суммѣ налоговъ съ собственности, такой-то суммѣ земельной ренты и торговыхъ оборотовъ, избираетъ двухъ депутатовъ или избираетъ одного депутата за столько-то денегъ: Иисвичъ за столько-то тысячъ фунтовъ, Поттингамъ за столько-то, — тогда вы, по крайней мѣрѣ, честно получили ихъ посредствомъ купли, не прибѣгая ко всей этой безчестности, безстыдству, лжи!.. Нашъ парламентъ заявилъ, что онъ избранъ и избираемъ посредствомъ подкупа. Что можетъ получиться отъ такого парламента? Если этимъ міромъ управляютъ не Беллалъ и Вельзевулъ, то такой парламентъ готовится къ новымъ битвамъ о реформѣ. Лучше намъ испытать чартизмъ или какой нибудь другой «измъ», чѣмъ согласиться на это! Парламентъ, начинающій съ лжи на устахъ, долженъ поискать себѣ другого мѣста. Въ любой часъ дня и ночи можетъ явиться какой нибудь чартистъ или какой нибудь вооруженный Кромвелъ, чтобы указать такому парламенту: Вы не парламентъ. Во имя Всевышняго—убирайтесь вонъ!» ²⁾.

Таково положеніе Англій по Карлейлю. Бездѣльничая поземельная аристократія, не научившаяся даже сидѣть смирно и, по крайней мѣрѣ, не причивать зла; «работающая аристократія», погрязшая въ маммонизмъ и представляющая собою лишь банду промышленныхъ разбойниковъ и пиратовъ, вмѣсто того, чтобы быть собраніемъ руководителей труда, «военно-начальниками промышленности»; посредствомъ подкупа избранный парламентъ; житейская философія простаго созерцанія, ничего-не-дѣланья, laissez faire; изношенная, разлагающаяся религія, полное разложеніе всѣхъ общечеловѣческихъ интересовъ, всеобщее разочарованіе въ истинѣ и человѣчествѣ, и, вслѣдствіе этого, всеобщее изолированіе человѣка въ своемъ суровомъ одиночествѣ, хаотическое, безумное смѣшеніе всѣхъ жизненныхъ отношеній, война всѣхъ противъ всѣхъ, всеобщая духовная смерть,

предложенію одного изъ радикальныхъ депутатовъ нижняя палата образовала комиссію для изслѣдованія вопроса о подкупахъ. Во время дебатовъ выяснилось, что и либералы не совсѣмъ свободны отъ упрековъ, что подкупность стала очень распространеннымъ явленіемъ. Въ результатъ всего лишь одинъ избирательный округъ былъ лишенъ избирательнаго права. *Прим. перев.*

¹⁾ Downing-Street—одна изъ улицъ въ югозападной части Лондона, гдѣ помещается министерство иностранныхъ дѣлъ и другія правительственныя зданія.

Прим. перев.

²⁾ Намекъ на слова Кромвеля при роспускѣ парламента 4 февр. 1658 года: „пусть будетъ Богъ судьей между мною и вами“. *Прим. перев.*

недостатокъ «души»; т.-е. истинно-человѣческаго сознанія; несообразно сильный числомъ рабочій классъ, въ невыносимомъ гнетѣ и нищетѣ, въ дикомъ недовольствѣ и возмущеніи противъ стараго соціального порядка, и потому грозная, непреодолимо продвигающаяся впередъ демократія, повсемѣстный хаосъ, беспорядокъ, анархія, распадъ старыхъ опоръ общества, всюду духовная пустота, бездеятельность и упадокъ силъ,—таково положеніе Англіи. Если не касаться нѣкоторыхъ выраженій, связанныхъ съ своеобразной точкой зрѣнія Карлейля, мы должны будемъ съ нимъ вполне согласиться. Онъ одинъ изъ всего «респектабельнаго» класса не закрывалъ своихъ глазъ, по меньшей мѣрѣ, на факты, по меньшей мѣрѣ правильно оцѣнилъ непосредственную современность, а это воистину безконечно много для «образованнаго» англичанина.

Каковы виды на будущее? Такихъ, какъ сейчасъ, положеніе не останется и не можетъ остаться. Мы видѣли, что у Карлейля нѣтъ, по его собственному признанію, «моррисоновскихъ пилюль»¹⁾, универсальнаго средства для лѣченія соціального зла. И въ этомъ онъ правъ. Всякая соціальная философія, покуда она еще выстариваетъ нѣсколько положеній какъ свой конечный результатъ, покуда она еще пропневмаетъ моррисоновскія пилюли, еще очень далека отъ совершенства; то, что намъ такъ нужно, — это не голые результаты, а, наоборотъ, изученіе; результаты—ничто безъ развитія, къ нимъ приведеннаго, — это мы знаемъ уже со временъ Гегеля — и результаты болѣе чѣмъ бесполезны, если они установлены для себя, если они опять не становятся предпосылками дальнѣйшаго развитія. Конечно, временно результаты должны получить опредѣленную форму, они должны въ развитіи своемъ изъ безпредѣльной неопредѣленности сложиться въ ясную мысль, и тогда такая чисто эмпирическая нація, какъ англичане, во всякомъ случаѣ не обойдется безъ формы «моррисоновскихъ пилюль». Хотя Карлейль самъ имѣетъ въ себѣ много нѣмецкаго и довольно далеко отъ грубой эмпирии, но онъ, вѣроятно, не обошелся бы безъ нѣсколькихъ пилюль, если бы онъ высказывался менѣе неопредѣленно и неясно насчетъ будущаго.

Иногда онъ заявляетъ, что все бесполезно и бесплодно, покуда человечество упорствуетъ въ атеизмъ, покуда оно снова не завоевало себѣ своей «души». Не въ томъ смыслѣ, что слѣдовало бы возстановить старый католицизмъ во всей его активности и жизненной силѣ или хотя бы только сохранить выпѣшнюю религію, — онъ хорошо знаетъ, что ритуалы, догмы, литіи и громъ на Синаѣ не могутъ помочь, что никакіе грома Синая не могутъ сдѣлать истину болѣе истинной и внушить страхъ разумному человѣку; что давно уже покопчены счеы съ религіей страха; нѣтъ, должна быть восстано-

¹⁾ Моррисоновскія пилюли, по имени ихъ изобрѣтателя, нѣкоего Моррисона, заявлявшаго въ широковысказательныхъ рекламахъ, что пилюли излѣчиваютъ всѣ болѣзни. «Моррисоновскія пилюли» стали нарицательнымъ именемъ шарлатанства. *Прим. перев.*

влепа сама религія, — вѣдь мы сами видѣли, куда привели насъ «два столѣтія атеистическаго правительства», со времени «благословенной» реставраціи Карла II, и мало-по-малу должны будемъ признать, что атеизмъ этотъ начинаетъ продаваться по мелочамъ и изнашиваться. Но мы знаемъ уже, что называетъ Карлейль атеизмомъ, — не столько невѣріе въ личнаго Бога, сколько невѣріе во внутреннюю сущность, въ безконечность вселенной, невѣріе въ разумъ, сомнѣніе въ духѣ и истинѣ; его борьба направлена не противъ невѣрія въ откровенія библии, сколько противъ «самаго страшнаго невѣрія, невѣрія въ библию всемірной исторіи». Она-то — вѣчная книга Божья; всякій, въ комъ не погасли душа и зрѣніе, можетъ прочесть въ ней начертаніе перста Божьяго. Осмѣивать ее есть невѣріе, не имѣющее себѣ равнаго, невѣріе, за которое вы будете наказаны не огнемъ и косями, а самымъ рѣшительнымъ приказомъ молчать, если не имѣете сказать чего либо лучшаго. Къ чему шумѣть и нарушать счастливое молчаніе, чтобъ только высказать подобный вздоръ? Если прошлое не имѣетъ въ себѣ божественнаго разума, а лишь дьявольскую неразумность, оно навѣки погибла, — не говорите больше о немъ; намъ, потерявшимъ на вислицѣ нашихъ отцовъ, мало подобаетъ болтать о веревкахъ! «Но современная Англія не можетъ вѣрить въ исторію». Изъ окружающихъ насъ предметовъ глазъ видятъ лишь тѣ, которые можетъ видѣть по своимъ природнымъ свойствамъ. Безбожному вѣку не понять богобоязненной эпохи. Онъ видитъ въ прошломъ (въ средніе вѣка) одни только раздоры, всеобщее господство грубой силы, но не видятъ, что въ концѣ концовъ сила и право совпадаютъ, онъ видитъ одну только глупость, дикое неразуміе, приличествующее скорѣе для дома умалишенныхъ, чѣмъ для человѣческаго міра. А изъ этого естественно слѣдуетъ, что тѣ же самыя свойства должны сохранять свою власть и въ наше время. Милліоны людей крѣпко сидятъ по бастиліямъ; ирландскія вдовы доказываютъ свою человѣчность тифозной горячкой; такъ всегда было, если не хуже; чего же вы хотите? Чѣмъ инымъ была исторія, какъ не извлеченіемъ наружу скрытой глупости посредствомъ успѣшнаго шарлатанства? Въ прошломъ не было Бога, ничего, кромѣ механизма и хаотически-звѣроподобныхъ идоловъ; какъ же можетъ бѣдный «философъ-исторіографъ, которому его собственный вѣкъ кажется такимъ безбожнымъ, познать Бога въ прошломъ?»

Но нашъ вѣкъ далеко не такъ забыть Богомъ. «Да, развѣ въ послѣдніе годы даже въ нашей бѣдной одурѣвшей Европѣ не стали раздаваться религіозные голоса, проповѣдывавшіе новую и въ то же время старѣйшую религію, неоспоримую для сердца всѣхъ людей? Я знаю нѣкоторыхъ, которые не называли себя и не считались «пророками», но которые послѣ долгаго времени снова стали востину мелодичными голосами вѣчнаго сердца природы; душами, которымъ всегда будутъ поклоняться тѣ, у кого есть душа. Французская революція есть феноменъ; поэтъ Гете и нѣмецкая литература, ея завер-

шеніе и духовный показатель, являются для меня тоже феноменомъ. Пусть старый свѣтскій или практическій міръ погибъ въ огнѣ, развѣ не исполняется пророчество и не разсвѣтаетъ новый духовный міръ, матеръ гораздо болѣе благородныхъ, широкихъ, повыхъ, практическихъ міровъ? Жизнь античнаго благочестія, античной правды и античнаго героизма сдѣлалась снова возможной для самого современнаго человѣка и стала дѣйствительно видимой, — феноменъ, во всемъ его спокойствіи, несравнимый ни съ какимъ другимъ! Снова послышались отзвуки новой мелодіи сферъ сквозь безконечный жаргонный диссонансъ и жалкій, слабый лепетъ того, что зовется литературой».

Геге—пророкъ «религіи будущаго», и ея культъ—трудъ. «Ибо на трудѣ лежитъ печать какого то вѣчнаго благородства, даже святости. И какъ бы ни былъ помраченъ человѣкъ, какъ бы мало онъ ни сознавалъ свое высокое призваніе, всегда еще не потеряна надежда для того, кто дѣйствительно и серьезно работаетъ; только въ праздности вѣчное отчаяніе. Сколько бы ни былъ корыстенъ, униженъ трудъ, онъ все еще остается въ связи съ природой; уже одно только искреннее желаніе достигнуть плодовъ своего труда все болѣе и болѣе приблизитъ его къ истинѣ, къ законамъ и предписаніямъ природы, представляющимъ петипу... Трудъ имѣетъ безконечное значеніе: черезъ него совершенствуется человѣкъ. Болотистыя заросли расчищаются; на мѣстѣ ихъ возникаютъ прекрасныя поля и значительные города, и прежде всего самъ человѣкъ перестаетъ быть гнилымъ болотомъ и бесплодной, нездоровой пустыней. Смотрите, какой гармоніи преполняется вся душа человѣка даже при самой низкой работѣ, съ того момента, какъ только человѣкъ отдается труду! Сомнѣнія, страсти, печаль, раскаяніе, негодованіе, даже отчаяніе, все эти порожденія сатаны окружаютъ душу бѣднаго поденщика, какъ и всякаго другого, но онъ бодро берется за свою работу, и тѣ съ ворчаніемъ удаляются въ далекую преподнюю. Такой человѣкъ дѣйствительно является человекомъ; священная жажда работы дѣйствуетъ на него какъ очищающій огонь, сжигающій свѣтлымъ, священнымъ пламенемъ всякую скверну и даже самый зачумленный воздухъ. Благословенъ, кто нашелъ по душѣ работу; ему не надо другого благословенія. У него есть работа, цѣль въ жизни; онъ нашелъ ее, преслѣдуетъ ее, и вотъ его жизнь течетъ теперь, какъ свободнотекущій каналъ, вырытый среди отстоявшагося болота человѣческой нужды, отводящій отстоявшуюся воду изъ подъ самаго отдаленнаго тростника, обращающій гниющее болото въ зеленый плодородный лугъ, прорѣзанный чистой струей. Трудъ есть жизнь; по существу у тебя нѣтъ другихъ познаній, кромѣ приобретенныхъ посредствомъ труда, все остальное есть гипотеза, есть нѣчто, о чемъ спорятъ въ школахъ, что витаетъ въ облакахъ и вращается въ безконечномъ логическомъ водоворотѣ, пока мы не испытаемъ его и не установимъ. Сомнѣнія, какого бы рода они ни были, могутъ быть разрѣшены только посредствомъ дѣятельности.

У древнихъ монаховъ было прекрасное изрѣченіе: *laborare est orare*, работа—это молитва. Древнѣ всякаго проповѣдывавшагося евангелія было это непроповѣдывавшееся, невысказанное, неугаемое, вѣчное евангеліе; работай, и находи удовлетвореніе въ работѣ. О, человѣкъ, развѣ въ глубинѣ твоего сердца не заложенъ духъ дѣятельности, сила для труда, которая горитъ какъ медленно тлѣющій огонь, не давая тебѣ покоя, пока ты не разовьешь ея, пока ты не запечатлѣешь ея кругомъ себя въ благодѣяніяхъ? Все, что беспорядочно, бесплодно, ты долженъ упорядочить, урегулировать, вспахать, покорить себѣ и сдѣлать плодороднымъ. Всюду, гдѣ ты находишь беспорядокъ, тамъ твой ископный врагъ; быстро напади на него, покори его; вырви его изъ власти хаоса, приведи его подъ твою власть, власть разума и божественности! Но мой совѣтъ, прежде всего нападай на невѣжество, глупость, озвѣрѣніе, гдѣ бы ты ни нашелъ ихъ, рази ихъ, разумно, неустанно, не отдыхай, пока ты живешь и пока они живы, рази, рази во имя Бога, рази! Дѣйствуй, пока свѣтло; близится ночь, когда никому нельзя работать... Всякая истинная работа священна: потъ лица твоего, потъ мозга и сердца, вычисленія Кеплера, размышленія Пьютона, всѣ науки, всѣ эпическія поэмы, всѣ подвиги геройства, мученичества, вплоть до той «агоніи кроваваго пота», которую всѣ люди прозвали божественной. Если ужъ это не религія, тогда я жалю всякую религію. Кто ты, что жалуешься на свою жизнь горькаго труда? Не жалуйся, хотя небо и строго къ тебѣ, но не неблагосклонно; небо добро, какъ благородная мать, какъ та спартацкая мать, которая, подавая своему сыну щитъ, сказала: съ нимъ или на немъ! Не жалуйся; спартацки также не жаловались. Чудовище міра—это лѣптяй. Развѣ его религія не состоитъ въ томъ, что природа—это фантомъ, Богъ—ложь и человѣкъ и его жизнь—ложь».

Но и трудъ вовлеченъ въ дикій водоворотъ беспорядка и хаоса; принципъ облагороженія, просвѣщенія, развитія сталъ жертвой путаницы, беспорядка и мрака. Это ведетъ насъ къ главному вопросу, къ вопросу о будущности труда.

«Ахъ, что это такое «организация труда», какъ ее зовутъ наши друзья на континентѣ, давно и довольно глупо топчущіеся кругомъ да около. Она должна быть взята изъ рукъ пелѣныхъ вѣтрогоновъ и поручена дѣльнымъ, скромнымъ, мужественнымъ людямъ, дабы они тотчасъ же начали приводить ее въ осуществленіе и постепенно могли добиться успѣха, если только Европа, по крайней мѣрѣ Англія, хочетъ еще надолго остаться обитаемой. Стоитъ взглянуть на нашихъ высокоблагородныхъ герцоговъ хлѣбныхъ законовъ или на нашихъ духовныхъ герцоговъ и настырей, получающихъ минимальнаго дохода отъ четырехъ тысячъ пятисотъ фунтовъ ежегодно ¹⁾, и на-

¹⁾ Минимальное жалованіе, установленное въ Англіи для епископовъ.

дежды наши, конечно, нѣсколько поостынутъ. Но мужайтесь! Въ Англіи еще найдутся дѣльные люди. Неукротимый фабричный лордъ, не подаешь ли даже ты нѣкоторыхъ надеждъ? До сихъ поръ ты былъ морскимъ разбойникомъ; но за этимъ свирѣпымъ челою, въ этомъ неукротимомъ сердцѣ, которое могло побѣдить хлопокъ, не кроются ли, быть можетъ, еще другія, еще десятеро болѣе благородныя побѣды?» — «Оглянитесь! ваши несмѣтныя войска находятся всѣ въ возстаіи, смятеніи, въ объятіяхъ нищеты; наканунѣ гибели въ огнѣ, накупивъ сумашествія! Они не желаютъ больше маршировать для васъ по шести пенсовъ въ день, по принципу спроса и предложенія; они не желаютъ, они не должны, они не могутъ. Ихъ души близки почти къ помѣшательству; будьте же сами благоразумнѣе! Эти люди не станутъ больше маршировать въ видѣ смятенной, мятущейся черни, а пойдутъ сомкнутой, стройной массой съ дѣйствительными вожаками во главѣ. Всѣ человѣческіе интересы, всѣ общественныя учрежденія на известной ступени своего развитія нуждались въ организаціи, и теперь ея требуютъ величайшій человѣческой интересъ — трудъ».

Для осуществленія этой организаціи, для замѣны ложнаго руководительства истиннымъ руководствомъ и истиннымъ правительствомъ, Карлейль ищетъ «истинной аристократіи», «культы героевъ»; онъ выдвигаетъ другую великую задачу — отыскать этихъ аристовъ, лучшихъ людей, подъ руководствомъ которыхъ можно было бы «соединить неизбежную демократію съ необходимымъ суверенитетомъ».

Въ этихъ выдержкахъ съ достаточной ясностью опредѣляется точка зрѣнія Карлейля. Все его мировоззрѣніе по существу пантеистическое и притомъ нѣмецко-пантеистическое. Англичане не знаютъ никакого пантеизма, а лишь скептицизмъ; результатомъ всей англійской философской мысли являются сомнѣніе въ разумѣ, признанная неспособность разрѣшить тѣ противорѣчія, въ которыя мы въ конечномъ счетѣ попадаемъ; отсюда съ одной стороны — возвратъ къ вѣрѣ, съ другой — приверженность къ чистой практикѣ, безъ малѣйшаго интереса къ метафизикѣ и т. д. Для Англіи Карлейль со своимъ пантеизмомъ, ведущимъ свое происхожденіе отъ нѣмецкой литературы, является тоже «феноменомъ», и при томъ довольно малопонятнымъ феноменомъ для практическихъ и скептическихъ англичанъ. Они глядятъ на него съ изумленіемъ, говорятъ о «нѣмецкомъ мистицизмѣ», объ исковерканномъ англійскомъ языкѣ; другіе утверждаютъ, что въ концѣ-концовъ что-нибудь тутъ да скрывается; его англійскій языкъ, правда, не обыченъ, но все же онъ красивъ, Карлейль-пророкъ и т. п., но никто не знаетъ, какъ оцѣнить Карлейля въ цѣломъ.

Для насъ, нѣмцевъ, знающихъ предпосылки карлейлевской точки зрѣнія, дѣло довольно ясно. Остатки тористической романтики и гуманистическая философія изъ Гете съ одной стороны, скептически эмпирическая Англія съ другой, — изъ этихъ факторовъ можно вывести все мировоззрѣніе Карлейля. Какъ и всѣ пантеисты, Карлейль

еще не освободился отъ противорѣчiя; дѣло карлейлевскаго дуализма тѣмъ хуже, что Карлейль знаетъ нѣмецкую литературу, но не знаетъ необходимаго ея дополненiя—пѣмцкой философи, и потому то все его воззрѣнiя непосредственны, интуитивны, больше въ духѣ Шеллинга, чѣмъ Гегеля. Съ Шеллингомъ, т.-е. старымъ Шеллингомъ, а не Шеллингомъ откровенiя, у Карлейля дѣйствительно много точекъ соприкосновенiя; со Штраусомъ, который по своимъ воззрѣнiямъ былъ точно также пантеистомъ, онъ сходится въ «культѣ героевъ» или «культѣ генiя».

За послѣднее время въ Германiи критика пантеизма выполнена съ такою исчерпывающею полнотою, что ничего больше не остается добавить. Тезисы Фейербаха въ «Anecdota» и сочиненiя Б. Бауэра даютъ все, что касается этого вопроса. Поэтому, мы можемъ ограничиться тѣмъ, что просто сдѣлаемъ выводы изъ карлейлевской точки зрѣнiя и покажемъ, что по существу она составляетъ лишь предверiе къ точкѣ зрѣнiя нашего журнала.

Карлейль жалуется на суетность и пустоту вѣка, на внутреннюю гнилостьность всехъ социальныхъ учрежденiй. Жалоба эта правильна, но одиными жалобами ничего не сдѣлаешь; чтобы помочь злу, надо отыскать его причину; и если бы Карлейль поступилъ такъ, онъ нашелъ бы, что это разложенiе и пустота, это «бездушие», эта нерелигиозность и этотъ «атеизмъ» коренятся въ самой религи. Религiя по существу своему лишаетъ человѣка и природу всего ихъ содержанiя, переноситъ это содержанiе на фантомъ потусторонняго Бога, который затѣмъ изъ милости возвращаетъ людямъ и природѣ частицу своихъ щедротъ. Покуда сильна и жива вѣра въ этотъ потустороннiй фантомъ, до тѣхъ поръ такимъ окольнымъ путемъ человѣкъ добивается хоть какого-нибудь содержанiя. Сильная вѣра средневѣковья сообщала такимъ путемъ всей эпохѣ значительную энергiю, но энергiю, пришедшую не извнѣ, а коренившуюся уже въ природѣ человѣка, хотя бы и въ безсознательномъ, неразвитомъ состоянiи. Вѣра постепенно слабѣла, религiя раскрышилась передъ возрастающею культурой, но человѣкъ все еще не понималъ, что онъ поклонялся и обоготворялъ свое собственное существо, какъ чужое существо.

Въ этомъ безсознательномъ и въ то же время безрелигиозномъ состоянiи человѣкъ не можетъ имѣть никакого содержанiя, онъ долженъ сомнѣваться въ истинѣ, разумѣ и природѣ, и эта пустота и безсодержательность, сомнѣнiе въ вѣчныхъ фактахъ вселенной будутъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока человѣчество не увидитъ, что существо, которому они поклонялись какъ Богу, было ихъ собственнымъ, до сихъ поръ имъ неизвѣстнымъ существомъ, пока...—впрочемъ, зачѣмъ мнѣ переписывать Фейербаха?

Пустота давно уже была, потому что религiя есть актъ самоопустошенiя человѣка; а теперь, когда пурпуръ, ее покрывавшiй, поблѣкъ, когда угаръ, ее заволакивавшiй, разсѣялся, вы удивляетесь, что теперь, къ вашему ужасу, она выступила на свѣтъ божiй?

Карлейль, дальше, обвиняет въѣвъ въ лицемѣрїи и лжи—это непосредственно вытекаетъ изъ предыдущаго. Конечно, пустота и бессиліе должны же быть прилично скрыты и поддержаны посредствомъ декораций, набитыхъ чучель и ободьевъ изъ кятоваго уса! И мы падаемъ на лицемѣрїе современнаго христіанскаго міропорядка; борьба съ нимъ, наше освобожденіе отъ него и освобожденіе міра отъ него въ копцѣ-концовъ являются нашимъ единственнымъ дѣломъ; но такъ какъ мы познали это лицемѣрїе благодаря развитію философіи и такъ какъ мы ведемъ борьбу паучно, то сущность этого лицемѣрїя не такъ ужъ намъ чужда и непонятна, какъ это во всякомъ случаѣ еще кажется Карлейлю. Это лицемѣрїе мы также сводимъ къ религіи, первое слово которой есть ложь,—развѣ религія не пачинаеть съ того, что, показавъ намъ нѣчто человѣческое, выдаетъ его за нѣчто сверхчеловѣческое, божественное? Но такъ какъ мы знаемъ, что вся эта ложь и безнравственность происходятъ изъ религіи, что религіозное лицемѣрїе, теологія является прототипомъ всякой другой лжи и лицемѣрїя, то мы вправѣ распространить имя теологіи на всю неправду и лицемѣрїе нашей современности, какъ это впервые сдѣлали Фейербахъ и Б. Бауэръ. Пусть Карлейль прочтетъ ихъ сочиненія, если онъ желаетъ знать, откуда происходитъ безнравственность, зачумляющая всѣ наши отношенія.

Надо создать новую религію, пантеистическій культъ героевъ, культъ труда,—или онъ самъ появится! Это невозможно; всѣ возможности религіи исчерпаны; послѣ христіанства, послѣ абсолютной, т.-е. абстрактной религіи, послѣ «религіи какъ таковой» не можетъ больше появиться никакой другой формы религіи. Карлейль самъ признаеть, что католическое, протестантское или всякое другое христіанство неудержимо идетъ навстрѣчу гибели; если бы онъ зналъ природу христіанства, онъ увидѣлъ бы, что послѣ него невозможно никакая другая религія, даже и пантеизмъ! Самъ пантеизмъ является выводомъ изъ христіанства, еще неотдѣлимымъ отъ своей предпосылки, по крайней мѣрѣ современный пантеизмъ Спинозы, Шеллинга, Гегеля и даже Карлейля. Фейербахъ снова избавляетъ меня отъ необходимости доказывать это.

Какъ было сказано, и мы должны бороться противъ несостоятельности, внутренней пустоты, духовной смерти, неправдивости въѣва; со всѣмъ этимъ мы ведемъ борьбу на жизнь и смерть, такъ же, какъ Карлейль, но мы имѣемъ больше шансовъ па успѣхъ, чѣмъ онъ, потому что знаемъ, чего хотимъ. Мы хотимъ уничтожить атеизмъ, какимъ его изображаетъ Карлейль, возвративъ человѣку содержаніе, котораго онъ лишился благодаря религіи; не божественное, а человѣческое содержаніе; все возвращеніе ограничивается однимъ пробужденіемъ самосознанія. Мы хотимъ устранить все, что называется сверхестественнымъ и сверхчеловѣческимъ, и тѣмъ удалить ложь, ибо претензія человѣческаго и естественнаго быть сверхчеловѣческимъ, сверхестественнымъ есть корень всей неправды и лжи. Поэтому мы

разъ навсегда объявили войну религии и религиознымъ представленіямъ и мало заботимся о томъ, назовутъ ли насъ атеистомъ или какъ нибудь по-другому. Между тѣмъ, если бы карлейлевское паптеистическое опредѣленіе атеизма было правильнымъ, настоящими атеистами оказались бы не мы, а наши христіанскіе противники. Намъ въ голову не приходитъ нападать на «ископныя внутренніе факты вселенной»; напротивъ, мы первые истиннымъ образомъ ихъ обосновали, доказавъ ихъ вѣчность и защитивъ ихъ отъ всемогущаго произвола въ себѣ самомъ противорѣчиваго Бога. Намъ не приходится въ голову объявить «міръ, человѣка и его жизнь ложью», напротивъ, наши христіанскіе противники совершаютъ эту безправственность, когда ставятъ міръ и человѣка въ зависимость отъ милости какого-то бога, созданнаго въ дѣйствительности лишь посредствомъ отраженія человѣка въ дикомъ хаосѣ своего собственнаго неразвитаго сознанія. Намъ не приходится въ голову сомнѣваться въ «откровеніи исторіи» или презирать его; исторія есть для насъ все и цѣнится нами выше, чѣмъ какимъ-либо другимъ, болѣе раннимъ философскимъ ученіемъ, выше даже чѣмъ Гегелемъ, которому она въ концѣ-концовъ служитъ лишь для провѣрки его логической задачи.

Въ презрѣніи къ исторіи, въ невниманіи къ развитію человѣчества повинна совсѣмъ другая сторона—именно христіане, которые, установивъ особую «исторію царства Божія», отказываютъ дѣйствительной исторіи во всей внутренней сущности и признаютъ эту сущность только за своей потусторонней, абстрактной и къ тому вымышленной исторіей; которые, давая человѣческому роду завершеніе въ своемъ Христѣ, ставятъ передъ исторіей воображаемая цѣли, обрываютъ ее посреди ея теченія и потому, уже послѣдовательности ради, должны признавать дальнѣйшіе восемнадцать вѣковъ за дикую безмыслицу и настоящую чепуху. Мы обращаемся къ содержанію исторіи; но мы видимъ въ исторіи откровеніе не «Бога», а человѣка, и только человѣка. Чтобъ видѣть величіе человѣческаго существа, понять развитіе рода въ исторіи, его неудержимый прогрессъ, его всегда обезпеченную побѣду надъ неразумностью отдельнаго человѣка, его преодоленіе всего кажущагося сверхчеловѣческимъ, его суровую, но успѣшную борьбу съ природой, вплоть до конечнаго достиженія свободнаго, человѣческаго самосознанія, до убѣжденія въ единствѣ человѣка и природы и свободнаго, самостоятельнаго творчества новаго міра, покоющагося на чисто человѣческихъ, нравственныхъ, жизненныхъ отношеніяхъ,—чтобы понять все это во всемъ его величіи, намъ нѣтъ надобности призывать сначала абстракцію какого то «Бога» и приписывать ей все прекрасное, великое, возвышенное и истинно человѣческое; намъ нѣтъ надобности въ такомъ окольномъ пути, намъ нѣтъ надобности сначала ставить печать «божественнаго» на истинно человѣческомъ, чтобы быть увѣренными въ его важности и величіи. Напротивъ, чѣмъ «боже-

ственнѣе», т.-е. нечеловѣчнѣе является какой-нибудь предметъ, тѣмъ меньше удивленія онъ можетъ вызвать въ насъ. Одно лишь человѣческое происхожденіе содержанія всѣхъ религій даетъ имъ мѣстами хоть какое-нибудь право на уваженіе; одно лишь сознаніе, что даже самое дикое суевѣріе все же въ основѣ своей отражаетъ вѣчныя свойства человѣческаго существа, хотя бы и въ такой изуродованной и искаженной формѣ, одно лишь это сознаніе спасаетъ исторію религій и въ частности исторію средневѣковья отъ полнаго ея отрицанія и вѣчнаго забвенія; иначе такая судьба постигла бы эту «богосвдохновенную» исторію. Чѣмъ «богосвдохновеннѣе» она, тѣмъ больше въ ней безчеловѣчности, звѣрства; «богосвдохновенные» средне вѣка во всякомъ случаѣ привели къ полному человѣческому озвѣрѣнію, къ крѣпостничеству, къ праву первой ночи и т. д. *Безбожіе*, нашего времени, о которомъ такъ нечеловѣчно Карлейль, есть именно его богопренебреженіе. Отсюда становится яснѣе, почему я называлъ выше человѣка рѣшеніемъ загадки сфинкса. До сихъ поръ вопросъ всегда гласилъ: Что есть Богъ? и нѣмецкая философія разрѣшала его такъ: Богъ — это человѣкъ. Человѣкъ долженъ лишь познать себя самого, измѣрить всѣ жизненные отношенія по себѣ самому, судить сообразно своей сущности, устроить міръ истинно по-человѣчески согласно требованіямъ своей природы, — тогда онъ разрѣшилъ загадку нашего времени. Истину слѣдуетъ искать не въ потустороннихъ областяхъ, лишенныхъ живыхъ существъ, не въ времени и пространства, не въ «Богѣ», присущемъ міру или противопоставленномъ ему, а гораздо ближе, въ собственной груди человѣка. Собственное существо человѣка много величественнѣе и возвышеннѣе, тѣмъ воображаемое существо всевозможныхъ «боговъ», представляющихъ собой лишь болѣе или менѣе целное и искаженное изображеніе самого человѣка. Если, поэтому, Карлейль повторяетъ вслѣдъ за Бенъ-Джонсономъ, что человѣкъ утратилъ свою душу и только теперь начинаетъ замѣчать ея отсутствіе, то правильнѣе было бы сказать: человѣкъ утратилъ въ религій свою собственную сущность, отчуждилъ свою человѣчность, и теперь, когда съ прогрессомъ исторіи религія поколеблена, онъ замѣтилъ ея пустоту и безсодержательность. Но для него нѣтъ другого спасенія; онъ можетъ снова обрѣсти свою человѣчность, свою сущность не иначе, какъ основательно преодолѣвъ всѣ религіозныя представленія и рѣшительно, честно вернувшись не къ «Богу», а къ себѣ самому.

Все это имѣется и у Гете, «пророка», и у кого глаза открыты, тотъ можетъ это прочесть. Гете неохотно имѣлъ дѣло съ «Богомъ»; отъ этого слова ему дѣлалось не по себѣ; онъ чувствовалъ себя какъ дома только въ человѣческомъ, и эта человѣчность, это освобожденіе искусства отъ оковъ религіи именно и составляютъ величіе Гете. Въ этомъ отношеніи съ нимъ не могутъ сравниться ни древніе, ни Шекспиръ. Но эту совершенную человѣчность, это преодоленіе религіознаго дуализма можетъ постигнуть во всемъ его историческомъ

значеніи лишь тотъ, кому не чужда другая сторона вѣмецкаго національнаго развитія—философія. То, что Гете могъ высказать лишь непосредственно, т. е. въ извѣстномъ смыслѣ «пророчески», то развито и доказано въ повѣйшей вѣмецкой философіи. Въ Карлейлѣ также скрыты предпосылки, которыя послѣдовательнымъ путемъ должны привести къ выше развитой точкѣ зрѣнія.

Самъ пантеизмъ есть лишь послѣдняя ступень къ свободному, человѣческому воззрѣнію. Исторія, изображаемая Карлейлемъ, какъ настоящее «откровеніе», заключаетъ въ себѣ лишь человѣческое, и ея содержаніе человѣчности лишь насильственнымъ путемъ можетъ быть у ней отнято и поставлено въ счетъ какого то «бога». Трудъ, свободная дѣятельность, въ которой Карлейль также видитъ «культъ», есть опять-таки чисто человѣческое дѣло; трудъ можетъ быть поставленъ въ связь съ «богомъ» тоже лишь насильственнымъ путемъ. Къ чему постоянно выдвигать на первый планъ слово, которое въ лучшемъ случаѣ лишь выражаетъ безконечность неопредѣленности и къ тому еще поддерживаетъ видимость дуализма? — слово, которое само по себѣ заключаетъ признаніе ничтожности природы и человѣчества?

Такова внутренняя, религіозная сторона карлейлевской философіи. Къ ней непосредственно примыкаетъ вѣйшая, политико-соціальная сторона; Карлейль еще достаточно религіозенъ, чтобы остаться въ состояніи несвободы; пантеизмъ все еще признаетъ нѣчто высшее, чѣмъ человѣка, какъ такового. Отсюда его потребность въ «истинной аристократіи», въ «герояхъ»; словно эти герои въ лучшемъ случаѣ могли бы быть больше, чѣмъ людьми. Если бы онъ постигъ человѣка какъ человѣка во всей его безконечности, онъ не пришелъ бы къ мысли снова дѣлить человѣчество на два стада—овецъ и козлищъ, правящихъ и управляемыхъ, аристократовъ и черни, господъ и дураковъ; тогда онъ нашелъ бы истинное социальное призваніе таланта не въ томъ, чтобы насильственно править, а толкать другихъ и идти впереди. Талантъ долженъ убѣдить толпу въ истинности своихъ идей, и тогда ему больше не придется беспокоиться объ ихъ осуществленіи, потому что оно пойдетъ само собой. Человѣчество проходитъ черезъ демократію, конечно, не затѣмъ, чтобы вернуться къ тому мѣсту, откуда оно вышло.

Впрочемъ, все, что Карлейль говоритъ о демократіи, не оставляетъ желать ничего лучшаго, за исключеніемъ только что сказаннаго о неясности у Карлейля насчетъ цѣлей, задачъ современной демократіи. Демократія является, конечно, лишь переходнымъ пунктомъ, но не къ новой улучшенной аристократіи, а къ дѣйствительной, человѣческой свободѣ; точно такъ же нерелигіозность вѣка приведетъ въ копечномъ счетѣ къ полному освобожденію отъ всего религіознаго, сверхчеловѣческаго и сверхестественнаго, а не къ его возстановленію.

Карлейль понимаетъ недостаточность «конкуренціи, спроса и пред-

ложенія, служенія маммонѣ» и т. д. и всего менѣе склоненъ признавать абсолютную справедливость земельной собственности. Но почему онъ не сдѣлалъ изъ всѣхъ этихъ предпосылокъ простого заключенія и не отвергъ частной собственности вообще? Какимъ образомъ думаетъ онъ уничтожить «конкуренцію», «спросъ и предложеніе», «служеніе маммонѣ» и т. д., разъ существуетъ корень всего этого—частная собственность? «Организація работы» тутъ не поможетъ; безъ извѣстнаго тождества интересовъ она даже не можетъ быть осуществлена. Почему бы не продумать послѣдовательно, не признать тождественности интересовъ единственно достойнымъ человѣка состояніемъ и тѣмъ положить конецъ всѣмъ трудностямъ, всей неопредѣленности и неясности?

Во всѣхъ своихъ рассудкахъ Карлейль ни словомъ не упоминаетъ объ англійскихъ социалистахъ. Покуда онъ остается на своей теперешней точкѣ зрѣнія, хотя и безконечно опередившей большинство образованныхъ англичанъ, но все еще абстрактно-теоретической, онъ, разумеется, никогда не сумѣетъ особенно близко подойти къ ихъ стремленіямъ. Англійскіе социалисты—чистые практики, и потому они предлагаютъ мѣропріятія, въ родѣ колонизаціи родины и т. д., нѣсколько напоминающія моррисоновскія пилюли; ихъ философія—чисто англійская, скептическая, т.-е. они потеряли вѣру въ теорію, и на практикѣ придерживаются матеріализма, на которомъ покоится вся ихъ социальная система. Все это мало говоритъ сердцу Карлейля; но онъ такъ же одностороненъ, какъ и тѣ. Оба они преодолѣли противорѣчіе *въ предѣлахъ* противорѣчія; социалисты въ предѣлахъ практики, Карлейль—въ предѣлахъ теоріи, но даже здѣсь онъ преодолѣлъ его лишь непосредственнымъ путемъ, тогда какъ социалисты путемъ мышленія рѣшительно избавились отъ противорѣчія въ практикѣ.

Социалисты остаются еще англичанами именно тамъ, гдѣ имъ слѣдовало бы быть только людьми; изъ философскихъ ученій континента имъ извѣстенъ одинъ только матеріализмъ, даже не нѣмецкая философія; это—общій ихъ недостатокъ, и они непосредственно содѣйствуютъ уничтоженію этого пробѣла, работая въ сторону уничтоженія національныхъ различій. Намъ незачѣмъ спѣшить навязывать имъ нѣмецкую философію,—къ ней они придутъ сами собой, теперь она могла бы принести имъ мало пользы. Во всякомъ случаѣ социалисты представляютъ собой единственную партію въ Англии, имѣющую будущее, какъ бы относительно слабы они ни были. Демократія, чартизмъ должны вскорѣ одержать верхъ, и тогда массѣ англійскихъ рабочихъ останется одинъ только выборъ между голодной смертью и социализмомъ.

Для Карлейля и его воззрѣній незнаніе нѣмецкой философіи отнюдь не безразлично. Себѣ самому онъ представляется нѣмецкимъ теоретикомъ, и при томъ, благодаря своей національности, склоняющимся къ эмпири; онъ находится въ вопіющемъ противорѣчій, которое онъ могъ бы разрѣшить, лишь развѣвъ свою нѣмецко-теоретическую точку

зрѣнія до ея послѣднихъ логическихъ выводовъ, до полного примиренія съ эмпиріей.

Чтобы освободиться изъ того противорѣчія, въ которомъ онъ вращается, Карлейлю остается сдѣлать одинъ только шагъ, но какъ это показали весь опытъ Германіи,—тяжелый шагъ. Слѣдуетъ пожелать, чтобъ онъ сдѣлалъ его; хотя Карлейль уже не молодъ, онъ все же способенъ его сдѣлать, ибо прогрессъ, обнаруженный его послѣдней книгой, доказываетъ, что его развитіе еще продолжается.

При всемъ томъ книга Карлейля стоитъ пѣмецкаго перевода въ десять тысячъ разъ больше, чѣмъ всѣ легіоны англійскихъ романовъ, ежедневно и ежечасно импортируемыхъ въ Германію, и мой советъ—перевести ее. Но да не прикоснутся къ нему руки ремесленныхъ переводчиковъ! Карлейль пишетъ своеобразнымъ англійскимъ языкомъ, и переводчикъ, основательно не знакомый съ англійскимъ языкомъ и не понимающій его намековъ на англійскую жизнь, надѣлаетъ самыхъ уморительныхъ ошибокъ.

Послѣ этого нѣсколько общаго введенія я намѣренъ въ ближайшихъ книжкахъ нашего журнала подробнѣе остановиться на положеніи Англій и сущности ея—положеніи рабочаго класса. Положеніе Англій имѣетъ неизмѣримое значеніе для исторіи и для всѣхъ другихъ странъ, потому что въ социальномъ отношеніи Англій во всякомъ случаѣ далеко опередила всѣ прочія страны.

Ф. Энгельсъ.

Примѣчанія.

«Deutsch-Französische Jahrbücher» представляютъ собой брошюру въ 236 страницъ; свыше половины ея занимаютъ пять перепечатанныхъ нами статей. Кроме этого, въ журналѣ помѣщены хвалебныя гимны Гейне въ честь короля Людвига баварскаго, рѣшеніе верховнаго апелляціоннаго сената по дѣлу Якоби, въ томъ видѣ, въ какомъ оно сохранилось въ памяти послѣдняго послѣ прочтенія приговора, и нѣсколько статей Г. Гервега, М. Гесса и Ф. К. Бернэйса, не имѣющія, по крайней мѣрѣ нынѣ, особаго значенія. Въ концѣ брошюры помѣщенъ «Обзоръ нѣмецкихъ газетъ», въ которомъ руководящая и въ то же время самая длинная статья принадлежитъ Бернэйсу; среди слѣдующихъ затѣмъ мелкихъ полемическихъ замѣтокъ противъ тогдашней нѣмецкой печати нѣкоторыя, быть можетъ, принадлежатъ перу Маркса, но въ виду ихъ краткости трудно съ увѣренностью указать ихъ. Какого либо интереса нынѣ онѣ во всякомъ случаѣ не представляютъ.

Переписка 1843 года. Три письма, принадлежащихъ перу Маркса, можно было бы, въ крайнемъ случаѣ, понять и безъ подлинной передачи писемъ Руге, Бакунина и Фейербаха; тѣмъ не менѣе я не считалъ себя вправѣ поступить такъ, потому что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ единымъ замысломъ, который безъ сомнѣнія принадлежитъ Марксу. Къ тому же взгляды Маркса могутъ получить полное освѣщеніе лишь въ томъ случаѣ, если дана возможность полностью высказаться его тогдашнимъ товарищамъ по перу. Въ этомъ меня окончательно убѣдилъ устрашающій примѣръ Руге, который внесъ переписку въ полное собраніе своихъ сочиненій, но при этомъ не только искалѣчилъ второе письмо Маркса, что еще можно было объяснить цензурными соображеніями, но невѣроятнымъ образомъ просто бросилъ въ корзину заключительное письмо Маркса, т.-е. вѣнецъ всей переписки.

Критика гегелевской философіи права. Намекъ на «хитрую теорію» показываетъ, что Марксъ уже зналъ Листа; это подтверждаютъ и слѣдующія слова Энгельса въ предисловіи ко второму тому «Капитала»: «изъ нѣмцевъ онъ зналъ (въ 1843 году) лишь Рау и Листа, и насытился ими по горло». Позднѣе Марксъ упоминаетъ какъ-то о «заинтересованномъ практическомъ разумѣ» Листа, который однако далекъ былъ отъ пониманія вещей; и дѣйствительно историческое значеніе Листа лежитъ въ области развитія германской желѣзнодорожной сѣти и другихъ предпосылокъ капиталисти-

ческого способа производства; несмотря на все рекламы, пущенные о немъ въ последнее время, Листъ, какъ теоретикъ, безусловно былъ позади Смита и Рикардо, изъ критикующихъ.

Къ еврейскому вопросу. Статьи эти недавно переведены на польскій языкъ и распространяются въ видѣ политической агитационной брошюры. Годны ли онѣ для этой цѣли въ виду ихъ философскаго языка, — въ этомъ можно сомнѣваться; тѣмъ безспориѣ огромная ихъ польза: историческое пониманіе еврейскаго вопроса, какъ оно обосновано Марксомъ въ этой работѣ, стало духовнымъ достояніемъ современнаго рабочаго класса. Конечно, Марксъ убиваетъ либеральный филосемитизмъ, но именно потому онъ становится самымъ дѣйствительнымъ противоядіемъ противъ реакціоннаго антисемитизма.

Очерки критики національной экономіи. Опираясь на спорныя положенія, заключающіяся въ началѣ этой статьи относительно теоріи цѣнности буржуазной экономіи, и только на нихъ, Бруно Гильдебрандъ четыре года спустя пытался вообще отрицать социализмъ въ Энгельсѣ, «самомъ одаренномъ и свѣдущемъ среди всѣхъ нѣмецкихъ писателей по социальному вопросу». Съ тѣмъ большей благодарностью цѣнилъ всегда Марксъ «гениальный очеркъ», цитируя его еще въ «Капиталѣ». Недостатки его объясняются не столько молодостью автора, знавшаго, напр., Рикардо лишь изъ ругъ обезцвѣтившаго его Макъ-Куллоха, сколько потому тѣмъ, что Энгельсъ слишкомъ остро видѣлъ гибель капиталистическаго способа производства, чтобы не безъ умысла оттѣснить на задній планъ эпоху расцвѣта силъ капитализма, теоретиками которой были Адамъ Смитъ и Рикардо.

Положеніе Англій. Я не вдавался во Введеніи въ подробности энгельсовской критики Карлейля, ибо она сама собою вытекаетъ изъ сказаннаго мною о гуманизмѣ Фейербаха. Нѣмецкая философія, начиная съ Канта, была для Карлейля невѣдомой страной, и потому теперь, когда мы располагаемъ всеѣмъ другимъ матеріаломъ для сужденія о философскомъ развитіи Карлейля, чѣмъ Энгельсъ въ 1844 году, можно было бы кое-что возразить по поводу того, будто у Карлейля было много точекъ соприкосновенія съ молодымъ Шеллингомъ. Молодой Шеллингъ скорѣе былъ предтечей Фейербаха, и позже родившійся пуританинъ Карлейль долженъ былъ бы скорѣе ужиться со старымъ, чѣмъ молодымъ Шеллингомъ. Его «культъ героевъ» также сильно отличался отъ «культъ гения», провозглашеннаго Штраусомъ въ концѣ своей «Жизни Христа», чтобы избавить себя и другихъ отъ результатовъ своей критики. Позднѣе Штраусъ подвергъ импепро личность Христа такой критикѣ, что ничего не осталось ни отъ гения, ни отъ культа. Не трудно понять, почему Энгельсъ, только что прибывшій отъ нѣмецкой философіи, нанеся въ Карлейля того времени, показавшаго ему въ такомъ снпнатичномъ свѣтѣ, нѣкоторымъ тономъ соприкосновенія съ ней: ихъ въ дѣйствительности или вовсе не было, или было меньше, чѣмъ онъ предполагалъ; по существу его критика Карлейля, какъ положительная, такъ и отрицательная, представляеть собой маленькій шедевръ.

ГОМАНЕНКО
БИБЛИОТЕКА
Варшава

~~участок 1307-КА~~
Дополнительно отчислено
Всего учасков 1307-КА

3p-

8.000

+

1



0000000286 1356